

НИК. ЗАРУДИН

НИК. ЗАРУДИН

ПУТЬ В СТРАНУ  
СМЫСЛА



# НИК. ЗАРУДИН

---

ПУТЬ В СТРАНУ  
СМЫСЛА



МОСКВА  
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА •  
1983

Составление  
с научно-текстологической подготовкой текста

В. З а р у д и н о й

Предисловие  
В. К р и в ц о в а

Художник  
Д. Ш и м и л и с

## ЗЕМНАЯ ВЫСОТА

---

(О прозе Николая Зарудина)

Время настоятельно требовало новых летописцев. И выдвигало перед ними безмерную задачу — встать вровень с величайшими свершениями века и запечатлеть их на скрижалях истории.

«Нам выпало на долю счастье,— писал о тех неповторимых временах Александр Фадеев,— детскими еще губами произнести такие слова в художественном развитии человечества, какие до нас не мог сказать ни один, даже самый крупный из художников слова».

Творчество Николая Зарудина, как и всех советских писателей первого поколения, было рождено революцией — «вторым сотворением мира», как он ее называл. «Мы действительно участники, свидетели и высокие зрители невиданных в мире катастроф, обвалов и крушений,— не раз говорил он.— С тем, что произошло в октябре 17-го года, не сравнится ничто: ни падение древних царств, ни падение Рима, ни эпоха наполеоновских войн; и мы, литераторы, не можем не откликнуться в меру сил на это величайшее в истории событие... Я очень хочу писать об огромных социальных явлениях нашего времени, соответственно своим силам, конечно, правдивую картину этих явлений».

В древнем Смоленске, где на заборах белели остатки приказов военного комсдапта, еще не снявший красноармейской шинели молодой журналист Зарудин выпустил небольшой сборник стихов «Снег вишневый» (1923). Самобытное дарование молодого стихотворца из провинции первым разглядел Валерий Яковлевич Брюсов, благожелательно отзывавшись о нем в столичном журнале «Печать и революция». Вторая его поэтическая книжка «Полемиюностью» вышла в 1928 году в Москве.

Так начинался творческий путь Н. Зарудина, одного из интереснейших советских писателей, глубоко преданного заветам революции и своему народу.

Николай Николаевич Зарудин родился 1(13) октября 1899 года в семье горного инженера, жившего в ту пору в Пятигорске, уездном городе Терской области. Гора Машук, памятник Лермонтову — все здесь напоминало о жизни и смерти великого русского поэта. Одно из стихотворений, написанных зрелым мастером Зарудиным, было обращено к его родному городу: «Пятигорск! Кому знаком жар души с убитой песней... Для кого любимый дом ближе всех и неизвестней».

Гимназические годы будущего писателя прошли в Нижнем Новгороде; старинный город на Волге был освящен именами людей, вошедших в историю русской литературы: в местной гимназии учился Мельников-Печерский, старожилы еще помнили, как дед Каширин по часослову обучал грамоте своего внука Алешу Пешкова. Нижегородцы по праву гордились, что в их городе десять лет жил Владимир Даль.

В семье Зарудиных царил культ русской классики. В старших классах гимназии Николай вместе со своим товарищем Александром Формозовым, будущим известным биологом и художником-анималистом, написавшим впоследствии немало книг о живой природе и охоте, издавал рукописный журнал. Первые литературные опыты молодых авторов примечательны обостренной наблюдательностью над еле уловимыми переменами в окружающей природе. Началась ли слабая капель на обращенных к югу железных крышах Покровки или стайка снегирей принялась лущить крылатки татарского клена на одной из пригородных усадеб — все попадало в поле зрения пытливых натуралистов. Думается, именно в нижегородской гимназии, в совместных прогулках с отцом по лесам Заветлужья следует искать начало неукротимой тяги Зарудина к полной слиянности с природой, к поэтизации ее могучих сил и бессмертной красоты.

Скромные торжества по случаю окончания гимназии пришлось на переломный 1917 год. Когда разразилась гражданская война, Зарудин пошел служить в Красную Армию. Войну окончил на Западном фронте, несколько лет работал в смоленской комсомольской газете, выступал со стихами в губернской газете «Рабочий путь» и местном альманахе «Красная вязь».

Из Смоленска со своим небогатым скарбом он вскоре перебирается в Москву. Переезду молодого поэта из провинции способствовал Александр Константинович Воронский, видный советский критик и ответственный редактор первого советского «толстого» литературно-художественного и научно-публицистического журнала «Красная новь», созданного при непосредственном участии В. И. Ленина.

Это было время бурлящей во всю литературной молодости.

Новизна властно проступала на театральных подмостках, свежий ветер врывается в мастерские московских художников. Чувство необычайного творческого подъема в этот период, открытости исторической перспективы поколения ровесников века Зарудин воплотил позднее в очерке «Старина Арбат»: «Вступая в новый, завоеванный мир, мы не знали, куда девать свои огромные красные лапы, торчащие из рукавов пожелтевших шинелей, хранивших едкие запахи дезинфекционных камер... Да, мы вылетели из военных гнезд. Подростки, выпущенные из средней школы великой гражданской... Но мы выросли и оформлялись. Нам суждено было становиться на передовую линию жизни — нам, двадцатилетним, чьи годы отсчитывались годами века, стрелки чьих жизненных часов шли наравне с часовыми стрелками эпохи... Напирал какой-то половодный разлив, жизнь заливала необозримые берега, страна после морозных вьюг и тифов жадно впитывала теплую влагу и свет. Образы людей возникали и пропадали, как в бешеной скачке. История набрасывала их с карандашной быстротой, чтобы мгновенно перевернуть альбомную страницу».

Активно включившись в кипучую литературную жизнь второй половины 20-х годов, Зарудин примкнул к «Перевалу» — одной из многочисленных творческих групп тогдашнего времени, и вскоре вошел в ее правление. В нескольких словах невозможно изложить все пристрастия и установки этого объединения, раскрыть его литературно-общественную направленность. Ограничимся лишь точками соприкосновения творческих устремлений Зарудина с эстетической платформой «Перевала».

Перевальцы называли себя «содружеством писателей революции». Не столь яростно ратуя за абсолютизацию своей художественной практики, как это делали, к примеру, лефовцы или конструктивисты, они твердо декларировали свою идейную позицию: «революционная совесть» провозглашалась ими высшим судом. Правление «Перевала» утверждало, что оно не навязывает те или иные правила литературной техники, и в этом была немалая доля истины. Действительно, в разные годы в это объединение входили такие разные писатели, как Эдуард Багрицкий, Артем Веселый, Иван Катаев, Александр Малышкин, Петр Павленко, Михаил Пришвин.

Выдвигав лозунг «органичности» искусства, перевальцы — и в том числе Зарудин — стремились познать закономерности жизни и искусства, общественно-исторического движения и судьбы отдельной личности в их естественном развитии, боролись за реализм против «бескрылого бытовизма» и форсированного представления о возможностях перестройки человеческих чувств и сознания. Внимание к природе человека, к изживанию им «ветхого Адама»

сформировали их идеал полнокровного человека «с оглядкой на эпоху Ренессанса», как писал Иван Катаев. Органичность развития интерпретировалась перевальцами как залог победы революционного процесса.

Художник, по Зарудину, немислим без чувства органической привязанности к миру. В статье «Музей восковых фигур» (1926) он писал, что «совершенно очевидна вся невозможность появления сколько-нибудь значительного произведения на дрожжах голого самоуверенного схематизма, без того сложного, органического творческого процесса, в котором поэту стала бы «звездная книга ясна». Только поэт, понявший «трав неясный запах», захочет, чтобы то же самое почувствовал читатель».

С откровенным недоверием писатель относился к всевозможным формальным исканиям, уводящим в сторону от вершинных достижений русской классической литературы. «Лев Николаевич Толстой как-то писал, что вернейшим признаком художника является его чувство природы,— подчеркивал Зарудин.— Великий художник, работая над своими вещами, любил выходить в парк. Здесь, в березовой глуши, на фоне листвы и прозрачной дали он перечитывал написанное, проверяя его правдивость.

— Я всегда сравнивал то, что писал, с этой удивительной правдой,— говорил Лев Николаевич,— и малейшая фальшь сразу нарушала гармонию».

И вместе с тем Зарудин раньше многих других осознал всю порочность литературной групповщины, о чем писал в той же статье: «На воздух! Скорее из затхлой атмосферы кружковщины, схематизма, чванства и заносчивости! Пусть будет меньше похвал, пусть будет жестче правда».

«Перевал», по признанию одного из его глашатаев, критика А. Лежбева, «отдал литературной распри много сил и времени, которые как будто можно было употребить с большей пользой для чисто творческой работы, для художественной практики...»

«Литературный хаос» был преодолен после известного Постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций», когда был создан единый Союз советских писателей.

Природа для Зарудина — не просто человеческая любовь и творческое пристрастие: как первооснова бытия и первородная стихия всего сущего она стала краеугольным камнем его философско-художественной системы, критерием отношения к революционной действительности. По Зарудину, именно природа бесконечно одаривает человека *чувством жизни*:

«Чувство жизни! Этот огонек пламени, то ярко святающийся, то в колебании меркнувший, то опять возгорающийся, один в мирнадах прочих, в шестивии жизни, оставляющем сзади летаргическую темноту прошлого... И не для того ль, чтобы светил он ровным незатуманенным пламенем — не для постоянства ли счастья грохочет в мире, среди мрака и пропастей, благородная и неотступная борьба!»

Справедливы слова Николая Атарова, друга и единомышленника Зарудина, о том, что «два истока творчества — природоведческий и социально-исторический, то разлучались, то сливались» в его произведениях.

Собственно природоведческий аспект в таких зарудинских вещах, как «Древность», «Чувство жизни», «На трех поворотах ручья», «Солнечный хор» чрезвычайно близок припшвинскому: природе он изображает постольку, «поскольку в ней действительно содержится родственный человеку, осмелимся сказать, культурный слой».

В лучших своих рассказах — «Закон яблока», «Снежное племя», «Спящая красавица» — Зарудин естественно соединяет остро-социальное и природоведческое. Способом их соединения нередко становится любовная коллизия, которая будет движущей силой и в повести, и в романе.

«Сад пуст и трагичен.— С такой приглушенно печальной ноты начинается рассказ «Закон яблока».— Пришли дни синего рая — он осыпался первый по-зимнему. В лесах еще досыпается осень, рядом кружит продутая роща, полная клеповых звезд, такая желтая, что кажется освещенной керосиновой лампой; роща светит прямо в черный засыпанный золой сад; от него поднимается вверх нежное голубое море, и тянет, и щет глаза,— и вокруг столько прозрачности и чувства полета, что большие зубчатые листья пьянеют желанием нестись за тридевять земель».

Несмотря на кажущееся отсутствие занимательно-подвижного сюжета, все здесь пульсирует, не затихая ни на одно мгновение: зарождается, и гибнет, и снова пробивается к свету. Так, пригасив свой шум, струится подо льдом река. Так движутся сокровенные соки под шершавой древесной корой.

Никакого затихья или затухания страстей нет в подсудных глубинах рассказа. Прощально шумят осенние леса. «Пожилой юноша», перенесший все трагедийные тяготы гражданской войны, томится в ожидании ответной любви. В пестрых лесах и кустарниках застывает, остеклевившись, река. «Каждая былинка обмирала под заячьим дыханием». В природе назревает крутой перелом — и приходит любовь. С героиней рассказа, впервые попавшей в дремучий лес, происходит что-то совсем непонятное: «Она невольно схватила его за руку. Они стояли друг возле друга, безмолвные,

полные далекого, полутемного чувства». Всею свой черед — время томиться в безнадёжном ожидании и время любить. И вот погас последний день осени, «палател ветер, принес первые сухие спелки и в саду с глухим счастливым стоном сорвалось и тяжко упало в листья последнее яблоко».

Чутким художником уловлено во всех своих оттенках то зыбкое состояние природы, что бывает на стыке поздней осени и ранней зимы. А заодно — и состояние молодого сердца, когда от незамысловатого, может быть, даже слегка черствого любопытства к случайному спутнику оно переходит к любви и становится преобразенным, предельно впечатлительным, согласно отзывается на мельчайшие перемены в природе.

Поэт Ланге (в герое без особого труда угадываются автобиографические черты) вспоминает одну из заповедей своей матери: «Целуй только ту женщину, которую тебе не стыдно привести в круг самых дорогих друзей». Молодая москвичка Надя, которая поначалу кажется скуповатой на проявление подлинных чувств и эгоистично самонадеянной, как это бывает свойственно молодости, сочетает в себе социальный оптимизм и тонкость души. Надю можно привести в круг самых близких друзей.

Великий Гете сказал однажды: кто хочет понять поэта, должен отправиться в его страну. Свою страну Николай Зарудин называл «страной смысла» — границы родины обозначались не только Пятигорском и Нижним Новгородом, но и величественной громадой Кавказских гор, дремучей северной тайгой, далекими берегами Тихого океана; родина включала в себя переулки Арбата, тютчевские березы в окрестностях Мураново и синее небо над песками Средней Азии.

В начале 30-х годов, может быть, как никогда остро встал вопрос о нерасторжимой связи художника и окружающей его действительности — той бурлящей, ослепляющей новизны, которая набирала разбег на глазах всего удивленного человечества.

В советскую литературу прочно вошла тема братства народов, она как бы излучала мощный солнечный свет, раздвигавший рамки прежних социальных отношений.

Пристальный интерес Зарудина к современности, к процессам социалистического строительства обусловил его участие в журнале «Наши достижения», основанном и руководимом М. Горьким с 1929 года вплоть до его смерти. Это издание было задумано как собрание художественных очерков, и особенность его Горький видел в том, что оно «строится на фактах, преобладающих в действительности... Социальная педагогика прошлого воспитывала в

людях искусство мышления об организации понятий, но без познания фактов, лежащих в основе всех понятий, всех идей... «Наши достижения» дают обильнейший материал фактов для организации понятий, идей,— которые — в свою очередь — способствуют созданию новых фактов». За семь лет работы Горький сплотил вокруг журнала творческий коллектив писателей, для которых он стал своим. Прямой заказ литератору темы, намеченной по плану редакции, предварительное обсуждение идеи задуманного произведения, командировки и коллективная работа над тематическими номерами — все, что отличало работу в этом журнале, шло от глубоко демократических взглядов Горького на литературу.

Нашедостиженцы не заскипывались подолгу за письменными столами — они принадлежали к той наиболее подвижной части литераторов, которых с равным правом можно было назвать и путешественниками, и натуралистами, и краеведами, и, самое главное, дотошными летописцами своей эпохи. Их можно было увидеть везде — Иван Катаев принимал активное участие в коллективизации на Кубани, Сергей Диковский подолгу жил среди воинов на дальневосточной границе СССР, Павел Нилин вместе с шахтерами спускался глубоко под своды шахты, среди пастухов-кочевников в туркменской пустыне работал и писал свои рассказы Владимир Козин.

Зарудин был одним из самых непоседливых писателей. В поездках по родной стране родились его роман «Тридцать ночей на винограднике» — о восстановлении винсовхоза «Абрау-Дюрсо», очерки «Путь в страпу смысла» — о тружениках с Урало-Каспийских берегов, «Прекрасная Ойротия» — об алтайской земле, книга путевых заметок об Армении «Когда цветет виноград», лирическая миниатюра о художниках Палеха «Следы на земле» и многие другие. Остались горьковские пометки на полях этих очерков — «о. х.»: «очень хорошо». Сам Зарудин выразил признательность великому учителю во вдохновенном очерке «Дух Земли».

Порой очерковая проза Зарудина и других писателей его круга — романтиков по складу души — кажется излишне живописной, чрезмерно взволнованной. Иногда она просто сбивается на песенный лад. На то были свои причины. Очарование тем, что происходит вокруг тебя, неминуемо ведет к тому, что молодеет душа. Молодость же души переходит в распахнутость чувств, и тогда укрепляется «доверие к миру, который молод и потому сам полон всры в будущее трудового человека».

И в то же время с годами лирическая проза Зарудина становится предельно документальной, приобретает точную топографическую привязку,— это было своеобразное приглашение к путе-

шествию по «страпе смысла», дружеский призыв приблизить к себе самые отдаленные окраины великого государства, страстное желание одарить своего читателя высоко развитым чувством ответственности за порученное дело, за судьбу молодой Советской республики.

«Горький был нашим редактором. Горький учил нас видеть, понимать и любить жизнь,— говорилось в некрологе на смерть Горького, подписанном писателями-пашедостиженцами.— Он прививал нам отвращение к сочинительству и требовал от литературы той убежденности, которая делает искусство слова явлением жизни». Думается, такая убедительная правда присутствовала в лучших книгах Зарудина. Причем правда эта живет не только в его крупных произведениях — романе «Тридцать ночей на винограднике» или в повести «В народном лесу», но и в таком весьма скромном по своим размерам очерке, как «Путь в страну смысла».

Этот очерк — маленький шедевр в творческом наследии Зарудина, великолепный групповой снимок пестрого многосотепного прикаспийского рыбного промысла.

От пмепи всех, кто изображен на нем,— старых и молодых сезонниц, казахов в опушенных мехом шапках, ударников путины,— говорит автор, и взволнованный голос его набирает силу, передает и откровенную горечь по поводу вековой отсталости промысла, и натиск восторга при виде обновления обветшалых форм жизни.

На календарном листке — октябрь 1931 года, и еще нескоро на смену однообразному тягостному труду с рыбными тачками и первобытными чанами придут консервные комбинаты, химия, совершенные машины. Труд резалок, разборщиц, укладчиц, солильщиц — тяжкий труд. «Они, женщины,— писал Зарудин,— пока что еще полуремесленники, временные рабочие, деревня, партизанки труда». Автор не скрывает от читателя неприглядность ближайших окрестностей рыбных промыслов, он как бы нарочито прибегает к приему бытового приземления. И тем контрастно предстают перед читателем приметы грядущего: трудовое соревнование, подлинный демократизм в отношениях, социалистическая гуманность.

Коллективный портрет гурьевских тружеников Зарудин завершает ярчайшим мазком — описанием торжественного вечера, где передовикам труда вручаются премии: «Это был вихрь, радость тел и мускулов, порыв, выражение всех затаенных чувств, веры, уверенности в себе. Это было детство, неумирающее, вечное детство народа, впервые ставшего подлинным народом... Мимо, мимо, вы, мимолетные скорби, тяготы, тени прошлого, зловонные казармы! Мимо, вражда к иноплеменным,— мимо, мимо! Светит месяц, светит яснее, плывет над селами, аулами, городами, озаряет мир, могн-

лы, прошлое, настоящее, будущее, и вот они — новые, дерзкие к неправде, к лени, к косности, к несправедливости, они — народы мира, вместе, плечо к плечу, они — единственный смысл, единственное, неповторимое, ценнейшее земли, неба, облаков, звезд...»

Очерком «Путь в страпу смысла» обозначен новый поворот в творчестве Зарудина. Не потеряв своей живописности и страстной взволнованности, его проза становится более скупой на описания, психологически более углубленной. Если «Древность» и «Закон яблока» создавались на материале природы и лесного охотничьего быта, хорошо знакомого автору еще с юности, то теперь в романтически возвышенную прозу Зарудина вошел новый жизненный материал, который автор мог прежде знать только понаслышке, и она заиграла новыми красками. Не теряя своей высоты, она стала более земной, в ней живут и сталкиваются разные человеческие характеры, она как бы приобрела стереоскопичность и многоголошие.

Непосредственным откликом Зарудина на события 1929 года, года «великого перелома», явился его рассказ «Снежное племя». Здесь налицо и ярко выражены и социальная проблематика, и социально обусловленные характеры. Неотъемлемый пласт зарудинской системы образов — природа — возвышает их до философского обобщения.

Характеры своих героев, оказавшихся попутчиками в командировке в далекое чувашское село на озере Тандов, где организован колхоз «Просвет», автор выявляет через их отношение к первобытной и невежественной жизни «снежного племени».

Если «механические» интеллигенты — орнитолог Николай Александрович и экономист Сергей Иванович явно самоустраиваются из этой среды (первый шлет пакет в «Главнауку», где требует немедленного переселения «пришлых элементов с варварским отношением к памятникам природы», а второй, растеряв по дороге заемную, с чужого голоса теорию о Спартанской республике, испытывает лишь брезгливость и полную беспомощность), то агент крайкома Захаров осознает свою нужность и причастность к жизни малой народности. За внешней дикостью он видит сплоченность племени, среди изуродованных трахомой лиц стариков — «девочку с темными, прелестными глазами».

Символом победы новой жизни становится летящая стая белых гусей: «эта мощная красота, сила и печаль, лучше и светлее которых не видел человек, выводят свое снежное племя — свою верность и жизнь — там, где всего скуднее и беспросветнее мир...»

Жизни деревни посвящает Зарудин и свой рассказ «Спящая красавица», где вся сложность и многообразие колхозных будней даны через восприятие московского журналиста Кривицкого. Чув-

ствуя себя поначалу «слабосильным, насмерть переконфуженным перед какой-то наготой жизни», он поневоле становится слушателем исповедей трех деревенских женщин «чище «Анны Карениной». Его поражает глубина их нравственных переживаний. Неожиданная роль акушерки при молодой хозяйке открывает ему глаза на собственное предназначение в жизни и сближает с простыми людьми.

Зарудин — поэт земной высоты, поэт прозаических будней. Его всегда отличала линия гуманизма и реализма, пристальное внимание к малейшим подробностям революционного быта. Он считал, что наша действительность настолько богата яркими событиями, что зачастую написанный по свежим следам короткий лирический очерк куда важнее рассказа с выдуманными героями, написанного по всем канонам художественной прозы.

В книге путевых очерков «Когда цветет виноград», посвященной Советской Армении, ее виноградарям и строителям электростанций, писатель счастливо нашел свой угол зрения. Для Зарудина знание жизни в первую очередь означает доскональное знание человеческой души. Жизнь бесконечно разнообразна и пестра, но самое интересное в ней — человек, его внутренний мир, его отношения с другими людьми, причастность к движению времени, социальная чуткость ко всему, что происходит в огромном мире.

На склонах Араратской долины Николая Зарудина и Ивана Катаева (друзья совершали поездку по Армении вдвоем) менее всего занимала этнография, быт, даже древняя история, столь щедрая на великие драматические события. Рождение нового человека — вот что в первую очередь интересует летописцев. Выхваченная из действительности живая деталь способна обрести емкость символа.

На курсах при политотделе МТС учатся грамоте армячки из окрестных сел — они изучают основы ленинизма, организацию труда, виноградарство и родной язык. Приезжие гости с удивлением вглядываются «в живость этих женских лиц, с которых еще не сошли тени нужды, болезней, кровавых несчастий и вечных армянских похорон и скорбей». Только что освоившая азы грамоты, полная внутреннего достоинства женщина, «армянская санкюлотка», передает столпным гостям письмо. Оно адресовано Горькому и содержит просьбу помочь установить связь с какой-нибудь безработной из Германии, чтобы поделиться с ней заработанным. С чувством доброй симпатии и искренней радости живописует Зарудин каждый «факт подлинного, освоенного счастья» нового человека на древней земле. Социализм принес Армении национальное возрождение — таков пафос зарудинских впечатлений.

Особняком в творческом наследии Зарудина стоит роман «Тридцать ночей на винограднике». Это не совсем обычная, предельно раскованная проза, сочетающая в себе островки документальности и авторскую исповедь, воспоминания о гражданской войне и размышления о будущем. Жанровое обозначение, сделанное автором, — «роман в восьми повестях» — весьма условно. Есть здесь и элементы путевого дневника с его быстрой сменой впечатлений, и медленная поступь романа. По временам же «Тридцать ночей на винограднике» воспринимаются как пространный лирический репортаж, посвященный восстановлению после гражданской войны знаменитого винодельческого совхоза «Абрау-Дюрсо», на страницах которого автор то и дело размышляет о времени и о себе, о своих товарищах. Уже в наши дни эта жанровая линия будет плодотворно продолжена «Владимирскими проселками» Владимира Солоухина, «Дневными звездами» Ольги Берггольц, «Северным дневником» Юрия Казакова и другими произведениями советской прозы.

Чисто сюжетное построение романа предельно незамысловато. Знойным летом 1930 года в совхозе «Абрау-Дюрсо», в пору созревания виноградной лозы, сошлись на краткое время несколько человек — каждый со своей судьбой и своим взглядом на мир. Живут они в общежитии совхоза, яростно спорят о смысле жизни, о недавней поре революционного аскетизма и о будущем. Автор не называет персонажей романа по фамилиям, он наделяет их красноречивыми прозвищами. Среди них Лирик, он же Овидий; Поджигатель, пламенный партийный пропагандист из Москвы, он же Учитель («...у него тощая грудь, белые с бедными больничными завязками, а он хочет поджигать Европу, переселять буржуазные кварталы, истреблять апельсинные абажуры, — и не примет ничего украшающего, ибо ждет нового стиля»); Живописец из Ленинграда, приехавший в совхоз вместе со своей сестрой — невольной виновницей и жертвой тайных и явных любовных драм; профессор — специалист по виноградарству, «не чуждый российской послеобеденной философии»; Директор («Этот человек видывал виды, в нем ленивое простодушие полководца») и, наконец, Впный секретарь, сокращенно Винсек («В его оттопыренной кривой губе проглядывали шаги уездных канцелярий, мужичьих революций...»).

В бесконечных словесных баталиях, которые герои ведут между собой, чувствуется и высокая взволнованность, и легкая ирония, и различные, порой самые противоречивые взгляды на жизнь. Неукротимый Поджигатель видит счастье в борьбе. Домашний уют, женские письма на столе или цветы — все это от лукавого, считает «Заратустра воинствующего радикализма».

Овидий же убежден, что революция ни в коей мере не отменяет личного счастья. Мир — это освещенный солнцем дом, а не казарма и даже не комната Поджигателя на Сретепке, где нет ничего, кроме сырых стен, книг и пыли на протоколах долгих заседаний.

Своеобразие романа усилено тем, что наряду с героями-символами на его страницах высказывают свои мысли и подлинные работники винсовхоза. Одни из них в той или иной мере принимают сторону Поджигателя (кочегар Придачин, человек по-спартански невзыскательный, живет в общежитии, ему сорок лет, но он никогда не имел своей кровати и никогда не получал ни одного письма: «нечего заниматься пустяками. Есть дела поважнее...»), другие же, вроде старого бондаря Бекельмана, весельчака и жизнелюба, не мыслят счастья без вдохновенной работы и шумных застолий с вином и шутками. Понимая всю сложность человеческого бытия, неназойливо напоминая о диалектической взаимосвязи интересов государства, строящего новую жизнь на развалинах старого мира, и отдельно взятой личности, автор романа подводит нас к мысли, что истинная революция продолжается не там, где царит отказ от всех благ, аскетизм и суровость, где все многообразие неутомимо пылкой жизни подгоняется под власть сухих рационалистических доктрин, а там, где для свободного творчества народных масс открыт широчайший простор. «Жизненная удача, счастье, а следовательно, жизненная талантливость,— заявляет автор,— утвердить в себе наиболее ценного и нужного своему времени».

Споры героев, в которые так искусно влетен каскад авторских апаологий, размышлений и ассоциаций, несут в себе все приметы своего неповторимого времени. Темперамент художника чувствуется во всем — в ритмическом разбеге фразы, в ракурсе пристального взгляда, даже в запальчивости отдельных суждений.

Лиричность зарудинского письма воспламеняет читательское восприятие, высвечивает изнутри самые глубинные понятия о красоте природы, о месте человека под солнцем. Напряженная и страстная речь переливается светом искусно заостренных граней, она наделена порывистыми ритмами, которые пульсируют, взрываются и незаметно исчезают, а затем снова прихотливо возникают, обретая новый разбег,— как те неотступные воспоминания о фронтовой молодости, что с такой щемящей приглушенностью звучат от первой до последней главы романа и делают его пространство необозримым, окутанным синеватым дымком кочевого солдатского ковра.

Исподволь вовлечь читателя в подспудное течение многопланового романа, заставить его жить ритмом и темпом повествования,

нарочито лишённого чисто внешних сюжетных приманок, — значит наполовину уже покорить самого недоверчивого из них, сделать его своим собеседником, дружески настроенным попутчиком. Да, это не совсем обычная проза, импульсивная и броская, во многом щедро наделённая новаторскими поисками, откровенно несущая в себе дерзкий вызов спокойствию старой классической формы. Написанная полвека назад, не оценённая, увы, по достоинству литературной критикой своей поры, проза Николая Зарудина счастливо не растеряла своего задора и жизнелюбия, метафоры «Тридцати почей...» и сейчас поражают, как будто они сотворены нынешней весной.

В романе, завершённом летом тридцать первого года — когда были ещё в ходу обтрепавшиеся солдатские обмотки, принесённые с фронтов гражданской, а бараки оставались чуть ли не главным видом жилья рабочего человека, размышления о близком грядущем идут на таком уровне: «Пора сделать уютным весь мир, украсить его, как огромный освещённый дом, пусть люди поживут в нём полным хозяином... Народы будут запросто приезжать в гости друг к другу, на такой вечеринке будет поинтереснее, чем в двух комнатах Иван Иваныча с раскрашенным граммофоном в углу... Негр на московском бульваре — это океан огромной любви, это песня мировой нежности, это истомившиеся уста миллионов, протянутые через континенты, это величавая дружба, — надо уметь только это почувствовать».

Каждая талантливая книга — это страстное свидетельство очевидца о путях и перепутьях своего времени. В «Поднятой целине» Михаил Шолохов гениально проникает в глубины жизни трудового донского казака в переломную зиму тридцатого года. Роман Александра Малышкина «Люди из захолустья» раскрывает чаяния простого рабочего человека, строившего металлургический комбинат у подножья Магнит-горы. «Тридцать ночей на винограднике» Николая Зарудина доносят до современного читателя жаркие споры, сокровенные размышления русских интеллигентов, волею судеб встретившихся в крымском винсовхозе. Все три романа посвящены событиям 1930 года, и в каждом из них, в меру авторского дарования, глубоко и самобытно показано с разных сторон, какой была молодая Советская Россия, едва оправившаяся от тяжёлых опустошительных последствий гражданской войны и вступившая в пору социалистической реконструкции.

Жизненно важным, затаённым «материковым породам» извечного крестьянского быта посвящена повесть Зарудина «В народном лесу», опубликованная в журнале «Новый мир» за 1936 год.

Повесть эта, пожалуй, наиболее зрелое в художественном отношении произведение писателя. Она вобрала в себя все зримые и незримые приметы послереволюционной русской деревни с ее неукротимым порывом к обновлению и социальной справедливости. Это своего рода хроника глухой лесной деревушки со всеми ее недородами и надеждами, с неторопливым чередованием времен года, с красочными заставками — картинами русского леса.

Повествование о «великом мужицком исходе» написано в предельно сдержанном тоне, в нем нет того многоцветья и порывистых перебросов, которыми так изобилуют, к примеру, «Тридцать почей на винограднике». Здесь более ощутимо сказывается нерасторжимая связь Зарудина с традициями русской классики.

В угрюмых лесах Ветлужья затерялась небольшая, всего в тридцать дворов, деревня Барабаново. Казалось бы, от всего мира с его суетой и тревогой отгорожена она стеной высокого бора, и жить бы ее жителям спокойной размеренной жизнью.. Но с первых же страниц повести слышны тревожные нотки, предчувствие крупных перемен в судьбе глухой лесной деревушки: и в суровой настороженности лесной чащи, и в неугомонном заливистом крике ястреба, летающего над усадьбой Шатрова, и в зареве полночного пожара.

В этой повести со всей силой и откровенностью проявил Зарудин свой пристальный интерес к социальной сути явления. Ему по душе резкие характеры, уходящие своими корнями во многовековой уклад русского крестьянского быта, испытание этих характеров на ломку. Зарудинские мужики тесно связаны со своей средой и своим временем. Рядом с такими кряжистыми и хваткими типами, как кулаки Шатровы, представляющими вчерашний день темной российской деревни, но и приспособляющимися ради сохранения старых порядков, предстают колоритнейшие второстепенные персонажи — Курицовы, Грибановы, с их приписанностью, забитостью и житейской лукавостью, извечной нуждой и зыбкими надеждами, что жизнь исправится сама по себе.

Крушением романтических надежд на счастливую семейную жизнь обернулось для москвички Ольги грозное лето, проведенное в Барабаново. Неизвязчиво, искусными тонкими штрихами показывает писатель, как муж день за днем отдаляется от нее, становится чужим. По-разному смотрят москвичи на местных крестьян. Для Николая Леонидовича Анна Удалова — просто бабка без роду и племени, для Ольги же — хранительница лесных тайн и народных поверий, голубиная душа, ягодуница, грибуница, сказительница. Легким пунктиром, намеками дано, что Николай Леонидович из тех, кто видел в кулацких хозяйствах судьбу деревни и государства. Бывший эсер, он держит сторону Шатрова с

его богатейшим хутором, где все есть — и заморский сепаратор, и кузница с цементированным полом, и наемные работницы, которых тот выдает за учеников своей слесарной мастерской. У молодой жены Николая Леопидовича нет ни опыта, ни нужных знаний, чтобы разобраться во всех сложностях той незатихающей коловерти, что раздирала русскую деревню. Но своей чуткой душой она улавливает: правда на стороне Удаловых, время прижимистых хуторян Шатровых, одержимых страстью властолюбия и стяжательства, безвозвратно прошло.

Писателю важно было показать глубочайший процесс преобразования человеческой души, ее неукротимый порыв к новой жизни. Вернее всего для этой роли подходила застенчивая, жестоко обиженная судьбой Анна.

По-детски ликует она, когда узнает, что к ним, в глухомань, приезжает семейная пара из Москвы. Вот в ожидании гостей удаловская горбунья прибирает избу — моет, скребет, обметает у печки, в третий раз перемывает щелоком старые лавки и половицы, где памятна каждая отметина.

«Закурнулись замшелые баньки за огородами, и в пару и в дыму сладко, родильно захохали бабы, — весна! За шумели тридцать барабановских домов. Гордо и важно понесли сытые бабочки полоскать прокопченные мужщины портки и рубахи к реке. Сладко звали по утрам молодые мужики, выходя за ворота, и почесывались, задирая голову к солнцу». — Так с первых же страниц повести начинает звучать тема обновления в природе и в жизни «в далеких, нежилых краях».

Образ Анны, преобразование «хворой и несчастенькой» в вожака колхозной жизни, — пожалуй, самая большая художественная удача Зарудина. Геронья олицетворяет собой поэтичность женской души с ее бескорыстием и любовью ко всему живому. Глазами Анны смотрит автор на окружающий мир с неторопливым чередованием времен года. Порой она как бы превращается в полусказочный собирательный образ. С Анной связаны самые проникновенные страницы повести.

Большое искусство, по убеждению Зарудина, никогда не терпело случайных фигур, необязательных событий, не имеющих значения для будущего. «Можно сказать, — писал он в статье «Поэзия как человечность» (1935), — что истинным художником оказывается тот, чья художественная идея осталась живой силой в генеральном плане развития образа *Человека*». Анна Удалова выступает хранительницей всего заветного и сокровенного; при всей своей кажущейся незащищенности это нравственно сильная натура. Без кроткой Анны можно представить течение всех хозяйственных работ в деревне, но попробуйте оторвать из духовного бытия Бара-

баново все ее потаенные надежды, размышления и мечты, ее *нена- сытное* сердце, и панорама деревенской жизни заметно потускнеет.

Советская литература щедрой рукой вывела целую галерею удивительнейших женских характеров, начиная от Ниловны из горьковской «Матери» и кончая деревенскими старухами Валентина Распутина, с их обостренной душевной чуткостью ко всему, что происходит в ближнем и дальнем мире. Среди этих живых самобытных характеров занимает свое место и Анна Удалова из «народного леса».

Картины дремучего ветлужского бора,— едва ли не лучшие из пейзажных вкраплений в этом многоплановом произведении,— сродни лесным полотнам знаменитого «Русского леса» Леонида Леонова. Человек, создающий новую жизнь, не может расстаться с древней природой, красота должна быть бережно сохранена. Трепетное ощущение величия и бессмертия живой природы, существующей вокруг,— залог душевной силы и красоты человека, даже если на его долю и выпало (как на долю Анны Удаловой) немало горя и мытарств.

В наше время много говорится и пишется о том, что связи человека с природой то и дело нарушаются. И проигрывает от этого, как известно, не только природа... Вот с каким благоговейным чувством писал о русском лесу Николай Зарудин задолго до наших дней с их ускоренным ритмом и сменой впечатлений: «Все — сказки, преданья, труд и заботы, ночи и звезды, ягоды, счастье находок, порой и грозу и шум народного моря — таил в себе лес. Лишь облако белое да голубые просветы вверху,— нет, не качнется... нет, не обмахнет — напоит, накормит, согреет в мороз,— бездонно, полночно, и звезды хрустят в конюшне вперемежку с овсом; ни белка, ни черный петух и не рысь, все тихо, свято молчанье,— под снегом деревца, там — давно улеглись... И стоит человек, хорошеет,— и есть ли где лучше?»

Так уж сложилась судьба Зарудина, что повесть «В народном лесу» стала последним произведением, опубликованным при жизни автора, и мы можем только догадываться, какие новые романы, повести и рассказы могли бы выйти из-под пера этого самобытного мастера. Жизнь его оборвалась трагически. Он не дожил до сорока лет. Но книгам Николая Зарудина суждена долгая жизнь. В истории молодой советской литературы ему обеспечено видное место жизнелюбивого художника, талантливого летописца «страны смысла».

*Владимир Кривцов*

# ТРИДЦАТЬ НОЧЕЙ НА ВИНОГРАДНИКЕ

---

РОМАН В ВОСЬМИ  
ПОВЕСТЯХ

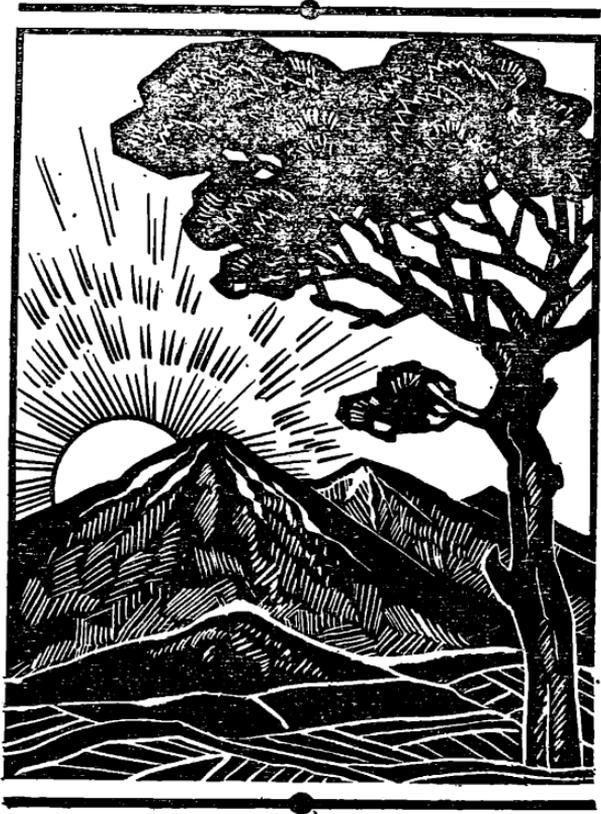
*В Союзе Советов происходит борьба разумно организованной воли трудовых масс против стихийных сил природы и против той «стихийности» в человеке, которая по существу своему есть не что иное, как инстинктивный анархизм личности, воспитанный веками давления на нее со стороны классового государства. Эта борьба и есть основное содержание текущей действительности...*

*М. Горький. «Правда», 21/V-31 г.*

*Sapias, vina liques.*

*Будь умна, очищай вино.*

*Гораций. Ода к Левконое*



НЕУНЫВАЮЩИЙ ДРУГ — МОЙ ДОБРЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!  
ПОВЕСТВОВАНИЕ ПЕРВОЕ ГЛАСИТ

## ПРОШЛОЕ ВЫХОДИТ НА ЧЕТЫРЕХ ЛАПАХ

---

*Совхоз «Абрау-Дюрсо», бывшее удельное имение, находится на восточном берегу Черного моря, под 43—44 градусами северной широты и 35—37 градусами восточной долготы от Гринвича...*

*Энциклопедическая справка*

### 1

Медведь вышел косматой легендой в долину в позднюю ночь семнадцатого августа тридцатого года. Сверчки и цикады смолкли. Море баюкало ночь, и горы шли над ним к Арарату.

Лето старело. Еще наливались листья и травы, звезды звали страстно жить и надеяться, но темные плески ручьев уже пылали вездешнею свежестью.

Иссякали белые раскаленные дни. На скумпии пробуждались тихие лиловые краски. Созревали бездонные ночи. Никогда кизил не был так красен от ягод. На виноградниках уже давно гнулась проволока, и солнце работало с утра до желтого вечера.

Летучие мыши чертили мудрости: они слышали поступь августа.

Зверь сошел с гор, его бурая шерсть темнела близкою осенью, он брел медленно, слушая ночь, нюхая звезды. На Кавказе молчала земля. Народы спали в аулах и городах. На участках, где сладко синели полные кисти, сторожа думали о новой жизни. Зверь шел долиной, переваливаясь на осторожных когтистых лапах.

Иначе пахли дороги, иначе шуршали стгнившие листья.

Все становилось новым, никогда горы так не менялись. Ближе стучали топоры, опасности приходили неожиданно, запахи становились непопятнее. Века изменяли.

Веснами, когда гремели речки и пригревались дни, в лесах становилось сухо, светло, зверь поднимался в горы, бродил перевалами; тогда свистали птицы, шуршали травы, выступали синим прохладным дыханьем подснежники, поднимая мертвые листья. Веснами, с голубыми и красными примулами, расцветал кругом мир, вышедший из-под морей. Леса развязывали листья. Зверь уходил выше и выше; в исходах ночей, обезумев от солнца и горячей, кровавой тоски, он ревел, поднимаясь на дыбы, его жреческий рев, как дым, поднимался из окаменевших эпох. Тогда, на зорях, горы отвечали ему пустотой, — и дальше, и глуше уходил он в поисках древнего. Потом бурела весна, стихали птицы, тропы зарастали непроходимо, — а с ягодами, плодами и каштанами он снова выходил к долинам, где море пахло потопом и араратскими ветками.

И зверь становился еще осторожнее, чуя старое море, сошедшее с гор.

Тишина и тоска.

Тишина на Кавказе — как плод, готовый упасть.

— Тах-та-ра-рах! — с холмов издаликат покатился огненный выстрел. Медведь слушал. Выстрел шумно раскололся в горах. Ночь, осевшая на меловых хребтах, разнесла его вдаль. В камнях, рассыпавшихся доюрской формацией, проснулось окаменевшее прошлое. Медведь, поднявшись на задние лапы, быстро повернулся назад и ушел в старую ночь.

Стрелял ночной сторож заслуженного государственного хозяйства советских республик товарищ Жан-Суа Ван-си, выходец из города Пекина. Присутствием своим здесь в горах, под 43—44 градусами северной широты и 35—37 градусами восточной долготы от Гринвича, он показывает нам дату происходящего: тринадцатый год от второго сотворения мира, не имеющего орографической легенды об Арарате.

## АРГОНАВТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЛЫВУТ ЗА РУНОМ

---

*«Абрау» расположено на берегу горного озера (лимана) того же наименования, находящегося в 90 метрах над уровнем моря. Окружающие склоны горы не очень высоки, но склоны их к озеру круги и удобны лишь для разведения винограда.*

*Из архивных бумаг*

2

Новорожденное утро, Кавказ, тишина, сквозь дубовые ветки — ослепительный день, летящий в открытое настезь окно нашей веселой земли. Так мир утверждает богатство каждого странника.

...Нас поселили вместе, в комнатах, где некогда жил царский управляющий и где ничто уже не говорит о былой тесноте заглушающей роскоши. Весь дом пустеет канцелярскою гулкостью и блестит прохладой просторных масляных стен. Электрическая лампочка озаряет простор общежития. Свет ее общественно-замкнут, существует сам по себе, и людям, не привыкшим чувствовать себя дома под любым небом, он наверно расскажет об уборной, о тюремной камере, о казарме. В комнате теплеют пять кроватей. Следовательно, будут постоянно новые люди, уют, как я его понимаю.

Мы с Поджигателем почувствовали себя прекрасно в этих местах, сразу завладели ящиками комода и разложили в них свое кочевое имущество. Лирик поместился у окна и молчал целый вечер. Кажется, ему не по себе: бедный Овидий чувствует себя словно под скифской вьюгой. Но я не хочу что-либо сказать этим: мне тридцать лет, я давно понял, что не настолько богат, чтобы позволять себе бедные суждения о людях.

Первый вечер под новыми звездами.

Мы улеглись рано, из окна тянуло прохладным черным югом, трели сверчков и оркестр цикад вливали в холодок ночи живое серебро.

Поджигатель давно размотал грубые обмотки, его огромные солдатские башмаки оскалились на полу. Хорошо бы сунуть туда славный подарок: добрые феи, рождественские гуси и чудачки-дядюшки мерещатся в такие скитальческие вечера. Из уюта белой теплой норы, где отсыщается человек, поднимаются детские, наивные думы о близком, родном мировом тепле. Они то отдаются в дальних отзвуках жизни колесами старого кэба, громыхающего ночными улицами, то запевают диккенсовским сверчком, то гулко стучат дверным молотком в западной части морозящего туманом Лондона. Может быть, то мерещатся сосны Норвегии, дым дровосека, глухая зима со следами белок, одинокий дом и седая дама, вяжущая чулок у окна. Много приходит чувств в общежитиях, на фронтах, на вокзалах. Но все это чепуха! Отлично засыпать вместе с людьми большой бесконечной дороги. В скитаниях, странствиях, вдали от привычных чувств и знакомых лиц, заброшенных в мире, задушевно перебирает человек детские чувства...

Дремлет огромный, переполненный мир — в домах, гнездах, норах и берлогах. Нет смерти, холода, вьюг, бездорожья. Земной шар, как заяц, свернулся в морозе пространств и шевелит пушистыми ушами... Тепло. До рассвета не скоро. Длинна, ах, длинна непроглядная ночь! Так засыпал, думаю я, Амундсен, забравшись в спальный мешок на Северном полюсе. Я спал так же счастливо на вокзалах, примостившись на подоконнике, над желтым дымом солдатских стихий, засыпал я отлично на полках для багажа под Царицыном в поездах прифронтальной полосы, у костров, рядом с мертвецами, в бараках больниц, черт знает где. Это был лучший уют в жизни. Важно знать, что ты находишься в мире, рядом с людьми. Уют только там, где нет бегства от тысяч тебе подобных. Так я понимаю жизнь.

Должен признаться, меня всегда интересовало то, что прочно скрыто за окнами... Зачем люди прячутся в комнаты? Они теряют самое ценное, они кончают день, маленький год жизни, где они навсегда изменились, и засыпают — без взгляда товарища, без веселья детского дружества. Кто мне расскажет, как укладывается спать человек,

известный всем, а поэтому не известный никому? Быть может, он презабавно стаскивает носки, он, как зверек, заботливо прочищает пальцы на ногах, у него никелированная кровать с ужасными шарами, спальня туфли стоптаны пабок, и он болтает жене всякие глупости?

Я доволен, что множество дней провел в общежитиях и кое-что видел. Я вполне разделяю взгляды Поджигателя на преобразование жизни. Я видел, как он раздевался: у него тощая грудь, белье с бедными больничными завязками, а он хочет поджигать Европу, переселять буржуазные кварталы, истреблять апельсиновые абажуры, — и не приемлет ничего украшающего, ибо ждет нового стиля.

Он не носит воротничков, презирает галстуки. Наверное, он прав: нам кажутся смешными кружевные жабо средневековья, камзолы, похожие на птичьи туловища, и чулки кавалеров, как петушиные гордые ноги со шпорами. Фрак и цилиндр давно сделались символами враждебного. В самом деле, я никак не могу представить Поджигателя в подобном дурацком костюме. В Абрау катались бы с хохота, а мальчишки свистали, забегая вперед. А этот лоснящийся шелковый колпак! Я соглашаюсь с Поджигателем в определении природы буржуазного костюма.

— Что такое ваш воротничок, подпирающий голову, и галстук яркого шелка? — говорил кудлатый якобинец Овидию. — Вы продолжаете традицию фабрикантов и лавочников... Буржуа склонен облагораживать свою голову, где под ослиными костями сидит его тупой мозг. Ему хочется представлять себя в виде душистого цветка. Голова его поднимается под белоснежным венчиком. Руки выходят из белых лепестков манжет. Он оснащен духами. А толстое гнилое брюхо грациозно покачивается в соловьиных перьях, кончаясь очаровательным птичьим хвостом... Соловей и роза! Нарцисс и кенарь! Костюм буржуа — это надувательство, такое же, как надувательство идеализма... Я рекомендую вам, — прибавлял Поджигатель, — подушить голову... Это будет совершенно логично.

Овидий спорил, но я думаю, что наш Учитель прав. Он прав, наш неистовый и добрейший политработник. Я увидел, как он засыпал, скорчившись под грошовым одеялом, и улыбался во сне. Такая улыбка может быть только на лицах пророков. Он прав и потому, что его не встретишь нигде, кроме нашей страны, вездесущей части планеты, вышедшей из потопа мировых войн, из хаоса кризисов, голода и пессимизма. При втором сотворении он сошел на

землю одним из первых. Я говорю так, имея в виду свое поколение.

Мы улеглись рано в наш первый кавказский вечер. Я сказал:

— Спокойной ночи, Поджигатель! Спокойной ночи, Овидий!

И они заснули отлично, мои добрые друзья, хотя сверчки кричали всю ночь напролет.

Утром меня разбудили голоса и смех, похожий на лошадиное ржание. Я увидел перед собой бодрого человека с красным лицом, в солидных золотых очках. С ним явился дежурный телефонист управления, которого мы видели вчера. Фамилия его, кажется, Родкевич, он запомнился мне тишей улыбки и приязнью. Он втащил в нашу комнату огромный ковровый баул и поставил на пустую кровать, как раз против меня.

— Константин Степанович,— заорал на него краснощекий приезжий,— премного благодарствую!.. Клопов у вас здесь не полагается? Ха-ха! — засмеялся он, отирая пот с лица.— Славно, славно!.. Ну-с, так. Позвольте... А это... что такое?

Он уставился на меня и бесцеремонно обвел наши постели широким ораторским жестом:

— Молодые люди... Как? Еще спать? Спать сейчас, когда я на перекладных гнал сюда, за тридевять земель? Молодые люди! А! (Знаю, все знаю: литераторы, художники, публицисты — цвет поколения...) — И вдруг краснощекий чудак, замахав руками, накинулся на Родкевича: — Кон-стан-тин Степа-нович! Да что же это такое? Непорядки! Разбой-с!.. Нет-с, молодые люди, вставать, вставать немедленно! Сию же минуту вставать!

Он окатывал лысину телефониста потоком выславшегося довольства. Восклицательные знаки летели, как стрелы. «Профессор, профессор...» — услышал я сквозь туман пробуждения. Константин Степанович улыбался служебной скромностью, краснощекий бурно и стремительно катил на нас лавину утреннего оптимизма.

— Боже мой! — стонал он, кидаясь к окну.— Смотрите на эти горы! Совсем как у Пушкина: «Да, хороши они, кавказские вершины...» Чудесно! А как сказано! А? Хороши, хороши... Мы осмотрим их досконально. Ха-ха-ха! — Он хохотал и восторгался всем своим сочным телом.

Голова Поджигателя испуганно поднялась с подушки. Овидий недоуменно и зло протирает глаза.

Чудак громыхал природой, хохотал, осматривал нас в упор через выкаченные жабы очи, голос его звучал над самым ухом велосипедным гудком. Натуженное сиреневое лицо его выдавливало мутную синеву опытных, холодно-ватых глаз. Где-то я слышал этот круглый, упитанный голос... Профессор наворачивал в моих ощущениях упругие велосипедные педали, толстый зад его еле попевал за льющимися солнцем спицами, он катил через Кавказ из невообразимых времен, где существовали портные «штатского и духовного платья», пышно росла бузина, закаты опускались с колокольным звоном в лопухи, а чай пили в чесучовых пропотевших пиджаках. Профессор попевал, догоняя времена. Не запомнил ли я этот голос с митинга, где голосовали за Учредительное?..

Но эта сила средней уравновешенной жизни!.. Она сильнее всего в велосипедистах. Какая неопровержимость, бьющая струей рукомыльника!

Так. Профессор ходит по комнате, как важный белый гусь, снисходительно озирающий мир с высоты гладкой, перышко к перышку, шеи. Он смотрит на свет желтый, мутный графин (все графины от старой России желтые), щупает добротность одеяла на моей кровати, быстрооко определяет социальную значимость ботинок и клетчатых портянок Поджигателя. Щегольские полуботинки Овидия его, по-видимому, мало интересуют.

— Так-с, так-с... — продолжает он, протирая очки. — Ну, вот мы и в Абрау — жемчужине-с пролетарского государства... Я очень рад познакомиться, — он делает приветственный бархатистый жест в голосе. — Тем более с представителями литературы, мысли. Хорошо-с, очень хорошо-с! Надеюсь, осмотрим все достопримечательности вместе... Ну-с, так!.. А теперь — будем завтракать, Константин Степанович? А? Конечно. Всякий живет ради своего маленького куска масла...

Чудак открывает баул, вытаскивает хлеб, ножи, вилки, банки из-под какао, бутылку с молоком. Он говорит без умолку, намазывает хлеб маслом и медом, облупливает яйца и сострадательно к самому себе пережевывает и глотает, раздуваясь лягушкой. Он питается не спеша, с задушевной грустью к собственной бренности. Подобные вещи прекрасно уживаются с надсоновской поэзией и едой на велосипеде.

Мы одевались, а профессор, отпустив Константина Степановича, развертывал подробную дислокацию своих жиз-

ненных планов. Знаем ли мы, что сало достигает восьми рублей? Известно ли нам, что его жена страдает нефритом? Узнали ли мы действие ветров и циклонов на урожайность?.. Он закидывал нас перекрестным огнем, и мы позорно отступали перед этим натиском жизненной правды.

— Интеллигентщина! Оторванность от жизни! — грохнул нас профессор. — Жиры, жиры — в них половина жизни... Ай-я-я-яй! — качал он головой. — В наше время не интересоваться подобными вещами!

Овидий мрачно молчал: он не переносил углубления в личную экономику. Упоминание о сале вызвало на губах Поджигателя подозрительную усмешку. Ни слова не говоря, он хладнокровно шнуровал ботинок лохматой веревкой.

Чудак продолжал питаться.

Над нами летели ветры и циклоны, первобытные почвы на глазах насыщались продуктами разложений и выветриваний. Профессор пишет научную работу: его интересует соотношение климата и производительности виноградных лоз, характер их изменений под влиянием нрд-остов. Он приехал осмотреть виноградники, выяснить кривые, установить все данные о ветрах и о бурях, полюбоваться, захватить несколько бутылок вина... Кстати, не знает ли Поджигатель твердых цен на шампанское? Нет? Из этого еще не следует застенчивое молчание, — нет, и еще раз нет. Профессор рад встрече и полон интереса к широким вопросам общественной мысли, он чрезвычайно польщен знакомством и надеется получить будущие труды. Хотя он и не читает современных писателей: «Ах, Пушкин, Пушкин! Можно ли писать после него?» — но он обязательно прочтет и будет обязан признательно. И он, конечно, проведет эти дни с нами, как с людьми *партийными*...

Он ел розовое сало, милейший профессор, и произнес эти слова, не убавляя педалей, бравших неприступные горы. Он наворачивал на колеса всем толстозадим уютом и неся через кавказские хребты понятий, не опасаясь за пищеварение. Велосипедные спицы поднимали сухую пыльцу у самого носа Поджигателя, профессорские грузные брюки обвевали его ветерком. Толстяк легко брал тягчайшие перевалы, где воздух задышался от бездны.

— Вы пар-тий-ный? — наступал снова профессор. — Я так и думал... Нюх, нюх, молодые друзья! Нюх родного,

социального... Партия! Для нас это не простое слово, не абстракция. Нам, почти прожившим долгую жизнь борьбы, приятно быть рядом... Я и сам в свое время грешил идеями. Как же, как же! И еще как! И вот теперь встретились. Приятно, приятно, тем более здесь, в этом храме примиряющей природы... Вы, конечно, настоящий коммунист? — спрашивал он Поджигателя, отрезывая сало. — И убежденный?

— Я член Коммунистической партии, — ответил Поджигатель довольно неприязненно. — А товарищи — вольнодумцы. Я бы сказал — почти марксисты.

— Очень приятно. — Велосипед-профессор обдал нас искоса сухоньким ветерком. — Очень приятно. Я разделяю великое учение Маркса. Правда, есть небольшое «но», но это не существенно. Марксизм слишком молодая наука. Как вы полагаете? Ради бога, ради бога, — замахал он руками на Поджигателя, — только не начинайте возражать... Мои сомнения крайне незначительны... тем более, можно ли говорить об этом сейчас? Помните, как это... «Когда волнуется желтеющая нива... И воздух... как это?.. ждет... дыханья ветерка»... Там дальше, ну, помните... слива... и прочее. Но как это прекрасно сказано, — он прочитал стихотворение грозно, с легкой дымкой: — «То-г-да смиряется моей души тревога... И в небесах я вижу»... — Он запнулся, но мгновенно выправился: — Нет, как писали, как писали! — заволновался он: — Вы вдумайтесь: «Тогда смиряется моей души тревога»... Боже мой! Нет! Нет, скорее туда — к морю, к солнцу, к вечности... Да, да, не улыбайтесь... Вам, молодым, трудно понять нас, стариков. Мы романтики, мы искали красоту в жизни... А как любили, как чисто и нежно любили! Кто может из вас, даже из самых лучших, пожертвовать всем ради любимой девушки? И кто может плакать над ней, как плакали мы, — да, да, плакали, полные идеалов и стремлений...

Типина.

— М-да! — промямлил Овидий.

Профессор вздохнул и вытер толстые губы солевой бумагой, комкая ее в мятую бомбу.

Пауза.

В окна влетал день с дубовыми ветками, с воздухом ядовито-ярким, — как аптечные шары, палитые купоросом. В окнах опрокидывались вверх горы, и синие шапки их падали вниз.

Мы оделись, закусили черствым хлебом, вымылись студеной водой, а профессор пошел в уборную. Он встретит нас в парке у фонтана. Мы собираемся и приводим в порядок постели.

— Что это за чучело? — спрашивает нас красивый Овидий, завязывая малиновый галстук. Белая рубашка с отложным воротом сидит на нем ослепительно изящно. — Анальная личность. Не пишет ли он романа о первой любви к трактору? Надо будет вывести его на чистую воду. — И он раздумчиво смотрит в зеркало.

— Определенная сволочь! — мычит Поджигатель. — И вдобавок, смазанная мылом. Факт, что вредитель.

— Ну, это надо доказать. Вы слишком нетерпимы. Это пахнет нигилизмом по отношению к людям... Вы готовы поливать всех серной кислотой... — Я пытался развить теорию о любви к материалу. — Вот Толстой, смотрите, как это он о кирасирах: «Какие животные — а как красиво». Ваш подход к людям не выдерживает никакой критики. Вы ничего не напишете, кроме газетных статей, Поджигатель!

— Не напишу? — Он уставил на меня взгляд, упорный, как лампочка в кабинете захолустного парткома, одна, одна наверху: — Ну и что же? Моя задача сигнализировать общественности, не больше. К черту эстетика!

— Ну, это положим, — вмешался Овидий, — наша задача синтезировать. Я против дуализма. Социологический метод — только одна сторона медали.

Внизу, на площадке у здания, утро охватило нас ослепительной силой. Кругом леса спорили с небом, озеро, восходя сиянием, спорило с солнцем, жар страстно боролся с прохладой. В управлении уже стучала машинка и звонил телефон. Профессор ожидал нас у фонтана и смотрел молитвенно. Горы смело кидали, ловили и уносили даль, совхоз выхватывал из сине-зеленых скатертей красные и белые клочья. Вопиющий беспорядок лесов, холмов и кустарников торжественно возносился перевернутой вверх дном, затаенной мечтой великого живописца. Красиво? Я, право, не знаю. Кавказ давно изуродован красотой, сегодня он перечеркнул лазурным карандашом всех учителей чистописания. Но профессор стоял изваяньем и любовался.

— Швейцария! — произнес он торжественно и вечно. — Русская Швейцария... Да, мы не умеем беречь и ценить красоту.

Аминь.

...Мы сходим по каменным лесенкам вниз. Винное царство дает о себе знать рядами бочек, уставленных перед зданием столового подвала.

Прекрасный день! Разогретые кусты еще посылают вам остатки прохладной ночи, полной аптекарских запахов. На меловых дорогах день пылит сухие, потрескавшиеся бапмаки. Кругом, со всех сторон, по склонам толпящихся гор виноградники квадратами, рядами и треугольниками наступают на здания. Они раскидывают батальную картину петровских времен, — я уже видел это утро с теоремами полков, полки выстроены друг против друга живыми кусками и стоят во фронт. Сражение застыло вечно.

Тишина, тишина. Караульные будки перекликаются по холмам яркими крышами. Колбочая проволока окружает полки. «Вход на виноградники воспрещен» — красуется на объявлениях, прибитых к столбам. Погреба вин стоят, как военные тайны, окруженные маятниками караулов. Кажется, что в бочках, заключенных за этими строгими стенами, покоятся взрывные, ужасные силы пороха и динамита.

Вино! Запретное вино детства, военных годов, фронтовых ячеек... В нем какое-то чувство невероятия, нагромождения тайн.

Так, когда-то, впервые попав в армию, я никак не мог представить себе, что пушки, стоявшие десятилетиями в чехлах, изучаемые каждодневно до последнего винта механизма, будут наконец говорить на языке невероятия, истребляя огнем и железом. Да и могут ли они вообще стрелять? Не детская ли это игра, этот педантизм и суровость, где часовой охраняет пустой денежный ящик, вокруг которого витает железный дымок чести и ответственности? Шла длинная скука дней, разборка и сборка частей, мы тщетно ждали, когда нас подпустят к настоящим снарядам. Динамит войны лежал сокровенно.

В батарее, где я познал сущность мира, меня зачаровывала именно эта тайна игры в значительность. Гаубицы стояли простым скопищем частей и конструкций. Шли дни. Я давно перестал верить, что эти стальные мирные твари способны на ужасы, что именно из них всерьез возможно заносить через версты волчок огненной гибели.

Уставы истязали чопорной мелочностью и педантизмом. Но пришел день, с орудий сняли чехлы, и живой снаряженный снаряд появился в молчанье, при котором

рука невольно тянется к шапке. Его вынесли священнодейственно. Командиры стояли вокруг в защитной непреклонности и воле. Лязгнула боевая команда. Никогда не забуду, как, мягко чавкая в масле, вышли ослепительно чистые части замка с винтовыми нарезами. Недра орудия светились голою сталью; бесстыдство того, что готовила смерть, походило на бесстыдство любви, открытой впервые в юности. Так профессор в анатомической камере, окруженный студентами, сдергивает простыню со стола, распахивая перед глазами обнаженный, разрезанный труп женщины. Стоит великая тишина, выступает все то, что создано всерьез, что знает каждый, но никогда не верит в это окончательно. И все глаза смотрят вперед с чувством жуткой радости и любопытства. Когда же придет эта тайна в жизнь, когда мертвое, обнаженное, раскроется для каждого в живом? Об этом не скажут таблицы и раскрашенные плакаты медицинских музеев, где страшно от простоты, что все такое, что это все до слез обвиняло в раскрытии и, вместе, грозит крушением всех очарований, не знает пощады и вот-вот обрушится громадою смысла, заключенного в правде и безобразии наготы.

Так я переживал ожидание женщины и войны. Когда гаубицы вскрылись своим истинным смыслом, я узнал пьяное бесстыдство истребления. Святость боевых уставов и полудетской игры сменились бешеной волей и действием, первый ослепительный электрический удар разорвал резиновый воздух и, присев к земле металлической судорогой, рванулся вдаль потрясающим жужжанием... Так я познал войну и прошел через ее взрывы автоматизмом действия, забыв о библейской суровости законов сборки и разборки частей.

— Но какое отношение имеют ваши мысли к вину? — мог бы спросить Овидий, которому я изложил подобную интермедию.

Он шел насвистывая, профессор и Поджигатель ушли далеко вперед.

— Какое? Я хотел лишь сказать, что понимаю правительство, ставящее у винных погребов боевую тишину армии. Динамит нуждается в покое. Я полагаю, что человека нужно держать в отдалении от арсеналов, как нас держали в батарее гаубичного артиллерийского дивизиона. Все обнаженное нуждается в караулах. Человек должен подступать к динамиту со зрелым сознанием. Тогда он найдет

силы не уронить смысла вещей до цинизма. Он знает все и не потеряет ничего. Я бесконечно благодарен своим командирам и политработникам.

Овидий слушал, беззаботно ощипывая кизил, нагибавшийся по бокам дороги.

Мы поднялись в горы, озеро давно скрылось внизу, виноградники, протянутые на серых россыпях плоских камней, кончились. Сухая каменистая дорога то черпала сырую прохладу глубоких провалов, то обмахивалась шершавыми ветками от солнечной духоты высот. Необозримо простиралась даль. Лето, полное загара, трепетало на листьях, и сойки срывались с дубов и грабов, разламывая тишину на стеклянные осколки.

Жизнь упоенно и сладко играла, прыгая с гор в голубые пропасти. перевал уходил вниз. Мы спустились в ущелье, под тень лапчатых листьев. Обмытые гладкие камни, разбросанные весенними потоками, лежали сухими руслами, непроходимые заросли ползучих растений заплетали вокруг тропинки. Но где же профессор с его морской фуражкой, играющей лаковым молодцеватым козырьком? Где наш суровый Учитель и якобинец?

Мы взбираемся на отвесную солнечную вершину, висящую в небе зеленым мохнатым чудом. Камни цепляются за наши подошвы, кизильи ветки обжигают шею шершавым щекочущим зудом, и в груди сердце задыхается остановками жизни. Овидий тщетно зовет Поджигателя, ему вторят лишь гулкие пропасти. Едва-едва, откуда-то с самого неба, до нас долетает слабый ветерок крика...

Это они. Мы лезем выше и выше, и наконец на гладкой скале, обращенной в нежную высь, среди пустоты и прозрачности мы видим двух людей, затерянных в благовесте ослепительной силы пространств. Мы приближаемся к ним, тропинка поднимается все круче и круче, — последний кустарник, скользкая плита каменной плоскости, — и широчайшее, необозримое ослепляет глаза...

Мгновенно, чудовищной лазурной вспышкой, искрометным током пронзается мир. Простор вскидывает крылья, слагает их вместе, ахают горы, испуг их подхвачен вздохом, простор бледнеет, как смерть, срывается в пропасть и вдруг разверзается кипящей пучиной. «Ах!» — только и успеваешь воскликнуть он и исчезает...

Море принимает жизнь и похищает глаза.

Море.

Скала приготовилась к прыжку. На нее с небрежных грозных высот катится второе небо, не останавливаясь ни на миг, галлюцинируя блестками.

Поджигатель сидит, погруженный в камни, в его очках отражен голубой свет. Он сидит, упершись локтями в худые колени, окатываемый мировыми волнами и дуновениями, и добродушно морщится, конфузливо улыбаясь.

Море, море, море... И еще, и еще... Оно идет, переливаясь через края земли, журчит солнцем и музыкой вод. Оно затопляет небо, благоухает светом и примиряет даль с берегами. Там, внизу, камешки, как дети, заняты разноцветной игрой.

— Какая красота! Какая красота! — не слышит ничего профессор, сняв картуз и меланхолично сложив руки на животе.

Он покачивает головой, сожалея всех, кому недоступно прекрасное. Мы стоим и молчим. Неслышанный ветер обвеивает лицо ясною свежестью.

Молчание. Тысячи пауз.

— Вы не видели... китайца? — вдруг спрашивает Поджигатель, и я удивляюсь, как жалок и тщедушен его голос. Он поднимается с камня, худое тело его кажется застенчивым. Он словно растворяется с прекрасной вечностью и выходит из ее вод, корчась от человеческих глаз. — Китайца Жан-Суа? — переспрашивает он. — Мы встретили его у виноградников.

— Нет, мы не видели китайца.

— Да, да, — оживляется профессор, не отрывая лица от сияющей кипени. — Презабавный азиат! Нацбольшинство, так сказать. Ну-с, так... И дальше, дальше, молодые друзья!

И он снова начинает стонать от красоты. Фигура его выражает озабоченность капитана, впившегося глазами в бинокль. Он начинает наливать краской, и голос его грустнее и покрывается тенью.

— Боже мой! — говорит печально профессор. — И здесь... человек побеждает природу...

Мы медленно спускаемся вниз, к долине. Поджигатель идет рядом с Овидием, голос его крешет. Я слышу обрывки его фраз: он рассказывает Овидию о китайце, говорит, что его зовут Жан-Суа Ван-си и что он — ночной караульщик на виноградниках Магеллатовой Короны. Я слышу, что Директор шутливо называет китайца Чжан

Цзо-лином. Но когда же был разговор с Директором? Мы только что приехали... Я слышу, что китаец — кандидат в члены окружного комитета партии, что это один из лучших активистов ячейки. Поджигатель передает Овидию какие-то любопытные новости и уже шепчет таинственно. Ну что же, пусть это будет так.

Профессор рассказывает о почвах. Он расхваливает «аллювиальные отложения». По его мнению, наносные почвы имеют неоспоримые преимущества большого плодородия.

— Но это не все, — восклицает он торжественно, — в вине важен вкус, свежесть, тонкость букета. Возьмите южные склоны... Они изобильны и пресыщены, как яркая южанка, покрытая золотым загаром. Но север, север чародей! — Профессор восклицает и восторженно хвалит рислинг с северных склонов...

Я толкаю Овидия в бок: понимает ли что-нибудь в вине этот красный толстяк? Увы! Наши познания крайне ограничены. Мы вынуждены поддакивать.

— Конечно, конечно, — говорим мы задумчиво, — эти северные склоны....

Поджигатель молчит, внимательно разглядывая дорогу, виноградные кусты по бокам, канавы, выложенные камнем. Он идет рядом с профессором и внимательно слушает. С каких это пор его стало интересовать винное дело? Я сомневаюсь, чтобы на эти темы разговаривали в партийных комитетах. Чудак! Его правая обмотка медленно разматывается, как всегда.

Уж не приписывает ли он себе заслуги местных виноградарей? Совхоз щеголяет образцовой организованностью: каждый камешек положен на присущее ему место, кусты винограда походят на солдат с безупречно пригнанной амуницией. И Поджигатель смотрит на них, как на красноармейцев своей дивизии, ступая по камням с необычайной гордостью и важностью...

Я улавливаю лишь тяжелое пыхтение профессора. Мы внизу. Долина несет зеленый поток в крутых берегах и впадает в чащу синего морского марева. Утро уже нагрелось. Лето спит на горах, раскинув полные краснеющие руки в кизилловых браслетах.

Повсюду на серых участках молодых виноградников лежат годовалые винные кусты, еще не научившиеся вставать и ходить. Они греют под солнцем свое робкое зеленое детство.

Профессор вдруг останавливается.

— Э-ге-гей! — кричит он неожиданно зверским голосом. — Э-ге-гей! — И неуклюже бросается бежать, размахивая руками.

Впереди на ровном каменном поле из аккуратных шиферных плиток стадами кудрявых барашков пасутся младенческие кусты винных лоз. Все поле кишит полосатыми планетами. Они раскатаны по всей долине и блестят навощенным глянцем.

— Арбузы! Арбузы! — кричит на ходу профессор и повторяет свой призывный дикарский крик.

Мы еле поспеваем за ним. Из соломенного шалаша, курящегося дымом, едва доносит слабое ответное эхо.

Там кто-то есть. У профессора прекрасное верхнее чутье. Зеленые, белые и бутылочно-серые шары лежат на земле глубокомысленными плеядами, полосатые твари занимаются от безделья философией. Арбузные головы саркастически морщат сферические лбы, протянув тонкие, как змеи, черные китайские косы. Они полны кантианства и, по-видимому, имеют крохотные ручки и ножки, как это и подобает метафизикам.

Но это пустяки по сравнению с прелестью жизни, когда начинаешь хлопать рукой по их гулким и прохладным головам. Ого! Они отдаются сочувственным треском, их красный ночной холодок, спящий внутри, стоит лучших страниц шахматной мудрости.

Мы — в раю метафизиков. Высокая девушка с голыми длинными ногами идет к нам из шалаша. За ее плечами тонко чернеет ружье. Профессор уже расположился на горячих камнях и бренчит цепочкой с ключами и замысловатым немецким ножом. Там все есть — я рассматривал, — и пила, и штопор, и ногтечистка. Славная штука! Нам никогда не приобрести такой.

— Садитесь, садитесь, — говорит нам профессор с хозяйской небрежностью. — Начальству всегда полагаются арбузы. Тем более нам, из *Москвы*. Здравствуйте, милая! — обращается он к сторожихе. — Как у вас насчет арбузов? Нам нужны самых красных и спелых. В *Москве* ими очень интересуются. В самом деле, — обращается он к Поджигателю, — это чрезвычайно интересный опыт использования молодых виноградников... Выберите-ка нам, милая, штучки четыре.

Девушка немного смущена. Она смотрит на Овидия и улыбается.

— Выбирайте сами,— говорит она, забавно растягивая голос,— какие вам понравятся.

Она медленно перебирает по земле стройными ногами и утирает губы. Поджигатель сконфужен, он что-то бормочет. Профессор не заставляет себя ждать, вместе с Овидием они бродят среди философских голов и поднимают с земли их гулкие мудрости. Девушка не спеша направляется к Лирику. Так. Все идет, как полагается. Я сажусь рядом с Поджигателем. Какие-то неясные чувства бродят в груди.

...Все очень просто в мире, дорогой Учитель! Мне очень дорога ваша застенчивость. Мне хотелось бы сказать вам несколько слов... Смотрите, Овидий уже разговаривает с караульщицей. Ему весело, он не находит ничего особенного в арбузах, принадлежащих государственному хозяйству. Напрасно и вы боитесь за чистоту этических принципов. В этом нет ничего особенного. Что значат несколько арбузов по сравнению с вечностью? Но дело не в том. Я узнаю в вас чистоту поколения, наши молодые годы, традиции нашей армии. Целомудренность заревых, окутанных дымом преданий годов смотрит на меня из ваших обмоток и воинских брюк. Но вам наплевать на стиль, брюки вошли в обиход с комиссарских времен в пехотной дивизии. Смешной и дорогой друг! Я никогда не признаюсь вам, что завидую вашей дружбе с Овидием. Я полюбил вас за высокую чистоту, за трезвую широкую радость вашего оптимизма. Но мне не по себе, когда вы слишком много внимания отдаете жизнерадостному мальчишке. Смотрите, он бегаёт от арбуза к арбузу, он смеется всем существом, и я знаю, что за это его любят женщины. Кстати, он уже заигрывает с девушкой и отнимает у нее ружье. Я хорошо знаю их, лирических поэтов! Ручаюсь, что он с удовольствием будет купаться с ней в море, обниматься и сидеть голышом на берегу, болтая всяческий вздор. Это будет, дорогой Поджигатель. Смотрите, они уже прижимаются друг к другу, он нашептывает ей на ухо... «Ишь, какой вредный!» — говорит она, но не отстраняет его руки. Они гогочут, как молодые лошади,— что им до высоких мыслей! А у вас в комнате на Сретенке ничего нет, кроме сырых стен, книг и пыли на протоколах нескончаемых заседаний. Газетные статьи ваши читают, готовясь к докладам. Товарищи говорят о вас, ласково усмехаясь, и я что-то не видел женских писем на вашем столе. Это грустно. Но я люблю вас именно за все это. Я знаю, что вы всегда жили

и радовались счастьем других. Дорогой Учитель, когда-нибудь я напишу о вас самую дорогую для меня книгу. Но сейчас я буду молчать...

Я молчу. Я не произношу ни одного слова вслух. Истома мыслей и воспоминаний кружится в теле. Поджигатель улыбается: Овидий бежит вприпрыжку и тащит в объятьях вселенную, пудовый полосатый арбуз, нащелканный девушкой. «Арбуз будет самым красным,— думаю я,— девушки не ошибаются, они узнают все, не забираясь вглубь. Она выбрала один, этого с избытком хватит Овидию... Пускай профессор, лиловый, как резиновый надутый черт, тащит четыре...»

Мы лежали, ели арбузы и смотрели в блаженное ласковое небо. Быть может, это были лучшие мгновения жизни. Никогда еще день не шептал у самого уха таких голубых нежностей. Море синело вдали блеклым заревом, и ветер приносил к щекам пушинки прохлады. Мы глотали сладкий арбузный холодок, выплевывали косточки, а девушка пришла и положила ружье на землю. Она сидит на корточках, смуглота ее щек размазана арбузным соком. У нее маленькие ловкие ступни. Когда она улыбается, во рту сверкают ровные белые зверьки.

— Аня, хочешь арбуза? — спрашивает ее Овидий, улыбаясь. — Ее зовут Анной, — поясняет он нам.

Она смеется и отрицательно болтает головой, повязанной красным платком. Я был совершенно прав: в глазах ее просвечивает зеленая тина бесстыдства, кожа ее, наверное, очень нежна, — сквозь грязь она теплеет розоватыми пятнами. Конечно, я не ошибался. Тем более ее зовут Анной. Это — самое строгое и самое неверное имя. Но как вам нравится вся идиллия?

Мы едим арбузы, и я спрашиваю Овидия, — он сидит как ни в чем не бывало:

— О чем это вы говорили с Анной, уважаемый сэр?

— Ах, да! — Овидий, захлебываясь в арбузной корке, обращается к нам: — Товарищи, вы знаете, — глаза его блестят, — сегодня ночью здесь был медведь и переломал штук тридцать арбузов. Понимаете, медведь! Да ведь это, черт его знает, какая прелесть! Я сам видел: он раскалывает их, как орехи.

— Медведь? — мычит профессор. — Не может быть. Неужели? — И он режет своим ножом третий арбуз.

Девушка прыскает и закрывает рот крепкой запачканной пятерней:

— Вот чудные какие! Да он у нас каждую ночь шляется. Сколько переломал!

Она смотрит на нас любопытно и снисходительно.

— А вы не боитесь? — спрашивает ее Поджигатель чрезвычайно серьезно.

— Че-го? Да чего ж их бояться? Шкодит и шкодит... — И она прыскает снова, опять закрываясь рукой. — Мы ведь не московские, — говорит она бойко, нараспев, лукаво освещаясь глазами.

Грудь ее упруго ищет выхода из-под ситцевого бедного платя. Она вся свежа и неподатлива, как арбузная корка.

Поджигатель смотрит на нее, хмуря брови. Он всегда смотрит так, когда разговаривает с женщинами. Овидий довольно расцветает под взглядами девушки.

— Я приду к тебе караулить, Аня, — говорит он. — Мы с тобой будем пугать медведей. Хорошо?

— Че-го? Ишь, выдумал! Да ты испугаешься. — Она склоняет голову набок, и я замечаю, как хороша ее шея необыкновенной чистоты. — Да свиданьица! — говорит она, поднимая ружье и закидывая его за плечо. Она поворачивается как будто совсем равнодушно. — Приходи есть арбузы! — неожиданно кричит она Овидию, и мы снова видим ее лицо в розовых пятнах.

Овидий посылает ей воздушный поцелуй. Она уходит, высокая и светлая, как день.

— Славная девушка, — произносит профессор и недоуменно смотрит на арбуз свинцeveющим взглядом. — Да-с... Ну, вот мы и поели.

Он весь покрывается легкой грустью. Я разгадываю ее тайный смысл. «Ну что, собственно, нужно человеку?» — грустят глаза профессора. И легкая отрыжка покрывает российскую послеобеденную философию дымкой элегий.

Полминуты.

— Что нужно человеку? — кричу я, вскакивая и вытирая рот. — Что нужно человеку, неисправимый Овидий?

— Человеку нужно, — в тон мне выкрикивает сразу смекнувший Лирик, — кусочек хлеба да каплю молока... да это небо, да эти облака! Тра-та-та-та...

Профессор ничего не понял, и мы пошли дальше долиной Дюрсо, обнявшись с Лириком и разговаривая о медведях. Овидий часто оглядывался назад: там, вдали от соломенного шалаша, поднимался слабый дымок.

А Поджигатель ковылял за профессором в своих огромных стоптанных башмаках.

## ВИНО СОЗДАЕТ ДОБРОДЕТЕЛИ

---

*Северо-западное побережье Кавказа представляет собою одну из лучших в мире местностей для разведения виноградников. На юго-западных склонах Кавказа открыта новая Калифорния для вина.*

*Из докладной записки начальнику округа агронома Ф. И. Гейдука. 1870 г.*

*— Все оберегли. Ничего не отдали. Все под наганами отстояли — все драгоценности наши: золото чистое, бриллианты...*

*Заслуженный рабочий «Абрау»  
А. Н. Фокасьев. 1930 г.*

### 3

Сегодня я впервые увидел Директора. Он стоял, как военачальник, окруженный свитой, поддергивая широкие серые штаны и почесываясь под мятой сорочкой, приподнятой добродушной силой спящих грудных мускулов. Он чрезвычайно любезен с профессором. Две свободные запонки у его степной шеи и забавный картузик не говорят ничего. Этот человек видывал виды, в нем ленивое простодушие полководца. Они всегда обманчивы в жизни, — нас не проведешь, товарищ Директор. Где есть сила и уверенность, там разговаривает любезность...

Поджигатель имеет возле него вид начальника штаба при командующем войсками. Он ласково представил меня и шутивно отрекомендовал «как марксиста». Директор перебросился со мной несколькими словами, подмигнул Овидию и, хлопнув Поджигателя по плечу, быстро поднялся по лестнице. Спина его мелькнула осанкой волж-

ского грузчика. И вся свита потянулась за ней. А у профессора долго не сходила с лица удовлетворенная элегическая улыбка. Он заметно повеселел и говорил таинственно: они, собственно, давно знают друг друга и встречались в центре на специальных комиссиях: сегодня у них был длинный разговор; Директор прекрасно ориентирован и в вопросах местного виноделия; в известных пределах, конечно... Профессор подчеркнул последние слова. Он жалеет, что прежде у них бывали кое-какие разногласия...

Лицо профессора туманилось дымовой завесой. Я ее заметил сразу: тут что-то есть, велосипедист заметно сбавил ход сегодня у лестницы управления, шины слишком мягко и вяло шуршали по гравию. Мне показалось даже, что никелированный руль завилал из стороны в сторону. Профессор взял педали только в вопросе о норд-остах. Здесь я заметил, как он стал обдувать нас ветром быстрого хода, а Директор — почесывать пах, поддегивая широкие брюки. Но и это показалось мне внушительным: Директор на этих холмах стоял, как Наполеон под Аустерлицем.

Я вышел к виноградникам в самый кипящий жар, когда солнце слепило до черноты. Хорошо бы встретить здесь китайца Жан-Суа, но я слышал, что он работает на другом участке. Он караулит Магеллатову Корону — виноградные сады, искусно посаженные в честь последнего императора на плоскости покато́й горы. Там виноград поспевает ранее всех — синие, белые, розовые и дымчатые сорта пино, созвездье букета шампанских бутылок. Они первые покатаются с каменных дорог к прессам шампанского подвала. Фролов-Багреев, профессор-химик и шампанист, приезжает на днях из Краснодара. Директор послал ему телеграмму: я сам читал ее у разговорчивого почтаря, похожего на станционного смотрителя.

Совхоз живет, как армия, переходящая в наступление. Старик Ведель не выходит из подвала до самого вечера. Я его видел несколько раз: он проходит по утрам из своего домика, окруженного галерейкой, ранее всех. Овидий уже свел с виноделом близкое знакомство и рассказывал о нем, полный необычайного восторга.

— Это замечательный тип демократа! — говорил он. — Вот пример истинного артистизма человека труда. А внешность! Он носит рабочую кепку с достоинством великой фамилии. Осанка его напоминает старых охотников за сернами из Шварцвальда...

Овидий наговорил много и, конечно, не забыл упомянуть о себе. Он бросил это вскользь, как всегда: в семье винодела дамы говорили не только о вине...

— Вера Ивановна страшно мила! Она сконфузила меня до красноты, говоря о сходстве с молодым Байроном...

Так, так! Мы приглашены все к Эдуарду Августовичу. К моему удивлению, Поджигатель казался очень довольным. Я знаю, что он чрезвычайно щепетилен в общении со старыми специалистами.

У входа на боковую дорогу меня остановил часовой. Он валялся на камнях между виноградными кустами, читая потрепанную книжку. Ружье его лежало здесь же.

— Стой! — крикнул он грубо, поднимаясь с земли. — Чего тебе здесь нужно? Шляться на участке не полагается.

Промедленное замешательство.

— Как... шляться? — пробормотал я, изумляясь. — Вот у меня пропуск. Пожалуйста! Здесь есть печать и подпись директора Яшникова.

Я совал ему удостоверение под самый нос.

— Ну, что? Видите: «Раз-ре-шается свободный проход по всей территории совхоза и виноградникам...»

Часовой медленно рассматривал бумажку. Он повернул ее несколько раз во все стороны с настойчивостью упряма, верящего только самому себе. Его сожженное зноем лицо глянуло на меня старыми боевыми степями и пехотным полком. Такие падучие глаза мне приходилось видеть у конвоиров, принимавших пленных офицеров и никогда не доводивших их до штаба дивизии, несмотря на самые суровые приказы.

Малый вертел пропуск с холодной насмешливостью.

— Ну? — спросил я его. — Видите подпись Директора...

— Директор! Директор! — буркнул он, небрежно складывая пропуск. — Чего он там написать может? Мы и без него все это знаем. Им там легко любезности разводить. Сказано вполне категорически: родного отца к ягодам не подпускать. А ты мне пропуск! Пушай Директор сам тогда за меня становится.

— Так как же быть... товарищ?

— Чего «товарищ»? Нечего нам тут разговоры разговаривать. Сюда — не по ягоды приезжать. Тут народ с утра до вечера спину гнет... Государственный интерес. А ты мне с про-пус-ком! Теперь каждый сам должен сознание иметь.

Он перекинул ружье за плечи, пыльные скулы его подергивались, в глазах играла черная батрацкая непримиримость.

Я собрался уходить. Ничего не поделаешь, этот парень доверяет только себе... Но его книжка... Интересно, чем может он заниматься, валяясь целый день на раскаленных плитах камней?..

День кипел и сиял, как никелированный самовар, зеленые листья вздувались синими пузырьками ожогов. Сухая жажда валялась на виноградниках, высунув каменный шершавый язык.

Я поднял с земли развихренную, выгоревшую от солнца кипу страниц, прочитал заголовок... Вот оно что! Парень совсем не склонен заниматься беллетристикой.

— Что же, на агронома, стал-быть, прицеливаетесь? — спросил я, аккуратно складывая книжку и кладя ее обратно на камни. — Здорово!

— Там видно будет, — ответил он сухо. — А по виноградникам ходить, товарищ, нечего. Можете после кому хотите жалиться.

— Ладно, — сказал я совсем дружелюбно. — Дело совсем не в этом... Я не собираюсь никому жаловаться. До свиданья!

Я отправился домой. Парень проводил меня взглядом исподлобья, одергивая серый дырявый пиджак. Я оглянулся несколько раз: он стоял неподвижно, бритое, заросшее пыльной щетиной лицо его бугрилось куском черствой земли. Мне показалось, что он хотел что-то крикнуть вслед. Быть может, мне нужно было упомянуть в разговоре о Жан-Суа? Он тоже караульщик. По этой профессиональной линии мои шансы могли бы подняться. Но я упомянул несколько раз фамилию Директора и намекнул на возможность между мной и им не только служебной близости. Это — совершенная глупость. Все переменялось в мире. Имя Директора для караульщика — только упоминание о той воле, за которой следят здесь тысячи глаз. Караульщик был прав: нечего кичиться знакомством с Япниковым, — он сделал то, чего должна добиваться эта воля, он довел ее до логического конца. Они всегда любезнее всех — директора и полководцы, но поправка караульщика — это смысл революционной демократии. Караульщики и прочие парни в дырявых пиджаках всегда вносят в жизнь и историю окончательные поправки. Так вода и ветер, помогая солнцу, быстро довершают великие дела со-

зидания и уничтожения. Они творят эти дела коротко и беспощадно.

Жалко лишь одно: мне не удалось обойти весь участок. Сегодня каменные его стены смотрят как раскаленные бастионы, солнце палит из всех пушек, и черные ядра их носятся в глаза назойливыми мухами. В тяжелом блистающем зное солнечные красные лучи идут на приступ, — они давно раскрыты Тимирязевым, как творческие революционные армии, — ослепительный натиск их развеивает над полками облеченные в пламень трудовые знамена. Это — великолепная музыка, это — чудодейственный день!

Сегодня солнце салютовало виноградникам сто и одним выстрелом.

#### 4

Вечера в Абрау задумчивы и грустны и никнут головой старика, засыпающего в кресле. Воздух трогают лапками жуки и первые цикады, воздух вдруг пролетит и погонится за звездой; безмолвствуют леса и горы, солнце попряталось в синие кисти пино-франа, а в пещерах круглых упитанных бочек спят веселые души Бургундии и Шампани и поджидают старость зеленые струи Шлосс-Иоганнисберга. Это очень далеко, где-то у Рейна. Вечера в Абрау озарены до сих пор его зеленовато-соломенной нежностью, тени их падают с рейнской задумчивостью, а холодки приносят с гор тончайший платок, сотканный из свежести, запаха и вкуса.

Сохраняется ли звон бокалов в мире? Солнце шипя угасает в море, за черными складками гор; музыка играет в клубе; а старый вечер засыпает вновь и ловит звезду, что щекочет за ухом, в то время как люди приходят на собрание к веранде, разглядывающей отдаленное прошлое.

...Утром, самой сладкой и мечтательной ранью, я видел сон, болезненный бред отрочества. Все еще спало. Поджигатель свернулся лисьим клубком, постель Овидия была пуста. Прозрачная тишина. Я приподнял одеяло, чуть раздвинул тяжелые веки: предо мной распахнулась комната, белые стены, как страны великих пустынь... Я приоткрыл дневной мир, опустил глаза вниз и тотчас захлопнул ресницы, остоленев от изумления.

Женщина! Голая женщина! Она стоит прямо передо мной бездной бесстыдства, приподняв полную белую ногу.

Ослепительно черным хлыстом тело ее рассечено пополам. Тяжелая нависшая масса складок кидается на меня влажной мягкостью. О, обвисшая материнская доброта готтец-тотки, курчавая знойность Африки!

— Жен...

— я осторожно высовываю угол сознания —

...щина...

Разнимаю один глаз —

и вижу:

Она висит надо мной, как бред детства, могучие бедра ее едва не касаются моего лица, она поднимает ногу все выше и выше — и вдруг выпрямляется, опуская руки.

Она! Она!

Она стоит босиком на полу <...>. На белом, невероятном в потрясающей реальности, полушарии ее туловища, над мышастой, закопченной подпалиной, запеклась огромной изюминой коричневая родинка. В ней пшеничная сытость, благодушие, легкая грусть, воля и спокойствие самоуверенной жизни.

Я поднимаю глаза выше. Женщина смотрит задумчиво, тянется к свету... Но, боже мой, что это? На лице ее скромно опущены золотые очки, щеки ее лезут лиловой щетиной...

— Профессор?!

Да, да, это — он. Но что он делает, что он делает? Он сжимает мягкие, невероятные руки матроны, высоко поднимает голову и марширует, пришептывая: «Раз-два, раз-два...»

— Спокойнее, спокойнее, — говорит он сам себе и выступает, как римский солдат, гордо поворачиваясь по квадрату комнаты. — Больше дыхания! Раз-два, раз-два... Быстрее, быстрее, — повторяет он и начинает резвиться: он носится по комнате, как бес, он начинает даже напевать, подпрыгивая и хлопая себя по мягким частям, он чуть ли не касается моего носа и проносится вихрем. — Солнышко, солнышко, — напевает он бабьим голосом, — выгляни в окошечко, ти-та-та, ти-та-та... Осторожнее, осторожнее, это вредно для почек... Выше ноги, раз-два, раз-два... — И он начинает плясать, потрясывая задницей, старый черт.

Видали ли вы когда-нибудь что-либо подобное? Он переходит в наступление, он не удовлетворяется всем этим, сейчас он пронесется коридором, — вихрь переходит в бурю. «Держись! — говорю я себе. — Он опрокинет стол, он не остановится ни перед чем, такие способны на все, на-

читавшись Бальмонта». И профессор кружится над моим носом, вытанцовывая голые вальсы...

Все было тихо, все спали, никто ничего не видел. За окном прогудел гудок, и мы встали как ни в чем не бывало. Практиканты давно побежали вниз, к подвалам, профессор ушел по делам: он уезжает сегодня в двенадцать часов.

— Очень жаль,— сказали мы с Поджигателем, здороваясь.— Оставайтесь еще. Скоро сбор винограда, самое горячее время... Куда вам спешить?

— Что вы, что вы! — Профессор замахал руками.— Я не один.— Он обворожительно-интимно рассказал о жене, извинился: — Положение обязывает...— хотя он, конечно, не прочь, но... и он разводит руками.— Мы воспитаны совсем иначе... Пока, пока! — кричал профессор, приветствуя нас поднятой рукой и исчезая в дверях.

Он побежал хлопотать о вине, оно нужно ему для памяти. Я видел из окна его торопливость: он бежал, как большой раскормленный заяц.

Так. Он уехал в полдень, обвешанный рогожными кулками.

Мы встретились вместе только к вечеру, в столовой. Овидий пришел туда раньше нас и ждал за столом, любезничая с практикантами. У него поразительная общительность и умение сходитьсь с людьми с первой же встречи.

Конечно, он сидит обнявшись со стриженным Сергиевским и напевает ему свои обычные рассказы, которые я знаю достаточно хорошо.

— Ба! — закричал он, бросаясь к нам.— Куда вы испарились, сонливые черти? Вы просыпаете лучшие дни и не знаете, что творится на свете. Видали ли вы профессора? Он уехал — мы сейчас провожали его на машину. Садитесь, садитесь,— я взял для вас ужин и ожидаю вас целую вечность... Я соскучился и ужасно рад вас видеть. Ей-богу, я тосковал о вас всю ночь... Я притащил вам замечательный арбуз.

Мы сели. Поджигатель серьезно поздоровался со студентами и принялся за суп. Овидий болтал нам всякий вздор; я заметил, что он необычайно оживлен, галстук его сбился набок, у него вид гимназиста, выдержавшего экзамен. Зрочки его глаз разошлись застывшим девическим испугом, темный блеск их напугался ночными потемками. Да, я согласен с ним, что арбуз действительно замечательный на вид.

— Где вы пропадали? — спросил его Поджигатель, хмурясь. Он оглядел юношу как будто искоса, но меня не проведешь: этот взгляд скользнул по лицу Овидия сухостью тревожных материнских губ. — Рубашка ваша вываляна, точно вы сидели в угольной яме!

— В самом деле? — Овидий весело рассказал нам о виноградной ночи. Он познакомился с китайцем, и они караулили вместе у Магеллатовой Короны, за озером. — Вот они, — обратился он к студентам, — знают этот участок: там лучшие шампанские сорта... Знать его — это очень важно для моей книги.

— Его необходимо знать, — повторил он несколько раз, и студенты сочувственно кивали головой. Китаец подарил ему замечательный арбуз и рассказал много интересного.

Овидий сообщил нам, что его поражает серьезность, с какой здесь относятся к вину, и необычайная преданность всех рабочих виноградникам и виноделию. «Наша Абрава» — произносят здесь, и это звучит непередаваемой гордостью. Совхоз видывал виды. Удельное имение, коронованное орлами, оказалось революционным гнездом, и лучшие его люди, ценившиеся на вес золота, не пошли по стопам титулованных хозяев. Тут отгремели, прошли грозные дни, немало ночей простояло, застыв у пулеметов, и легенды Абрау, перестав быть легендами на карточках ресторанов, вдруг опажухули горы хаосом новых бурь...

— Да, — рассказывал нам Овидий, — китаец Жан-Суа знает многое. Напрасно вы прячетесь под одеяло и просыпаете жизнь. Я провел прекрасную ночь, и мы бродили по императорской короне, отпугивая медведей. Они приходят с гор и тревожат товарища Ван-си, караульщика, имеющего звание кандидата окружного комитета партии... Да, да, не смейтесь! Медведи шлякуются кругом, когда вы спите и видите дурацкие сны.

Он ловко перевел разговор и замаял вопрос о перепачканной сорочке, как истинный лирический поэт. Мы ели арбуз вместе со студентами и хвалили китайца. У сына великой желтой расы опытный глаз: я давно не пробовал такой розовой влажности и не ощущал такой блаженной усталости после ужина. Голые упругие корки мы сложили рядом, друг с другом. Арбузный сок стягивает щеки, делает их шершавыми. Я пошел мыться к озеру, напевая про себя. Гудок давно прогудел, озеро чокалось с небом. Когда же мы получим следующий арбуз от китайца Ван-си?

Вода, ветер, солнце... Палящий жар уже устает, рабочие лучи спускаются с гор на море, и красный сияющий садовник мира принимает лицом к зеленой, играющей студеными всплесками прохладе. Семь часов вечера. Разве случайно то, что все украшающее лик земли идет суровыми шагами и брэнчит садовыми ножницами?

Обрезанный весенний сад беден, нищ, вопшет нежностью и жалостью, апрель смотрит сквозь бедность редких стволов пустотой разгрома. Но садовник доволен, садовник не знает гуманности, он усмехается боязливой руке, опускающей ножницы. Это дерево долго росло, думает он, слишком много цветов, розовой нежной шелухи аромата. Много птиц совет здесь гнезда, оно загремит песнями... «Дайте пилу,— говорит он,— его нужно убрать. Я не люблю разрозненных мелких яблок с их жалким кислым вкусом старины... Кроме того, оно затемняет другие».

И дерево падает, вздыхая старым помещичьим парком. Не правда ли, что в пустом обрезанном саду имеется кое-какой мировой смысл? А в стальных ножницах, обогранных светлой душистой кровью, говорит жестокий закон совершенствования. Не стоит ли помогать этой работе, вопреки соловьям, любящим порою запустений и гниющую сырость запряженных дупел?

Песни птиц любят буйный рост: там смерть расправляется с лишним. В этом большая правда, но этого мало. «Этого мало,— думаю я.— Большие поэты творят вторую природу, они расчищают заросли чувств и выбирают несколько почек, они знают, что делают, свистя холодными ножницами разума... Если это не так, то яблоки их кислы».

Семь часов вечера. Сумрак ласкает душу. Виноградные сады остаются на каменных глетчерах, как на кафельных плитках печей. Случайная звезда перебирает лучи.

Половина восьмого. Сверчки начинают «Дунайские волны», а суровый винодел и садовник Эдуард Ведель ожидает нас на веранде. Мы ведь литераторы, и мы входим в дом, как сардинские принцы. На Овидии прекрасная шелковая сорочка.

Винодел играет в шахматы на галерейке, спящей, как тусклое ожерелье на шее пахучей и редкой старины. Он поднимается из-за столика, усталость его нависших и гордых век выпрямляется, его широкие плечи садовника дышат на нас домашностью. Он произносит несколько хо-

роших фраз, изобличающих привычного хозяина. Он играл в шахматы с одним из старых рабочих.

— Этот дом очень дряхл и назывался когда-то «Виллою роз», здесь был великокняжеский охотничий домик, но все это было давно... Сейчас, как видите, роз нет, многое стало иначе. Да, были странные годы, и бог знает, как все это сохранилось.

Он кивает головой, кутается в пальто. До нас долетает прохладный ветер музыки и шелестит в саду.

Знаем ли мы легенду об Абрау?.. Он записал ее много лет назад, когда был молод. Он — один из пионеров края, Абрау поднималось при нем, виноградники росли на его глазах, он пережил второе сотворение мира и защищал подвалы с винтовкой в руках... Чего только не было! А зеленые... Знаем ли мы Савчука, Гиля, командира Савченко? Дача Хартамазиди, отряды «Террор», «Гром и молния», побег всей тюрьмы из Новороссийска... Чего и говорить! Было!

— Всего было, — машет рукой винный рабочий, с решительностью вставляя в разговор бритую челюсть под черными, цвета японского лака, глазами. — Тут зайчики в глазах играли, не то что... Вы вот спросите, сколько раз Эдуарда Августовича под расстрел водили? — Он смотрит на нас победоносно. — Да, шалишь, он, брат, у нас не струсит... Ни бутылки! И конечно. Офицеров одних в Абрау было... Что уж и говорить! Герой! Все это богатство в сохранности государству передали.

Он машет рукой, собирается уходить. Старики, видно, частенько просиживают часами за шахматами: бритый человек с большим и впалым лицом Эразма Роттердамского уходит запросто, без суеты и неловкости прощания.

Ведель медленно курит и смотрит в ночь.

— Товарищ Ведель, — спрашивает его вдруг Поджигатель, — а вы не в обиде на советскую власть? Я слышал, тут было множество директоров, они не всегда соответствовали назначению... Да и вообще впоп в наше время...

И Поджигатель смотрит круглыми выпуклыми очками в упор на винодела. Может быть, это бестактный вопрос? Не хочет ли он внести сюда обстановку партийного комитета? Но Поджигатель знает, что делает.

Винодел понимает жизнь, он сажает виноградники, он понимает, что революции сродни садовые ножницы. Плохие директора? Сколько угодно! Но Абрау... мог ли он когда-либо оставить Абрау? Его приглашало итальянское

правительство, он мог бы покинуть Россию, за этими стенами сидели белые генералы и ждали от него советов... Это уже старая история, но и тогда он знал, что делать в таких случаях. Об этом хорошо помнят партизаны, приезжавшие к нему ночью и получающие кое-какие сведения. Было дело... Он добродушно смеется. Его имя знала хорошо аристократия. Эдуард Ведель! Мог ли он быть красным! «Но там осиное гнездо, в этом проклятом Абрау. Зеленые хитры, как дьяволы: они знают все, и напрасно офицеры переговариваются с телефонной по-французски... Дача Хартамазиди парит в горах, офицеры отказываются ехать в штаб Духонина, туда не заманишь колючим холодком шампанского. Сколько было примеров!.. А эти ночи, черные, как наведенное дуло, пугливые, как грянувший выстрел, и отчаянный, страшный крик, раздирающий в кровь и клочья тишину, когда волокут по лестнице красивого раздетого юнкера. Артиллерии! Туда нужно пушек, побольше легких скорострельных пушек! Нужно разбить с гор проклятую дачу, разместить змеиное гнездо и залить глотки красной черни купоросом... Абрау? Не кажется ли вам подозрительным этот высокий суровый старик, слишком гордо носящий голову? Он слишком якшается со своими подчиненными, но впрочем... черт его знает!..»

— Я расскажу только, — он выговаривает так именно: «только», — один случай...

Эдуард Августович пускает клуб дыма.

— Это было, кажется, в двадцать шестом году, — конечно, уже при советской власти. Я сидел у себя в подвале, занимаясь делом, — и вдруг телефонный звонок. Подошел. Кто спрашивает? Звонит управляющий, просит прийти сейчас же в шампанский подвал... Пожалуйста. Приехала комиссия деловых людей с председателем кооперативных организаций Лондона закупать русский хлеб. И Госторг решил показать им достопримечательность — Абрау-Дюрсо. Ну что же, это очень хорошо...

Пока я спускался вниз и дошел до шампанского производства, они успели все осмотреть и поднимались в лабораторию. Вы, кажется, там бывали... Подошел и я. Гости шли гурьбой, сзади всех плелся, оглядывая каждую мелочь, долговязый англичанин. Он посмотрел на меня пристально и спросил:

«А... Скажите, пожалуйста, когда я уезжал из Гайдельберг... Но, но! Позвольте представиться: доктор химии Гайдельбергского университета, — и назвал известную фа-

милию. Да.— Так вот, когда я уезжал, мой друг, немецкий доктор химии, сказал мне: «Когда ты будешь в Новороссийске, поезжай в Абрау. Там есть винодел Ведель, который угостит тебя хорошим вином». Скажите, пожалуйста, господин Ведель находится здесь?»

«Ведель перед вами».

«А! А!» — Англичанин долго тряс мне руку, и мы вместе поднялись в дегустационный зал, где все были уже в сборе. Я вошел последним.

«Ну вот,— произнес торжественно управляющий,— позвольте представить вам: наш старший специалист, товарищ Ведель, проработавший здесь тридцать лет».

Я стал здороваться. Никто, кроме доктора химии, не говорил по-русски. Я пожимал руки всем поочередно, наконец очередь дошла до долговязого.

«А! А! Ведель! Очень, очень рад.— Он тряс мою руку, как будто не узнавая.— Тридцать лет, это большой срок. Это очень большой срок. Скажите,— обратился вдруг он к управляющему,— господин Ведель действительно проработал тридцать лет?»

«Да, да!» — повторил тот любезно.

Иностранцы смотрели на меня, как на чудище...

«Ах, ах... Тридцать лет,— закачал головой доктор химии,— и вы его до сих пор не у-би-ли?»

Я совершенно опешил. Управляющий заметно смутился:

«Как видите, он жив и невредим. Он работает среди нас. Наша партия его очень любит и ценит. Вы спросите его сами: он ничего не боится и говорит все, что думает...»

— Это действительно так,— говорит Эдуард Августович, величественно щурясь,— но этот доктор химии... Представьте мое положение.

— Какое хамство! — восклицает Поджигатель гневно.— Это черт знает что такое! Я не могу видеть эти бритые самодовольные рожки... Европа в котелках! Культура! Придет время, погодите...

— Ну, и что же было дальше? Чем все это кончилось? — перебивает его Овидий, смотрящий на винодела с ревностью режиссера, наблюдающего дебют любимого артиста.— Чем же это кончилось, Эдуард Августович?

— Чем кончилось? Ничем. Англичане выпили шампанского за советскую власть и уехали подобра-поздорову.

— А управляющий?

— Ха! — Ведель смеется, закрываясь старостью уста-

лых, дремучих век.— Он был славный человек и больше всего боялся произносить речи. Он боялся этих спичей с иностранцами как огня. Но иностранцы приезжают к нам так часто. И мы с Антоном Михайловичем произносим речи... Да.

Он припоминает еще один случай, еще. Девять часов. Мир так противоречив, и все так связано! Быть может, много людей сейчас сидят так же, как и мы, и кое-кто вспоминает эти горы, огни, упавшие в озеро, «Виллу роз», светящую окнами в черную ночь... Сверчки Абрау поют, слышит ли их Германия? Где лежит старый князь Меттерних? С кем сидит сейчас генерал Покровский? И где острит в этот вечер долговязый англичанин? Быть может, доктор химии рассказывает жене один забавный случай... Как смутился управляющий, и какое наступило молчание! Он очень остроумно наступил на мозоль коммунистической России — ха-ха-ха! — надо полагать, что винодел Ведель остался очень доволен... А после они пили шампанское и чокались за Страну Советов. Они сейчас, наверное, в театре, — приличная, тесная чета, — и на шее жены доктора химии спит белый песец, купленный в Госторге, в Столешниковом. Милая женщина! Она слушает мужа, принося к нему всем вниманием. Она знает в нем все, до последней пуговицы белья, она слышит, как расстегивается постепенно запонка на его правом манжете... «Мой дорогой, — шепчет она, — дай я тебе поправлю. Но я боюсь, ты поступил неосмотрительно. Разве можно говорить такие вещи в такой стране!» И она смотрит на него, как на героя, а песец греет ее грудь жаром надышавшей ямку в снегу, свернувшейся в кольцо, пушистой тундры. Чудесный, заколдованный мир! Они вернутся поздно домой, доктор химии будет возиться у дверей спящего коттеджа американским ключом... Как хорошо после театра в белой спальне, какое привлекательное белье у жены... Быть может, на столике они поставят бутылку... «Это — маленький сюрприз! — скажет доктор химии. — Коммунистический рислинг... Ты выпьешь один бокал. Только один! За нашу уходящую молодость...» Дон! — прозвучали бокалы. «Свет, свет, — будет шептать она, — ты забыл выключатель. И зачем так торопиться? Ах, ты еще по-прежнему неопытный мальчик!» Дон! Дон! — чокнутся небо и земля, солнце хлынет в кипящие виноградники, и горы перевернутся, еще, еще... «Ты был сегодня необыкновенным! — скажет она. — Я давно не знала ничего подобного». А белый песец будет

ласкать всю ночь полированный столик, вспоминая скрип лыж и раскаленные зубцы капкана...

...Половина десятого. Мир распелся кругом и бредит мерцаньями. Старый Ведель рассказывает нам разные случаи, и мы сидим, погруженные в тихую черную ночь. Веселые голоса распахивают сад: кто-то идет и поднимается по лестнице. Овидий вскакивает со стула и кидается навстречу.

— Вера Ивановна! — кричит он восторженно. — Мы вас заждались! Я привел всех друзей. Посмотрите на них и скажите, разве я не был прав?

— Мы так рады, мы так рады!

«Вилла роз» пропадает, под звездами склонилась столовая, Вера Ивановна смотрит сквозь седую жизнь темноглазым девичеством, английским языком, маленькой хрупкостью восторженной матери; лампа в столовой старомодна, буфет стар и беден, железная кровать с чистой домашностью, как святость; Эдуард Августович огромен, силен, к его морщинам плечо к плечу прижалась семья и смотрит на нас любовно блестящими глазами... Бутылка рислинга. Конечно, мы не отказываемся. Стаканчики, называемые в губерниях «лафитными», плещутся зеленоватым «шестьдесят три», забегающим из горлышка и перегоняющим короткое бульканье... Старое вино! Оно обжигает осенней свежестью, буйно благоухает пригорелым, обвяленным солнцем, нервно дышит искусством тонкого замысла.

— Белые вина, — говорит винодел, медленно пережевывая глоток, — больше употребляют люди мыслительного труда. М-да-м... Рабочие пьют больше красные. У нас в Абрау, я это замечал, преимущественно ценится каберне. М-да... Только несколько глотков, и вы гарантированы от желудочных заболеваний. Это — лечебное средство, его действие главным образом физиологическое. За ваше здоровье!

Поджигатель пьет старое вино, как уксус: он ничего не понимает в букете, он полагает, что это дело не столь важно. Но почему все же он относится с таким уважением к нашей беседе? Он сидит молча и не роняет лишних слов. Не задумывается ли он над смыслом этих живых стаканчиков? В них десять лет чудовищно быстрой жизни. В них спят неведомые силы, собранные искусством поколений садовников и виноделов. В них кое-что прибавлено фронтовыми ночами.

— Прекрасный рислинг! — говорю я, чувствуя в теле легкую солнечную музыку. — Не находите ли вы, Эдуард Августович, что «шестьдесят три» достойно названия революционного вина?

— Революционного? — Винодел курит, закрываясь дымом. — Оно кое-что видело, — говорит он задумчиво. — А я думаю, что вино живет так же, как человек.

— Да, да, — вмешивается Овидий, — я хочу рассказать вам об одном комбриге... Это тоже кое-что пояснит. Поджигатель, не смотрите на меня испытующе... Я вовсе не опьянел, хотя этот рислинг действует очень сильно... Так вот...

— И это не алкоголь! Вы не думайте, — добродушно перебивает его винодел, — в моем вине много ароматических и эфирных масел... Они действуют чрезвычайно возбуждающе.

— Ну так вот... Вы помните, — обращается к нам Овидий, — бритого наголо комбрига из мягкого? Он слез в Ростове... Замечательный малый! Он ранен два раза и получил два Красных Знамени... Так вот, представьте, Вера Ивановна, бритого мужчину в синих бриджах, в желтых ремнях, с лицом, которое смотрело прямо в смерть... слегка брюзговат, черноглаз, лыс до блеска... Сидит с плоским чемоданчиком и звякает шпорами в бархатном коврике. Вглядитесь в него: это что-нибудь да значит! Он сидит навтыяжку, безукоризненно вежлив и воспитан, — изящные сапоги его вычищены до зеркального сияния, — и мы разговариваем о самых тонких вещах. Прочитанная «Правда» аккуратно сложена и лежит на столике. От комбрига несет приятной свежестью и бодростью сильного и чисто-плотного мужчины, прошедшего хорошую школу генерального штаба. Мы разговаривали о цветах и вине, — как нравится это вам, дорогой Поджигатель? Комбриг рассказал мне о своем начдиве, — вы, наверное, его хорошо помните; он наскочил на историю, выражаясь не совсем европейскими словами, обложил ее как следует и врубился в тайны военного искусства без эластичной картавости нафиксатуренных полковников от кавалерии, носивших погоны с вензелями великокняжеских усадеб. Замечательная личность, не правда ли? Лицо пастуха, безбровое лицо конной армии, под каракулевой папахой набекрень, с кривой пашкой чеканного серебра на бекеше чистокровного солдатского сукна. Сейчас он командует дивизией, — и это не такая уж сногшибательная карьера, если принять во вни-

мание тринадцать столетий, отхваченных аллюром от восемнадцатого. Тринадцать столетий!

«В лагерях прекрасные цветники»,— рассказал мне комбриг. Пастух в папаше набекрень оказался прекрасным цветоводом, клумбы обложены аккуратными черепками, бойцы гуляют, как институтки, и нюхают по вечерам белый табак... Полковая музыка исполняет Рахманинова. Полная фантазмагория, напрасно вы хохочете, уважаемый Поджигатель! В один прекрасный день свиньи одного из полков ворвались в цветы и разгромили лагерные клумбы начисто. Командир дивизии увидел это собственными глазами, ярости его не было пределов. Можете представить себе, что происходило в штабе. Это был шквал, кавалерийская рубка, буря, сплошное землетрясение. Полковой командир был вызван немедленно. «Это што! — заорал сразу командир дивизии.— Это што такое, я тебя спрашиваю? Ты што, сукин сын, махновщину у меня в лагере устра-и-вать? Ты старый командир, а свиней в руках держать не умеешь? У меня цветники дисциплину на пятьдесят процентов подняли, а ты их погаными свиньями з...шь? Да я тебя, так-то твою мать...» И пошло, и пошло... Комполка только щелкал шпорами и приговаривал «слушаюсь»,— а ему за сорок, десяток ранений имел, генералов и полковников собственной пашкой рубил...

Вот вам и цветы на клумбах! Вот вам и эстетика, и ваши погромы галстуков, товарищ Поджигатель! А вино,— знаете ли вы, что рассказал комбриг о вине? Ей-богу, это стоит выслушать.

...Так вот, мы сидели в вагоне, в окнах летела степь, проносились столбы...

«Дело было в империалистическую,— как начинают старые армейцы.— Во время оно, при отступлении наших армий из Восточной Пруссии, в бытность мою нижним чином артиллерийской бригады.

Я ведь сам,— прибавил комбриг,— из самого низшего класса: пекарь. А они, как известно, выпить очень не дураки. Нечего скрывать: было дело. Вышивали, и, знаете, эту привычку бросить довольно трудно. Сейчас, конечно, дело совсем другое. В один прекрасный день наш артиллерийский полчок занял крупную польскую усадьбу. Отлично. Господа офицеры расположились наверху, а наш брат, нижний чин, все больше по кладовым да подвалам... А мы с приятелями насчет вина. Психика солдата старой армии совершенно попятна. О культурных соображениях

здесь говорить не приходится. И вот, представьте: находим подвал, запечатанный семью печатями, а надо вам сказать, что хозяин его был именит, какой-то крупный магнат старинного рода, принимавший царей и принцев у себя запросто... Князь, князь... фамилия его так и вертится... Не припомню. Вошли мы туда и сразу так и обмерли: руки у нас трясутся, а у моего товарища рожу, знаете, как кумачом оклеило....

«Братцы,— шепчет он.— Попали в царство небесное! Защирай двери,— лишь бы офицерня не пронюхала.— А у самого зуб на зуб не попадает.— В самое цареву нутро угодили!»

И зажигает свечу. А кругом полки, вроде библиотечных, как в нашем Доме Красной Армии, и сплошные бутылки с надписями. И каждая из них в специальной стоечке.

«Стой, ребята! — кричу я им.— Не торопись! — и проглядываю этикетки.— Тысяча... восемьсот восьмидесятый год. Не трогай! Смотри дальше, нечего нам всякую дрянь пить, забирай выше. Тут нашего брата сотню лет дожидались».

И хожу со свечкой, приглядываюсь, подсчитываю, все никак до ста лет не досчитаю. Товарищей уже от нетерпения в озноб бросило, как звери за мной следят — вот-вот всей грудью бросятся. «Стой, ребята! — кричу я им.— Не торопись. Давай ножик, сейчас распечатывать будем. За сотню уже переваляло...»

Свечку поднес, посмотрел, да так и ахнул... Сделана в стене ниша, как в церкви, золотые орлы в камне блестят, и стоит бутылочка вся в гербах, засмолена, и на ней цепочка с грамотой в сургучных печатях... Сняли мы ее, руки у нас трясутся, и читаем: «Его императорское величество император австрийский и король венгерский Франц-Иосиф... такого-то числа, такого-то месяца... его королевское высочество... наследный принц... пили из этой бутылки такого-то числа, месяца, года... что собственной его высочества печатью удостоверяется... Великая княгиня... Гердог Вюртембергский...» Черт его знает! Кого там только не было... Читаем дальше. И вдруг — глаза у нас прямо запрыгали... Читаем: самодержец всероссийский, царь польский, и прочая, прочая, царь финляндский и, черт его знает, какой, Николай Второй, проездом, всемиловитейше...

«Мать-перемать! — как гаркнет вдруг товарищ — и цап бутылку из моих рук. Поднял ее над головой, лицо зачу-

гунело, и шапка с головы прочь. — Не отдам! — кричит. — Попили нашей крови, распаскуды проклятые. Не отдам ее, не подходи! У-ухх ты, стерва паскудная!» — и замахиывается бутылкой прямо на стену...

«Стой!» — кричу я ему, а он как рехнулся.

«Не трожь! — вопит. — Дай дорваться... Я зубами их грызть буду... Нутро их пальцами вытащу, кнутом кишки стегать буду... Не подходи! — и на нас. — Убью, — кричит, — а ее из рук не выпущу!..»

Кинулись мы на него, бутылку насилу отняли, а он трясется весь, как в ознобе, еле его уговорили.

«Дурак, — говорю я ему, — ры-ло! Мы сами сейчас за место графьев находимся...»

Смотрим, у него в котле чуть остывать стало.

«Ладно! — говорит. — Я против вас — один... Бери карандаш и пиши под царями мою полную фамилию... Братцы! — сам весь белый, за грудь хватается. — Братцы, — говорит, — да как же это так! Такая роскошь, а я двадцать один год без сапогов прожил, а вот за эти голенища два раза навылет ранен... — Заплакал. — Да как же это так... Я бабы за всю жизнь, окромя кривой дурочки в лопухах, ни разу не видал... Пиши! — говорит. — Пиши... что из этой поганой бутылки, заместо грахвоф, князей и Николашек, пил деревенский солдат, кавалер и пентюх. Поставь полный чин, имя и отчество. Деревню поставь и волость...»

«Кабы чего не было, — шепчет мне на ухо другой, по прозванью Цыган, — такой мародер был! — Они-то, господа, все друг за друга. Ежели замиренье, — пропали мы тогда! Чего на нее смотреть: горло набок — и кончено».

А товарищ мой свял весь, потемнел:

«Пиши, — говорит. — Пиши, ежели ты мне друг... Ставь всё. Все одно я не жилец на свете. Пущай хоть деревня моя с Николашкой рядом красуется».

«Правильно! — говорю я им. — Правильно, братцы. Как мы есть нижние чины и защитники, имеем все права...»

Раскупорили мы бутылку, отпили из нее культурно по глотку, аккуратно запечатали и поставили на место.

«Ну что? — спрашиваю я товарищей. — Как, ваши сиятельства? Понравилось? По-моему, ерунда. И выходит — ихнее блаженство ничего не стоит. Пусть понимают, что нижние чины тоже не лыком шиты».

А товарищи только головой мотают.

Сейчас смешно вспоминать, но тогда это было понятно: мог ли солдат серой царской армии понимать что-либо

в вине? Да и было ли ему до этого? Эх, жизнь! Нажраться, напиться, пережить день, попасть в лазарет — мои идеалы дальше этого не шли.

Но свеча догорала, нужно было торопиться. Товарищи выбирали, выбирали, да и выбрали самый обыкновенный портвейн: мы не тронули ни одной старой бутылки. «Нижние чины, такие-то, такие,— написал я на винной грамоте,— пили такого-то месяца, числа и года, проездом из Пруссии. Вина и роскошей не одобрили. Пущай пьют теперь другие». Мы повесили грамоту на место, и в тот же вечер бригада покинула имение.

— Да! Я забыл рассказать о печати,— добавил комбриг, позваивая шпорой.— У нас ее, конечно, не было. Но мы легко вышли из затруднения: товарищ закоптил большой палец на свечке и отпечатал его полностью. Он оказался прав: его убили через восемь суток при наступлении, он ничем не рисковал, подписываясь полной фамилией...»

— Все! Я не прибавил ни одного слова к рассказу комбрига,— говорит Овидий, вытирая нежный лоб.— Ваш рислинг превосходен, Эдуард Августович!

Он допивает стаканчик.

Мы все молчим.

— Как мне жаль этого бедного человека! — шепчет Вера Ивановна.— И как все это знакомо. Сколько было таких у нас. Бедные, хорошие люди!

Она сидит рядом с дочерью, обнявшись, совсем как с подругой. Половина двенадцатого. Мы чокаемся в последний раз и уходим. Кругом попряталась ночь, поднялся легкий ветер, и фонари раскачивают поющие кусты и ветки.

Вино создает добродетели, революциям сродни садовники и поэты,— соглашаетесь ли вы со мной, Неунывающий Друг?

## СТИХИИ ЗАЯВЛЯЮТ О СЕБЕ

---

*Со времени появления первых окрашенных ягод ранних сортов и до начала сбора на виноградниках никаких работ не производится, и они только охраняются.*

*...Летом почти ежегодно бывают более или менее сильные ливни, которые в течение короткого времени несут массу воды в овраги и речки. Изредка бывает град...*

*Жизнеописание «Абрау»*

*— Офицера народ испорченный, они, как звери, сами свою жизнь не щадили. Когда человек рабочий, он работу любит — самого себя любит, семью свою любит, весь народ бережет.*

*Заслуженный рабочий «Абрау»*

*А. Н. Фокасьев*

6

Зной висел в этих безмятежных днях, как синяя виноградная кисть. Сегодня день еще ярче, каменные россыпи виноградников обжигают листья, и воздух жужжит мириадами нагретых мух. Это — послеобеденный сон лета. Дело уже почти сделано. Созревающий покой клонится дубовой веткой, висящей, как плеть, от тяжести желудка.

Покой и мир. Сладкий сон созревания, винная тяжесть бочек. Бондарь Бекельман обложился сухими коричневыми стружками. Рубанки, раскаленные добела, жарко шаркают по ровной клепке, и молотки стучат, набивая обручи. Старые бочки гулко катятся по каменным плитам, с них обивают фиолетовый винный камень, их чистят, моют, обжигают пламенем закисшие, трухлявые щербоватости, оглаживают стальными лезвиями, прилаживают новые

бока и днища, обтягивают полосами железа — и они выстраиваются одна возле другой, руки в бок, важно выпятив свои круглые десятки, двадцатки и сороковки ведер.

Покой и мир. Герб этих дней: резные дубовые листья с парю желудей и кабанья щетина старого мастера Бекельмана. Он восстает из свежих толстозадых бочек, из кислой тишины подвалов багровым лицом, колючими усами и хриплым смехом веселого трактирщика: он бродит весь день и пенится грубыми шутками, мокрый рот его дышит лиловым вином; из него идут пузыри, натура его не терпит шпунга, — не мешало бы ему прикрыть солдатские усы виноградным листом. Так поступают с молодыми бочками, когда их распирает веселый дух вина: они исходят и гудят пеной, и липкий мокрый лист служит им предохранительным клапаном. Но прочь с дороги, дубовые ветки и кабаньи головы средневековья! Оловянные стружки давно отошли в область сказок, нет трактиров, увенчанных «Тремя голубыми щуками», у пылающих очагов не греются проезжие ландскнехты в плащах. Не мешало бы быть поосторожнее старому бондарю со своим языком, способным из топора сварить суп. Все изменилось: старина разлетелась как дым. Где вы увидите подвалы, заплетенные мхом, с паучьиими гнездами из плесени и ядовитых грибов? Где вы увидите старые бутылки, покрытые пушистой коркой, насиженной столетней пылью, которую боятся тронуть и хранят, как святыню? Где вы увидите мастеров, горланящих песню и пьющих прямо под бочкой, увенчанной лаврами? Не вам ли снятся они, бравый Бекельман, когда вы проходите, навистывая, руки в карманы?

Мох старины? Но виноделы смеются над такими дурацкими вымыслами. Асфальт и цемент борются с сыростью, по резиновым плангам бежит вода, смывающая плесень, серные газы душат гниение, а электричество качает сквозняки, прогоняющие старину, как призраки. Винные духи, где ваши романтические плащи? Виноделы стали походить на аптекарей, в подвалах чистота больницы, вино рождается на стерилизованных простынях. Бочки лежат одна на другой, — это дортуары веселых здоровых детей, — они вымыты содой, оцупаны искусными лекарями. В них спит, живет и играет детство листьев, света и воды, в них зреют мудрость и зло, страсть и забвенье, счастье и отчаянье, бунт и распад. Только один Бекельман — как гравиора по дереву. Он горланит песни цеховой дружбы, он целует всех прямо в губы и хлопает по плечу.

— Я старый слу-жи-вец! — подмигивает он Овидию.— Хе... Старый ка-дет... А? Кто сказал, что Бекельман ставит плохие бочки? Хе-хе... Бекельман умеет работать. Ему не нужны деньги, он не есть жадный... Что ему нужно? — хрипит старый бондарь.— Хе-хе... Только спокой. Поработать, рыбку половить — и ладно. У него не лопаются глаза на чужое добро... Что говорил ему Директор? Хо! Он не боится никого. У него, кроме восьми деток, нет ничего, — зачем ему деньги? Он мастер, он знаменитость там, где бродит вино...

Он смеется, выкатывая глаза, и гордо идет в бондарпую. Это может плохо кончиться: нам рассказывали о нескольких предупреждениях. Правда, он замечательный мастер, бочки его знают Массандра, Дербент, Кахетия, но все же это веселье не приведет к добру... Овидий напрасно передает Веделию свои соображения о бондаре. Я знаю все его мысли: это романтический вздор, вредный для производства, и я не сомневаюсь, что винодел выслушивает его только из любезности. Что может думать Овидий?

— Демократия краснорожа, как солнце. Она палит добродушной дружбой, целуется и поет на улицах. В ней, в грубоватом пожатии ее руки, — спасение мира. Мы задыхаемся от холода, — говорит Овидий, — и Бекельманы греют нас душевным гостеприимством, они приносят свой теплый дом на улицы, они отапливают вселенную...

Это — все в его подлинном стиле. Ну, а дальше?.. Конечно, Овидия хватит и на продолжение.

— Революция, — бросает он слова на ветер, — неужели революция, созданная руками Бекельманов, не получила прав разрешить им быть самими собой, свистать песни и попивать винцо за веселой работой? Старина Бекельман! Седоусый друг! Ты орешь на собраниях, душа у тебя проста, как ветер, руки твои покрыты рубцами, ты выносишь все горести из бедного дома и хохочешь над мальчишками, поучающими тебя из комсомольских книжек... «Щенки! — кричишь ты добродушно. — Поживите с мое! Для вас стал плох Бекельман, выпивший по случаю работы? С каких это пор детки стали делать мне замечания? Хо-хо! — орешь ты на всю улицу. — Я, правда, выпил, но много ли у вас убавилось? Плохи ли стали бочки старого мастера? И почему Директор улыбается, подписывая мне выговоры? Деточки, неужто винцо мы делаем только для званных обедов?»

Это — вредная ерунда, интеллигентщина, милый Овидий! Производство не терпит индивидуализма, и дело вовсе не в красной роже, сияющей солнцем. Вы не правы, хотя я великолепно понимаю, что вы хотели сказать. И правы ли вы, что мы задыхаемся от холода? Не ищите тепла, дружбы, уюта так, как их искали столетиями, — их нет во всем том, что не слилось в поток мирового смысла. Мне говорят: не стало дружбы, нет гостеприимных рук, нет бескорыстных глаз, отданных одному. Очень хорошо, — отвечаю я. — Порошинки собраны в мировой заряд, он вспыхнул планетным пламенем, мечта обуяла всю жизнь, дружба соединяет народы, смысл стал красотой, уют отдан улицам, полям, корпусам фабрик и плотинам, замыкающим реки. Пора сделать уютным весь мир, украсить его, как огромный освещенный дом, пусть люди поживут в нем полным хозяином. Я думаю, что человек предназначен именно для этого. Народы будут запросто приезжать в гости друг к другу, на такой вечеринке будет поинтереснее, чем в двух комнатах Ивана Ивановича с раскрашенным граммофоном в углу. Какие встречи, какие знакомства! Какое веселье! Кто может сейчас веселиться вдвоем и ждать, чтобы мгновение остановилось? Чепуха. Может быть, рано говорить вам все это, Овидий?

Нет, время пришло говорить о красоте смысла. Вы сказали о холоде, о сумрачности лиц, о редком смехе... Дорогой! Негр на московском бульваре — это океан огромной любви, это песня мировой нежности, это истомившиеся уста миллионов, протянутые через континенты, это величавая дружба, — надо уметь только это почувствовать. Вместо маленького рябого сердца Марии Ивановны послушайте запахавшееся, идущее в бой сердце человечества. Страстные глаза мира полны гнева, восторга, упоения и участия...

Я знаю, что ответит на это Овидий: он безнадежен и доволен собой.

— Ужасный эгоизм! — вспыхивает он сразу. — Я считаю, что абстрактные люди — преступники. Они успели согнать с жизни ее самые простые улыбки. Для меня пушкинская няня дороже ваших несуществующих уютов. Бекельман — красный день пролетариата. Я люблю людей, а не идеи о них.

— Ну, и отлично! Разговор окончен.

Покой и мир вокруг. Каждый из нас бредет по своим делам. Каждый из нас имеет здесь своих друзей.

Когда мне становится скучно и голова начинает кружиться от жарких деревьев, я спускаюсь с горы и ищу кочегара подвала столовых вин Придачина. Он неизменно сидит у дверей кочегарки, заложив ногу на ногу, и, как крот, смотрит на солнце.

Двери его владений раскрыты настежь, окна кочегарки слепы от полдня, в ее сумраке спотыкаются лучи и реют столбами световой пыли. Оранжевые мазурные бреды стекл переливаются всеми оттенками спектра; в кочегарке мутно, она перемазана маслом, она шипит и топится в серой золе, как мертвый товарный паровоз, лишенный бега и мелькания полевых цветов.

Придачин сидит на дубовом обручке и смотрит в мир единственным глазом; он довольнo и хитро копошится своим бельмом под кожаной фуражкой и курит, насыпая табачную крупу в длинные колпачки из газетной бумаги. Покой и мир разлиты в его существе. Котлы подмигивают ему из медных старинных окуляров, старчески дрожа черными стрелками... Шесть атмосфер. Это очень немного, но вполне хватает, чтобы парить старые бочки и выполнять кое-какие работы несущественного значения. Три раза в день он открывает пар и командует гудком. Женщины тогда будят сонных мужей, и прекращаются всякие сны. В час дня кочегар поднимается, как метрдотель, и вежливо приглашает к обеду. Ровно в пять он закрывает подвал и останавливает человеческие руки. Тогда снимаются фартуки, а Эдуард Ведель медленно спускается к дороге, ведущей к «Вилле роз». Это очень внушительно: винодел идет, как сам Ной, под серой демократической кепкой. День закончен, можно поужинать в столовой за тридцать пять копеек, посидеть у кооператива и посудачить о разных делах. Кочегар проходит к себе в казарму на «Птичий участок», важный, как неразрешенная загадка. Иногда его можно видеть в лавке: он покупает всякую ерунду. Я встречал его и в клубе, где раз в неделю показывают фильмы о великих страстях.

— Что это за чудак? — спрашивал меня не один раз Овидий. — Не знаете ли вы, почему он надут, как петух? Он носит свою особу и огромный нос, точно важный пэр — меховую мантию. А его борода! Это напоминает гнома, раскачивающего фонарик... Занятный субъект! Вообще

здесь все преисполнены важности. Черт его знает что! Я заметил, что он всегда один...

В самом деле, он никогда не скучает в собственном обществе и несколько не похож на веселого Бекельмана. Но я полюбил посещения кочегарки, хотя мне не удалось выудить там ни одного лишнего слова. Очевидно, Придачин занимается философией и тайно пишет какой-нибудь труд о смысле человеческого счастья. Может быть, это и так: сейчас можно ожидать чего угодно, а сидеть целыми днями у горячих котлов и улыбаться — что-нибудь да значит.

— Так...— говорю я, усаживаясь на табурет.— Скоро поспеет виноград. Я думаю, что это прибавит вам работы. Не хотите ли закурить? Это — кавказские папиросы. Берите, берите... Я должен извиниться: они немного затхлы и неприятны на вкус...

Я начинаю болтать о всяких пустяках. Не находит ли кочегар, что скучно жить одному в сорок лет и что гораздо лучше иметь жену и гулять с ней под ручку?

— Вы подумайте,— говорю я, закидывая в муть кочегарки блестящую удочку,— как было бы это хорошо!

Я рисую перед ним блестящую картину довольства и радости, но кочегар смеется и качает головой.

— Нет! — восклицает он. — Н-нет... Дай еще закурить.

Когда он смеется, из черной пакли его бороды смотрит бес. У него редкие зубы, похожие на кабаньи клыки.

Он смотрит на меня подозрительно: бес делает какие-то тайные знаки. Придачин довольно сосет папиросу и мусолит ее красными толстыми губами. Его нелегко вывести на чистую воду.

Я спрашиваю совершенно равнодушно:

— Довольны ли вы своей жизнью? Не скучно ли вам? Есть ли у вас друзья и знакомые? Скажите, по крайней мере, как ваше имя и отчество? Мне нужно все это знать: я хочу записать ваши слова... Видите,— я вынимаю записную книжку,— я беру карандаш. Я буду слушать вас очень внимательно...

Я сделал все, чтобы возбудить в кочегаре тщеславие. Я говорил о газетах, о прекрасной фотографии, отпечатанной посредине текста, о тысячах читателей, я тонко намекал на возможность славы. А что скажут в Абрау? В читальне под деревьями парка, где на столах мерцают журналы и газетные полосы... Как будут шептаться!

Что будут говорить! Не правда ли, об этом стоит задуматься?

— Н-нет! Н-нет! — смеялся от души кочегар. — Я тебя знаю: ты такой. Ты скажи сам, как меня зовут, догадайся.

Он хитро подмигивал бельмом. Тайственность была его капиталом, я это отлично видел. Он чрезвычайно доволен. Я вижу, что он считает вполне понятным, что им интересуется вся страна. Он поднимается с обрубка и ходит передо мной, распушившись важным индюком. Башмаки его дырявы и стоптаны, шнурки на них отсутствуют, штаны его поражают, как перекутанная строила строящегося здания: это загадочная система заплат, обличающая смелость одинокого мужского творчества. Боже, что это за штаны! Это — безумие портновской иглы и вдохновение мастера, гордо пренебрегшего старыми приемами. Кусок мешочной ткани пересекает их сзади, как запасная ферма моста, поддерживающая весь замысел сложной конструкции. Он пренебрег всем, и любая женщина отступила бы перед хаосом этих заплат, громоздящихся, как горы Кавказа. Каждый день он кладет новый смелый мазок. Он доволен собой и не заботится о мнении других. Быть может, я думаю, что его котлы — простая штука? Один из них в действии. Он подходит к нему, как батрак к безмолвному родному быку, и я вижу, что он хочет поразить меня фамильярностью обращения с этими сложными вещами, о которых гласят инструкции надзора на стене кочегарки. Там говорится очень много, пункты инструкции жестоки; они говорят о страшной силе пара и стали; надо держать ухо востро: один промах — и правила безопасности полетят в бездну, к дьяволу, чудовищным взрывом несчастия. Придачин открывает выпуклую дверцу топки и пылает в раскаленных смерчах гудящего ада. День сразу темнеет за пыльными окнами, электрическая лампочка наверху еле светит желтым зрачком. Дверца хлопает, он берется за кран водоизмерителя, поворачивает рукоять...

Оглушительным вскриком, визгом и свистом взлетает пар. Котел прыгает вверх жужжащим воем и уносится в белых тучах. Пшшш-жжжик!.. — выключает он рукоять, и пар крутится в воздухе, рассеянно оглядываясь на черный котел, и краны клокочут брызгами.

— Ви-дал? — говорит кочегар и поворачивает торжествующе огромный нос в синих угрях.

Я сижу совсем уничтоженный. Это действительно сильно. Вж-ж-жшшш-жик — прыгает опять котел, и вулкан бешенства закрывает кочегара, стоящего в преисподних клубках с торжеством дьявола.

— Это еще полдавления! — говорит он довольно, закрывая краны, и мы сидим, опять мирно беседуя.

Время бежит незаметно, обгоняя солнце.

— ...Александр. Вас зовут Александр Яковлевич! — говорю я. — Александр — величественное имя... Яковлевич — это поправка вашего батрачества, смягчение холодной классичности первого имени задушевностью народности... Александр Яковлевич, правильно?

— Н-нет! Н-нет! — прыгает восторг кочегара. — Н-нет!

— Нет? Сейчас... Вас зовут... Сейчас, сейчас... Вас зовут Владимир Кузьмич. Нет — Михаил Иванович... Михаил — разящее имя, меч, поднятый над головой, жестокость во имя истины.

— Н-нет! — гордо бросает Придачин.

— Петр! Петр! — кричу я. — Вы не отвернулись! Именно Петр — строитель, кузнец, плотник... Вас зовут Петром Александровичем. Вы труженик в заплатах. Александр — наполняет вас эпосом, дает вам героический щит, поднимает вас, как статую... Неужели нет? Я придаю такое значение именам... Ну, хорошо, вас зовут Георгий Владимирович.

— Н-нет! — окончательно добивает меня кочегар. — Ничего ты не зна-ешь. Дай закурить, тогда скажу.

— Пожалуйста, пожалуйста!

— Меня прозывают... — довольно растягивает время кочегар, закуривая. — Ну, как ты думал? Ты только ничего не записывай, а то не скажу.. Илья Пав-лов При-да-чин. Понятно?

Илья Павлович. Бог ты мой! Пожалуй, это самое подходящее, об этом нужно будет подумать... Илья. Кто был Ильей? Илья Мечников, Илья-громовержец.. «Илья» приставлен к имени человека, претворившего мир в бурю и все бури — в дело. Это — хорошее имя, оно просто, как добрый кусок дерева в руках мастера, но ведь и дерево может дать буйный огонь. Это — верное, не обманывающее имя: оно мудро и народно, но и жестоко и справедливо. Оно грохочет громом и проливает светло-зеленый дождь. Илья. Это имя пригрето на завалинке человечества солнцем мудрого опыта. Но Павел? Что я могу сказать о Павле? Я не вполне осознал и усвоил запах звуков этого

имени. Имена, как цветы, — это запахи характеров и смысла людей, они — как заглавия книг. Они не случайны, уверяю вас!

Илья Павлович Придачин — звучит очень солидно, не потому ли кочегар носит заплатанные штаны с таким довольством и гордостью? Доволен ли он своим положением? Об этом мы говорили не раз. Он вылез на обрубок дерева у дверей кочегарки из темной оттаявшей земли и прошлого мрака, он обогревает себя, как весенний крот, и купается в лучах солнца. Сорок лет жизни: он никогда не имел кровати и никогда не получил ни одного письма. Ни одного письма в жизни — мне становится жутко... Ни одного! Годы уже в прошлом, они разрыты маленькими когтистыми лапами и темнеют сырой могилой, — он смотрит вверх слепыми глазами: разве не пахнет воздух, слетающий с подсохших листьев, фиалковым корнем? Он один в мире. Лучи трезвонят в окна кочегарки. Может быть, он до сих пор лежит между колен забитой жизнью батрачки, выброшенный судорогами к свету и обтертый навозным подолом, в соломе коровьего сарая, сорок лет тому назад?

— Жить можно, — говорит он важно и торжественно. — Плоховаты харчи, но мне хватает. В казарме покой, у каждого койка и матрац — не то, что раньше. Службу, например, взять: полное уважение...

Котлы — тонкая штука, но для него сущая ерунда.

Он дожидался этого места сорок лет. Ему весело. Не всякий раскусит его положение, и он не будет кричать и бить себя кулаками в грудь, как мастер Бекельман.

— Ты меня не проведешь, — говорит он. — Чего ты там записываешь? — Он доволен жизнью и не желает соваться в газетные листы. — Ты такой... — говорит он. — Я тебя знаю. Я и сам читаю газетку, как там международная агитация идет. — Он грозит пальцем и подмигивает. — Нечего заниматься пустяками! Есть дела поважнее...

Покой и мир. С важностью вытаскивает он часы, завернутые в тряпку, встает.

— Шанкер на семи камнях! — говорит он о часах гордо и медленно.

Он идет за котел, берется за проволоку. Необычайное довольство и торжество разлиты на его лице. Он смотрит на циферблат, тянет проволоку вниз и долго и торжественно стоит, маленький, в серых масляных лохмотьях, когда наверху, в огромном сияющем мире, уходящем ко всем странам, над красной высокой черепицей цветет трепещу-

шее облако пара, гудит, свистит заунывным звоном и бежит по горам и виноградникам медными вещими звуками, чтобы неожиданно и недоуменно оборваться и стихнуть.

— Видал? — говорит он. — Это тонкая штука.

— Да, да, — повторяю я. — Лично я не способен на это.

Мы расстаемся. Он идет обедать, надутый, как петух, а я ищу своих друзей. Я доволен, я счастлив, я так рад, что попал в эти места.

— Что у вас сегодня такой странный вид? — спрашивает меня Поджигатель, беседующий с Директором. — Может быть, вы нездоровы?

— Нет, все идет хорошо... Здравствуй, Директор!

Мы идем обедать. Овидий и Поджигатель рассказывают мне последнюю новость: приехал художник из Ленинграда, известное имя, вместе с ним девушка, его сестра. Овидий находит ее чрезвычайно милой. Я молчу.

— Что случилось с вами? — тормозит меня поэт. — Что вы молчите?

Что случилось со мной? Ничего особенного. Просто я задумался над некоторыми вещами, а Эдуард Августович угостил меня в лаборатории стаканчиком старого каберне.

## 8

Солнце сошло с ума, и все перевернулось.

Поджигатель целыми днями сидит в рабочкоме, ходит с Директором и выступает на собраниях. Нас двое: Овидий и я, — мы решили дать себе отдых. Все равно вечером мы услышим все новости и узнаем, как идет мировое сражение. Совхоз живет, как виноградный лист, он шелестит под звездными ночами, набирает сил, днем он ослепительно спокойно отдает себя жару и солнцу.

Дни созревания: они накалены, как белый кусок железа в полутемной кузнице. Дни сияют, черный взлетающий молот кует их с утра до вечера, я вижу его ровные удары, и в глазах и в сердце полыхают закопченные, темные молотки. Я с трудом переношу этот зной. Камни дуреют от блеска, кусты винограда кипят зеленою пеной, мутное озеро шипит в каменных берегах. В зное есть величайшая скука, время накаливания тяготит, как ожидание боя.

Сорок градусов. День нестерпим. Графин в столовой блестит, как безумие космоса, фикусы на столах убивают буднями. Когда же цикады начнут итальянское каприч-

что? Мне вспоминается степь, станция Алтата, вагоны, сухие, как спичечные коробки, рыжая копоть паровоза и босые ноги пехоты, обжигаемые пылью. Дохлый верблюд валяется у пыльных акаций. «Воды, воды!» — кричат горячие рельсы и шпалы, закапанные мазутом. Какая скука ожидания! Дальше, дальше... Последняя станция, взорванная позавчера, пустые дома и солоноватый воздух, кишачий зелеными мухами. Конец света: рельсы разобраны, комендант в матросской фуфайке обвешан бомбами, у него только пятнадцать красноармейцев, они валяются у изгороди, два пулемета торчат на крыше, сломанная водопочка висит в палящем солнце... Паровоз уходит обратно. Седой, как лунь, машинист дает полный пар. Покачиваясь и неистово крутя шатунами, развевается паровоз и головешкой пропадает в степи. Вагоны стоят, от них пахнет купоросом, лошади ударяют копытами в деревянную обшивку. Сорок градусов.

— Идиотство! — бормочет командир, огромный полковник, с приставкою «бывший», в широченной гимнастерке без пояса, звякая шпорами. — Товарищ комиссар, имейте в виду, я не отвечаю за приказы штаба дивизии. Полевые гаубицы есть полевые гаубицы. У противника превосходная кавалерия. Комендант располагает лишь двумя «люисами», связи нет никакой... Прошу вас собрать дивизион и объяснить положение красноармейцам.

Боже, какая жара! Мухи жужжат сумасшествием, вся станция завалена внутренностями животных: части били и свежевали скот прямо на путях, все колодцы завалены падалью. Комендант в этом пекле вторую неделю, он обречен, связь случайна, провода разрушаются ежечасно... Он равнодушно отдает распоряжения, пушки с грохотом скатывают на перрон.

Смертники-красноармейцы обнявшись гуляют по станции: на них чертовски засаленные шлемы с красными звездами. Они ругаются и лают, как моськи, они задрали носы и ухарски бродят торжествующей гибелью.

Я запомнил одного франта: папаха шире плеч, перетянутая красной лентой, свисала живым черным бараном, соломенные кудри на лбу его пыliliсь мириадами гнид. Он ходил с гармошкой и снисходительно поглядывал на желтые ремни, свежие гимнастерки и хрустящие английские седла... Орудия слаженно гремели с платформ, орудейные начальники при шашках и кобурах бряцали железными шпорами. Парень насмешливо трогал мехи. Он

смотрел на ловко подпоясанную регулярную часть, как ленивый философ на светскую женщину, сверкающую обаянием.

— Эй, кобылка! — крикнул ему артиллерист второй батареи, усатый щеголь и весельчак из Самары. — Котелок потерял! Держи штаны шире — кашей угощу. Ишь, расклюнявился, сытый черт!

Парень нехотя останавливается; он равнодушно перебирает лады и зеваает огромной степной скукой: ему лень отвечать, лень дожидаться смерти. «Ужасы войны — это развлечение, — говорит его насмешливое спокойствие. — Ожидание неизбежного висит, как зной, скука и пыль, — это и есть ужас». Ему лень подтянуть штаны, прореха их растегнута, а ему наплевать. Дни идут здесь невыносимо медленно, пехоте лень колотить вшей, все спят. Чем хуже и безнадежней, тем ленивее поднимается рука, тем слаще слушать ночную опасность, бродящую у заборов дулом лихой казачьей винтовки.

В войне побеждает тот, кто находит мужество проснуться вовремя, застегнуть брюки, вычистить сапоги. Армии разлагаются от праздности, тоски ожидания, от предсмертной спячки. Но этот зной! Он жужжит, как далекая станция, и наводит на воспоминания. Папаха и лента... Где-то его лихие крестьянские кудри? Потерять чувство страха, спать под пулями — значит погибнуть. Казаки рубили таких храбрецов полупрезрительно. Я думаю, что парень не избежал такой участи. Его вели к забору, щелкая затворами, а он зевал и почесывался, не произнося ни одного слова. Огромная голова его ткнулась в землю равнодушно, — в ней было порядочно крестьянского фатализма и солдатских вшей.

Я вижу, что Овидий с трудом переносит подобные дни. Он перестал бриться, несколько дней мы не получаем арбузов от его друга китайца Жан-Суа, сорочки Лирика больше не поражают свежестью. Даже Поджигатель сделал ему замечание: он по-прежнему печется о мальчике и заботится о его галстуках, как влюбленная жена. Это потешно. Пара довольно курьезна. Наш разрушитель имеет вид санюлога, хотя бреется аккуратно через каждые два дня. Впрочем, есть еще одна странность: он обращается с книгами необыкновенно осторожно и не терпит пятен на страницах, загнутых углов и помятых обложек. Педантизм его в этом отношении неиссякаем. В бедной каморке, заваленной газетами, я видывал редкие экземпляры в прекрасных

переплетах. «Золотой осел». Жан-Жак Руссо, несколько томиков Шекспира и стихи Верхарна — это что-нибудь да значит. Книжная полка — единственное богатство Поджигателя, и не какая-нибудь, а шведско-американская из красного дерева. Двести пятьдесят рублей! Она стоит, как белая ворона, и блещет тисненными корешками и чистыми стеклами. Это случайная покупка. Он написал брошюру о китайских событиях, он оправдывает полку успехами на Востоке и позволяет себе роскошь чуть продвинуться в область культурного стиля. Переворот в Индии, очевидно, прибавит к этому приличную кровать. Нельзя же спать, в самом деле, на какой-то геометрической загадке из железных ржавых прутьев, доставшихся ему с жилищным ордером из МК. Быть может, пролетарская революция в Германии привезет на Сретенку стандартный диван с пружинами, громяющими, как орудийный выстрел? Быть может...

Но Овидий... Его поведение наводит на размышления. Вряд ли он сумел бы выдержать пехотную скуку обреченной станции. Он перестал ухаживать за собой в дни ужасного зноя и предпочитает валяться на кровати с книгами из местной библиотеки. Он дошел до ерунды и читает роман весом в десять фунтов, какую-то безнадежную хронику с фотографиями влюбленного в себя и безвкусного автора. Это уже последнее, тут недалеко до парня с расстегнутой прорехой, — я боюсь, что Лирик ожидает от жизни только бенгальских огней и может дойти до ленивой храбрости. Он был в кавалерии, а они все чувствуют себя тягеловато без мелодичных шпор.

— Боже мой! Как насобачился писать! — вздыхает он, ворочая пружины кровати. — Вы подумайте, я прочитал только сто страниц. Неужели не будет дождя? Я задыхаюсь в этом пекле, мне надоело все, и я не могу больше шляться по виноградникам! Почему уехал художник? Он появился, как соя, сестра его опахнула нас лесной прохладой, как влажный колокольчик. Ее зовут Люся, вы подумайте: Люся! Они поехали за вещами в Новороссийск и исчезли, как и всё в жизни. Ах, — он страдал, словно от зубной боли, и читал роман, забывая о деле, — ах, они не вернутся! Мы погибнем от скуки.

Он перестал ходить в «Виллу роз» и записывать изящные новеллы старого Веделя. Он не восхищался более вином и его тайнами. Зной перевернул все, шум жизни был неуловим, и ночи не приносили ему никакой прохлады.

Директор вывесил приказ на дверях управления, категоричный и отрывистый, как манифест военного времени. Сбор винограда начнется через несколько дней. Всякие отпуска прекращены. Заведующий шампанским производством профессор А. М. Фролов-Багреев прибыл и вступил в исполнение своих служебных обязанностей. Секретарем управления совхоза назначается тов. Д. Петухов.

Это тонкая штука — создавать вино. Я вижу Директора повсюду. Он ругается с технической частью и шоферами; каменщиков нужно бросить на ремонт дорог, автомашины должны быть готовы для сбора; он собирается заменить подводы и рессорные линейки механической силой; он громит кооперацию за хвосты у лавки и столовой и пускает в ход словарь Даля целиком, прибавляя к нему новые словообразования. Солнце поднимается рано, заседания идут непрерывно. Директор устраивает их на ходу, пробегая по каменным лестницам сторы на гору. Он хватается за шиворот, свита еле поспевает за грубияном, высунув языки. На нем ночная сорочка, ворот ее расстегнут.

— А-а-а!.. — кричит он, увидев кооператоров. — Вот вы где, голубчики! — И он осаживает бег, громоздясь шести-пудовым гневом и тяжестью степных мускулов. В карих глазах его полыхает украинская ночь. — Здравствуйте!.. — И он закладывает кулаки в бока, окидывая снисходительно приближающихся молодых людей молчаливой паузой. — Как пожи-ва-ете? Как выспались?.. Ну, вот что, друзья мои... Прекратить! — вдруг кричит он, наливаясь багровой краской. — Слышите? Прек-ра-тить! Я тебя, Бронштейн, за решетку посажу. Я тебя предупреждал бросить эту лавочку. Ты что, на Дирек-то-ра пошел? Б...к у меня под видом кооперации устраиваешь? Это кто тебе арбузы по рублю продавать позволил? Контрреволюцию среди рабочих разводить, а?! Разгоню всех! Камня на камне от вашего рундука не оставлю!.. Ч-что? Церабкооп установил? Да я вас всех...

Он ударяет по молодым людям волжской баржей, бросает их вниз, топчет своей волей и топит в истории.

— В последний раз! — дышит он тяжело. — Ты, Бронштейн, имей это в виду... пролетариат пшмет мозгами, а не чернилами.

Свита раздумчиво и деликатно смотрит в сторону виноградуников. Директор еще бушует, но все медленнее, медленнее. Его гнев постепенно стихает.

— Смотрите, не подкачайте с питанием, — беседует уже с отдышкой Директор, — бросьте эту автономию. Кооперация — не для наживы. Продавать — пятнадцать копеек арбуз на круг. Никаких надбавок! Распоряжение Директора — и кончено.

Он зеваает, смотрит вверх, поддергивает брюки. Кар্তুзик его глядит насмешливо. Мгновение — и он, и свита, и кооперация катятся по лестнице. Бронштейн хохочет и, разводя руками, жужжит на ухо Директору. Он тонок, как библейская роза, туркестанская тюбетейка придает ему шутовской вид.

— Нет, вы подумайте, — говорит он, поддельвая голос под жаргон, — что вы только говорите, Директор!.. Разве государство не может сделать верного дела? Ва! Это я гарантирую. Даю честное слово!

Директорский голос скатывается вниз. По лестнице медленно поднимается Эдуард Августович, величественно передыхая на площадках.

— Яшник! Ах, этот Яшник! — качает он головой, посмеиваясь. — Чудак! Вот чудак! Вы знаете, — он тяжело дышит, — они сходят с ума со своими планами... Да.

Мы закуриваем.

Планы... Ведель не научился их составлять за сорок пять лет. Он, очевидно, забыл свои записные книжки...

— Вы знаете, — говорит он, останавливаясь, — мне przypomинается один год. Управляющий тоже составил планы: все было очень хорошо, мы приготовились к виноделию, процент сахаристости был достаточен. Хе-хе... — смеется он. — Подул ветер — и все планы остались на бумаге. Только один дождь и немного града... Когда идет брожение, мы привыкли смотреть на термометр; это очень важно. Нужно быть аккуратным, молодое вино легко простуживается: небольшой северный ветер — и надо закрывать двери. Подвал — это как инкубатор для цыплят. Можно погубить хорошее вино. Я боюсь, как бы не повторилась такая история... Но этот веселый Яшник! Ах, добродушный чудак!

Он качает головой и смеется от души, чуть горбясь и клонясь седой головой в кепке. Куда направляюсь я? Быть может, я отправлюсь с ним в подвал? Он с удовольствием покажет мне прессовое отделение... Подготовка к виноделию идет, но он сомневается в приказе Директора. Никто

не может отвечать за небо, в этом районе солнце и дождь чрезвычайно капризны. Он говорит о знаменитом норд-осте.

— Он вовсе не так страшен, как вода, — говорит винодел, — это наш дезинфектор. Хе-хе, — подсмеивается он, — этот ветер устраивает славные штуки...

Знаю ли я, что он срывает со всех якорей морские пароходы и прекращает уличное движение в городе? Правда, здесь он несколько слабее, но осенью озеро штормует, как океан, и ему трудно сидеть в подвале, слушая мелкий дождь и грохот волн, плещущих за горами. Осенние дни темны, все спит глубоким сном, и ни один поэт не является сюда с грязью на сапогах и дождем на шляпе. Скучная пора! Но летом норд-ост радует винодела и хорошо служит доброму вину: без него грибок мильдью не оставил бы в покое дождевые виноградники. Он помнит хорошо тысяча девятьсот десятый год. Дожди шли как из ведра, росы падали обильно, этот мильдью не давал никому покоя. Бордосская жидкость смывалась мгновенно, рабочие выбивались из сил, мильдью схватывал огромные площади, и в конце концов бедствие надвигалось, как грозовая туча.

— Хе-хе! Французские специалисты утверждали, что урожай погиб. Во Франции при таком заражении машут рукой. Но хорошо то, что хорошо кончается. Норд-ост в течение суток приостановил ядовитые полчища, мильдью исчез, вино десятого года было превосходным по тонкости и свежести вкуса... Я сделал отличное вино, — повторил Ведель. — Десятый год оказался счастливым... В моем деле мало писать бумаги в рабочком и выступать с докладами на собраниях. Нужно иметь хорошую память — подругу опыта и не забывать заглядывать в записную книжку...

Солнце, вода, ветер. Кругом зной, сиянье. Солнце — как бред тифозного...

Ее зовут Светланой Алексеевной. Она приехала. Жизнь ворвалась, как ветер, в наши знойные стены, ее голос опухнул нас студенкой погремушкой водяного колокольчика. Овидий был прав: в ее имени — сочный стебелек, белая ночная роса, запах месяца в сыром луге. Художник приехал с севера, она — его сестра, и они оба будут жить рядом с нами.

Они сидели здесь, говорили. Два желтых чемодана, складной мольберт, полированный ящик, рамы с холстами. Живописец в клетчатом костюме, галстук его сбит набок, волосы на ровный пробор, свисают челкой ко лбу. Ему или семьдесят или тридцать лет: когда он смеется — он помятый беззубый дядюшка, двух зубов у него нет... На кого он похож? Быть может, на американца... Нет, брюки сидят у него мешком. Это — наш, русский живописец, имеющий сестру, при виде которой Поджигатель подобрал босые ноги и незаметно завернул их в одеяло.

В ней — ничего исключительного. Разве мы не видели прекрасных женщин, Неунывающий Друг? И разве они созданы иначе, чем мы? Все очень просто в мире, и смешно волноваться, когда приезжает девушка, у которой лицо белее, чем у других, а когда она поднимается от чемодана, в подколенных ложбинках разглаживаются нежные синяки, подобные теням под утомленными глазами. В этом нет ничего удивительного: несколько вен, здоровый пульс. Пусть Овидий находит здесь млечное мерцание звезд, — мы с вами видели подобные теннисные туфли, платье с лукавой скромностью, волосы, щекочущие шею певучими прядями, и эту походку... Но Поджигатель спрятал красные ноги и проделал хитрый маневр с большой ловкостью. У него был достаточно растерянный вид.

Мы поговорили о разных вещах, о любезности Директора. Честное слово, Люся смотрела на нас с любопытством. Им дают уголок Осоавиахима, там спит секретарь комсомольской ячейки, парень в гордых ремнях, с загадочным лицом.

Живописец подмигивал нам с Овидием.

— Братцы мои, — разводил он руками, — ничего не понимаю! «Купаж», «ассамбляж», «дегоржаж»... Черт его знает! Когда же будет вышиваж? Нельзя ли сегодня же приступить к дегустации?.. Молчи, молчи! — накинулся он на сестру. — Она хуже, чем жена, не дает дыхнуть... Мы выпьем по бутылочке, скромно. Нельзя же пристать к работе, не раскусив, чем она пахнет. А кроме того... ты знаешь, что такое дегустация? — Он поднимал палец и щурился всем лицом. — Это тонкая штука! Это тебе не пьяный Аристарх. Абра-у сто пять-де-сят че-ты-ре!.. Рюмка. Все стоят с карандашами. Тишина, бонтонность, торжественность... Буль, буль, буль. Льетса. Что вы скажете, милсдарь? Как вы находите букет? Не отдает ли он пригорелой резиной? М-да-м, м-да-м... Никакой закуски! Одни сухари.

Тут, братцы мои, чисто научная работа, культурность, полная световая гамма... Ассамбляж, купаж, вернисаж! Ты, Люська, поживешь на шампанеях и научишься понимать, что наливают в бутылки... Ках! — кашлянул вдруг Живописец. — Ках!

Он схватился за грудь, и беззубое добродушие его рта спрыгнуло в темную страдальческую гримасу, рука искала платок. Удушающие удары кашля поднимали и бросали ровную прядь волос.

— Беги, откашляйся, — живо откликнулась Люся. — Я тебе говорила! Видишь...

Живописец, согнувшись, кинулся за дверь. Там захрипело, забилось. Я никогда не слышал такого ужасного кашля, — казалось, что грудь человека разрывают предсмертные судороги.

Девушка сидела спокойно, ее щеки дымились розовыми пятнами, она смотрела на золотые ручные часики.

— Две минуты, — сказала она, внимательно трогая левой рукой гладкие волосы у лба. — Он кашляет три.

— Это ужасно! — с неподдельной тревогой произнес Овидий. — Быть может, позвать доктора?

Она не ответила. Ресницы ее покоились на часах. Она смотрела вниз, как женщина, кормящая ребенка. Грудь ее поднималась простотой жизни.

— В самом деле, — сказал я, — быть может...

Но я вовсе не хотел сказать этого.

Живописец кашлял третью минуту, грудь его плакала. Поджигатель забыл о красных ногах, он скинул их на пол, штрипки его галифе висели грязными прачечными тесемками. «Ага! — подумал торжествующе я. — Поколение понимает друг друга. Фронт, голодовки, разбитые вагоны — вы говорите одним языком, вы нас сбиваете вместе. Мы не можем спокойно смотреть на часы, когда кашляют сторовенные годы, говорят нам одни и те же слова. Здесь мы одни, нечего думать о кустарниках юности. Недаром Поджигатель бледнеет и протирает очки, а Овидий говорит о докторе. Когда выбирают одного из дружного стада, все остальные слышат каждый стук обреченного сердца...»

— Могила! — бормотал Живописец, показываясь из двери и вытирая рот. — Двести граммов мокроты ежедневно.

Он поднял чемодан. Люся смотрела на него и улыбалась. «Пустяки! — говорили ее глаза. — Поправишься. По-

меньше пей и слушайся свою милую сестру. Тебе вырезали девять ребер — и это в конце концов сущие пустяки...»

— Ну, братцы, покедова... Люська! Забирай мольберт.

Живописец отправился в свой уголок Осоевиахима, крикнув на прощание о дегустации.

Мы помогли девушке отнести мольберт и холсты. Поджигатель вспомнил о своих ногах в последний момент.

— Простите! — произнес он угрюмо. — Я не успел надеть ботинки.

— Не верьте ему! — закричал Овидий. — Дома он всегда ходит босиком.

— Ну и что же?

— Не слушайте, не слушайте! — к моему удивлению вдруг солгал Поджигатель и начал городить какую-то ерунду о сандалиях... Какие сандалии? Мы первый раз слышим. Девушки все насмешницы, — я уверен, что она все увидела, и совершенно напрасно Поджигатель отодвигал под кровать запотевшие, в зеленую клетку, портянки, служившие ему носками. Но она добра. Два карих золотых ободка вокруг темных зрачков искрятся, лицо ее серьезно.

— Какие пустяки! Вот еще! — сказала она. — Я не придаю этому никакого значения. Мы ведь будем друзьями, не правда ли?

Они ушли. Вечером четвертая кровать оказалась занятой: с нами будет жить вместе товарищ Петухов, Винный секретарь, который сразу же получил наименование Винсека. Узел стягивается все крепче, мы знакомимся все с новыми и новыми людьми, каждый из них достоин стать украшением памяти, каждый вечер прибавляет новые темы для славных бесед. Зной оснастил энергию Директора, остались последние дни перед сладкой ослепительной жатвой. А в нашу дверь по утрам стучится легкая прохлада руки с золотыми часиками, и кашель Живописца покрывает голос, которому удивляются сами нетерпеливые губы:

— Можно?

Она влетает восемнадцатую столетиями нашей эры и признается в полном невежестве перед ораторами коммуны. Но она соглашается почти со всеми и спорит только с одним Овидием, вспыхнувшим в этих днях снежными сорочками, синими галстуками и носками, легкими, как паутинка. Да, мы бреемся с самого утра. Поджигатель по вечерам произносит речи. Художник сидит с бутылкой вина и пережевывает его глотками, подражая Веделю. Он успел

подружиться с Бекельманом. После обеда они вместе хрипят и кашляют, отпуская непристойные шуточки. Наступила веселая жизнь. Планета вращается бешено. Времена перепутались. Мы живем снова в старой теплушке и, раскачиваясь, трясемся на фронте. Вспоминаются славные дни. Достаточно сказать, что Овидий перестал говорить о стихах и повторять свои излюбленные строфы из Тютчева. Это — чудесный признак: стихи не скроются никуда и пригодятся в замедленные минуты. Сейчас же грохочет жар, термометр поднимается за сорок, — разве плохо, когда в подобные дни люди проявляют активность, и чувствуют себя превосходно в коммуне, учрежденной в угловой комнате управления совхоза «Абрау-Дюрсо»?

Шире дорогу! Пусть шумят эти благословенные вечера. Звезды выпали, как млечный снег, сверчки начинают работу. Скоро будет вино. Все по кроватям — пять друзей: цвет и надежда своего поколения. Электрификация — путь к коммунизму, зажигайте лампочку. Окна открыты настежь. Садовники ложатся спать, молодежь веселится под музыку, звуки оркестра плачут в горах, знавших щиты Эллады. Пусть грянут речи, пусть начнет Овидий импровизацию ради двух невнимательных глаз, пусть говорит поколение, прожившее молодость в тифозном бреду. Скорей, Поджигатель! На сцену, Винсек!

Она слушает внимательно и говорит всем, кроме Овидия, свое «да», — ее голос звучит, как дерево темно-вишневой скрипки.

## 11

Планета обвешана виноградом, она готовится скинуть старую шкуру и размять полные бока, увенчанные созревшими листьями. Идет новолуние. Бондари стучат молотками и купают мозолистые руки в дубовых стружках, кружащихся в запахе старинной мебели. Есть отчего горланить Бекельману и по вечерам пить бургундское ценою рубль сорок копеек за литр. Таких мастеров поискать, — за ними придется съездить в Германию. Кооперация открыла новый ларек, куда по утрам в деревянных чанках привозят первый виноград, распределяемый по классовому признаку. Хозяйки ругаются в очереди, как разъяренные усатые тигрицы. Идет настоящий бой. Спекулянты пользуются случаем: в городе самый плохой виноград продают по полтора рубля. Пятнадцать копеек кило! — объявил

Директор. Это — себестоимость. За штампованный кружок серебра вы получаете груды синего рая, прорывающего веселый колпак измятой газеты. Виноград привозят с каменных гор. Рессорные линейки провожают солнце. Кисти запыленного синего мрамора прыгают на ухабах тяжестью изобилия. Есть от чего кружиться длинным, полосатым осам и клейко жужжать под прилавками. Пятнадцать копеек кило! Солнце мечет в чаны синюю тяжелую икру, продавцы еле успевают отвешивать ее, заваливая медные весы туго набитыми знойными связками. Есть для чего приезжать сюда рыночным гиенам, живущим на пустырях старого мира.

Усатые тигрицы из семейных кухонь сторожат их злобным рычаньем. Над виноградом стоит неистовый гвалт, люди толкуются, как рой, шея Директора появляется среди этих страстей и командует направо и налево: он раскидывает свирепую толпу и пробивает локтями дорогу к здравому смыслу.

— Ай, бабы! — кричит он. — Беда мне с вашими юбками... Батюшки! — Он зажимает уши и машет рукой. — Прекратить! Немедленно прекратить! Где кооперация?

Тюбетейка Бронштейна возникает шпилем громоотвода, карие ночи директорских глаз ударяют молнией. Начинается потеха. Директор бьет несокращенным Далем и освежает обстановку громовыми раскатами. Тигрицы жмурятся. Директор ворошит их полосатые спины и оглаживает их шерсть широкими мужскими шутками. Они хохочут — и превращаются в задорных, видалых женщин.

— Беда! — качает головой Директор. — Вот и попробуй с ними социализм проводить... Бронштейн, я предупреждаю тебя второй раз...

Простое дело! Это — только продажа раннего сорта португе, плохого для вина и скинутого со счета урожая костяшками бухгалтерии. Не лучше ли нам отправиться к Придачину и потолковать о более важных вещах? Сегодня зной прыгнул вверх, солнце, как манометр, подрагивает черной стрелкой. Илья Павлович сидит на обрубке и дожидается счастливых мыслей. Он не всегда оглашает их, но это и понятно: не всякому стоит раздавать собственные приобретения. Он прав и доволен своей правотой — это и есть подлинное счастье. Когда я вспоминаю те безмятежные дни, я спрашиваю себя: кто самый счастливый на Земле, пущенной лететь в ледовитых пространствах пестрым волчком? Если сейчас ночь, он спит в казарме на деревян-

ной койке, покрытой соломенным матрацем; единственный глаз его закрыт, нос важно перевалился набок. Он самый счастливый на планете: этой койки он не имел тридцать с лишним лет. Если сейчас день, он, конечно, сидит в кочегарке и поглядывает на котлы, раздумчиво заворачивая папироску. Он смотрит важным хозяином: котлы, как ленивые быки, медленно пережевывают дрова, он щурится и говорит с ними, переносясь в прошлое.

— Васък! Васък! — бормочет он, похлопывая асбестовые трубы. — Ишь ты, сытый! Хо-хо! — Он поворачивает кран... Ш-ш-ш-жить!... — брыкается пар. — Баловать! — гаркает кочегар, довольно улыбаясь и закидывая рукоять. — Ишь, старый черт! Разлежались тут у меня! — И он возвращается на свое место посматривать, как перед его носом моет бочки седочубый Кулик, сморкающийся в фартук, прямо из времен Запорожской Сечи...

Сейчас день. Один котел мертв: «Маруся» спит; завернувшись в пепел. В кочегарке топка оптимизма, дух Придачина с гудком облетает горы, солнце прибавляет тени у столбов дороги. Ровно в час мы ожидаем Люсю в купальне на озере. Вода сверкает нестерпимым тяжелым блеском и перебирает расплавленное олово легкого ветерка. Зной мертв.

...Она пришла с глазами, разогретыми солнцем. На ней нет ничего, кроме платья и купального костюма, — этот легкий шаг и простая откровенность. Ничего замечательного. Эти белые руки и шея, грудь, приподнятая удивлением: неужели это я? — этот изгиб, уже чуть ленивые бедра, походка, струящая шершавую нежность девочки в быстром веселье колен вниз, к выпуклой длинной стройности, обутой в желтые ремешки.

Ничего исключительного. Она пришла и сказала всем телом, что это — она. В этой девочке не было ничего особенного. Просто она смеясь сдернула белое платье, откинула сплетенные из полосок кожи туфли и стояла, как белая песня...

Но почему безмолвствует коммуна? Почему до сих пор нет Поджигателя? Даже Овидий неловко молчит и смотрит в зеленую воду, курия папиросу.

— Ну! — крикнула она. — Чего же? Долго вас прикажете ждать?

Купальня сквозила девичьим телом, бревна и доски мутно шевелили тинистую прохладу, солнце лазило по лесенкам вышки, поскрипывая досками.

Овидий начал раздеваться первым.

— У нас происшествие,— сказал он Люсе, стаскивая сорочку,— сегодня пропали портянки Поджигателя, то есть, я хотел сказать... носки. Прекрасные носки в зеленую клетку! Была целая история.

— Неужели? — обернулась тревожно Люся.— Господи, вот бедный! Ведь он совсем не заботится о себе.

— Да,— продолжал Овидий,— это совершенно верно. Но дело в том, что ему подложили две крахмальные салфетки. Настоящие столовые салфетки. Мы никак не могли догадаться, в чем дело.

— Ну, что же? — оживилась она.— Он остался доволен?

— Нет. Он пришел в ярость. Мы хохотали до упаду.

— Бедный, бедный!

— Ничего,— успокоил ее Овидий, складывая свои пожитки, по армейской привычке, в узелок. — Он пустил в ход эти салфетки. Конечно, они не заменят ему тех, но он проносит их до социализма, честное слово!.. Ну, я готов.

Он прыгнул и выпрямился в голубых трусах, загар сыпался с его перевязанных плитками мускулов коричневой пылью. Да, наша молодость еще не прошла! Над коленом его — серая стянутая яма от пулеметной пули. Жаль только, что мальчик слишком живет собой. Он был добровольцем, юность его перегоняет воспоминания, но он все равно не уйдет от нашего брата. Да и девушка ни разу не посмотрела на его мужество... Поджигатель в салфетках! Она смеялась. О вероломный друг, ты не пощадил нашего Учителя ради красного словца! Надо же было развеять застенчивость поколения, не раз раздеваемого санитарками в окровавленных приемных походных госпиталей... Дорогой Учитель, вы не придете сюда, вы не рискнете купаться перед девушкой и разворачивать перед ней узловатые ноги, завернутые в прекрасное столовое белье. Вы еле плаваете, ревматизм отравляет вам жизнь, вчера вы жаловались опять на старые боли... Что же, тут ничего не поделаешь, нас хватит на другие радости... Ого! Овидий хочет прыгать с вышки, он кричит: «Люся! Люся!» — а она и не думает смотреть. Рубашку в брюки, ботинки вниз, трусики мои благополучны, сейчас и я присоединюсь к другим. Так... Так...

Вода взорвалась. Овидий пролетел сверху, как снаряд из гаубицы. Р-раз! Девушка прыгнула в сторону и мельк-

нула оперенной античной стрелой, только ее и видели. Она поплыла, лицо ее превратилось в рожу. Ха-ха! Овидию достанется торжество пустого места. Он вынырнул, закипев водой, и закричал... Ее нет, ее нет, любуйтесь на нас, дорогой Овидий!

Девушка лежала на спине вдали, ее мало заинтересовала акробатика Первой Конной, она плыла, расплещивая жидкое солнце, и наслаждалась своим гладким телом.

— Очень хорошо! — сказал я Овидию, скользкому и обтекающему, как угорь. — Это класс. Вы сделали прекрасный прыжок. Ха-ха! Жалко, что здесь нет московских дам.

Лирик оставил меня без ответа. Ни слова не говоря, он полез на вышку. Он собирается прыгать еще.

— Вот черт! По-нимаешь, — подмигивал мне Винсек, снимая колючие милицейские сукна, — боевой. Нам такие шкеты попадались. — Он цыкнул слюной и полез к сапогам. — По-нимаешь...

Он качал головой, сросшиеся брови его топорщились, как всегда, пренебрежительно, веснушки презрительно лезли на лоб. Я с любопытством разглядывал это раздевание. Товарищ Петухов православно пыхтел над голенищами, он выходил из-под своих галифе и гимнастеров белым банщиком. Как он не испечется при такой нагрузке? На нем, помимо всего, грубое белье с желтыми костяными пуговицами, толстые носки. Он хозяйственно стаскивал эти принадлежности и восстал наконец потным исподним чудом, бледным, как мужицкая поясница. Я никогда не видел такого обилия веснушек: спина и грудь его кишели рыжими созвездиями. Ах, Винсек! В его оттопыренной кривой губе проглядывали шаги уездных канцелярий, мужичьих революций... Он смял папироску, как писарский картуз, седлом, и цыкал сквозь зубы с удивительным искусством. Вода шлепнулась и ударилась фонтаном: Овидий пролетел опять.

— Другая баба как змея, — продолжал Винсек, задирая бровь выше другой, — понимаешь? — Он держал руку козырьком, папироской вниз, нога на ногу, цыкая и наклоняясь вбок. — Одна все ходила ко мне в угрозыск... Придет — шляпа, сумочка, одеколон. «Я вас люблю, я вас люблю!» Товарищ у ней туфли спрятал. Потеха! Я их всех глубоко презираю... Придем — так покажу карточку. Такая гадюка была!

Он бросил папироску и, сплюнув, растоптал ее пяткой.

— Не-наввижу,— сказал вдруг он резко,— кто меня жалеет... Мы с товарищем ее в номере заперли, а платье в окошко выкинули... А ее после ко мне и привезли. Они все хамки. «Данечка, Данечка!..» Поиздевались мы над ней с товарищем... Гляди, Овидька опять лезет. Чу-дак! Вот дурной! Так все нервы расшибить можно.— Он с любопытством поглядел вверх.

Овидий упал метеором, перевернувшись два раза в воздухе. Это был полет птицы, сломавшей безумные крылья. Девушка выходила на берег и поправляла волосы, повернувшись к озеру. Мальчик вынырнул и поплыл к ней, ровно выгребая плавниками, косыми и быстрыми, как у акулы.

— А чего на них смотреть! — продолжал Винсек, раздирая глазки с пятнами йода, распущенного в сером, грязном холодке.— «Данечка!» Она, хамка, все переносила... Пришлет письмо, а мы с товарищем самую грязную ругань напишем и обратно ей в конверт запечатаем. Понимаешь?.. Опять приходит, приносит всякую закуску. «Не могу забыть»,— говорит. И платочек из сумочки. Ребеночка от меня хотела. «Папа... мама». Подумаешь! Ненавижу все это я! «Папочка!» Да я своего батьку сапогами бы затоптал за то, что он, стервец, на мне удовольствии получил... Она меня за это и жалела. Понимаешь? А товарищ — дурак, взял да на ней и женился... Застрелить бы их вместе! А еще, хамка, письма мне присылает. В номер, где мы ее голяшкой держали, плакать ездила. Вот змей!

— Да,— пробормотал я изумленно,— действительно..

Винсек поднялся, сложил руки по швам и, гаркнув, упал в воду, раскорячившись в воздухе солдатским орлом. Так прыгают в воду в стране оводных сенокосов и пойм, прикрывшись ручкой пониже живота и торопливо перемахиваясь мелким крестиком в развалке бега, мелькнувшего с примятой травы телесной испариной.

— С головкой! — загоготал перевозчано Винсек, выныривая поемной Россией, со лбом, залепленным конскими волосами.— И-го-го!.. — Он ухал, пуская пузыри и шпыл, зажмурясь, по-собачьи поднимая голову.

Мы уходили в водяные потемки, пахло травой, солнце поднималось со дна и бурлило, как зельтерская вода,— мы вылетали вверх, и зной был холоднее парной ласкающей

глубины. Напрасно Поджигатель постеснялся салфеток и неумения плавать: совсем не страшно этой теплой мглы, она ласково шевелит волосы, стучится в ушах, мягко приподнимает руки и заставляет ноги бросаться белыми привидениями, обнимая безвольной дремотой глубин.

Солнце купания. Овидий пригрелся с девушкой и вытянулся на камнях золотистой ящерицей. Кругом опрокинулись в самое дно горы и холмы, тополя у берега стоят рядом восклицаний, черепица построек и камни стен обычны и сухи, как выгоревший в витрине газетный лист. Ни капли свежести. Никакого волнения. Виноградные участки мертвы, вода сверкает весенним осколком, вспыхнувшим в груди пыльного мусора, она режет день, как стекольщик стеклянные листы алмазом. Нет, это не заокский жар сенокоса — с лазурью стрекоз и с бураком в кустах, пахнущим теплыми, мокрыми кувшинками. И Винсек — совсем не косец, несмотря на низкую белую поясницу... В озере раковины, рыбы и паукообразные твари, кипящие в глубине геологических катастроф; в нем — серный мрак сошедших морей, камня с отпечатками Каспия, закаменевшие хребты и ребра из вод Малой Азии. Так рассказывал Ведель. Тут плавают сардины, а пресная вода лишь старость прошедшего, лишь усердие родников и дождей.

Мы купались в ванне, обмывшей детство каменной древности. Эту водицу попивают медведи, помнящие первое сотворение, от их шкуры тянет пещерой, морды их нюхают старые доюрские камни... Овидий и его друг Жан-Суа сторожат по ночам их бурые бока. Говорят, что берданка китайца бьет очень верно пулей, это очень приятно слышать: я уважаю бьющее точно оружие... Овидий, Винсек, Поджигатель, веселый художник! Я скромно присоединяю себя к этой компании. Мы тоже жили в пещерах своего времени, — пожалуй, мы тоже в некотором роде медведи первичной эпохи, и мы помним второе сотворение, разлившееся гибелью, — оттуда вышли не все, уверяю вас, далеко не все: произошла хорошая чистка, и не раз выпустили голубей за масличной веткой. Но где ваш партбилет, дорогой Овидий? Где ваши партизаны, уголовный розыск и женщина-змей, товарищ Винсек? Почему Живописец не заботится о разобраных ребрах и плохо знает свою сестру, попивая вино в компании с Бекельманом? Художник малевал десяток лет, плакаты его били не хуже

берданок — при чем тут вино, создаваемое для украшения мысли? У них заплетаются языки, они бурчат непристойные шутки, расхваливают собственные таланты и ругают секретарей, проводящих кампании. Это — совсем не по душе Поджигателю, напрасно они не падят его внимания и участия, это совсем не по его душе...

— Гейдельбергская бочка! — орет Бекельман. — Мастера придется искать в Германии.

— Ренуар, Манэ! — крипит Живописец. <...> — Я бросил плакаты. Я хочу красок. Довольно этих разговоров и болтунов, не умеющих поставить линии! Их не повезут в Париж на вернисаж революции. Пей, Бекельман! Мы положим их всех на обе лопатки!

Они пьют и поют, они успокаивают себя криками. А сестра смотрит на часы, когда Живописец харкает восемнадцатым годом и забывает плакаты. В чем дело, зачем так пить, Живописец? Разве дело в обидах? Ваши девять ребер? Это не так плохо, дело касается одной московской улицы. Трах! Трах!.. — лопалась она от выстрелов, снег бежал за черными людьми, и вы проходили в пальто с мехом котика, решившим все дело. Дело все в котике, уверяю вас. Трах-та-ра-рах! Вы кинулись бежать, вы прыгали через сугробы, возвращаясь ночью, нарисовав четыре плаката, — вы прыгали через свое творчество, а оно дернуло вас по плечу и рвануло к земле... Ваш плакат крикнул вам: «Стой!» Ондохнул снегом и ночью. Пара глаз, черных, как смола, приклад и плечо с дымным сукном, три слова: «Падай, замри, гад!» Вы упали — и это очень хорошо. <...> ...огневые хлысты невидимо щелкали снег, пули вскакивали и лопались по тротуарам, клочья белого дыма вихрились, перебегая сугробы. Та! Та! Та! Улица бежала вперед, солдат ткнул вас прикладом и стрелял прямо с колена. Тени металась вдоль стен, они поднимались, согнувшись, и снова падали. «Катись, гад!» — крикнул вам солдат и с криком «ур-р-ра» вдруг бросился вперед, дергая на ходу затвор. И все тени, как кошки, кинулись с ним на перебежавшую мрак огненную трескотню. Трах-та-та-трах! Живой плакат, нарисованный вами, стоял девять ребер, вырванных гнойным плевритом, но все дело в котике... Это случайность. Но это стоит всех лучших картин, всех Ренуаров, ибо ваша артистическая кисть увидела живую Музу. Она встала из ночи огнем вдохновения. Вы послужили ей с пользой, смею вас уверить. Поджигатель полюбил вас именно за этот рассказ.

Но поколение — что я могу сказать о его судьбах? Оно купается в озере, Живописец попивает вино, лишь один Поджигатель командует с Директором. Овидий лежит с девушкой и рассказывает ей о медведях. Жалко, что он не может сказать ей несколько слов... Не думает ли он, что каждая эпоха имеет своих пещерных праотцев?

Солнце купания высоко стояло над нашими головами. Когда мы возвращались домой, девушка много смеялась и рассказывала о себе. Она проста и обыкновенна и совершенно не интересуется прошлым. У тополей мы встретили бондаря с лесом длинных тростниковых удилиц. Он захрипел и, закивав головой, кинулся обнимать Овидия.

— Двадцать пять рублей! — хохотал он. — Скажи, художник, что я не пожалею и тридцати. Зачем мне деньги? Пусть нарисует Бекельмана у маленького лиманчика... Пойдем, пойдем! — тащил он Овидия. — Будем сидеть и ловить рыбу, вот таких вот... Хо-хо! У меня есть кое-что в корзинке.

— Нет, — сказал Овидий, — я иду сегодня ночью на Магеллатов участок к Жан-Суа. Это необходимо для моей работы.

— Идите, идите! — сказала ему Люся. — А то вы много бездельничаете. А мы сегодня вечером соберемся вместе.

— И пойду! — сухо произнес Лирик.

## 12

Шире дорогу! Пусть шумит благословенный вечер коммуны. Одного нет: он ушел караулить ночь. Четверо собираются в комнату, окна раскрыты настежь. Девушка сидит на кровати Овидия и внимательно слушает. Сумерки прильнули к деревьям, — такая тишина, что слышно, как звезды, просыпаясь, протирают глаза. Послезавтра начнется резка шампанского винограда, земля обалдела от духоты, вечер задохнулся и лежит без сознания. Сегодня — пятнадцатый вечер коммуны под председательством Поджигателя. Идет разговор. Живописец рассказывает анекдоты.

На часах у девушки стрелки подвинулись за римскую цифру десять. Практиканты репетируют спектакль. Один из них забежал к нам и спросил Овидия. Это Сергиевский,

Они дружат и всегда шушукаются в столовой. У студента стриженная голова — умный ежик, неутомимость, размахивающая руками.

— Идет гроза! — закричал он нам. — Барометр упал к буре. Директор рвет на себе волосы.

— Ничего подобного, — встревожился Поджигатель. — В четыре часа мы получили справку со станции...

Он бросился к окну и лег на подоконник. Белые уши салфеток торчали из-под его обмоток.

— А вот увидите! Ну, бывайте...

Студент побежал вниз, двери хлопнули за ним точно в огромных пустых залах. Слышно было, как в телефонной, рассыпаясь, дребезжат звонки.

Поджигатель лежал навзничь, его черные сухие волосы потрескивали от напряжения. Трюк... трюк... трюк... — удалялись и приближались сверчки. Одинокий выстрел и собачий вой, распадаясь шумными безднами, покатились и скрылись вдали. Не Овидий ли приветствует коммуны? Я слышу часики Люси: они карабкаются лапками по лесному растению и шелестят — улюсь, улюсь, улюсь...

— Ч-черт! По-нимаешь? — грубо прыскает Винсек, равнодушно задравший липкие сапоги на железо кровати. — Вот пума! Ты бы очки снял, а то не увидишь. Гроза, подумаешь!

Он повернулся на бок и предпочитает дрыхнуть. Поджигатель оглянулся и снял очки.

— В самом деле, — сказал он недоуменно, — очки всегда мешали мне в жизни.

Он грустно смотрел на меня с девушкой. Я тихонько гладил ее руку. Разве есть что-либо предосудительное в этом? Улюсь, улюсь, — шелестели золотые часики. Наш Учитель имеет без очков грустные одинокие глаза. Нет, ничего не слышно в мертвой неподвижности деревьев.

— Паникерство! — добродушно косился на нас Поджигатель. — У студентов слишком велика биологическая зарядка. Они балдеют от двадцати лет...

Он бормотал что-то под нос и уселся за стол рядом с Живописцем. Тот недоволен вечером: с какой стати терять время всухую?

— Черт с ней, с этой биологией! — говорит он. — Признается, я мало смыслю в теориях.

— Очень напрасно.

— Может быть. Но это скучно.

— Слышите! — обращается ко мне Поджигатель. — Они заодно с Овидием. Ну, продолжайте...

— Валяй, валяй! — подкрикивает Винсек, не поворачивая спины. — Мы люди необразованные.

— Совершенно правильно. Я посылаю все эти «биологии» к матери в штаны!

— Замечательно!

— Вот вам и замечательно! Мы создаем ценности и не горланим на собраниях. Называйте это «биологизмом», черт с вами! Без нас вы одуреете со скуки.

— Старо, старо! Вы отстааете по крайней мере на сто лет.

— Ого-го! Пусть так. А кто будет делать вам вино — Яшников или Ведель? Пусть найдут мне Бекельмана: за ним придется скатать в Германию. Что, скажете, он плохой мастер? Или его заменят секретари в ремнях, надутые, как лягушки? Ваши кадры живут на всем готовом, задрали носы и не хотят мыть бочки, подметать полы и учиться владеть как следует шваброй! Слава богу, нам побросказали об этих бездельниках... Мы учились иначе, среди нас не было Шибаленкова, мы не произносили речи, а растирали краски... Спросите-ка, знают ли, как делать вино, молодые люди в ремнях, рассуждающие о всяких «измах»?

— Ничего! Мы примемся за них как следует.

— Мы слышим это двенадцать лет. Сплошные «измы», топтание на месте...

— Как? Что вы сказали? Ну, уж это позвольте!..

Поджигатель вскочил, слова его резали, как бритва.

— Самскритики! — распорол он лезвием дряблкое сукно голоса художника. — Требую самокритики! Коммуна загнивает и теряет классовое чутье... Кто будет делать вино, спрашиваете вы? Мы топчемся на месте и разводим бездельников? Бекельманы — соль земли?

Он рассек вопрос опытным взмахом и распластывал ткани с ловкостью хирурга. Он говорил о таланте и точности мысли, он бил Живописца, как фронтовой комиссар, всаживая фразы без промаха одна в другую, не боясь окровавить смысла, он поднимал над коммуной знамя, изодранное в сражениях.

— Стойте! Стойте! — крикнул я ему. — Это, кажется, ветер, это — начало грозы. Стойте!

Шелест темной ночи летел уже в окна, небо вздрагивало от лиловых зарниц. Улюсь, улюсь... — пело на руке у деvушки.

— Нет,— ударил, как ветер, Поджигатель.— Пощады нет,— отвечает коммуна. Слово имел талант, слово получают массы. Что говорить о грозе? Она сопутствует мысли, но она развеивает волосы богине анархии. Она поднимается с вод, лежащих в печальном рабстве, она возникает с болот и несется безумьем, объятая пламенем. Ниже, трава! Падайте ниц, деревья! Окна на ставни, скорее замки на запоры и лампадки к иконам! Пусть грохочут проклятья и в гримасах молний разбегаются темные призраки. Бешеный мрак настигает планету, тяжелеют цикады, места и отчизны будут не узнаны. Сейчас заревет дождь, хлопанье грома смешается с ливнем, сонмы ничтожных капель хлынут восторгом освобождения... Слышите? Это подобно взрывам истории!

Чугунный удар грома прынул на крышу, небо мигало и подпрыгивало в пляске, удар дребезжа скатился, продавливая железные листы. Деревья и кусты бежали в ужасе...

Стихло.

— Валяй! Валяй! — заворчал Винсек спросонья, почесывая бок.

— Вы говорите — талант? Вы хотите цвести, как куст после грозы, вы хотите быть сами собой и отделаться от истории легкой свежестью? Краски, говорите вы?.. Вот слышите! Это — гроза. Это — история, собравшая тучи, она шумит, как вулкан. Сейчас она пронесется над миром и грянет орудиями... Но это еще биология, говорю я... простите за образ. Да, да, к черту таланты, если они отделяются красками. К черту биологию, если она говорит, как стихия! К черту грозу, если ее не принять в провода и канавы и не подтянуть ей горло железной гайкой! К черту мысли, если они сверкают, как молнии, и сжигают людей, чтобы они светили наряднее! Космы анархии — в крепкий кулак. Все в оборот, все на строительство, все на восстание! Вино, картины, любовь... Мы отошлем их в Европу. Пусть они поднимают там кровь пресыщенным, пусть изысканный вкус призывает их к праздности, краски дурманят сыростью, нежность обрубает крылья смельчакам. Пусть те, кто командует в жизни, больше думают о себе, чем о будущем. Да здравствует среднее, говорю я, среднее, голодное по великому! Прекрасное среднее, составленное из миллионов. Это — великолепная машина с тормозами для спуска из бездны отчаянья. Да здравствует экспорт! Я предлагаю вывоз

инстинктов. Пусть завывает джазбанд под лощеным цилиндром. Нельзя ли вывезти любовь в упаковке с лентой из белого шелка: «Made in USSR»? Пусть там вздыхают, пусть плачут, пусть чокаются на свадьбах. Больше шелка и кружев, больше нарядов! — это вспыхивает, как порох. В могилу тех, кто не слышит железных шагов истории!.. В могилу, в огонь, — история идет с циркулем и счетной линейкой!

— К стенке! — захохотал Винсек. — Чудак! Кто же будет делать детей? Мы все передохнем через пятнадцать лет.

Вольтова дуга, пища и дрожь, сомкнулась между небом и черными углями гор. Фиолетовый дым клубил мутные желтые тучи, молнии, потрескивая, слетали с их гребешков, рев водопада шел прямо на нас, и парк бежал, как прибой, накатывая пену листьев и расплескиваясь зелеными холмами.

— Деревня! — крикнул ему Поджигатель. — Мелкая буржуазия! Да, да. До тех пор, пока мы не превратим грозу в лабораторию и не заставим инстинкты накалывать лампы смысла. В армиях нет жен и женщин...

— Чуть! — заорал Живописец. — «Измы», голые «измы». Радикализмы, анархизмы, онанизмы!

Окна вспыхнули, волосы Поджигателя встали дыбом — и с вихрем, выбросив звон стекол, мигнув ослепительным озером, кипевшим в беспамятстве, подбросив горы в тысячной доле светового сознания, тысячекудовый удар вколотил в землю огненный выстрел, с треском разломив эхо ущелий и размещивая рев водяной стены мерными громовыми вспышками...

— Социализм, — разносило голос Поджигателя, — есть организованное на вечный радостный бунт человечество. Движение, без идеала покоя... Бесконечное совершенствование форм! Смерть голодной стерве — анархии!

Поджигателя смыло торжествующим ревом. Живописец кричал — слов его нельзя было разобрать. Часики смолкли. В доме хлопали двери, телефонный звонок на миг ворвался в тяжелый потоп — и... все пропало в мерной громаде шума, кипящего водяной канонадой и хлынувшего сквозь мировую плотину, сорванную бурей.

Вода падала, забивая деревья, кизильи ветки прыгали, стреляя черными ягодами; мгновенно мутная ночь покатила с гор, гонясь с камнями, переливаясь через канавы и стены; она лилась, грохоча потоками, ветер ка-

чал дождевые стены, и озеро, мутно шипя, непроглядно бросало волны, сталкиваясь с ливнем,— и полночь до самых краев переполнялась пучиной...

Мало кто спал в эту ужасную ночь. Ровно в час сила ветра достигла десяти баллов. Море катало пудовые камни, шум его слышали виноградники. Оно плескалось до самых туч, таща верстовые сети прибой, набитые галькой, вываливая их на берег, студено шлепаясь о скалы и грозно, неотвратно утаскивая грохот, обвалы, буханье обратно во мрак. Оно то исчезало в косматом гуле, то полыхало магнем, развержаясь на миг в отвратительном желтом дыме, искаженном бессмысленной судорогой, где волны швырялись неистовством слепого фанатизма.

Шквал виноградников бешено неся вниз, смывая драгоценные почвы. Проволоки были надуты, как паруса, широкие листья липли к тяжелым кистям, прикрывая их нежное тело, участки, знавшие мудрость столетий, боролись за свою жизнь.

В половине второго все близкое государству стояло у окон. Молнии били не переставая, ночь, как летучая мышь, металась в небе, покрытом ворчаньем потоков, громовые тучи перестреливались в упор. Коммуна сосредоточенно следила за боем. Один Винсек спал на кровати, бормоча свои мрачные сны.

— Вот,— сказал Живописец,— это талант! Это достойно Матисса.

— Ужасная сила! — поправил его Поджигатель.— Вот так мы возьмем Капитолий, горящий Капитолий старого мира. Но сколько это будет стоить Яшникову!

— Валяй, валяй! — хрипел Петухов, ворочаясь на кровати.

И только одна девушка блестела глазами. Она молчала, прижимаясь к моему плечу.

Через минуту гроза перешла в рукопашную. Металлический гул прошел по холмам пулеметной очередью, за ним еще, еще — и ледовитый оглушающий треск, захватив верстовую полосу, стал выбивать листья и желуди, раскидывать кизил, колотить крыши и окна и молниеносно, хрустя и попрыгивая, молотить участки, сдававшиеся без боя. Шестьдесят четыре тысячи пудов, надежда тридцатого года, расстреливались на месте. Град повис безнадежной седой гибелью. Вино гибло. Мало кто спал в эту ужасную ночь...

На квартире у Директора нет лишней обстановки. Ему легко двигаться и легко жить. У него спокойная, ровная жена, вдумчивая полная дама, — кажется, акушерка по профессии. У нее легкие белые платя с вышивкой, — такие носили в губернских городах, — они словно из кисеи, которую вешают на окна.

Директор грузно расхаживал по комнате в одной сорочке. Он задыхался от липня и вымок до нитки, возвращаясь с рабочего комитета. Он разбудил жену и слушал грозу, лениво лохматя голову, меряя углы тяжелыми шагами и куря папиросу за папиросой.

— Вот ч-черт! — говорил он. — Климат, нечего сказать! Связался я с этим вином... Как там хотят, — выправлю дело, а там — на степь. Душно мне здесь. Ох, душат меня здесь эти горы!.. Слышишь?.. — Он тревожно прислушался. — Град! Ах, черт бы его подрал!

— Да ты не волнуяся. Пстой...

Они слушали. Рев нарастал. Окна, как пузыри, вздувались мертвыми вспышками, и гром зверино ворочался на горах, раскалываясь отдаленными звуковыми плоскостями и еще сильнее подхлестывая неистовство рухнувшего вниз, налитого содроганиями океана. Кругом, во мраке, за стенами, над крышей, звонко цокая в залепленные стекающие стекла, глухо ревела и секла тишину белесая ледяная стихия.

— Град! — застонал Директор. — С голубиное яйцо... Плакали мои виноградники! Буду звонить Веделю...

— Что ты делаешь? Ведь убьет!

Директор, не отвечая, вертел эбонитовой ручкой.

— Эдуард Августович? Вы не спали?.. Отлично... Да, да, черт знает что такое!..

Ведель стоял у аппарата, накинув пальто. Между ними падала стихия. Директор сидел развалясь, вытянув волосатые ноги. Жена его лежала белым, полно изогнутым вниманием. В трубках потрескивало и жужжало.

— Алло! Эдуард Августович? Можно ли что-нибудь предпринять для спасения урожая?

— Ничего. Я думаю, это не захватит всех участков.

— Боюсь, что не так... Слышите, какой гром?

— Слышу. Если будет дождь и ветер, это поможет. Нужно, чтоб выщелочило...

— Что? Алло!

— Вы-ще-ло-чило! А то начнется брожение раздавленных ягод.

— Как? Вы говорите — брожение?

— Да, брожение.

— А если произвести опрыскивание?

— У нас не хватает аппаратов, товарищ Директор.

— Ах, черт возьми! Ну, ладно... Так вы говорите — до утра?

— Утро вечера мудренее. Не нужно составлять заранее планов. Я ведь вам говорил...

— Вы составили его лучше всех, Эдуард Августович. Да, да, это так... Ну, хорошо. Подумайте, как там насчет брожения...

— Я уже думал. Теперь и у меня есть кое-какой план. Я припомнил один случай, хе-хе... Это было в старое время... Алло! В трубке жужжит и трещит — ничего не слышно. Алло!

— Спите, Эдуард Августович. Я вас побеспокоил.

— Нет, нет, я очень рад... До свидания!

— До свидания... Молодец старик! — сказал Директор жене, вешая трубку. — Он бурчит-бурчит, а во всяком деле всегда первый.

— Ложись. Ты совершенно измучился.

Директор только махнул рукой. Град распрыгался по стеклам, со звоном отскакивая в черную ночь. Он задумался о разговоре с инспектором Садвинтреста. «Смотри, брат, — сказал тот ему, — не влипни со своей самоуверенностью...» Пустяки! Директор знает партийные директивы. Бумага мертва без диалектики практического действия. Но град... Кто мог его предусмотреть?

Он вышел на крыльцо и еще раз отступил перед беспешеством косящего ночь ливня. Он ахнул... Земля тускло брезжила белой мякотью выпавшего льда. Буря плясала вприсядку, мириады вытянутых стрел неслись вниз и вскакивали мгновенными брызгами, мир трещал, стонал и гремел, разбрасывая громовые мячики.

На «Вилле роз» всю ночь светилося окно старого винодела.

Наташа Ведель всю ночь просидела в метеорологической будке, читая роман и записывая в журнал отметки о показаниях приборов. В журнале буря выводила графиче-

скую кривую: одиннадцать баллов были вершиной изломанной линии. В мачте свистел циклон, чашки измерителя вертелись в бешеной лихорадке: в них, натужив черные лоспящиеся щеки, дула Африка, средиземные вихри тащили тучи, поднимавшиеся с малярийных болот царственных рек, затянутых папирусом.

На рассвете Наташа захлопнула роман. Гроза обессилела, небо дымилось развеянным пожарищем, и клубы пара летели над горами, закутанными пасмурной влажностью. Будка станции, белые ведра и лесенки сияли, как палуба и шканцы рассветного парохода. Земля сокровенно журчала, горы пели ручьями и потоками: гроза низвергалась шумом и гвалтом мельничных колес, запруживая долины заводами принесенных почв и ликуя в глубоких траншеях звоном возвращенного и перелитого Нила.

Наташа возвращалась домой в тугом брезентовом плаще и только покачивала головой. Ей приходилось прыгать через ямы и рытвины, дорога лежала обсохшим руслом с блестящими горвыми камнями.

Кругом на десятки километров земля дышала тяжелой теплотой оранжереи. В долине Дюрсо дубоволиственные шапки гор парили в тучах, в кизильных ночных ущельях перелетали дрозды и переговаривались камни. Долина курилась. Она лежала покрытая мраком. В ее отрогах, куда сливались потемки с вершин, пряталась могильная тишина. Град прошел здесь свинцовой тяжестью. «Игнатенков аул» — место предания, покрытое кустами пино-франа, громоздился по кручам, заросшим проволоками и листьями, отряхиваясь от воды, поднимая отяжелевшие, прилипшие в землю лозы с орошенными, в белых светлых натеках, разбитыми связками ягод. На россыпях камней, лежащих внизу, заворачивались молодыми плантажами в глухие углы отрогов грифельные бахчи; на них, среди зеленых кудрявых барашков годовалых винных кустов, блестя в дыму мокрые шары арбузов.

Шалаш караульщицы прело чернел мокрой сбитой соломой: его пробил насквозь ливнем. На камнях валялось ружье, слабый огонь костра валил синим дымом, возле него на палках сушилось обвисшее платье.

Поднимался рассвет. Земля дрожала в дыму, как грубые камни, распростерты ниц перед кровью закланного агнца. Столбы освещенного дождя изредка пролетали над полями морей, падая косым шуршаньем. С востока шествовал снег. Он поднимался бессмертьем в белых одеждах

жизни, простирал блаженные светлые руки и гладил птиц, отряхивавших теплые серые перья. Он прикасался к сумраку, гладил леса, листья осыпались дождями; и все сладко жмурилось и просыпалось, брызгаясь каплями. Да будет свет!

Караульщица стояла нагая, светлые руки мира гладили ее скользкое, опущенное белым сумраком тело. С грудей ее капала вода, они ворочались и теплели, как молодые мокрые поросята. Она нагибалась к огню и выжимала тугой жгут белой сорочки, алебастр ее живота складывался дерзостно. На ней не было ничего, кроме платочка, повязанного по-бабьи. Высокие ноги ее в сбитых полусапожках до колен были забрызганы желтой грязью.

Она заботливо выжала жгут. Тонкая мужская сорочка шелкового полотна выглядела жалко. Караульщица разглаживала ее, прижимая к телу, закинув рукава за плечи, — ткань прилипла к ее стоячей, насмешливой груди. Она аккуратно, по-матерински одернула влажные складки и повесила сорочку к огню.

Костер еле тлел. Она задумчиво глядела в огонь, присев на корточки и подперев голову крепкой гладкой рукой. В шалаше кто-то кашлянул. Она проворно вскочила на ноги, прикрыла вздрагивающую грудь красными ладонями, согнулась...

— Аня! — глухо донеслось из шалаша. — Да где ж ты? Ч-черт... тут вода...

— Че-го? — прошептала она певуче, вытягиваясь плечами, жмурясь всем телом. — Не пойду. Небось по московским товарищам заскучал? Ишь, — передразнила она, медленно перебирая ногами, — «во-да»! Вода бежит, — когда-то мельник будет?

В шалаше осторожно шуршала солома.

— А-нечка... — отозвалась ей снова темная сырая глубина караулки. — Да иди же скорее! Мне приснился ужасный сон...

Она улыбнулась, подвигаясь все ближе и ближе.

— Ну чего? — жарко шептала она, склоняясь плечами в обвисшую колючую мглу, пахнущую сеновалом, и загораживая ее нарядным телом, царапающим разломанные пучки соломы. — Ну, че-го? Замуж меня ведь не возьмешь... Ну, чего?.. Я тебе пуговку к рубахе пришила. Пойдешь домой чистенький, любезненький ты мой... Ведь не придешь больше, не придешь?

Она шептала наивные бабьи слова, горяче вздрагивая телом, по скользким грязным ногам ее ползли струйки воды... В шалаше разгоряченная дождевая ночь заглушала голоса. Она скользнула в его глубину, белые крепкие руки ее шарили в мокрой раскиданной колючести подстилки, она прильнула всем существом к теплому придуренному смеху, поймавшему ее выточенную в изогнутой ложбинке, живую покатаю спицу твердыми свежими объятьями...

Рассвет поднимался. Он разгонял тучи, сушил обновленные листья, сгонял нетерпеливые ручьи и примирил прибой, отбрасываемый скалами, с мерным шипением убегающей гальки. Крабы шныряли у берегов, перебегая соленые всплески, на морях проходили суда. Сойка голубым паяцем, вереща и крутя крыльями, перелетала с ветки на ветку, забираясь все выше и выше, залетая на кручу, где дуб, обвисающий в бездну, тянул свои желуди к свету.

Он был пронизан солнцем. Внизу, на лазурном тумане, путями «Арго», поднимая каюты и трубы, дымила экспрессная линия. Всё еще спало: спали в судах, спали в селениях, спали в коммуне с вождем Поджигателем. Свет приходил, сойка кричала песню пробуждения. «Креке-ка-гак! — скрежетала она. — Родила червяшка червяшку. Червяшка поползла. Потом умерла. Вот наша жизнь... Так говорил философ, умерший от крика восстания. Это ерунда, это чистейшая ерунда... Креке-ка-гак!» — Она улетела в поисках пищи.

Солнце подняло щит, обнажая мечи. Внизу, на камнях, арбузы блистали мудростью, их мокрые головы были высокомерны. Двое ходили меж них, одетые лишь в утренний дым. Она распустила волосы, и груди ее вздрагивали от шагов, высывая смуглые набухшие родинки...

Люди еще спали крутом на горах, потоки пели, катясь в ущельях, росы грелись и превращались в пар. Наташа Ведель вернулась домой и подсчитала грозу. Она была доброй девушкой, но не прибавила ей ни одного балла. Кривая говорила сама за себя. Ее напоили чаем и уложили спать. «Вилла роз» дышала семьей, как том «Войны и мира».

Остается сказать о китайце: его в эту ночь не видели на виноградниках. Неунывающий Друг, вы должны знать это совершенно определенно.

## ВОЗНИКАЕТ ВЕСЕЛЫЙ ЗАПАХ ВИНА

---

*Первым созревает лучший, но малоплодный шампанский сорт — красный виноград пино-фран. Небольшая величина гроздей и необходимость собрать весь виноград, при определенных наилучших соотношениях сахара и кислоты, вызывают потребность большого количества рабочих рук. Это самое оживленное время в «Абрау». Сбор очень красив: большое количество работниц, приезжающие для погрузки и отвозящие виноград рессорные линейки, кусты, осыпанные зрелыми кистями, одетый в разные цвета лес и среди них лазоревое озеро семи верст в окружности — дополняют картину.*

*Жизнеописание «Абрау»*

*— Ваше величие! Ударницы! Надо ударить пятками о камень...*

*Старший садовый рабочий Федорович*

По рассказам Овидия, Магеллатов участок был разбит этой ночью вдребезги. Лирик рассказывал ужасы: они с китайцем едва добежали до будки, градовая туча настигла их неожиданно, и им пришлось бежать с полкилометра под сплошным потоком ледяной картечи. Молния ударила совсем рядом, они вымокли до нитки, и у него до сих пор болит голова от ледяных ударов.

— Пощупайте, — говорил он девушке, гордо расхаживая по веранде и ероша спутанные влажные волосы, — вся голова у меня покрыта шишками.

Вспомнила ли она хоть раз о нем в эту кошмарную ночь?

Девушка нехотя потрогала его лоб.

— Ничего нет! — сказала она холодно. — Самая нормальная голова... Вы слишком самоуверенны. У меня есть и без вас о ком беспокоиться... Как вы думаете, — оживленно обратилась она к Поджигателю, — можно ли не ругаться с моим чудным братцем? С утра он отправился на этуды, не захватив даже плаща. С этими мужчинами прямо беда! Они — как дети. Совершенно не обращают на себя внимания, а после ноют, кланчат и ругают весь свет... Хотя вы и сами... — Она махнула рукой и лукаво оглядела фигуру нашего Учителя. — Что это торчит из вашего ботинка? А эта ужасная рубашка! Когда вы, мужчины, научитесь жить?

Она подошла к нему, стала поправлять измятый воротник ковбойской рубахи продолговатыми ручками. Приподнятая грудь ее прижималась к Поджигателю, растерянно и изумленно бормотавшему что-то о сером костюме, который он оставил в Москве.

— Помните этот костюм? — говорил он Овидию через плечо девушки. — Он достался мне от товарища, венгерского эмигранта... Прекрасный костюм тонкой шерсти.

Овидий и не думал вспоминать заграничные штучки. Он получил хороший нос и любовался деревьями, с которых гроза сбила много крепких желудей, рассыпанных теперь по дорожкам. Поджигатель прочитал нам целую лекцию о грудных заболеваниях. Я никогда не предполагал, что он так внимательно следит за своим здоровьем.

— Ваш брат, — говорил он девушке, — во всем типичный российский фаталист. Он плохо переносит реконструктивный период, он болен красками, он надеется только на себя и думает, что спасение жизни — в анархии природной талантливости. Ему скучно. Он не терпит планирования в искусстве. Природа, по его мнению, позаботится за всех. Но ведь это ерунда! Неужели вы соглашаетесь с ним, товарищ Люся?

— Он много работает, — быстро проговорила девушка, опять поправляя воротник и одергивая его на рубашке Поджигателя. — Вот так... Я не обижаюсь за ваши слова, но он очень хороший человек. Его картины очень ценят.

— Нас всех очень ценят, — пробормотал Овидий, — а печатают в год по столовой ложке... Однако у меня начинается жар.

— Переоденьте рубашку, что вы валяете дурака! — накинулся на него Поджигатель. — Ценят, ценят!.. Дело не в этом... Я думаю, что ваш брат на опасном пути. Ницше писал о русских солдатах: когда они устают, они бросаются на землю и не двигаются с места, несмотря ни на что. Они могут лежать в грязи целые сутки. Он называл это русским фатализмом. Иногда это неплохо, в особенности в борьбе с интервентами... Я припоминаю англичан: те, побрившись два дня, теряли всякую боеспособность. Но сейчас это гибель. Лежать, мечтая о красках, и ждать, пока вас переедет колесо орудийной запряжки, — это значит сгнивать классово. Он говорит о Сезанне, пишет пейзажи... Ах, все это, быть может, и хорошо! Но зачем ворчать на остальных? Зачем сдавать темы эпоса бездарностям и недоучкам? Хорошее дело: они критикуют. Они бросают эпоху и гордо молчат. Бекельман заявил Директору, что сделать бочку, как он, — почище, чем сделать вино. Он — один в СССР, и поэтому может пить на работе и плевать на всех с высокого дерева. Он талант! Бочки его бессмертны. Я сам слышал... «Ударьте их, — хрипел он Директору. — Они поют, как флейта. Вино лежит в них сухое, как день...» Он узнает дерево ухом, ему не нужно ячейки, он просит комитет не беспокоить бондарную... Так ли это? Не прав ли Директор, объявив еще один выговор? А ваш брат...

— Но Бекельман замечательный! — засмеялась Люся. — Хотя они пьют вместе, и это совсем мне не нравится.

— Что значит замечательный? Мы говорим о строительстве. Пусть бочки будут похуже, без флейт, но их нужны тысячи... Плакаты вашего брата были ценнее Сезаннов, — в них, извините меня, было побольше смысла. На фронте их пробивали пули, а это повыше заштатной тишины музеев.

— Я с вами согласна. Но ведь нужно и то и другое. Я говорила ему, а он ругается. Он бросил плакаты и не признает бытовой живописи.

Поджигатель поморщился.

— Зачем бытовой! Идеи, идеи — прежде всего. Пусть краски служат идеям. «И то и другое» — это старая музыка. Это — эклектика. Быт. Что такое быт? Мы созданы для удара. Пять шестых мира погружены в этот быт и занавесили окна от мировой истории, — быт ходит в спальных туфлях. Вы говорите — быт?

— Ну, пошло! — засмеялся Овидий и махнул рукой.

— Что «пошло»? — вспыхнул Поджигатель как порох. — Разве не так? Разве не быт погружает шаги человечества в тишину спален? Разве не он склонял величайшие головы в засаленный капот и задерживал их шепотом ревности в передней истории? Пошлость! — кричал Поджигатель. — Жена верхом на спине Сократа. Прочь ватные туфли квартирок! В казарме событий нужен крепкий сапог... Разве не мещанин тормозит Германию? Каутский проморгал жизнь из-за разлитого супа, он ругался с кухаркой, когда умирали спартаковцы. Кружка пива и сюртук в воскресенье стоят инквизиции пап и российской корнилловщины. Разве это не так? А патефоны и радио! Звон в отдаленной кирхе, «Танненбаум», от которой глупеют здоровые парни и прячут головы, как гуси под крылья. «О танненбаум, о танненбаум! Ви грюн зинд дайне блетэр...»<sup>1</sup> Пойте, пойте, старые бюргеры! Боров мычит, когда поднимается ножик из бездны, боров идет, ему снится теплое стойло... Кто говорит, что нам нужны пепельницы с серпом и молотом, венки в крематории и елка с советскими ангелами? Пошлость, говорю я. «Мой добрый старый френч» — слышали ли вы такую музыку с белыми кудряшками у пианино и с певцом в кожаной куртке? Или духи «Площадь Восстания»? Или рецепт из смоленской аптеки с лозунгом: «Чистите зубы — скорее войдете в царство коммунизма». Может быть аптекари представляют это царство, как магазин Мосторга без очередей в двадцать шестом году? Или еще что-нибудь... Не будет ли оно стоять мягкими стульями, обитыми плюшем с нежными голубочками и белыми лирами? Прочь, говорю я! Давайте огня, и мы зажжем старую рухлядь, ибо сжечь — значит сделать уже половину дела.. Быта нет, говорите вы? Черт с ним, мы обойдемся без быта! Ибо быть ни с чем значит идти за всем. Пусть солдатам, спящим у костров, снятся моря с берегами, увитыми розами. Пусть в прохладе казарм мечты громяхают винтовками. Сапоги, ружья, походные кухни! Вот великие музы в защитных шинелях. Вернее шаг, громче команда — вот быт поколений, не знавших о пепельницах, вот новые темы, не знавшие отдыха, и ритмы симфоний, не петых в гостиных... Разве это не

---

<sup>1</sup> «О елочка, о елочка! Какая ты зеленая...» (детская песенка, нем.). (Здесь и далее примеч. ред.)

так? — восклицал Поджигатель. — Разве пейзажи в сусальных рамках можно повесить под самое небо? И что мне толку, что на рояле красиво спит отражение гиацинта! Или крестины в клубе... Прочь бытовое искусство! Быта нет. Пролетариату не надо красного дерева... Скажите, разводят ли на войне горшки с фикусами? Можно ли часовому на посту шептаться с возлюбленной? Я спрашиваю именно вас, дорогой Овидий. Я стою за идеи, прежде всего идеи!

— Это все так, — ответил Лирик, глядя на девушку, — это все так. Пусть приходит поэзия смысла. Но одни идеи не создают стихов... Вы забыли о теплоте человеческой руки. Я хотел бы быть на месте часового, но только с возлюбленной. Мир — это дом, а не казарма. Природа гладит нас, как котят, доброй рукой старушки... Ах, я представляю себе этот дом, набитый сундуками, с темными лесенками и комнатами из светлого ясеня, с уголками, где дремлют чистые старики и где пробегают девочки, блестя нетерпеливыми глазами. Они — как мыши, вихры с бантами торчат над их головами серьезными бабочками, под маленькой теплой грудью колотится шаловливое сердце. Мир — огромная семья. Он светит в ночь светлыми окнами. Шторы уже спущены, за стенами улеглись классовые вьюги и спят глубокими синими сутробами. История начинается заново, давно зажгли чистые лампы. Негры играют в куклы, Дарвин с Марксом склонились над шахматами. Француз и немец добродушно спорят о Бисмарке... Батюшки! Он жил триста лет назад. Короли и капиталисты стоят в музеях, как египетские мумии. Все читают стихи. В доме натоплено. <...> Вот входит, смеясь, человек в пиджаке, щурится на свет, весело смеется в рыжеватую бороду. Толпа детей бегают за ним и упрашивает взять на колени... Дом сияет огнями, всем весело, старики важно курят трубки, грустных людей окружают почетом и вниманием... Боже мой! В стране двести тысяч поэтов, в трамваях только о них разговору, милиционеры сидят в креслах под шелковыми зонтиками... Редактор исчез, как зубр, — мы сами себя редактируем. Вот веселье, вот радость! Мир гудит, как фортепьяно, на фабрики идут, как в театр, надевая лучшее платье, кругом — гибель чудаков, каждый стал самим собой, у меня ровно два миллиона родственников, в десять раз больше знакомых. На пляже выскакивает автомат, посылающий сам приветствия... Что?! Сегодня гвалт? Улицы черны от народа? Демонстра-

ция? Газеты вопят и вышли в траурных рамах... «Ужас! — кричит мне знакомый.— На Огненной Земле трамваем отрезало палец Электрону Помпилиусу. Ему триста лет. Представьте, в молодости сделаться калекой! Ах, бедный мальчик! Я сегодня брожу как потерянный... Куда мы идем? Это закат нашего шара. Слышали? — город кипит, валерьянку развозят по улицам в стеклянных цистернах... Бедный, бедный, Помпилиус!»

— Снимите рубашку! — хохотал Поджигатель, блистая очками.— У вас действительно жар. Я не советую вам расстраивать воображение.

— Нет, нет, пусть продолжает,— перебила его Люся.— Помпилиус — это он сам, ему давно отрезали один палец. Дайте ему поплакать над собой.

— Ах, так! — Овидий махнул рукой и побледнел.— Это не мои слова, ей-богу, но вы страшно холодны и жестоки. Ну, ладно. Я отвечаю вам и еще кое-кому:

Стучи в барабан и не бойся,  
Целуй маркитантку под стук,—  
Вся мысль житейская в этом,  
Весь смысл глубочайших наук.  
И Гегель и книжная мудрость —  
Все в этой доктрине одной.  
Я понял ее, потому что  
Я сам барабанщик лихой.

— Вот,— сказал Лирик,— философия, достойная преданных учеников. Согласны ли вы,— обратился он к девушке,— с этими лозунгами? Это лучше всяких бесплодных отвлеченностей.

— Стучите, стучите! — ответила она.— Но, вопрос: найдется ли маркитантка? Я бы не хотела быть на ее месте. Кроме того, я что-то не слышу барабана в ваших стихах... Это — сплошная грусть!

Овидий был уничтожен в это утро, настроение его было испорчено, а девушка не соглашалась больше щупать его голову.

— Переоденьтесь,— говорила она.— Что, в самом деле, за глупости!

Назло ей он проходил весь день в сырой рубашке, а вечером исчез к своему китайцу,— по-видимому, жар быстро сходит с лирической головы. На собрании у Директора выяснилось, что Магеллатов участок почти не пострадал от града.

Наташа Ведель не дочитала романа в метеорологической будке, и историю Квазимодо смыл дождь на целую неделю. Дождь заполнял клетки журнала, чертил графические линии, поднимал и опускал ртуть термометра и заносил в записную книжку винодела короткие значки и цифры, отмечавшие всю биографию урожая. Тридцатый год пеходил на десятый. В голове винодела участки винных кустов лежали, как краски на палитре художника. Солнце и дождь колебали их силу. Север, запад, восток и юг лежали на плантажах тубами света, запаха, свежести и вкуса. Наташа Ведель следила за ящиками красок природы, в лабораториях практиканты проверяли их крепость и зрелость, винодел создавал из них год, как живописный этюд, — он готовил его, как артист, собирающий свет и тона для колорита замысла.

Живописец, имевший сестру, писал этюды на горах виноградников. Он сидел под зонтом и писал холмы, отдельные участки, искал тона. Ему важно было найти солнце и воздух. Он совсем не заботился об остальном.

— Так... — произносил он, щурясь и отходя от мольберта. — Так... Придется переписать небо. Эта лиловая тень недурна и требует к себе кобальта... Еще мазок... Так... Говорите, не похоже? Вот здесь мы дадим синевы... Мне не важны детали, дорогой... так... — он клал полосы ультрамарина широчайшими мазками, — важно соотношение тонов... Ага, гора уходит вдаль. Так...

Он пытался назад, щурился и бормотал себе под нос. Двое ребят сидели в стороне и глядели в холст, разинув рты. Этюд горланил, как свежая глотка. Художник распластывал сочное солнце, вдохновение зноя грелось под его кистью меловым бархатом. Я и не замечал раньше, что осень подмазала склоны ущелий кустарником кадмия.

— Так... — говорил Живописец. — Этот мазок осветил все. Это — приятная гамма. Краски — как струны: одна звучит от другой... Гора ушла. Она пригодится в картине.

Широкие штаны его висели добродушным мешком. Он стоял, развываясь в воздухе, поднимая кисть. Прядь волос беспечно свисала на его коричневое лицо американского бродяги-артиста. Он был истым джентльменом светлоглазой профессии.

Но этюд — не картина, винный год — не симфония букета рислинга номер «шестьдесят три» и каберне номер

«сорок четыре». В записной книжке Эдуарда Веделя урожаи годов лежали как память этюдов. Тон превращался во вкус, свежесть и звук аромата светились пятном колорита. Вино одного урожая зрело двухлетие ночи и дня, твердило о детстве, о быстрых ветрах, о солнечных днях, о громе и дождике, пахнувшем кислой прохладой кашель, о том, что холмы зеленее на запад и север, что юг и восток попрыгали в бочках золотым блистанием зноя. Двадцать пять лет урожая рислинга и каберне со склонов Абрау лежали в рейнских зеленых и бордосских черных бутылках коллекции. Дегустаторы в зале, за длинным столом, поставили пятьдесят разных отметок и произнесли пятьдесят разных фраз. Каждая фраза щеголяла стихотворением из бальзамических слов, китайской мудростью ощущений и датой биографии лета. Идентичных вин не оказалось: двадцать пять урожая стояли в бутылках разнообразием человеческих жизней и плескались в стаканчики оригинальными настроениями солнца.

Дегустаторы не чудачки: они решают судьбу виноделия. Титул вина — его честь, букет его — тонкий вкус выбора с клумб урожая, где каждое лето качнуло неповторимый цветок. Дегустаторы — артисты языка. Они подбирают тона на вкус, щупают губами краски запахов, жуют колорит солнца, язык им заменяет глаза живописца.

— Композиция, — говорит художник, размахивая кистью, — это, мил-друг, соотношение световых действий. Большие мастера трогают одни струны. Важно дать новый, полновесный аккорд. Линия и рисунок — это только нотные знаки...

Эдуард Ведель — садовник, винодел и дегустатор — следил за солнцем, ветром и дождем и ждал осенних эскизов по записям метеорологической будки и показаниям лабораторий. Винный год кончался дождями, процент сахаристости падал, кислотность гроздей пино-франа после грозы поднялась на три процента, ареометр Бонэ показывал это сразу, без сложных анализов. Правда, рислинг и каберне снимались последними, до сбора поздних столовых сортов нависали еще долгие дни. В столовых подвалах, вкопанных глубоко в землю, запасы винных годов лежали в тяжелых бочках по этажам, один год над другим; они громоздились в длинных темных склепах, поднимая в темноте круглые дубовые ярусы, обитые железными обручами.

Подвал жил глубокой, потаенной жизнью, Осень сво-

зила к нему груды зеленых и красных пудов благоуханий. Они опрокидывались в покатые окна с цементной площадки, валы фуллуар-агрепуаров, оперенные железными лопастями, плескаясь ремнем с электромотора, жужжа и вереща, отправляли их в пресса. Медная труба вращала струю отделенных ягод, из жерла машины лез поток гребешков, они походили на ветки кораллов в подводном царстве. В подвалах чаны журча принимали работу прессов, сусло стояло, снижая осадки, шланги сосали мутные соки в бочки, — их серные недра кипели брожением. Шли дни, недели, в подвалах рождалось вино, сахар рождал спирт, — в бочках, поднимая мокрые листья на шпунтах, бурно кидая пену, роились и царапались благородные дрожжи Штейнберг, ведшие род с тысяча восемьсот девяносто второго года. Дни, недели, месяцы — январь, март, август... Кружась, разлетались цветные листья, стучали по крышам дожди, белый снег падал, как изумление, таял, и примулы вновь голубели на горах, вновь зарождались листья, и снова на виноградниках пригибались проволоки нового винного года. В прошлом уже загорались зеленые и красные винные звезды — вино проходило переливки, фильтры от фирмы Зейц, его берегли от болезней, охраняли от воздуха, оно дремало в бочках, спускаясь все ниже и ниже под землю, и, наконец, рыбий клей, свернув его мутную бурную молодость в белые хлопья, падал ко дну вместе с ней последним отстоем. Вино проживало год, проходил второй, третий, бочки ложились шпунтом набок: этюд винного года ждал большой композиции. Вино становилось сортом, Эдуард Ведель заносил в свою книжку значки дегустатора, — весной в столовом подвале наполняли стаканчики, каждый из них говорил за себя. Готовился выпуск стандарта «шестьдесят три» и «сорок четыре» — мировых вин, имевших свою репутацию. В стаканчиках светили пятна солнц и тени облаков, винодел соединял стаканчики: он собирал сложный букет, известный десятилетиями, его вкусовая память ловила родное созвучье. Это — купаж, создание вкусовой композиции. Стандарт «шестьдесят три» тридцатого года был создан из трех типовых сортов чистого рислинга, из годов: двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого. Года дали полный вкус и букет, но в них не хватало свежести. Десятки комбинаций не приводили ни к чему.

Так мучаются художники,

Десять дней Эдуард Ведель просидел в лаборатории, пробуя годы и соединяя их биографии. Были использованы почти все тона, все вкусовые краски, все возможные пропорции. В голове винодела кружились солнечные дни, дожди, виноградные участки, на языке его пели причудливые оттенки запахов, тончайшие эфирные масла, его память воскрешала рейнские образы, тайны знаменитого Иоганнисберга. Букет «шестьдесят три» излучал образ, полный нарядных запахов, волны его расходились в эфире, как излучения радио, они плыли от всплеска нежной освещенной жидкости цвета дождя, отраженного в листьях и в закатном желтоватом солнечном свете, как круги по воде, все шире и плавней, в мягкой задумчивости... Купаж не удавался. Букет не был ассимилирован. Характерный оттенок курящейся разогретой смолки — запах пригорелой резины — возникал слишкомпряно, ожог винного глотка не замирал глубоким вздохом дождевой свежести... Может быть, в подвалах Абрау уже не хватает винных годов для жизни его создания? Быть может, утрачен талант?

Шли дни и бессонные ночи создания. Труд наблюдений, память яркая, как молния, где выступают мгновенно все очертания замысла, все связи, и пытка бессилия, темная ночь, где воспаленные чувства кидают горячие зовы и тщетно кружатся в утраченном смысле. Он бродил эти дни, громоздясь могучими плечами, разбитый бессонницей, он поминутно бежал в лабораторию, сливал свои вина, полоскал рот, долго и медленно щуря глаза, брал на язык их прозрачный вязкий и терпкий холод, сплевывал, выливая стаканчики, и снова пробовал, в сотый раз, без конца, чтобы к вечеру опять, еле дыша от быстрого шага, отпереть пустое и темное здание и снова сидеть под светом свисающей лампы в глубоком раздумье... Ничего не выходило: рислинг «шестьдесят три» был утрачен. Он просидел одиннадцать дней в полной апатии. Что толку в легком душистом солнце, шарящем в грудах высохших листьев, что толку в лесах, где весна высывает голубые цветочные уши? Целая жизнь! Подвалы, подвалы, подвалы — бесконечные бочки вина, дикие горы, где он много поработал мотыгой, первые взрывы, плантажи на новых и новых горах, его первые лозы и опыты, — этот край, прельстивший раз навсегда, эта горечь ошибок и предсмертные муки открытий!

Так возникает искусство.

Он помнит те дни: виноградное солнце в сыпучих холмах, степной ветер, веющий сухими цветами и медом полыни,— далекие дни! Кубанский Кавказ, где с моря приходят теплые тучи и шаги взрывают пески, впитавшие молодость. Разве вы не знаете, что такое «Хан-Чокрок» — ханские колодцы, заросшие темными листьями, привезенными из замка «Иоганнисберг» князя Меттерниха?

В печальном раздумье он глядел сквозь стаканчик. Эта дикая жидкость, этот зеленый цвет, его старые годы, уроки у солнца и виноградных листьев... Да, да, никто не верил в столовые вина на этих холмах. В богатом именье сановник и хан пригласил его провести виноделие. Рейнские вина? Он сделает их не хуже германских, они будут легки и бодры, как молодость, свежи, как ветер, и сухи своей крепостью, как свет, пригревающий листья на кольях.

Тысяча восемьсот восемьдесят седьмой год. В имени праздник, знатный хозяин пробует вина, они сияют в освещенных бокалах. «Хорошо, хорошо! — говорит он. — Тонкий вкус, рейнский букет, но это не рислинг. Золото, золото! Дайте зелени, дайте цвет молодого сена».

Далекие дни. Сквозь них проходят раздумья,— кто знает о них? Кто знает, что яблоко апий создало первый зеленый рислинг в России? Все это далеко и смутно и грустно, но яблоко апий висит на земле две тысячи лет: это римский сорт, он пережил всех цезарей, и в зеленом раздумье ветвей его яблоки спят, покрытые дымкой мудрости. Они загорают на солнце, как девушки, старые римские яблоки апий. Один солнечный день, прекрасное темное яблоко, один лист случайно прижался к теплой, упругой коже,— о радость открытий! День — как сиянье! Там, где лежал случайный листок, остался светлый рисунок — такой, какие бывают у женщин на руках от браслета.

Эти старые дни. Урожай был собран раздельно: вино с южных холмов светило, как полдень в песках, с северных склонов оно зеленело, хотя сахаристость его была несколько не ниже. Ничего, это успех! Пасынки рейнских лоз оставлены в третьем году на четыре листа, прибавилось кудрявого зеленого мрака, все молодые кисти запряганы в густые тени. «Им распустили кринолин!» — вошло в поговорку. И на Кубани стали пить зелено-соломистое вино.

Так завершают создание.

— Что толку в жизни, когда оставляет талант!

Весь одиннадцатый день винодел провел в отчаянье, запершись на ключ. Все погибало! Как одинокий зубр в последних лесах, он бродил из угла в угол, курил не переставая, его стаканчики, его язык, отличавший вина без промаха, его память, знавшая все дожди и закаты, — все было брошено. Купаж столового «шестьдесят три», его гордость и репутация, был сорван.

Под вечер, махнув рукой, он машинально налил четыре года: от двадцать пятого до двадцать восьмого и стоял, наклонив голову, над столом лаборатории. Двадцать пятый! — он отлил глоток в пустую мензурку; двадцать шестой — еще три деленья; двадцать седьмой — еще три; двадцать восьмой... Он поднял мензурку.

— Старость! За ваше здоровье!

Целая жизнь... Она пронеслась в голове, как последний просвет утопающему. Он коснулся губами стекла. Букет рислинга тысяча восемьсот девяносто девятого года дохнул на него музыкой свежести. Он остолбенел. Зеленый вихрь запахов висел в ней, как струя дождика над ситцевым лугом. Тягучий аромат пригорелой резины жужжал басовой струной медвяного зноя: это благоухали чуть запеченные пенки шмелиного солнца, висящего над планетой, жарко трепетали раскаленные бабочки дней. Рислинг номер «шестьдесят три»! Вино было создано. Вся композиция оказалась простой и соединила этюды четырех лет в гармонии, плившей наивно песней.

Он просидел в лаборатории до полуночи.

— Это не химия, — бормотал он довольно, — это не гейдельбергская бочка. Шестнадцать тысяч ведер — королева всех бочек в мире. Нехитрая штука — разбавлять ее на одну треть молодым вином и держать верный стандарт. Но в наших условиях — проработали бы они, не имея столовой коллекции до двадцать второго года. М-да... Правда, цвет нашего рислинга превосходит... Хе-хе! Где мои кринолины? Сколько труда и волнения, сколько было разговоров из-за этого цвета! И вот наши Абрауские горы заботятся о нем не хуже хозяев: участки у нас на всех румбах, север и запад дают отличную свежесть и зелень... Но в чем же ошибка? Я потерял десять дней, как мальчишка... Посмотрим сейчас по книжке.

Он сидел под зеленой лампой и проверял свою память. За эти дни купаж он похудел на пятнадцать фунтов.

Вот почему Наташа Ведель захлопнула толстый роман и не раскрывала его в течение целой недели. Дожди шли.

Но горячее солнце палило не уставая, зной гонялся за влагой, разбитые кисти пахли винным брожением. Виноградники после бури стояли в полном изнеможении. В сухом протоколе, отпечатанном лиловым разбитым подчерком старого ундервуда, их драма была дословно запечатлена рутинною слов и короткими столбиками цифр:

«По докладу директора совхоза т. Яшникова и замест. виноградаря т. Буца считать: град 10 минут, осадки 11,6 мм., град 8 г. Гибель урожая: Дюрсо — 60%, Птичняя — 50%, Фруктовый — 30%, Турецкий, половина участка — 20%, Заозерный — 10%, Игнатенков аул — 35%, Озерейка — 50%. Итого 22 000 пудов,  $\frac{1}{3}$  урожая. 88 600 руб. по себестоимости, 265 000 руб. по рыночным ценам. Констатировать: прошедший год в практике наблюдений не производился. Мы в связи с этим градом вылетели из плана. Этот град принес совершенно неожиданные убытки, вызвавшие: отражение на качестве вина, увеличение расходов на процесс производства и т. д. и т. п.»

Речей товарищей Веделя и Фролова-Багреева в протоколе понять было нельзя: там дело касалось спора о преимуществах порошков извести и серы над дезинфицирующими свойствами сернистой меди. Это был спор старого садовника с европейской химией. Наш Винсек запечатлел его загадочным синтаксисом. Он писал протокол целый день и вечером показал Овидию.

— Ну, брат,— сказал он, тараща и кругля глаза,— по-нимаешь? Это прямо...— Он осмотрелся и прибавил шепотом восторженную матерщину.— Черт его знает! Как пошли они насчет купороса... Вот был шухер! Тут черепушку пужно иметь — во! Ну, Ведель, брат, ор-рел! Как это он, сволочь, посмотрит...

Он передал Овидию листки с напускной небрежностью.

— Почитай,— сказал он,— как тут насчет ваших всяких тонкостей? У меня и так от ихней образованности всю башку разломило.

Он ходил по комнате, и я внимательно следил за его бровями: одна из них, топорщась, лезла на лоб, упрямые рыжие веснушки глядели высокомерностью канцелярско-го быта.

Ах, Винсек, Винсек! Героика уездных протоколов начинает пасовать перед редакторским глазом, я вижу, что ваша губа кривится не совсем уверенно, презрительная усмешка ее, познавшая вольные просторы партизанских

степей Казахстана, обвисает бледной, растерянной жалостью. Где же ваша доблесть? Где ваше революционное оружие, знавшее набатные ревы восстаний?

— Ну, как? — спросил секретарь, подходя к кровати Овидия. — Говоришь, плохо?

Но голос его звучал угрюмой надеждой.

Овидий аккуратно сложил тонкие листки вдвое и пригладил их пальцами.

— Видишь ли, — начал он, приподнимаясь с подушки, — всякая оценка относительна... Ей-богу, — обратился он ко мне, — протокол не хуже стихов «Литературной газеты». Тут что-то есть от стиля эпохи, а некоторые фразы пригодились бы для нашего Дома Герцена. Ничего! — подбодрил Овидий Винсека. — Но я думаю одно: ты недолго просидишь у Япникова...

Они поговорили еще, и я видел, что краска заливает веснушки секретаря и он упрямо комкает тонкие пропечатанные листки. Желтые, цвета коровьего рога, волосы тормозят его голову мальчишеством и лезут на лоб неожиданной дерзостью. Но шея его наводит на размышление: она нечисто глядит красноватой шерстью, налита кровью, мрачные прожилки морщин говорят о злобных обидах и жестокости к себе и другим... Я боюсь, что Овидий прав. Япников — государственный ум, — так говорит о нем Ведель. Этот человек не ошибается. А быть секретарем управления — это почище, чем заниматься писанием рассказов и повестей: здесь нужен такт и спокойствие большой композиции.

Винсек резко оборвал разговор о протоколе.

— Сойдет! — сказал он грубо. — Написал — и ладно.

«Абрау-Дюрсо»? Слава тебе, господи, у него есть приятели в Москве, один из них в Наркомфине — Сашка, они вместе работали в управлении розыска...

Он улегся спать и долго курил в темноте. Поздно ночью пришел Поджигатель, вернувшийся от профессора-шампаниста. Он пробрался к своей кровати на цыпочках, но башмаки его говорили за себя. Они были у профессора втроем: наш Учитель не отказывается от компании художника и его сестры. Кроме всего прочего, они сошлись на понимании Тернера. К моему удивлению, Поджигатель прекрасно осведомлен о творчестве величественного пейзажиста. Я думаю, что он прощает Живописцу споры о биологии за его плакаты эпохи гражданских боев. «Поколение живо! — думал я все эти дни. —

Оно крепко держится друг за друга, хотя многие уходят и остаются сзади. Поколение редет — да здравствует поколение! В ночах фронтов мы теряли отцов и расстреляли глупое детство. В огнях городов мы хоронили отсталых романтиков, мы отправляли их в штаб к товарищу Лермонтову. Там были славные парни, ей-богу, они ображали себя с крыльями Демона — об этой истории есть хорошая картина у Врубеля. Чувство о них — как медведь, глядящий из мрака пещер нового сотворения...»

17

Директор, несмотря на грозу и стихийные убытки, не потерял присутствия духа. Приказ следовал за приказом. На виноградники были брошены каменщики, со всех построек были мобилизованы все свободные рабочие и весь конный и машинный транспорт. В управлении с утра до вечера шумно трещала на ундервудах, хлопала дверьми, шаркала ногами и докладывала о себе осенняя пора урожая.

Дожди шли. Директор пробегал глазами сводки и протоколы, подписывал бумаги и отношения: над судьбою вина нависали тучи и ливни, бочки и подводы, медный купорос и порошок извести, дисциплина и точность, порядок, распорядительность. Канцелярия запечатлевала, складывала и расчленяла метеорологические значки, переводила химию на ведомости складов, превращала бочки, подводы, автомашины в длинные ряды денежных подсчетов, калькуляций и смет, сводила дисциплину, знания, распорядительность к столбикам цифр получаемых окладов. Бухгалтерия вертела сложный зубчатый вал машины материального мира. Педантизм ее был математической точностью ударов музыканта, разбрасывающего щедрость неуловимых рук по узкой дорожке клавиатуры. Директор следил за каждым движением клавишей: он знал дисциплину и точность соотношения звуков. Вино было искусством, требующим долгой, кропотливой работы; неправильный, случайный молоточек срывал весь строй. Его репутация была поставлена ва-банк перед бутылкой старого каберне.

Директор принимал без доклада. Дожди шли, образцовое виноградное хозяйство республик, имевшее мировое имя, стояло за его подписью, он отвечал перед партией и страной за языки дегустаторов. Вино было выс-

шим синтезом. Оно соединяло труд чернорабочего, столетний опыт, огромные знания садовников с тончайшим искусством артистов. За столбиками цифр бухгалтерии стояли люди, еще не получившие смены. Директор принимал всех. Над судьбою вина, под ливнями, днями и тучами, стояли виноделы и химики, ремюоры и дегоржееры, бондари и бочкомои, садовники и виноградари.

Директор брал людей в их потенциальной полезности для производства; для него не существовало знаний вне их способности претворяться в дело. Практика зерновых совхозов оказалась умнее объективных цифр академических комиссий. Он был одним из тех, кто доказал это на деле: они били ученых профессоров гектарами и центнерами, они засыпали их зерном по самые зеркальные лысины. Но это вино... Здесь совершенно другое. Тонкий нюх хозяина-практика подсказывал Директору особую бдительность и осторожность. Он пока что познавал только ноты. Он педантично следил за полным использованием клавиш, совхоз лежал перед ним черной громадой инструмента, где лишь искусство решало конечные цели. Он не мог повлиять на самую бурю музыки. Но профессор Антон Михайлович спорит с практиком Веделем: между ними бегала кошка, это явственно чувствовалось. Директор сходил с цифр и докладов, с собраний, комиссий и комитетов прямо в горячий и страстный воздух искусства. Столовый подвал возникал в чистом, величавом и немного скучноватом запахе винной лирики. Она заглушала шаги. Помощник Веделя, Владимир Лилеев, пылал, как Вергер рейнского зеленоватого вина. В шампанских покоях, тоннелях и этажах стучали толстыми бутылками ремюоры; хлопали пробки в отделении дегоржажа, воздух пел и шуршал нарядными шелковыми ароматами ликера. Он встречал неожиданно, как парадокс Анатоля Франса, он звучал остро и насмешливо, как каламбур из «Кола Брюньона».

Рислинг и каберне шли от Ноя — так говорили преданья. Черт с ними! Живописец вместе с Бекельманом распевали подчас хрипловатую песнь, — ее знал и Директор. Она нуждалась в хороших, колосистых голосах семинаристов.

И Ной смиренно говорит:  
«Творец! Как мне вода претит!  
Запе в водах погребены  
Все беззакония земли».

По повеленью божьих уст  
Вдруг вырос виноградный куст,  
И бог рече: «Блюди его...»  
Наговорил всего, всего!  
Как разводить лозу должно  
И как готовится вино.  
Зело обрадовался Ной  
С детьми, кухаркой и женой.  
Он погреб выстроил потом  
И бочки ставил он с вином.  
Бочоночек, другой винца  
Во славу господя-творца  
Он выпивает иногда  
Без всякого себе вреда.  
И, как писанья гласят,  
Лет прожил триста шестьдесят.

Стоит ли говорить о преданьях? Их несостоятельность очевидна, но, так или иначе, чистые виноградные вина называются натуральными. Они простодушны, как триста шестидесятилетний старец, окруженный добрыми бочками. В этом весь смысл столового подвала. Эдуард Ведель исповедует в искусстве простую истину органической мудрости.

— Это не спирт,— говорит он,— это не химия с ее желтой кровяной солью. Я смотрю на вино, как на живой организм. Зачем мне лекарства, если я не думаю болеть? Хе-хе...— подсмеивается он.— Винодел не имеет секретов. Мой секрет — аккуратность во всем, поменьше химических формул. Все дело только в том, чтобы помогать природе. Вино с примесью и лекарствами — уже не вино. Здоровье, здоровье прежде всего! Французы погубят виноделие со своими гибридами...

Шампанский подвал благоухал ликерами. Профессор Антон Михайлович стройпо нес в него по утрам снежную голову лукавой китайской резьбой из желтой кости, поддетски согретую белым подстриженным клинышком. Помощник его, бородатый Василий Васильевич, в могучей толстовке, катил сырой бас, как гулкую бочку, грудь его вздымалась, как погреб, полный толстых питух и хохота. В бондарной хрипел Бекельман. Подвал управлялся Доброштановым — неизменным, добрейшим, в старинных очках с ниточкой, сползавших вниз добродушием, с лицом, как стянутый шрам, от язвы желудка. Он сидел у себя в полутьме крючковой птицей в совинном царстве ламп и тоннелей шампанского.

В саду у шампанского здания с пихтами, с туями, в запустении роз и одичавших кустарников, в цементной

прохладе плескался фонтан, поднимаясь из бронзы, зеленой от времени. Нежно пахли цветы и деревья. Столбик воды взлетал из горлышка скульптурной шампанской бутылки, падал вниз и заливал дождевой искрящейся пылью обезьяну, вылитую из металла. Она обвивала хвостом покатые плечи бутылки в пьяных корчах химеры, вода падала вниз, в царство невинной воды с красноперами рыбками. В обезьяне сидела душа католической церкви, средневековые, тихие шаги монаха, открывшего в камнях кельи лукавый секрет шампанского.

Шампанский подвал не был подвалом чистых, натуральных вин. В нем хитрый холодный монах добавлял к добродушному Ною пряный и острый яд скептицизма.

В мире давным-давно клонились над бочками ядовитые бородки химиков. Еще Марселен Бертло доказал, что нет живой и неживой природы. Легенда о жизни вина разлетелась, как мифы о прелести бочек, покрытых мхом и плесенью. Тысяча восемьсот шестидесятый год грянул Седаном для виталистов, несших знамена «особой жизненной силы». Химия бралась осуществлять всевозможные тайны природы и создавать искусственные существа, подобные естественным, ее не удовлетворял только анализ, она расправлялась со схоластами, падавшими ниц перед великой тайной «сродства». Век проходил в драке, он видел крушение ангелов.

В туманном морозе России Пушкин упал в снег, обливаясь кровью... Жандармы везли глухой ночью гроб, покрытый рогожей, в псковских лесах, кидавшихся прочь от кровавых огней факелов. В гробу ледел труп лучезарного синтеза: дитя простодушья и солнце бессмертного разума... Двадцать три года спустя благочестивый Пастер поднял пистолет идеалистической науки и направил его в грудь синтетической химии, срывавшей тайну с теории брожения. Выстрел грянул, но пуля пролетела мимо. Марселен Бертло разбил пистолет виталиста: он доказал ложность биологической теории, считавшей брожение жизненным процессом микроорганизмов. Легенда вина рушилась. Деятельность дрожжей как нераздельного живого фактора была опровергнута. Первая стадия спиртового брожения глядела разоблаченной легендой. Превращение сахара в спирт вызывалось растворимым ферментом, инвертином, он производил ту же реакцию и вне организма. Заметки в записных книжках Клода Бернара, найден-

ные после его смерти, подтвердили теорию: искомый фермент был найден за десять лет перед тем, как палата, без одного воздержавшегося, приняла закон: «Статья первая и единственная. Останки Марселена Бертло и m-те Бертло переносятся в Пантеон», — открытия химика и физиолога подтвердились еще раз и окончательно. В лаборатории Бухнера фермент, творящий брожение и похоронивший тайну жизненной силы грибка, закрепился блестящими опытами и получил название «зимазы».

Седан виталистической химии был ее полным разгромом. Синтез взошел, как солнце.

Директор совхоза «Абрау-Дюрсо», член Коммунистической партии большевиков, пришел арбитром на борьбу двух художников — двух начал, возникавших в подвалах: искусства, желавшего все перечувствовать, и искусства, державшего все познать. Но он был мудрее журнальных критиков, — он, щурясь, смотрел на дело и пробовал вина не из деклараций и протоколов собраний. Что громкие пустые слова! Он мог бы сравнивать их, если бы знал, с тезисом Шопенгауэра в его учении о свободной воле. Директор оставил «волю» сознательному действию, он не собирался лезть в сущность упавшего камня и искать там волевых дуновений. Он не был философом, не знал Прашны Парамиты индусов, не постигал себя как Ничто, не представлял себя переходом в вечное истинно сущее и не падал ниц перед покровом Майи. Но он мог бы ответить на этику старой Европы простыми словами: «То, что ведет к правым делам, это и есть истина». Он уважал опыт и практику и брал человека как живую идею: профессор и практик-художник были прекрасным синтезом. Ведель бурчит — пусть побурчит. В деле он — первый. Он против планов, но каждый раз планы его превосходны. Профессор сидел на последнем собрании прямо, он говорил в нос, спокойствие его било всякую раздражительность.

— Известь? Это рутина! — бросил он старику виноделу. — Мы знаем научно проверенные, совершенные методы.

— Ха-ха! — тот посмотрел на него, как Ной. — Сорок пять сборов на виноградниках — это не шутка, — он отвечает делом, он помнит подобные случаи. — Начну с того, — взял слово Эдуард Августович, — что применение извести в «Абрау-Дюрсо» принадлежит мне. Пускай это будет рутина... Ха-ха!

Он говорил, из его коричневых морщин глядели обиды.

Профессор смотрел сухо. Конечно, он напрасно употребил такое слово...

Директор сидел в кабинете и перечитывал протокол на тонких папиросных листках. Он почесывал за ухом и недовольно сдвигал кожу на лбу. У стола заседаний, стлавшего ровный луг зеленого сукна, угрюмо топорщился Винсек, жадно кусавший ногти. Пальцы его в эти дни подошли на красные тупые культики инвалида.

Директор отвалился в кресло и произнес крепчайшее слово:

— Эх, голова! Чего грызешь руки? Ни к черту, брат, не годится твое писание! — Он добродушно-насмешливо смотрел на секретаря и щурился. — Ну, чего? Бери. Надо будет переписать заново. Слог, брат, у тебя...

И он дал характеристику этому слогу термином юго-восточной гражданской.

Директор смотрел на спину секретаря сочувственно: он сам писал вольным стилем. Дверь захлопнулась. Он потянулся, могуче расправил грудь и задумался. В окна подул ветреной свежестью, дождик смолкал. Над холмами крутых виноградников пухлые тучи зияли голубыми провалами.

В кабинет ввалились шумные грязные люди. Дожди выщелачивали разбитые ягоды, брожение их прекращалось.

И Директор распорядился немедленно начать сбор.

Дует норд-ост.

Режут виноград.

Женщины, девушки и портовые девки поют песни. Из прессов шампанского подвала уже побежал розовый винный сок.

Все благополучно.

Но нет папирос, и Овидий первый выкинул сигнал бедствия. Быть может, его настроениям помогает и кое-что другое...

Нет папирос — это значит история снова показывает пожелтевшие, сбитые плотно зубы упрямого прошлого. Цigarка во рту — блаженство бродячей солдатской жизни. Когда приходили черные дни республик, кисеты выколачивались начисто, туда попадал всякий мусор, особенно

хорошо трещали в огне сбитые серые катышки шерсти, — откуда только они берутся в бедных карманах скитаний! Может быть, скучно перебирать эти воспоминания? Но они принадлежат нам: огни поколения тлеют в военных потемках беспечной цыганской юности. Пусть девушки, вышивавшие нам на долю, не знают о прошлом, — я отмечаю дни по прелести табачного дыма... Прошли времена боев, никто меня не уверит в противном. Легкость в душе, тоска, как мост с часовым над рекой, шпалы и рельсы, товарищи в серых шинелях; мы едем, снова едем куда-то, табак взят на учет — верный, преданный дух боевого товарищества. Бывали такие, любившие припрятать тайный запасец: они курили ночью, наглухо прикрывшись сбитой шинелью. Их узнавали по запаху дыма, вагон вскипал возмущением. Так попадались хитрые, злые неряхи, жившие скупой и прожорливой волчьей жизнью! Я знал одного: у него водился табак. Это был парень, покрытый сальными шишками, слежавшиеся космы мягкой шерсти вечно пушились на его круглых надутых щеках, источенных черными дырочками. Его ловили не один раз, он сопел и ругался: проклятый писарь хранил сокровище в продавленной жестяной мыльнице. Она была конфискована, и коммуна теплушки курила по выдаче двое суток.

Прекрасные дни! Они пьянили затяжками крепкой крупчатой махорки. Писарь жил одиноко, по вечерам он колотил вшей. В этом он не имел соперников. Милая Улюсь, как вы чисты и спокойны, вы бьетесь ровным голубым пульсом на теплых вспахках сознания. Я вспоминаю писаря и люблюсь вапим затылком: эта кожа, освещенная нежным вниманием прически, эти кольца волос, как признания вслух. Женщины более всего не любят прошедшего и будущего. «Они — существительные», — как говорит один мой приятель, подразумевая себя глаголом.

Я говорю, что писарь изучал своих вшей, как художник. На его шинели болтались царские медные пуговицы, хлястик ее всегда был оборван. Он мог есть круглые сутки и спать, не снимая ботинок неделями. Он наслаждался собой и жил в собственном теле наподобие короля в большом государстве: он разделял себя на участки и слушал возню насекомых, упиваясь чесоткой и карауля передвижения подданных. Неряха часами валялся на нарах и беседовал с потным и пухлым телом: весь его мир уходил под рубаху. Он знал гастрономию и развлекался собственным запахом. У него водился приятель — тонкий земли-

стый парень. Они занимались вшами, не замечая времени.

— Я знаю их нрав,— говорил писарь.— Смотри, они начинают возиться после обеда. Не торопись, дай ей всосаться... Ага, она начинает!.. На южном участке сегодня затишье, они работают вечером... Не шевелись! Мы почешемся после!

Они лежали, блаженно уставившись вверх. Писарь делил себя на фронты: северный, южный, восточный и западный. Северным звались шея, грудь и подмышки, на южном, внизу, копошился главный театр военных действий.

— Ну, как? — спрашивал он приятеля, еле дыша от приятного зуда.— Если одна, лови ее сразу. Они за работой стоят, как свечки, вцепившись в рубаху... Смотри, не зевай!

— Н-нет...— сладостно шептал тонкий.— Сволочи! Они поползли ниже.

— Не ш-шевелись! — яростно шипел писарь.— Дуррак! Мы поймаем их сразу.

Следовал вскрик, взброс двух тел, рубахи вскидывались кверху, штаны падали вниз... Писарь командовал. Его руки в жабьих буграх бородавок хватали добычу. Они лежали снова, довольные сами собой. На бумаге возились мелкие серые раки с темными роговыми спинками...

...Его убили на фронте, Светлана Алексеевна, одна залетевшая белая пуля при отступлении,— он так и остался валяться на станции, с банкой махорки в кармане. После мы узнали его орган снабжения: ему присылали посылки из дому, он был сыном дьякона, случайный нежный питомец уезда в рабоче-крестьянской армии. Он был беспощадно осужден после смерти по классовой линии.

Этот писарь вел себя очень хитро в борьбе с насекомыми. Он придумал маневр, чтобы избавиться себя навсегда от нижнего зуда. Он вооружился свечой и хотел выжигать южный участок — самое гиблое место солдатской вселенной. Участок вспыхнул, как порох, писарь вдруг затрепещал желтым шипящим пламенем,— он был волосатой породы и горел, словно гребень из рога. Коммуна едва потушила пожар его же шинелью. Метод свечи обсуждался в теплушке и не встретил сторонников,— и все же случай с южным участком был результатом смелого замысла, был проблеском творчества. Сейчас он укрощает память о человеке, который раздавлен в мире, как платяная вошь.

Но все это — прошлое, старинное прошлое.

...Имя Светлана звучит чистой горенкой с лесенкой наверх, в красных от солнца окошках щебечут молнии ласточек, на хвойной заре тропинку зазывают глубокие голоса кукушек. Когда нет папирос, моя дорогая, я чувствую юность. Нет ничего лучше в мире боевого товарищества. Я припоминаю дни, где одна папироска обходила набитые нары в прифронтовом поезде. Я видел красноармейцев, передававших кисет офицерам, дрожавшим от холода у длинной стены пакгауза... Через минуту рванулся бездымный залп — и затворы с язгом выкинули пустые медные гильзы. Офицеры курили в последний раз. Человек, прячущий свои папиросы, достоин презрения, — таков был завет нашей армии и останется им навсегда.

Нет ли у вас закурить, мой Неунывающий Друг?

19

— Чай тоже недурен, — говорил в это утро Овидий, — я курил его, помню, в трубке. Он трещит и взрывается, хотя на вкус довольно приятен. Но знаете ли вы траву пресвятой богородицы? Это — чертовская штука. Она идет на покойников, мы курили ее <...>, и одно время я даже вошел во вкус. Не попробовать ли нам опять чаю?

Он сидел на кровати и мечтательно болтал желтыми полуботинками.

— Одну папиросу! — молил он Поджигателя. — Только одну. Вы можете не давать мне в двенадцать часов. Я даю вам честное слово.

— Нет, — сказал ему твердо Учитель, — вы уже выкурили свою порцию.

Он не был курящим, один из всех, и хранил обобществленный запас в полторы коробки. Распределение не знало поблажек: Поджигатель не шел ни на какие мольбы, вторая папироса могла появиться не раньше полудня. Овидий стрелял направо и налево, но ресурсы курильщиков таяли с каждым днем, он приуныл не на шутку и целыми днями бродил по совхозу с кавказской тростью и записной книжкой.

Эти дни! Они купались, как птицы, в налитых дождями лужах, моясь и трепеща в брызгах нахохленными голубыми перьями. Он поднимался рано, искал свою папиросу, кидался в парк, жадно вдыхал свежесть деревьев.

Он всегда кидался к жизни в объятия и подчинялся ей с безотчетным восторгом. Кусты, капли дождя, сияющие столбы водяной пыли, падавшие из радуг, горы в глубокой задумчивости, ущелья в сырых потаенных запахах, где спелые ягоды с шорохом срывались в старые, сгнившие листья, — все в этих днях слагало свежие, полные сродства и неожиданной звучности рифмы, как вечное изумление перед чудом раскрытого мира.

Кавказ, древний рай первобытных детей, плескался у моря, светящего осенью. Туманы восстали. Хребты поднимались все выше и выше к востоку, к альпийским цветам, к смертельному утесам, курившим под небом снегами, где пели ключи ледников. Луга умирали, и лето кончалось. Зима приносила мускатные ветры. Сияли вершины, и в даль, к лиловым и красным долинам, слетали горные пчелы, жужжа, развевались их сонмы — туда, к светопосной отчизне...

Овидий бродил в этих днях, полный смятенья. Этот обрызганный куст — он говорит о дальней весне, о бледных рассветах, о шуме ручьев, о днях, погруженных в цветочную кипень. Кто знает, что горы весной плывут в облаках лепестков, когда расцветает кизил? Кто знает те дни, те тонкие, нежные письма от жизни, как розовый звук, как почерк цветов, как снежный и блеклый листок почтовой бумаги, слетевший с гудящей и грозной от жал мерцающей яблони?

...Вагоны, вагоны, разъезды в степи, сожженные станции.

Оно создано из четырех букв, гул вселенной катается на его синеющей свежести. Оно свободный парус, искусство, история битв, философия жизни и натиск. Пары его пахнут кожей ребенка, утром, когда небо лежит под водой и спит вместе с камешком, — этот запах серы и созерцанье глубин, этот маленький идол в купальном костюме, болтающийся ножкой под всплесками вечности... Оно наливаются краской зеленой, индигово-черной, играет павлиньей прохладой и, опрокинув волны на берег, тащит вскипающий шум, догоняя косые заливы махровым и снежным цветком, растущим в разломанной сишьке. Кто знает те дни, когда размываются классики, шлепает буря, на миг загорается отблеск миллионов окон вселенной, хлопают тяжкие двери, небо срывается с петель и несется, как грохочущий лист, сорванный с крыши? Кто знает те дни?

...Работа, работа, треск канцелярий, пыль городов и тупая усмешка редакций.

Море стоит среди гор, как царство осеннего света, как голубая чаша, увитая красными листьями. Овидий бродил. Спокойная нежность смотрела кругом, свежее тело земли выступало в смуглых нарядах кустов, опускавших созревшие гроздья. Виноградная осень. Все меньше и меньше дождей, пора просветления, земля жадно дышит, развеивая туманы. Не голубое ль вино напито в дальнем ущелье? Долго стоят холодки, утро поет, замирая в позолоте рожка, оно дрожит целый день, как отдаленные звуки... Тропинки в лесу пьют воздух глотками зеленоватого ристинга, — такая созревшая тишь, такая холодная мука пылающих ягод: ночью звезды висят и светят огнями желаний. Кто знает те ночи с голой луной, кто знает те дни?

Земля пробуждает зовы восстаний; любовные руки, полные темной и зрелой крови, срезают с кустов круглые, налитые зноем виноградные кисти. Мечты поднимают оружие, мир созревает, как гроздь, рушится прошлое, звери теплеют от шкур, в шерсти их пушатся осенние звезды. Дают вино. Груды у девушек приподнимаются выше и пахнут тутими яблоками. Ах, виноградная осень! Недаром у гончих собак раздуваются ноздри, планета висит, розовея от пятен вина, вся в сладкой истоме, нагая, на звездной лозе мирозданья. Кто знает любовь, что румянит, как снег, когда пробуждаешься в первое белое утро?

...То было давно, — Овидий бродил по горам, на винограднике пели девушки, — то было в госпитале, в ретирадной известке огромного здания. Ее звали Полей. Она приходила в горячем бреду, среди ваты и ведер, забрызганных кровью, она прибегала темноглазым участьем. Ее звали Полей...

Море сегодня — лучистый, сияющий взгляд, виноградник — как нежное зарево: тысячи чистых и добрых лиц потуплены вниз, миловидные уши горят от смущенья.

...Он умирал. Обвисала глухая зима. За окнами хирургической дни коченели в сером морозном дыму, воропья обмерзшая стужа разбито махала над голым забором пустыми крылами. Тылы замерзали. С полей курились поземки, гудели столбы, и ветер прорезывал воздух полоснувшей сталью, махом и блеском хватал его до сонных артерий, мороз горячим фонтаном сливался на улицы, — стили дома, деревья, пути, вокзалы в колючих сугробах. Вокзал шипел в древесном чаду, — сырые банные дымы, клубясь,

громыхали в заносах, составы подползали к нему в дощатом красном бреду.

Шла вошь, раздувала тифозный огонь, заносило лохмотья мертвецких, в палате металась жгучие белые стены, фронты бормотали о наступлениях. На койках палаты, уходящей в ночь, к одиночеству закапанной известью лампочки, качались искалеченные маятники горящих в жару солдатских агоний.

...Он умирал. Госпиталь жил, как сточная яма фронтов, собирая болезни и раны. Он подымал корпуса в мглистом дыму испарений, он резал, спшивал, бинтовал, отмывал испражнения. В подвалах его бессонно кипели чаны: там клочкотали гнилые лохмотья, тряпки, покрытые смрадом, простыни в чудовищных пятнах; гудели котлы — госпиталь брызгался паром, миллионы цепных ползучих мохнатых существ вшивались в шинели, в затертый колючий рай одеял, цеплялись клешнями в складках казарменной бязи, сидели в овчинах, шапках, в зеленых разваленных суконных кшах, остывавших на складах приемной.

Мороз наседал. Госпиталь жил. Он сырел от нечистых паров, истекая карболкой, кровью, гнилою водой, он дымился огромной помойной ямой. В мертвецких, подвалах и кухнях сбегались, роились и кидались от света, как кошки, поспешные жирные тени в длинных и скользких хвостах...

Наверху, в палатах, разлагалось, гнило, хрипело и мучилось столбикое мужское тело, оскорбленное ранами, тупой ненавидящей болью, звериным воем операционных, страшным бессилием перед самым простым отравлением. Чистое племя бойцов, приступом бравших историю, молило о подкладном судне. Шло разлитое море конвульсий и судорог.

Госпиталь задыхался. Санитарки и няньки бродили в этом мглистом чаду, как мухи в открывшемся трупе. Они узнавали здесь все, они принимали нечистые стоки подземных канав, зловонно сносивших кровавую похоть истории, начатой пушками четырнадцатого года. Это шуршаля юбками равнодушные ассенизаторы смерти...

Овидий смотрел вдаль. Озаренное синее чудо бежало мерцаньем. С кустов нахло кожей земли, ветки тянули к нему прохладные руки, звучали женские песни.

...Он умирал. Она была нянькой, с челкой бульварных волос, с мягкой и вялой грудью под грязным халатом, загаженными рыжими пятнами. Он помнит ее хорошо: она

не знала стыда, она помогала во всем привычной рукой соучастницы. Этот позор неподвижности! Она управлялась с суднами, как кухарка на кухне, физиологии жизни она помогала собой, не брезгуя средствами: она определяла жизнь на ощупь и ставила сразу диагнозы: она знала мужские тела и жила в них, словно наедине с собой.

Пылал потолок. В жару, изнывая от кризиса, он чувствовал смерть, подушка ворочала темные глыбы в ночи, качавшей косматые тени, просторы стен расступались степенями. Завывала зима, его заносило огнем, она приходила, он слышал далекий лепет, она наклонялась к нему, держала его воспаленную голову, шептала слова, долетавшие с детства... Он падал во мрак. Белый прохладный сон окружал его голову, пахучий и вялый сумрак ласкался к лицу. Он помнил — она прижимала к его запеченным губам упругий и скользкий сосок груди, лечивший солдатчину.

Вертело в бреду... Она подставляла себя всю к его смертельному жару, — он помнил шершавую руку, бравшую его источенные пальцы, она нестерпимо давила их влажной горячей силой колен, он помнил тугие завязки чулок, бульварную преданность, поруганный зов материнства, чувство подруги, защупанное в мире мертвецких и грязных, с примерзшими бинтами, солдатских сортиров.

Далекая Поля! Один так и умер с рукой, засунутой под ее доброе платье.

У нее было простодушное сердце. Она жила в доме на выселках: ковер с полинявшим тигром, постель, взбитая горою подушек, будильник, считавший медной костяшкой скучный рассвет... Пахло дешевым мылом, жжеными волосами. В окошко лез мертвый сугроб. У фотографий, пятнивших к сапогам нелепые сабли, глазки чернелись, словно насиженные мухами.

— Прощевайте! — просто сказала она, вытирая после поцелуя губы. — А я не знала, что вы из антелигенции. Все.

Пауза десятилетия.

Море лежало в глубоком обмороке воды, солнца и ветра. На горах пели девушки, обходя ряды проволок и быстро срезая в плоские ящички туманно-синие ветки шампанского пино-франа. В стихах Овидия, созданных в этих холмах, не звучала дробь барабанщика пролетарских армий...

Сентябрьские дни полны мудрости старой планеты.

Гроза забывалась: дожди и легкий норд-ост сделали свое дело,— старый садовник и винодел Эдуард Ведель оказался прав. И все, что жило по зову подвальных гудков, с утра поднималось встречать урожай. Он тарахтел на рессорных линейках, спускаясь по горным дорогам с широколистных низких садов, пестревших нарядными песнями.

Участки срезались. Мгновенно, в несколько дней они пунцовели. С ночного тумана их сразу кидало в лиловый и красный румянец — ножницы быстро бежали по горам — кругом загорались палитры, тяжелевшие красками. Их пылало все больше и больше, они расцветали над озером и двигались к морю.

В день синевато-серой морской воды коммуна шла к Озерейке.

Долина текла между гор широким потоком садов. Художник тащил холсты и мольберт, тяжело дыша и откашливаясь. Они сходили вниз с перевала, поднявшего мир чудовищной кручей, с которой глаза опускались в простор беспомощным перышком, крутящимся в воздухе...

Художник отставал, отирал лоб и блаженно прищуривался, хватая краски и ракурсы: он был во власти вскипавших замыслов.

Простор гудел от величия: Земля раболепствовала.

Они шли по старой дороге имения, кружившей по безднам. Леса росли к облакам, дубовые чащи то падали вниз, обдавая тенистой прохладой, то жарко дышали запахом стружки; в дубовых светелках, сухо и празднично натопленных солнцем, грелись роговые жуки и шуршали истлевшие белые листья.

Девушка шла, словно на бал. Она ступала легко и свободно, ее грудь под шелковой кофточкой полно и просто вздувалась, вырисовывая глубокую теплую ямку. Ноги ее не загорали под солнцем. Овидий не уступал, он поспевал за девушкой. Поджигатель, горбясь, тащил тяжелый полированный ящик с красками.

— Бра-тиш-ки! — вопил сзади художник, откашливаясь. — Ослобоните. Ей-богу, невтерпеж!

Он еле брел, пошатываясь и придерживая рукою грудь.

— Светлана Алексеевна! — взмолился Поджигатель. — В самом деле... Одну минуту. Я вам дам папиросу, — обратился он к Овидию. — Я не устал, но у меня что-то ужасно колотится сердце... Я...

Он вдруг осел, судорожно задохнулся.

— Ага! — обрадовался Лирик. — Это вам не собрание в рабочем комитете. Ну, ладно, давайте папиросу. Так уж и быть.

Но Поджигатель не отвечал.

— Подождите, — перебила Овидия девушка. — Он очень бледен. Смотрите, с ним нехорошо...

— Что с вами? Что с вами? — Овидий бросился к нашему Учителю и, обняв, тормошил его за грудь. Вместе с девушкой они держали его под руки, а он, медленно обвисая, опускался на колени, крепко зажимая пальцами полированный ящик.

— Краски... возьмите краски, — бормотал он, закатывая большие белки глаз на сером лице. — Ничего... ничего, я сейчас...

Он дышал хрипло, со свистом. Девушка держала его черную, пышную голову в коленях и нежно гладила его лоб. Овидий, бледный от волнения, не сводил с него глаз: она распорядилась Поджигателем с уверенностью медика.

— Ну, как? — спрашивал он ее шепотом. — Что же это такое?

— Подождите. И не мешайте, пожалуйста, вашими руками. У него действительно что-нибудь с сердцем...

Она быстро расстегнула ему ворот рубашки. Глянула курчавая, черноволосая грудь.

— Кладите его на землю, — сказала она шепотом. — Нужно, прежде всего, правильное дыхание.

— Вот это номер! — брякнул на камни мольберт Живописец. — Фьюить! — свистнул он, поглядев на маленькое тело с дикарской шевелюрой. — Снимите с него очки, дурни! Вот что, братцы, я вам скажу: эдаким манером можно сыграть в ящик.

— Шурочка, ты бы лучше молчал.

Минута. Две.

Он приходил в себя, виновато улыбаясь, близорукие глаза его без очков глядели чужаковатым изумлением. Голова его лежала в чистых, белых коленках — и девушка гладила его сухие волосы длинными точеными пальцами.

— С коммунистическим приветом! — сказала она сво-

им светлым грудным голосом, когда он открыл глаза, и вдруг наклонилась к нему и поцеловала в лоб.

— Мо-ги-ла! — бормотал ее брат. — Ты загонишь его таким манером к чертовой бабушке...

— Я не отпущу его теперь ни на шаг. Лежите, лежите, вам нужно полежать десять минут.

Он пробуждался. Через четверть часа она поправляла ему ворот рубашки. Поджигатель смущенно оправдывался. Овидий хлопал его по плечу и старательно очищал его толстые брюки от камешков.

— Дайте я замотаю вашу обмотку, — говорил он, любовно оглаживая грубошерстную ткань. — Вы напрасно пренебрегаете биологией... Как вы думаете — не лучше ли нам вернуться в Абрау?

— Я ему всегда говорила, что он не умеет жить.

— Дурочка! Ему надо хватить рюмку... Мрак! Сегодня пойду к Яшникову: пусть дает сорок четыре... С тех пор, как стали закрывать кабаки, нашему брату только и остается помирать от кондрашки... Жуть! Мил друг, я вам давно говорил, что мы скоро протянем ноги от идеологии. Сердце, друзья, идеологически невыдержанная механика... Ей-богу!..

— Ну и пей со своим Бекельманом.

— Мы дегустируем. Это — тонкая штука.

Поджигатель не выносил внимания к его личной, интимной жизни. Конечно, здоровье — прекрасная вещь, но все эти разговоры... Врачи всегда либеральничают преувеличенным вниманием. Он слышал тысячи раз полезные советы и рассуждения, — когда они надевают белый халат, они становятся христианскими проповедниками и витают в чистом мире, где возникают сами по себе сбитые сливки, ежедневные горячие ванны, немного фруктов, прогулки в енотовой шубе, белоснежные белые мягкие кровати. «Он не умеет жить»... Ладно. Он всегда морщился, конфузливо завязывая штрипки не совсем свежих кальсон и выслушивая благочестивые наставления... Не звучат ли они насмешкой? Быть может, этот спокойноглазый метит сбитыми сливками совсем не в его тощее тело, подвязанное бедными тесемками... У врачей всегда приличные жены, знающие всех приказчиков в магазинах Мосторга. Ни черта! Он подождет классового разрешения бытовых вопросов. Дома-коммуны, коммунальные прачечные, фабрики-кухни... Врачи издеваются не над ним, — не думают ли они, что суть классовой линии в его носках, с которыми

каракулевые дамы не пустят его на порог царственной спальни... Черт с ними! Он знает, куда бьют благонамеренные врачи, читая лекции о необходимости сливок...

Ничего, у него хватит сил взять не одну гору. Но разговоры о его жизни — это совсем ему не по вкусу.

Он шел рядом с девушкой: она поддерживает его локоть голый ручкой и занимается его разговорами. После ее поцелуя какая-то огромная тяжесть свалилась с души. Кроме того, она не любопытна и совсем не похожа на дам, которые слишком прямолинейно наступают на слабые места французскими туфлями... Он всегда мрачнел от их душистого, погруженного в себя мира, занятого вещами непонятной сложности: дамы жили в чулках, каракулях и теплых кофточках, как Будды, их щебет свободно перелетал от музыкальной папки до квартир с теплыми удобствами. Овидий смотрел на эти дела гораздо проще: он любил бесстыдниц в каракулях, и Поджигатель морщился, слыша его лозунги...

— Дави нежного гада! — смеялся не раз Лирик. — Пусть их мужья в технических фуражках почесывают лысины... Они платят портным — и очень хорошо. Мы проветриваем их жен хорошим ветром молодости. Собственность отменена! — хохотал Овидий. У него на Арбате не было недостатка в приятельницах.

— Почему вы не женитесь? — спросила она. — Хотите, я познакомлю вас с прелестными девушками?

— Спасибо! — засмеялся за него Овидий. — Мы пождем до социализма.

— Вот уж за вас я бы никогда не вышла. Мужчины — страшные эгоисты, а вы в особенности.

Поджигатель молчал, — что ему до прелестных девушек? Он никогда не мог завязать галстука, хуже всего он чувствовал себя перед продавцами в блестящих магазинах Петровки; он покупал всегда самое неудобное и ненужное, продавцы подавляли его насмешливым высокомерием. Он не мог противоречить им и отказываться от затраченного на него труда. Девушки и дамы имели непонятную силу. Они могли требовать все и уходить как ни в чем не бывало. Он молчал и теперь, как всегда в этих случаях.

— Я — эгоист! — удивлялся Овидий. — Ничего подобного! Если хотите эгоизма, поищите его в браке. Эгоизм в разврате, а что как не современный мещанский брак — самый яркий пример развращенности... Слава тебе, гос-

поди, я посмотрелся на эти счастливые пары! Вы не согласны? Смотрите кругом.

— Что же,— спросила тихо девушка, смотря вдаль,— следовательно, богема... Вся эта грязь? Но это так мелко и нечистошлотно.

— Вопрос решит рабочий класс,— серьезно сказал Поджигатель.— Деклассированные группы будут только метаться. Но он прав, Светлана Алексеевна. Брак интеллигенции, в том числе и партийной, трещит...

— Он трещит везде. При чем тут интеллигенция! Рабочий класс просто более занят. Я говорю,— Овидий размахивал тростью,— не о богеме, не о хлыщах, занятых юбками. Пусть хоть одна женщина кинет упрек — я отдавался им всегда и сердцем и телом, я не припрятал перед ними ничего... Но к черту патенты привычек! Это разврат — унаваживать мудрость проклятых Лютеров. Они рожают? Благодарю вас! Довольно бездарных сонных детей: их хватит с избытком. Биологически — это значит растить в цветниках вместо роз цветную капусту. Брак превратили в кухню, взаимный торг, в чувственность. Там ползают на карачках, тыкаясь осоловелыми мордами... Это ли не разврат? Нет, уж позвольте, птицы и звери поблагородней — они знают весну и не надоедают друг другу безвкусною ложью. И недаром у них нет вырождения,— да, да, это так...

— Я ничего не понимаю в этих вещах,— начала девушка.— Но мне кажется...

— Пусть не кажется,— перебил ее Овидий.— Я расскажу вам историю, она ставит прямо точку над «и»... Дама. Стройная, грустная женщина с глазами Татьяны. Муж из Наркомторга, с немецкой фамилией. Томна, божже, как томна,— говорит о красивой жизни... «Мы с мужем», «мы с мужем»,— они позволяют себе небольшие развлечения: «жизнь так припятна, нужно уметь только ее обставить»... Ха-ха... Она рассказала мне раз в припадке откровенности... Небольшое суаре. Они ценят жизнь и живут счастливо. Они укладываются рано — представьте себе: зима, синие просветы окон в портьерах, теплый свет лампочки на столике, снежное белье и прочее. Она приносит горячий бифштекс, немного с кровью, она пузырится в горячем жире... Ах, они кушают его вместе в постели, муж нежится — оба они жуют соевыми губами, и она наедается до румянца... Тьфу! Я не видел ее больше ни одного раза, меня смыло от нее точно вихрем,— вот

вам и грустные глаза и томность Татьяны! Простите меня, но я не желаю растрачиваться на бифштексы в кровати...

— Это видно! — сухо засмеялась девушка. — Очевидно, вам часто рассказывают в припадках откровенности... Но это меня несколько не интересует!

Овидий ничего не сказал на эти слова. Он насвистывал впереди. Дорога сбегала в долину. Фруктовый сад Озерейского владения Абрау висел мощным туманом на беленных яблоневых стволах. Живописец восторженно ахал и говорил о Монэ. На подкошенных серых лугах, с шапками клевера, нагие прибитые тропинки вещали об осени; зеленые сучья яблонь стали причудливые заводи тенистых прохлад. Сад доживал старость — он в этот год цвел бесплодно. За речкой, в склоненных громадах деревьев, сад расступался, дорога подхватывала холмы, садовые домики, рыжие, нахмуренно-зеленые, в кольях и проволоках, участки и выносила их в круглый водянистый простор.

Там скользила пустота, и даль надувалась под ветром, как парус. Море свежело — далеко-далеко, в страшном безлюдьи махровых серых пустынь.

...Они пели. Они пели так, как поют окраины городов в пустых безглазых кирпичных складах и глухих фабричных стенах, как поют в пустырях портов, как поют безпризорные улицы — без глубокого вздоха, без широких отзвуков, подхватывая припев заунывно, слегка гнусавя и четко выговаривая бойкие жалостливые слова. Они шли по двое по линиям виноградных рядов — с обеих сторон, наклоняясь по пояс и быстро срезая синие мелкие кисти. Весь покатый и кудрявый от листьев холм пестрел их кофтами, платками, юбками и медленно передвигался кверху, в горящую небом лазурь.

Была особая прелесть в их песне. Виноградник пел, неспешно подвигаясь вверх, в его темных густых рядах, облитых еще купоросной синькой, нагибалась и выпрямлялась песня. Она шла десятками жарких и сбитых набок косынок, сносила вниз полупудовые виноградные ящики, на миг задохнувшись, выкрикивала номер бригады и, опрокинув тяжелый синий шорох кистей в широкие плоские бочки, вновь уходила вверх, сверкая босыми ногами.

— Вторая бригада! — Песня, на миг обрываясь, съехала в чан с номером «два», оттертые, полированные виноградные глазки поднимались спелой черной горой.

— Эй, эй! — кричал старший садовник. — Ваше величие! Ударницы! Надо ударить пяткой о камень.

— Це наш ряд, а це ваш!

— Девоньки, глазыньки мои вкусные, а чего больница до нас не пришла?

— Нехай ее! Вин сам у кусту сыдит.

— Просыдит там до социализму, проскрышит до божьеву свету!

— Бабушка, шевели задом! Растопырила графиню-то!

— Эй, эй, ударницы!

— Вторая! — Виноград проливался вниз.

— Третья!

Песня опять поднималась вверх. В ее бабьих материнских, батрацких и девичьих голосах хрипела и простуженно выпевала свой зов портовая улица, дни неумытых погибших рассветов, прокаженные тени под фонарями позорного прошлого. Она возникала из самых ничтожных, поруганных черт жизни: здесь шевелилось грязное детство, клоаки болезней и лени, лишкая ругань, побойная дружба и дикий запойный мрак ночлежных домов. Она выпевала свой зов неуклюже, одна среди всех, в длинных космах волос, в измятом ситце капота с обойными розами. Лицо ее, запекшееся в белесый лоснящийся шрам, глядело, как ужас волчанки. Она пела, на вялых огромных руках ее подмигивали клейма порта: сердце с воткнутой стрелой и надпись, наколотая синими точками: «Отдай якорь». Она пела, как все:

Слово за слово, познакомились,  
Незаметно дошли до кино...  
Кругло-лицая мне понравилась.  
Взял билет посмотреть «Зпак Зеро».  
Кино кончилось, не смотрелось мне,  
Не до смотра здесь было Зеро.  
Тут она ко мне по-до-двину-лась,  
Точно жаром меня обожгло...

Виноградник, уже обрезанный начисто, шел с песней под самое небо. Глубина там синела так ослепительно и ярко, так бездонно, что казалось — дальше не могло быть земли. Отвесная бездна, голубой гремучий огонь мерещились там. Казалось — под куполом, где шипел нездешним мерцаньем спиртовой обмирающий свет, на звездных нитях трапеций застыли мука и ожиданье колоссального цирка... И простодушной сквозило под этим сияющим пламенем то, что, закинув слабые, тонкие руки, висело над вечною смертью, казалось, простой отзвук галерки

несся в словах и бодрил этот мир, вертящийся на призрачных проволоках.

Но не понял суд, не поверил мне:  
«Нужно было, товарищ, смотреть».  
Вот за губки те, губки алые  
Мне пришлось заплатить одну треть.

Виноградный поток наполнял плоские бочки и похожие на колчаны высокие тарпы. Старший садовый, худой, как Данте, суровоусый, весь в сером брезенте, обгорелый до красноты, под серой, тоже брезентовой кепкой, был источен дождем, зноем и ветрами до ветхости и сухости прошлогоднего дубового листа. За ним стояли двадцать три года работы на одном участке и столько же лет жизни в садовом домике.

— Считаю собственностью, — говорил он о виноградниках, заложив руки за спину. — Когда меня вывезут, пусть забирают...

Он стоял, как пехотный боевой командир на параде, гордящийся пропыленным насквозь лицом. Армия ровных кустов шагала безукоризненным строем, участок сверкал под желтеющим солнцем рядами пригнанных проволок, с широколистных кустов размеренно-точно свисали синие и прозрачно-зеленые подвески.

Садовый командовал шестью бригадами. Песня, сновившая виноградный поток, была соревнованием. План Директора вел ее в бой. Седые толстухи, коричневые, как хлебные корки, резали кисти с неуловимой быстротой, подоткнув юбки чуть не до пояса. Их ноги, в синих отеках вздувшихся вен, степные ноги хозяйственных матерей, ярко круглились под присохшею глиною, — они цели громче всех, шутки их задирали всю бабью жизнь, словно подол, — то шли ударницы, резавшие языком не хуже, чем ножницами. То шли батрачки многолетних винных садов.

Садовый поднимался среди них невозмутимым спокойствием.

— Эй ты, худая карга! — кричали ему косматые прачки с костлявыми взглядами. — Чего загляделся на бабушек? Али не можешь уже с молоденькими?

— Это еще вопрос, — спокойно смотрел садовый, — старая карга или молодая карга. Это еще вопрос...

Овидий стоял рядом с ним, он чувствовал себя отлично в женском обществе, мудрый лучистый день обволакивал его сердце туманом.

Я кончаю петь, факт вернейший сей,  
Опасайтесь знакомство иметь...

Голоса двух красных платков спокойно и светло сходили вниз. Он медленно отрывал с гребешка липкие матовые шарики, упругие, как мячики, и глотал их крепкий ароматный сок, охлаждающий во рту. Девушки шли ласково, обе босые, обе в одинаковых чистых кофточках, похожие друг на друга, как участливые молодые телята, переступающие тоненькими ровными копытцами,— они смотрели с мягкой серьезностью прямо ему в глаза.

— Хорошая песня,— сказал им, жмурясь, садовый,— хорошая песня, девочки...

Когда Овидий спустился вниз, Живописец кончал этюд. Его сестра сидела на земле у мольберта. Несколько женщин с пустыми виноградными ящиками дружелюбно глядели на них, опустив руки. Густые лиловые тени сходили с кустов, на горах затененные синие леса опрокидывали на север темные вечеряющие склоны.

Запад витийствовал. Он обращался к долине, поджигал кусты и деревья. В рыжих теплых огнях, светивших кругом, ослепительно встал квадрат виноградника. Обрезанный двое суток назад, он пылал, как малиновый.

Среди баб, окруженный платками и кофтами, в пестром усталом царстве женских раскинутых рук маленький человек произносил речь. В его круглых очках зажигались оранжевые огоньки, черная голова взметенно стояла сухой шапкой волос. Он говорил от имени партии и благодарил за блестящие результаты соревнования. Сдельная плата, введенная впервые, оправдывала себя полностью. Две ударных бригады выполнили задание с превышением на двадцать процентов.

Его слушали внимательно: человек внушал уважение серьезностью. Портовая девка, сидевшая в стороне, медленно качая туловищем, смотрела на него мутными косоватыми глазами. Он говорил о социалистической организации труда.

Ее лицо багрово вздувалось, и на руке, свисавшей мутным и дряблым бессилием, цинично синело клеймо мирового порта, прославленного портланд-цементом и пшеницей. Море, приносившее ей столько лет позорную, гниющую жизнь, катило на горизонт сине-седую пустынную мглу.

## ДОБРОДЕТЕЛИ ПРИСТУПАЮТ К ДЕЛУ

---

*Выделка шампанского значительно отличается от выделки столовых вин; в «Абрау» оно готовится французским способом, т. е. вино, содержащее строго определенное количество сахара, разливается в бутылки и закупоривается большими пробками, прикрепленными к горлышку железными скобами. При брожении, развивающемся от прибавления дрожжей чистой культуры, выделяющаяся углекислота постепенно насыщает вино. При открывании пробки она начинает выделяться, вызывая «игру» шампанского. Чем помещения, в которых находятся бутылки, холоднее, тем процесс брожения идет медленней, но зато углекислота усваивается вином полнее и при раскупорке выделяется медленнее и пузырьками меньшего размера, т. е. получается более тонкая и лучшая игра шампанского.*

*Летопись «Абрау»*

*— Да разве можно закрыть! Это — наша честь. Мы должны гордиться, что у нас есть шампанское производство. А то Германия и Франция будут говорить, что рабочие не могли удержать то, что было при государе... Это для нас стыд и срам: было у нас все, и мы его потеряли, как распутные сыновья у отца. Мы должны гордиться, что идем вверх и не падаем духом. Это дело великое, хорошее дело.*

*Заслуженный рабочий-шампанист  
А. Н. Фокасьев*

Опять эта вечерняя музыка в саду...

Я замечаю, что сверчки стали петь редко, пришли холодные лунные ночи. Луна светит, как мертвая слава в безжизненных старых руинах. Свет ее гол и рассудочен, он совершенно спокоен: никто не обманется больше в том, что ночь есть только продолжение дня. Спокоен и я.

Мне уже тридцать лет. С некоторых пор я вышел из узких проулков, где много травы, воробьев в сиреновой

суши, где дома слишком близко подходят к глазам. Больше спокойствия: за углом открывается поле и видно дорогу. Она не так далека. Я замечаю, что стал относиться спокойнее к суждению людей о себе. Болезненность юности, ее вспыльчивость, ее эгоизм — только в этом: люди становятся сами собой, когда узнают целиком, что думают о них окружающие.

Итак, повторяю, спокоен и я.

Мы не бродяги, мы спутники с неразлучной дороги.

Мир становится ближе, когда узнаешь, как легко ошибаются люди в оценке друг друга. В тридцать лет навсегда уходишь от глупой обидчивости.

...Салфетки на ногах Поджигателя за эти последние дни превратились в рыжие скользкие тряпки. Вчера он снял их, как всегда, сегодня они исчезли. Они пропали, как та грустная музыка, которая доносилась сквозь деревья с вечерним холодом.

Поджигатель рассержен не на шутку, он смотрит на меня недоуменными грустными глазами.

— Кто-то издевается надо мной, — говорит он сумрачно. — Очевидно, я самая подходящая мишень для бурсацких шуток. Я начинаю сомневаться в человеческой дружбе.

Он смотрит именно на меня. Овидий катается от смеха, глаза его влажны от подступающих слез веселья... Но кто же, в самом деле, продельвает эти довольно неудачные штучки? Смех тут ни при чем: у него ревматизм, мы все знаем, что он работает больше всех нас. Он организовал культурное обслуживание работниц по сбору урожая и каждый день ходит в казармы за несколько километров и читает доклады на самые различные темы. Живописец должен организовать кружок по обслуживанию плакатами и декорациями. Овидий, Винсек и я мобилизованы на агитационно-пропагандистскую работу. Это все — дело его рук. Председатель рабочего комитета ныряет своим длинным носом по поверхности воды, как дельфин. Бумаги из комитета стоят огромной запрудой. Партийная организация не сумела до сих пор стать водителем производства. У Поджигателя зоркий и серьезный взгляд, я узнаю в нем привычного ко всему, неотступного комиссара пехотной дивизии.

Он не смотрит на меня пристально. Я вижу, что ему тяжело подчиняться логике подступающих мыслей. Он медленно надевает ботинки на голые ноги.

— Не забудьте,— говорит он Винсеку, сухо отводя взгляд от моих глаз,— вам сегодня делать доклад в Магеллатовой казарме... Тему вы получили. Возьмите циффы в канцелярии.

— Ладно, сделаю,— отвечает секретарь и мрачно пыхтит над сапогами.

Поджигатель уходит, он не произносит больше ни одного слова. На столе каждому из нас приготовлены две папирсы. Дверь захлопывается.

— Вот шухер! — подмигивает Овидию Винсек, поднося суконную гимнастерку с оловянными пуговицами на высоком сальном воротнике. — Гамлетом прикидывается. — Он потягивается перед зеркалом, зевая длинной и заспанной скулой. — Ну и мурло у меня! — говорит он, зевает опять, замысловато выругивается и собирается на службу. — По-ни-маешь,— его волосы дико торчат во все стороны,— ненавижу я это бабье! Вчера опять гадюка письмо прислала. Зачем ты, говорит, мои письма мужу пересылаешь? А еще им доклады, хамкам, читать!

Он презрительно сплевывает и задумывается.

— Я из-за нее из угрозыска ушел,— говорит он, топорща белесые брови. — Не веришь? Ей-богу!.. Я тебе говорил,— обращается он ко мне,— как мы ее в номерах голяшкой держали? А из-за чего? Я на ее жалость сначала поддался, сколько она закуски всякой переносила, вот одеяло сатиновое от нее увез...

Он закуривает и, жадно затягиваясь, смотрит мне в лицо круглыми ненавидящими глазами.

— А из-за чего? — повторяет он. — Презираю их, что они все перенести могут. «Данечка! Данечка!» Я, дурак, сразу ей и поверил... <...> А теперь пишет, зачем письма мужу пересылаю... Да ее, змею, с товарищем застрелить мало! Он, гад, вместе со мной над ней потешался, а теперь муж... По-дү-маешь!

Странная штука — жизнь. Он сидит на стеганом сатиновом одеяле, шея его упрямо краснеет рыжей шерстью, и он стучит начищенными сапогами об пол.

— Бродяга! — говорит ему Овидий, окостеневший от рассказа. — Да ведь это же ужасно!.. Ну, и ты, брат, хорош! Пересылать письма — так издеваться над женщиной...

— Сказал — словно в лужу... — грубо перебивает его секретарь. — Чего ты знаешь? Наслушался я: «Данечка, Данечка, не позорь меня, я невинна...» Погавкал я на нее.

«Не-винна»! Подумаешь! А письмо ее я сегодня товарищу отослал. У них опять из-за нее шухер пойдет. Так ей и нужно!

Сегодня вечером ему предстоит делать доклад. Я замечаю, что после разговора о протоколе он переживает мрачное состояние.

Он злорадно и угрюмо клонит неповоротливую шею, поднимается. Мальчишеская головка его пренебрежительно исчезает в дверях.

Мы сидим с Овидием, и он долго рассказывает мне о московских делах, об арбатских проулках...

Я наблюдаю за ним и слежу за линией ассоциаций, возникших под впечатлением рассказа и быта, законченного сатиновым одеялом. Они расходятся по его душе, как круги от брошенного грубого камня, каждый круг поднимает другой, — может быть, они противоречат друг другу, но я прощаю ему все: Овидий живет в мире, как женщина в новой семье, только что вышедшая замуж. Она крепко прижимает дорогой мужской локоть, открывший столько невероятного и неопенимо-бесстыдного, она нарочно бежит в уличный шум вместе, чтобы сильнее чувствовать свою близость к нему, она импонирует ему всем и смотрит в глаза этого сбывшегося вдруг образа жизни, как двойник, как зеркало счастья... Но что, если локоть вдруг станет холодным?

Москва! Он влюблен в ее камни и запахи. В Арбатских ущельях он знает дома по улыбкам стен и карнизам; когда воздвигают леса, он ходит смотреть и проверять, не ошибся ли архитектор. Он следит за нарядами города, как молодая жена за новой пиджачной парой, которую ожидает театр Вахтангова. Не топорчатся ли плечи? Не слишком ли вылощено и враждебно-подчеркнуто сидит ткань у бедер? Эти модные пиджаки делают мужчин похожими на манекены... Прекрасный, родной город — он гордится любовью к нему, он беспокоится за каждый прыщик на его величавом лице.

— Видали ли вы, — говорит он, — серый ящик с балконами, висящими, как писсуарчики?.. Чудовищно! Он испортил всю улицу. Я расстрелял бы за такое вредительство! Стиль нашего времени — неужели вы думаете, что он будет походить на индустриальную казарму или на анемичную резиновую гладкость Бродвея? Дома должны выражать лицо человека и походить на веселую рожу, распевную утром у подоконника. Я строил бы их так, чтобы

всем становилось весело. Они должны щебетать птицами, пусть на крышах сажают деревья и пусть там лепечут фонтаны. Я беспокоюсь,— продолжал Овидий,— Арбат разрыт, как могила, его собираются асфальтировать... Я боюсь, что он станет походить на Мясницкую.

Но причем тут рассказы Винсека?

Овидий пускает круги за кругами, он переходит к Петровскому парку и останавливается на одном домике, перестроенном из конюшни, с палисадником в душистом горошке. Сейчас он цветет, лиловый, красный и дымчатый... Видал ли я когда-нибудь горошек выше поднятых рук? А несколько яблонь? А глянцево-черный пинчер и превосходные клумбы с левкоями? Все взрощено их старыми руками. Это не шутка — распустить всех детей в новую жизнь, поправить им крылышки и ласково, с легкой грустью смотреть в опустевшее небо. Его старики! Овидий говорит, блаженно уставившись вверх... Отец — инженер, работает по двенадцать часов, поднимая почти на рассвете и возвращаясь лишь вечером,— он раздавал их цветы, политые старой любовью, знакомым приятельницам. Он им не пишет... Но кто его ждет больше всех в далеком грохочущем городе? Может быть, наш секретарь говорит так о женщинах потому, что никто не нарежет ему пожнищами, знакомыми с детства, охапку белых, как подвальные стебли, и сочных левкоев, чтобы поставить в сыновней комнате? Его мать в шестьдесят лет сияет глазами и мечтает, как девочка... Знаю ли я, что значит жить в нашу эпоху, благословив ту пилу, что подрезывает старое дерево? Его старики распустили всех птиц, гнездо опустело, но это не черствые старые сучья, которых не любят садовники. Там есть еще цвет,— кто не знает старых деревьев, старых песен содружества и трудолюбия в редких розовых лепестках? Их любят залетные птицы, там есть еще добрый привет и сочувствие, а в дуплах всегда найдется ночлег песням нового времени...

— Да, это была семья,— медленно говорит Овидий,— жившая для детей и не помешавшая им ни в чем.

Его глаза влажны, круги ассоциации расходятся в них все шире и шире. Не нахожу ли я, спрашивает он, что Вера Ивановна Ведель заставляет вспомнить жен декабристов?.. Он полюбил «Виллу роз», она напоминает ему детские годы... Да, да, он согласен со мною, что труд, содружество и дети делают брак прекрасно-осмысленным. Но наше время... Он стоит за полную революцию в отношениях, несмотря ни

на что. Женщины так консервативны, а одиночество старости страшно лишь тем, кто не связан с обществом. Семья — это мир. Он нашел ее в классе, идущем на штурм. Он не понимает, почему его так неохотно печатают в реконструктивный период.

— Вас переедет колесо истории,— сказал ему вчера Поджигатель.— Чувства надо перековать на мечи. Художник и вы слишком глазеее по сторонам. Надо смотреть вперед. Машинист на паровозе не любит наряженным пейзажем и не жалеет бабочек, сидящих на рельсах. Колесо истории беспощадно.

— Ну и что ж! — ответил Овидий.— Если и так, я буду листком, прилепившимся к колесу орудия. Я буду вращаться с ним вместе. Пусть давит! Но для чего, с какой стати ему давить? Я чувствую себя сидящим на зарядном ящике. Когда надо будет палить, орудие выпалит нами.

Несмотря на горячий спор, Поджигатель смотрел на него любовно. Сейчас Овидий качается на легких волнах, расходящихся вдаль. Я начинаю смекать, почему наш Учитель заботится о его сорочках и галстуках.

— Скажите, читали ли вы «Душечку» товарища Чехова? — спрашиваю я Овидия.

— Чудесная вещь! Одна из моих любимых. Вы знаете, то, что писала критика о нем,— сплошная глупость и издевательство. «Певец сумерек, чеховский размагниченный нытик»... Какая чушь! Чехов — героическая, страстная женственность в нашей литературе. Он по недоразумению родился мужчиной... Но зачем вам это нужно?

— Так просто. Мне пришли в голову разные мысли...

Овидий смотрел на меня подозрительно. Разговор кончен, и я медленно схожу вниз.

Вечером, когда мы сошлись вместе и Поджигатель, сухо пожав мне руку, сел на кровать, я приподнял подушку и бросил ее на стул. Я всегда делаю так, чтобы откинуть одеяло. Все были в сборе, пустая кровать лежала под взорами. Я сбросил подушку.

Молчание...

На голубом поле, ярко выделяясь большими красными клетками, лежали аккуратно сложенные портянки Поджигателя. Он увидел их первый и поднял глаза на меня, — в них я прочел глухую боль оскорбления...

Я ничего не сказал, я положил их на стол и вышел из комнаты. Я ничего не сказал и ничего не знаю, но я чувствую сердцем: салфетки звучали насмешкой. Пусть будет

так. Учитель, мой добрый Учитель, мой бесценный друг, я знаю, что у каждого есть свое беззащитное место. Удары в него никогда не прощаются.

Опять эта вечерняя музыка...

Есть непонятная радость не возражать клевете и не бороться со случаем: она, как Скупой рыцарь, злорадно пересыпает золотые богатства, неизвестные никому.

Адская машина истории неуклонно тикает механизмом, брегетовая спираль отсчитывает зубчики колеса, и стрелка медленно настигает римские портики цифр. Все часы согласованы в мире. Маленькое золотое насекомое на руке у Светланы Алексеевны шелестит вечностью, заведенной в звездных пустынях мироздания.

Огромное колесо миров скрипит. Небо пульсирует единством, зубцы колеса передвигают мириады других, и каждое движение трогает осторожную возню сцеплений. Клоп, переполазающий стену в доме управления «Абрау-Дюрсо», под 43—44 градусами северной широты и 35—37 градусами восточной долготы от Гринвича, знает время и, когда поднимается солнце, убирается под карниз. Может быть, это добродетельный отец семейства, с отрыжкой и анекдотами, наподобие счетовода из нашей кооперации. Мир ему, пусть убирается к черту! Мне лень шевелить пальцем.

Мы не могильщики истории, мы — часовщики. На зубцах колеса, повисшего в бездне, сидит Илья Павлович Придачин и не вынимает из тряпки эмалевого циферблата Павла Бурэ. Ноги его качаются между звезд. Он закуривает от луны, плевков его летит между орбит, кружится в притяжениях и попадает в трубу ученого мужа из Академии наук, не занимающегося политикой. Ха-ха! Почтенный мандарин рассылает радио по ничтожной планете.

Мы — часовщики из мастерской Карла и Фридриха, старых мастеров в сюртуках, из тихого переулка, бросающего желтые полосы света на мостовую. Напротив всю жизнь просидел, прочищая колесики, Дарвин. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти... — возились часы на стенах. Бородатый старик разбирал механизмы, настраивая адскую машину. Ночью мы видели его мерцающий лоб с выпуклой зоркостью направленной луны.

Часы идут к совершенству. Кое-что засорилось в мире и покрывается ржавчиной. В старых замках Англии полночь глухо шипит и ворчит в механизме, алебарды старинных стрелок стали опаздывать. Глухие удары наступают ночь и пугают мышей. Часы отстают, они просыпают время, история чопорно дрыхнет в кожаном кресле. В Германии они пробили давно, в предместьях — раньше, чем в залах и гостиных Потсдама. Илья Павлович чистит часы керосином, они идут верно: он не просыпает гудка, кочегарка начинает гудеть, когда старый клоп переползает стену.

Илья Павлович, хитрый, как бес, сидит на обрубке и смотрит на солнце. Может быть, он знает, как быстро и верно идут колеса адской машины. Правда ведь, мы просто веселые спутники-часовщики с большой демократической улицы, где пьют, убивают, целуют и плачут... Нет, мы висим на зубцах, под самой крышей, над нами уходит даль, под нами дымятся трубы, под нами копошатся букашки-люди. Дайте мне вашу тряпку, товарищ Придачин, прочистим до блеска колесо, пора просыпаться, вставать и приниматься за дело. Классовая борьба — это починка часов ради веселых и чистых дней человечества. Пусть же они идут без задержки.

Что-то скрипит... Знаете ли вы, что Франция переживает винодельческий кризис? Подвалы набиты бочками, рынки насыщены, спирт и абсент городов кладут синяки под глазами парней и девушек. Особняки и лимузины фирм требуют законопроектов о спиртовании и химизации виноградного сусла, запрета ввоза, нажимов на рынки. Целомудренность винных бочек так же невыгодна посетителям первых кресел вечерней оперы, как излишняя щепетильность продавщиц модных конфекционеров и молодых мастериц, не имеющих права носить прошлогодние юбки. Виноградари разоряются, они не в состоянии бороться с мильдью. Кола Брюньон сидит в кабачке и отпускает острые шуточки по адресу отцов государства. Двор его опустел, огни Парижа наводят на мрачные мысли, добрые внуки его до сих пор не возвращаются с Марны. Но он горд и доволен, старый седой ворчун. Кто не читал, что пишет его последний и благородный сын? Если это так, — пишет он, — если это так пойдет дальше, он отказывается от прекрасного старого отечества.

Часы виноградных холмов, часы с кукушками, часы зеленых лужаек с черепицею домов, часы добродушных женщин в грубых ярких чулках и веселых румяных кюре

останавливаются. Прекрасная Франция! Нежный голос из книг, почерк розовых яблонь, неунывающий смех в темноте событий и крови, как старый красный огонь в добром стакане вина... Пусть хороший удар выбьет ядовитый абсент на продажные запонки, и пусть их зароют в землю, когда взорвется машина. Колесо поворачивается, секиры стрелок острее ножа гильотины.

Все связано в мире, друзья, — нам нечего опасаться. Часы не останавливаются никогда, их медное быстрое сердце затрунуто вечным движением. Илья Павлович знает все это у себя в кочегарке. Он сидит, как всегда, и важно смотрит вперед. Гудок прогудел. Не находит ли он, что отсутствие табака наводит на мрачные мысли?

— Н-нет, — отвечает он, — ты только все не записывай... Н-нет... Когда молодой хозяин строится, он сначала не ест и не пьет. — Кочегар поднимает палец и смотрит внушительно. — Он о харче не думает, рубашки новой и обувки не надевает... Я знаю, — подсмеивается Придачин, — ты хочешь у меня все выпросить... Еще одну причину запиши: страна у нас столько лет разбитая была. Ага!

Он торжествующе глядит и с достоинством почесывает голову. Это — блестящая формулировка. Он вполне доволен ясностью своих мыслей, для него пустяки — отвечать приезжему и любопытному журналисту.

— Как вы представляете себе социализм? — спрашиваю я, закидывая его рядом вопросов о смысле человеческого счастья. О чем грезит он в кочегарке? Как разрешает он положения Шопенгауэра о *Nihil privativum* и *Nihil negativum*<sup>1</sup>, его теорию о несчастной воле, постоянно стремящейся к счастью и оскудевающей, когда это стремление достигнуто? Не считает ли он достойным внимания тезис о мировой скуке, когда воля к счастью, обогреченная разочарованиями достижений, превращается в постоянное несчастье и приходит к выводу — самое себя отрицать? Это отрицание — подготовка для перехода в Ничто — и есть счастье. Как он ответит брюзгливому Шопенгауэру?

Кочегар смеется, хе-хе, он знает все эти заковырки. Он жмурится от довольства.

— Видал? — говорит он, отворачивая полу засаленного пиджака, где стеариново топорщится сорочка в полоску. — Новая! По книжке получил. Хе-хе... — беззвучно смеется он, показывая клыки. — Теперь не то, что раньше. А ка-

<sup>1</sup> Ничего неприемлемого и ничего отрицательного (лат.).

зарму видал? Все равно как у дамочки. У каждого койка, матрац, конечно... Жизнь развитие дает,— хитро щурится его глаз: он тоже кое-что понимает.— Выпить тоже ничего, в праздник, конечно, как полагается. Я доволен! — смеется бес в черной редкой бороде.— Пришел в казарму: полный покой, разговоры... Обуться, одеться, пройтись с тросточкой, послушать, как международная агитация идет...

Кочегар разговорился, он обращается ко мне сам:

— Ты спроси его, Кулика. Он тебе скажет.

Бочкомой сморкается в фартук, он вырастает высочайшей плоской доской, в седых усах его запуталась последняя прибаутка. Его счастье — в бочках: он полощет их, оттирает содой, парит их темный дуб и находит, что восемь часов работы, отсчитанных заповедью второго сотворения, не вмещают удовольствия от спорной работы. Его приходится гнать из подвала. В праздники он тоже является за своим счастьем, и Эдуард Ведель говорит об этом с теплой улыбкой. Запорожец умрет, если у него отнимут азарт и искусство прачечной для гнутого дуба. Мыть бочки — это почище, чем заниматься исканием истины, считая ее несуществующей. Он вытирает огромные руки, длиннее старинного маятника, с пальцами, как бугристые корни с германской гравюры шестнадцатого столетия.

— Он записывает! — задыхается от смеха кочегар и хватает меня за руку.— Пиши, пиши, он тебе скажет... Запиши, почему он такой мокрый. Ха-ха-ха! — трясется его тело от безудержного веселья.— Он записывает все, что ему ни скажешь!..

— Пиши,— говорит бочкомой, грабастая колени коричневыми лапами.— Значит, цапля и кулык и чайка — это три птицы так болотны. Вот прилетела цапля до кулыка в гости, а он сыдит у воды, конечно. Так она и говорит: «Кулыку, братику, чего это у тебя синие м...и?» А вин и отвечает: «Цаплюшка-матушка, я всегда на води, оттого у меня синие м...и». Потом вин-то и говорит: «Прилетели гости, черт им рад, сыди на помости у карты играть». Так це же у меня так. Потому и я кулык.

— Видал? — кричит торжествующе кочегар.— Тонко у него все, как в газете. Он тебе еще скажет. Слушай.

— Пиши, пиши,— простуженно басит Кулик, лукаво осучивая нитки запорожского уса,— це у меня усе так... Казак иде, козу веде, а она, проклята, не иде. А вин ногами, а она его рогами. Да и все... А вин раком и стал.

Придачин доволен. Быть может, он прав. *Nihil privatum* Шопенгауэра и вопрос о воле к счастью разрешаются гораздо проще, чем полагают книги. Бочкомой не бросает слов зря, он в жизни признает только дело. Не подразумевал ли он под козой понятие счастья в толковании философа? Здесь можно ожидать чего угодно, в этой кочегарке с загадками хитрого беса в черной бороде и с прибаутками, висящими на седохмурых усах почитателя пареных бочек. Кочегарка — прямо как колба алхимика.

Но когда же взорвется адская машина? Когда же наконец Кола Брюньон выльет проклятый голубой абсент, опаливающий ядами простодушные сердца с холмов, где растут виноградники?

Колесо истории неуклонно подвигает стрелки.

И клоп давным-давно уполз в свою заветную щель.

Надо вставать... Какая-то утренняя светлая истома звучит в теле. Боже, как мил и ласков утренний свет! Сны, как бой старых гулких часов, долго еще стоят неясным звучанием, трогая легкий гуд сердечных потемок, — они все глуше, неяснее, и наконец совсем исчезает звон, и с высшей справедливостью секунды четко соскакивают с медных зубцов рассудка:

— Так-так... Так-так...

Напрасно думают о часовщиках, что это самые мирные люди под солнцем. Их наклоненные головы глубоко обманчивы. Я знал семью одного гравера, резавшего печати губернским присутствиям и медные доски докторам и адвокатам из улицы, погруженной в заборы всегда вечеревшей провинции. Так мне казалось — там всегда плыл сумрачный звон, огни зажигались рано, зябко летели скелеты галочьих туч... Гравер дал сына революции. Его сын пожирал мир, пахнувший сургучом и сукном полицейских участков, как туберкулез пожирает ослабевшие легкие. Он был румянцем и блеском на впалом и сжатом лице Восстания. Он был — его нет. Но он вечно стоит над страню — остроглазый, весь собранный в тонкости губ, весь как термометр с обезумевшей ртутью, в тонкой и чахлой руке его телефонная трубка и карандаш организатора. Может быть, вы ждете его, старый Кола Брюньон?

В глазах человека, стоящего над вьюжной, нетопленной и голодной страной, грусть стратотерпца, но он кажется стальным изваянием в черной блестящей коже, с блеском насмешливых неусыпных пенсне. Он верен и точен, как сталь. Он накален до пыланья классовой ненавистью.

Пусть же тем, кто спит в кожаном кресле, под хриплый бой заржавевшей истории, она чудится лохматой гориллой за прутьями клеток могущественной фирмы Гагенбек. Часовщики трудятся неусыпно, в мастерских бессонно клонытся над колпаками зоркие лупы...

Так, так... Я скидываю на пол длинные ноги... Ах, я вспомнил, что между товарищами иногда ложатся печальные длинные тени.

## 23

Могилы прекрасной Франции раскидались по всей земле. В горах Абрау, на чистой высоте холма, даль кидается в воздух, как молодое тело в синюю морскую воду, где тишина бездонная, а жизнь тихо греется оранжевым китайским фонариком «еврейской вишни» из ползучих кузов придорожья,— кресты поднимают высокомерность католических дум.

Ничего, *Nihil privativum*. Толстяки, любившие сыр и сардины, не делают больше шампанского. Гудки долетают сюда еле слышно. Для могил они в прошлом: далеко среди гор выступает кусок черепицы — край красной фуражки, гордо надетой на синеусую рожу,— и музыка не исполняет теперь кек-уока военного времени, а мосье Дровини не багровеет лицом и не считает пергаментных ассигнаций с орлами, переводя их на звоны монет с изображением цветущей девушки республиканской Свободы.

Безмолвны кресты. Направо, подъявши в горах запустение крыш, горным гнездом, разоренным годами, висит среди лесов, облаков и вершин старая дача Хартамазиди. Гнездо опустело. Отряды давно разошлись по домам, не хлопают ветром ставни, давно сгнили в балках офицерские кости, никто не слышит безумного крика в щели, стихавшего с выстрелом. Тогда ночи сходили оттуда, как Страшный Суд: утром в щели офицеров, фельдфебелей и ефрейторов расстреливали в затылок, они медленно скатывались вниз, цепляясь за сучья... Дни проходили. В щели распускалась весна, насушенные люди с виптовками приходили туда, ругаясь и зажимая носы. После там зацветали бархатные фиалки. В Париже в те годы их, как всегда, продавали на улицах тонкие девушки, не знающие, что такое кризисы рынков, почему дорожает вино и почему могилы прекрасной Франции иногда возникают далеко от гулкой весны старинного города, придумавшего

женские каблукки, похожие на рюмки. *Nihil privativum?* Чепуха! Кресты шампанской страны на кавказских горах возникали из кризиса, они вовсе не были точкой и последним росчерком свободных поэм.

Над костями поручика, мечтавшего о продавщицах, цветы пахли тонко и нежно; он лежал в заброшенной балке, заваленный листьями.

Из французов росла простая трава кладбища.

«Был прекрасный день», — так пишут в романах.

На кладбище — двое. Человек стоит у низких крестов и смотрит вдаль. Маленький живой старичок сидит на могильном холме, в руках его большой картуз и палка, скрепленная желтой медью. Он говорит то разводя руками, то прикладывая их к груди, его глаза, как быстрые черные кузнечки, выглядывают и прячутся под густым навесом бровей. Пушистые рожки усов приподнимаются кверху изумлением.

Это — дегоржер Фокасьев из тоннелей шампанского.

Человек слушает. Увядавшее прохладное солнце клонит закат, французы спят под землей.

— Сорок пять лет, — шепчет старичок тихо, — это в тоннелях сорок пять лет прожить... Это не шутка.

Он говорит то медленным шепотом, то с южной горячностью. Из его слов, перебиваемых французскою речью, восстает прошлое, — человеку чудится, что бормочут могилы, время бежит назад, старуха история не спеша вяжет чулок...

...Глубоко под землей вращают мрак венцы тусклых сияний. Тоннели идут, идут цементными трубами. Падают капли воды, глухое безмолвие бродит, шлепая в лужах, бутылки лежат одна на другой — студеные горы стекла, сотни тысяч бутылок, где дрожжи с хитрым ликером вздувают атмосферы давлений. Бутылки, бутылки, бутылки! Они лежат по стенам, скрепленные ржавыми прутьями, в них доживает трехлетняя промозглая ночь и садится на стенки хвостами осадков, в них день ото дня светлеет вино, очищаясь от яда, в них зреет шипучая сила. Миллионы бутылок! Они громоздятся по стенам, штабеля их не знают движенья, они ждут, чтобы опрокинуться горлами вниз...

— Травайе, травайе, бутейль!<sup>1</sup> — бормочут могилы. — Вы хотите ремюаж? О-ла-ла! Ком се бо!<sup>2</sup> Если вы будете

<sup>1</sup> Работайте, работайте, бутылки! (фр.)

<sup>2</sup> Как это прекрасно! (фр.)

покупать голову сыр и коробка сардин, вы научитесь знать травайе!

Тоннели идут цементными трубами. В бутылках сияет брожение, они опрокинуты вниз и стоят ошестинившись в гнездах попитров. Что-то стучит. То — жизнь Доброштанова. Он сорок лет быстро вертит руками, бутылки попарно вибрируют в воздухе — месяц, один, другой, третий, сложная цепь ежедневных вибраций, встрясок, поворотов на одну восьмую ости, — и липкий, привязчивый хвост трехгодичной муты медленно сползает вниз. На пробках внутри, как черт в жидкости вербной бутылки, распушился мохнатый осадок. Над ними вино «блестящего цвета» — так говорят ремюоры.

Старичок говорит. Его жизнь мерцает мраком шампанских тоннелей. Глубоко под землей везут тележки с бутылками, горла их вниз, в них газ, рожденный брожением, «поженился» с вином.

— Коман са ва?<sup>1</sup> — восклицают французы. — Коман са ва, мосье Фокасс? Травайе, бутейль. Мы будем смотреть, как вы произведет выстрел.

Бутылки везут, они подняли донышки, — он стоит, окруженный толпой, быстро хватает бутылку левой рукой, смотрит на свет, изучая оттенок вина. Лампочка светит сквозь мутные стенки лучистым зеленым воздухом. Вино как зеркальный блеск: ремюор довел его до конца.

— Тише, тише, мосье Фокасс!

Он вскидывает бутылку к левому локтю: легкий наклон, — и зрачок воздуха, спавший под донышком тридцать восемь холодных простуженных месяцев, огромной выпуклой каплей колеблется у стенок стекла, образующих покатые плечи бутылки... Капля пульсирует: выстрел должен быть сочным, осадок разлететься в пыль, воздух зрачка не должен прорваться в струе и выйти за плечико. Он прямо и точно стоит за станком, в правой руке его крепко зажаты щипцы. Мгновенье, скоба ржаво топорщится с пробки, — р-раз! — хлопает круглый, упругий выстрел, пробка срывается вниз, курится студеной дымок, — и мягким мыльным удавом шампанская пена ползет из черных омытых краев блестящего горла... Он быстро вращает бутылку, отирая пальцем края.

— Браво, браво, русс! Хип-хип-ура! Ком се бо! Есть у нас русский дегоржер мосье Фокасс!

---

<sup>1</sup> Как дела? (фр.)

Старичок говорит: жизнь его не покидает тоннели.

Пятнадцать, двадцать пять, девятьсот пятьдесят, тысяча двести бутылок в день. Мосье Гриффон, мосье Бертран, мосье Жубер, мм. Клариж и Дову, неудачный мосье Гнилон, погубивший целый тираж, и последний мосье Дровини, вернувшийся с кризиса, куда его вызвали пушки.

— О, я буду просмотреть дегоржаж,— сердито ворчит Дровини, багровея лицом.— Это будет много брак. Я буду просмотреть со свечой. Без француз все равно будем закрывать дело.

— О, экселан<sup>1</sup>, мосье Доброштан! Ком се бо, ком се бо, мосье Фокасс! Совсем как француз: нормальный кристаллический цвет. Травайе ком са!<sup>2</sup> Но зачем вы взять и учить другой человек?.. О-ла-ла! Я не хочу! Это сам для себя работа, это надо вы работать.. О, нет, нет! Я буду выписывать француз для этой работа..

Безмолвны кресты. Человек слушает старческий голос, вспыхивающий живой страстностью, щурится и видит старозаветную палку, чертящую воздух, и руку, прижатую к сердцу.

— Все сохранили,— говорит вдруг торжественно Фокасев, распахивая руки,— всю драгоценность... Замуровали тоннели. Умру, а не отдам! Это добро пусть хранится,— переходит он в шепот, наклонив голову,— теперь будет хорошо: я надеюсь. Иметь — очень хорошо, терять — очень плохо. А когда добавим, будет еще приятнее.

Он вздыхает счастливо, обводит глазами холм, наклоняется, и человек слышит его шепот:

— Много тут лежат. Могилки там, тут... Страдальцы тут лежат, чеченцы, офицера...— Он говорит еще таинственнее. — Все тут.

Пауза.

— И вот сохранили... Хоть головы долой, а сохранили! Чтобы наши дети, наши внуки сказали бы: «С паганами на нас шли, и ни одной царапинки не получило наше производство...» Один миллион бутылок, сто тысяч ведер бочкового...— Он раздумчиво качает головой.— Такие драгоценности, такое добро, такое сокровище не позволили выпустить в землю... Теперь начали оживать, оживать... Мы имеем русские бутылки, пробки из Одессы... нас слушают... Он задумывается.

<sup>1</sup> О, великолепно! (*фр.*)

<sup>2</sup> Так и работайте! (*фр.*)

— Жалко, жалко терять такое дело и бросать в сорный ящик. У нас все готовое, все это есть... Закрыть — это нельзя. Это — великое дело. Вот дойдем до миллиона, вот тогда будет честь и слава России. Раза три были собрания, приезжали из траста, из Ростова, из Москвы; роскоши какие-то находят... Но мы их убедили, все выступали — старые рабочие... Как можно! Такое дело! — бормочет он почти горестно. — Мы его сохраняли, берегли... Мы берем хорошее золото... Машина, автомобили, усе приспособление. И мы гордимся, что у нас есть вино.

Человек слушает. Ему чудится — встают кладбища. В могилах французы жуют сыр и сардины, на горе среди клумб играет заборная музыка, хлопают шампанские пробки, и в пене и в криках разверзаются земли, теплый свет океана огней и потоки людей в ресторанах в погоне за жизнью, как вопль скрипача, с мертвенным лбом, ужаленным черно-глянцевою прядью...

Могилы встают. Упоенно колышется скрипичный самум, люди в гнутых манишках несут замороженные серебряные ведра, в ночных ресторанах, как в люстрах, расходится дым, — и плечи, женские плечи, как призраки перед монахом в средневековой келье, где родилось шампанское, визжат голым криком на кровавой мякоти бархата.

Улицы, улицы — картавый рокот машин, блеск лимузинов, как глянец цилиндров, вихри реклам в озерах асфальтов, город как бред, румыны и негры во фраках краснее бубновых тузов и бледный синий рассвет полоской в прокуренном шелке. Улицы, улицы — вдаль, навстречу ищущим фарам машины, к бульварам и скверам, к скамейкам с небритыми призраками, к гулким пустыням предместий, в мираж фонарей, в зеленый холод над крышами, где вознесенное зарево бессонно над геометрией зданий, где ахает пар и лампы под клубами дыма пронзают рассвет космической зоркостью.

Шампанского, больше шампанского!

Высокий старик с зеркалом лысины, — китайская тушь на крахмале, нос, как фиолетовый ястреб над снегом обвисших усов, — бог ресторана!

Экселан, экселан! Он идет, худощавый и гибкий, — больше шампанского! — на лиловых руках из манжет с изумрудными запонками, обнявши за шею, длинноногога дива, Изида с голым лобком, как ослепленный стыд, как белая, мягкая скрипка... Бог ресторана!

— Экселан, экселан! Травайе ком са, мосье Фокасс!

Человек слушает. Он видит могилы, солнце, деборжера Фокасьева, но ему чудится мрак, отдаленный тоннель, шепот воды; стуки бутылок, отдаленные выстрелы... Раз! Раз! Шампанская пена? Мосье Дровини? Бог ресторана? Мерцают подвал, сиянья огней кружатся в промозглом тумане, коридоры, как улицы, несут гутаперчевый дым, шампанские ночи грохочут тележками, — над миром высокий старик, окутанный пением скрипок, льет алкоголь... Бутылки, бутылки, бутылки! Мерцают тоннели, хлопают пробки, стучат ремюоры, — травайе, травайе! — шепчет мрак, и человеку чудится, что время сходит с могил, старуха история бросает клубок... Он видит, как прямо и точно стоит дегоржер в сером фартуке, как твердо хватает он глянec стекла, — над миром грохает выстрел, вылетает огонь, ахают стены, и длинное тело с фиолетовым нссом падает вниз... Бог ресторана! Могилы безмолвны...

— Бон<sup>1</sup>, мосье Фокасс, бон! — еще шепчется мрак. — Карашо, карашо! Вы знайтть, как француз, правильный выстрел.

— Княгиня Вы-рубова! — выгибается шея Фокасьева, и рожки усов таинственно топорщатся вверх, кузнечики смотрят зорко и внушительно. — Была здесь она, — шепчет он еле слышно, — все были... негодяи. Вместе с Клюхнером Иваном Григорьевичем. Говорят, он утек в Германию вместе с этой княгиней. Были, все были — офицера, маленького росточка генерал приезжал сынов хоронить, крепкий, даже не заплакал... Были. Управляющий Келлер удрал, а кто же остался? Тут все были как на ладони. Остались те, кто за страдальцев... Старик Ведель, партизанты. Ведель — этот человек много добра сделал. Не боялся ничего. Такой человек, — качает он головой, — такой человек!

— Афанасий Николаевич, — спрашивает его слушающий, — скажите, вы довольны своей судьбой?

Старичок садится на могилу: он растроган воспоминаньями.

— Доволен, — говорит он, прижимая руку к сердцу и наклоняясь вперед. — Я от души вам говорю, я доволен своей жизнью. Спасибо за все — я не обижен. Я человек такой: хватает мне покушать — и хорошо... И так мне приятно, когда я услышу: помцу там выписали, нас, стариков, слушают. Хоть часика на полтора, а обязательно я пойду, а то, бывает, целый день прокопаюсь... Страшно люблю, —

---

<sup>1</sup> Хорошо (фр.).

говорит он опять, прижимая руки к груди, — и уважаю винную работу. И даже не считаю, что это все не свое, а считаю, что все это мое. И когда увижу — там пробка или скобка валяется, то подниму, обмою содовой водичкой и положу... Как можно! — шепчет он задумчиво. — Это неприлично, что я ничего не могу дать... Разве можно!

Он начинает сморкаться.

— Не любят пить, а делать вино имеют пристрастие. Любят! А уж так мне приятно, что все-таки мой труд не забыт... В двадцать втором году получил героя и часы... Ах, какой юбилей был, — хороший, очень хороший! Я геройство получил при общем собрании... Общее собрание, — отчеканивает он резко и повелительно, — такому-то юбилей. И мне сделали такую честь, — продолжает он и вытирает глаза, — при всех Директор обнял, я даже прослезился... И так это я благодарю, благодарю... Вспомнили, не забыли, как я простоял в тоннелях...

Светит день, сияют горы, молчат ничтожные холмы, зарастающие травой. Старичок вынимает часы с гербом государства, смотрит на стрелки, и человек замечает, как празднично одет он, пришедший на кладбище.

— Дайте на одну секунду, — говорит он, берет часы и прижимает их серебряную теплоту, этот знак, эту биографию и память, этот верный шелест истории к уху.

— Здесь мои деточки, внуки, — опять слышит он, — жена... Сорок восемь лет пробыли вместе, — и так хорошо... Так мне приятно. Я говорю молодым, чтобы меня положили рядом. Это может быть им смешно, но я человек старый. А чтобы молиться — я грешен. Не нужно. Мне бога не нужно. Бог — это есть хороший человек... Если он принял страдальцев сердечно, душою... У нас в Абраве есть такой человек...

Пауза.

— Нет, нет, — качает головой Фокасьев, — мне не нужно, чтобы молиться. Я из земли вышел, в землю и возвращусь. Зачем мне на небо? Мне здесь так приятно. Я хочу, чтобы здесь было всем хорошо...

Он вытирает глаза, надевает картуз и встает. Люди покидают кладбище и возвращаются горной дорогой. Кресты остаются одни. Впереди, среди лежащих вповалку гор и холмов вырисовываются крыши подвалов. Там жизнь, там тоннели шампанского. Маленький часовщик истории, бодрый мось Фокасс идет туда, помогая себе палкой, бережно хранимой на память о каких-то наснившихся днях.

Ее подарил ему англичанин, неизвестный друг Вездесущей Страны, на сельскохозяйственной выставке в Москве, в тысяча девятьсот двадцать третьем году.

Сколько лет Директору? На этот вопрос ответить очень трудно. Быть может, ему больше сорока, быть может, нет тридцати. Овидий находит, что он принадлежит поколению. Очевидно, Лирик делает поспешный вывод из неизменной любезности, оказываемой ему Директором. Этот человек встречает его всегда добродушным криком.

— Эй, писатели и поэты! — кричит он, всегда помножая личность Овидия на всю литературу и приближаясь издали, как вырастающий степной паровоз — с шумом и грохотом. Свита тащится сзади запыхавшимися пыльными вагонами.

— Розы-грезы! Птички-спички! — осаживает Директор вестингаузы и, хохоча, хлопает его по плечу. — Здорово! — Он почесывает грудь, поддергивает брюки. Несколько фраз, умноглазая бодрость. — Пойдем, пойдем! Я иду в шампанское производство. — И Директор дает пар.

До свидания! До свидания! Свита быстро мелькает рукопожатиями. Директор уже дымит далеко: встреча с поэзией для него только полустанок.

Может быть, он действительно из поколения? Это надо проверить. Люди хозяйства и портфеля чрезвычайно сложны. Было бы грубой ошибкой толковать Директора по его деловому разбегу и привычке почесывать пах, не смущаясь присутствующих.

Сегодня Директор пролетел один, он растерял свои прицепные вагоны и со всего размаху врезался в кадры. Ревизия его грянула молниеносно. В шампанском подвале, где, потрескивая верхними перекладинами, извиваясь винтовым блеском, опускались круглые давящие покрышки прессов, он возник неожиданно — суровым хранителем винного искусства.

Верхний этаж подвала распахнулся настезь. Поток пино-франа вливался в просторный зал, минуя стеклянную будку, — там столбики цифр в расчерченных графах отмечали работу весов. Чаны с виноградом хватались тележками, и грохот мчал их к прессам. Синий душистый разваленный ворох кистей ложился в машины, дубовые балки

их содрогались и сухо отстреливались, когда с огромных дубовых колес, висящих, как древние песни колодцев в пустынях, медленно, неуклонно, возникая от неуловимо мелькающих голых мускулов, перебиралась в игру шестерней грозная сила давления и опускалась вниз на бережно уложенную деревянными лопатами груды сочных, тугих, набитых солнцем и сахаром связок.

Пресса скрипели деревянной поэмой виноделия. Они возвышались суровыми балками, как дубовые печатные станки Гуттенберга, как формулы простодушной механики. Лиловый дух бочек витал над цементом высокой площадки, журчавшей мутным розовым соком молодого вина. Виноград проходил четыре давления. Внизу, под террасой площадки, его сок сливался в лохани, — десятки ведер мутной розово-темной жидкости: первая и вторая, самая ценная выжимка — «кюве» на языке деревянных поэм. Пресса отпускали зажим, колеса древних колодцев вертелись в обратную сторону, виноград лежал в мореном краснеющем дубе глыбой паюсной черной икры. «Тай» и «ребез» — третье и четвертое давления, глыбу икры разрыхляли лопаты, опять вертелись колеса, и в пустые зевы влажных лоханей, планги которых уходили вниз, к отстойным чанам, снова журчала струя все розовее, все прозрачнее, чтобы вконец истончиться фиолетовым ключиком.

Вино рождалось в дереве. Его берегли от железа, от гниения, от плесени. В дубовых тисках собирались ароматы шампанского. Курение запрещалось строжайше. Никто не имел права нарушить покой вина, созерцательную жизнь его младенчества. Вода смывала опасность бактерий скисания: цемент и дерево не должны были знать ни одной оставленной ягоды. Благородные дрожжи Штейнберг, германские расы тысяча восемьсот девяносто второго года, задавались вину прямо в пресса. Профессор Антон Михайлович менял французские навыки. Его микроскоп раскрывал тайны брожения: дикие расы дрожжей, спавших в теплой пыли матовых связок, развивались одновременно с чистой бурной культурой, — в бочках шла вековая борьба не на жизнь, а на смерть. Профессор бил дикие орды. Он добивался полной очистки вина, чего не достигли французы.

Когда Директор влетел в залу прессов, воздух пылал красными отсветами дуба. Лиловый виноградный туман окутывал смятенное движение тел. Винный рабочий — старая чистая раса хозяйства республик, — ходил как по-

жарный в огне: слева — упругие свежие руки сезонных рабочих вертели колеса, — он наблюдал за точностью порций кюве, за укладкой гор винограда, за правильным нарастанием давления; справа, у набитых прессов, парень в матросской фуражке, с дерзостной стрижкой затылка, весь в ходячей игре иероглифов мускулатуры, качал прибаутками гул полуголой оравы. Орава катила тележки неистово. Низкий, как бык, врастающий головой в самые плечи, черноглазый раскидистый малый, повязанный красным платком на испанский манер, дымил папирской. Это шумели дикие дрожжи, кадры из сельхозуча, здоровые глотки, срезавшие все поучения винного мастера крепкими возгласами, — что им было до микроскопа профессора! Они хохотали над святостью винных устоев. Подвальный напрасно кричал и метался в гуле оравы. Он привык к тишине и мраку подземной работы, — недаром лицо его, с бритым вналым достоинством средних веков, казалось нестрашным парню с красной повязкой. Стихия диких, крепких дрожжей побивала культуры профессора. В жизни это было почище, чем в тихих каменных кельях с винными бочками. Дым папирс поднимался столбом. Утром парни спустили в чаны сорок ведер воды, забыв о незапертом клапане. Старик Доброштанов появился в своих добрых очках, с недоумением в гнутых, мешковатых коленях, — он прибежал из темной конторки и долго глухо кричал, поднимая руки. Парни смолкли, подсмеиваясь. Они ничего не боялись, пред ними хлопала крыльями слепая птица, седая сова, мудрость Минервы из полночного sklepa подвалов. Вряд ли они хотели остаться в мраке этой работы. Мир раскрывался пред ними просторным величием фабрик, прибоем вокзалов, завоеванием светлых зданий рабфаков, дерзостью революционных дорог. Мало охотников было отдать целую жизнь тоннелям шампанского. Что им до тонких букетов и причудливых карликов вкусов и запахов! Что им до ощущений старых артистов! Доброштанов хлопал крыльями, сорок ведер воды возмущали неслышанной дерзостью, он клекотал перед веселыми мускулами, пренебрегавшими винной поэтикой, грозился Директором.

...Директор влетел в залу прессов без приглашения. Парень в красной повязке, кативший тележку, чуть не спихнул его с ног. Орава гудела, папирсы торчали у них из зубов. Директор мгновенно стал, засунул руки в карманы. Он стал, наклонившись вперед, расставил ноги в сползающих брюках, лицо его под козырьком стало темнеть. Он сумрач-

но ждал, не сводя полыхающих глаз с матросской фуфайки, все больше и больше наклоняя голову. Орава топталась на месте, малый в фуфайке сидел на прессовой стенке, пушкая табачный дым. Директор стоял изваяньем, вбирая в себя крики и грохоты, — в зале зыбь голосов плескалась уже случайней и тише, стал затихать рокот тележек, колеса, медленно качнувшись взад и вперед, повисли в воздухе.

Директор вбирал все глаза и глотки, плечи его надвигались напряженным вниманием. Он, как удав, кольцеобразно вбирал типину, зажимая ее в фокусе темных, сведенных бешенством глаз, — он наводил на фуфайку стоковое дуло общественности. Зал замолчал, и головы дерзкой оравы медленно, но неуклонно, роняя свои папиросы, стали поворачиваться в сторону пресса.

— Так-с! — сказал Директор медленно и раздельно. — Вот вы какие, голубчики!

Дерево больше не цело. Парень в матросской фуфайке кидался глазами вправо и влево. Директор устроил засаду: сотни пристальных глаз, как мушки, нацелились в точку, они походили на стокий телескоп, беспощадно вскрывающий все то, что могло спрятаться от одиночного взгляда. Орава предала парня — он остался один, глаза Директора настигали его раскаленными прутьями.

Директор молчал, черный от гнева. Медленно переступая ногами, он подошел к парню. Тот растерялся, папироса выпала из его рта, он так и остался сидеть с отвисшей губой. Директор поднял окурок, быстро повернулся и бережно выкинул его в решетку окна. Весь зал повернулся за ним и еще раз обратно, в сторону пресса, где сидел растерявшийся серый и сникший человек в полосатой фуфайке. Дикое дрожание было раздавлено.

Директор, не говоря ни слова, осмотрел пол, покачал головой, заглянул в пресс и медленно спустился вниз. Его грузное тело мелькнуло у лестницы.

Он стремглав пробежал второй этаж с отстойными чанами и бочками, курившимися причудливыми пещерными запахами серы, заглянул в ликерное отделение и выбежал к лаборатории, где в небольшом кабинете резидентствовал дух синтетической химии профессора Антона Михайловича. Профессор, замкнутый в кресло у письменного стола, с чистыми, как у ребенка, снежными волосами, опустив угольные саганинские брови, рассматривал большой рисовальный альбом в профессиональном переплете из серой

парусины. Живописец и Овидий, приподняв дегустационные бокалы с округло выгнутыми кверху грушами белого стекла, с некоторой принужденностью рассматривали игру пузырьков, кипящую в золотистой жидкости. Шампанское остуженно щипало горло. Запотевшая, черная, как смоль, бутылка царила над гладью стола. Она спорила за первенство с чернильным прибором серого мрамора с медными точеными украшениями, поражавшими бессмысленностью канцелярского стиля. Так чувствовал Овидий. Художник торжественно упивал бутылку, не теряя лишнего времени. В его альбоме, развернутом тонкими руками профессора, расплывчатый ватман причудливо жил акварельными дождевыми туманностями. Профессор улыбался и пощипывал бороду. Рисунок поражал его неожиданностью, в нем исчезла геометрическая точность знакомого ему годами цементного зала, прессы фантастично клубились телесной мягкостью красок; в рисунке уничтожались фабричность, производственность, социальная значимость строгих движений людей, за осмысленную последовательность которых боролся и он, боролся долгими годами вместе со всеми — с ячейкой, с рабочим комитетом, с непреклонным и грузным Директором.

Орава Сельхозуча особенно пленила акварельную кисть. Малый в полосатой фуфайке дерзко катил тачку. Пятно его сложенного из отчетливых вздутий мускулатуры вольного роста было мастерски схвачено кистью. Дымок папиросы ухарски винтился вокруг его головы. Он походил на полубога среди этих связок дымящихся тел. Синие виноградные тени плясали на зареве балок и решетчатых стенок прессов, краски мерцали причудливыми отблесками пламени.

— Похож, похож! — засмеялся профессор, любуясь сине-белым полосатым пятном. — Это самый большой бузотер. Но, Александр Алексеевич... я понимаю: это очень эффектно, все очень талантливо, но... ведь у нас не курят! — И он поднял к художнику пенсне, темноглазые внимательные стеклышки привычного собеседника.

— Поми-луйте! — засмеялся Живописец, превращаясь в дядюшку. — Дымят, дьяволы!.. Ничего не знаю. Дымят, хоть бы хны! Я, милый, сам видел. — Он развел руками, пальцы его растопырились в воздухе чудной изумленностью. — Тут, милый, ничего не поделаешь. Парни — во! Огарки.

Овидий засмеялся: художник подмигивал ему на бу-

тылку. Профессор совершенно спокойно рассматривал акварель.

— Хм!..— задумчиво произнес он, отводя альбом от глаз и еще раз взглядываясь в рисунок издали.— Вы очень смело подходите к действительности... Любопытно. Кто же курит и безобразничает? Сельхозуч?

— Во, во! Этот самый Сельхозуч.

— Так... Наливайте, наливайте, я сам не пью...

Дверь распахнулась, прервав его на полуфразе: Приподнятая рука Овидия с золотистым опененным бокалом застыла в воздухе. Черные глаза Директора выстрелили в комнату бездымным хлыстом неожиданности. Он задержал мгновенный взгляд на бутылке, шагнул вперед, его «добраго здоровья» исключало всякую дружественность. Рука Овидия медленно опустилась к столу. Профессор бережно положил раскрытый альбом.

Мгновенье.

— Черт знает что! — Директор гневно раскидывал фразы.— Я принужден буду взяться за Василия Васильевича. Это совершенное безобразие! Полный развал!.. Я был сейчас наверху: грязь, как в свинарнике, папиросы в зубах, полная бестолковщина... И это — Сельхозуч! Кадры! Черт знает... Им наплевать на всех, наплевать на Директора! Меня чуть не сшибли с ног... Да ведь это же банда!

Он тяжело дышал. Овидий переселялся в трезвость мраморной мемориальной доски с чернильницами: медные колпачки их стояли канцелярскими пагодами с высокими точеными монгольскими шариками. «Какая бессмыслица!» — думал он, сосредоточиваясь на их витиеватой ограниченной скуке. Живописец подлил себе из бутылки. Директор громил дезорганизованность трудового процесса.

— Да, да,— спокойно шурился профессор и назвал Директора по имени и отчеству.— Я уже получил сегодня все сведения... Молодежь распустилась. Мне сегодня говорил Доброштанов... Быть может,— он снова произнес имя и отчество,— вы не откажетесь от одного бокала?

— Благодарю. Сейчас не хочу! — подчеркнуто отрезал Директор.— Где Василий Васильевич? Это форменное безобразие! Я разгоню эту банду: она развращает сезонных рабочих. Что это у вас? — Он быстро взглянул на акварель, сдвинул хмурые брови и пододвинул альбом.

Пауза.

— Этот самый! — вспыхнул вдруг гневно Директор.— Безобразие! Я знаю этого хулигана... Харррош голубчик!

Его не рисовать, а гнать с производства нужно!.. Ну, ладно.— Директор небрежно захлопнул альбом, взглянул еще раз искоса на бутылку и выпрямился.— Будьте здоровы!

Он быстро повернулся тяжестью насупленных плеч, хмурое лицо его мелькнуло силой прессового давления. Дверь захлопнулась.

Овидий не сводил глаз с медного шарика чернильницы; вокруг его блеска твердился нелепый куплет, появившийся неизвестно откуда и почему. Шарик чернильницы блестел нестерпимо. Овидий переживал муку молчания. Его давил стыд за опущенную руку с бокалом, чувство неловкости перед одним мимолетным взглядом Директора на бутылку пронзило его существо щемящей детской болью, Директор поразил его собранной воедино, подчиняющей отцовской силой. Секунды растягивались.

— Сурьезный случай,— сказал медленно художник, выливая в бокал остатки шампанского.— Побрекут парня на пятнадцатое число... Ну,— он поднял желтый винный хрусталь,— все пропьем, гармонь оставим.

Он медленно выпил бокал. Профессор постукивал пальцами по столу. Глаза его спокойно и строго глядели двумя отточенными графитными кончиками фаберовских карандашей.

— Я должен извиниться...— начал он, поднимаясь.

В это время Директор налетел на его помощника, Василия Васильевича Агапова. Они стояли друг против друга, как два столкнувшихся паровоза, вертя шатунами. Лицо Директора чернело и казалось невыспавшимся, речь его походила на тяжелый мазутный дым, выбрасываемый давлением на подъеме. Слова его били неопровержимостью блеска начищенной до жара медной арматуры. Василий Васильевич рыхло и серьезно сдавался. Судьба дикой расы, свободной воли и анархии личной ответственности падала и отступала перед вышуклой мощью механизма, подчиненного стрелкам безмолвных часов, нависших с темных громад истории. В мире буйно бродила прекрасная страсть к совершенству. Над Директором властвовал отцовский инстинкт класса. Он содрогал его огромное тело энергией созидания и вставал холодным обликом разума перед жестоким актом рождения. Революционная страсть Директора стояла у изголовья жизни, как вчерашний безрассудный любовник стоит перед женой, давшей ему сына. Он не говорит прежних высоких смутных слов. Он строго смотрит на новое трепетное тело — и уже иные, полные делового

значения будни порождены этим криком, еще не научившимся жить и властвовать над собой. Эти будни просты и суровы, как стены больницы, они беспощадны, как власть и пытливость врача, они не знают иллюзий, как взгляд педагога, оценивающего богатство способностей своего питомца.

Директор был беспощаден к близким: он разгромил Агапова. Сельхозуч нуждался в крепких руках, его нужно приучить к настоящей работе. Это — не институт благородных девиц. Не ждут ли они труда без ответственности, легкой работы, как ее понимает невежда? Работа легка и приятна там, где знания и опыт достигают возможности личного творчества. Там, только там есть простор подлинной радости и наслаждениям чести.

Агапов кивал головой. Что значат слова? Директор выражался по-своему: смысл говорил за него. Он хмуро простился и побежал в бондарную, поддернув штаны. Бондарь Бекельман ходил среди бочек, заросший щетиной, готовый обнять всех — по случаю двух литров бургундского по себестоимости.

Он было кинулся обнимать Директора...

## 25

Далекий Неунывающий Друг, я боюсь, что вы ничего не понимаете в шампанском. Его блеск и пышная пена пролиты в старом мире. Я думаю, что вы пробовали его лишь несколько раз, случайно, среди лохматых друзей, и пили льдистый ток жидкости из чайных стаканов, закусывая колбасой из распределителя. Вы, конечно, не придавали никакого значения этому делу, а в последние годы и вовсе забыли о тонком искусстве вина.

Но прекрасная родина сине-туманного сорта пино — горы Абрау подносят высокий бокал шампанского своей суровой стране. Отпейте глоток. Разве вы не достойны этого созвездия виноградных холмов? Восемь сортов, восемь легенд вошли в музыку вкуса и запаха. Четыре сорта пино — пино-фран, пино-гри, пино-шардоне, пино-блан: темно-синий, блестящий лаком черного дерева; серый; пепельно-розовый, благоухающий, как воспоминание о живости Франции; белый, как горный, светящий зеленью лед. Трамминер — пятый по счету, висящий под самой густой тенью кустов, весь голубой, — он свисает тесной семьей прижавшихся друг к другу поросят у нежных сосцов дремлющей

матери. Мелкий, рассыпанный круглыми дымными шариками савиньон, хрустящий на языке мускатным упругим дыханием. Алиготэ и рислинг — как дань восклицаниям влаги, зеленым потокам и касаниям осеннего ветра. Их восемь братьев, соединенных в вине. Восемь веселых и вкусных слов. Восемь национальностей, восемь республик, восемь делегатов на осеннем съезде каменных гор, восемь решающих голосов на январском совете купажа с дегустацией. Они нераздельны и дополняют друг друга. Тираж разделяет их на бутылки, в каждой вскипает своя биография; ликер и благородные дрожжи творят игристую жизнь. Три года им ждать, опрокинувшись набок, преданных рук ремюора.

Тоннели окружают их шепотом гулко-го мрака.

Мелькают весны и зимы...

В бутылке шампанского смысла не меньше, чем в картине Сезанна, и даже Гораций советовал очищать вечно живое вино.

## 26

Подвалы шампанского запираются в пять часов вечера. В три часа воздух над горами и озерами начинает озираться по сторонам, свежают краски, стихает жар, и вот уже приходят туманные тени и глубины, покрытые дымкой.

Но день еще крепок. Я слышу бессвязный лепет воды у фонтана, сквозь хвойные ветки ласкается солнце, обезьяньи гримасы, застывшие в бронзе, кажутся мертвым оскалом. Четверть четвертого. Почему ее нет до сих пор? И неужели действительно меня это тревожит всерьез? Буду считать до двухсот: раз, два, три, четыре, пять... Я считаю все дальше и дальше, цифры идут и идут... Какой смертельный, фатальный ужас есть в чувстве пред женщиной!.. Сто девяносто восемь, сто девять-нос-то девять... Осталась секунда еще... «Двести!» — шепчу я с последней решимостью и слышу шаги за оградой, легкий скрип песка и камней, этот темный язык, не имеющий иероглифов. Секунда, шаги, вечернее слышное сердце...

Какой вздор, какая наивная глупость! Широкая спина Василия Васильевича Агапова поднимается по ступеням шампанского здания. Кудлатая черная голова его с плотной, упитанной шеей поражает прямолинейностью жизненной силы. Его шея вызывает во мне тысячу ощущений. Психологизмы? Я недавно прочел, что это признак

мелкобуржуазной природы. Ах, признаков этих так много! Статьи литературных критиков стали напоминать медицинские книги. Овидий смеется и говорит, что наши интеллигенты, принимающие курсы лечения классовой природы; походят на больных, жадно листающих ученые словари, переполненные возможными ужасами. Бедных кидает в пот при виде страшных рисунков, они находят в себе признаки всех болезней и обмирают при виде невинного прыщика. У кабинетов редакторов люди сидят, как в передней «по венерическим»... В повестях и рассказах таятся спирохеты старого мира. Боже, что если редактор вновь покажет кресты реакции Вассермана! «Редактор должен сидеть в белом халате, — смеется Овидий. — Дайте ему пару гуттаперчевых перчаток, повесьте у входа в переднюю плакат с воспаленно-янтарными язвами, с рисунками сыпей, украсьте его достойной надписью: «Мелкобуржуазная природа не позор, а несчастье». Бедные, бедные! Они смотрят с последней надеждой в глаза докторов, ходят за ними покорными толпами, а дома перелистывают спрятанные наглухо книги, худея и облезая день ото дня...»

Овидий поклоняется хирургии. «Погибшие ткани — долой! Но и долой докторов в передниках литературщины! На солнце и ветер, все те, кто еще не стал маньяком! Довольно разглядывать случайные прыщики, крепко прикрывшись на ключ». Быть может, он прав... Но все же она не идет. Она не идет. Минуты ползут, а в сердце есть ложь уверения, что так хорошо, что лучше всего именно так, прекрасно, что она не прищла. Прекрасно и потому, что есть у Скупого рыцаря радость приобретения, бескорыстный восторг художника, перебирающего собственную скорбь, как струю тяжелых и скользких монет. Прекрасно! Я не собираюсь вступать в фаталистический круг старой любви, где мечтательные тридцатилетние люди воображали себя планетами, изобретали женское солнце и начинали вращаться по крошечной орбите, восторгаясь космическим гулом. Ничего подобного! Раз, два, три, четыре... Нужно досчитать только до ста, и тогда все устроится, все будет хорошо... В сущности говоря, вопрос о психологизме разрешается очень просто. «Познай самого себя», — как стара и неверна эта традиционная мудрость! И как ее любят люди, воображающие себя планетами! Дело не в том, что в вас взойшло или опустилось солнце, мой дорогой друг. И сложность жизни вовсе не в личности и не в исканиях героев. Герой исчезает. Героем становится

все то, что производит героев. Проста и несложна личность: лучшая жизнь займет не более двадцати строк. Это чудесно. О себе я мог бы наскрести не более трех-четырёх фраз. Так просто, так ясно... Великолепно! Нет солнца в себе. Но то, чьим отраженным светом пылает скромная, бедная личность, все то, что создает в нас мысли, поступки и чувства, — вот поэма познания, вот очень простая истина, Неунывающий Друг. Но здесь сложности больше, чем в малых птичьих напевах личности со сбившимся галстуком. Здесь нужно учиться не у врачей, а у жизни. Так... Я продолжаю. Вошь — герой не менее Фауста. Придачин без биографии — больше Наполеона. Светлана Алексеевна...

Здесь я буду считать до двухсот. Я просчитаю, быть может, до тысячи. Но я не хочу утверждать, как доктор в литературном халате, я ничего не скажу о девушке. Я буду считать. Мне приятно считать: сто пятьдесят четыре, сто пятьдесят пять, сто пятьдесят шесть...

— Здравствуйте.

Я обернулся мгновенно, — сто пятьдесят семь... Смятенный обвал мыслей, неожиданность, испуг, какие-то случайные обрывки сознания, удаляющиеся, как фонарики поезда, и оставляющие одинокую пустоту рельс...

— Простите меня ради бога, — сказала она быстро, кладя руки на мои плечи, — я заставила вас ждать.

Она улыбалась ласково, в губах ее розовая, чуть припухлая откровенность по-детски приоткрывала прохладные влажные зубы. Этот незнакомый белый берет, чуть набекрень, янтарь на шею, падающий к груди теплыми виноградинами, эти кольца волос, как юношество, загнутые вокруг головы ореховым чистым сиянием. Я не люблю янтара, он кажется мне слишком зрелым, полным пресыщенности. Но грозди его дышат на ее белой коже, как сны в колыбели.

— Нет, нет... — бормотал я. — Собственно, я не ждал. Сейчас половина четвертого... Разве это много? Половина четвертого — это такие пустяки!

Девушка перебирала янтарь. Земная кровь ее разгоревшихся щек розовела правдивостью девочки. Она всегда казалась мне освещенной. Сегодня она сквозилась откровенностью дня. Этот свет — словно весенний родительский дом.

Мы сидели на лавке. Невероятные мысли и чувства кружили мне голову. Я видел ее мгновенно во всем, — жизнь, жизнь, где человек порою ничтожнее крысы, жизнь

повседневности, тысячи поз, жизнь такого же, как и я, обыкновенного тела, ее жизнь,— все кинулось в сердце, опахнуло дыханьем, и везде, всегда она чудилась прелестной, надышавшейся жизнью. Боже мой! Неужели я влип... Я повторил про себя с наслаждением это бессмысленно-грубое слово. Неужели...

Мы сидели на лавке. Она говорила со мной откровенно. Подвижной голос ее не имел названия: голос ее пел выраженьем лица, плечами, грудью, приподнятой теплотой коленок в розоватых, блестяще натянутых отсветах чулок...

— Светлана Алексеевна,— хотелось сказать мне,— когда человек живет чисто, весело и правдиво, тело его думает, чувствует и улыбается так же, как и лицо. Даже вещи приспособляются к его жизни. Есть умные башмаки, есть глупые. Туфли на вашей ноге смотрят не хуже ваших внимательных глаз...

— Нравится ли вам мое имя? — спросила она вдруг, прижимая янтарь к губам. Она сидела — нога на ногу, подперев голову левой рукой и наклонившись ко мне белой шапочкой.

— Нравится. Очень. Хотя оно звучит немного изысканно.

— Правда?! Я всегда говорила это своему братцу.— Она оживилась совсем по-взрослому, по-женски.— Я не выношу ничего сделанного и неестественного. Но это фантазия отца... Из нас всегда хотят сделать нарядную обстановку. Это — ужасное свинство. Я никогда не вышла бы замуж за художника. Нам запрещено хворать, иметь дурной цвет лица, нам нельзя иметь больше тридцати лет... Для женщины — несчастье родиться дурнушкой. Ужасно несправедливо.

— Да, да,— отвечал я,— вы правы... Но эпоха преобразует жизнь. Женщина встает, как рожденная заново из вод сотворения... Вы глубоко правы,— повторил я,— я много думал об этом. И — поколение не ищет в женщине дурмана черствой и эгоистичной красоты. Красота лгала много веков, она исказила все человеческое. Здесь у нас большие счеты.

Я говорил много, и девушка слушала меня и ласково улыбалась. Я ликовал. Тайна возникала в нашем союзе. Я верил в него уже бесповоротно. Она ищет меня,— недаром я столько лет собирал свои чувства! Я говорил о друзьях, упомянул о Директоре. Поджигатель! Как ей нравится

наш Заратустра воинствующего радикализма? Она засмеялась при этом имени, лукаво закрывая глаза. У них завязалась большая дружба, но в этом, я уверен, нет ничего, кроме дружеских разговоров. Я не сказал ни слова о черной кошке, пробежавшей между нами. Последние дни показали, что я был прав: человеческие суждения друг о друге — это постоянная игра светотени... Я ничего не сказал нашему Учителю в свое оправдание. Проклятые портянки замешались к нам неведомо как. Вернее всего, здесь пахнет шутками практикантов, среди них есть девушки со стриженными арбузными головами. Наверное, это они. Об Овидии я говорил много: я полюбил его за женскую, страстную искренность. Как он сумел сохранить все это, пережив долгие годы литературных скитаний?..

— Вы его совершенно не знаете, — убеждал я девушку. — Я думаю, что он скорее всех нас пройдет реконструкцию...

Не спорю, я увлекался, но я привык говорить о друзьях только самое лучшее. Надо брать центральное в человеке. Личность — семья многогранных кристаллов. Зачем я буду выбирать мелкие? Лучше всего смотреть на основную вершину. Я уверен, что девушка не понимает Лирика, она слишком холодна с ним и слишком иронична. И сейчас, при моих словах, она сделалась серьезной и сухо смотрела в сторону.

— Вы говорите, он очень искренен? — вдруг быстро переспросила она и внимательно взглянула мне прямо в глаза. — Я не думаю этого. Вы... — Она на мгновение задержалась. — Напрасно вы думаете, что я его мало знаю. — Она подчеркнула последние слова. — Я хочу спросить вас о некоторых вещах... вернее, попросить совета. Глупо думать, что личная жизнь принадлежит только себе. Вот я и решила... Зачем в конце концов прятаться от людей, которых ценишь? Тем более у вас больше знания жизни. Хотя, мне кажется, нужно жить гораздо проще, чем вы... Вы мне все скажете? Да?

— Да, да, конечно, — говорил я. — Все, что хотите. Хоть сейчас.

— Нет, нет, только не сейчас... Сейчас вы мне покажете то, что обещали.

В самом деле, тоннели шампанского... Взгляд на часы — четверть пятого: мы успеем посмотреть на процесс ремюажа.

Мы вышли из садика. Странное чувство заставило ме-

ня обернуться при выходе: мне захотелось взглянуть на обезьяну.

— Одну секунду,— сказал я.— Дайте вашу руку... Мне хочется, чтобы наш разговор остался навсегда в памяти. Я знаю, что воспоминания всегда связаны с мелочами.

Ее длинная сухая ручка сияла трешетным ласковым жаром. Мы подошли к фонтану. Вода радужно развеивалась мельчайшей пылью. Обезьяна сидела на бутылке в бронзовых корчах. Ее острая мордочка гримасничала мертвым оскалом легучей потревоженной мыши.

— Вот,— сказал я, с трудом подыскивая слова,— я хотел бы, чтобы никакой случай не украл вас из моей жизни. Я хотел бы сказать вам, Светлана Алексеевна...

— Нет, нет, ради бога! — умоляюще проговорила она, и я почувствовал мучительную неловкость.— Не говорите мне сейчас ничего. Милый, не сердитесь, я вас очень прошу!

Пауза. Она смотрела на меня дружелюбно, тепло, готовая поддержать при всяком затруднении.

— Я не верю ни в какие случаи,— сказала она твердо.— И зачем создавать фетиши из вещей, хотя бы и для воспоминаний? Нас, женщин, напрасно обвиняют в этих грехах. У меня нет ни одной дорогой для меня вещи. Я не люблю антикваров, библиофилов. Они просто сумасшедшие. И я не хочу запоминать этой противной обезьяны. Пожалуйста, не думайте ни о каких случаях. Пойдемте!

Мы вошли под своды шампанского производства. Серый гугтаперчевый мрак охватил нас сразу, в нем тускло свисала желтая усталость одиноких электрических лампочек. За стеклянными рамами полутемной конторки райским минеральным светом благоухал зеленый фарфоровый абажур. День, оставшийся сзади, светился на камнях двора горячим экраном кинематографа, с фильмом, снятым в Каире. В конторке, на острове желтого света, трудолюбиво клонился над книгами старик Доброштанов, очки его висели на кончике клюва. Он сидел, как старый пират у кормы с фонарем в обручах, над которым кружатся мертвые головы бабочек.

В боковом коридоре остро и свежо дули дождевые винные запахи. В тоннелях, уходивших в недра горы, на вершине которой грелся в лучах нашей коммуны, созревало вино в мелких шампанских бочках. Верхний этаж подвала принимал в себя соки прессов, стекавших сверху. Там, наверху, виноградные кисти прощались с ласковым

солнцем и светом, их розовый сок навсегда опускался во тьму. Ниже вино расставалось с бочками, чтобы найти игристую жизнь. Туда, в сырую вечную ночь, после весеннего празднества купажа и разливки, тысячи темных тяжелых бутылок погружались мягким паденьем подъемной машины.

Белая шапочка девушки теплела во тьме. Мы миновали мрак коридора, узкая лестница столкнула нас вместе. Поворот ее головы, глаза, светящие в темноте ласковым блеском, с круглыми бликами бездонных зрачков, казались тайной сообщницы, волнением детской игры.

— Ну? — говорила она, оглядываясь, голосом шепота. — Ну?

— Прямо, прямо, — бормотало сознание. — Не упадите!

Но голос другой, голос из первых проблесков жизни, — память материнской груди, взгляды сестры, сотни женских мгновений, шорох листьев какой-то весны, и Сашенька с быстрыми ножками в тугих махровых резинках, как первые слезы и жар, как стыд и первая тайна, — голос первых диких кочевий запевал песню вечного спутника...

— Ну? — обернулась она. На меня посмотрела девочка: она поднимала букетик темных фиалок с дубовых листьев, рассыпанных двадцать один год назад, щеки ее пунцовели, и белая полная полоска с резинкой хлестала, как ветка орешника. — Ну? — повторила она и погладила мою щеку. — Что с вами? Куда дальше идти? Здесь так темно и сыро...

— Прямо, прямо, — сказал я; в сознании моем проснулись подвалы шампанского.

Тусклый цементный покой безлюдно серел глухим коридором. Ненасытные желтые лампочки вращали всяческие пятна огней. У выхода лестницы два учебных пишутра бездельно блестя черным стеклом. Учеников, двух молодых ремюоров, не было. «Странно! — подумал я машинально. — Они обычно работают здесь в это время... Но где же стучит Везарко?» В глазах у меня расплывалась, как пахучий цветок, белая шапочка.

Железные двери тоннелей с кузнечными кулаками запоров были полуоткрыты. Вдоль стен коридора горы бутылок с меловыми значками дышали потным, заиндевшим холодом.

— Эти бутылки готовы, — сказал я, показывая вдоль стены; голос мой звучал глухо. — Они прошли дегертаж.

Вино очищено от осадка — и получило ликер, в зависимости от сорта: полусухое, сухое, совсем сухое, брют... Вы знаете разницу?

— Нет! — засмеялась она и взяла меня под руку. — Я ничего не понимаю в вине.

— В полусухое добавляют вкусовой сладкий ликер. В сухом его меньше. Брют — это чистое вино. От него никогда не болит голова. Восемьдесят, сорок и двадцать кубиков ликера. Вот пропорция — и весь секрет. Женщины больше всего любят сладкое — полусухое. Здесь оно лежит два месяца. Ликер должен совершенно усвоиться вином. Это — образ счастливого брака.

Она крепко сжала мой локоть. Круги лампочек завертелись пушистыми кольцами. Мы слушали тишину. Шепталась вода, — на земле наверху ликовала огромная жизнь, без конца и без края, — кругом сырой мрак скрадывал звуки. Тук-тук-тук... — изредка долетало сквозь стены. Тук-тук-тук... — в тоннелях, глубоко под сердцем зеленой горы, заросшей деревьями, травой и цветами, стучали бутылки.

Голос мой вырвался хрипло:

— Пойдемте. Это — Везарко. Он в крайнем тоннеле. Слышите?

Из неизвестности едва доносило шорохи.

— Нет... — Она ответила шепотом. — Я слышу, как стучит ваше сердце...

Я слушал.

— Он где-то близко... Стойте, он рядом. Слышите?

Тук-тук-тук... — неуловимо перебегали вспышки отдавленных ударов. Вся моя жизнь качалась между случайными звуками и теплым блаженным плечом.

— Мне холодно, — просто сказала она. — Мне кажется, он стучит вой за теми дверями.

Железные створки второго тоннеля были прикрыты наглухо. Когда мы распахнули их и вошли, нас поглотил холод вечной арктической ночи. Лампочки удалялись огнями глухой провинциальной улицы, их свет не рассеивал тьмы, тесно заставленной люпитрами, походившими на двусторонние наборные кассы. Девушка не ошиблась. Везарко стучал в тушике тоннеля. Он работал один, как всегда, — мощный добряк в пушистых усах над благодушным щёк и мягкой гладью подбородка с двойными пухлыми складками. Он откликнулся весело — долготетней работой, выпуклой ясностью глаз, огромный на своих деревянных колодках, в царственном фартуке, с лицом гастронома

и руками горнорабочего в державно-спокойных мозолях. «А! — вскидывал он после каждой фразы полувопрос-полувосклицание. — А?» — округляя лукаво глаза чистой икры и комично шевеля белокурыми прусаками усов.

Красный огонек коптилки, подвешенной на жестянке к пюпитру, жалил чад приглушенного мрака. Ремюор стоял у пюпитра недвижной мощью серого фартука и разговаривал, не глядя вниз, где шестьдесят бутылочных донышек с белыми отметками — все в одинаковом положении — ждали его рук. Руки хватали их попарно, через одну. Бутылки приподнимались из гнезд, неуловимо быстро вибрировали в воздухе, постукивая горлами о дерево, переворачивались парами на одну восьмую окружности и опять до следующего дня застывали в ночи погашенных тоннелей. Ремюор показал девушке бутылку на свет. Мутный липкий осадок хвостатой тенью лежал на стекле: он сполз только наполовину. Везарко давал круглое сотрясение. Чем дальше, тем сотрясение должно было становиться нежнее и нежнее, вибрация неуловимее. Это — встряска на месте, когда хвост заходит уже за плечи бутылки, здесь нужна величайшая осторожность и точность в определении процедуры. Один промах — и муть может подняться вверх, замутить вино, работу придется начинать сначала на долгие месяцы. Девушка взяла бутылку, наклонила — и в тот же момент воздух, стоявший у дна, стрельнул к узкому горлу, буран серых хлопьев закружился в стекле...

— Ах! — испугалась она. — Что я наделала! — Она держала бутылку пробкою вверх, полная извиненья. — Простите, ради бога простите! — Она совсем растерялась, не зная, куда повернуть круглое холодное стекло. — Возьмите ее, пожалуйста, — сконфуженно протягивала она бутылку, боясь пошевелить ее живые, ходячие недра.

Ремюор продолжал работу. Его руки клещами хватали бутылки, кисти дрожали, как струны на неподвижности грифа, молоточки стеклянных ударов, отсчитав секунды вибрации, замыкались стуком гнезда.

— Ничего, ничего... — сказал ремюор, цепко перехватывая парные глянды стекла. — Поставьте ее, она не годится.

Ту-ту-ту-тук... — стучало стекло. Он перескакивал руками по рядам пюпитра, точно пианист по клавишам.

— А?! — говорил он водянистым выкатом глаз. — Это работа. Французы не показывали ничего. Сам винодел го-

борил: «Русский должен возить только тачку»... А? Рука должна не шевелиться, все дело в развитии пальцев...

Бутылки, выхваченные из гнезд, вертелись и дрожали в воздухе. Ту-ту-тук... — вздрагивало и стучало стекло. Это было искусство виртуозной скрипичной игры.

Ремюор прошел весь пюпитр, вытер руки о фартук, поправил копилку. Непроницаемая тишина охватила нас могильным холодом. Звуки исчезли. Казалось, тихонько шипели электрические каналы лампочек да звонко прорезывал плотный цементный мрак одинокий плеск льющейся где-то воды. Мир иссякал в этих призрачных подземных наречьях.

— Как у вас тут жутко! — вырвалось у нее. — И как холодно!

Он стоял перед нами, раздвигая широкие усы светлоглазой улыбкой, полный и плодородный своим искусством, похожий на вечного холостяка, понимающего вкус в жизни; ему не хватало трости с монограммами друзей, мягкой шляпы и доходов рантье, чтобы прогуливаться по Большим бульварам и помахивать перчаткой знакомым... Он встал за следующий пюпитр, руки его запрыгали по бутылкам. Стеклянные стуки вновь побежали по тоннелю...

Почему она крепко сжала мой локоть, когда я сказал о ликере? Мы шли обратно, тесно прижавшись друг к другу, ее белая шапочка светлела драгоценным теплом, вправленным в мрак сурового холода. Тяжелые двери закрывались сами. Едва доносило стук, оставленный среди бесконечных пюпитров. Здесь затеплело. Изредка глухой шум человеческой жизни доносился сверху, — тишину словно из таза окатывало плеском дребезжащего гула... Мне стало жаль прошедших минут. Еще полсотни шагов, винтовые круги лестницы — и ее плечо покинет мое, солнечный свет рассеет подземную близость. Я не знаю, что заставило ее согласиться, но она не противилась, когда я открыл крайние массивные двери. Ничто не ответило нашим шагам. Ровные стены уложенных до самого верха бутылок, линия мутных огней, цементный, тускло блистающий потолок, лужи воды под ногами... Мрак нависал бредом иступленного одиночества, он глядел таежным оком самоубийцы, который натывается везде на отраженья самого себя.

Угрюмый тоннель, схваченный желтыми лампочками, тащил в провал, в старые детские сны и полеты; возникла спираль, ужасающая труба, с нетерпимой сухостью блеска звезды; туда беспощадно влекла какая-то невероятная,

прожорливая сила... Капало сверху. Хотелось закрыть глаза и стоять, разговаривая с безмолвьем сухой, чуть припухлой за пальцами, женской руки.

Мы были глубоко под землей, в самом центре горы, одни среди залежей шампанских бутылок. Глаза ее показались мне бездонными, волны тепла расходились от ее вдумчиво-спокойного тела, мне казалось — от пальцев ее кружится розоватый пахучий туман. Огромный сияющий маятник качался над вечерней землей. Мы стояли, закрыв глаза, чуть покачиваясь в ритм тишине, в ритм секундам, пролетавшим неслышно, незримо, мы летели за ветром минут... Где-то далеко среди трав и вечерней воды мы шли по дороге — неразлучные спутники.

Тишина.

— Боже мой! Что это? — вскрикнула с ужасом девушка, вдруг резко толкая мое плечо и отстраняясь рукой. — Нас потушили! Нас потушили! Слышите?

Я открыл глаза. Оглушительная тьма трезвонила в черные колокола. Все поглотила мгновенная пауза. Догадка вспыхнула в моем сознании, погасла.. Не может быть!

— Я сейчас отыщу спички, — бормотал я, обыскивая карманы. — Это, наверно, Везарко...

Спичек не было. Я вспомнил, что не курил три часа.

— Ну, — прошептала нетерпеливо девушка, — нашли? Пойдемте скорее, я совсем околела.

— Держитесь за меня... Спичек нет. Придется идти ощупью. Осторожнее! Давайте руку.

Она держалась за мои пальцы крепким пожатием. Дикая холодная ночь стояла перед нами. Темнота, перед которой побледнела бы китайская тушь, утратила все. Ничего не существовало. Исчезла и тьма. В глазах еще мерцали фосфорические виденья запечатленного, сфотографированного, светлого бытия.

— Пойдемте, пойдемте! — толкала меня девушка.

Мы брели, касаясь бутылок. Тоннель показался мне бесконечным. Я шел по зренью руки, оцупывая темноту, под ногами изредка всплескивались лужи воды. Теплая нежная ручка уводила меня в сияющий мир...

Я брел не в черном тоннеле, глубоко под землей, я брел, как вечный кочевник по старинной дороге; молодые орлы играли в лазурном пламени, стоящем наверху, дул ветер, как свободная горькая воля, и молодо пахли весенние травы.

Мы шли. Табуретка попала мне под ноги. Темнота

не кончалась. Я ткнулся рукой в пустоту: штабелей не было. Неужели мы опоздали? Железная дверь беспощадно откинула руку, я навалился плечом,— она, слабо подавшись, громыхнула засовом. Огромная грозная тьма кинулась на меня отовсюду, горы шампанских бутылок, щемящий, пропитанный сыростью холод, бесконечная ночь...

— Ве-зар-ко!.. — закричал я изо всех сил.— Ве-зар-ко!..

Тишина тотчас же жадно хлынула в пустые воронки звуков. Тихо и тоскливо журчала где-то вода. Потом звонкая капля сорвалась в лужу неожиданным восклицанием...

27

Опять ночь.

Я шепчу... Ноги мои давно перестали чувствовать холод. Слышите, вода медленно стучится в темные лужи. Кудри ваши дышат на мои щеки, вы просыпаетесь... Что вы, что вы! Здесь нет моего друга Овидия, он спит наверху, как раз над нами, или, быть может, он бродит по виноградникам с китайцем Жан-Суа. Это я ощущаю тепло вашей кофточки, это мою руку прижимаете вы и кладете под грудь.

Здоровый волнистый шар, любимая маленькая планета!

Я сплю. Я шепчу. Ветер невиданной искренности дует из новых веков. Я лечу среди холода, мрака. Я совсем невесом от бессонницы. Мы вечно летим среди вечных снегов.

Ночь без конца!

Дикая ночь.

Светлая девочка мира!

Беспощадная ночь.

28

Она вздрогнула, потянулась... Мгновенно весь сон оторвался от моего плеча: она приподняла голову. Я приоткрыл глаза: кругом стоял сырой озноб темноты.

— Вы не спите? — спросила она шепотом.— Боже мой, мне так неловко, но я больше не могу... Я больше не могу! Понимаете!

Она быстро отняла руки от моей шеи. Красные вспышки еще мигали в глазах. Ее голос казался сухим, испепеляющим жаром.

— Что? «Я извиняюсь за свои руки»... Не то, не то!.. Ах, какой вы чудак!

Она рассмеялась. Я видел темным непонятым зрением, как она поправила шапочку, как ярче блестят в темноте ее расширенные глаза.

— Ну,— вдруг громко спросила она.— Поняли? — и стала резко и настойчиво тормошить мне волосы, приговаривая: — Не могу! Не могу! Не могу!

Пролетали обрывки сознания, мгновенья, вспышки. Она наклонилась к моему уху и прошептала одну фразу... Несколько слов, ее голос, теплые сухие волосы, все ее женское существо, милое оправдание жизни, чувство возвышающей близости,— мне вспомнилась Сашенька, десятилетие жизни. Сашенька с ее махровыми резинками над обтянутыми чулками, какой-то необыкновенный день среди светлых деревьев и балка, дующая прохладным ветром с фиалок.

— Разве я виновата, что все так устроено? — прошептала она.

Какая глупость! Подводная бездна пошлости из дурацкой эстетики. В секунду я пережил этот тесный аквариум, я с бешенством выгребал руками, поднимаясь к поверхности, еще, еще один взмах...

— Я боюсь одна! Здесь так темно... — шептала она.

— Пустяки! Я провожу вас! Помните: я ничего не вижу. Я ровным счетом ничего не вижу.

Я взял ее руки. Мы брели в смоляной мрак. Да, да, виноград... Мы почти столетие пробыли в этой тюрьме. Я счастливее ее... Черный туман, шорох ее платья... Я держал ее за руку. Мы возвратились обратно, я еле нашел табурет. Эта женская растерянность, тревога, похолодевшие щеки...

— Милая, милая! — шептал я. — Я хочу рассказать вам историю о глупости старого мира. У каждого из нас есть на памяти подобные случаи. Нужно только припомнить и иметь хоть немного смелости. Для этого нужно просидеть одну ночь вместе с милой неиспорченной девушкой в тоннеле шампанского производства! Нет! Нет! Для этого нужно пережить хаос второго сотворения — бездну тифозных ночей, набитые людьми скотские вагоны в степных заносах, фронтовые кочевья и госпитали, смертные дни наступлений, поезда, поезда... Человек там бывал ниже крысы и прекраснее античных богов. Человек заново вышел голым на землю. Легенда о райском изгнании — ничтожна перед новыми Адамом и Евой. Что значит запрет-

ное яблоко и первый библейский стыд? Они вышли, прикрывшись листьями фиги. Ха-ха! Их нагота смешна перед наготой мировой правды, открытой в двадцатом столетии. Люди с винтовками содрали все занавески с истории, они увидели нечто, перед чем застывали глаза. История оказалась обвешенной кровавыми потрохами. Она налилась до гучности... Природу надо погонять хлыстом. Мы — слова на ее устах? Что же, мы вырвались ужасающим воплем: «Скорее, скорее! Мы не хотим больше умирать в царстве дурацкого рая». «Загоним клячу истории» — это сказано превосходно. Биология сидит верхом на человечестве, — пора перемениться местами. «Сударыня! Хороший кнут изменит соотношения. Извольте слезать!» К черту философов с исканием сущего! Я бы сводил их в казарму, где спит Илья Павлович Придачин. Представьте себе, он спит на отдельной койке, у него матрац, набитый соломой. Соломенный матрац! Это — философский камень. Уверю вас, что это именно так. Я говорю не пустые слова, я сам видел его собственными глазами. Я видел стариков, тридцать лет проскрипевших на голых нарах. Тридцать лет! Они вышли из общей казармы грозной толпой. Там жило сорок семейств. Они щелкали зубами, как волки. Это стояло сборище мировой совести, ни больше ни меньше. Им осталось немного: несколько лет перед могилой на горном кладбище. Если бы видели, как грозились они земному шару, потрясая костями беспомощных рук! Они не хотят останки: пять шестых мира — в огонь, если они всю жизнь не имели норы! Тридцать лет, проведенных в зловонном чаду, без своей кровати. Тридцать весен в клопах и в ничтожных дрызгах... Они все, как один, за высшую меру наказания для виновников. Отвечают все, кто мог спокойно любоваться природой, читать хорошие книги и посвящать стихи беспокойным девушкам. К ответу! К ответу! Расстрелять Шопенгауэра! Никаких промедлений! Пусть рухнет мир, если существует порядок, что за право на отдельную койку шестая часть света платит Гималаями трунов, полями могил... Они получили койку и матрац, набитый соломой. Для этого пришлось повернуть весь шар, залить тысячи километров кровью. История движется чересчур медленно. Старики, кашляя, потрясали кулаками и грозились в пространство. Они хотят увидеть перед смертью свободные светлые здания для своих детей и внуков. Они их увидят... Но что говорить о стыде? Я расскажу вам любовную драму. Да, да, это имеет отношение к ви-

нограду... Мы все отлично знаем, что он — мочегонное средство. Нам нечего прятаться от таких простейших вещей. Адам давно уже позабыл о листе с божественной фигой. И это — не шутка. Это не пустяки. Пускай Европа хохочет над койкой Придачина: матрац из соломы потряс все дворцы. Адамов лист не меньше его по назначению... Такой разговор возможен только в нашей стране. Но это смешно и потешно: Адам еще был прежним Адамом в этой истории. Сейчас ему далеко за тридцать. Он лыс, как старый потрепанный кондор. Голова его катится в жизни полированным блеском под ударами пролетарского кня. Интеллигент, журналист, сифилитик. Он получил все подарки от старого прекрасного мира.

В городе, где он жил, каланча умирала от скуки над идеальной сиренью. Обрыв тосковал над рекой, в бузине, распускаясь, возилась весна, под томиком Чирикова холодели скамейки. За стенами домиков с шестами скворешников жили-были старики, гимназисты и девушки. Дочь председателя земской управы носила длинное коричневое платье с кружевным передником. Две полных спелых косы ее тяжелели у белой вымытой шейки. От кафельных печек, романов Тургенева и синих фуражек она, в заволочке наспанных щек, теплела, как испуганно-розовый всполох.

Расклеились почки.

Земец говорил о статистике. Воробьи купались у земской управы. Представьте медлительность с книжкой в руке, осанку осьмнадцати лет, волоокую синь под ресницами, звон в облаках, тучи галок, зеленый пух в зябкой четкости парка, студента под ручку в золоте пуговиц, с малороссийским узором на вороте... «Первое счастье, любовь, юность Тарханова!» Весна и даль, оплывающая в глазах, как свеча с натеками стеарина. Адам имел еще шевелюру. Приятный басок. Они гуляли над светлой рекой. Тучи-соброры медленно плыли над городом...

Война. Быстрота юности.

Осталось там, на перроне, «прощайте», быстрое «ты» в намокшем батисте платочка, бородатый земец и статистика, махавшие чесучовой панамой, глупое «ура» какого-то отставного генерала в кожаных калошах, ремни и шинели, вагонные парки и городской мост, загубленный сырým паровозным дымом. Потом сразу все оборвалось и погрузилось в поля с талыми, черными пашнями, с грачами и низкой обветренной далью, уходящей в небесный сквозняк. Россия... Окна в грязных подтеках снегов, проверка биле-

тов, хлопанье двери, — и все уже сносит вагонным гулом, и грустно до слез смотреть на березу, навзрыд заглядевшуюся в холодную лужу весны... Российская чушь, губернский идеализм! Пробегают поля, сереют леса, наплывают станции с кипятком, пахнущим баней, черные крыши, — и все дальше и дальше, туда, к окопам, к западным чаклым равнинам, где серьезные русские прапорщики притворяются героями, лихо позванивают шпорами, носят погоны, а втихомолку хранят на груди фотографии из уездных отечеств. Они вспоминают их, как свежесть персидской сирени: в большой белой шляпе мод того времени, с полупущенным взглядом и чистым профилем над прикрытой наглухо, грустной и гордой шеей... Занимались нелепые слезы, лезла окопная мразь, польские станции, поля в изорванной проволоке и немецкие «Таубе», жужжащие в небе, как ласточки в детстве.

Так и чадил целый год: туманами, шинельными тучами, грязью и вшами, мелким дождем и промозглым снегом — от апреля до июня, до осени, до зимних загаженных месяцев и вновь до окопной весны...

Он вернулся неожиданно. Стоял шестнадцатый год. Леса набухали от таяния, но оврагам пробилась желтая мать-мачеха, над городом спешили тяжкие, невеселые, тучи. Сырые, истоптанные дождями поля, бараки у станций, обнищавший город под стаями галок... Все было, как прежде, но немного не так. Дочь председателя земской управы лежала в больнице. Адам с золотыми погонами, одуревший от грязи, тоски и полесских туманов, увидел все снова: улицы, красный кирпич тротуаров с первой травой, окна со стеклянными синими ручками, воробьев, статистику, обрыв над рекой, охрипший от крика грачей. В низком здании с обсохшим скучным забором и черными елками настороже (принадлежность кладбищ, купеческих особняков и больниц) он встретил свой затаенный окопный бред. Половики на клейких желтых полах, белые тени у подоконников, — он пронес коридором все письма, всю жизнь, отечество, военную сырость и мрак, все прошлые весны, — сердце его задышалось от обреченности перед ужасом невероятного счастья. «Можно, можно! — сказал ему, улыбаясь, врач. — Мы, слава богу, чувствуем себя отлично. Палата двенадцать. Можете идти смело — она одна. Ничего не поделаешь: героям все разрешается...» Он спросил о войне, но подпоручик не слышал. Сухая жара кинулась ему в лицо. «Таубе» нависал непреклонным жужжаньем над

самым сердцем, черный орден на крыльях запечатлелся елкой за окнами. Он кинулся вперед мимо дверей, сестра в белом халате — навстречу — показалась ему лазурным виденьем. Женское, чистейшее, взлелеянное долгим страданьем, клонилось к нему отовсюду белоснежными стенами. Окопы подступали к горлу рыданьем. Он распахнул дверь стремительно. Обмирающий холод, тоска, блаженство распахнулись перед ним...

Черный столб дыма, разрастаясь нелепым грохотом, вырос на ровном поле. «Таубе» висел неподвижно в небе, серебрясь неуловимой надеждой. Взрыв! Он поражен в грудь, безумный грубый толчок сбивает его с ног... Не может быть! Он жив, он жив, — ничего не случилось. Он просто смотрит в чистое небо, это — детство, это парит одинокая ласточка... Ничего не случилось... Ему хочется крикнуть, еще не поверить, притвориться мальчиком, где-то далеко в Средней России. Не может быть! Он жив, молод, здоров, письма от нее лежат в боковом кармане...

Потрясающий соборный колокол глухо ударил вместо сердца. Бам, бам, бам!.. — беспощадно несло над всем миром.

Кончено.

Она безобразно сидела на судне. Коса ее, перекинутая через плечо, спускалась к раскрытым коленям. Ужасный совиный взгляд ее с сумасшедшей тупостью раскрывался беспощадностью раны...

Не может быть, не может быть, ничего не случилось! Подпоручик сидел на обрыве, рвал какие-то письма, бродил вдоль реки — до огней, до продрогшего синевато-опухшего сумрака. Его знобило. Шестнадцатый год стоял на полях, лихорадило даль, кричали грачи, сырое, российское напоздало на небо, с вокзала гулко долетали щемящие душу паровозные гудки.

Утром, с первым почтовым, он уехал на фронт, получил Георгия, сифилис, навсегда потерял отечество, мир, город с больницей в черных сторожких елках, письма в продолговатых конвертах, волосы семинарской густоты и фуражку с выгоревшим голубым околышем.

Они встретились через десять лет. Мир успел измениться: обрыв, скамейки, грачи — все провалилось к черту. Они встретились в другой эпохе, история прогремела над ними, как скорый по железным раскатам моста, когда смотришь снизу и становится жалко, что грохот и дым уже скрылись вдали... Она узнала былое и отвернулась с ужасом, пере-

шла на другой тротуар, плечи ее сгорбились, словно под ударом. Бывший офицер, бывший студент, бывший приятный басок Средней России просидел целый вечер в гостинице и что-то писал на почтовой бумаге. «Проклинаю,— писал он,— подлый, похабный мир и всю жизнь! В смерти моей прошу не винить...»

Ха-ха! Вы думаете, он застрелился? Ничего подобного! Он жив и бродит в мире на ощупь. Я встречал его не один раз. Он бросил свой город с сиренью и полусгнившими скамейками над обрывом. Он лыс, как асфальт,— бедный Адам, изгнанный из рая. Чушь, чушь, нелепая фантазматория, но какая драма... вы подумайте, какая непроходимая бедна глупости и какое оскорбление человека! Вы только подумайте!

Молчание...

Она не ответила. Она сидела, обняв мою шею правой рукой. Холод подступал со всех сторон, я чувствовал, как мелкая дрожь сотрясала ее тело. Бедная, бедная! И для чего понадобилось мне рассказывать ей эту дурацкую историю? Острый дождевой запах тоннеля становился невыносимым. Все больше и больше апатичный, морозящий сыростью мрак давил нас тупой беспощадной силой. Я тщетно пытался согреть ее руки: тело исчезало, иссякали слова. Отвратительным мертвым звоном ныли и стучали виски. Я пробивался в зыбких болотах бессонницы. Медленное, туманное зарево слабо колыхалось в теле. Казалось, растворяется и блекнет мир, тоннель, ощущения слуха и зрения... Прижавшись друг к другу, мы падали в какую-то пропасть, полную снега и таянья, темнота орала на нас неистовым гвалтом грачей... В последний момент я видел потемневший сине-зеленый лед, мы пробирались через вздутую острым весенним ветром хлябь неприятной реки, набирая воду в калоши. Мне хотелось кричать: впереди, дымаясь железной студеной глубиью, ходко неслась в свинцовых потемках полынья. Мы брели прямо в нее. Таяющий снежный туман, половодная муть, распаренные красные лозины кустов,— сумасшедшие кружились грачи, трогался лед, кусок обнищавшей навозной дороги вдруг оторвался, заворачиваясь черными вешками, и все уже с ужасным треском, обжигая тело мгновенным тоскливым холодом, провалилось вниз,— и сразу подхватило безмолвным мягким осязаньем воды, забурлило в ушах и, безвозвратно скрывая небо, грачей, лед и тощий кустарник, потащило ко дну...

— Сашенька, Сашенька! — крикнул я, сжимая ее руку, вздыхая в последний раз, чувствуя, как уже крутит, переворачивает мое тело, как пропадает жизнь, разрывает грудь и слепой полыхающий удар поражает меня потрясающей силой.

В тоннеле ахнули стены... Стекло раздробленный треск, мешаясь со звоном, посыпался где-то рядом. Что-то отхлынуло... Тоннель несясь половодьем темной реки. Меня сразу вырвало из нарастающего рева воды.

Она вскрикнула, руки ее больно сжали мою шею. В сознание четко падали звуки. Медленно, обтекая бутылки, переговаривались с цементным полом струйки и капли жидкости. Трезвон темноты доносился явственней. Я просыпался.

— Взорвало бутылку, — сказал я, с трудом преодолевая застывшие губы. — Ничего особенного. Это бывает. Давление доходит до десяти атмосфер.

Вокруг снова смыкалась тишина. Сердце девушки билось учащенно. Она прилегла на мою грудь в полном отчаянье.

— Неужели на земле еще ночь? — спросила она слабым голосом. Часы на ее руке бесполезно шелестели секундами. — И который теперь час?

— Скоро, скоро... — успокаивал я ее. — Везарко пьет уже чай и собирается на работу. Ваш брат еще спит. Овидий уже возвращается от своего китайца. Он приходит всегда в шесть часов и ложится спать.

— Да, да, — покорно шептала она, — мой брат еще спит. Вы, пожалуйста, ничего ему не говорите. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о сегодняшней ночи. Хотя... — Она задержалась на мгновение, выпрямилась, голос ее зазвучал тревогой. — Ведь нас все равно откроют. Это будет ужасно! Конечно, это пустяки, но все-таки ужасно неудобно.

— Ерунда. Нас никто не увидит.

— Вы думаете?

— Тоннель отопрут в шесть. Доброштанов сам каждое утро открывает двери и зажигает свет.

— Если бы так... Тогда все замечательно, — сказала она успокоенно. — А впрочем, ерунда! Но я совсем замерзаю. Господи, ваши руки как лед...

Она опять положила голову на мое плечо.

— Что это за китаец? — спросила она устало. — Вы должны мне рассказать. Я так много слышала о нем. Я кое-что скажу вам, когда мы выйдем из этого ужасного подва-

ла. И еще... вы никогда не будете вспоминать... что было... Милый, я вас очень прошу!

— Хорошо, хорошо! Но мне тоже хочется сказать...

Она зажала мне рот холодной рукой. Я ощущал, как быстро подвигаются ее ресницы. Она прошептала несколько фраз мне на ухо: что-то о Магеллатовой Короне, об Овидии, несколько быстрых фраз. Я ничего не понял из этих многозначительных слов.

— Я страшно счастлива! — сказала она. — Ах, вы ничего не знаете, не знаете...

Она сказала еще — но что? И что я знаю в конце концов о Жан-Суа? И при чем тут Овидий? Она счастлива... Да, да, и я тоже. Но этот черный поток... Меня укачивало ленивым сумраком, я уже не понимал слов... Вяло, не сопротивляясь, я погружался в безразличное забытие. Поток затопил весь тоннель, меня снова сносил студеный весенний мрак, опять раздирающим гвалтом орали грачи, и туманная, напитанная водой, снежная мгла полыхала ознобом... «Я люблю вас!» — огненной рекламой зажглось у берега, но мгла потопила слова, все стало ложью — жизнь, тепло, нежность, желанья. Я безвольно опускался ко дну, в холод, усталость, покой. «Русский фатализм!» — крикнул мне Поджигатель, окутанный пламенем, но я исчез в мутной бездне, перестав нуждаться в спасении...

Свет пришел неожиданно...

Я шнурую ботинки, голова моя затекает тупой холодящей болью отчаянья. Ничего не случилось. Комната озарена предвечерним солнцем, в окно по-прежнему врываются листья, четкая даль, проясненные звуки. Сегодня опять засветит холодная лунная ночь.

Шум жизни так ровен и беззаботен. Так всегда чудится после несчастья. Я выпрямляю спину. Один шнурок остается висеть незавязанным. Я сижу на кровати и смотрю в одну точку. Все ясно. Стена неопровержима. Винсек лежит, задрав ноги, и курит папиросу. Дым ползет над ним голубым драконом, выпрямляется длинными волокнами и медленно тянется к окну. Ничего не случилось особенно. Сейчас, как бывало, по коридору прозвучат голоса, придет Поджигатель, стуча ботинками и добродушно убеждая в чем-то Овидия. Они всегда возвращаются так: я слышу нарастающий шум голосов, — один спокойный и глухова-

тый, другой необузданный, прерываемый хохотом... Овидий смеется, как девушка, смех его прыгает через какой-то ручей, в гремящем плеске, с камня на камень. Дверь распахнется — их голоса откроются, как окошки на улицу, и сразу все расплывется в теплом гвалте и оживлении, и даже Винсек перестанет криво топорщить брови. Овидий оглушительно хлопнет его по плечу, бросит свою неизменную трость, кинется на кровать, и пропадут холодные стены, хлынет наша Москва, ровно засветит уютная лампочка, — веселый вскипающий шум братской молодости... Сейчас Живописец постучит, как обычно, в дверь, «валяй, валяй, — крикнет ему Винсек, — заходи!» — и Поджигатель бросится поправлять одеяло на кровати. «Братцы!» — расплывется, хрипло подкашливая, художник, а за ним одно высокое, неожиданное, как восклицанье синицы в опавшем лесу: «Можно?» — и совсем неизвестное, созданное из жизни, смеха и бодрости, войдет, перекинув купальное полотенце через плечо...

Нет. Ничего не будет. Если б можно вернуть все это! Я смотрю в одну точку. Пустая звенящая боль еще затопляет комнату и смывает лучистый воздух окна. Все ясно. Может быть, просто был сон? Винсек непреклонно молчит. Так...

Лампочка вспыхнула неожиданно, мы спали под ее светом около часу. Потом мы вышли, и нас никто не заметил. Да, да, мы проснулись, дверь мышеловки была приоткрыта.

Но почему у нее сразу переменилось лицо? Она шла быстро, посмотрела враждебно, она не позволила даже поправить ей шапочку.

— Забудьте об этой глупой ночи, — сказала она холодно, — вы меня поняли вовсе не так...

Ах, да, старичок Фокасьев. Мы встретили его у каменной лестницы. Он передал мне свои бумаги, несколько листиков документов и справок — они в боковом кармане.

— Тут все геройство! Вся жизнь! — восклицал он, поднимая палку. — Как я простоял в тоннелях...

— Нет, нет, я не потеряю, — говорил я, — не беспокойтесь. Я теперь хорошо знаю, что значит шампанское производство...

Этот свет за окном... боже мой, он разбил последнюю смутность надежд!

Она подобрала юбку.

— Мне нужно вам кое-что сказать. Я не люблю неяс-

ности и недоговоренности, — заговорила она, усаживаясь на скамейку. — Кроме того, вы обещали дать мне дружеский совет...

Тупая стена. Молчаливая комната. В масляной краске есть что-то непроверяемое, будничное, холодное, как прожитая жизнь. Теперь, собственно, нечего терять. Это неплохое положение, чего мне волноваться? Я наклоняю голову и снова шнурую ботинок. Круглый скользкий шнурок расплывается жгучим нависающим блеском. Я больше не жду Поджигателя. Я не забуду его расширенных глаз, когда мы встретились в саду на площадке. И он тоже? Ха-ха-ха! Он бормотал, глядя на девушку, и повторял одно и то же:

— Ваш брат не спал всю ночь. Мы искали вас повсюду. Я так беспокоился, поверите ли, я так беспокоился...

Он смотрел с ужасом на ее белую шапочку, перемазанную черными полосами.

— Пустяки! — смеялась она. — Мне было очень весело. Мы караулили вместе с Жан-Суа виноградники.

Опять этот китаец!

Она торопилась. Я не сказал ни слова. Зачем мне было говорить что-либо после разговора у скамейки? Поджигатель сгорбился и так остался стоять, когда мы поднимались по лестнице.

Какой-то заколдованный круг. Мы взошли на верхний этаж, она протянула мне руку.

— До свиданья! — сказала она. — Не сердитесь за мою откровенность. Я думаю, что мы навсегда останемся самыми большими друзьями. Не правда ли? Я всегда буду помнить наш разговор. Я так счастлива, счастлива! — проговорила она, задохнувшись. — Ведь это же в первый раз. И я так тронута вашей любовью к нему. Почему у вас такой странный вид? Дайте я поцелую вас на память, — сказала она быстро.

Она обняла меня за шею крепко-крепко... Кто-то кашлянул сзади. Он появился из двери, когда что-то недоступно-горькое, как юность, подкатило к моему горлу. Ее душистые влажные губы... Она засмеялась, посмотрела прямо ему в глаза, не смутилась и быстро захлопнула дверь. Винсек спускался по лестнице, я стоял на площадке и бессмысленно смотрел ему вслед. Шаг, еще шаг, он дошел до второго пролета... Какая нелепость, чушь, ерунда! Я бросился к перилам. Он ничего не видел, он не может ничего подумать, он не имеет никакого права.

— Вы не видели Овидия? — крикнул я ему, перегибаясь вниз.

Так, так... Овидий еще не пришел от китайца. Стало быть, мы караулили вместе. Замечательное совпадение! Но Винсек... Я вижу до сих пор его запрокинутое кверху лицо, рыжее от веснушек, круглоту его глаз с озорной восхищенностью. Все понятно и ясно. Но, быть может, я ошибаюсь? Он лежит на кровати и молчит. Очевидно, он ничего не заметил. Да и не все ли равно? Она любит Овидия с первых же дней их встречи. Как я ошибался!

Стена наступает на меня масляной краской. Блеск ее разоблачает последние остатки нелепого сна. «Дорогая, дорогая! — еще шепчется дальний мрак. — Светлая девочка мира!» Я выпрямляюсь. Ботинок завязан. Ничего не осталось от прошлого.

Глухость, сплошная чушь! Она будет его женой. Никто об этом не знает. Она просила моего совета, и я его дал. Конечно, конечно! Зачем себя спрашивать? Он из поколения. Разве я могу что-либо сказать против одного из пяти? Завтра они встретятся, я знаю их место, славный глухой уголок в кизиловой чаще. Там создается лирика, ха-ха, недаром Овидий с гордостью показывал мне свой лесной кабинет. Он написал там четырнадцать стихотворений. Четырнадцать стихотворений! Мне хочется хохотать над собственной глупостью... А глаза Поджигателя! Тело мое сотрясается от веселья, мне легко и просто, я поднимаюсь с кровати. Пусть все идет своим чередом. Я не скажу ни одного слова.

— Как дела? — спрашиваю я Винсека, потягиваясь и зевая. — Черт его знает, я проснул до самого вечера.

Он поворачивает голову и смотрит на меня, загадочно щурясь.

— Дела?.. Что сажа бела, — говорит он спокойно и сплевывает на сторону. — Пойди пообедай, — продолжает он, снисходительно улыбаясь. — У тебя и так всю ряшку стянуло.

— Пустяки! Как Япников?

— Чего? — Он приподнимается и ерошит волосы. — Носится, как оглашенный. Перепиши да перепиши! Они все здесь белены объелись. Понимаешь?

Он рассказывает последние новости и происшествия. Практиканты недовольны совхозом, они жаловались Директору на Веделя: тот заставляет их мыть бочки и выполнять все работы наравне с рядовыми рабочими.

— По-ни-маешь? — повторяет Винсек. — Поднялся такой шухер... «Мы, говорят, в Москву будем жаловаться. Мы — ви-но-де-лы!» К прокурору ходят.

— Ну, а Директор?

— О! — Он вскидывает голову. — Он, брат, может... «Ладно, говорит, расследуем. Хотите, говорит, жаловаться? Сейчас позовем Веделя — выкладывайте при нем все начисто...» Как это он их шваркнет! «Я шестунов за спиною не слушаю. И у меня в совхозе таких разговоров прошу не разводить. А насчет того, что вы виноделы, так это преждевременно. Повремените!» Взял он их в работу здорово.

— Так... Ну, а Эдуард Августович?

— Пришел. Чего ему сделается? Директор при нем все и начал. А он стоит, только кепку надернул, и слушает. Только головой качает. Потеха! «Вы, говорит, виноделы? Вот! — и показывает руки. — Мотыгой копать умеете? Я, говорит, сам горы копал, камни ворочал и сам бочки мыл. Нам барчуков не нужно!» Так и отрезал. «Какие из вас виноделы, если вы бочку порядочно вымыть не умеете?» О, брат, загнал он их всех в бутылку!

— Что же они — согласились?

— Ну! — Секретарь пренебрежительно сдувает пепел с папиросы. — Факт. Ви-но-де-лы! Пусти меня с таким рылом в подвал — что я сделаю?

Он смотрит на меня непроницаемыми серыми глазами. Я спокойно выдерживаю его взгляд, он смотрит рассудительно и веско. По-видимому, в голове его нет никаких задних мыслей.

— Ну, ладно! — говорю я, окончательно успокоившись. — Я отправляюсь... Надо сходить к Эдуарду Августовичу.

Мне хочется спросить, где Овидий, но я молчу. Не все ли равно в конце концов?

— Постой, постой! — кричит вдруг Винсек, когда я беру за дверную ручку.

Он бросает окурочок, поднимается с кровати и, кривя ноги по-кавалерийски, медленно подходит ко мне, заложив руки в карманы. Он нарочно растягивает шаги, я вижу, как торжественно-хищно топорщатся его волосы, а углы губ подергивает загадочная озорная улыбка. Он смотрит восхищенно и приближается ко мне в упор.

— За-ра-за! — дышит он мне в лицо, наклоня шею. — Думаешь, не знаю?

И он дружелюбно подмигивает, хватая мой локоть жест-

— Вы не видели Овидия? — крикнул я ему, перегибаясь вниз.

Так, так... Овидий еще не пришел от китайца. Стало быть, мы караулили вместе. Замечательное совпадение! Но Винсек... Я вижу до сих пор его запрокинутое кверху лицо, рыжее от веснушек, круглоту его глаз с озорной восхищенностью. Все понятно и ясно. Но, быть может, я ошибаюсь? Он лежит на кровати и молчит. Очевидно, он ничего не заметил. Да и не все ли равно? Она любит Овидия с первых же дней их встречи. Как я ошибался!

Стена наступает на меня масляной краской. Блеск ее разоблачает последние остатки нелепого сна. «Дорогая, дорогая! — еще шепчется дальний мрак. — Светлая девочка мира!» Я выпрямляюсь. Ботинок завязан. Ничего не осталось от прошлого.

Глупость, сплошная чушь! Она будет его женой. Никто об этом не знает. Она просила моего совета, и я его дал. Конечно, конечно! Зачем себя спрашивать? Он из поколения. Разве я могу что-либо сказать против одного из пяти? Завтра они встретятся, я знаю их место, славный глухой уголок в кизиловой чаще. Там создается лирика, ха-ха, недаром Овидий с гордостью показывал мне свой лесной кабинет. Он написал там четырнадцать стихотворений. Четырнадцать стихотворений! Мне хочется хохотать над собственной глупостью... А глаза Поджигателя! Тело мое сотрясается от веселья, мне легко и просто, я поднимаюсь с кровати. Пусть все идет своим чередом. Я не скажу ни одного слова.

— Как дела? — спрашиваю я Винсека, потягиваясь и зевая. — Черт его знает, я проспал до самого вечера.

Он поворачивает голову и смотрит на меня, загадочно щурясь.

— Дела?.. Что сама бела, — говорит он спокойно и сплевывает на сторону. — Пойди пообедай, — продолжает он, снисходительно улыбаясь. — У тебя и так всю ряшку стянуло.

— Пустяки! Как Яшников?

— Чего? — Он приподнимается и ерошит волосы. — Носится, как оглашенный. Перепиши да перепиши! Они все здесь белены объелпсь. Понимаешь?

Он рассказывает последние новости и происшествия. Практиканты недовольны совхозом, они жаловались Директору на Веделя: тот заставляет их мыть бочки и выполнять все работы наравне с рядовыми рабочими.

— По-ни-маешь? — повторяет Винсек. — Поднялся такой шухер... «Мы, говорят, в Москву будем жаловаться. Мы — ви-но-де-лы!» К прокурору хотят.

— Ну, а Директор?

— О! — Он вскидывает голову. — Он, брат, может... «Ладно, говорит, расследуем. Хотите, говорит, жаловаться? Сейчас позовем Веделя — выкладывайте при нем все начисто...» Как это он их шваркнет! «Я шептунов за спиною не слушаю. И у меня в совхозе таких разговоров прошу не разводить. А насчет того, что вы виноделы, так это преждевременно. Повремените!» Взял он их в работу здорово.

— Так... Ну, а Эдуард Августович?

— Пришел. Чего ему сделается? Директор при нем все и начал. А он стоит, только кепку надернул, и слушает. Только головой качает. Потеха! «Вы, говорит, виноделы? Вот! — и показывает руки. — Мотыгой копать умеете? Я, говорит, сам горы копал, камни ворочал и сам бочки мыл. Нам барчуков не нужно!» Так и отрезал. «Какие из вас виноделы, если вы бочку порядочно вымыть не умеете?» О, брат, загнал он их всех в бутылку!

— Что же они — согласились?

— Ну! — Секретарь пренебрежительно сдувает пепел с папиросы. — Факт. Ви-но-де-лы! Пусты меня с таким рылом в подвал — что я сделаю?

Он глядит на меня непропицаемыми серыми глазами. Я спокойно выдерживаю его взгляд, он смотрит рассудительно и веско. По-видимому, в голове его нет никаких задних мыслей.

— Ну, ладно! — говорю я, окончательно успокоившись. — Я отираюсь... Надо сходить к Эдуарду Августовичу.

Мне хочется спросить, где Овидий, но я молчу. Не все ли равно в конце концов?

— Постой, постой! — кричит вдруг Винсек, когда я берусь за дверную ручку.

Он бросает окурки, поднимается с кровати и, кривя ноги по-кавалерийски, медленно подходит ко мне, заложив руки в карманы. Он нарочно растягивает шаги, я вижу, как торжественно-хищно топорщатся его волосы, а углы губ подергивает загадочная озорная улыбка. Он смотрит восхищенно и приближается ко мне в упор.

— За-ра-за! — дышит он мне в лицо, наклоня шею. — Думаешь, не знаю?

И он дружелюбно подмигивает, хватая мой локоть жест-

кой волосатой рукой. В его приближенных, испещренных крапинками глазах я читаю все.

— Ладно, ладно...— бормочу я, с ужасом чувствуя самодовольную мужскую улыбку, раздвигающую невольно лицо, и его взгляд, следящий за мной беспомощным житейским опытом.— Чего уставился? Ничего особенного.

— Валяй, валяй!— грубо наваливается Винсек, щуря глаза и до боли сдавливая мои руки.— Слушай,— вдруг таинственно говорит он полупшепотом,— она приходила. Ей-богу! Не веришь? Честное слово! С час назад была, когда ты дрых, как зарезанный.

Я вижу, что он смотрит по-своему сочувственно-понимающе.

— Пришла, на тебя посмотрела,— шепчет он сдавленным голосом.— Я лежу, голову под крыло: понимаю, в чем дело. И сразу к Овидьке. «Спит? — спрашивает.— Ах, бедный, бедный!» Поговорили с ним — и ходу вместе. Она тебе одеяло поправила. Ну, я сразу увидел, в чем тут дело... Здорово ты, брат, ее приспособил! Первый сорт!

Он хлопает меня по плечу, о чем-то напряженно думает и начинает грызть ногти.

— Да,— говорит он, вдруг улыбаясь криво и жалко,— вот ты какой, оказывается!

Я бессмысленно молчу. Он неистово огрызает большой красный палец и смотрит в сторону. Губы его кривятся.

— Вам что...— Голос его звучит глухо, и я слышу в нем неожиданные ноты.— Вы — люди с образованием... Завидую я тебе, Николай, ей-богу!

Молчание.

— Будь здоров! — говорю я ему.— Только образование тут ни при чем.

— Подожди! — обрывает он грубо.— «Ни при чем, ни при чем!» Ладно! Ты думаешь, я не знаю, как вы на меня смотрите? Думаешь, такой тип? Чего, неверно, што ли?

Он резко и ухарски поддегивает пояс на вздутой гимнастерке, поворачивается и подходит к своей кровати. В желтом фанерном чемодане, всегда запертом всяческим замком, наподобие тех, что неизменны на солдатских затертых сундучках, я вижу вещи, говорящие о скупом одиночестве. Жизнь Винсека медленно раскрывается через слова вещей... Книг нет. Уездное застиранное белье из бязи, с железными пуговицами, черная щетка для сапог, гребень с выломанными зубьями, масляно забитый перхотью. Все сложено аккуратнo. Он вытаскивает и ставит на пол круг-

лый будильник с двумя колокольчиками, вынимает огромное, с гранеными по краям узорами, зеркало на березовой доске и заботливо отирает его рукавом. Я вижу новенький деревянный пресс с промокательной бумагой, карандаши, ручки... Зачем ему такое количество карандашей? Ах, да, он работает в канцелярии... Он стыдливо прикрывает карандаши рукой и вытаскивает из-под ситцевой подушки фотографию в рамке с налепленными ракушками.

— Вот,— говорит он небрежно и неприятно хмурится.— Была у меня одна дамочка...

И он сует мне фотографию.

Среди залитых лаком комодных ракушек фотография глядит нелепо-четко. Их двое. Молодой Винсек стоит сзади кресла с вычурной бутафорской спинкой и опирается на мраморную круглую колонну. Перед ним — истощенная женщина в пальто, но без шляпы, с сумочкой на коленях, ноги ее непомерно вылезли из фокуса. Оба смотрят в разные стороны. Вокруг — пышные клубы облаков, колонна обвита пальмовыми листьями. У женщины глаза — как две маленькие черные гадюки, но рот безвольно-мягкок. Волосы ее завиты причудливым коком.

Мне становится почему-то неприятно и жутко. Фотография мертвит сердце, как дешевый венок на кладбище, ей недостает только лент с линиялыми надписями и правильных жестяных листочков, скрепленных внизу на манер нагрудного значка. Женское лицо также предначертано и кажется давно знакомым, как и этот венок.

— Ну, как? — спрашивает в неловком молчании Винсек.— Ничего?

Он берет у меня фотографию, и в последний момент я успеваю разобрать часть надписи в углу: «...Дуся». Дуся — очевидно, это ее имя. Остальное закрыто рамкой.

— Хорошее, милое лицо...— говорю я и останавливаюсь.— А ты какой молодой!

Я говорю что-то еще, горячая краска начинает заливать мои щеки. Черт его знает что! Бедняга Винсек!

Он стоит на коленях перед раскрытым чемоданом и сразу оживает. Я вижу, что мои слова трогают его за самое сердце: руки его плохо слушаются, он вертит никелевый пузырь будильника совсем бессмысленно.

— Так ты говоришь, ничего? — бормочет он, краснея.— Понимаешь, мне весь угрозыск завидовал, ей-богу! Могу даже письма от нее показать. Одного одеколону сколько я

ей перекупил! Бывало, придет: «Данечка, Данечка!» А мы с товарищем...

Он вдруг запинается.

— Ладно! — машет он рукой и задумывается. — Слушай, Николай! Как по-твоему... может, ей написать? А впрочем... Хамка она — вот что!..

Он швыряется последней бранью, сует будильник под подушку и молча укладывает зеркало. Оно никак не лезет. Винсек зло и раздраженно давит коленом фанерную крышку, шея его наливаясь кровью...

Я ухожу.

Я не иду в столовую: право, мне совсем не хочется есть. Сейчас я поднимусь выше, — здесь есть одна глухая тропинка, она навешает холм, заросший кизиловой чащей. Тропа не отвечает шагам, погруженным в плотно уложенный прошлогодний лист. Небольшая лужайка с низким просторным камнем, — здесь Овидий занимается лирикой.

Тишина парит над горами. Никого нет. Она парит час, может быть — два, и в ней, тоскливо журча крыльями, унося звонкие клювы, отовсюду, с затененных лиловых гор над страной виноградников чертят озаренный с запада воздух и проносятся птицы. Щуры пролетают на юг — мне нужно на север.

На север, на север!

### 30

Я не знаю, почему, собственно, я вернулся на эту тропу. Давно взошла спокойная лунная ночь. Холодный зеленоватый свет ее, как мировое сознание, склонен над ночным изголовьем жизни. Дыханья нет. Это почетный караул, не отводя глаз, каменеет в оцепенелом молчании, — молчат горы, давно исчезли огни, виноградники выстланы сторожевыми тенями, воздух словно ожидает далекого заунывного крика.

«Вилла роз» с ее семейной лампой осталась вдали. В лунной воде, как в подводном царстве, выходят полипы деревьев, цедится фосфорический свет, громоздятся замки из камней и стен. Вот-вот между ними, жуя зрчками округлых ртов, неподвижно повиснут зоркие рыбы. Только сверчки кричат осенью, изредка бросая пригоршни тоскливых звуковых горошин. Их крики поднимаются со дна, как трели пузырьков через воду аквариума.

Время, когда бродит вино. Трава прижалась к земле.

У нас на севере в это время кричат совы, в лунном тумане осторожен камыш, леса бросает в озноб, и слышно тогда, как во сне, сбившись в глушь забытых озер, крикают сторожевые утки. Потому что пора лететь на юг. И никому не хочется оставаться позади уходящей жизни.

Меня провожал Витя, сын винодела, лишь вчера возвратившийся к лампе, под светом которой вся семья собирается к вечеру, плечом к плечу, и смотрит на гостя глазами, полными сплоченности, приязни к трудовой жизни. Эдуард Августович прикрывает их всех своими морщинами. Он добрый и суровый садовник, а Вера Ивановна только его спутница, хорошо помнящая все времена года.

— Когда звенит лопата, — говорит она, — мы все знаем, что это весна. А когда засвистят щуры, нам становится жалко и грустно. Это значит, что скоро опустеют холмы, польются дожди, а все гости разъедутся кто куда.

Дети тоже, вместе с птицами, покидают дом, чтобы учиться. И Витя, друг нашего Овидия, высокий горбоносый мальчик, ласковый, как годовалый длинноногий сеттер, заглядывающий в глаза, снова уедет пробивать себе жизнь.

Я вышел к тропе без всякой цели. Почему-то мне вспомнилась белая кровать в столовой у Веделей. Она прикрыта пикейным одеялом, аккуратная подушка на ней, бедные железные спинки — как чистота детских дней... У Чехова, наверное, была такая кровать, не иначе. Но у Поджигателя и теперь вряд ли будет пикейное покрывало и подушка, приглаженная домашними заботливыми руками.

Листья совсем не шуршали. Ночь текла тончайшим безмолвием. С неба, с гор, с застывших деревьев источался, струился и плавал кругом неосязаемый, неуловимый свет, излученный с миров. Он касался всего, погружал очертания и тени в призрачный океан магнитных волн, — где-то на безмерном пути планета неслась в позолоте осени...

Узкий просвет поляны был рядом. Я остановился. Пораженная тьма дохнула неожиданным смехом, словами, лунный свет впереди говорил, смеялся и прыгал... Я вовсе не хотел увидеть и услышать более положенного. Я даже хотел закричать, что слышу и вижу. Но я увидел и услышал все то, что пришлось узнать белому камню.

Мигало в глазах, воспаленный шершавый куст цеко-тал мое лицо. Я только и видел нестерпимо близкие листья, в отчаянье рвал с веток продолговатые скользкие ягоды и ощущал их терпкий сок, вяжущий каменеющие губы. Тропинка дымилась луной, текла беспрядельная

ночь... Потом чужой, враждебный смех снова прыгал, кружась по поляне, кто-то плакал у камня, и я услышал, как дерзко и утомленно смеется женщина, когда сходит на землю голая сентябрьская ночь, ущелья ожидают эхо, теплеет зверь, холодеет стеклянная вода, и хочется ломиться сквозь чащу, ахнуть огнем и громом в лунный выпуклый шар, упасть на колени и прихлебывать из ладоней сквозящий меж пальцев, сводящий с ума зеленоватый свет и бежать без оглядки вниз, царапая руки о ветки, спотыкаясь о камни, слыша кругом нарастающий гремещий вопль беловежских рогов...

Вниз, вниз, вниз!

Ночь, тяжело и хрипло дыша, стояла за мной. Клонилась, задыхаясь, деревья. В яркой подводной глубине света недвижно плыли руины.

Ночь... И я крикнул изо всех сил так, как кричал когда-то в лесах. Вокруг, словно давно ожидая, крик подхватили пустые покои, разнесли и стихли. Смолкло... В ответ с виноградников оборвался выстрел и, шипя, собирая на себя, как снежный ком, шумы и грохоты, скатился в ущелье.

Пусть они слышат!

Она стала его женой в эту голую ночь.

Я видел все... Он носил ее на руках и танцевал, как дикий, а она бесстыдно смеялась, обнимая его шею нагими руками.

Сверчки протяжно и громко кричали из холода. Прошел час. Я бессмысленно перебирал какие-то мысли и чувства. Они пройдут по этой дорожке, и я должен увидеть их лица. Конечно, это — простая случайность: я вышел, как и они, отпить свой лунный глоток. Да и кто может спать в такую ночь, когда вся земля обернулась в немом изумлении и словно закрыла глаза в забытье?.. Я слышал, как дубы роняли спелые желуди, томились листья и падали ягоды. На вершине горы, обращенной к небу, вытянув сучья, осторожно ступали деревья, — они крались над бездной, легко пробираясь по карнизу сиянья, — везде открывались пути, исчезали пучины и пропасти, безбрежный магнит, не ослабевая, струил свои прозрачные силы.

Овидий появился из пятнистой тьмы неожиданно. Он бежал по дорожке, размахивая руками, пальто на его плечах висело, как плащ. Мы столкнулись лицом к лицу. Лицо его показалось мне мертвенно-бледным, он махал в воздухе чем-то длинным и узким.

вовсе этой ночи, с ее высотами пустого океана огня, с ее тенями и руинами, с ее мертвой славой и колдовством.

— Он сумасшедший,— тихо смеялась она, словно любясь чем-то с тайным торжеством, что-то припоминая, улыбаясь своим потаенным мыслям и заботливо одергивая платье на плечах.

— Ясно, да,— повторял я бессмысленно.

— Что — да? — спокойно переспросила она и снова засмеялась.— Он просто очень искренний и неиспорченный. Какой чудак, боже мой, какой чудак! Я никогда не думала, что мужчины такие забавные... Но где же мои шпильки? Помогите мне.

Она быстро поднялась с земли, не смущаясь, поправила платье у бедер.

— Отвернитесь,— сказала она.— Мне надо привести себя в порядок.

Я слышал, как она сосредоточенно помолчала, потом надела пальто, задержалась на миг.

— Пойдемте! — вдруг проговорила она уже у самого моего уха и взяла меня под руку.

Я взглянул еще раз на камень. В траве, теплившейся туманными огоньками, белая плоскость его холодела могильной плитой. В лунной росе куст скумпии блестел жестяными листьями. На ходу я оторвал с него лиловую ветку, девушка не обратила на это никакого внимания, она даже не обернулась к поляне. Обрыв скатился за нами в темный, излапанный лимонными вспышками парк. Мы не сказали ни слова. Кругом, в потемках непроглядных теней, лежал неподвижный мрак, казавшийся глубиной исполинских кулис. Ночь давно разгорелась последним пламенем. Когда в просветах деревьев разрывало тьму, виноградники на горах нависали блеском амфитеатра,— казалось, необозримый застывший Рим дремлет в ложах и ярусах. Впереди площадка с домом нашей коммуны выступала ослепительным куском сцены, неестественно праздничной и напитанной до предела зеленым сияньем. В глубине черных деревьев лунные пятна сидели на ветках тропическими попугаями. Мы вышли на свет из-под громад декораций. Девушка, будничная и простоволосая, снова поразила меня спокойствием,— она целиком была погружена в свои далекие, непонятные мне и, казалось, обыденные чувства.

Ни слова, ни одной фразы... Она засмеялась у самой лестницы.

— Я совсем одурела, — вдруг сказала она. — Скажите, он пошел к своему китайцу? Я положительно начинаю ревновать. Именно сегодня, сегодня! Познакомьте меня с ним, по крайней мере... Он сказал, что это самый близкий человек для него... после меня, конечно... Мой дорогой, я ужасная эгоистка, но я думаю только о нем... не сердитесь!

— Хорошо, хорошо! — бормотал я, помахивая веткой. Я туго смотрел на ее лицо: оно казалось осыпанным голубоватой мукой, глаза ее темнели мягко и безвольно.

— Возьмите на память, — сказал я. — Эта ветка оттуда. Она смотрела на вас и знает больше меня. До свидания!

Она безучастно взяла эту ветку скумпии с лиловыми листьями и стала перебирать их пальцами. Длинные пальцы ее — ее длинные пальцы светились скользким, холодным огнем. — Здесь паутинки, — задумчиво прошептала она. — Бабье лето... Ну и что ж, я очень рада, что она все видела. Я очень рада! По-ни-маете?

Я слышал, как хлопнула дверь, смолкли шаги. Страница жизни была перевернута, я захлопнул старую книгу еще раз, я прочитал в ней очень простую истину. От всего этого ничего не убавилось в жизни, не стало меньше дорог.

Но мне не хотелось идти домой. «Здесь есть скамейка, — подумалось мне. — Несколько минут молчания, больше спокойствия и выдержки поколения».

Я повернулся. Лунный черен морочил небо, переметнулись деревья, выросла тьма, что-то непоправимое, пеленное, до боли ненужное захватило сердце... Напротив, блестя в темноте зоркими очками, заложив ногу на ногу и раскинув руки на спинке скамейки, сидел Поджигатель. Одно мгновение... Высоты тишины и мертвая слава вновь воцарились над ночью. Я смутно различал черты запрокинутого искаженного лица, тлеющий уголек папиросы. Волосы Поджигателя, как всегда, стояли изумленным, одна нога его с неуклюжим солдатским ботинком выходила из тьмы на ртутное, фосфорическое пламя.

Последний сверчок удивленно осыпал росу серебристых звуков. Тишина.

Я поднялся по лестнице, хлопнул дверью, засвистал пеленый мотив... Еще одна страница перевернулась в книге, и книга еще раз захлопнулась. Там были слова, несколько строк, вписанных мелким почерком, старинными буквами...

## ВИНО БРОДИТ ДОВОЛЬНО БУРНО

---

*Полученный в прессах сок стекает в деревянные лохани и, по замерзании его, перекачивается электрической помпой на отстой в открытые чаны, откуда, по прошествии суток, сусло (т. е. сок) перекачивается в двадцативедерные бочки, в которые задается чистой культуры шампанская дрожжа. В бочках сок перебродивает. После осветления молодое вино сливается с дрожжи (осадка) и переливается в другие бочки.*

*Летопись «Абрау»*

31

Мы вовсе не разучились понимать друг друга...

Кончилось лето. В окровавленных виноградниках бродит голая пьяная баба, летит паутина, в бродильных покоях скребутся когти брожения. Так говорит старинная бургундская поговорка: когда бродит вино и ядовитый прозрачный газ наполняет подвалы, в бочках царапает дубовые стенки веселая кошка. Стоит послушать: она скребется когтистыми бархатными лапками. А над глотками бочек, прикрытых мокрыми виноградными листьями, поднимается розовая липкая кипень. Вино вздувает пузыри и отпускает непристойные шутки. Легко задохнуться насмерть в бродильне, если не знать некоторых вещей... Я сам слышал дикую кошку брожения. Действительно, от нее быстро клонится голова, сердце начинает задывать, как свечу, и свинцовая тяжесть сковывает ноги. Притом — последние дни бабьего лета. С утра, освещенные ровным и багряным светом, пьянеют леса. Щуры свистят и трепещут в покинутом воздухе. Весь день опустошенная закатная тишина настаивается на благоухающей свежести. Лес пахнет белым вином. Луна приходит рано и уходит в зловещем ущербном пожаре. Время совиного крика, отъездов, отлетов, развя-

зок. Бондарь Бекельман ловит рыбу в прозрачной озерной воде: он выполнил производственный план полностью, никто не может сказать о его работе что-либо, кроме похвалы. Бондарь уходит под вечер на озеро с ведром и корзиной. Можно жить: в кооперации наливают без отказа по сходной цене.

Утром с гор возвращается повар. Впереди бежит его умная собака, славное ружье попахивает порохом, а из сумки торчат жирные перепела, отъевшиеся на просяных полях севера. Иногда его жена с цыганскими лукавыми глазами чистит длинноносых ржаво-бархатных вальдшнепов, и тогда мелкие перышки кружатся в воздухе и летят за паутиной. Я замечал, что таково действие лунной осени: все хочет лететь, все стремится в бесконечную даль.

Повар имеет коронованный вид.

Все перевернулось в мире: последние цари и короли стали походить лицом на голодных пропойц. Демократия нашей страны могла бы украсить лучшие феодальные замки и лучшие мантии. Таков повар «Абрау-Дюрсо», таков Ведель. Я не говорю уже о Придачине. Кочегар носит свои лохмотья, как пурпур и горностаи, его осанке могла бы позавидовать палата лордов. Бондарь мог бы украсить Сардинию и Бургундию. Доброштанов побил бы всех Пиев средневековой лепкой горбоносого профиля. Даже сапожник, целый день мусолящий гвозди у тумбочки возле дороги, не уступил бы Абдул-Гамиду. Но это не чудеса. Я случайно узнал, что его шкафчик, залепленный варом и забросанный лоскутьями кожи, вовсе не так прост и обычен, как это кажется. Сапожник стучит молотком над штучкой из красного дерева, хранившей когда-то туалетные вещи самого Короля-солнца. Да, да, был такой король, сиявший над Францией и воображавший себя центром всех тяготений. Шкафчик стоял в королевских покоях, побывал в Версале, история долго носила его по шару, и антиквары заработали на его славе немалые деньги. «Хорошо то, что хорошо кончается», — любит говорить Эдуард Ведель. Кончилось хорошо, не хуже, чем история с андерсеновским оловянным солдатиком, смоченная детскими слезами. Я тоже плакал над ним. Но я не заплачу над шкафчиком. Он достался русскому барину, известному приверженностью к не совсем новым вещам и построившему на берегу моря усадьбу, затененную садом и аллеями из грецких орехов.

Я спрашивал сапожника о его шкафчике, но грустный Абдул-Гамид не оживился при воспоминании об имени российского литератора Каткова. Что ему до Каткова? И что ему до Короля-солнца? Он чинил ужасный башмак с ноги кочегара, а Придачин поставил черпую пятку на версальскую штуку и медленно курил, загадочно улыбаясь.

Паутина летела над нами. На широких деревьях с свальными листьями лопалась кожура орехов. Пьяное простоволосое бабье лето опахивало светлый день гусиными крыльями. Мирно грело обедневшее солнце, и сапожник ловко наколачивал заплату на высокопоставленную подошву.

— Бей крепче, — говорил кочегар. — Мне не нужно, чтобы было красивше... Послюни, послюни! — прибавлял он. — Я тебя знаю, ты дрожишь над каждым гвоздем.

И сапожник растирал слюни на грубой набойке и неистово стучал молотком. Я с любопытством смотрел на голую ступню Придачина, попиравшего остатки галантного королевства. Разваренные в черной прелой грязи, пальцы его ноги заворачивались кривыми ногтями. Это была великолепная картина. Мы беседовали о мировых делах, так как сапожник интересовался политикой. Жена повара развешивала белье у двери своего домика, мелькая голыми смуглыми икрами и лукаво оглядывая вселенную. А после, когда кочегар довольно постучал башмаком о землю, а сапожник поклялся покойным отцом, что работа отлична, мы отправились в дом управления, и Живописец, усадив Придачина за стол у графина, сделал прекрасный набросок... В комнату набралось много народу, и все решительно завидовали кочегару. Он сидел, гордый и довольный, в своем кожаном картузе и не шевелился, когда Живописец, серьезно хмурия брови, быстро чертил в альбоме изящные смелые линии. Все глаза следили за его карандашом, и можно было услышать, как пролетает муха, — такая тишина и такое внимание сошли на кончик графита под рукою известного мастера. И все вполголоса давали дружеские советы Придачину, как держаться, и во всех голосах чувствовалась некоторая доля подобострастия. Кочегар явно становился знаменитостью и занял подобающее место в обществе. Так спокойно и просто занимает свое именное кресло в партере театра человек, знающий, что никто не посягнет на его право быть у всех на виду. В этом нет ничего удивительного. Я всегда думал, что это произойдет именно

так. Даже Винсек, необыкновенно чистенький и нарядный в этот день, в открытом френче времен военного коммунизма, при вязаном галстуке, сказал ему несколько сочувственных слов.

Через десять минут Живописец закончил рисунок. К альбому нельзя было протолкнуться. Больше всего восторгался Бекельман, появившийся неведомо откуда: он шумно лез к художнику, хрипел и обещался уплатить крупную сумму за портрет у маленького лиманчика.

— Рисуй, рисуй! — тискал он Живописца. — Рисуй старика Бекельмана... ха-ха-ха... как он сидит у лиманчика. Нарисуй ему удочку. Только чтоб было все видно. Бекельман не любит всяких выкрутасов. Ха-ха! Что ему нужно? Денег? Никогда. Хороших порядков — вот что нужно Бекельману... таких, чтобы все было видно насквозь!

И бондарь шумно обнимал художника. Мастер бочек побрился, лицо его, цвета хорошей ветчины, лоснилось от чувств. Я заметил, что он заметно принарядился, а иногда пушукается с Винсеком. У обоих явно торжественный вид.

Кочегар не сказал больше обычного, взглянув на собственный портрет. Он не выразил даже явного одобрения, а поэтому наступило некоторое молчание: все ожидали его слова и приговора, но он не торопился с выводами.

— Ну, как? — спросил Живописец. — Нравится? Говори прямо. В своем отечестве не стесняются.

— Нарисуй графин! — вдруг серьезно пробурчал кочегар. — Я хочу, чтоб было по правде.

Бекельман свистнул:

— Ишь ты! Он знает... Я тоже хочу, чтобы с удочкой. Ха-ха! Он понимает, в чем дело.

— Да бросьте, братцы! Что вам графин?

Живописец хохотал, морщась юным и беззубым дядюшкой, спорил, но сочувствие всех оказалось на стороне Придачина. И графин заслужил шумные одобрения, каких мне давно не приходилось слушать по адресу произведений искусства. Живописец не пожалел карандаша и прибавил еще стакан, налитый наполовину водой, и это вызвало снова единогласное восхищение. Придачин был чрезвычайно доволен и веско и сдержанно высказался по существу карандашного рисунка. Торжество его становилось бесспорным.

— Стой, стой,— кричал бондарь.— Он перехитрил Бекельмана, хотя у него и один глаз... Я прибавлю еще пятнадцать, если ты нарисуешь корзину и чайник.

Но это звучало явным подражанием. Придачин уже снял лучшие пенки: слава принадлежала ему. И бондарь напрасно хрипел, прибавляя червонцы. Он дошел уже до полсотни — никто не верил в такую сумму за праздничные безделушки. А кочегар вышел из комнаты, ни с кем не простившись. Вот каким образом люди приобретают вес, не истратив ни одной копейки.

Когда народ разошелся по домам, Винный секретарь попросил меня и художника иметь в виду сегодняшний вечер. Он уже пригласил бондаря, Овидия с девушкой и Поджигателя. Есть две четверти каберне, кое-какая закуска. Криво усмехаясь, он просил нас не забывать собраться ровно к девяти часам.

Живописец выслушал его озабоченно-серьезно.

— Две четверти? — переспросил он.— Это настоящая постановка.

Он добавил, что охотно пойдет на хорошую дегустацию.

— А что? — подмигнул он.— Празднуешь, что ли? Или так просто, за ухо?

— Так просто... — мрачно ответил секретарь.

Мы обещались быть вовремя.

В два часа Директор пригласил всех в дегустационный зал шампанского подвала на доклад германского инженера и какой-то комиссии. Что это за комиссия — пока он держит в тайне. Конечно, после мы обязательно явимся к секретарю в положенное время. Наше поколение еще не научилось понимать друг друга. Я спокоен за нашу дружбу. Я молчу обо всем, я волнуюсь лишь за Овидия... Китаец Жан-Суа очень интересуется Светлану Алексеевну. Да я и сам не могу сказать о нем ничего определенного. Существует ли он вообще? Конечно. Где и как? Я знаю одно, что он происходит из города Пекина. И я знаю еще одно: арбузы стали тяжелыми, как ядра, они разрываются под ножом с треском и брызжут студеным сахаром. Что же я могу добавить?

Над нами летят шуры. На виноградниках голая пьяная баба позднего лета вычесывает из длинных волос серебряные репы и тонкие паутины. А в полных бочках скребется бургундская кошка...

Дегустационный залик торжественно окружал зеленое сукно официального стола высокими спинками стульев. Коллекция шампанских бутылок всех стран, установленная на дубовых полках, и витрина Абрау в центре — единственное, что говорило о его назначении.

Строгий этикет шампанского виноделия чопорно и сухо блеснул международной традицией: одинаковые горла бутылок в мягкой золотой, серебряной и цветной фольге, ровные гербы и наклейки, схожесть мундиров. Как военные атташе на параде, бутылки подчеркнуто охраняли статут военной чести, отдавая все положенные почести даже врагам. Франция держала под козырек Германии. Бутылки молчали о войнах, о репарациях, о классовой борьбе. Одна русская витрина вырвалась из общих традиций высочайшими орлами и придворным размахом: восточный император установил для личного потребления особый размер бутылок. И последние бутылки Николая Второго осанкой походили на четверти.

В два часа дня Директор занял председательское место. Собрались почти все. Ждали профессора Антона Михайловича, показывавшего комиссии отделение прессов. Эдуард Августович старательно свертывал махорочную папиросу, насыпая табак из жестяной коробки. Его сын, обнявшись с Овидием, оглядывал всех влюбленными глазами. Директор, развалясь в кресле, добродушно подшучивал над Поджигателем, занятым перелистыванием какой-то папки с ворохом подшитых бумаг. Девушка сидела рядом. Никто не смог бы отрицать, что она необыкновенно мила. В зале висела почти вагонная тягота, та самая, когда дорожные люди сталкиваются впервые носом к носу, чего-то ждут и считают себя обязанными вести общие разговоры. Директор и девушка переговаривались весело и просто: в обоих не было и тени боязни показывать себя с любой стороны. Щеки ее стали еще розовее за эти дни: она словно надышалась от быстрого бега, — длинные нежные руки, кольца волос у шеи, ее грудной голос — все оживленно лучилось в свете ее откровенных, широко открытых глаз. Она встала, блестя шелком длинного столичного платья, поправила волосы. Казалось, рядом с грузным, насмешливым Директором поднялся высокий зеленый стебель девичества.

И виноделы, и виноградари, сморщенные и молчаливые, как подвальные грибы, смотрели на нее и на веселого Директора с предупредительным вниманием.

Время шло. В дверях появился Живописец с альбомом и подмигнул всему собранию. Овидий прыснул, виноделы и виноградари заулыбались, один Поджигатель еще мрачнее нахмурил брови. Художник, шумно отдуваясь, пролез к Веделю. Поколение, за исключением Винсека, присутствовало на собрании полностью. Через минуту весь зал толкался возле Директора и тянул головы, чтобы взглянуть на портрет Придачина. И когда комиссия с профессором во главе поднялась по лестнице, слава кочегара достигла наивысшего давления. Эдуард Августович смеялся от души. Я заметил, что он несколько раз подчеркнул принадлежность кочегара к столовому подвалу и был чрезвычайно доволен успехом рисунка.

Общее оживление.

Комиссия вошла в нагроможденный шум и смех. Директор заметил новых людей не сразу, но это нисколько не уменьшило его находчивость. Он захлопнул альбом, чрезвычайно дружески поздоровался с инженером и представил ему всех присутствующих, каждого отдельно, начиная с Эдуарда Веделя. Старый винодел с достоинством склонил могучую, высеребренную седой головой. Инженер, солидный и округлый, как фетровый котелок без единой пылинки, купался в румяных улыбках, в подчеркнутом демократизме расстегнутого сиреневого пиджака, в полированном крахмале белья. Багровая упитанная шея его свободно вращалась в тугом зажиме воротничка. Он постоянно обращался к личному секретарю — русской девушке, остриженной по-мальчишески, законченной в стиле геометрического чертежа, с продолговатыми и подведенными глазами и великолепными пальцами в розовых каменных ногтях. Из инженера, как из радиатора, полыхала широкая жизнерадостность, за его плечами стояла фирма, добросовестная германская система чертежных столов, зеркально-дубовых бюро, заводов, сошедших с гравюры, где шарообразные деревья на рюмочных ножках строились шпалерами у ровных кубиков с трубами, дымили поезда и автомобили развозили винодельческие машины, выкрашенные прохладной красной и зеленой краской. Личный секретарь инженера возникал в этом традиционном пейзаже; стоящем эмалеовой

маркой на изящных машинах, как блеск столика ремингтона, заполированного до последнего винтика. Немец обращал к ней предупредительную любезность патрона. Казалось, что фирма «Зейц» более всего занята ее вышколенным девичеством, шелковой юбкой и ее воспитанной надменностью, привыкшей к безупречным бумагам с выгравированными синими столбиками строк.

Директор представил всех, не исключая Светланы Алексеевны. Инженер отечески пожал ей руку, немного задержав в своей — пухлой, очень белой, с рыжеватыми волосами и тяжелым обручальным кольцом. Девушки встретились глазами: личный секретарь — холодно-любезными, сестра художника — широко-приветливыми. Они окинули друг друга мгновенным взглядом, и в том и в другом просквозил критический яд, и та и другая улыбнулись и выпрямили грудь, взгляды скрестились, как две шпаги на поединке, но в спокойной приветливости было больше иронии и силы. Вторая победила мгновенно. Первая не ожидала встретить здесь этой свободы над стилем, который давался ей непрестанной заботой и постоянной настороженностью. Ее уже достаточно избаловали шенот и взгляды, сопровождавшие ее юбку, чулки, модные туфли и длинные глаза в поездках по дальним углам грубоватой страны.

Личный секретарь инженера сразу перешел на военное положение. Щелкнул замочек замшевого портфеля; граненые камни пальцев открыли плоский томик портсигара. Она закурила, далеко относя папиросу и пуская тонкие кольца дыма. Поражение становилось ясным: она предпочла стоять у окна. Я видел явное торжество в глазах Овидия. Он тоже следил за боем. Личный секретарь отошла на заранее приготовленные позиции.

Собрание началось. Директор сочными мазками положил первые очертания мысли... Правительство рабочей страны отнюдь не собирается свертывать виноделия. При наличии единого плана, могучей централизации средств и научно обоснованного руководства виноградарство стоит перед небывалыми возможностями. Пятилетний план намечает в этой области громадное строительство. Совхоз «Абрау-Дюрсо» развернет на дремучих горах двести га новых площадей. Его задача — стать действительным рассадником знаний и опыта для всего края. Одновременно в шестидесяти километрах отсюда полностью осуществляется винодельческий гигант-совхоз «Дже-

мете». Впервые в отсталой и анархически-крестьянской стране вводится электрифицированное винодельческое хозяйство. Его преимущества очевидны. Правительство не ставит вопроса о прекращении выделки первосортных марочных вин. Страна не знает тех кризисов, которые переживает винодельческое хозяйство Франции, поставившей проблему перевода части виноделия на изготовление безалкогольных продуктов. Но, развивая культуру чистого виноделия, Наркомзем СССР и Садвинтрест одновременно ставят перед собой задачу широчайшего использования винограда, как высокопитательного пищевого продукта. Виноград должен стать привычным и доступным блюдом в каждой рабочей семье. С этой целью, привлекая научный и практический опыт Европы, мы начинаем строительство первого в СССР завода пастеризованных и консервированных продуктов из винограда. В дальнейшем возможен перевод значительной части наших виноградных хозяйств на эту продукцию полностью...

Директор говорил, заложив руки в карманы, раскачиваясь, наводя горячие степные глаза то на Веделя, то на немецкого инженера, то на второго докладчика из комиссии, заваленного папками. Иногда он повторял фразу, заколачивая ее, как гвоздь в дерево, шумно выдыхая тяжесть решительных слов и снова поднимая голос. Фразы его складывались шагами веселого грузного силача, спокойно приближающегося к драке и на ходу засучивающего рукава. Он весело и открыто, глядя прямо в глаза инженеру, говорил о социалистической культуре, о кризисах Европы и преимуществах советского строя. Немец весело улыбался и сочувственно кивал головой, — он отлично понимал по-русски. Фирма довольно сияла его налитым, отлично упитанным жилетом; подстриженным в мелкий ежик затылком и быстрыми пухлыми пальцами. Инженер казался добряком; одни мясистые, настороженные торчком уши и горбатый короткий носик под властным навесом бровей говорили о собранной силе и твердости. Он слушал Директора почтительно-вдумчиво, словно с легким комизмом по отношению к себе, предупредительно оглядывая лица присутствующих. С таким видом на глухой станции пассажир спального коричневого вагона, осторожно пробравшись по залитым нефтью путям к высокой громаде кипящего с глухим звоном паровоза, заговаривает с машинистом, повиснувшем

в окне из черной стали, и смотрит на него с панибратством спутника по поезду.

Директор закончил речь обращением к специалистам совхоза о недопустимости какого-либо пессимизма в отношении чисто винодельческой работы. Не может быть речи о свертывании работ столового и шампанского подвалов. Всевозможным слухам на эту тему он советовал не придавать никакого значения. В заключение он поддержал свои широкие штаны и почесался, как всегда, не смущаясь торжественной обстановкой. И германский инженер вновь сочувственно закивал головой.

— Ну, будем продвигать вопрос,— быстро произнес немец, опирая огромный роскошный портфель, набитый бумагами. Стеариновые манжеты его веерообразно выкинули на стол блестящие кипы прейскурантов, альбомов и проспектов, таких же накрахмаленных, как его воротничок. Фирма «Зейц» сияла на меловой бумаге безупречной солидностью, она пронесла сквозь войны и кризисы подавляющую аккуратность и чистоплотность. Рослые, обутые в шнурованные ботфорты люди на фотографиях походили на альпийских стрелков. Они довольно держали в руках совершенные орудия фирмы, управляли автоматическими плугами, поворачивая рукояти машин. Гидравлические пресса, отмочные машины для бутылок, помпы, шланги и воронки, десятки и сотни предметов внимательной ко всему техники, среди подстриженных садов, напоминающих цветочные клумбы, открывали заманчивый, полнокровный мир... Преискуранты инженера методично убеждали, как «Система здоровья» доктора Мюллера с ее неопровержимыми рисунками упражнений. Казалось, стоит только приобрести эту книгу — и все остальное сделают сами эти обнаженные позы, предусмотренные на каждый день. Инженер тасовал проспекты и альбомы с ловкостью опытного банкомета. Фирма играла крупно. И крупье загребал внимание, как стопки золота и кипы бумажек. Мгновенно зеленый стол дегустационного зала превратился в карточный. Инженер сразу бросил добродушие и тасовал козырь за козырем. За ним, вырастая из ловких манжет, из румяных щек, из глянца воротничка и сиреневой ткани костюма, мгновенно поднялись трубы мощной индустрии, старый Зейц с его акциями, банки и кризисы, фабрики и заводы, конкуренция и прибыль. Инженер, спокойный и молчаливый, разбрасывал свои карты, его горбатый короткий носик, как зор-

кий беспощадный клюв хищника, был приготовлен к удару, уши ловили каждый шепот. И сразу в зале крепко настоялась тишина. Шелестели преysкуранты, клонились головы. Карты инженера переходили из рук в руки.

Эдуард Августович нервно крутил махорочную папиросу, просыпая на стол желтую сухую крупу. Альбомы инженера потрясли его до глубины души. Даже Директор, ероша волосы, проглядывал меловые листы и одобрительно побрякивал. Папироса старого винодела никак не поддавалась пальцам. Немец замечал все.

— Разрешить? — любезно обратился он к виноделу, вынимая из портфеля щегольскую коробку, выложенную серебряной фольгой. — Это прекрасные папиросы.

Веделъ, бережно высыпав табак из мятой бумажки в коробок, осторожно взял плотную папиросу с позолоченным ободком. Его огромные руки из мореного дуба встретились с бледно-пухлыми; он внимательно осмотрел сигарету с желто-медовым табаком и закурил. Хозяйскими знаками инженер просил всех остальных последовать его примеру. Никто не отказывался. Директор, не отводя глаз от преysкуранта, взял две: одну он заложил за ухо. Только Поджигатель и Овидий не притронулись к нарядной коробке, и Лирик, сидевший напротив немца, сухо отказался на его второе личное обращение, демонстративно свернув из писчей бумаги огромный колпак и насыпав его крупой из жестянки старого винодела. Он закурил последним и наполнил весь зал запахом жженой бумаги и вагона бесплацкартного поезда. И я видел, как сестра художника несколько раз бросила на него взгляд, полный ласковой и спокойной насмешливости. Я видел многое: между ними кипел оживленный разговор, хотя они почти не смотрели друг на друга. Только несколько женских взглядов, несколько махровых солнечных лучей... Так они смотрят своей спокойной силой, уже познав уязвимые мужские слабости. Так они смотрят на осторожно ступающего сенбернара, забавного в покорности лохматых и прирученных сил.

Говорил русский докладчик комиссии. Нос его, походивший на веретено, вылезал за пределы всех норм, положенных тонким понятием «молодой человек». В остальном — своими провинциальными поповскими волосами, грубоватой застенчивостью и чрезмерным западничеством в галстукe и канареечно-зеленом жилете — он, как

стрелка компаса, то колебался на загадочного телеграфиста, то брал курс на фотографа, привыкшего к светской жизни в масштабе округа. Молодой человек проводил политику и нежно склонял голову, явно охорашиваясь деловитостью. Он называл инженера «уважаемым Эрнестом Эдуардовичем». Собрание то погружалось в прейскуранты, то замирало на хрустящей кальке с чертежами будущего завода желе, пастилы, пастеризованного сока, то блестело на полированных манжетах фирмы «Зейц». На подвалы Веделя и профессора Фролова-Багрева надвигались горы жестянок, витрины с пирамидами банок желе и виноградного варенья. Где-то в дымных цехах заводов, обсаженных круглыми деревцами, уже обтачивались из болванок железа и стали части станков и машин, где-то в столбиках цифр соединялись в одно целое напоры истории, законы экономики, политика и революция, все складывалось, расчленялось, превращалось в слова, а слова — в заказы, поездки, командировки, собрания... Жилет молодого человека присоединился к истории, длинные волосы его сложились из тысячи бытовых, классовых, экономических и прочих причин. Громада жизни растеклась мельчайшими ручьями, превращаясь в человеческие страсти, чудачества, привычки и чувства. В дегустационном зале они вновь входили в общее русло. И манжеты инженера, и крик Директора, и канареечный жилет, как капли под микроскопом, раскрывали весь кишачий борьбой разноликий классовый мир. Банка будущих консервов из винограда началась из мировых катастроф, международных связей, из тысячи страстей и волнений, из мириад молекулярных частиц отдельных человеческих жизней. Собрание слагало идею, молекулы и инфузории носились в ней подобно каплям в потоке реки. Их нес мощный поток, они составляли его водяные массивы. Жидкость бродила. Директор вводил в жизнь чистые расы дрожжей так же, как это делал профессор в бочках шампанского производства. А Овидий и девушка трепетали в этой игре сияний и блесков, в этой борьбе столкновений, возникновений и противоречий, наслаждаясь безмолвною близостью.

Она поправляла волосы, опуская глаза на грудь, выпрямлялась, и глубокая ямка под ее нежными глядящими пальцами на выпуклом шелке вздыхала прохладой. «Какой ты забавный и нетерпеливый! — говорило

это движение.— Неужели ты не видишь, что я совсем, совсем твоя?.. И, пожалуйста, не кури так часто...»

Он сидел, тесно обнявшись с Витей, гладил его плечи, что-то шептал ему на ухо... Глаза молодого Веделя светились мальчишечьей преданностью, его большие взрослые ладони на девичьих кистях рук покрывали пальцы поэта. Это означало совсем другое: Овидий носил кого-то на руках, он падал на колени, слезы и смех мешались у него пополам, как в школьничьей драке. Ему всегда не хватало обычных жестов и слов.

Так говорили ему между собой, пока слова не получил инженер. Первая же фраза заставила всех вытянуться.

— Очень приятно приветствовать,— начал немец, почтительно вставая,— русских специалистов в таком замечательном и прекрасном обществе. Я горжусь тем, что получил честь говорить здесь от имени германской техники. И я горжусь еще более, увидев вашу прекрасную постановку и попробовав ваше удивительное вино. От имени фирмы «Зейц» позвольте прежде всего передать мое восхищение и благодарность за сердечный прием. Зейц сказал мне, что Северный Кавказ — лучшая страна для изготовления виноградного сока...

Он произнес несколько любезных фраз, обводя присутствующих широким взглядом. Директор смотрел в потолок, папираса за ухом придавала ему лукавый вид. Инженер перешел к делу. Его сжатая энергичная речь жестикулировала в тесном обode деловой логики так же свободно и уверенно, как белые пухлые кулаки в узком зажиме манжет. С необычайной легкостью и силой он слагал деловые расчеты в точность чертежа, обнаруживая пристальное внимание и зоркость к новой обстановке. Фирма «Зейц» была превосходно ориентирована во всех нуждах России: она предлагала весь громадный опыт своей техники для нужд нового общественного строя. Страна намечала пути, бросала песок насыпей, прокладывала просеки. Инженер клал на дороги ровные блестящие рельсы. Казалось, деловые расчеты фирмы вполне укладывались на эти новые, вырубленные из дикой тайги народных сил, только что брошенные шпалы. С ошеломляющим цинизмом специалист входил во все детали новой системы, свободно допуская любые изменения европейских принципов. Фирма находила сбыт. Она так же, как предприятия военной индустрии, готова бы-

ла вооружать своим превосходным оружием любой континент. Инженер предлагал новые гидравлические прессы. Он говорил об их достоинствах и недостатках, сравнивал их с изделиями фирмы «Мабиль», признавая крупнейшие достижения французского машиностроения. Зейц работал на принципах полной откровенности, с простотой, похожей на ту, с какой щебечут любовницы всевозможных Пуанкаре, не желающие иметь в своей щепетильной практике никаких излишних сцен, кроме тех, что входят в их ясное сознание законной необходимости; все остальное, относящееся к поэзии, они охотно допускают, не придавая ему в то же время существенного значения... Инженер вырос и воспитался в институте превосходной технической проституции.

Суровые виноделы и виноградари сидели на своих стульях, как старики на танцевальном вечере. От гидравлических прессов они розовели, как девушки. Инженер закончил речь изящным спичем: фирма не утратила женской обаятельности и остроумия, немец вновь обратился к личному секретарю, играя глазами и снова превращаясь в любезного патрона. Он не забыл и сестры художника.

Несколько вопросов, оживление виноделов, седые громады Веделя, исчерпывающие ответы фирмы... Собрание блеснуло живой ответной речью профессора. Директор выхватил папирску из-за уха и махнул рукой. Официальная часть дня закончилась. Немец оживленно хлопотал, пожимая руки, добродушно, с лукавым комизмом оглаживая живот, его тучный зад, обтянутый безукоризненным пиджаком, казался спиной толстого аббата после причастия. А русские виноделы, с лицами времен Возрождения, молчаливые и чопорные, смотрели на него с осуждающей степенностью. Комиссия, светская, полная блеска и красок, двинулась к выходу. Мы простились. Девушки еще раз скрестили мечи, и я видел опять два воинствующих взгляда. Личный секретарь с торжеством прижался к локтю в сиреневом пиджаке, и перед дверью патрон, разводя руками, оказал ему все почести фирмы. Сестра художника выбрала локоть Овидия и стояла в толпе, подняв к Лирику близкие счастливые глаза. Их уже не видел Поджигатель. Его шевелюра, стоящая сухой грудой пепла, мелькнула на лестнице рядом с длинноволосым веретеном в канареечном жилете. Эдуард Ведель с достоинством показывал сыну германские преи-

скуранты, а Живописец хрипел и кашлял ровно три минуты в углу, у витрины с бутылками, походившими на осанку предпоследнего императора в низкой полицейской шапочке и кушаке околоточного. Так кончилось это собрание. В окно я еще раз увидел комиссию: Директор хлопал инженера по плечу и хохотал на весь двор, комиссия спешила осматривать горы и море. Сзади всех, за стройным, с чистой, как волосы ребенка, седой профессором, серьезно ступал Поджигатель. Старичок Фокасьев, стоявший сбоку, возбужденно кланялся, прижимая руку к сердцу.

### 33

Эдуард Августович пригласил нас четверых на обед, и мы провели на «Вилле роз» остаток дня до позднего вечера. Я никогда еще не ел жаркого из дикого кабана и никогда не пил такого тонкого белого вина. Светский день пронесся, как бал. Семья вспомнила молодые годы: старики сидели торжественно-грустные, и я видел горечь в морщинах заслуженного садовника. Да, да — эта комиссия... Она привезла неплохие вести, и очень хорошо, что у нас взяли за виноград. Прекрасное будущее русских гор! Он полагает, что именно у нас города свободных машин будут окружены виноградными лозами, их светлая кровь должна вспаивать молодость и здоровье. Виноградный сок будут пить, как воду: у нас хватит солнца и юга на все глотки веселой демократии. Но значит ли это, что его тонкое искусство, его винные бочки доживают последние дни? Не он ли является непримиримым врагом спирта и пьянства? Он твердо уверен, что культура вкусовых ощущений, наряду с уничтожением социальных причин, навсегда изгонит кабак и позорную водку. Читали ли мы статью о смерти заслуженного профессора бордоского университета Ксавье Арнозана, всю жизнь изучавшего действие вина на организм человека? Он может подтвердить выводы ученого целиком: красные натуральные вина — драгоценный нектар.

Винодел поднял стаканчик за чистое солнечное виноделие против спирта, гибридов и фальсификаторов. И поколение пило старое каберне «сорок четыре», и даже Живописец клялся, что никогда не притронется к изделиям Госспирта. А его сестра, розовая, как шипов-

ник, обнималась с Наташей и сияла кольцами волос у стройной и подвижной шеи. Никогда ее глаза не блестели так оживленно и грудной голос не ломался так хрупко и неуловимо, точно луч в хрустальной призме. Она уничтожала Овидия своей насмешливостью и спорила с ним из-за каждого пустяка. Даже Вера Ивановна вступилась за бедного Лирика, но девушке все было мало: она добиралась до самых чувствительных мест. Лукавство ее не имело предела,— в конце концов она дошла до китайца. При его имени Живописец бросил анекдоты и прислушался.

— Что это за ночной фрукт? — захрипел он, тараща глаза и обращаясь к Веделю.— Он замутил все головы и отбивает у меня сестру... Ей-богу, я сверну ему шею! Они,— он показал на меня,— пропадают у него целыми ночами.

Все засмеялись, а Люся начала расхваливать Жан-Суа.

— Он страшно милый! — сказала она.— И не советую тебе с ним связываться: он очень сильный.

— Сильный! — Живописец подмигнул Вите.— Слава тебе, господи, у меня еще наберется дюжина ребер.— Он поднял стакан: — За Арнозана, силь ву пле ассамбляж!<sup>1</sup>

Он зажмурился и выпил, по-рыбьи пульсируя ртом.

— Арнозан не дурак,— бормотал он, наводя на сестру притворно страшные глаза,— натуральный мужик... Люська, я тебя выдеру за китайца! Имей это в виду.

Она только смеялась, но я видел, что Овидию вовсе не нравился этот разговор. Он тщетно пытался свести его к литературе, но Наташа Ведель рассказала нам о Жан-Суа новые подробности. Оказывается, он пользуется исключительным успехом, и с его именем связано несколько крупных семейных драм.

— Я этого не знала,— удивилась Люся.— Вот как! Теперь я понимаю, почему вы завели с ним такую тесную дружбу.

И она еще раз окинула Овидия насмешливой лаской своих весенних глаз и передразнила его поющим голосом.

Мы поднимали стаканчики и пили вино. За окнами уже стоял лунный свет. Все шло прекрасно. Но мы вспо-

---

<sup>1</sup> Пожалуйста, за единение! (фр.)

мнили приглашение Винного секретаря и спохватились, когда полная ночь уже взошла неподвижным светом, а в теле звучали напевы виноградных бархатных слов...

Мы покинули виллу, прошли чащу ореховых деревьев. Да, история с китайцем может окончиться очень плачевно... Обернувшись назад, я увидел, что это так. Девушка, тесно прижавшись к Овидию, несла запрокинутое белое личико у его плеча, в ее измученных длинных ресницах не осталось и тени насмешливости. У них уже не было ни слов, ни вопросов, у них не было и ответа. Это я видел.

Я узнал сразу то, что вело их безоглядно, безраздумно, что закрывало их глаза и наполняло их целиком тем отчаяньем и острой тоской, которые названы тысячами слов и песен, о которых написаны гробницы книг и которые, заполнив людей, в почти смертельном чувстве толкают к спасению друг в друге. Как героическая музыка, это заверщенное страдание счастья искажает покой, нарастает все противоречивей и выше и, наконец, в напрасной жажде слиянья, обрывается в потрясающей схватке звуков, они уже задыхались темой симфонии под ветром улетающих скрипок.

Я видел их один миг — и отвел глаза. Ее лицо показалось мне искаженным и неподвижным. Никто не имел права смотреть на них в эту ночь. Они шли медленно, отстали, и вскоре мы остались одни. И Живописец напрасно ругался и кричал, окликаая свою насмешливую сестру. Одни сверчки отвечали на крик, безмолвная светлая ночь струилась вокруг, холодные камни блистали лунными кратерами, и деревья неестественно спокойно застывали в причудливых формах холодеющей лавы...

В парке мы слышали голоса и шум, кто-то кричал истошным голосом. Нижний этаж управления ярко светился открытыми окнами. У лестницы я увидел пригнувшегося человека без фуражки, он метался в полосах света, перебегая между деревьями, как старый кабан, застигнутый облавой. Я сразу узнал мастера Бекельмана. Он кинулся к нам, тяжело дыша и сопя, и я увидел, что чугунное под луной лицо его перемазано кровью. Бондарь обдал нас запахом винного перегара, хрипел, колот мои щеки жесткой щетиной усов, — ничего нельзя было понять из его таинственного возбужденного шепота. Но Живописец сразу стал серьезным. Я услышал упомина-

ние о милиции, что-то о секретаре, что-то о Директоре. Бондарь шатался, на его губах пузырилась пена. Крик в окнах затих, в телефонной спорило несколько голосов, затем неожиданно снова кто-то начал кричать и петь, а Бекельман снова яростно кинулся в черную тьму деревьев. Он носился вокруг дома, припадал к окну, он отвечал, как матерый зверь на крик своего собрата, угодившего в добрый волчий капкан. Из дверей управления вышел милиционер при нагана с длинным шнуром, и с ним молодой секретарь ячейки в юнштурмовской форме, перетянутой ремнем. В руках комсомольца сверкали пустые бутылки, под мышкой у него торчала четверть. Милиционер резким движением бросил окурок, — их молчаливость и быстрые шаги не предвещали ничего доброго.

— Фьюить! — свистнул Живописец. — Выпили и закусили!

Он проводил милиционера опытным взглядом и прищурился.

— Завинчено здорово, — сказал он просто. — Тут без губы не обойтись. Факт! А Бекельман-то, Бекельман! «Спасай, говорит, товарища...» Раз милиция была — дело кончено.

Бондарь носился в лунном свете под окнами и отчаянно жестикулировал, призывая нас на помощь. Крик из окна все нарастал: кто-то горланил пьяным, сбивающимся голосом.

Мы быстро поднялись по лестнице. В телефонной лавках сидел народ. Константин Степанович на своем обычном месте, у доски аппарата, конфузливо смотрел в одну точку, положив локти на стол. На полу коридора, у раскрытой двери, вниз лицом, лежал Винсек. Я сразу узнал его по праздничному френчу светло-зеленого цвета. Вязаный галстук, как мокрый фитиль, опускался изпод его шеи к выпуклым натекам жижи, разлитой повсюду. Все молчали.

— Так... — медленно произнес Живописец. — С днем рождения, стало быть.

Ему никто не ответил. Константин Степанович стыдливо отвернулся к окну.

— Ну, чего ж, — пробормотал художник. — Надо его перетащить на кровать. Дело житейское.

— Не трожьте! — сухо сказал ему кто-то. — Товарищ арестован.

Под окном послышалось нечто вроде рычания. На лавке засмеялись.

— Тоже! — зло отозвался опять говоривший. — Взрослые дети, а позорит себя и семью. Не знаю, чего с ними нянчиться!

Четко расслышался телефонный звонок. Мы поднялись наверх. В комнате коммуны кислый, тошнотворный запах мутно кружился среди нагроможденного хаоса стульев, разбитых стаканов и раскиданных повсюду скользких арбузных корок. Поджигатель с двумя практикантами, засучив рукава, сгребали мокрый мусор с клеенки стола в свертки из газетной бумаги. Наш Учитель имел добродушный и сконфуженный вид: как выяснилось, он присутствовал при самом финале вечеринки. Винсек напился до потери сознания и бил все, что ни попадало под руку, он не пощадил и Бекельмана. История уже облетела совхоз, сам Директор был на месте происшествия. Судьба бондаря и секретаря предreshена: завтра они оба будут уволены со службы.

Поджигатель, к моему удивлению, рассказывал совершенно спокойно. Завтра парторганизация и рабочком поставят вопрос о полном запрещении продажи вина на территории совхоза. Он добавил несколько слов о Бекельмане: профессор Антон Михайлович слишком интеллигентски либеральничает в отношениях со своими подчиненными. Бекельмана следовало давным-давно уволить за пристрастие к вину во время работы.

Практиканты молча продолжали уборку. Один из них вытащил из-под стола разбитый и помятый будильник. Я как будто видел его в фанерном чемодане секретаря несколько дней назад.

— Здорово! — сказал практикант, рассматривая изуродованные пузатые часы с продавленным никелем. — Вот бугаи! Что он, топором их колотил, что ли?

— Вещи нужно собрать в чемодан, — распорядился Поджигатель. — Вы, ребята, сложите их вместе и давайте кончать этот свинарник.

Под нашими ногами хрустели осколки стекла, сахарный песок, какие-то камешки... Да, это был настоящий праздник. Винсеку исполнилось двадцать восемь лет. Я и не подозревал, почему он с утра надел воротничок с галстуком и френч времен военного коммунизма. Мы не сумели оценить вовремя его многозначительное молчание. Но это уже конец. Даже в графине, пробка которого

исчезла неизвестно куда, плавали желтые, отвратительные, как скучный рассвет после распутной бессмысленной ночи, окурки.

Мы очистили стол и снесли вниз груды мокрого мусора. Один Живописец стоял в стороне и сумрачно глядел в окно. Когда принесли швабру и я стал подметать пол, пришел Овидий. Он уже знал все: сейчас при нем секретаря пронесли вниз. Лирик бурно сожалел Петухова и валил всю вину на поколение. Бондарь Бекельман караулил шествие в кустах и снова пытался отбить безжизненного секретаря от милиции. Он рыдал, как ребенок, и проклинал товарищей, которые оставляют друга на произвол судьбы. И, конечно, бондаря довольно резко попросили убраться восвояси.

Так кончился этот день. Слушая Овидия, я продолжал действовать шваброй. На полу, среди осколков стекла, я нашел раздробленные раковины и клочья плотной бумаги с серовато-грифельным гляncем на одной стороне. Я собрал несколько клочков; это были остатки фотографии, на которой молодой Винсек стоял возле колонны в облаках и пальмовых ветвях, а в роскошном кресле с резными украшениями, наподобие тех, что украшают катафалки, сидела дама с коком и глазами, как две маленькие горячие гадюки. На одном из клочков уцелело полголовы, и черный глазок еще смотрел на меня остановившейся жизнью.

Вскоре потух свет. Живописец ушел последним, провозгласив покой профессору Арнозану. Окно зажглось, как волшебный фонарь, лунный глобус излучался нескончаемым сияньем. И странные, тревожные сны без конца уводили меня в далекую, до слез правдивую молодую жизнь...

Вишневые, снеговые сады осыпались на остроконечные крыши, струился свежий кисловатый запах, леса, полные дождевых ландышей, открывали дорожки. Чьи-то ласковые руки ложились на мои глаза, и сердечный свет открывал даль, такую широкую и необъятную, что в груди обрывалась жизнь... Ах, эта девушка! Она приближалась ко мне в синем весеннем костюме, звала и смеялась, но я не мог двинуться с места. Нестерпимая мука бессилия сковала ноги, губы мои не шевелились. Я тщетно пытался ответить ей, сказать самое главное, но не успел. Огромный китаец с кривой саблей уже гнался за ней, дьявольские глаза его, как щели страшных

черных дверей, приближались все ближе и ближе. Она бежала ко мне, я видел слезы в ее лучистых глазах, мольбу, любовь, надежду, и в один момент все перевернулось, она кинулась ко мне на шею, и пронизывающий восторг ее теплоты, свежести, запаха ее волос, миг najwyżшей близости — обрушился на меня чудесным ужасом и ударом... Китаец занес саблю и отрубил мне голову. Она покатилась по земле, и я в первый раз за всю жизнь увидал свое лицо со стороны: это катилась голова Овидия с белыми, как мел, старческими волосами. Я вскрикнул, бросился вперед и пронулся.

Потом кто-то больно тряс мое плечо и дышал прямо в лицо. Выпуклая бронзовая рожа с выкаченными глазами висела надо мной. Она показалась мне огромной и страшной. Я слышал хриплое бормотанье, горящий лунный экран на полу наполнял комнату голубоватым туманом.

Бондарь Бекельман грубо тащил меня с постели, прижимая к груди.

— Пой-дем, пой-дем... — горячо и прерывисто шептал он раздутыми губами. — Пойдем, отобьем товарища... Пус-кай увольняют, пускай!.. Мы разобьем им мор-рды... Они не знают Бекельмана... Они и-не зна-ют...

Он тискал мою шею и ругался, грозя всему миру. Он разбудил всех, и его еле выпроводили домой.

В эту ночь кончилось бабье лето. Секретарю перевалило за двадцать восемь, и во всех бочках, налитых виноградным соком, бурно бродили солнечные силы, превращая кровь зеленой земли в молодое вино.

Не ведьмы ли карябались вместо кошек в бочках старого заслуженного мастера Бекельмана?

Совсем другой ветер опять подул с севера.

Кочегар Придачин по-прежнему делится со мной махорочным коробком. Тучи истории плотно заложили горизонт, письма из Москвы показывают, что нечего развешивать уши.

Прошло два дня. Послезавтра Винсек уезжает навсегда из страны виноградников, он сдает последние дела, а все остальное время лежит на кровати и зловеще мол-

чит. Никто не знает, куда едет этот одинокий человек, уже потерявший общий язык с поколением. Может быть, он снова отправится искать его в далекие степи Казахстана... Бондарь уже не работает. Он занят своими удочками и тоже прощается с золотистыми карпами, хорошо знающими его крючки в течение многих лет. Но жизнь идет, подвалы шампанского по-прежнему хлопают пробками в отделении дегоржажа. Пришли большие заказы, и хмурый Ничепорчук соревнуется сам с собой. Он дошел до тысячи ста бутылок и побивает рекорды старичка Фокасьева.

Сегодня с утра ветер пригнал хмурые водяные тучи. Они осыпаются мелким дождиком. Порою мне кажется, что кругом не хватает редких гудящих сосен, брусничных болот и серых гусиных косяков, держащих путь против ветра. И озеро, изрытое белыми бороздами, гулко расплескивает бурунную пену.

Овидий получил какое-то неприятное письмо в конверте со штемпелем Государственного издательства. Он изорвал его на мелкие клочки и ушел с Поджигателем, проспоровив целое утро на тему об искренности. Поджигатель резко говорил ему, что сама постановка вопроса, как в отношении творчества, так и в отношении личного поведения, является пережитком анархического протестантства ущемленной мелко-буржуазной интеллигенции. Овидий кипятился, как молодой петух.

Я слушал и не проронил ни одного слова. Но Овидий вышел из комнаты с непреклонным видом, запахнувшись в непромокаемый плащ, и вскоре я остался один. Тучи спешили по серому небу, за окном брезжился облитый водой и неприветливый парк, деревья бежали листвою под ударами ветра. А в моем чемодане, открытом в первый раз за все это время, я нашел пожелтевшую московскую газету.

Я просидел все утро, приводя в порядок свои тетрадки и записи. На дворе шелестел мелкий дождик. И я не сразу заметил, как в комнату вошла девушка в сером пальто, забрызганном черными каплями, с непокрытой головой в мокрых, слипшихся прядях волос. Лицо ее, влажное от дождя, показалось мне совсем ребяческим, на ее желтых башмаках налипли комья влажной глины. Она весело и оживленно поздоровалась, и по одному ее взгляду на кровать Овидия я понял, что она пришла разговаривать вовсе не со мной.

— Его нет? — спросила она после некоторого молчания. — Ну и отлично! Я вам не помешаю, если сяду здесь и прочитаю книгу? Сегодня мне что-то скучно, и я больше не могу сидеть под зонтиком и подавать краски своему братцу... Он стал ужасным ворчуном за последние дни. Он ругает Директора за Бекельмана и не хочет ничего слушать.

В ее руках я заметил томик Тютчева. Она сняла пальто, бросила его на постель Овидия, оправила длинное синее платье и, взглянув на меня спокойно и серьезно, села, облокотившись на его подушку. Дождик слышнее шуршал в стекла окна, по небу ползли клубы серо-мраморных туч...

Скучны дождливые, обдутые норд-остом приморские дни на юге. И неровный слезливый свет сквозь подтеки неба на стеклах только сильнее подчеркивает холодную неподвижность масляных стен...

Мы сидели молча. Она изредка поднимала со страниц книги длинные спокойные ресницы и улыбалась мне светлыми глазами, совсем с видом учтивой спутницы по вагону, когда за дребезжащими гранеными стеклами бегут, опускаясь и поднимаясь, проволоки, мгновенно возникают и проваливаются столбы, а вдали заворачивают и кажутся дисками ровные степи...

Вагонный поток четко перестукивался в моем сердце... Она читала книгу, вытянув к полу длинные шелковистые ноги.

В дверь постучали. Она крикнула за меня «пожалуйста», приподнялась. Как-то боком, таинственно, прижимаясь к стене, просунулся Константин Степанович и, разводя руками, смотрел назад, кверху... Явно мужская снисходительная улыбка наворачивалась кольчиками на концы его тощих подслюненных усов. Зачесанная лысина его и, словно выпаренная в бане, красная шея в глубоких трещинах, как всегда, сияли довольством.

— Пришли к вам, — произнес он недоверчиво, будто не решаясь впустить кого-то, громко стучавшего башмаками. — Проходи, проходи! — добавил он снисходительно в мрак коридора.

Светлана Алексеевна быстро поднялась, выпрямилась и оправила волосы. Мое сердце взлетело и упало ледяным комком: из дверей, тоже боком, показалась высокая женская фигура, повязанная красным платком, вымок-

шим до нитки, и Константин Степанович, вежливо глядя мне в глаза, посторонился с застенчивым видом.

— Ну вот,— сказал он вошедшей,— привел тебя, как хотела. Спрашивай, кого тебе нужно.

В темном деревенском саке и грубых полусапожках прямо на босые загорелые ноги, в этом бабьем наряде, вроде тех, что привычны нам на пригородных молочницах, она показалась мне непомерно высокой и сторбленной. Константин Степаныч сбивчиво поглядывал на мокрый узелок в ее правой руке. Я сразу узнал девушку из долины Дюрсо. Маленькой красной пятерней она прижимала к груди оранжевую дыню яркости морозного дубленого полусубка. Зеленые, подводные глаза ее с озабоченным любопытством прямо смотрели в лицо Светланы Алексеевны. Она перевела взгляд на меня, усмехаясь губами.

— Ну как... признал? — спросила она бойко, обнажая два ряда мелких белых зверьков.— А я до товарища с гостинцем... Уж спрашивала, спрашивала, где живут московские, насилу доискалась! Вот он все пускать не хотел.

Она резко поглядела в сторону телефониста.

Тот, улыбаясь, заботливо одернул скатерть на столе.

— Им только о тебе и думать! — сказал он, извинительно оглядывая Светлану Алексеевну.— Смотри вот, арбузы прокараулишь!

— И прокараулю — не тебе отвечать.

Телефонист вышел.

Караульщица положила узелок на стол, опустила осторожно дыню и сдернула платок с головы. Смолистые, небрежно заплетенные волосы ее упали на плечи.

— Дожжица какой — страсть! — сказала она, закидывая тяжелый жгут волос.— Ну, здравствуйте! — Она протянула мне холодную крепкую руку.

Сестра художника не проронила ни слова: она приветливо поклонилась и прошла несколько шагов до кровати, помахая концами длинного индигового платья, с тем гордым тактом, с каким проходят расстояние от двери до кресла у белого столика молодые женщины, впервые попавшие к гинекологу. Мы разговаривали, а она листала книгу, изредка поднося белый мизинчик к глазам и внимательно разглядывая свой розовый ноготь. Право, ее очень интересовал этот клочок Огненной Земли на человеческом теле. Караульщица с диким просто-

душием смотрела все время в ее сторону. Я предложил ей стул. Она сидела, поджав ноги, размахивая своим красным платочком и неподвижно улыбаясь откровенными губами, казалось — нагими, до того они блестели влажно и розово.

Я объяснил ей, что Овидий ушел на собрание в рабочий комитет и вряд ли вернется ранее трех часов. Если у нее есть неотложные дела, я могу сходить за ним. Я употребил неосторожное слово. Какие могут быть дела у тонкого лирика современности с девушкой, караулящей арбузы на бахчах долины Дюрсо? Светлана Алексеевна быстро листала страницу за страницей.

— Ну и ладно, — сказала, усмехаясь, караульщица. — У них делов-то побольше моего... А вы, барышня, чья будете? — спросила вдруг она, не спуская глаз с индигового платья и бледно-серебристых чулок.

— Я? — быстро захлопнула книгу та, вскидывая на караульщицу большие лучистые и насмешливые глаза. — Я его сестра.

И она встала, потянувшись, погладив бока нежными руками, наглухо застегнутыми в узкие мягкие рукавички. Я напряженно смотрел в окно. Унылые водяные тучи со снежными пятнами летели над деревьями, и листва ходила под нордом, закипая волнами глухого шелеста. Караульщица, не сводя глаз с молодой насмешливой женщины, расстегнула свой неуклюжий сак, ленивым движением повела плечами и, словно наедине перед зеркалом, открыла гладкую выпуклую шею с низким вырезом белого ситцевого платья в черных горошинах. Проворный клетчатый кусок ткани соскользнул на ее колени комком шелкового стекла. Это было прекрасное заграничное кашне, выбранное с большим вкусом. Светлана Алексеевна с изумлением смотрела на эту странную девушку: откуда у ней могла появиться такая изящная и дорогая вещь? И она обращается с ней, как с последней тряпкой...

Под бедным сакон ее задорное, насмешливое тело раскрывалось, как запах кувшинки, в глазах ее плавали отсветы дремучей тины. Эти глаза по-прежнему смотрели вокруг с неподвижной откровенностью.

Тучи, развеянные ветром, уже прорывались голубыми пропастями. Я болтал всякий вздор. Караульщица развязала бабий вымокший узелок, — там оказались дешевые папиросы и пачки махорочного табаку. Она уже

собралась уходить, замотала вокруг шеи свое кашне и стояла, помахивая красным платком.

Я видел, что на ней не было ничего, кроме базарного платья и черного полупальто, блестящего заношенными металлическими пятнами. И с полусапожек ее на линолеум пола натекали грязные, размешанные с глиной лужи.

— Что же вы будете делать, Аня? — сказал я ей. — Ведь арбузы скоро кончатся. Где вы будете работать?

— Чего кончатся? — наивно переспросила она. — Вот еще! В Москву поеду на фабрику.

— Вы не замужем? — спросила Светлана Алексеевна, искоса поглядывая на ее голые, необыкновенно гладкие ноги. — У вас есть семья, отец, мать?

— Как бы не так! — вызывающе засмеялась караульщица. — Я и сама прокормлюсь, я не беленькая. Мужья-то таких не берегут, кто по шалахам валяется. А мне и не надо!

Она помолчала и совсем уже дерзко добавила:

— Что мне муж! Кого хочу, того и люблю. Пускай теперь сами найдутся!

Она оглядела еще раз комнату, улыбнулась мне и подошла к окну.

— Чего затворились? — спросила она. — Али замерзли? А мне хорошо, у меня окошек нету... Ну, до свиданья! Гостинец-то ему передайте, — добавила она, протягивая мне руку. — Скажите, мол, приходила... Он знает... А вы, барышня, коли он вам брат, чего не подумайте. Мы ведь — не как московские.

Светлана Алексеевна ничего не сказала, беззаботно кивнув головой. Караульщица вышла, высокая и прямая, сложив руки — рукав в рукав. Через окно я видел ее еще раз: она шла, быстро и ловко ступая по гравию, и среди мертвой зыби ветра, дождевых последних капель, вспыхивающих блестками рыбьей чешуи в косых столбах солнца, она вся, с блуждающими губами, казалась улыбкай ожившей буддийской статуи.

Сестра художника слишком оживленно болтала со мной в этот день. Мы встретились все вместе в столовой, и никогда я не видел Овидия с девушкой такими беспечными и веселыми. Мы курили табак и ели ломти холодной дыни, похваливая долину Дюрсо. Посещение караульщицы прошло почти незаметно, я не сказал ни одного слова, а Светлана Алексеевна встретилась с Ови-

дием раньше нас. Очевидно, и она не приняла этого визита всерьез. Но все же я видел, что она отказалась от дыни. Она не притронулась к ней и попросила Овидия разделаться с куском прекрасного плода, давшего Живописцу хороший повод для разговора о Гогене. Он ругал всю современную живопись и объявил, что собирается ехать к шаманам. Дикари ближе к искусству, чем век индустриализации. Поджигатель не спорил с ним в этот день и добродушно поблескивал очками, а практиканты слушали художника с почтительным вниманием. Портрет Придачина сделал свое дело, авторитет Живописца прочно утвердился в совхозе «Абрау-Дюрсо».

У кооператива мы встретили Наташу Ведель: в ее руках был уже новый роман. Мы разговаривали, а Живописец кашлял в стороне ровно три минуты, пока две девушки, дружно поцеловавшись, болтали на неопытном женском языке.

— Могила! — отплевывался Живописец, покачиваясь. — Не сыграть бы к профессору Арнозану... Как, как! — докашливал он последние секунды. — Шаманы — серьезные мужики. Мы поедем к ним вместе с Бекельманом. Пускай это называют биологизмом.

— Слышите, слышите! — смеялась его сестра. — Он собирается к шаманам, а сам не может без меня сделать и шагу. Имей в виду, что я не собираюсь к дикарям. А шамана я заведу раньше тебя.

Она хохотала и поглядывала на Овидия, стоявшего в своем непромокаемом макинтоше с невозмутимым видом. И Наташа Ведель пригласила девушку на «Виллу роз». Она взяла с нее честное слово и добавила, что не отпустит ее до следующего утра.

Мы вернулись домой, когда ветер совсем разогнал дождь, отдельные помолодевшие тучи озирались в теплой синеве предвечернего воздуха. Косые лучи шарили в мокрой листве, отряхивающей дождевые россыпи, на горах ветер кружил лиловые и красные тени, усталые тени лесов. Норд-ост усиливался. Приближались осенние штормы.

Но я слышал, как Овидий, прощаясь с девушкой, сказал, что он снова идет к китайцу Жан-Суа караулить последние участки пино-франа на Магеллатовой Короне.

И, к счастью, беззаботная девушка не придала его словам никакого значения.

Я сделал все, чтобы Овидий не ушел в этот вечер. Наступала тридцатая ночь нашей коммуны, тридцатая ночь поколения. Еще раз мы лежали на кроватях все вместе и пускали папиросный дым. Овидий братски разделил полученный подарок. Но все мои уговоры не привели ни к чему. Он вытащил свои чемоданы, выбрал лучшую сорочку, повязал изысканный синий галстук и надел серый пиджачный костюм. Очевидно, Жан-Суа устраивает виноградный бал. И Поджигатель, как всегда, заботливо оглядел вероломного друга и посоветовал ему надеть калоши: он сам в дождливые дни морщился от распухающих суставов. Овидий крепко пожал мне руку, и я вышел проводить его на крыльцо.

Ветер раздувал желтое вечернее пламя.

— Я вас очень прошу,— сказал я еще раз Лирику,— оставайтесь сегодня с нами... Я уезжаю на днях. Хотелось бы поговорить... Кроме того, посмотрите, какая погода.

— Пустяки! — засмеялся он в ответ.— Я вас очень люблю, но думаю, что вы никуда не уедете, во-первых. Во-вторых, мне нужно видеть Жан-Суа. Мы караулим сегодня в последний раз.

— Как хотите, но я все-таки вас очень прошу...

— Нет, нет!

Он схватил меня за плечи, обнял. От его свежесвежих щек пахло одеколоном.

— До свиданья! — сказал он.— Помните, как у Тютчева:

Так здесь-то суждено нам было  
Сказать последнее прости,—  
Прости всему, чем сердце жило,  
Что, жизнь убив, ее испепелило  
В твоей измученной груди!

Он читал свободно и звучно, вдыхая стихи, как воздух, глаза его блестели.

— Вот стихи! — восклицал он.— Это поэт! А дальше, дальше...

Прости... Через много, много лет  
Ты будешь помнить с содроганьем  
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем,  
Где вечный блеск и ранний цвет...

Он схватился за голову, быстро сбежал с лестницы.

— До свиданья! — кричал он на ходу.— Все это ерунда, а вот у меня опять зарезали книгу...

Он крикнул что-то еще и возбужденно легко побежал по дорожке. Ветер трепал его пушистую голову, ровно подстриженную кружком над гордой юношеской шеей.

Когда я вернулся в комнату, Поджигатель добродушно беседовал с Винсеком и советовал ему поступить на технические курсы. Секретарь угрюмо молчал и глядел исподлобья. Завтра в двенадцать часов он уезжает и прощается с нами — быть может, навсегда. Я собрал бумаги и книги, надел старую охотничью куртку.

— Вы что, уходите? — спросил меня Поджигатель. — Я было хотел поговорить с вами по душам...

Он смотрел, ласково улыбаясь, совсем как в старое время. Его клетчатые портянки лежали в неприкосновенности на полу. Маленькое тщедушное тело, завернутое по пояс в суконное одеяло, выглядело трогательным.

— Я хотел было отправиться к морю... Но я с удовольствием останусь.

Мне, собственно, давно хотелось рассказать ему кое-какие вещи.

— Нет, нет! — сказал он приветливо. — Идите. Это мы еще успеем. Я просто прихворнул и немного раскис. А сейчас мы побеседуем с товарищем...

Он решительно просил меня посмотреть шторм на море:

Давно стоял свежий росистый вечер. Тучи снова напоздали на горы. На клумбах старого цементного фонтана, разбитые и ошеломленные водой, шевелились, поднимая стебли, заглохшие летние цветы. Табак уже отцвел. Под сырой зеленой скамейкой светлой тенью белела сухая полоса песку. Уже не осталось совсем летних дождевых запахов. Я сидел под нашим окном, смутные звуки голоса Поджигателя доносило сверху. Дым папиросы мешался с ветром, шипели деревья, сквозь листву мерцала серая рябь тусклой озерной воды. Дом словно вымер. За окнами, прикрытыми наглухо, тьма чернела водяными потемками. Лишь одно окно нашей коммуны звучало распахнутой жизнью... Я как будто ослышался. Шипели деревья, возникали и замолкали голоса, в налетающих порывах упругого беспокойного шума мне почудились глухие рыдающие всхлипывания... Не может быть! Ветер расплескивал шум, звуки набегали и откатывались движеньем прибоя, на их гребешках отчетливо нырял и покачивался голос Поджигателя. Кто-то глу-

хо рыдал — так, как рыдают мужчины, с редким, почти собачьим лаем, не стирая слез и не закрывая лица...

Да, да, это — Винсек.

Я вскочил, бросился к лестнице. Наверху захлопнулось со звоном окно, и все смолкло. У дверей с натеками водяных полос, сбегавших свежей малярной краской, на меня налетели голоса, шум, мгновенный распах лестницы. Сестра художника едва не сплила меня с ног. Живописец, в пальто и кепке, ловил ее за плечи, что-то громко и возбужденно говорил и так и остался передо мной со сведенным, полуоткрытым ртом, собранным в морщины старого бритого детства.

Лицо девушки, с решительными потемневшими глазами, бледное от пудры, на секунду отшатнулось назад.

— Вот! — быстро сказала она, хватая отвороты моей куртки рукой, затянутой в тугую перчатку. — Отлично! Я только вас и ждала. Он мне решительно надоел своим ворчанием!

Она была в светлом пальто, белой шапочке, на ее лбу между тонкими серпами бровей топорщилась нетерпеливая морщинка.

— Идемте, идемте! — стремительно тащила она меня вниз. — Вы меня проводите до озера. Я буду купаться. Слышишь! — обернулась она к брату, настойчиво подталкивая меня по дорожке. — Пожалуйста, не ворчи! Я буду ночевать у Наташи.

— Люсь-ка! — сердито и предостерегающе кричал ей Живописец.

— Нет, нет... Я иду, иду! — отозвалась она высоким голосом, прибавила шагу и быстро повлекла меня вперед, размахивая купальным полотенцем. На миг она подняла голову, и я увидел, как она закусил губы; широко раскрытые глаза ее остановились и наполнились оплывающим блеском...

Она шла, сжимая мой локоть, почти бегом, взглянула мельком на мое лицо и снова опустила голову. Мы продирались сквозь цепкую тропинку, нас осыпало дождевыми ветками, — она ничего не замечала.

— Скорее, скорее! — шептала она лихорадочно, совсем не замечая меня. — Я очень тороплюсь! Нужно обязательно выкупаться, а то будет темно.

Я что-то бормотал, она не слушала, решительно прыгая через камни, не отстраняясь от листьев, хлеставших прямо по лицу, и ни капли не заботясь о туфлях, пол-

ных уже воды и грязи. Вечерний дождь падал где-то туманным занавесом, закрывая часть лихорадочно-воспаленного неба. Мы спустились с обрыва. Багровый закат гнал озеро, катившее грязную мыльную пену меж темных, курящихся призрачным паром гор, и берег раскачивался среди неприятных волн, то отходя назад и покрываясь шумом и всплесками, то высовываясь мелькающей глиной, камнями и зеленым дном с гладко прилизанной тиной. Норд-ост усиливался. Он влипал в тело неослабевающей силой, берег, землю, воды, весь мир гнало на запад, нас несло мимо неподвижных облаков, и они оставались сзади, как дикие первобытные берега.

Девушка быстро сбежала к самой воде. Не отвечая на мои слова, с полотенцем, придутым к пальто, она смотрела вперед, через рябую водяную равнину, уходившую под навесы лесистых гор. Лесные гребни их неслись мимо облаков, как и мы; они взрывали распухшее небо острым килем темного хребта, оставляя клубящийся дым. Там среди лиловых и желтых кустарников кружилась дорога в долину Дюрсо.

Туфли девушки окатывало разливами волн. Я кричал ей, она не отвечала. Я видел, как она, прыгая с камня на камень, добралась до рыбацких мостков и возилась у лодки, бившейся на воде совсем в виттовой пляске. Очевидно, у нее есть ключ. Движение... она бросила полотенце, расстегнула пояс и, обернувшись ко мне, замахала руками.

— Идите, идите! — рвало ее голос на клочки фраз. — Я раздеваюсь! — и еще что-то, еще...

И она, уже не оглядываясь, начала стаскивать светлое пальто, подхваченное ветром, ее белая шапочка ныряла поплавром среди пены и волн, и я украдкой видел, все дальше и дальше, как светилась она — одна на грифельно-серой воде, под блеском уходящего запада, под ветром и тучами, на древнем озере, знавшем два сотворения мира. Потом я потерял ее из виду и спустился в котловину виноградников.

Я пошел к морю. Да, я пошел к морю. Я пошел к скалам, видевшим все паруса скитальцев, и долго смотрел на запад. Может быть, я что-то кричал с этих холодных камней, может быть, нет, — в этом не было ничего удивительного: море, скалы и ветер, бившиеся сорванным хлопаящим парусом, охваченные спешкой, толкая друг друга, обливаясь шумом, свистом и плеском, неслись впе-

ред, на горизонт, заогненный обветренным диким блеском, где свинцовые потемки, серный клубящийся дым, дождевые туманы уже мешались в бестолковой сумятице искаженного хаоса. Внизу что-то ахало, запевало, бухало и после удара откатывалось назад, сталкиваясь с новым ударом... Мелкие задерганные волны, как орудийная прислуга у скорострельных пушек во время боя, кидались в брызги и дым при очередном откате, — и снова удары сотрясали камни и горы, и снова гигантский компрессор откидывал назад упругую косную силу, расстреливаемую береговыми батареями в упор. И все несло с гибельным бешенством вперед и вперед...

Здесь, на этих скалах, Овидий произносил речи к солнцу, обучаясь ораторскому искусству. Он показывал нам жертвенные мессы, он плясал здесь, — и я помню, как девушка смеялась до упада... Но я вовсе не хотел подражать Лирику. Я летел вместе с землей мимо туч. Может быть, я тоже катался по земле, пытаюсь перекрыть водопад гула, и мои слова уносило во мрак, подгоняемый все сильнее и сильнее, как массы армий, бегущие при отступлении. В ночной темноте, залитой дождем и ветром, море стало ужасным; остатки вечера, разгромленные бурей, бежали без оглядки, все перемешалось в свисте и треске и, слившись в единый темный поток, несло под уклон, как эшелон, потерявший тормоза и управление и проваливающийся куда-то в пропасть вместе с осатаневшими лентами матросских шапок, сбоку наклоненного паровоза, слившегося в образ гибели.

Меня вынесло из этой ночи, из темных дорог, воя и шелеста, из сечи дождя и веток только к рассвету, когда я, проплутав полночи, оглушенный, разбитый до самых костей, еле нашел свою кровать, скинул с себя все до нитки и, мгновенно заснув, упал снова в неистовый грохот и смятенье. Всю ночь меня несло в непроглядный мрак и гул и вдруг сразу раскололо вдребезги, разбросало и, наворотив вместо яви груды оскаленных досок, щеп, железа и пламени, кинуло кверху, перевернуло, и за мной, медленно нарастая завесой суставчатого черного дыма, разбитый эшелон мрака вдруг распался, оседая грохотом...

— Где Люся?! Где Люся?! — тормошили меня Живописец и Поджигатель. — Проснитесь скорее и отвечайте: где Люся?

Они смотрели на меня, как укротители на дикого зверя. У художника на сером, известковом лице отваливалась челюсть.

— Где Люся? — крикнул еще раз Поджигатель в упор. — Отвечайте же, черт возьми!

Он стоял передо мной в одном белье, глаза его непримиримо и твердо чернели в очках, наведенные на мои крошечными ранками зрачков, зорко-разъяренных в карем спокойствии. Ему не хватало нагана в руке и оцепенелой шеренги глядящего исподлобья партизанского бунта.

Мгновенье.

Я еле нашел несколько слов. Они прозвучали, как выстрел. Художник сорвался с места и, сразу обмякнув, опустил руки, повисшие обезволенными плетями.

— Кончено... — глухо сказал он. — Ее нет у Веделя, я звонил только сейчас.

Они переглянулись с Поджигателем. Один красноречивый взгляд, секунда мигнула на зорких очках, и я видел, как кривая судорога замкнула их лица. Поджигатель сморгнул ее в сторону, выпрямился, очки его блеснули ожесточенно.

— Она купалась, — пробормотал он хрипло. — Так... Одевайтесь, оде-вайтесь! — крикнул он вдруг яростно и кинулся к своей кровати.

Он быстро напяливал на себя рубашку, брюки, бросая Живописцу обрывистые фразы. Тот сидел за столом, безжизненно опустив голову на локти. Перепутанные секунды, неловкость спешки и нависшая туча беды — все плясало в сознании, мои шнурки никак не попадали в глазки ботинок. Потом полутемный дом, серый рассвет, хлопнувшая дверь, подхваченные ветром и мелким дождем, смешались в прерывистом дыхании, сгнули, — и сразу низкое дымное небо, ветки кустов надвинулись на меня вперемежку со скользкой глиной и стучащим сердцем...

Мы бежали к озеру, перемахивая через камни и рытвины. Живописец что-то кричал, хватаясь за грудь, но теперь уже было не до него. Обрыв полыхнул, как гром, острым удушьем беспомощности. Грохот свежел. Шторм сбивал накипь к горам: в бурных потемках, освещенное рассыпчатыми водяными снежками, каталось и гудело набатом пустынное поле... Лодки не было. Рыбачьи мостки кидались с разбега в брызги и фонтаны, разбега-

лись опять, поднимали черные сваи и вновь проныривали крутые гребни, скрываясь в зеленоватой мути.

Озеро не было здесь особенно широким. Выступающий мыс обрыва закрывал его справа. Оно мчало отсюда волны и ветер, загоня их в узкий пролив. Перед нами, зажатая в тесные тиски берегов, неслась вода, и дикий сквозняк норд-оста, выдуваемый откуда-то снизу, почти сшибал с ног. В его упругой силе терялись всякие слова.

— Здесь! Здесь! — кричал я Поджигателю, как в трубку междугородного телефона, пробиваясь сквозь резиновый натянутый воздух и тщетно хватаясь за мокрые кусты.

Он понял по моим жестам и бесстрашно катился вниз на огромных башмаках, собирая пудовые навороты глины, в своей клетчатой рубашке, надутой пузырем; волосы его поднялись столбом; на середине обрыва он поскользнулся, сорвался и полетел, мелькая широко раздвинутыми и задранными кверху ногами.

Я нашел его у самой воды, с изодранным в кровь локтем, в рубашке, располоснутой пополам от самой шеи, — он равнодушно протирал очки, глаза его, как зачарованные, смотрели на стену воды, выпукло громоздящуюся и налезаящую все выше и выше... Она росла, поднималась, рушилась на берег, заунывно, с глухим шумом неожиданно затопляла камни, прибрежные рытвины — и, отхлынув, снова кидалась вперед... Ветер, казалось, не успевал догонять этот шум, рев и грохот. В тусклом свете холодного утра все мелькало и двигалось, и весь мир, пригнутый, как ветка, бился и трепетал, со всех сторон облепленный затрепанном воздухом.

С обрыва слабым, отдаленным стоном донесся крик... Его подхватило, как одинокую искру в разорванном столбе дыма, и сразу снесло, завертело и забросило вдаль. Мы кинулись по прибрежным камням. То кричал Живописец, похожий на ветряную мельницу, застигнутую бурей. Ничего, кроме туч и воды, ничего, кроме плеска, брызг, запаха сырой, только что освежеванной рыбы и ветра, заполняющего рот, нос, уши и все тело, — ничего и никого на длинной прибрежной косе.

Потом у меня почти не осталось памяти... В камнях, отмытых до глянца половодным размахом шторма, вдалеке от мостков я нашел женскую шапочку, набитую илом

и грязью. Я сидел на камнях и терял все... Я неся в рывинах белых и серых туч, небо махало гигантскими грязными крыльями, кто-то бежал и кричал, бросаясь в прибой, и вода поднималась до самых гор, летела на меня плеском и ревом, — опять ничего не было, кроме мокрого куска шерстяной ткани и невероятного сознания перед тем, что осталось там, в глубинах, на дне, там, куда вдруг утащило последний вечер, лодку и ее серое пальто, в последний раз мигнувшее и навсегда задутое вместе с белой шапочкой неистовой спешкой заката. Исчезли горы, леса и камни. Меня трясло и тошнило от ветра, от холода, от плеска...

Кипела вода, земля отплывала от облачных городов. Косяки туч пропадали из виду. Осенние пестрые горы бороздили их, оставляя дым. Кто-то бежал у самой воды на противоположном берегу, падая, шатаясь и протягивая руки. И в тот же момент я услышал крики, похожие на вопли истязания. Поджигатель, голый по поясу, неистово махал изодранной рубахой, как Робинзон, увидевший паруса на необозримом горизонте. Ключья пестрой ковбойки трепались по ветру, он кричал и носился по берегу, показывая рукой на горы, через поле воды, изрытой огромною пашней, а художник не переставая вторил ему и без усталости поднимал и швырял камни, перебегая от воды к обрыву, методично, словно крыса, попавшая в западню, при появлении человека.

Масса воды стремилась, как парус, косо наклоненный до отказа, готовый вот-вот отделиться на воздух. Сквозь этот поток было видно, как женская фигура задержалась на несколько мгновений у груди камней, исчезая в береговой пене, затем уменьшилась наполовину, — и в ряби волн появилось другое, серое, вдруг попавшее в самую пляску воды и сразу поглощенное общим движением. Оно то возникало отчетливо, то пропадало. Минута, другая... Лодка вдруг обозначилась на вершине водяной стены, кидавшей ее то вправо, то влево, ее гнало бурей, — и сразу нам стало ясно, что весла, беспорядочно мелькавшие по сторонам, отделяются только случайно, и ее уже сбивает, захлестывает и крутит среди мутных ходячих холмов, возникающих с непонятной быстротой отовсюду и сразу наливающихся свинцовыми буревыми потемками.

Но девушка все же гребла, не замечая ничего, не слыша наших криков. Задувало секунды, минуты, быть

может — часы. Мы бежали по берегу за лодкой, сносимой норд-остом к другому мысу, и она была совсем уже близко, саженьях в двадцати, на тех водяных горах, шумные обвалы которых доносило сквозь ветер. Осталось совсем немного: десяток минут борьбы, полсотни хороших весельных ударов. Но девушка не видела ничего. На наших глазах черный, как ночь, обрыв воды подкатил под самый борт, лодка провалилась вниз, вырвало весла, и сейчас же рядом вскипела седой вершиной огромная глыба воды и, обрушившись грозным махровым потоком, скрыла на мгновение все... Еще раз лодку выкинуло наверх и вынесло на круглый играющий холм, и, с нашим криком, мгновенно обернувшись к берегу — запрокинутый борт, доски скамеек, высокая фигура в синем платье и бледное лицо, устремленное на нас. В лодке не было воды — мы видели это отчетливо. Девушка узнала нас, пошатнулась и, словно вдруг решившись, прижав руки к груди и закинув голову, сама, сама качнулась за борт. Она мелькнула на одну секунду, еще — лодку перевернуло вверх дном и закрыло водой, и я слышал, как крик Живописца оборвался на диком вопле, и я видел, как он сунулся к земле, точно лоза за перелетом пашки. Затем впереди, из-за нависшего темного мыса в серый живой поток выкинуло черную стрелку, и чьи-то новые твердые весла подбросило кверху, как распятые крылья, а с камней возле меня полуголый человек кинулся в рев воды, исчез, появился опять и, вознесенный очередным откатом, поплыл уже вне прибой, часто и неистово плепая руками... Это был Поджигатель. Его бросало с гребня на гребень, голова его проваливалась вниз, и тогда на месте ее рушилась пена, — он не знал ни одного правила порядочного плавания. И сразу его залило, закачало и разбило оплеухами волн: он стал уходить под воду.

Меня три раза выбрасывало обратно. Я нырнул навстречу навалившимся всплескам и прорезал прибой уже тогда, когда впереди мелькнула только одна голая рука, но меня вынесло на землю. Я нырнул второй раз, насколько хватило дыханья, надо мной промчалось столетие пещерного шума, звона и гула, — и когда уже застучали черные молоты в голове и безотчетная сила выкинула тело наверх, мгновенное небо и вспышка серой кипящей пустыни перекувыркнулись в глазах, и в тот же миг лодка, взявшаяся неведомо откуда, взлетела кверху,

ринулась вниз, я увидел бондаря Бекельмана, и зеленая мгла заплеснулась потемками... Я схватил Поджигателя за ногу, и меня сразу потащило вниз, дернуло и мотнуло вслед за причудливой тенью, кидавшейся призраком в тусклом подводном мраке. Вода билась, как спрут, глушила голову, разрывала грудь, вспышки сознания красным огнем метались в потемках отчаянья, но мне все-таки удалось вцепиться в длинные волосы якобинца. Одной рукой я выгребал вверх, в моем кулаке, зажатом судорогой, человек еще колотился и дергался, как рыба, попавшая на крючковую снасть.

Потом накатился прибой, меня швырнуло и захлестнуло водой, тело Поджигателя перебросило вперед, и с первым ударом о твердое вернулась жизнь, берег, ветер, стопудовая тяжесть тела. Я тащил свой груз неуклонно, почти не сознавая, где я и что, тошнота сосала в груди, кружились какие-то камни, голоса... Я очнулся от холода и странной легкости. Бондарь Бекельман в охотничьих сапогах стоял надо мной и что-то кричал, летело озеро, ветер, качались камни и горы, голову ломило от боли, тискавшей череп ледяными клещами.

А с обрыва уже бежали люди, кто-то тащил простыню, и я видел, как она взвилась и захлопала над головами толпы, появившейся точно из-под земли вокруг двух длинных неподвижных тел, из которых одно, в платье, черном от воды, казалось изваянной статуей. Живописец осыпал поцелуями тонкие женские пальцы, гладил обедневшие мокрые волосы и говорил одну и ту же фразу: «Люсенька, мы поедем в Ленинград... Люсенька, не беспокойся...» Потом кто-то командовал, кто-то кричал, чтобы не клали на землю, их качали, поднимали им руки и делали все, что полагается делать, когда близкие люди отходят в сторону, сидят, забытые всеми, и смотрят неизвестно куда чужими и ненавидящими мир глазами...

Поджигатель очнулся первым. Его закутали в куртку Бекельмана и увели наверх. Девушку качали больше десяти минут. С нее сняли синее платье, тонкую сорочку, туфли и чулки, ей поднимали руки, и я видел сам, как плакал старый бондарь, когда кругом загалдели, радостно закричали, и когда он сам, сопя от натуги, растирал ее ноги, руки и грудь чьим-то пиджаком и на чистом, белом, как кость, теле проступили первые полосы жизни.

— Что Бекельман? Лучше бы тонуть Бекельману! —

хрипел он. — Дочка моя дорогая! Ах, дочка!.. Это не дело — такой девушке бросаться в воду...

И слезы текли по его багровым щекам, и его добрая голова клонилась жесткой кабаньей щетиной.

Старый бондарь, к счастью, подоспел вовремя. Он собрал перед отъездом рыболовные снасти и видел все: ей вовсе не нужно было прыгать с лодки, за которую он ручался собственной головой. Она умела грести и править не хуже его.

В густом чертополохе сумятицы пронеслось это утро. Когда девушку перенесли в больницу и события разъяснились, светило время полудня. Она пришла в себя окончательно, и я вошел в эту белую комнату из мужской палаты, где лежал Поджигатель: кровь непрерывно шла из носа бедняги, он очень ослаб, и его просили не беспокоить.

Девушка лежала неподвижно. Голова ее, с еще влажными волосами, глубоко ушла в подушку, глаза, бессильно полузакрытые в забытьи, не узнавали никого. Какой-то старый, очень поживший человек с растрепанной челкой на лбу сидел на кровати и тихонько гладил ее слабые длинные пальцы. Я едва узнал Живописца, не повернувшего головы на мои шаги и на мой осторожный шепот.

Тишина светлела от стен, от белой кровати, от заостренных черт лица, погруженного в тени подушки. Потом все оборвалось... Едва я подошел к ее изголовью, как девушка широко раскрыла глаза. Увидев меня, она отшатнулась к стене, неожиданно забилась всем телом и, словно защищаясь, с глазами в горячем бреду, полная рыданий, ужаса и боли, вытянула руки и закричала отчаянным раздавленным криком.

— Нет, нет! — билась она, обнимая брата, прячась за него. — Не хочу, не хочу... Спасите, Шурик, спасите! Ну, спаси же меня, спаси! — И что-то еще, чудовищное, нелепое, переходящее в плач и бессилие, из чего вырывалось торопливое: — Он... он... он убил меня! Спаси же меня! Нет, нет... Спасите, спасите! — Она рвалась, плакала, хохотала и, пряча голову в плечах брата, как маленькая девочка ночью от грубого кошмара, навалившегося из темных пещер утробного бытия, кричала что-то страшное. Она кричала не переставая. Прибежали сиделка, врач, какие-то люди в белом, а Живописец, с перекошенным от ненависти лицом, вытолкнул меня за дверь.

Норд-ост качал землю и гнал деревья... В этот день кончилась дружба поколения, продолжало бродить вино, а из компаты коммуны в управлении «Абрау-Дюрсо» с десятичасовой машиной навсегда исчезли Винсек и Овидий, оставивший мне краткую записку. В ней было всего несколько строк. «Нет слов,— торопливо плясал чернильный карандаш,— нет и оправданий. Вы знаете все. Знайте и то, что я любил и люблю ее больше жизни. Я запутался, но я был искренен до конца. Не могу оставаться здесь ни минуты, тоска и ужас гонят меня, поймите, что пережито, когда узнал... Может быть, она простит и поймет. Если так, пошлите телеграмму. Я хочу увидеться с вами до отъезда. Сам уехать отсюда уже не могу, не увидевшись с ней... Дорогой, верный друг, добрый философ, прощайте!» К записке он приложил адрес: соседний город, улица, дом...

Пустая комната, ветер за окнами, конец... У себя под подушкой я нашел несколько стихотворений, оставленных мне на память.

Прощай, прощай!

Вечером садовый рабочий с виноградников Дюрсо принес к нам светлое дамское пальто, найденное у бахчей караульщицей. А еще позднее Константин Степанович вошел на цыпочках в компату и положил мне на стол плотный конверт. Письмо Живописца... Да, да, навсегда...

Конверт выскользнул из моих рук и упал на пол. Я не поднял его. Я поднялся с кровати, прошел коридор, лестницу и постучался в ту комнату, где столько дней дышала и смеялась она. Никто не ответил. Над белой нежной кроватью, прикрытой кружевами, среди военных плакатов и чертежей разобранной винтовки, на изящной полочке, из горла шампанской бутылки свисала лиловыми блестящими листьями засохшая уже ветка скумпии...

Чистая девичья постель. На неизмятой подушке прохладно белело выглаженное белье, тонкое, как паутина. А сверху — прекрасные столовые салфетки, точь-в-точь как те, что вешались в мою дружбу с одним старым фронтowym товарищем.

Но я не коснулся этого полотна. Я потянулся к ветке. И я оторвал два листка и приложил их к письму — на память о последних днях той отлетной баснословной поры, которая бывает один лишь раз, не возвращается никогда и называется так, как каждому вольно будет назвать.

## ПРОБКА ЛЕТИТ В ПОТОЛОК

---

*Шампанское Абрау-Дюрсо по своему качеству стало наравне с лучшими французскими марками. В отношении тонкости и продолжительности игры оно также не отличается от лучших заграничных марок, и только встречающиеся иногда дефективные пробки заставляют в этом отношении желать улучшения.*

*Из доклада*

36

Он был искателем счастья, он бегал за ним по земле и прижимал к груди то, что находил, он был человеком, добрым товарищем, он был из нашего поколения. Но он забыл, что счастье не ищут и что это слово создается из железа, камней и земли твердыми руками и что это самое жестокое слово.

Я повторяю: он был. Я повторяю это, уже слушая московскую ночь.

Он был веселым, смелым, беспечным и делился всегда всем, что имел. Он любил нашу страну, строил много планов, и простые люди хлопали его по плечу. Живой, сердечный смех его стоит в моих ушах. «Здравствуйте! — хочется мне сказать ему. — Я так рад, что вы вернулись опять!.. Мы прежде всего отправимся к Поджигателю. Он тоже во многом ошибался, и я не называю его больше Учителем. Но мы обрадуем его и его нищую комнату... Вот мы опять вместе, я вынимаю из чемодана старую газетку: здесь есть хорошие новости... Далеко, в хвойных пустынях, течет великая река, она чиста, как душа нашего поколения. Там нет ничего, кроме ветра, кедров и сосен. Мы

поедем туда копать руду и уголь, строить плотины, мы едем создавать счастье вместе с теми людьми, которые осветят и согреют весь мир. По душе они нам. От них, от них, как от чистых строевых деревьев, тянет ветром, простым запахом хвои и смолы. Они знают звонкие слова о жестокости топора, когда в диких лесах жизни начинается рубка. Мы едем вместе: что нам копать в жалких спорах о смысле искусства? Давайте же руку, дорогой Поджигатель!»

Да, он совершил преступление, и все же он был настоящим товарищем. И мне хочется сказать ему напоследок, что Арбат несколько не стал хуже от гладкого асфальта. Он может быть спокойным. Потому что он больше всех нас любил этот город, эту жизнь, что затихает последним звоном трамваев, и даже мокрый снег, лежащий на балконе сквозь полночное зарево. И я предлагаю и вам, Неунывающий Друг, выпить со мной за его веселую память из трех бутылок Абрау, того Абрау, куда я, наверное, никогда не вернусь. Потому что я сегодня еще раз прощаюсь с ним навсегда, пью его жизнерадостный сок и мысленно брожу по дорогам прошлого, пожимая руки в последний раз... А в окнах падает снег, и когда я выхожу на балкон и смотрю вниз, надо мной в белесом мутном движении ворочается шум неоскудевающей жизни, размахивается гул ее просторов, и я не чувствую холода, сырости и падающего шорохом безмолвия неба. Я протираю руки туда, за тридевять земель, через поля и леса, через горы, где еще светит лунная ночь. И я снова слышу его смех и вижу непромокаемое пальто, забрызганное кровью.

— Выпьем же еще стакан! — говорю я. — Выпьем за старый совхоз и вспомним товарищей, наших верных товарищей и простимся...

Он жил, любил, бросался к жизни, смеялся, мы называли его Овидием. Телеграмма о нем шла три дня: он покончил с собой выстрелом в рот на бетонных плитах порта, откуда открыты пути во весь мир. Оказывается, его любили все: так написано в сегодняшней газете. И я опять слышу его смех — смех неугомонного искателя счастья, опять синие горы окружают озеро, и вновь, как тогда, обхожу всех старых шампанских друзей, чтобы проститься. Вторая пробка летит кверху, секунду студеной дым плавает над черным горлом, пушистая пена поднимается над стаканом, и кругом уже пахнет весенним дождем, отряхнутым с майской березовой ветки.

— За ваше здоровье, мосье Фокасс! Я вспомнил, что вы пригласили меня посмотреть на свою работу. Это — экстренный случай: большие заказы, вас попросили помочь, и вот вы опять передо мной, старый учитель-шампанист, побывавший всех французов мастерством выстрела и рекордами выработки, опять у своего станка, в кожаном набедреннике и холщовом фартуке, суровый и торжественный, как никогда... Я принес ваши документы — всю вашу жизнь, ваше геройство — и хочу посмотреть на ваше искусство и сказать «прощайте»!

И добрый мосье Фокасс снова выхватывает бутылки из гнезд рессорной тележки, уже с трудом, уже сторбясь, и хлопают выстрелы дегоржажа, отваливаются ржавые скобки, и чистое освобожденное вино переходит к ликерному автомату. Но там, где стоит его ученик, властный Ничепорчук с выпуклой грудью, вылитой из бронзы под брезентом фартука, выстрелы следуют один за другим, раздражающе точно и верно. Мосье Фокасс кипит, отстаёт, руки его не справляются со щипцами, — и я невольно смотрю туда, где мастерство силы, ловкости и уверенности кажется таким простым и естественным. Фокассев совсем горбится, темнеет лицом, рожки его усов ходят сердито и возбужденно. Он резко бросает последнюю скобку, пена заливает его руки, — и, с неудачным выстрелом, он, не сказав ни слова, быстро уходит наверх...

Прощайте, мосье Фокасс!

Я наливаю еще. Мне хочется еще раз увидеть бондарную и мастера Бекельмана, старого заслуженного мастера, среди молодых бочек, среди теплых дубовых стружек и грома молотков, набивающих обручи. Бочки уже пляшут передо мной и горланят непристойные песни. Бургундские кошки и ведьмы выскакивают из них и пускают лиловые пузыри. Но я не вижу седой щетины и колючих усов, не слышу хриплого смеха и прибауток, не чувствую на плечах грубых ласковых рук, прижимающих меня к добродушной груди. В бондарной тихо. Согнувшийся над рубанком человек неохотно поднимает обожженное зноем, бугристое лицо.

— А! Старый приятель! — бормочу я изумленно, и навстречу мне полыхает черная фронтовая ночь и насмешливо-непримиримый взгляд конвоира, ведущего пленного офицера к штабу дивизии. Он все такой же: с упорными степными глазами, как был тогда, как был на винограднике в нашу встречу, когда я поднял с земли книжку по

агрономии.— Так, так...— говорю я.— А я и не знал, что вы умеете делать бочки. Желаю вам от души всего хорошего!

— Раз нужно, значит, научился! — отвечает новый бондарь, не отводя от моего лица суровых глаз. Он хмуро сдвигает брови, становится еще непримиримее — и вдруг ласково, точно сплюнув строгость, ухмыльнулся.— Уезжаете, что ли? — кричит он вдогонку.— Не сердчай, если обмолвился... Какой я есть, такой и на словах.

И вновь я вижу мощный двор шампанского производства, вновь я поднимаюсь по каменной лестнице и оставляю в прошлом старика Доброштанова, мешковато согнувшегося в больных коленях, его очки на самом конце носа и глухой голос, реющий летучей мышью из сырого полночного мрака шампанских тоннелей. И я захожу в сад, где в брызгах фонтана корчится бронзовая обезьяна и вечно падает шепот средневекового монаха. Да, да, я слышал, что девушка в бреду нервной горячки мучается от этих химер, и обезьяна преследует ее сознание, искаженное ночью у виноградников Дюрсо. И я прощаюсь, ухожу вверх и пожимаю руку кочегару Причину.

До свиданья, противник Шопенгауэра, до свиданья, светлый дух рассветного гудка, облетающего трудовые горы. Да здравствует бодрый часовщик истории, неугасимый смех оптимизма Вездесущей Страны!

Я поднимаю стакан, хитрый монах туманит мои глаза, но я отчетливо вижу черный картуз, редкую бороду и дымок папиросы, спокойно созерцающие мир из дверей кочегарки.

— Мне очень жаль расставаться с вами,— говорил я тогда.— Но, может быть, вы когда-либо вспомните и пришлете весть о себе...

И опять сердце мое колотится быстрее в груди. Но кочегар смотрит спокойно, он вовсе не собирается заниматься лирикой.

— Мне некогда! — говорит он важно.— Смотри, и ты ничего не пиши. Ты, я знаю, такой...

— Я желаю вам счастья...— бормочу снова я.

Он важно курит и вдруг подмигивает мне с необычайной гордостью.

— Видал? — говорит он торжественно и вытягивает ноги в новых ботинках из дешевой черной кожи.— Таких не найдешь в Москве,— продолжает он.— Ходишь, будто в

ахтомобилях... Чего смотришь? Иди, а то опоздаешь, будешь ругаться...

Итак, еще глоток, еще... Снег залепил оконные стекла, поздняя ночь, и стихает шум. Шампанское колыхает стекла, колпак лампы, но зеленый свет ее ровно горит, как в далеком кабинете Директора.

— За твоё здоровье, Григорий Иванович! За пятилетку в три, за двести га, за силосные вышки и электрические пресса!

Он сидит, развалившись в кресле, почесывая затылок, и зевает.

— А! Писатели и поэты! — кричит он весело. — Кто это у вас топиться вздумал? А-ра-пы! Бить вас некому. Штучки-брючки, прозы-слезы...

И он вдруг щурится и говорит необыкновенно сердечно, вдумчиво и серьезно:

— Ну, ничего, ничего... Ты не обижайся! Я понимаю. Все, брат, у жизни вырываем зубами, так и знай. Теперь, если и сон увидал, то глаза пусть будут открыты. Понял? Ты что, уезжаешь, што ли? Ну валяй, дуй до горы! Кланяйся там, кого увидишь в тресте... Да, знаешь, у нас опять...

Он вспоминает свои дела, разворачивается грудью, темнеет и, перелистывая ворох бумаг, вдруг начинает дымить, как горы перед грозой, заволакивается тучами и быстро вертит телефонную ручку.

— Алло! — кричит он яростно. — Это ты? Оч-чень приятно!.. Как изволили завтракать? А-а?.. Да, да, как изволили завтракать? Хорошо? Так вот я тебе и скажу... Я тебя, так-то твою мать, в три шеи из государственного хозяйства выгоню!.. Молчи, сукин сын! — гаркает он вдруг так, что стекла в комнате начинают звенеть, а в секретариате обрывается стук машинки. — Матерщиной рабочих поливать! Ругаться, как на базаре! Массы на выступление против администрации поднимать!.. Молчи, я тебе говорю!..

И в телефонную трубку обрушивается неопровержимый поток матерной брани и энергии, и Директор тяжело дышит, отирая лицо от багровой краски, его плотная шея разрывает ворот сорочки с распущенным галстуком.

— Безо-бра-зие! — говорит он медленно. — Видишь, что делают? Но я выведу эту ругань из совхоза, выведу! Будь покоен.

А я уйду из кабинета, ощущая железное пожатие руки, и шум в голове, нарастающий все неуклонней и беспо-

рядочек, сливается в мутный гул. Директор еще кричит, я иду, и меня качает из стороны в сторону, и уже не московские окна, залепленные снегом, надвигаются на меня, не пестрые обои, а горы с бегущими синими и красными кустами, и уже падает вниз, в упругий ветер и клонит набор ревущая машина, сорвавшая с места последние крыши, лица, снежные волосы профессора Антона Михайловича, «Виллу роз» с ее вечерами, семейной лампой, сверчками и морщинами старого садовника, и снова поднимает кверху, забирая спирали дороги, откуда на миг открывается среди веток, лиловых веток прощальной скумпии, дача Хартамазиди, глухая легенда прошлого с заколоченными ставнями и мертвыми стенами, парящими в голубой схватке ветра и солнца. Ее захлестывают ветки, я клонюсь в сторону, машину опять обдувает аэропланым ветром, она свистя садится в мягкую бездну спуска, горы бросаются вверх, и рядом с собой я вижу узкие спокойные глаза и желтое лицо... Жан-Суа! Жан-Суа Ван-си! Стройный человек с торсом юноши, глядящий вперед, сказочный винный дух нашего поколения.

Но он спокоен и прост, он не обращает внимания на меня, на ветер, на игру скоростей, на тонкий далекий звук, вдруг пронзающий сердце из далекой уже, оставленной жизни. Пора, пора! Придачин тянет за проволоку, гудок летит через горы и пропасти, через весь мир, он зовет живых и прощается с мертвыми...

Теперь я поднимаю стакан и пью за память Овидия. Я вынимаю из бумажника письмо с двумя сухими листками скумпии и читаю на квадрате прекрасной бумаги:

«Прошу навсегда освободить мою сестру от каких-либо приставаний...»

Я зажигаю спичку, бумага корчится, и тлеющий адский край наползает все ближе к пальцам, а листки скумпии сторают быстро, слегка потрескивая. Потом я поднимаюсь, шатаюсь из стороны в сторону, хватаю бутылку — и третья, последняя пробка оглушительно летит в потолок...

Прощайте и вы, мой Неунывающий Друг! Прощайте — или, вернее, до свиданья... До свиданья! — кричу я вам с балкона, с высоты восьмого этажа, в мелькающую снегом и огнями московскую ночь, уходящую в сырость, темноту

и размах нашей страны — от фьордов до теплых морей, от ледяной зимы до вечного лета. До свиданья! — ибо только сейчас я вас видел в упор, и только сейчас мы с вами прощались на лестнице...

Расступалась, находила и заворачивалась стенами комнаты, качался пол, и летела лампа, когда мне послышался звонок и я кинулся в коридор, отворил дверь и повис на перилах над зиянием трубы, утянувшей книзу сетчатый клин лифта. Меня влекло в бездну пролетов, я держал стакан с последним вином и прощался со старым Веделем.

— Довольно, довольно! — шептал я. — Довольно диких дрожжей! Вечная память Ксавье Арнозану! Я никогда уже не вернусь в подвалы шампанского... Поколение бродит, бродит, нас распирает от чувств, как винные бочки, и прозрачный невидимый яд струится вокруг... Пусть же гибнут дикие дрожжи, пусть сходит вся мусть и вылетает к рогатому дьяволу! Да здравствует дегоржаж! Да здравствует очистка вина и память Овидия! Он был искателем счастья, он бегал за ним по земле и прижимал к груди то, что находил, он был человеком, добрым товарищем, он был из нашего поколения. Опустим же в душу культуру чистого разума. Теснее ряды поколения! Смешаем слезы с вином и бросим бокал...

И я бросил стакан вниз, и на миг он сверкнул на лету, как живой искрометный смех, и тотчас погас. И добрый мосье Фокасс, и Эдуард Августович, и благородный профессор, и кочегар, и грозный Директор исчезли вместе с ним, и кто-то уже другой добродушно окликнул меня, поднимаясь по лестнице.

Это были вы, Неунывающий Друг, вы, с вами рядом легко, без всякой одышки поднималась молодая русая женщина с лицом оживленной девушки, добрая, с печальными глазами, такими, какие не светят нигде, кроме нашей страны. Она прижимала портфель подобранным локтем, другим она тесно прижималась к вам, и оба вы быстро шаркали по ступеням и смеялись.

Вы, вы, вы! Я кричал вам все это, перегнувшись с перил, я смеялся от радости и звал вас обоих в сосновые леса, к величавой реке, где будут жить светоносные машины, где будут стучать топоры счастья и где мы построим дома, похожие на веселые рожи, как говорил Овидий. И вы оба сочувственно улыбались и держали меня за плечи.

— Он совсем пьян,— сказала в сторону опа.— Петька, оттащи его в сторону, а то он сорвется.

И вы тащили меня назад, уговаривая и соглашаясь со мной,— и я не запомнил вашего лица, как до сих пор не запомнил глаз своего отца, но я помню, что на шее у вас был ужасный галстук с горошинами, точно такой, о котором Роза Люксембург писала, что он может служить поводом к разводу. Вы оба смеялись, тогда я приглашал вас к себе, говорил о шампанском, приглашал выпить на брудершафт и почтить память одного бродяги.

— Так вы против вина? — кричал я вам.— Вы против мосье Фокасса, вы против старого Веделя и против профессора Арнозана? Я отрекаюсь от вас!

— Нет, нет! — хохотала ваша жена.— Нет! Но сейчас стыдно напиваться, товарищ! И, понимаете, скучно и неинтересно, несносный вы человек!

— Совершенно правильно! — добродушно пыхтели вы, борясь с моими руками.— Это уклоны, оп-порту-низм... Ну, довольно! Спать, спать! Вот так.

И вы толкнули меня в дверь, она щелкнула американским замком, и вот я здесь, на балконе, один среди ночи, тьмы и снега, кричу вам слова прощания и бросаю пустую бутылку вниз.

Падай, падай! Лети в ночь, разбивайся о камни! Лопайся стеклянными брызгами! Я выбрасываю тебя прочь, последняя собутыльница. Падай так же, как упал Овидий, чтобы не возвращаться никогда! Падай и потому, что я вспомнил прекрасную сагу, привезенную мною из тех краев, где бывали и мы, где виноград купается в звездном сиянье и где суровые чистые мастера наливали тебя соком вдохновения, труда и разума... Падай, падай потому, что тебя наполняют только один раз, потому что новое, зеркальное, как лунный свет, вино может жить только в новом стекле, а в старом, где уже побывали и солнце, и ветер, и воздух, уже нет чистой и крепкой поверхности. Падай, падай! Ибо так говорят законы шампанского. В тебе уже появляются незримые тончайшие трещины, роковые морщины, крошечные ущелья, откуда уже ни один ремюор не сумеет извлечь мутные осадки — тот страшный яд, который вновь начинает свою работу, уничтожает прозрачность, сиянье и блеск винного хрустала. И ни чистые дрожжи, ни труд, ни свободный талант не создадут в тебе новой игры, прозрачной души и тех взрывчатых вечных сил, что затаены в спокойном сиянье. Падай же, падай,

старое отродье, падай вниз, в хаос тьмы и забвенья, как упал наш товарищ, наш друг, наш поэт, наш искатель счастья, человек нашего поколения!

И последняя пустая бутылка летит вниз, переворачивается среди живого снега и пропадает из глаз в объятьях тревожного мрака.

38

В эту ночь отлетели последние стаи на юг.

В эту ночь, как всегда, как тысячу лет тому назад и как тысячу лет вперед, в огнях катастроф, в осенней позолоте, в снегах, в тропических грозах, во тьме и солнечном блеске, на незримой лозе тяготений летел нежнейший и древний шар нашей земли. Он кружился в сонме других, — может быть, за ним клубилась звездная пыль, точно так же как клубится легкое облачко за уходящим поездом. Шар кружился среди гула других, свистя, как снаряд, — может быть, он просто был цветным камешком на берегу бесконечного моря, может, он играл, как ребенок, с волной и болтал атласной ножкой под всплесками вечности... Но множество дел, событий, рождений и смертей, исторических драм, начал и концов несло вместе с ним по одной орбите, и мириады жизней, таких же осмысленных, полных и включенных в свои сферы и вращения, летели под солнцем. И все, до последней песчинки, роилось, толкалось у своего фонаря и совершало ослепительный круг.

Глухой ночью в самый поздний час, неизвестно, под какими градусами широты и долготы, далеко в стенах Казахстана, в городке, где снег падал на захолустные низкие крыши, постовым милиционером Бирульней в участковое отделение был доставлен человек, покушавшийся на убийство гражданки, проживающей совместно с мужем в одном из домов на улице Парижской Коммуны. В темноте милиционер слышал два выстрела, звон разбитого оконного стекла и женский крик. Прибыв на место происшествия, он был поражен необычайной картиной. В полосе оконного света, струившейся длинным снегом, по колени в уличной грязи, стоял человек в куртке шинельного сукна, без шапки, с револьвером в опущенной руке. Почти нагая, в одной окровавленной сорочке, женщина билась у него на груди, рыдала и осыпала поцелуями его голову и плечи, а сбоку мужчина в белье и высоких сапогах растерянно кидался из стороны в сторону, бессмысленно приговаривая:

— Данька! Вот чудак! Своих не узнал, что ли?.. Данька, ах, Данька! Чего теперь будет, Данька?

Чавкала грязь, разносило собачий лай, мутные фонари летели в тысячах лет.

В эту ночь мнжество происшествий и событий совершилось на шаре.

Земли и воды Вездесущей Страны мерцали снегами, клубились в песках, бушевали под нордом, шумели лесами и сияли под лунным выпуклым зеркалом. Страна простиралась сказочно — она вмещала все лики, все наречия, все судьбы.

В горах винного Черноморья, у лунного озера дозрела тишина. Лишь капали листья, плескался прибой и вздрагивала, умирая, трава. В эту ночь виноградная осень сошла к самому морю, бродила босая по раздетым лесам, трогала поздние желтые кисти на проволоках и неподвижно глядела на мир стеклянными глазами. И она ласково ворошила бурю медвежьей шерстью, оскальчивающую густую черную тень на светлой печальной земле.

Ничто не тревожило их в эту спокойную ночь.

Черная тень то вытягивалась, то пропадала. Зверь, урча и сопя, мусолил виноградные лозы, живой глыбой валился наземь — и вдруг встал неподвижным идиолом, опустив лапы, и заплясал под луной, высоко подняв каменную морду.

Зверь плясал, прихлебывая лунный свет, потом — замер.

Тишина на Кавказе. Тишина — как тоска, как плод, готовый упасть.

Он слышал. Он знал все голоса земли. И он услышал через моря и горы, как цели трети петухи на берегах Малой Азии. «Жили-были...» — заунывно пропели петухи. Потом он услышал треск, мертвая тень его вытянулась на земле — и, с огненным взблеском, пронзившим ночь, опрокинувшим тишину и закатный лунный шар, он взревел самой древней тоской, голосами вольных пещер, обвалами доюрских камней и жертвенным зовом о солнце, освещавшем всеобщие воды потопа. И когда рассыпались последние громы в ущельях, когда осень далеко отбежала в сторону, на желтолицего человека, склоненного у бурой меховой громады, еще глядели издыхающие глаза праотца лунных бродяг, а в черной ненависти их умирало лето тридцатого года.

*ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВИНОДЕЛУ ВЕДЕЛЮ,  
ПРОЯСНЯЮЩЕЕ СОБЫТИЯ*

Дорогой Эдуард Августович!

Я ставлю точку и отсылаю вам эти листы — вам, как старейшему обитателю Абрауских гор, одному из седых отцов нашего винодельческого искусства, бережливому суровому садовнику многих поколений рабочих и мастеров.

Жизнь спешит, и ни одно перо не способно угнаться за ее баснословным движением. Совершенно бессмысленно пытаться остановить ее на мгновение и думать, что самый точный и молниеносный объектив способен запечатлеть ее выражение. Такой портрет дня, недели, месяца равнозначен гримасе мгновенного снимка, где вместо улыбки застыла искаженная судорога и где исчезла жизненная правда, ибо она есть движение, непрерывное изменение, неустанная игра противоречий. Ее масштабы грандиозны и в протяжении и в объеме. Погоня за тем, «что есть на самом деле», повторяет сказку о Жар-птице, и в руках регистраторов жизни всегда остается лишь несколько смятых перьев, уродливых перьев — ни больше ни меньше.

Я написал о том, чего никогда не было на берегах вашего озера. В самом деле, вы никогда не встречали ни яростного Поджигателя, ни вероломного Овидия, вы не видели в глаза Винного секретаря, Живописца и его миловидной сестры, а старый бондарь Бекельман не спасал девушки, бросившейся в пучину волн ветреным утром в осень тридцатого года. Не существовала и не существует на свете высокая караульщица, как и соломенный шалаш с дымом костра на бахчах долины Дюрсо. Жан-Суа Ван-си спокойно караулил свои участки — и сейчас, наверное, спит, как всегда, с ясной и спокойной душой. Ничего не было. Был превосходный художник и человек — Иван Милютин, никогда не говоривший и не думавший того, что говорил и думал мой Живописец, и, по видимому, был езжий журналист, мой приятель, любит ль поговорить с мастерами вашей профессии. Он внимательно изучал хозяйство совхоза, бывал на собраниях, помогал чем мог, сиживал в подвалах и часенько проводил вечера на веранде «Виллы роз». Если память не изменяет, он был дружен с Директором, А. Н. Фокасьевым, А. С. Доброштановым, с профессором Антоном Михайловичем, с И. П. Придачи-

ным и многими другими. Он сочинил обо всем этом длинную историю и рассказал мне...

Его сейчас нет в Москве, но я запомнил наши ночные разговоры и восстановил их, как умел. Перед отъездом добрый приятель сознался, что многое говорил от себя. «Но,— добавил он,— все же это и есть настоящая правда...» Думаю, что я его понял. Он всегда говорил, что в нем постоянно борется несколько начал, и утверждал, что в человеке всегда живет несколько противоречивых людей. Его слова: «Жизненная удача, счастье, а следовательно, жизненная талантливость — утвердить в себе наиболее ценного и нужного своему времени». Под эпохой реконструкции для интеллигента-разночинца он подразумевал прежде всего именно это. Литературную критику он оценивал по способности ее помогать в этой работе. Я помню, он отзывался о ней вообще достаточно резко. Да, чтобы не забыть! Он попробовал наметить некоторые черты своего поколения и символизировал эти начала выдуманными героями. Рассказ очень прост: жил-был один человек, в его душе сражались эти начала — вот и все. Кажется, так.

Это поколение близко и мне.

На прилагаемых листах я восстановил его память, некоторые мысли и чувства — в меру моих сил и таланта рассказчика. Вы прочтете здесь, помимо выдумки, о многих живых и здравствующих ныне людях и, как художник и артист, конечно, поймете, какие трудности мне пришлось испытать, бесцеремонно пригласив их на сцену повествования. Но я полюбил тот драгоценный уголок земли, где живете вы, и, слушая рассказы об искусстве, столь героически пронесенном сквозь бури истории людьми, для которых труд — знамя и честь жизни, привязался к этому имени — Абрау-Дюрсо... Признаюсь, странное волнение охватывает меня, когда я встречаю на витринах характерные бутылки и слышу их название.

Наше время сурово к роскоши, но только наше время превратит роскошь в предмет разумной потребности каждого жизнерадостного и неутомимого человека. Что же касается вопроса о вреде табака, — то я согласен, что полезнее всего не курить до головной боли.

Сердечный привет!

*Москва, 17 июня  
тридцать первого года*

# В НАРОДНОМ ЛЕСУ.

---

ПОВЕСТЬ



Тронулась со льдом жизнь в Барабанове.

Под самый великий мужицкий исход, в 28-м году, весной, приехали сюда москвичи — молодая пара — и остановились на лето в старой удаловской избе. О приезжих барабановские узнали рано, еще по снегу, от лесничего Шорохова. И как только мелькнул бородатый лесничий верхом к себе в волость, пошло по всей деревне, что обговорил он с Гаврилой Яковлевым Удаловым избу за тридцать восемь рублей. Фамилию москвичей сам Удалов не запомнил: провожал лесничего без шапки, все кланялся — понял как честь от хороших людей. Молодой из лесов еще не обернулся, бабы — невестка и дочь Анна — захлопотались, засуетились: Шорохова-то знала вся округа, был управляющим еще в барских лесах. Слушали лесничего все Удаловы молча, подмаргивая и поддакивая, а дочь Анна как подперла рукой свою девичью горбатую старость, так и расцвела под черным платком. Лесничий — узкоглазый, толстый шутник — выпил у них чаю, угодил бабам, все расспросив, и похвалил Барабаново.

— У вас воздух, воздух-то! — говорил он старику. — Курортный хвойный экстракт. А ему язву в кишках вырезали — теперь только дыши да молоко пей. Да и жена у него молодая — Ольга Васильевна. Красавица, говорят, писаная!

Только охал и соглашался прямой, как угодник, старик:

— Ну! Воздух-ат у нас куды! Куды там!

— А жена у него молоденькая, Иван Васильич? — скороговоркой ввернула Анна и застыдилась, счастливо закрывшись рукой, совсем по-старушечьи.

— Ну, куды там! У московских-то! — зама́хал было старик.

— Не видал, не видал, — внимательно поглядел на нее лесничий. — А говорят...

Так и уехал, оставив в прелой и душной избе словно сладкую какую-то и весеннюю мечту, что-то новое, неизведанное, затомившееся прелестью ожидания, чем повсюду жив человек. Наговорились, наговорились досыта после лесничего в удаловской избе. И потекло время... «Вот приедет Ольга Васильевна», — стали все чаще и чаще поминать удаловские бабы. «Вот встречу гостей», — не раз с виноватой старческой важностью поговаривал сам и озабоченно торопился от мужиков, точно действительно прибавилось у него новых, никому не знакомых забот. Да и в самом деле, шутка ли, из самой Москвы!

— Удаловская девка с ног сбилась. Опять с ведром побежала! — судачили в окошках бабы, качая зыбки. — Заждались удаловски.

— Чай, теперь им лесничин что свой!

— Эдак, эдак, — качали головами, кто понесчастнее. Толковали о москвичах и у колодца, между дел.

А столяр Еремкин, серолицый, в перевязанных ниткой очках, желчно и зло высовывался на угарную, засыпанную золой улицу и, грозясь кому-то, кричал:

— Чего радуется? Ду-ры! Лесные тетерки! Московские зря не ездют... Вот проишут вам, мочальным да лыковым... Я-то все чую, — грозился столяр. — Все я прошел, не омманешь! Погодите — узнайте! — и с треском захлопывал окошко.

Душной и туманной сыростью окуталась земля. Мягко и пасмурно набухали лесные опушки. Выходили утром на снег к усадьбам гуси, кричали в небо звонким заоблачным криком. А как пришло Удаловым письмо из Москвы, стали говорить по деревне, что едет к ним лицо не простое, подслушивать народ, а жена его — цыганка-артистка.

## 2

Далекie, нежилые края!

Только и горланят по кордонам редкие петухи. Леса там под самое небо. Сажены и прочны по зимам снега. На лицах там у людей странный финский румянец. Спо-

кон веку живут там по рекам, а к Пумипу кордону, в самых лесах, «дикое, глухое жило», как до сих пор говорят мужики. Глухо и в Барабанове.

Пуще всех заждалась гостей удаловская Анна. Ей, хворой, несчастненькой, и пришлось мыть для приезжих избу. Здесь родилась, здесь бы и жить, — с утра, радостная, светлая, в третий раз перемыла она щелоком старые, милые лавки, половицы, словно костяные от древности стены, где памятна каждая щель... Все сырой и темной казалась изба. Мыла, скребла, обметала у печки, тоскливо тянуло у ней в груди и в спине, а свет на душе разгорался праздничный, тонкий, словно приснилось на лужайке в лесу.

Московские! Говорит, что молоденькая да ласковая, писаная... Кружилось у ней в голове, когда наклонялась над тряпкой, но туманно и жадно мечталось ей за работой, как всегда, много и много лет. И сказать не смогла б, что случилось, а любовно, ровно к великому празднику, прибралась еще раз и подмыла в сенцах, даже чулан подмела. И все улыбалась. Писаная! Молоденькая! Что-то совсем необычное, как от журавлиного крика из далекой голубой пропасти, что-то родное было в этих словах. И чудился приезд гостей сроком какого-то долгожданного счастья только для нее, для нее одной! Совсем истомилась, присела на лавку — босая, костлявая, страшная, но долго ласково светились ее подслеповатые, совсем уже бесцветные и горючие глаза.

...Редки, редки селенья в тех пустынных, лесных краях. Помнят там еще лучины и курные избы. Речки в лесах там зовут «утрасами». И весной из трущоб по ним выплывают плоты на большую реку.

Крепко и страстно, единственной привязанностью, всеми силами, не открытыми в ней, любила она эту старую, гнилую избу, затертую лавку, где ногами прядла она, крюк в потолке, памятный с детства, зеркальце в ржавчине, так и оставшееся у сучка на стене. И с каждым годом неяснее, вечерними сумерками застилалось уже то далекое в зеркальце, во что никто уж не верил, да и вряд ли вспоминала она. Горбунья! Удаловская Анька! Уже виной почитала она свое уродство, женскую одинокость и ненужность, уже на всю жизнь, застыдившись, запряталась у печки, в коровнике, в огороде — в сладкую, заветную рабочую немоту. И уже сокрыться бы

ей куда в старую баньку, вековать,— порой туманила ее эта униженная самостоятельная мечта,— или на хутор с дедушкой Яковом — недостижимое, невозможное, где одни птицы, брусника, сосны и лесное ку-ку...

Прилегла на лавку — маленькая, высохшая, бочком, чтобы не мешал горб,— вся во власти нежных и застенчивых дум. Чу! Шумит, набегает родное, знакомое и касается самого сердца, закрывая глаза. Лес, лес, лес. А ей хорошо и легко, и сама она высока и строга, как елка в лесу. Привольно, зелено, свежо. Как не знать! Садомиха, бор, беговая вода. И кругом — знакомое, единственно, кого знала она, за кем ненасытным сердцем следила из темного угла всю длинную жизнь,— свои: мужики, бабы, покосы, коровы, земля. И ничего, что весь век одна, что кричат ей вдогонку ребята: «Горбуша-сикуша!» — только б узнать, наслышаться: скосили ли вовремя? сжалась ли к празднику? вернулись ли из лесу мужики? — господи, господи! — посветлеть, покреститься умильно и жадно за всех у печи...

Всю жизнь не выезжала она из Барабанова.

А думы ползут и ползут.

Хорошо ей теперь — принылось, приболелось внутри, задремала на лавке, а все слышится, чудится... Это Шорохов поглядел и ей усмехнулся. «Воздух у вас,— говорит,— чисто в раю!» А отец все соглашается и твердит: «Народ у нас смирный... куды тут... самостоятельный!» И полная преданности жалкой деревне своей, полная разгоревшихся, никем не понятых сил, уже крепко забылась и заветно кивала кому-то во сне.

Проспала сладко она до полудня.

Потом навалился сон — душный, ночной. Показалось, кричат: едут, едут! — и вот колокольцы уже, кучер в синей поддевке, а в коляске барышня, полная, вся в кружевах и в лентах... Господи боже, помещицкий кучер лугининский! А она, Анна,— молоденькая, большеглазая, нежная, и прячется, прячется... Тут, откуда ни возьмись, мужики, нашли ее, тащат.

— Анька! — орут. — Анька! Тебя мясники ищут!

Проснулась Анна в поту, покрестилась, кое-как собралась, так разломило ее, и прохворала на печи до самого приезда гостей.

Запахло мочалой в борах, речным полунощным ветром, гулко садились снега по лесам,— вернулись из курных зимниц мужики. Курицовы, Грибановы, Сеньковы, Смоляниновы, Епифановы, родной Аннин дядя Алексей Яковлев, брат Николай,— закурились замшелые баньки за огородами, и в пару и в дыму сладко, родильно заохали бабы,— весна!

Зашумели тридцать барабановских дворов. Гордо и важно понесли сытые бабочки полоскать прокопченные мужнины портки и рубахи к реке. Сладко зевали по утрам молодые мужики, выходя за ворота, и почесывались, задирая голову к солнцу. А удаловская Анна все на печке — совсем источилась, позеленели глаза, а тоже со всеми радуется, охает у себя в одиночестве.

Отвоевала последними туманами и мокропадами зима. Уже ладили сбрую, плуги. И вот захлопотала блескучими грачами, капелями и ключиками, черно-вишневым паром задымилась раздетая полевая земля. Заливистым ржаньем, коровьим распадающим мыком набухли потемки дворов. Весна! До Унжи, кругом по лесам, на дальних кордонах, выпевали день-деньской петухи. А как протащило лед на реке, разоплась лиловая опухоль в тальниках и грянула водополь — пришла телеграмма: едут. И в ночь на пятнадцатое апреля запряг тарантас и выехал на станцию за сорок верст Аннин дядя родной — Алексей Удалов.

Ворочалась Анна до вторых белых петухов, все не спалось. Как-то доедут? Да пустит ли их река? Самая распутица, рань, глухое и опасное время... Не застудить-ся б сердешным! И ждала и ждала...

И приехали.

На второй день, как возвратился дядя Алексей, не узнали бабы старой удаловской избы. Засветились окошки салфетками и белыми кружевами,— прибралась уже новая хозяйка. А в полдень, в самое солнце, увидели соседи — дяди Алексея жена, любановские девки, Пескариха,— вышли приезжие и пошли вдоль улицы, прямо к реке. И слушала, слушала Анна. «Сам-от высокий,— говорили бабы.— Сурьезный, в шляпе и при очках. Глаз с нее не спускает: Олечка, Олечка, не зачерпни в калошки, и все под ручку ее держит... Ну, конечно, она молоденькая совсем, барышня не барышня, жена не жена, и

все смеется. А ласковая и обходительная. Платочек пуховый на ней, пальто синее, суконное, калошки в застежках...»

Под вечер увидели их опять.

Ласково поклонились им бабы, заговорить не посмели, долго, умильно молчали и смотрели им вслед.

Вот и объявились в Барабанове новые люди.

#### 4

И закружились дни.

Чуть отпахались, засияла окрест вода, вышли в лесах сине-алые медуницы, зарозовели на волчьем лыке нежные горькие цветки. Тут и выслали из волости индивидуальный. Шибко ушибло Любанова, младшего Курицова, задело и дядю Алексея — кого за лесные подряды, за веники, за всякие конские и коровьи дела... Повадились ходить к приезжим мужики, называли москвича по деревне уже Николаем Леонидовичем, одобряли — за твердое и серьезное слово, за простоту, за сочувствие. Знал, знал, оказывается, московский человек и крестьянское дело! О том, что он лицо не простое, только поговорили, а вот узнали: хоть беспартийный, а служит где-то при самой власти — валом повалил народ. Приезжал и Шатров Василий Иванович, хуторянин, с желтой городской бородкой, в белом брезентовом дождевике, известная личность — имел паровую мельницу до революции. Подкатил на вожжах, чуть наклонял картуз мужикам, а те хоть уважали, — все мог сам Василий Иванович, вот даже воздушную турбину на ветрянке выдумал, — а сторонились, чинно ломая шапки. Так никто войти за ним и не посмел. А разговор был. Говорили, будто бы тоже с прошением, и говорили, будто два сота меда привез после сын. Вся деревня уже поминала московских. Только столяр Еремкин зловеще молчал в своем неизменном окошке, Москве не кланялся, да партийный Сеньков с комсомолкой своей забежал один раз — и простился. Хозяйственными больше интересовался Николай Леонидович, хозяйственными, — Шатровым, Любановым, — куда уж ему!

Летели гуси-гуменники. Шли по рекам плоты. Отликалось далеко — праздничным светом стояли полные луга, вода подошла к самой деревне. Говорили о близких

праздниках. Нищенка в овраге ребеночка скинула. А столляр грозился войной...

Все, все жадно ловила Анна со своей печи, все уши прослушала, а выспрашивала больше об Ольге Васильевне. И умилялась от каждой новой подробности, хотя их было очень немного. Все с мужем да с мужем она — бабам никак к ней не подступиться! Потом слух прошел, будто сад будут сажать московские — чудной турецкий горох, душистую фасоль, черные корни, маки, цветы. И как-то в ночь собрался отец на тока, принес глухарей. Тут не сдержалась. Перемоглась кое-как, подлатала шубейку, новые калоши из сундука вынула, чesанки, коленкорный платок и с гостинцем в мешке — собралась.

Уже пообсохло с краю, на улице сверкало и ослепительными осколками прыгало солнце в ручьях. Влажно синело и светило вокруг, на черных, сырых огородах сидели блестящие, как головешки, грачи. Совсем пододвинулась к деревне хвойная даль. Пахло рекой, навозом, сырыми бревнами — сразу она озянула от сверканья и свежести, от зобастого петушиного крика, от солнечного припека, от душистого вейня земли. Ах, как хорошо весной!

Закричали было голоногие ребята, бродившие в ручьях: «Сикушка, сикушка идет!» — и сразу замолкли. Страшной показалась им Анна — нарядная, в блестящих вишневых калошах, с клюкой и мешком, с темным, совсем бескровным, излучавшим смертную желтизну лицом. И радостно блестя ей из грязи осколки битого стекла и посуды, с любановского палисада градом осыпались и взметнулись воробьи. А она все шла, останавливалась, не могла надыхаться и все светлела, подвигаясь к своей мечте. Вот он, вот он, темный, родимый дом!

У самой избы, с нарядными убранными окошками, окликнули ее соседи.

— Жива? — высунулся рыжей бородой дядя Алексей. — И добавил спокойно: — А чего тебе снова мучиться!

Ответила радостно, торопливо, как всегда, просяив:

— К Ольге Васильевне я, дядя Алексей! — И добавила важно, подражая отцу: — Ку-ды тут!

Возле крыльца было заробела, но приободрилась: не какая-нибудь — с гостинцем, и как-никак, а хозяйская дочь! Вошла в сенцы, напугалась скрипу досок и постучалась совсем робко, просительно.

— Кто там? — резким, густым голосом спросили из горницы.

И растерялась. Капала где-то вода, во мгле сеновала с пыльными солнечными столбами закудаhtала опалелая курица, — вот куда ты, куда ты, куда! — совсем не нашла и сбелела Анна.

Но — постучала опять.

— Войдите! — звонко и весело откликнулся ей чистый и высокий, ровпо у синички, голос.

Ольга Васильевна, писаная! Все б рассказала ей, все бы поведала, открылась бы за всю жизнь, а вот распахнулась дверь, — онемела, еле вошла и застыла такой жалкой, с огромным серым мешком и клюкой, с таким виноватым и робким светом в глазах, что смутилась еще не надломленным сердцем, притихла и та, которую она так ждала. Что говорилось, как развязала мешок, все запомнила Анна. Прямо хоромами показалась изба — с цветами на столике, с ковром на полу, с белой скатертью в красивой посуде — будто под светлый праздник. И воздух в горнице был свежий, душистый, совсем не такой, как у них. Жадно взглянула она на рукоделие — вышивает Ольга Васильевна! — цветные шелка, светлые пошницы, мотки и катушки. На Николая Леонидовича глядеть побоялась, видела мельком, а с нее глаз не спускала. И все сияла в глазах нетерпеливая, пушистым теплом вот-вот рассыплется, к самому полу склоненная, молодая коса... Сама, сама тащила московская барышня распахнувшегося глухаря из мешка — не дала ей притронуться. И пахло от нее прохладно и необычно, и совсем растрогалась Анна от ее голых рук: точно у ребеночка, как после говорила она. И еще сбилась с плеча барышни кофточка, и, когда выпрямилась с тяжелой, веером распавшейся птицей в руке, белая, круглая показалась грудь, — нежно и густо покраснела Ольга Васильевна.

Перекинул ноги с постели и встал Николай Леонидович, без очков, с близорукими совиными глазами, и, обняв сзади, поцеловал жену в шею, — грозным показался Анне глубокий прам, западавший через весь его лоб.

— Глухарь! — сказал он, приподнимая птичью бородатую голову, с сухим зеленого рога клювом. — Брось его, Олечка! На них сейчас насекомые. А хороший старик! Рубля полтора потянет, — и сладко зевнул. — Сколько просишь?

— Коля, это подарок,— тихо сказала жена и вспыхнула.

Совсем уже заливало радостью Анну. И вдруг:

— Ох, уж эти подарки! — зевнул снова Николай Леонидович. — Ну, что же, бабка, — в долгу, так в долгу!

Бабка! Как громом оглушили Анну эти слова. С удивлением, смутившись и не понимая, смотрела на нее Ольга Васильевна... А она ничего и не помнила, — как распрощалась, как вышла, — совсем затемнело в глазах, забыла мешок, от подступающих слез едва не упала с крыльца. И уже не замечала — ни солнца, еще более веселого и чистого, ни блеска реки, запрятавшей голубое небо до самых лесов, ни горластого и сочного крика грачей. Но перед соседями все же приободрилась, подтянулась — опять окликнул ее краснолицый дядя Алексей.

— Все-таки дождалась! — насмешливо сказал он, оглядывая ее из окна. — А без тебя, чай, соскучились там?

— И то! — бойко и тонко выкрикнула она, словно под гармониста, притворяясь: вот мол, какие веселые и молодые!

Но скучно посмотрел ей вслед дядя Алексей, медленно сплюнул и бережно притворил окошко.

Готовились сеять. Распахнулась зеркалами и плыла, качая лозины и верхушки деревьев, светлая вся, молодая река. О новых калошах удаловской горбуни поговорили в тот день в Барабанове.

## 5

Утром пух полетел по деревне — щипала птицу у себя на крыльце московская барышня. Жена не жена — очень уж жидка для бабы, с виду девчонка, — прозвали, и утвердилось женскими языками: барышня Ольга Васильевна. Да и весела слишком, певунья... Только качали головами барабановские бабы, а кто понесчастней и победней, жалели: не верилось, не верилось им в веселое счастье с мужьями. Вот и конфеты ребятам горстями дарит, Грибановой платье новое отдала... Мужнино-то добро разве когда залежится!

Верно, и не жена ему вовсе, а как говорили — артистка.

Плюнул раз дядя Алексей, осерчав на вертлявый бабий язык, взматерился:

— Тьфу, окаянные! Да разви в городах по-вашему живут, дурьи головы! Не жо-на! Я вот язык тебе, старая, повыдергиваю... Не жона! Много ли ты понимаешь, дура!

Не сдавалась Аксиныя:

— А его порядок! Чтобы мужнина жена при всех — ха-ха-ха да хи-хи-хи... Срам-от! Да вот я эдак начну...

— Вот те и порядок! — гаркнул дядя Алексей — и потерялся. — Я те покажу... порядок... Погоди, вот возьму вожжу...

Но продолжала зудить мужа соседка московских — Аксиныя. А барышня Ольга Васильевна, как увидит его, так через всю улицу:

— Дядя Алексей! — и складывала ладошки в трубку: — Приходите... чай пить! — Только осклаблялся здоровенный рыжий мужик.

Нравилось ему у московских.

Дядя Алексей зачастил к ним. Спокойно и жестко расспрашивал его Николай Леонидович о жизни, выведывал, что-то записывал, хохотал, а она сидела с широко открытыми глазами, и страшно становилось от этого смеха. Рассказывали...

Слышала она о «благом», проходившем раз по деревне с багрово-синим запекшимся прапом вместо щеки. Лохматый и босой, шлепал он по талой и снежной грязи, загоготал на нее и по-разбойничьи свистнул. Два года назад пришел он сюда с Волги, вырыл в лесу избушку и стал лечить, объявив себя святым. Пошла молва, повадились к нему бабы и девки — с лепешками и яйцами, с творогом и сметаной — говорили, что лучше всех докторов исцеляет благой. Потом стали замечать по деревням, что брюхатят бабы не вовремя, а тут девка из Плоскова за него утопилась. Боялись вначале наговорной силы мужики, а потом решили проверить ее огнем. Ловили благого двумя деревнями, в аккурат после сенокоса, — настигли в лесу. Тут же разложили костер, погрозили убить, ежели напустит на кого беду, а когда прогорело, положили на испытание в самый огненный жар щекой... Тут он как затоскует! Били его, после испытания, без опаски смертным боем.

Хохотал до слез Николай Леонидович.

...О Пескарихе-воровке, боязливой и безмолвной, как тень, странно припадавшей в шаг, никогда не садившейся... Не могла смотреть после рассказа на колодец,

что против избы, Ольга Васильевна. Муж Пескарихи, вернувшись с германской, сгнил от мочи,— пробили ему пузырь,— на всю деревню несло от них... Поленом била его баба, слышали все, как кричал полумертвый, да кто сунется в чужое семейное дело! А сгнил он, схоронила с панихидкой, убивалась — осталась безлошадной и бескоронной бобылкой, одна в мире. В двадцать первом году стали резать волки овец. И вдруг открылось... Судили всей деревней и на первый раз опускали Пескариху в колодезь, вниз головой, вместо ведра, за ноги, привязав к журавлю,— восемь раз. Еле ее откачали. Да проучили мало: снова, под самый престол, как пожарный набат, побежало по деревне криком и ревом — пропала овца! Тут уже обсудили ее беспощадно, даром не каялась, безгласная, белее холста... Всей деревней, от малых ребят до последних старух, ославили ее, осрамили. Перестала кричать, как завязали юбку над головой, лопату ей под коленки — срамнице, шею ремнем-сыромятиной к черенку, и задним мясом и срамом по земле, по дороге, за лошадиным хвостом, до соседней деревни — под свист ребятшек, под крик мужиков и причитанья баб — всем миром. Из волости после приезжали, да мир промолчал. Секретарь из волкома женщин упрашивал, камнем застыли бабы — мол, не воруй, окаянная! Двоих мужиков угнали все-таки в Варнавин. А овца объявилась, — зарезал серый, на этот раз действительно! — проморгал, недосмотрел одноглазый пастух.

Хохотал Николай Леонидович:

— Вот тебе и социализм! Собственность, голубчик, вот она где сидит. Вот это так да! Ха-ха-ха! Этой силы только у лодырей нет. То-то и оно!

— Эдак, эдак! — хмуро соглашался дядя Алексей.

Молчала московская барышня с неподвижной иголкой в синем шелку.

Рыжий, курносый, в ситцевой белой рубашке, искоса и осторожно поглядывал на нее дядя Алексей, словно бабочку снимал с нежного цветка. Раз поймала она его взгляд и смутилась: странно, с угрюмой неловкой ласковостью смотрел на нее дядя Алексей, ей стало тепло и хорошо — что-то родное, давно утраченное и, почудилось, укоряющее. А больше смотрел он открыто и насмешливо, говорил грубо, с непреклонной, все обнажающей прямо-той. Казалось — с какой-то радостной жестокостью открывал он всю правду, страшную истину жизни, что

вшел он, старый солдат, в японскую и германскую и что с рождения жила рядом с ним — деревенскою былью, своей самостоятельной судьбой и везде еще, по всему глухому лесному жилию. Что-то непокорное, озорное чудилось в нем. Недаром фамилия его была Удалов. «Сила гуляет, а девать ее некуда! — говорил он не раз Николаю Леонидовичу. — Ровно заколдованные мы, а со двора своего не уйдешь». И не знала она — всю далекую жизнь просидел он здесь, пил от здоровья и от «некуда уйти», «матерщинничал, сурово держал жену и детей, скандалил, в революцию засек своего ротного командира — штабс-капитана Гумиль-Гумана за то, что выпорол его тот, еще прапорщиком, перед земляками в маршевом батальоне — «за веру, царя и отечество». Пел он там в губернском городе и «Соловья-пташечку», и «Пишет, пишет белому царю», с крестом на картузе, нескладный, в мохнатой шинели, веющий отцовством и мраком хвойных лесов, а потом кричал на немца, на Восточную Пруссию длинное мужицкое «ура». Вернулся восемнадцатым годком, в раздернутой шинели, с огромным мешком и вагонной печкой на плечах, зажил, рубил леса, плавал с плотами, пахал и косил, брался за лыки и веники, а как пошла клевера и заиграла деревня вольной торговлей — душу вложил в мышастого своего жеребца! И — заело. Полусаночки девкам, приданое, индивидуальный за старанье, — некуда дальше! — а зачесалась, глядя на Любанова и на Курицовых, рука... Эх, кабы! А что — он и сам не знал. И глянула на Ольгу Васильевну из него, — огромного и лохматого, — как гуси на небо, обиженная, с подрезанными неизвестно кем крылами, а широкая и просторная тоска.

Все чаще поднимала она на него глаза и задумывалась.

И вот еще эта странная старуха-горбунья... Чистила на крыльце зеленогрудую, в серо-пепельном крепе птицу, с ума не шел ее странный, озаренный неуверенным светом и вдруг совсем потемневший, страдальческий лик. Тогда хотела броситься, догнать, но не пустил Николай Леонидович... И весь день было беспокойно и грустно на сердце. А потом забыла. И вот утром опять. Она поскучала, поскучала — и послала ребятишек к дяде Алексею, чтобы обязательно приходил в три часа на обед.

Дядя Алексей пришел точно, праздничный, даже в сапогах. Сидел он за белой скатертью, чинный, все гладил

непокорные волосы, а вилку поднимал, как бревно. За водкой — для него специально — посылали в Плосково, а он долго отказывался от рюмки, как барышня. А после попросил, чтобы в стакан...

— Ну, а ты что? — спросил он Николая Леонидовича, поглядывая на зеленую жидкость.

— Нет, нет, что вы?! — замахала на него Ольга Васильевна, — в фарточке, беленькая. — Коле?! Ни в коем случае!

— Коля... — хрипло засмеялся дядя Алексей, показывая длинные щербатые зубы. И сжал стакан. — Ну, а нашему можно.

Чудно как-то посмотрела барышня на Николая Леонидовича, а потом погладила по голове и озабоченно поцеловала у виска.

Деликатно зажмурился дядя Алексей, отвел голову в сторону и медленно, глоток за глотком, выпил до последней капли на дне. Отер губы и, завернув угол скатерти, бережно поставил стакан.

Зашипел за перегородкой на шестке примус: Ольга Васильевна подогревала жаркое. Поговорил Николай Леонидович о всяких делах, почитал газетку. Чутко слушал дядя Алексей: вон как погибать думает Москва! Слушал он сурово, а после сам рассказал о Шатрове, о мяснике, о плосковском лавочнике, о попе — видно, отцарствовались. На что уж Василий Иванович, а не хватает силы. Два раза к самому Калинину ездил.

— Да... — желчно промычал и протер очки Николай Леонидович: — Вся инициатива в деревне подорвана.

— Народ не тот, — развел руками дядя Алексей.

— А что! Народ как народ, — только-только и разжился... Организовываться нужно. Ну, вот что: ты пей!

Покраснел уже дядя Алексей, заулыбался, — что ж, можно...

— У нас, Николай Леонидович, — сказал он твердо, ставя стакан, — таких людей нет. Супротив теперешней власти никто не пойдет.

— Ну, зачем же против власти, — живо возразил хозяин, скатывая хлебный шарик. — Я не об этом. Нужно организовываться крепким, культурным хозяевам, настоящим мужикам. В них судьба деревни и государства. Что ваш Сеньков, хоть и коммунист? Ноль. А Шатров и государству дает, и вам поучиться у него есть чему. Вот в чем дело.

Вежливо слушал дядя Алексей, а тут прищурился:

— Это мы понимаем,— сказал он медленно. И вдруг оборвал грубо и горячо: — А что — Шатров да Шатров! Что мы, сами не знаем, что ли! Шатрову хорошо было паровую ставить, а ты спроси, отколы деньги ему свалились? А!.. Вот то-то и оно! А ты — Шатров... Нам ли не знать Василия Ивановича! Чать при нас разживался, на виду. Он, Василий Иванович, хоть середь леса живет, а боль-шая щука! К власти его, не бойсь, народ не допустит.

Внимательно взгляделся в него Николай Леонидович, забарабанил по столу:

— Так-с.

— Чего смотришь? — усмехнулся дядя Алексей и огладил бороду: — Нам пи к чему он. Ну, правда, хозяин — никто ничего не скажет: дает всякое развитие... Мельницу новую с воздушной турбиной, говорит, для народу ставит. А у нас свой мельник — водяной. Правда, другим деревням, может, к нему более подходящее... А нам — ни к чему.

Николай Леонидович спросил о водяной мельнице:

— Это какая... На малом утрасе?

— Тамочка,— засмеялся дядя Алексей и покачал головой.

— Ты что? — спросил хозяин.

— Грех один с ним! Мельница, правда, подходящая и, нечего жаловаться, выручает. А только силы у него для нее нет. Там одного назму да земли возов пятьдесят свалишь. Опять-таки лошади. А он — смех один! — бегает с бабой взад и вперед, ровно кулик: там наволок зря широкий... Был у нас третьево дни, плакал. Последний, говорит, сундук и дом в Шарье продал. Теперь, говорит, пронесет если, одно положение — в петлю... Конечно, добра-то жалко. Только пронесет его нынче — обязательно.

Хохотал Николай Леонидович.

— Без мельницы останетесь, чудаки гороховые! Народ отпахался, свободный, всем бы миром и собрались... Какая плотина там?

— Ну, плотина! — презрительно сплюнул дядя Алексей, закуривая. — На двадцати лошадях в три раза бы завалили...

Пыхнул синим дымком и добавил:

— Всем бы миром чего!

И вздохнул. Тут погасила примус Ольга Васильевна, разговор оборвался. Ел дядя Алексей, упершись глазами в стол, весь вспотел, а она занималась с мужем, выбирая ему кусочки помягче и побелей. И все упраскивала, беспокаясь об его аппетите.

— Ешь, ешь поболее,— поддержал ее дядя Алексей.— От еды всякая болезнь проходит.

И спросил о глухаре:

— Анька ваша, что ли, принесла?

— Сама бабушка... хозяйка,— спохватилась Ольга Васильевна.— Я и забыла сказать!

Прыснул, заскрипел весь дядя Алексей:

— Вот так баушка,— захохотал он.— Ну и ну!

— А что? — недоумевающе посмотрела она на него и, как всегда, покраснела.

— А вот то... Баушка! — Он, хохоча, насмешливо и в упор смотрел в ее серые, круглые глаза.— Баушка!.. Да она из девок еще не вышла! Сундук с сарафанами да с калошами у отца стоит. Чай, годков на восемь старше тебя!

Заинтересовалась, стала расспрашивать Ольга Васильевна. Как-то не дошло еще до нее об Анне,— стеснялись ли бабы мужа или не доверяли, но приносили молоко и яйца, благодарили за ребятишек, глядели во все глаза, все примечали, а свое женское таили и не высказывали. Сама же она была слишком поглощена только открывшейся и еще не вполне понятной женской жизнью. Вставала еще по утрам побледневшей, растерянной, вспыхивала, долго темнели глаза.

— Видишь ли,— весь красный, вытирая жирные руки о голенища, начал дядя Алексей.— Племянница мне она, Анька... Она у нас первой девкой в деревне была,— ей-пра! Работница хоть куды — жать ли, косить, по женскому делу, а — гордая. Ну, одевалась чисто — калоши у ней всегда, сак, полусапожки печатные — одна дочь у отца. С лица белая, глаза — как пятаки, вот, ей-богу, никто не поверил бы, что из деревни... А шарьинский машинист сватал — не пошла. Лавочкинову сыну отказала. Дык ее мясники за гордость и спортили.

— Как... испортили?.. — удивилась притихшая Ольга Васильевна.

— Олька!.. Глупышка! — обнял ее Николай Леонидович.

— Так и спортили! — злорадно продолжал дядя Алек-

сей. — Видишь ли, у нас раньше мясники ездили, брали скотину... Я в Восточной Пруссии как раз находился. Да, они на сеновале здесь у вас на самую паску и стояли! Ну да, в это самое время, только из лесу пришли. Ну, конечно, попросили ее молока принести, яиц, — здоровые, краснорожие были — с одного мяса, известно. Принесла им — они поиграть захотели. А она с тела нежная, карахтер гордый, — дык ее с сеновала и спихнули... Прямо на косточку она и грохнулась!

— Ну и что же? — тихо, тихо спросила барышня. — Подожди! — отстранилась она от Николая Леонидовича.

— Ну и что же! Так и зачахла от гордости. Повреждения или боль, што ли, какая? Так и стала гнуться и гнуться, а после высохла. Ей бы сразу доктору все рассказать, а она застыдилась. Никто и не знал. Мясники сами после смеялись, рассказывали.

Стало совсем тихо.

— М-да. А глухарь недурен... — медленно произнес Николай Леонидович, высасывая мозг из костяного острия. — Что же, обычная бытовая история.

— Эдак, эдак, — равнодушно согласился дядя Алексей.

Он высмотрел на потолке совсем лишний здесь металлический крюк.

Николай Леонидович взглянул на жену и поразился:

— Оля! Да что с тобой?

Она сидела с глазами, полными слез.

## 6

Вились над деревней белые чайки. Прямо из лесу, на полую светлую гладь, вертя зеленой бархоткой голову, выплывал чернокопый селезень, и утка, кряком и брызгом всколыхнув желтый ивовый куст, тащила по воде лапы свои и, обернувшись и взгрудив волну, утло покачивалась... Уже ульем гудели и похаживали распростертыми синим и белым пером косачи на темных полянах, и гулко ударяли, прокатываясь по зеркальной заре, охотничьи выстрелы.

Зазвенело, засолнечело, высунулась первая трава, в сумерках гудело жуками в нежных, зеленых потемках берез. Это счастье принадлежало и ей, Анне с удаловского нового двора. В тот же день, как узнала о ее одино-

кой судьбе, пришла к ней сама московская барышня. Все-таки и ей улыбнулась жданная радость! А жизнь раздвигалась все шире и шире...

Под самый светлый праздник пронесло на утраسه мельницу начисто, а ночью у колеса повесился мельник. Похоронили его в лесу, в стороне от плотины. Отмучился. Качали головами мужики. Столяр выбегал на улицу: «Знаю, все знаю! — кричал. — Дождетесь, не то еще будет!» — и грозился московским. А мучку многим сразу же пришлось занимать. До паровой — сорок верст, теперь надежда одна — на Шатрова. Приглашал к себе уже Василий Иванович!

Пасху Анна гуляла одна — скучно, торжественно, без Ольги Васильевны. На три дня увез жену Николай Леонидович к Шорохову, а она хотела поздравить красным яичком, как в старину. Так и не пришлось до возвращения.

В церковь она не пошла. Но встала чуть свет, приоделась в старинный, еще маменькин, сарафан, с проймами, с лентами и бусами, весь из желтых и зеленых шелков, вынула из заветного сундука форменную девичью шаль, что покупали раньше в городе, за сто верст, у ветлужских купцов. Скучно глянул новый деревенский день. Моросил мелкий и нудный дождь. Совсем почернели мокрые тесовые крыши и неприятно блестела у колеи жирная, вывороченная грязь. Мужики вернулись со службы уже пьяными, сильными, орали, ругались, хвалились и наследили по избам. И начался бессмысленный и однообразный угар праздника. Ошалела Анна у печи, угощая, кланяясь родным и знакомым, совсем задохлась от махорочного дыма и духоты, а все улыбалась, видя кругом своих, родные лица, слыша родные слова. И все откликалась из своего угла, даже пригубила из едкого и душного стаканчика, а после осмелела, запела с молодыми и было прошлась... Но так тяжело и спокойно посмотрел на нее дядя Алексей, что оборвалась на полуслове и отошла. Все-таки ничего, встретили праздник!

У Сеньковых кто-то два стекла выхватил, а дядю Алексея жена сволокла за мертво.

Три дня гуляли мужики и ушли на плоты.

Дождалась Анна Ольгу Васильевну — поздравила красным яичком, поцеловались, но как-то погрустнела и еще больше побледнела московская барышня. А у Анны пошли самые огородные дни — ее счастье и все бабье

искусное, свое собственное хозяйство. Не касались этого дела мужики. И чуть вырвется, прямо к московским, к Ольге Васильевне. С жаром принялись они вместе за грядки, копались с утра до вечера на усадьбе у яблони, сажали неизвестные Анне и прекрасные по названиям цветы: резеду, душистый горошек, львиный зев, турецкие бобы. Ей, огороднице, самой искусной огуречнице, да грибнице, было о чем поговорить и на что посмотреть. С утра она тут как тут, вырастает словно из-под земли, совсем еще ночной и черной, и неслышно встает среди разваленных аккуратных грядок и светится. Пугался сначала Николай Леонидович ее страшного горба, худобы, несчастья, ее босых и костистых ног, ее гробового платка, низко надвинутого на белесые, слезящиеся глаза, но уж очень была предана жене удаловская Анна! «Мне с тобой, как в зеленом лесу!» — говорила она шепотом Ольге Васильевне: «Сады всё сажает Николай Левонидович!» — из-под ладошек от солнца глядели и судачили бабы из соседних огородов. Бежали к московским ребятишки, блестя головами, с жердями, с палками, с досками, ревностно обгоняя друг друга... Совсем перестали дразнить они Анну.

Громыхнул уже гром.

Уходила вода. Вдоволь напившись, буйной зеленой яркостью восставали луга. И пошло... Пробивая нагретую землю, лопались желтые, лаковые лютики, барашки и ветрянки, торчали в сухих листьях, с выпуклой водяной каплей внутри, тугие заячьи уши, тенисто отзывалось кукушкам уже чернолесье. Теплотой опахивало, сладко гудело с черемух, осыпало розовой ватой еще колючие и темные яблони. А в рамени по темным еловым кварталам яростной медянкой напился и разгорался мох. Белой изморосью брезжился цвет на брусничнике. Уже лось пробирался с Керженца. Грелся в разломанной медвежьей ломи изумленными восклицаниями новых листов гибкий, сухой малинник. В борах, в затхлой сырости темнели сажей зимницы, речным ветром тянуло от опилок, коры. Пусто и громко стояли строевые леса.

Второй барабановский праздник.

Опять зазеленели на столах госспиртовские бутылки.

С утра сатиновыми и ситцевыми спинами загородили пзнутри все окошки мужики. Уже разогревало рано,плыли по-летнему, белыми пухлыми взрывами, облака, быстро таял тонкий утренний холодок. Душно и кисло

несло из изб в нежное, голубое тепло... Когда вышла на улицу Ольга Васильевна, уже там и сям орали и глумились над чем-то чистым, свежим, умытым первой зеленью и сиявшей повсюду лазурью гармоник. Валясь друг на друга, ходили в обнимку парни, выкрикивали частушки, глядя в землю, будто только для себя, с отчаянным видом. В сторонке плевались подсолнухами, не пели — выщebetывали девки, цветные, как канарейки, все больше — рябые, рабочие, с опавшими уже, крепко и низко стянутыми проймами сарафанов, огромными грудями, соннолицые или с таким сизым и важным румянцем и в таких дебелих боках, что казалось — вот-вот и отпрыгнет из них той опарою, что кислой вонью пучилась в каждой избе. Кое-где уже хороводили, подметая улицу занавешенными в тысячи сбор подолами, притоптывая коваными полусапожками, будто равнодушно, будто занимаясь давно надоевшим делом. Пели тонко, визгливо, и смердило коровьим прогорклым маслом из-под платков.

Ольга Васильевна с мужем сидели у Любановых. Было душно и шумно, неумолкаемо говорил сам хозяин — бритый, с бравыми глазами, остроусый, с грабастыми громадными ручищами до самых колен, странными при разумном его лице, с миловидно-румяными щеками.

— Когда кончатъ будете? — хрипло и возбужденно кричал он Николаю Леонидовичу, тот только отмахивался. — Капиталист я какой? Буржуаз? Верно! Верно товарищи говорят! Я самый... Вот они, капиталы мои, — и вытягивал руки, как грабли. — Кончайте, все одно сдохнем вместе. Вот они наработают вам!

И показывал на девок и сыновей.

Те сидели, не обижаясь, и смирно, не шли на улицу — пухлощекие, нежно-румяные, узкие — все с огромными ручищами, как у отца; сестра хозяина, глухонемая, громадная девка, всегда в одном черном сарафане, прямо рабочая лошадь, знаменитая рукодельница и ткачиха; дочери-перестарки, жена с лицом кротким, замученным, все, как один: сила, свой даровой, несчитанный труд. В строгости держал их Любанов.

Ольге Васильевне надоело слушать. Есть она ничего не могла: так было все безвкусно, жирно, все испорчено и перепарено. Мучил ее и этот кислый, прелый запах, свойственный избам здесь, в лесных краях. Она высунулась из окошка — сразу обдало приятной теплой све-

жестью. Черным-черна горланила и толкалась людьми деревенская улица. С горки ослепительно зеленело, словно освещенное изумрудным бенгальским огнем, молодое поле. В конце улицы, у дома Анны, завалила палисадник, цвела серым дымом сирень. Всюду, всюду неистово горланили цветы сарафанов, — обрядилась улица в куринный желток, в лазурь, в алое и розовое, в черное сукно пиджаков. Вдруг раздался пронзительный, удалой свист. Вскидывая ноги, разваливая на обе стороны народ, вылетел жеребец, за ним — из стороны в сторону — едва устаивающий плетеный тарантас, — и прокатил. Едва различила Ольга Васильевна: дядя Алексей, необычайно равнодушно уткнувшийся подбородком в грудь желтой рубахи, и Ваня, в черном картузе, розовый, почему-то с ружьем. Только пыль завилась! Через минуту обратно. Дядя Алексей почти не правил, мотало его туда и сюда, оглушительно засвистел он, а Ваня на ходу, потеряв картуз, выстрелил.

Промчались. Никто не обратил на них особого внимания. А густо кругом высыпал народ. Стояла у своей избытки Пескариха, среди баб, говорили они ласково и мирно. Грудные и побольше, с матерями, как ямщики на беседках, тянули ручонки, словно за невидимыми вожжами. У Курицовых тесно сидели бабы, — у свекрови в голове искалась молодуха, на теплом солнышке. Никогда не приходилось Ольге Васильевне видеть такого гребня: с грабли шириною, деревянный, с огромной рукоятью, промасленный, вероятно, насквозь... Одной рукой ставила его молодуха вдоль блестящего на голове белого пробора, как бреднем вела, другой быстро и ловко подщелкивала.

Весна, полная весна! К вечеру запахло повсюду дождиком и ландышами. В этот день стеариновыми веточками показались первые, луговые — из холодка тугих, смугловатых еще, не распавшихся трубок.

А горбунья весь день просидела у палисадника, караулила и плакала. Всю ее сирень обломали за день.

Стал поправляться Николай Леопидович. Стал обнимать ее даже днем, снимая очки... Раз случилось это прямо на огороде, под яблоней. Она сердилась, но слу-

палась. Но все чаще вставала с головной болью, с пытьем в пояснице и странной слабостью. И ночью не раз с жадной преданностью припадала к влажной голове мужа, нежно гладила прилипшие ко лбу волосы и не знала, не знала: ну чем же она виновата? И почему он так раздражается каждый раз и обвиняет ее в *холодности*?

Сладко пахла в темноте черемуха со стола.

И телом мужа, и, боже мой, — так ощущала она — какой-то неясной тоской, зажатой в коленях, в груди, в животе, давила ее и мучила душная, насыщенная запахами темнота. Неровно, непонятно дышал Николай Леонидович, вдруг чужой и совсем далекий, спал, и, то удаляясь, то вновь возникая, словно поворачиваясь на лугах, долетал из ночного, свежего мира крик дергачей. Утром до слабости в коленках ослеплял ее солнечный свет. И сразу, в одном халате на голое тело, бежала в огород. В ночных запахах еще лежали заросшие, росистые усадьбы. Зеленоватым туманом свисал цвет на черемухах, пробитый там и сям солнечным дождем. Словно протягивалась земля. Опахивало с кудрявых фруктовых деревьев жужжаньем и гудом, плясали уже мухи и путался повсюду в несметных стеблях, усиках и лопушках разогретый и оживший стрекот и звон.

Ах! Затянуться дыханием, еще раз...

Не замечала, как вцепилась в ленивую косу черная, слюдяная пчела. Ну когда же, когда же? И почему я «не настоящая женщина»?

Уже с раннего утра становилась горячей земля. На грядках всходили душистый горох и турецкие бобы, но еще дремали в подземной тьме маки и резеда... Она наклонялась к грядкам. И если было это в ранний час, неизменно вырастала вдруг Анна и заливалась таким счастьем, от которого московской барышне становилось почему-то стыдно.

## 8

Июнь давно стоял морем цветов.

Грозно стемнели нагретым своим травяным изобилием заливные луга. С утра парило, пахло облаками, но жарко летал тончайший запах шиповников, разносясь в голубом. И загаром, веснушками, зноем обдавало с ромашки, — колыхался, звенел и журчал воздух, и мягко и ду-

шисто принимала в себя тропа, по пояс в склоненных усатых стеблях и цветах.

Раскинувши руки, лежать в обступивших травах и цветочных головках, привстать на локоть и невольно зажмуриться... Бездонным светом, под душным и белым облаком, распахнулась река. С другого берега нестерпимой сухостью жажды палят раскаленные пески. А здесь, в траве, как в ванне, погруженно, забывчиво шевелит волосы, покачивает грудь и щекочет у шеи — мягкая, дремотная и ленивая теплота.

Ольга Васильевна лежала пагая, нагретая, прохладной темнотой оведала ей лицо тень от дубка.

Ничего не думалось. Счастливой солнечной сытостью, безмятежным и мерным гудением пчел дышалось вместе с землей. Иногда приходили на ум случайные мысли, обрывки слышанных фраз, мгновенное из деревенской жизни... Смешила ее деревня показной степенностью и деремончностью перед давно отжившими и нелепыми обычаями. И какой странный, совсем как будто другой, русский язык! Вместо бабушки почему-то называют «минькой», в прошлом году по-ихнему — «ноли», намени — «восет», вместо там — «тамочка», и вечное это «эдак, эдак»... Когда Анна начинает рассказывать, только и слышишь: «пробивная тропа», да «брусница», да «у нас по шохре», — она улыбнулась, вспомнив фанатичную любовь Анны к своим лесам и этой дикой стране. А вот старинные песни совсем уже исчезли. Только и поют, когда соберутся вместе — в лесу или возвращаясь с поля, но редко и с каждым годом все случайнее. Частушки же и старинные воровские песни в ходу.

Ей было бы страшно остаться одной в деревне. А мясники и судьба Анны... Уже не раз горячо и возмущенно спорила она с Николаем Леонидовичем о страшном бесправии женской судьбы, о грубой мужицкой издевке над незаметным бабьим трудом, о всем том, что ей пришлось впервые увидеть среди этих зеленых трав и напвных цветов. Уже стала понимать, как выходил в люди Любанов, даром хвалился — не кулак, всегда своими руками! Жуткие, все в наростах и узлах, висели до колен эти руки... Но еще страшнее были они у сестры — глухонемой, огромной девки — и у старшей дочери-перестарки, ворочавших день и ночь и безмолвно ютившихся в темном чуланчике. Запомнила она, как впервые увидела глухонемую, на улице, когда вывозили навоз. С ветрянную

мельницу показалась она ей, с вожжами, по колена в навозной жиже, с гримасой вместо улыбки, — и, оборачиваясь, кивала и ласково, по-коровьи мычала она. «Ответит за сестру перед престолом господним!» — вздыхали соседки, а встречались с Любановым — любопытно, чьи-то кланялись первому мужику, заискивали. Вспомнила Ольга Васильевна их сеновал, лестницу над сепцами, страшный порог, где осталась Аннина красота — и стало ей страшно... И, как всегда в таких случаях, протянула к Николаю Леонидовичу руку, осторожно, видящими пальцами ощупывая волосы, лоб и глаза...

Он спал под простыней. Она улыбнулась и, сладко потянувшись, — нога на ногу, вся уже заалевшая от избытка впитанных солнечных сил, — снова раскинулась в зеленую дремоту земли. Где-то едва громыхнуло. Но еще жарче сияло над рекой белое облако. Весь воздух шевелился от стрекота насекомых, где-то совсем рядом басил и басил шмель... Потом на живот ей села муха с ядовито-зелеными глазами. Она приподнялась и вдруг на примятой траве увидела себя распростертой, выпуклой, яркой и розово-телесной, как никогда в жизни. И неожиданно такая судорога пронизала ее, так тоскливо и сладко защемило что-то внутри, что упала грудью на локоть — затуманенно и закусив губу...

Грозу проволочило стороной — они ничего не помнили. Наверху то прохладнела снежными, подсиненными клубами восставшая облачная белизна, то снова — сияло жарко, ослепительно там, и в безднах лопался и раскалывался темный громовой отлет... Налетало холодком, с шорохом вокруг них стучались головки цветов, но еще ярче светили луга — мимо, мимо дымила и клубилась, вспыхивала неживым светом и ползла темнотой лиловая гроздовая мгла...

А потом еще спокойнее зашелестел хор кузнечиков, и еще душнее замерло над белой рябью цветов. Она — женщина, женщина! Шли домой — у ней счастливо смыкались глаза, и все тело жадно, до стога, тянуло и тянуло, — какие-то солнечные соки земли.

Проспала она всю половину дня, и вечер, и ночь, тем чутким летаргическим и вместе полным сном, что знают лишь женщины. Казалось — пила и пила без конца прохладную и вкусную темноту, прильнув всем существом к этой тенистой прохладе: ночью был гром, ворчалось и плескалось на дворе, озарялась белым пламенем ком-

ната, ландыши на столе,— она улыбалась, не открывая глаз, детству, жизни, неизвестно кому.

И утром — обило черемуху, и так свежи были восклицания птиц! и такая тишина, как в лесу, и столько молодости и легкости в теле, и теплая сырость земли вокруг, что целось и игралось, только ревниво поглядывал на нее Николай Леонидович. И весь день не знала, куда приложить свою неутомимость и веселье. Хлопотала по хозяйству, обласкала Пескариху, кормила конфетами ребятишек, а перед обедом долго причесывала голову и выгладила новое платье... А только отобедали, пришел к ним дядя Алексей.

— Николай Левонидовичу! Ольге Васильевце! — поздоровался традиционно, как и все, снял картуз. — Сады ваши смотрел. Ничего. Все-таки добились своего удовольствия.

— Ты что, давно не был? — оглядел его хмурую фигуру хозяин. — Сады, брат, замечательные! Душистый горошек видел?

— Как не видел, — словно нехотя ответил тот. — Веревки ты там нацепил! Чай, зря? Если нам так его убирать, много не наработаем. А много ли каши с него соберешь? — вдруг, сощурившись, быстро спросил дядя Алексей.

Ему объясняли, втолковывали, он вразумительно соглашался — эдак, эдак — и не верил. И, как всегда, зорко оглядывал по сторонам.

На столе, разнося водянистую свежесть, — крупные, белые, сухие, самые последние лесные, — из листьев в стакане развесились ландыши. Поближе присел дядя Алексей, насмешливо, с сожалением поглядел на Ольгу Васильевну:

— А мне баба говорила: ровно вы лекарства собираете по лесам... Вот дык лекарства! Пустой травы натащили. У нас их и коровы не едят.

Она расхохоталась, словно отряхнула с дождевой ветки.

— Дядя Алексей?! Да это... ландыши! Ха-ха-ха-ха! Да вы понюхайте, как пахнет! Дядя Алексей, миленький!

— Кинулась к нему через стол:

— Нюхайте, нюхайте!

Осторожно, словно водку ко рту поднося, понюхал дядя Алексей и нахмурился. Понюхал еще раз. И вдруг

расплылся, как мальчишка, и осклабился, опуская стакан.

— Поди-ка ты! — говорил он, улыбаясь. — Ровно от духового мыла... А ведь на большие тыщи, наверно, у нас их? — обратился он к Николаю Леонидовичу. — Вот живем в лесу, а ничего не знаем.

Торжествовала московская барышня. Смешил ее и чем-то трогал этот огромный, курносый, рыжий мужик! И особенно поражала ее в нем странная, застенчивая, притаенная ласковость сквозь внешнюю мрачность, презрительность, грубую насмешливость. Смутно угадывала под этой грубой личиной что-то совсем другое, пока еще непонятное... Трудно, трудно разобраться в этих людях! Вот и теперь, так и не может она понять: зачем это понадобился ему йод...

Йода она ему так и не дала. Вышла замуж совсем недавно, перед самой операцией Николая Леонидовича, и полюбила возню с термометром, с перевязками, всякие пузырьки и пилюли, мечтала теперь даже на медицинский, — все выспросила у дяди Алексея, даже покраснел и застыдился мужик. Но показать спину долго отказывался. Наконец поняла Ольга Васильевна — и задернула занавески на окошках. «Остудил да остудил», а стал стаскивать ситцевую рубашку — чуть не закричал, даже слезы показались... И ахнули они с Николаем Леонидовичем: вот так «чиренок»! Огромный фурункулезный нарыв с воспалительным процессом вокруг... И как это он мог терпеть и работать при таком ужасе! И домашние хороши — даже самого примитивного компресса не могли сделать!

Ольга Васильевна кивулась к чемоданам. Появилась вата, бинты, хирургические ножницы, — в самоваре оказалась еще горячая вода. Она уже намыливала руки старательно, надела белый передник, прямо милосердная сестра. Голый по самую бледную поясницу, странно белый, никогда не оголяющийся под солнцем и поэтому не загоравший, как все мужики, только косился дядя Алексей на вату, зашипевшую сине-зеленым пламенем, на сразу побледневший и прояснившийся горячий никель, на белые и маленькие ее руки...

— Нагнитесь, нагнитесь! — сказала она.

Он сидел на табуретке, наклонив кудлатую голову. Знойно-зеленым глазком конской мухи светил и острился на его спине вздутый багрово-красный нарыв. Дядя

Алексей зажмурил глаза. Запахло эфиром, и там, где зудящей тяжестью рвала и постреливала боль, тронул ледяной, нежный холод. Потом он ощутил осторожную теплоту ее рук.

— Ничего, ничего,— сказала она, и он вздрогнул от прикосновения холодка металла.— Давно болело, дядя Алексей?

— Беды... измаялся,— прохрипел он, зажав зубы... И сразу горячее поползло по спине.

— Давай вату... Коля, скорее! — слышал он сквозь туман боли.— Ну, потерпите; потерпите еще...— и опять нестерпимо давила она на самое страшное, от чего перехватило дыхание и уже текло по боку и к самой пояснице.

Стучало, стучало в висках.

— Ну вот,— воскликнула она через пять минут.— Все! — И, сияющая и гордая, показала ему ведро, заваленное ярко замаранной и отвратно слепшейся ватой.

Боятся в деревнях смотреть на кровь. Побелел дядя Алексей, когда взглянул, ахнул совсем по-бабьи, чуть не перекрестился. Слегка щипало еще в ране, но уже блаженно-легко вздохнула спина, будто скинул пудовое старое горе. А она уже полоскала руки из красивой душистой бугылки, а одеваться не позволяла — до компресса и перевязки. Потом заставила его держать бумагу, клеенку и вату, мочила горячей водой салфетку и все целовала на ходу, между дел, Николая Леонидовича... Конфузливо только отводил глаза дядя Алексей и глядел в окошко. Давно уже заметил это, и мучила его одна мысль... А сегодня как будто еще ласковее московская барышня. Ровно еще посправнела, веселее и светлее стали глаза, а от рук ее, от белого передника пахло чем-то вольным, праздничным, молодым. «Не больно?» — спросила она, пеленая его грудь мягким, приятным бинтом — наискосок, охватывая его со спины руками и прикасаясь тогда чем-то упругим, теплым, вместе с щекотным дыханием у шеи... «Ровно в госпитале!» — подумал он, отрицательно помотав головой, и — умилился. Частный московский госпиталь, куда он попал раненый, прямо из зимних окопов, в глубине души оставался лучшим воспоминанием его жизни — мимолетным и легендарным, как сон. Вот и сейчас опажнуло его этим отдаленным, уже почти забытым, что долго, долго, некогда, во мраке окопных дум, трогало его почти до слез. Снова, снова... Мато-

во сияет застекленная дверь, там за ней энергично и привольно падает вниз и шумит горячая, зеленая вода... Вокруг него блеск, свет и чистота, скользкий и глянце-вый, как тарелка, пол из цветных плиток, кафельные стены, а за окном сугробы, дымы, купола Москвы, морозная, седая зима. И конфузно ему на белой табуретке оттого, что совсем голый, с остриженной головой и бородкой, а тепло, хорошо, даром что на улице январские холода. И барышня, ослепительно-белая, прямо голубая, выходит с засученными рукавчиками, пахнет от нее паром и свежими брызгами, улыбается... Ему совсем стыдно, прикрылся ладошками, щекотно, словно ребеночку. «Вставай, вставай, Удалов: все равно все видела! — говорит и смеется, а сама смотрит: — Что-то у тебя прыщики на спине... А ну, покажи свои швы!» — и ведет его осторожно, поддерживая теплой и нежной ручкой, в ходячую, темно-зеленую глубину, прильнувшую к белым ступенькам. Батюшки мои! Где-то загаженные, смертные солдатские снега, дымные землянки и комом в груди, вечные — злоба, страх, нудная, вшивая тоска. А в белом кафеле, под никелем кранов плавают вверх ногами деревянный градусник, и чудится: зной на реке, стрижи над песком, и колыхается вокруг, ровно в детстве, ленивая и теплая, как парное молоко, вода.

Грубым и беспощадным становился дядя Алексей после хороших воспоминаний. И в семнадцатом году, когда шли солдатской волей и судили начальство, и в восемнадцатом, самом половодном, когда зачесалась в руках народная винтовка, и после — дома, в лесу. Словно оскорблялся за свою жизнь, знал, что не сам виноват, а где правда — запутался.

Перевязала его Ольга Васильевна. Он совсем помрачнел, глядел уже как-то насмешливо, даже не поблагодарил. И долго курил, отводя глаза от хозяев и пуская дым за окошко. Очень беспокоилась о своем муже Ольга Васильевна, и всё «Коля, Коля»... Опять набегало приятных слов на дядю Алексея что-то далекое, как шум кранов в белом брызжущем кафеле, что-то несбывшееся, что-то у него украденное, сразу стал наливаться он темной и душной насмешкой, а в глазах появилось хмурое и дерзкое озорство.

Свежо и тонко пахло от ландышей.

Он вздохнул, но спросил грубо и сумрачно:

— Вот я на вас смотрю, и мне чудно: все вы ходите

возля друг дружки и милуетесь. А тебе она все Коля...— Он захохотал.— Коля! Чудно! Дык целует и милует еще... И все с лаской! А моя хозяйка не то чтобы поцеловала раз за всю жизнь,— тридцать лет живем,— с ласковым словом не подошла. Ты вот мне и скажи,— обратился он к Ольге Васильевне.— Ты, будто барышня... ну, жена там... а все целуешь его... Дык у вас так, выходит, и заведешо по городам?

Она рассмеялась, поглядела недоумевающе:

— А как же? — и обняла мужа.— Вот так вот: если любит, значит, целует.

— «Любит», — расхохотался дядя Алексей.— Любит! — Он вторично произнес это слово нарочито грубо и презрительно.— Чай, эдак у нерабочих людей, а у нас иначе.

И стал напаривать картуз. Был он в опорках из старых обрезанных сапог, а картуз носил старого режима — не то учительский, не то акцизный, — на каркасе, с вытертым кружком от кокарды на бархатном околыше.

И ушел.

А вечером разыгрался у него с Аксиньей скандал. Никто толком не видел, а слышали, — очень уж раскричались ребята, — два окошка высадил старый, говорили, посуду побил: пузырь на лампе, два блюдечка беленьких и кузнецовскую чашку. Печатку фамильного чая растоптал, только что почали, а ночевать ушел в лес — к леснику, на Садомиху.

На следующий день, чуть отлежалась Аксинья, вся в синяках, с подбитым глазом, встретила ее удаловская Анна на огороде, мимоходом, пробираясь к Ольге Васильевне. Уже высоко стоял лук, пахло на огородах огурцами, укропом и тмином, гудели в горячих лопухах изумрудные мухи, и шелест берез пятнисто и низко свисал в густую усадебную траву. За усадьбами, заглядывая сквозь прясла, блестели и дымились наливавшиеся ржи. Загостились петровки-то! Аксинья стояла среди баб, на своих огурцах, с косою на плече, рассказывала... Опытна и серьезно, подпершись локтями, слушали бабы, деловито поддакивали, качали головами, как всегда при неизменных своих делах, в разговоре, — о панихидке ли, о родильнице, о пожаре или больнице, как всегда, как двести или триста лет тому назад. Подошла Анна, посерьезнела, как и все, подперлась, как и все, по бабьему образцу, и стояла такой же опытной, единой — женщиной, как и все другие.

— Налетел, ровно филин,— продолжала Акси́нья: — Целуй его да целуй! Ей-право, вот крест. Тридцать лет вместе, третья дочь — невеста, а до такого срама дожидла! Засморкалась Акси́нья.

— Страсть-та! — вздохнули бабы и дружно закачали головами.

— Я ему: «Детей бы постыдился — сын на твои бестыжие глаза смотрит, как ты над матерью измываешься». А он ровно опился: чашку синенькую выписную разбил. И всё голосом, голосом: «Уйду,— говорит, — в гошпиталь, што ли, какой,— на кухарке женюсь...» — «Старый дурак!» — говорю. Посуду разбили, где ее нонче купишь!

— Эдак, эдак! — закивали снова бабы, и Анна с ними. — Нонче найщешься!

— У нас дедка тоже тарелку разгрохал, так и рассыпалась! — сказала курицовская молодуха, франтиха, вся в подоткнутых юбках, словно кочан капусты, и вздохнула: — Разви на них напасешься, на жеребцов!

Совсем жарко разговорились бабы, стали шептаться — Анна не стерпела, как увидела вдали знакомое белое платье и шелковые чулки по колено, заторопилась. Ахнула она, как посмотрела на московский сад: распустился, кое-где взошел чуть не до плеч и приторно, конфетами, благоухал душистый синий и алый горох.

## 9

О своем будущем, о завтрашней жизни она никогда не думала. Прошлое, где было детство, родители — папа и мама, — две косички за плечами, воробьи и солнце арбатских проулков, осталось забытыми сумерками, котом у лукоморья, и она не помнила. И где-то совсем на излете памяти чуть брезжилось: торопливый день ее какой-то, словно именины, но печальные, дядя-шутник, вдруг от нее отвернувшийся в сторону, «бедная, бедная Олечка!», траурное письмо из Сибири и у любимого персидского ковра тетка Лариса, в наглухо-коричневом шелковом платье, с припухшими, чуть свисающими щеками... Осталась одна, одна! А после со школьным чемоданчиком и семилеткой МОНО, с вечерней Страстной, — с шумными пассажирами и обтянутой девичьей юбкой, с дачей на Клязьме, с первыми телефонными звонками и встречей у мюзик-холла, уже спутником всегда — этот милый тетин пушистый

ковёр! И уже дядя не влетал по утрам со стаканом воды, чтобы обрызнуть, смеясь и картавя, а стучался и спрашивал притворным тонким голосом: «Старый холостяк встал?» — и обувь ей стали покупать на Кузнецком у Зеленина.

А после, с вылетом «в замуж», все это сразу ушло в старину. Через неделю уже пришла с Николаем Леонидовичем под руку — и как постарели «свои» за это короткое время — и Лара, и дядя, и вся их квартира, и даже выгорел как будто ее любимый пушистый перс! И хоть густо краснела, хоть корчил ей дядя украдкой смешные рожи, но радостно нарастало что-то гордое в душе, когда слышала, как деликатно и как-то особенно вежливо называют его Николаем Леонидовичем, говорят ему *вы* и чинно играет он с дядей в шахматы. А у ней частенько горели уши, и Лара пристально всматривалась в ее глаза и улыбалась (это она видела по тетиной щеке), отворачиваясь к окну. После же пришел этот ужас — его операция, больница, — нет, нет, она не хотела ни вспоминать, ни думать! Только б дышать тем чудным, чем наполнились послегрозовые, совсем запрятавшиеся в цветы и траву дни! Так густо, непроходимо заросли все поляны, луга, перелески, склоны овражков, таилась так глубоко земляника, так засинело во ржи, так пахли ночными красавицами неживые, некошеные сумерки с боем перепелов!

О, темнота возвращений!

Больше всего любили они вечера в полевых зеленых потемках колосьев. Сумерки приникают теплою дрожью. Внизу, под горой, устало смолкает деревня, трогает последним коровьим мычанием настороженный воздух, но в избах уже темно, ни огонька. Точно ни единого следа жизни не осталось там. Без шороха, навытяжку стоит распростертое море лесов, угасая в темнеющем зареве. Ни звука над хвойной пустыней, ни движенья. И ничего не услышишь. Лишь жук туда ринется гудящей струной, да зов дергача повернется из лугового тумана... Внимание! Точно из дальних веков, вдруг доскользнет по гулким безднам верхушек, и в мирном кипении перепелов и кузнечиков услышишь еле-еле — свисток со станции!

Вздрагивал, услыша его, Николай Леонидович. Макушка лета. Он загорел, потолстел, следа не осталось от прошлой болезни, ездил уже ловить на подпуска, копался в саду, но скукой стали вдруг подкрадываться серые деревенские вечера. И днями уже все чаще и чаще стал

погружаться в газету, и писал какие-то бесконечные письма в Москву. Иногда его доводили до желчи деревенские мухи, то вдруг становился скучным и сердитым, то вдруг начинал подсмеиваться над Ольгой Васильевной и ее дружбой с удаловской Анной. А дни все текли. Ольга Васильевна потеряла им счет и порядок, и так сложилось — не прикоснулась к бумаге и все откладывала ответ на дядины письма, как всегда, полные загадочных рисунков и приписок, от которых ей становилось и тепло и немного грустно. Да, все это: и дядина лысина, и его шутки, и письма, и таинственный черт там, с усами и свертком, похожим на спеленутого младенца, нарисованный в обычной дядиной свободной манере, — все это далеко. Она вся была поглощена своей сложной и новой женской жизнью. И Анна, и деревенские ребятишки, и дядя Алексей стали тем, что залетает вдруг в доброту первой женской влюбленности: желанием, чтобы все было так же счастливы, как и она.

Иногда изнемогал под ослепительным жаром сонный травяной мир. Уже поделили луга. Из окошек Николая Леонидовича виднелся лужок, намеченный на покос для общества, племенному быку. Густо темнел он по горе, вдоль стены зеленых хлебов, по цветочным увалам, вплоть до овражного ключика. И вот уже развернулся, в самую росу вошел, прилип к спине жаркой рубахой, зашаркал в теплой ржави мочажинок и кочек, и соленым лицом припал к бураку, отгоняя оводный гуд, — сенокос.

Дружно вышли на луга барабановские. Даже столяр не ругался, даром весь вечер грозился дождем. Стояла пустая деревня от зари до зари: заперты избы — одни тараканы и несметный мушиный гуд. А внизу, на побелевшей подстриженной пойме, уже к самой реке полегла ровными прядями и цветочными охалками голубая осока и самая луговая гущина. Сушеным, солнечным полыхало оттуда, криком, лязгом и шорохом кос, и розами сквозил там и сиял сухой и горячий воздух от обкошенных, осиротевших пшповников. Стояло ведро, красная летняя благодать. Никогда не купались взрослые мужики и бабы, а тут в полдень, побросав косы, вся деревня гоготала в реке... Слепили глаза белые, раскаленные пески. Крича и ухая, прикрывшись ручкой, срывались мужики с травы и грузно падали в воду, бултыхая в ней пособачьи. «С ручками!» — орал бородатый дядя Алексей,

зайдя по пояс, приседая и хлопая по воде первобытными ладонищами, а боялся окунуться... А крутом кипело от ребятишек.

И притащили раз они Ольге Васильевне огромных диких утят, совсем со змеиными облизанными шеями, с выдерганными будто крылами, еще в голубых пеньках. Всех, всех навестили на сенокосе московские, а у Анны побывать не пришлось: далеко, за шохрой досталось Удаловым, у самых больших лесов... Привезли оттуда Ольге Васильевне бурачок земляники и белых, странно, по-ночному пахнувших цветов.

А встретились они по-настоящему только на общественном покосе. Очень заинтересовался этим делом Николай Леонидович, даже был на собрании и дома подробно рассказывал о Сенькове и его агитации... Челуха! Уравнительная, рабская психика неприспособленных... Он саркастически улыбался, рассказывая жене о выступлениях мужиков, даже разгорячился, — в стране, где наши еще сварить как следует не научились! Тракторы? Ерунда! Безумная затея, на которую просядят последние деньги... Кроме того, эти машины совершенно не оправдали себя даже в Америке. Он сомневался в каких-либо успехах механизации, при ущемлении зажиточной части деревни. А коллективные методы...

С раздражением он предсказывал полный провал сеньковской затеи, даже этого маленького чепуховского начала, ибо все равно всерьез никто работать не будет. Гораздо проще было бы собрать корма с каждого двора, и бык был бы сыт. «Вот увидишь! — говорил Николай Леонидович. — Как будет собираться народ!»

А она слушала, не возражала и не задумывалась о таких совсем незнакомых и далеких вещах.

Чудесным, солнечным оказался день. И действительно, вышли поздно, пропустили самую росу — лучшее время для косьбы. Охрип Сеньков и его комсомолка, обегая избы и стучась по окошкам, упрашивая, ссылаясь то на Любанова, то на Курицовых, то на Сергеева, то на столяра... Все, мол, уже собрались, вас только дожидаются! Не торопились хозяйственные мужички, прихватив косу, какую не жалко. А бабы и девки собрались дружно, удаловская Анна и глухонемая впереди всех — в самотканых холщовых кофтах и юбках, с точилами у пояса, все босиком. Босой вышел и дядя Алексей, нечесанный, без пояса, очевидно, из презрения к пустяково-

му делу; в синей выгоревшей рубахе и огромном своем картузе. Поглядел на женскую веселую толпу, осерчал.

— Гвардия! — презрительно сказал он. — Дырявая команда! — и медленно сплюнул.

И все же собралась деревня, вся до последнего человека. Бегал, суетился довольный Сеньков. Мужики на него не глядели, двинулись без команды.

Широко видать с барабановского горного лужка. Внизу — широкой излучкой реки весь наволок в темнеющих копнах и завалах, болотные заросли с водяными окошками, лунки озер, а по склонам, обняв деревенский порядок, — наливное, то темными вздохами, то белесыми шелестами, бегущее забытие хлебов. И полосатели полевые склоны кругом. По оврагу мерцал голубым светлый ситцевый лен. «Свет-цветочек в сыру землю вошел, синю шапочку нашел», — говорила о нем Анна. Розовым дымом стлалась гречиха, грозвели клеверные, налитые поля, то там, то сям манили прохладною синью овсы, и горохи тускло отливали полудой, — дух занялся, как взглянули окрест косцы! И не устоять было против такой травы — пчела путалась, вся цветок к цветку, а к овражку вся в землянике, давившейся в сокрытом русалочьем холодку.

Запели вдруг бабы, не стоворившись, заунывной стариной; — о младе-месяце, о темном, сыром бору, о ясной и младешенькой, — шагнув косами и повалив на ряд спелые цветы... Шаркнуло только — повалилось опять, еще, — и легонько, сдерживаясь, повела огромная глухонемая ровный рабочий размах, причесывая ползучими студенными саблями на сторону, валя стрекочущими охапками рослую луговую гущину. Слушали, курили мужики, поглядывали, — и сама полезла в руки коса... Анна шла за любановской. Увидела поодаль синюю дяди Алексея рубаху, запела еще пуще, счастливее, а тут — и совсем хорошо — увидела Ольгу Васильевну.

Осерчали, шибко пошли махать мужики.

Счастливей, мокрый, как мышь, хлопотал узкоплечий Сеньков, в стоптанных рыжих сапожках. Навалилось было на него мужики — одному то, другому это, третьему, так, для смеха, покажи, где косить, — гоняли его без толку, а после, как вкосились сами, начали: «Вон лодырь наш опять побежал». И подкрикивал кто сзади:

«Зато партийный!» И злее еще поддергивали косы передовые, а дядя Алексей сквозь паузу всаживал: «Ахитация!» — только прокатывалось хохотом по мужикам.

Ничего не слышал Сеньков: очень уж быстро светлел уложенный ровными травяными прядями лужок. Уже по оврагу и долу, по пояс в пыльно-голубой осоке, заходили прямые, ровно отмахивающиеся косцы, и, чмокнув, выдергивался из радужной ржавой грязи бекас, перекрестив долок — туда и сюда — рябой молнией.

Долго смотрели москвичи на ладную и спорую работу. Николай Леонидович залюбовался на первых мужиков. Ровно, почти без звука, точно насмешливо и шутя, косил сам Любанов, — словно лоза из-под шапки, замертво валилась трава. Широко и прямо резали Курицовы, грудастые, коротконогие, словно налитые румянцем, плотные, как боровые грибы. За ними дядя Алексей — яростно-широко, с поднятой курносой и огненной головой, и, уже дальше, тоже важно и прямо, — но уже прочие, похудее и пожиже, мужички. Отдельно ото всех шел столяр, похожий на утопленника с вытаращенными, напряженными глазами.

Запели весело уже бабы, где-то за оврагом. Пошла туда Ольга Васильевна и все смотрела на Анну и не узнавала: уж очень серьезно и чинно отмахивался косами женский ряд, только и круглились из-под травы желтые и белые икры, и как взглянут мужики — еще мрачнее валит направо и налево глухонемая, захватывая во всю могучую кость. И Анна была такой же, как все, словно сняло с нее на покосе — и горб, и болезнь, и всю ее скукоту-немоту. Все пела и ласково светилась, когда глядела в сторону московской барышни. Удивлялся Николай Леонидович барабановским женщинам. «Ай да бабы!» Стали уже нажимать мужики. Косили по обеим сторонам оврага, поровну, а выходило неудобно — все позади бабьего подола оставался мужской ряд. Тут не сдержался Николай Леонидович, засучил рукава и, выхватив у Сенькова косу, ровно и опытно стал класть расщепчатые вороха цветов. «Росы нет! — крикнул он. — Не идет коса!» Только переглянулись и промолчали косцы, — не отстают Леонидыч; поднажали передние, — нет, приналег и он еще чище, как настоящий крестьянин — спина ровная, грудь наружу, легко и смертельно отсверкивает под травой, — работник работником! Не похвалили даже мужики, будто свой брат, и косил он с ними до

самого жару. А потом присели под рожь покурить, сидели, тут и подошел к ним Петр Иванович Сеньков.

Стрекотал жар. Сеньков казался сивым и мокрым, — мокрые мочальные усы и бороденка, пропотевший красноармейский картуз, — ядовито и спокойно поглядели на него мужики. Он улыбался добро и миролюбиво и, вертя в руке длинную ромашку, перешително взглянул на Николая Леонидовича.

Все замолчали.

— Садись, покури, чай, заработался! — насмешливо сказал Любанов, насыпая цигарку с ладони, покосив острым усом.

— Спасибо вам, Егор Лесеч, — ответил тот своим ясным голосом. — Покамест не заморился.

— С ахитации-то, — захохотал дядя Алексей, смотря прямо ему в глаза.

Но вежливо промолчали все остальные.

Пауза.

Сеньков опустил на одно колено, поигрывая цветком, что особенно раздражало Любанова. Надвинул Любанов козырек своего черного картуза ухарски и пренебрежительно на самые глаза.

— Коллективный труд, — сказал Сеньков, доверчиво поглядывая в лицо Николаю Леонидовичу, — тебе, товарищ Удалов, — не враг. Тебе в одиночку, что мне, все одно к сознанию не выйти. Вот они — человек с образованием — то же самое скажут. Советская власть вся на науке стоит и за научных людей. И ахромия, например.

— Эдак, эдак, — издевательски пробурчал дядя Алексей.

Николай Леонидович отвел глаза от сеньковского взгляда, ничего не ответил и стал перекусывать травшку.

— Да! — сказал зло Любанов и привстал.

— Вот и хочет Советская власть, — продолжал Сеньков, — подвести трудовых крестьян и бедноту к науке и сознательной жизни...

И осекся.

— Наукой... — грозно и глухо, будто ударить хотел, сказал Любанов, подвигаясь ближе, и бросил вдруг фуражку наземь... — Наукой грозишь...

Насторожились мужики.

— Так... А без науки вашей кто... тому смерть, Петра Иванович?

— Чего? — пробормотал недоуменно Сеньков.

— Нет, ты мне скажи,— зарычал Любанов.— Ты мне скажи при всех людях!

Пауза.

И вдруг, весь задергавшись, упал в ноги Сенькову и заголосил странным, тонким голосом, причитая и гнуса-вя, все сильнее и сильнее:

— Баюшка ты наш! Петра Иваны-ыч-кормили-иц! Ой, не губи, ой, не оставь! Ой, ой, поучи! Поучи, поучи, поучи! — заорал он во весь голос, припадая к сеньковским сапогам и валясь на траву.— Петра Иваныч, не оставь дурака! Петра Иваныч, по земле ползать буду! Петра Иваныч, в работники к тебе пойду! А-а-а... — завыл он и отчаянно забился по земле.— Ах! Ах! А-а-а-а...

Смирно, в замешательстве так и остались сидеть с выкаченными глазами все остальные косцы, а уже хрипел Любанов, будто закатываясь, захлебываясь, и казалось, не он — сама дикая, злая бессмыслица заизвивалась, забилась под чьим-то беспощадно настигшим ее сапогом...

— Постой... постой... Егор Лексеич! — бормотал бледный Сеньков, опускаясь на колено.— А, Егор Лексеич... погоди...

Жалобно стал всхлипывать Любанов. Неловко и страшно было глядеть на него, на первого барабановского мужика, обхватившего голову, словно от невыносимой боли, исходящего слюной и слезами.

— До чего довели хорошего человека! — угрюмо сказал дядя Алексей.— До убийства самих себя.

— Рубаху последнюю снимают! — сразу заревели остальные.— Знаем. Все видим.

Глянул еще раз Сеньков в глаза Николаю Леонидовичу за помощью, но увидел там только холод и смех. И тогда сразу весь отвердел и вскочил. И тотчас за ним вскочил и Любанов, в момент смахнувший всю мокроту, стриженный наголо, остроусый, только повел светлым и бравым глазом на земляков.

— Ну! — гаркнул он на Сенькова, подвигаясь вплотную и сжимая жуткие свои кулаки.— Научно, говоришь... А когда учить станешь, Петра Иванович? А?

Медленно наливался краской Сеньков.

— Когда учить начнешь? Говори!

— Не мне с вами заниматься,— твердо, но тихо сказал Сеньков.— Народ вас учить будет, дождетесь.

— Народ! — хрипло крикнул Любанов. — Стой, брат. Народ — вот он. Это ты мне ответишь! Ты меня, дядя Алексей, учить можешь?

— Мы к етому не касаемся, — ответил тот хладно-ровно.

— Что? — торжествующе обратился Любанов к Сенькову. — Так ты мне сам покажи, как жить надо. В правители записался? По-научному, говоришь? Газетки читаешь, а у самого изба развалилась, сам свинья-свиньей, а народ учить хочешь? Ты государству много ли сдал?

Тут сразу прорвало всех. Загудели «индивидуальные», замахали, а Любанов продолжал уже криком:

— Партейный! Беднота липовая! Ты в бедноту с семнадцатого года поступил, а все подняться не можешь? Дык к чему твоя наука? Я тебе свой дом отдам, полное обзаведение, — все одно через год побираться будешь! У-ух, нахлебники навязались!

— На пейции они, — крикнул чей-то голос.

— Чего ему учить? Он темнее нас!

— У нас кулаков нет, нам и партейных не надо!

— Товарищи! — хотел перебить голоса Сеньков, весь красный от неслыханных крестьянских обид, но ему не дали говорить...

— Теперь «товарищи», — заорал на него снова Любанов, весь перекошенный злобой и ненавистью. — А деньги брат — так с трудового мужика!.. Они вот на плотах кости морозили, чтоб семьи одеть, обуть, а ты где находился? Это порядок? Это по науке выходит? Это получается, ты за голую задницу порядочный человек, а я за десятерых ответь, их накорми и пригрей — и поганый буржуй?

Опять одобрительно загудели вокруг. Послышались уже совсем нелестные для Сенькова и злые замечания. Он стоял, не выпуская изломанного цветка, криво улыбаясь, — огромным, литым, под розовой своей рубахой с кожаным поясом казался против него Любанов.

— Вы это ни к чему говорите, — просто сказал Сеньков. — Налоги устанавливает наша рабоче-крестьянская власть.

— Вот и соврал! — рывкнул Любанов. — Советская власть в центре, мы знаем. А у нас — местная. От нее весь и подрыв. А еще господа и буржуи по городам засели — обидно им, что народ разживаться стал.

— Пр-равильна! — закричали оба Курицова.

— Вот человек из центра, — поддержал Любанова чей-то голос: — Он твоей темной голове разъяснение даст!

Повернулись все головы к Николаю Леонидовичу, но он промолчал так, так поглядел на Любанова, что понял Сеньков об окончательном своем одиночестве среди этих близких ему с детства, столь знакомых и так ненавидящих его людей. Но еще крепче держал в голове — на чем стоял в жизни, во что рос всей верой инстинкта, как росток из зерна.

— Это кулацкая агитация! — вдруг резко и спокойно сказал он в упор Любанову и повернулся, чтобы уходить.

— Погоди, погоди, — необычайно спокойно, шепотом пробормотал Любанов, шатнувшись к нему и рывком пудовой своей руки оборачивая его к себе. — Понимаю! — медленно и раздельно произнес он. — Али в работниках у меня шею ломал, Петруха?

И страшно стала розоветь и уходить в плечи стриженная солдатская его голова.

— А что? Не правда, што ли? — отчаянно и неожиданно закричал Сеньков. — Ну, бей! Все одно! Ну, бейте, Егор Лексеевич!

Смотрел он светло, почти весело в любановские глаза.

— Бей! — выкрикнул он снова и сорвал с себя картуз. Он дышал тяжело, на маленьком лице его, с острой слюнявой бородкой, остановилась странная, неживая улыбка.

Недвижно, тяжело упершись в землю, стоял против него Любанов.

— А я, верно, плохо живу! — воскликнул с поражающей восторженностью, словно радостно, Сеньков. — Верно, чего говорить! Жена у меня помирает, товарищи... Сам простреленный весь, как инвалид. Свинья-свиньей, говоришь, Егор Лексеич? Батюшки мои, да куда уж хуже-то! А вот семья моя не сгноенная, Егор Лексеич, на бабе своей капитала не нажил, берег, дочка тоже не изломанная: на заочном курсе обучается... Выходит, не на ком было мне хозяйствовать и наживать...

— Ну! — оборвал его Любанов, хватая за грудь и притягивая к себе. — Н-ну!!

И, словно задумавшись, отводя назад правый набухший кулак, как бы с сожалением толкнул Сенькова вперед, не выпуская его рубахи.

— Понимаем! — тяжело дыша, повторил он, по-бы-

чьи насупив шею.— Под чистую подвести хочешь, Петруха! Ну, смотри... смотри...

— А, ну вдарь! Вдарь! — еще веселее крикнул Сеньков.— Родную сестру переломал, семью в навозе гроишь... Али не правда? Али не ты ребят от грамоты отшиб? Не эксплуатация это?

— Ах...— только охнул как-то Любанов и рванул его к себе: — Ах...

— Не трож-жь!!! — вдруг грозно заорал кто-то сзади таким голосом, будто целая толпа поднялась там. Обернулся Любанов.

— Не полагается,— сумрачно сказал поднявшийся дядя Алексей, загораживая своей огромной синей рубахой их обоих.— Таких прав нынче нет, Егор Лексеич!

Пауза.

— А права есть семейного дела касаться? — хрипло бросил Любанов, отпуская Сенькова и нагибаясь к своему картузу.— Ты мне скажи, есть такие права?

Насмешливо глядел лохматый дядя Алексей:

— Чаво права? — сказал он грубо.— У тебя их восьмеро, работников... Ты, Егорша, девок, и то из дому не выпустил. Ванька с Кирюхой при хозяйстве, не набалованы. Опять сестра, баба. А у меня, может, как у него: одна настроения, и хода мне никакого боле нет... Хода мне боле нет!! Настроения у меня кипит!! — грозно закричал он.— А ты человека стращаешь! Права! Может, он, Петра Иваныч, ночи тоскуеть, слезы на душе у него... А брать за грудки не полагается: не в своем дому, не в солдатском строю.— Он помолчал, усмехнулся.— Айда, ребята, косить! — и решительно бросил-цигарку.

Точно по уговору, быстро и молча повставали мужики.

Николай Леонидович косить уже не пошел. Он хлопнул Любанова по плечу, дескать, вот какие времена пришли, и рука об руку пошли они вместе вдоль обступившей покос, светлевшей под солнцем, наливавшейся ржи. У самой дороги докашивали бабы, другие шевелили граблями вянущую, тяжелую еще траву. С обкошенного горного лужка распахивалась низина, серые заплаты крыш, с пробором сухой, сиреневой дороги посередине, в омотах усадебной зелени... Окна их домика скучно сверкали полднем. Сонно и знойно висел над всем этим забытьем ленивый накрап кузнечиков, с клеверов пулями носились пчелы, мгновенно развеаясь в небе жужжаньем. Все, все

это, единственное с детства, с рождения, и больше ничего...

— Да, — сказал Любанов, трогая усы. — Бросил бы все, а не пускает... Сроду заражен этим! А пойдет теперь такая война...

— Да уж! — поддержал его Николай Леонидович, думавший совсем о другом. — Куда ж это она запропастилась?

Он тщетно отыскивал знакомое белое платье. Было досадно, что она не видала его косьбы, ломило голову от непривычной, после городской жизни, жары. Изнемогающе, на мириадах швейных машинок тянули кузнечики бесконечную нитку стрекота, затейливо выбивая раскаленные, пульсирующие узоры звуков.

Он оставил Любанова и пошел за дорогу. Там, во ржи, в тесном кружке девок и баб, увидел жену. С ней рядом сидели хозяйка дяди Алексея, сеньковская комсомолка, Анна без платка, с венком из васильков на жидких масляных волосах — помолодевшая и даже не уродливая...

— Ольга! — крикнул он недовольным голосом. — Я ищущу, ищущу, а ты — ни слуха ни духа... Собирайся!

Женщины сидели, склонившись друг к другу, видно было — секретничали, говорили по душам. Она улыбнулась, как всегда чуть щуря нос, но не кинулась по установленной привычке.

— Ай соскучился по Ольге Васильевне? — бойко, расцветая, выпела Анна.

— А как же! — солидно ответил он: — Ну, вставайте, вставайте, девушка! — и, поцеловав протянутую ему руку, быстро поднял жену за обе кисти, притянул к себе и подставил губы...

Только рты разинули барабановские.

Метали и городили стога. В неделю пожгло солнцем пустые покосы и расставился сенозарник — июль остожьями на гладких, подстриженных лугах. По угору же — каждый день с торжеством отмечал Николай Леонидович — так и осталась лежать общественная беспризорная трава. Кое-как огребли ее бабы в копны, — а тут угнали Сенькова на кампанию, и все уже сеновицы дело никак

не пошло вперед... До самого громового Ильина дня покашивали барабановские по лесным логам, отдаленным утрасам, опушкам и перелескам, — сладкая и ядовитая стояла окрест дубровная трава, — не находилось более охотников до общественных дел. Торопилась деревня упрямиться в красные дни, а тут и наволокло дождю: стало греметь чуть ли не каждый день, и уже прошел слух о грибах, и уже в желтом зареве стояли густые предосенние поля.

Но не дотянуло счастье Ольги Васильевны до осеннего дождичка.

Без особых событий, день за днем текла ее деревенская жизнь. Незаметно, бесшумно скользили дни, но все больше и больше начинал тосковать Николай Леонидович. Установились какие-то удушающие, с недвижным солнцепеком и полным затишьем, ровные и пустынные дни. С утра, едва показывалось горячее солнце, стогняло росу и начинало палить... И словно останавливалось и замирало время. Ожидали пожаров, мора, вещей событий. Появились мириады кусачих мух, оводов, комаров и мошек. На реке к вечеру страшно звенело и зудело — весь теплый и душный воздух ныл и толкся ядовитой летучей мглой, на воде шумно плескалась и выпрыгивала рыба, все тревожней и чаще полыхали отблески и зарницы, уже кряквы табунами просвистывали в быстро опустившихся сумерках. А деревня ровно вымерла, притихла, точно опустошила ее навеки нагрянувшая из темного царства чума. День-деньской, с припертыми окошками и дверьми спали в своей душевной, гудящей мухами глубине серые подслеповатые избы, — дети в обмаранных зыбках и старухи на печках лишь оставались там. И пусто, иссушающим зноем и раскаленной пылью горела деревенская улица, с брошенным посередине созревшим сапогом, — до самой задохнувшейся ночной темноты. Тогда долго мычало и пылило стадо, прибежали ребятишки, появлялись люди, но так же быстро без огней исчезала жизнь, забивалась по клетям, сеновалам, в пахучую чуланью темноту — подальше от залепивших все избы злых и задиристых мух. А утром, с рассвета, стоял уже на улице, под выгоревшим и ослепительным небом, белый и неподвижный зной.

Как ни береглись, как ни занавешивались кисеей, а сбегали в чулан из избы москвичи. Но и там было не лучше. Смеялась над мужем Ольга Васильевна, а дово-

дили его мухи до иступления... И обедать они стали под яблоней, у себя в саду. Уже заросла ползучими листьями турецких бобов беседка, вся в огненных подвесках, осыпался пышный махровый мак, и над бисерными цветочками резеды стеной пестрел душистый горох. До изнеможения благоухали цветы после поливки, и жадно пила серая, потрескавшаяся земля.

Поливкой они занимались аккуратно на зорях, — все больше и больше находилось помощников холить и хранить московские сады. Набегали ребята, неизменно хлопотала Анна, молодой Ваня, и как-то получилось, что сослужили москвичам хорошую, добрую службу пустяковые цветы. Удивлялась Ольга Васильевна, как быстро и незаметно, словно в детской игре, рассыпались между нею и всеми окружающими людьми незаметные заборы и плетни. Чаще и чаще стали заглядывать в сад и взрослые мужчины. Нюхали цветки, покачивали головами, удивлялись, хвалили — один точь-точь, как другой. А бабы заговорили ее, заласкали и запоминали все — как выводить и рассаживать, как собирать семена, как ухаживать — очень всем нравился и всех поражал душистый горох. Забегала и любановская глухонемая, принесла подарок — искусно вытканную цветную скатерть — и долго и жутко мычала, наклонившись к цветам. Все радовало и трогало московскую барышню, и все раздражало и расстраивало Николая Леонидовича. Впереди была еще целая вечность — в деревне решили они пробыть до сентября. Но тут вмешались некоторые события.

Началось с приезда к ним Шатрова, так, по крайней мере, думала Ольга Васильевна. Она отлично запомнила этот день — предельной ясности, в знойной синеватой дымке, под сжигающим солнечным блеском. Проснулись очень рано, от утренней, особенно томительной жары. В саду уже было горячо. Палилась земля, душно пахло от черно-зевающих маков, иногда изящно и тонко начинала благоухать резеда... Потом были на реке, купались, возвращались сухими, колючими лугами, — странно пустынными и обнаженными, с гнездами островерхих стогов, с открывшимися повсюду тропинками и дорогами. У ворот их двора стоял тарантас с гладкой и серой в крупных белых яблоках лошадей, а хозяин вот уже как полчаса дождался в саду.

Ольга Васильевна прямо прошла в избу. А когда она, переодетая, со скатертью в руках вышла в сад, оказалось,

решил уже Николай Леонидович вместе с Шатровым ехать к нему на хутор, на целый день. Она не возражала, хотя Шатров производил на нее какое-то особое, безотчетное впечатление. Ей становилось неприятно от его невозмутимого, благообразного лица, что-то гнетущее было в его всегда спокойном и вместе, как ей казалось, безразличном внимании ко всему окружающему. Вот и сейчас, пожав чем-то огромным, сухим и шершавым руку, стал смотреть на нее своим посторонним, спокойным, деловым холодком глаз. Казалось ей, не обращался этот взгляд к другому, а невозмутимо что-то прикидывал, соображал, примерял к себе, словно копался в груди старого железного лома, подыскивая, не пригодится ли. Презрением сквозил, казалось ей, этот взгляд, а всегда так посматривал Василий Иванович Шатров. Никогда ни с кем не спорил и никого не обидел резким словом этот человек. Но таким, самым обидным, спокойным равнодушием к чужому мнению сквозила его внимательная молчаливость, так неожиданно мог он, досконально выслушав собеседника, вдруг вместо ответа перевести разговор, что хлопал глазами такой простак и уже никогда больше не подходил к Василию Ивановичу. «Самостоятельный хозяин, это уж да!» — почтительно говаривали о нем по деревням, а на хутор зря не совались.

От угощения он решительно отказался, внимательно осмотрел сад, беседку, все до последнего колышка, но на вопросы хозяев ничего не сказал и ничего не похвалил. Был он в аккуратном сером пыльнике, в сапогах и, несмотря на палящий зной, в стареньком суконном костюме в обтяжку. Разговаривал Василий Иванович вежливым сухоньким голосом, лишних слов не допускал. Лицо его, зеленоватые брови, глаза, скучная, по-городскому подстриженная бородка — все казалось покрытым пылью, все было настолько как-то в себе обжито, уверенно и слаженно, что Ольге Васильевне становилось не по себе. И когда выехали со двора, когда еще деревней, пыля и погрохатывая, прокатили мимо Анниного двора и поравнялись со столяровым, и когда неожиданно повстречался сам столяр у ворот, в огромных подшитых валенках, сердитый и, как всегда, не поклонился, а пристально поглядел и дерзко плюнул в их сторону, стало ей совсем неприятно.

Вскоре дорогу поглотили хлеба. Стало еще жарче. Тарантас затонул в колосистой желтой пучине; отовсюду

нависали усатые колючие заросли — до горизонта, здесь такого близкого, до зубчатого ельника, до одиноких, пожженных молнией старых берез. Пели жаворонки, опускаясь и поднимаясь, висели над лошадьёю оводы, с изумленным жужжанием проносились мухи, — стены хлебов, ровно очерченные по втулку колесною мазью, душистая пыль и солнце, — овевающий душу зной дороги в море полевой тишины! Так ехали. Потом зарябил нагретый перелесок березами и елками, застучали корни, мягко давилась коричневая хвоя... Елки торчали все гуще и гуще, пошли изгороди, моховая скучная зелень, и вдруг пески. Безжизненно, по сторонам сыпучей и нудной дороги, протянулась деревня — серыми бревнами и тесом крыш, без кустика, среди горелых вырубков, обугленных пней и там и сям святащих желтым зноем, сквозящих песчаными плешинами уже совсем созревших полей. К шатровскому хутору дорога становилась глуше, зарастала травой и цветами, вокруг обступил тенистый, мохнатый ельник, и, наконец, совсем в стороне от людей, за аккуратной городьбой, засияла густо-желтая заводь ржи, с высокой башней ветрянки без крыльев и просторной домовой крышей посередине. И вот уже Шатров отворял хуторские ворота.

Дом, срубленный из отборной сосны, с галереей в разноцветных стеклах, шестиоконный с фасада, с белыми рамами и дверьми, с огромным, наглухо прирубленным двором и здоровенными средневековыми воротами, неуклюже блестел суриком на самом припеке. В ровном квадрате хутора, от леса до леса, окружали его налитые ржи, клевера, гречиха, овсы. Николай Леонидович сразу же оценил хозяина: максимальный севооборот, — выгодно отличаясь от деревенской, чистая, без единого василька, не так уж густая, но с тяжелым породистым колосом, пружинисто стояла рожь; поля были аккуратно окопаны канавами; великолепной темной густотой тягели клевера: все было тучно, добротное, расчетливо; у самого дома виднелись молодые яблоньки и были расставлены крашеные теремки пчел. Нещадно палило над всем этим скучным и однообразным благополучием солнце.

Вся семья хозяина поджидала гостей у отпертых домовых ворот. Поджав губы, церемонно и серьезно, вся в новеньком сатине, стояла сама, с большим, отвисшим животом и сытыми, утолненными глазами. За ней и возле,

одинаково похожие на Шатрова, с огромными руками, чуть ли не до колен, хмурясь, смотрели на приезжих десять человек семьи, принаряженные — один к одному. Одиннадцатая, вторая по старшинству, Зоя показала после, за чаем. Ольге Васильевне и хозяйка, и дети показались неприветливыми и такими же сосредоточенными на своем и про себя, как и сам хозяин. Все же она хотела приласкать самого маленького и потрепала его по щеке. «Не трожь!» — сказал резко и недовольно мальчик и поглядел волчонком. «Не нужно! — поддержала его и сама, добавив: — Они у нас к чужим не привыкли... Не любят». Ольге Васильевне стало совсем неловко, — другого, совсем другого ожидала она на хуторе. Да и не понравилось ей место, ожидала тенистое, заросшее цветами, с кукушками и плесом мельницы, а оказалось так прозаично, неприглядно, без единого кустика. Она хотела дать ребятам конфет, но те не взяли и, не стесняясь и смотря ей прямо в лицо, говорили: «Не хотим. У нас еще лучше есть!» И это было так неожиданно, так не походило на их ласковых и застенчивых барабановских ребят. «Ну и семья!» — подумала она. Она с недоумением и любопытством глядела по сторонам.

Вход в дом был со двора — подметенного, как горница, окруженного со всех сторон плотными срубам хозяйственных построек. И сразу заметили москвичи — степенно и строго был поставлен шатровский дом. Ничто не валялось без присмотра, все двери были наглухо закрыты, даже индейки и куры не бродили по двору, а чипно сидели за проволочной сеткой огромного, уходящего в темную глубину навеса, птичника. Два огнетушителя и пожарный инструмент висели на стене просторной остекленной галереи, предварявшей домовые помещения. Три двери вели отсюда в шатровские покои. Все в доме было выстругано и отделано — чистой и добротной столярной работы.

Хозяин сразу же, не приглашая в горницы, предложил помыться и провел гостей в кухню. Здесь ослепительно блестела кафелем настоящая городская плита, у фаянсовой раковины сиял начищенный медный кран. Вода лилась из железного водяного бака, привешенного у самого потолка. Николай Леонидович был в подном восторге, мылся, обильно намыливаясь хорошим мылом, кричал и похвалявал хозяина... Тот принимал как долж-

ное. Ольга Васильевна еще больше удивлялась, разглядывая городские кастрюли, множество всевозможной утвари, развешанной и расставленной в немецком порядке, — здесь, в деревне, все это казалось принадлежностью иного мира.

Шатров был совершенно равнодушен к их похвалам и восклицаниям. Спокойно рассказывал он о премии Наркомзема, полученной им за новую воздушно-турбинную мельницу; о приобретенном буквально за гроши помещичьем насосе, о купленных где-то в Москве трубах для водопровода. Диву далась Ольга Васильевна, слушая его речи о хозяйственных оборотах и замыслах. «Откуда только у него деньги?» — подумала она, невольно конфузясь и робея уже перед этим странным, равнодушным ко всему, кроме себя, человеком. Что-то глубоко антипатичное, чужое и вместе с тем властное и уверенное в себе исходило от него и от этого, огороженного от всего мира, живущего своей собственной, наверно, ужасной и холодной жизнью, чинного и спокойного дома. В трех горницах, куда их провел хозяин, ей стало еще неприятнее. Везде липким глянцем отливали густо выкрашенные, перекрещенные домоткаными дорожками полы. В самой большой, очевидно парадной, комнате дремала в белых чехлах мебель, явно усадебного происхождения. Огромные фикусы раскидывались мертвыми темно-восковыми листьями у окон с очень синими стеклянными ручками, светящими сквозь задернутый двойной тюль занавесей. С одного кресла, сиявшего переливами желтого шелка, очевидно, неспроста был скинут чехол. Убогими по сравнению с этим богатством казались костюм хозяина, его некрасиво и узко обтянутые плечи, смазные порыжевшие сапоги и кирпичный рабочий загар лица. Постояли, полюбовались для приличия нелепыми картинами в золотых рамах — какие-то Альпы, озера, пропасти, — Николай Леонидович, заложив руки за спину, несколько раз промычал: «Н-да...», у оконного стекла скучно задремезжала, заныла муха. Шатров сейчас же встрепенулся, раздвинул тюль, — блеснула ослепительно светлая рожь, — он поймал муху и, спокойно оборвав крылышки, бросил в цветочный горшок.

В комнате, принадлежавшей самому хозяину, поблескивали стекла книжных ясеневых шкафов, тоже старинных, отличной, должно быть крепостной, работы. Стол завалили газеты и журналы, преискуранты довоенных

заграничных машиностроительных фирм, какие-то чертежи. Дорогой немецкий барометр отливал на стене резной ореховой рамкой и полированными медными частями. Ольга Васильевна потрогала его пальцем... Нет, стрелка стояла прямо на *ясно*. Она перелистала несколько книг, полюбопытствовала — агрономия, садоводство, техника. Со стены на нее глядела фотография — молодой Шатров в форме железнодорожника с паровозиком на фуражке, затем еще одна — он же, но уже в шляпе, в высоченном восковом воротничке и белом галстуке, с гнутым каким-то лицом и будто насиженными мухами зрачками. Рядом с ним, неестественно-франтовски застывшим у кресла, измученно и натянуто глядела женщина с гнездом на голове, буфами у плеч, в поясе с громадной, врезавшейся в живот пряжкой... Вот оно что! Хозяин, оказывается, вовсе не был исконным мужиком! Она заинтересовалась, но спросить у Шатрова почему-то не решилась...

А тут хозяйка важно и церемонно пригласила пить чай. Она уже успела набросить на плечи старинную мещанскую шаль из черных кружев. Сидели у раскаленного никелированного самовара. Стол, убранный фабричною скатертью, ломился от всяческой снеди, от вазочек и тарелок, самовар клочкотал, широкое окно источало ослепительный свет — за стеклами утомительно неистовствовал полдневный зной. Было душно; вишневое варенье в затейливой вазочке горело винными огоньками.

— Кушайте, не стесняйтесь! — угощала хозяйка, словно действительно они могли смутиться, и подсовывала Ольге Васильевне то булочки чистойшей белизны, то варенье из рябины, то сотовый мед. — Может, закусить пожелаете? — и добавляла совсем снисходительно: — Чай, в деревне, по мужикам, этого не увидите!

«Нахальство, какое нахальство!» — негодовала про себя москвичка. Но все действительно было вкусно и приготовлено совсем по-городски. Москвичи ели и пили с полным удовольствием. Ольга Васильевна разглядывала дочерей хозяина — некрасивых, угрюмых, с землистыми лицами — и все ожидала Зою — красавицу, как называл ее сам хозяин, очевидно, избалованную и любимицу, — в комнату девиц за ней посылали два раза, и все она одевалась и причесывалась. Сам Шатров пил чай с блюдечка вприкуску, выпятив губы и уставясь в одну точку, а ес-

ли рассказывал, то все больше о вещах: как случайно увидел у мужика изломанный барский граммофон — вот этот самый! — и починил его и достал пластинки, как достались ему эти венские столовые стулья, или посуда, или немецкий барометр и телескоп, бывший в лугининской усадьбе... Вообще говорил он больше о себе. И все это в конце концов сводилось к тому, как беспутно, грязно и неряшливо живут кругом, как не умеют пользоваться нажитым добром и сколько ценностей пропало в семнадцатом и восемнадцатом годах. О деревне говорилось с нескрываемым презрением. Впрочем, сам Шатров говорил о ней, лишь отвечая Николаю Леонидовичу, а больше касался своего настоящего, *государственного*, как он выражался, дела. И скоро душновато стало от хозяйских разговоров Ольге Васильевне. Хоть бы раз спросили об их жизни, полюбопытствовали! Все непрестанно вертелось вокруг этого дома, выложенного половиками, старательно прикрытого от мух и солнечных лучей, огороженного от людей заборами, воротами, глухим полем, совсем заросшим проселком...

Затем пришла Зоя, девушка лет восемнадцати, голо-рукая и завитая, с челкой на лбу, вся выпуклая под модным, очень коротким платьем, со странными, при очень развитых ногах и груди, покатыми и слабыми плечами. Ольге Васильевне она решительно не понравилась. И голосом, низким и грубым, и совсем откровенной, мутноватой улыбкой, и манерой смотреть, не отрываясь, прямо в глаза, и большим, вялым и очень розовым ртом с белыми, влажными зубами. На ней отсвечивали настоящие шелковые, розово-телесные чулки. Говорила она редко, очень спокойно: «да», «нет», «папаша преувеличивает», «это, мама, устарело» и тому подобное, держалась лениво, с поражающей какой-то уверенной прямоотой. Отец говорил с ней — чувствовалось: любимица, вся надежда, полет. Сестры смотрели на нее раболепно, мать — с полной немой преданностью, отец — с неприкрытой восхищенностью и шутливым панибратством. Она единственная воспитывалась в губернском городе и, приезжая, вела все его официальные, денежные и торговые дела.

— Вы ее вот спросите, — постоянно обращался к Николаю Леонидовичу Шатров: — Зоеньку! Кто аккуратно-с предвосхищает власть-с! Мы, дочка, сколько внесли по обложению?

— Вы опять, папаша, о делах! — своим ленивым и низким голосом отвечала Зоя и останавливала на Николае Леонидовиче бархатно-синий нагловатый взгляд, от которого ему становилось не по себе. Не отрывая от его глаз своих, действительно очень красивых и откровенных, она говорила, облизнув губы: — По двум обложениям уплочено без просрочки тысяча восемьсот шестьдесят рублей.

— Совершенно правильно-с! — подтверждал довольный Шатров.

— Батюшки, такие деньги, — шептала Шатрова, обычно не посвящаемая в эти дела. — Да что уж это такое!

— Совершенно правильно-с! — не обращая внимания на жену, повторил Шатров. — Тысячу восемьсот шестьдесят рублей. У нас такой порядок-с: государству чистога-ном, в первую очередь-с. Она сама отвезла. Она у нас боевая и с пониманием. Чуть что-с — в исполком посылаем. Да и в городе два раза выручала. Не дают на местах работать... Известно-с, дикость.

— Да, уж эти ваши места! — неопределенно начал Николай Леонидович, едва выдерживая новый взгляд девушки и думая по-мужски: «Вот это действительно! Ну-ну!»

Он стал говорить о налоговой политике, ругая волн-полком, и рассказал о барабановском мяснике: «Говорят, бросил дом, семью и как в воду канул». Два раза он косился на Ольгу Васильевну. Та, как ни в чем не бывало, ела вишневое варенье с ложечки, запивая чаем.

Может быть, ему показалось? Он опять повернулся к Зое. Девушка, странно улыбаясь и снова облизнув губы, неприлично прямо смотрела ему в глаза. Они сидели близко, почти рядом. Повинуясь любопытству и уже настоящему волнению, он остановил взгляд на ее широко, как у наркоманки, разведенных зрачках и смутился от неожиданности. Она опустила глаза и уже смотрела ему в губы, так что отчетливо загибались ее пушистые и черные ресницы. И это при всех, рядом с его женой! Он совсем растерялся. Колени их несколько раз соприкоснулись под обвисшею скатертью. «Нет, не случайно, не случайно!» — с диким торжеством вдруг понял он. Он был уже захвачен этой грубой и прямолинейной игрой. «Может, она из девичьей непосредственности? Дожи-

дайся! Карман шире! Ха-ха!!» В нем заиграл старый, хорошо знакомый по офицерским панелям тысяча девятьсот пятнадцатый год...

Паулине вар эйн даме,  
Эйн даме, эйн даме,

Эйн зер пиканте даме,  
Эйн даме цум плезир.  
Цум, цум!..

Да кам эйн эскадроне,  
Скадроне, скадроне  
Унд аб ди панталоне,  
Талоне цум плезир...<sup>1</sup>

— Цум-цум! — гаркнули семьдесят юнкеров, — это было невероятно давно, — половина юнкеров давно сгнила в Австрии и Пруссии, в Сибири и вдоль южных и крымских дорог. Он решительно прижался к скользкому и толстому колену и стиснул его рукой...

А Зоя, улыбаясь, спросила Ольгу Васильевну:

— Вы любите музыку Вяльцевой? Она у нас поет в граммофоне...

Поднявшись из-за стола, встряхнув рыжеватой, короткой прической, она стала заводить полированный ящик с ярко-зеленым суконным диском и рупором светлого дуба с маркой — амуром, держащим перо. Оттуда засочился шипящий шум с потрескиванием, словно слетали электрические искры, отрывисто пробарабанил рояль, и гнусаво, с шантанной щегольской грустью вырвалось: «Гай-да, тройка...» Потом ставили хохотавших и кричавших, как попугаи, Бим-Бом, кэк-уок Цармана и «Свете тихий» в исполнении какого-то знаменитого хора с протодиаконом Розовым. А у Николая Леонидовича твердилось:

Унд фанден ди сифоне,  
Сифоне, сифоне,  
Унд фанден ди сифоне,  
Сифоне цум плезир.  
Цум, цум!

Играл граммофон. Ольге Васильевне и от чая, и от музыки стало совсем душно. Она уже ощущала острое раздражение от всего этого *милого* гнезда, от этого

---

<sup>1</sup> Паулина была дама,  
Одна дама, одна дама,  
Очень пикантная дама,  
Дама для плезир... и т. д. (Нем. песенка фривольного содержания.)

душного, убогого самодовольства и этой вульгарной и неприятной девчонки. Она ужаснулась, подумав: что, если бы ей пришлось всю жизнь прожить здесь наедине с этими липкими полами, граммофоном, с этими чехлами и половиками, с этим полом, слепившим сквозь яркое окно. И обрадовалась, когда чай закончился и Шатров пригласил осматривать дом и хозяйство. «Мне хочется домой!» — шепнула она мужу в коридоре, сжимая его руку и слабо улыбаясь. «Дурочка!» — ответил он и снисходительно и крепко пожал ей плечо. А впереди был еще целый день.

Шатров сам показывал им свои владения. Снисходительно, с видом музейного работника из «бывших», показывал он дом, объяснял, как, где и что приобретено, как устроено, отворил дверь даже в уборную, где дернул ручку, и провел в комнату жены и к старшим дочерям. Шатрова ютилась вместе со всеми детьми в углой комнатушке — там было душно и тесно, неприятно пахло. В комнате же взрослых дочерей все выглядело богато и парадно. Здесь царствовала Зоя, на стенах висели малиново-зеленые монастырские ковры, бумажные веера и множество пасхальных и рождественских открыток из времен глухо-российских — из Варшавы, Лодзи, Одессы. Под ними, у стены, тоже отзвуком прошлого, главенствовал комод с вязаной скатертью, с будильником в зеркале, тесно заставленный пустыми парфюмерными флаконами. Как алтари, возвышались никелированные кровати, пышно убранные тюлевыми покрывалами с кружевными накидками на взбитых подушках, — будто и не спали на них никогда! Над изголовьем Зои висела гитара с грифом, перевязанным голубым атласным бантом. Окна были замазаны, и густо пахло пудрой и жжеными волосами.

— Невесты-с, — почтительно и тихо произнес Шатров, показывая это великолепие. Он заботливо снял с кровати какую-то нитку.

— Папаша, вы своими сапогами все покрывало испортите, — недовольно начала старшая.

— Ничего не будет, — ответил Шатров, но от кровати отошел.

Чувствовалось, что здесь он отступал перед какими-то неподвластными ему, сберегаемыми и запретными стихиями. Действительно, перед нарядностью и многозначительностью этих алтарей рыжие сапоги и кургузый уезд-

ный пиджачок сразу уводили его на второй план. Даже старшая дочь, с покорными синеватыми прыщами на землистых щеках и на лбу, молчаливая и послушная во всем дому, здесь могла вытолкать его за дверь, не пустить, прикрикнуть даже, будучи каким-то верховным, таинственным и вожделенным существом.

— Никак нельзя-с, невесты,— шептал Ольге Васильевне Шатров, противно дыша в затылок.— Ничего не жалею, пожалуйста.

Тикал будильник.

Ей было и скучно и смешно. Зато, когда ни оборачивался Николай Леонидович, всегда он наткался на спокойный, уже общинческий взгляд девушки,— Зоя стояла сзади, здесь еще более многозначительная и откровенная. Николая Леонидовича уже бросало в озноб при виде ее челки, расплывчатой улыбки и круглых, сильных колен.

Они вышли из девичьей комнаты вчетвером,— Зоя одна из всей семьи сопровождала отца. На дворе стояло полное ослепительное солнце. Все было сонно и неподвижно. Приятно было входить в пахучий полумрак конюшни, в светлый коровник, совсем не похожий на то, что они встречали на крестьянских дворах,— с датскими кормушками, с цементированным полом и плотно застланными навозохранилищами. Здесь же, под крышей общего сруба, возвышался колодец с насосом и целой системой водопроводных труб. Шатров объяснил, как расположены трубы, и стал качать: вода пошла в коровник и конюшню. Стоило повернуть кран — и вода направлялась в баню или, по желанию, в домовую бак. Николай Леонидович осматривал все это очень подробно, лазил с хозяином куда-то наверх, громко восхищался, звал жену. Той было скучно, хотя действительно конюшня и коровник были замечательные, поражали своей чистотой и благоустройством. Кроме того, ей не хотелось разговаривать с Зоей, раздражавшей ее до головной боли и прямой своей и фамильярной улыбкой, и неизвестно чем. Она никак не могла понять причины своей антипатии.

Потом они осмотрели молочную комнату с заграничными сепараторами и цинковой посудой, сарай для машин и всевозможного сельскохозяйственного инструмента, тарантас, сделанный лично самим хозяином в его же собственной мастерской. Пара раскормленных коней покосилась на них раскаленными глазами в конюшне. Ко-

ровы трудолюбиво и мирно клонились над кормушками в коровнике, — Шатров, вопреки крестьянским обычаям, не выгонял скот со двора во время летней, оводной жары. Затем хозяин показал птичник и свиарник, кладовую и огромный погреб, с каким-то его изобретением, небольшую коптильню, служащую одновременно хлебопекарней, и совсем поразил Николая Леонидовича баней с выскобленной теплой раздевальной, с душем и опять-таки особым устройством котла и согревательной топки...

Мастерские — слесарная и кузница — были расположены отдельно от дома и мельницы, у самого края поля, почти в лесу. Москвичи были много слышаны о слесарном искусстве хозяина и его знании всяких машин и двигателей. Рассказывали — будто он из пролетариата, поэтому до сих пор и держится. Рассказывал дядя Алексей, как в тысяча девятьсот восемнадцатом отобрали у него паровую, дом со всем богатством, а вот без него никто не сумел наладить и пустить машину. Сам предложил власти, как спец, наладил, пустил, выручил всех и до самого двадцать третьего года состоял при мельнице почетным механиком. За это и выдали ему дом, что теперь на хуторе. Потом подучил помощника, а сам принялся за хозяйство и за воздушную турбину. В Москве выдали премию, прославился показательным и культурным опытом, стали водить к нему школьные экскурсии, стали приезжать агрономы, — загремел по округе... За сто верст, почитай, брал вокруг всякую починку — машина ли, плуг ли, ружьишко или дверной замок. Пошла слава, и почет, и уважение. А все-таки все больше и больше пощипывала его волость, и тут вздыхал неизменно повествователь: «Пожалуй, отцарствовался! — и разводил руками: — Ну, пожил Василий Иванович, слов не говоря, действительно...» Шел слух, будто наказывал Шатров мужикам вовсе не ездить по механической части, будто распустил слесарных учеников... Но тут неохотно и только между собой говорили мужики. А хозяйство хвалили — куды тут!

Дорожка к мастерским пряталась в самой ржи и уходила к железной крыше меж густых, обвисших берез. Там едва поднимался легкий дымок. У самой двери, прикрытой наглухо, несмотря на жару, Ольга Васильевна оглянулась на хутор: пустынно и жарко светился он, голый, без единого деревца. Знойным, сухим знаком его

расчетливой и замкнутой жизни высилась вышка мельницы, бескрылой, похожей на железнодорожную водопорную башню. Из мастерской, ничем не напоминавшей обычную кузницу, доносились металлические равномерные удары.

— Заходите, заходите! — обратился к ней Шатров, сразу озаботившийся. — У меня, как на заводе, — не запачкаетесь.

В самом деле, в просторной кузнице с цементированным полом не было ни копоти, ни грязи. У наковальни и горна, под обширным железным колпаком, два парня в холщовых фартуках варили ось, — в одном из них, зажавшем раскаленную добела железную жердину, Ольга Васильевна узнала шатровского сына. Кудрявый и курносый держал молот. Третий, совсем еще мальчишка, с белыми, как дыплячий пух, волосами шевелил большие новые меха. Кисло и остро пахло паровозным углем. Из соседней слесарной доносились взвизги напильника и пышный шум паяльной керосиновой лампы. Там громко, по-хозяйски разговаривала Зоя, кого-то, очевидно, пробиравала. По стенам на деревянных планках аккуратно висел инструмент, вся комната была загромождена частями машин и плугов.

— Здравствуйте, Василий Иванович! — почтительно поздоровались парни с хозяином.

— Ладно! — махнул тот рукой, нагибаясь к наковальне. — Полегче, полегче клади! — крикнул он кудрявому с молотом в руках. — Да поторапливайтесь — вечером заедет Степан Радивонович. Тут маленько припустишь... Да ровнее, ровнее! — И он обратился к Николаю Леонидовичу: — Ученики-с! — и сокрушенно вздохнул. — Молят вот мужики: научи уму-разуму. Возишься с ними, как с родными детьми, а выходит один грех. И все от местных властей-с! Считают за эксплуатацию, мол, работников держишь. А что я подедаю, коли они в ноги валяются, — где им научиться културному ремеслу-с? О-хо-хо-хо-с.

— Совершенно правильно! — сказал Николай Леонидович.

Заглянули и в слесарную. Двое учеников, совсем мальчишки, с черными босыми ногами, возились над помятым зеленым самоваром, пригоняли и паяли отломанный кран.

— А ты не дерись! — услышала Ольга Васильевна Зойн голос, когда они вошли. Она стояла со злым лицом. У одного из мальчишек ярко горели большие грязные уши.

— Что тут у вас? — равнодушно спросил Шатров и добавил, обращаясь к мальчику: — Отдам к отцу, ты смотри у меня, с-сукин сын!

Мальчик, поглядев на незнакомых людей, вдруг всхлипнул и стал утирать глаза рукавом.

Шатров, будто не замечая, расхваливал токарный станок своей работы. Николай Леонидович притворно увлекся многочисленными инструментами. Их было очень много — от самых мелких до крупных, до приборов положительно заводского оборудования. По всей слесарной громоздились части какого-то большого механизма — шестерни и рычаги, крупное чугунное литье, вал трансмиссии, динамо и мотор далеко не кустарного назначения. Воздух пах приятно и нежно: под самым потолком сушилось дерево — чурки и доски, дубовые брусья и плашки для токарных работ. Гости с преувеличенным вниманием слушали хозяина, они уже устали, а Николаю Леонидовичу совсем другого порядка лезли ощущения и мысли...

Как-то получилось, что, возвращаясь к дому, он отстал с Зоей, и они очутились рядом, лицом к лицу. Ему не терпелось от ее низкого сумеречного голоса, от ее смеха, от пизких и ленивых бедер, обтянутых платьем. Рожь, нестерпимо-горячим блеском залившая весь хутор, совсем скрыла ушедших вперед Ольгу Васильевну и Шатрова. Огромная немота остановилась над миром. В бесцветном зное, наверху, медленно плавал коршун. Воздух был так горяч, что, казалось подчас, обнимал тело, как нагретая вода, — чернело в глазах от солнечного света, еле поднималась от земли металлическая шелестящая возня насекомых. Это произошло так неожиданно... Шатров с его женой были, очевидно, уже на мельнице. Он шел сзади девушки, ярость обуяла его от ее полных локтей, ног, бедер, ярко освещенной головы со слабой шеей. Говорилось что-то незначашее, примитивно-условное, — жалкая эстетическая попытка прикрыть истинное существо уже прорвавшейся наружу грубой и эгоистичной с каждой стороны игры. Потом его поразило властное и жадное бесстыдство: «Не больна ли она, — подумал он, — черт его знает... вот это... девушка!..» Ее безвольные плечи, решительные руки, вся горячая и нерассуждающая в этих вещах, — сам дух хутора, распаленного под солнцем, все его одинокое плотоядное существо напали на него, прильнули к нему, — и поощрительно, позволяя уже все, пряча от всех глаз, обступили вокруг колосья, бледная лазурь, стрекот кузнечиков, кор-

шун вверху — неподвижный, одуревший от воли, стена нагретых необъятных лесных равнин.

— Увидят! Подожди,— просто сказала она, отрываясь и поднимая к прическе руки с темными, очень густыми подмышками, и засмеялась: — У меня папаша очень ревнивый к мужчинам.

— Да? — машинально сказал Николай Леонидович, нагибаясь к упавшей шляпе. Он совсем ошалел и ничего не соображал. — Но, однако... Пойдем... Что? Нас могут...

Ольга Васильевна и Шатров были уже в мельнице, наверху. У мельничных жерновов, внизу, после солнца сразу охватила темнота. Нужно было взбираться наверх по узкой винтовой лестнице, очень крутой, опоясывавшей три мельничных этажа. Их звали откуда-то с потолка... «Идем, идем!» — крикнула Зоя, а затем опять все помутилось у него в голове, и остались только в сознании — горячая махровая резинка и поставленное ею тугое колено, темнота, спотыкающаяся лестница. Цум, цум! Опять эта девушка смотрела на него при всех, у ней были, несомненно, красивые и наглые синие глаза. Шатров показывал какой-то передаточный механизм на шарикоподшипниках шведской концессионной фирмы, объяснял принципы своего воздушного турбинного колеса, был какой-то бессмысленный, огненный и дурманный день, черт его знает, что...

За обедом повторилось примерно то же, что и за чаем. А после — от жирных ли кушаний, с дороги ли или от запаха полов и комнатной духоты — у Ольги Васильевны разболелась голова. Ее поместили у барышень, на Зоинной кровати с пышными подушками. Николай Леонидович поцеловал ее в лоб и вышел, — они с Шатровым засели за дела, плотно прикрыли дверь, и дом погрузился в полную тишину. Шатров вынимал из стола документы — справки, квитанции, удостоверения, но трудно доставалась ему всякая канцелярщина, и в конце концов он позвал дочь. Втроем они сидели за столом, заваленным журналами и прейскурантами, Николай Леонидович записывал. Зоя Васильевна оказалась очень сметливой, с необыкновенной памятью и отличным знанием всей учрежденской иерархии — только поддакивал и одобрительно покачивал головой отец. Через час обстоятельное прошение, с массой справок и документальных ссылок, было перечитано Николаем Леонидовичем. «Председателю ВЦИК... бывшего рабочего Читинских железнодорожных мастерских, впоследствии машиниста и механика В. И. Шатрова... будучи

самородком-изобретателем... идейно-культурное хозяйство... ушел на землю от преследований царского правительства...»

Излагалась пространная история возникновения первой мельницы, коя целиком относилась на счет приданого жены — урожденной Серафимы Ив. Сыдыкиной. В. И. Шатров фигурировал при деле в качестве механика — и только! Хутор, освоенный на месте глухого леса, показательное культурное хозяйство, усовершенствованная ветрянка с воздушной турбиной, получившей премию и почетный отзыв Наркомзема, — все было создано В. И. Шатровым самолично, без наемной рабочей силы, что удостоверяется... Перечислялись заслуги пролетария В. И. Шатрова, распространившего по округе новые советские агрономические навыки и технические традиции. В. И. Шатров считал, что только при Советской власти он мог развить свое культурное и государственное дело. Он просил главу Советского правительства о передаче его показательного хутора государству, о превращении оного в советский хутор-школу, с оставлением его, В. И. Шатрова, заведующим на определенном жаловании. Он считал необходимым широко развернуть ремесленное обучение крестьянской молодежи в мастерских — слесарной, механической, кузнечной и столярной. В. И. Шатров ходатайствовал о снятии с него нового индивидуального обложения, непосильного и нецелесообразного. Следовал ряд ссылок на антигосударственные и возмущающие население мероприятия местной власти.

— Этого, я думаю, будет достаточно, — сказал Николай Леонидович, закончив читать и выдерживая упорный Зонин взгляд. — А теперь мы отправим еще в «Крестьянскую газету»...

Он прочитал сжатую корреспонденцию от своего имени о значении культурно-технического рабочего пионерства в деревне в связи с тракторизацией и механизацией сельского хозяйства. Описывался опыт рабочего-металлиста В. И. Шатрова, севшего на землю и создавшего культурный очаг, сыгравший огромную роль в пробуждении отсталых крестьянских масс Ветлужского края. «Следует заметить, — заканчивалась корреспонденция, — что местные работники не только не оказали поддержки революционеру-хозяину, но создали вокруг него возмутительную травлю...»

— Вот, — сказал Николай Леонидович значительным голосом, снимая и протирая роговые очки. — Такие дела...

Шатров слушал, сурово сдвинув брови, ни одним знаком не выказав своего одобрения.

— Ну как? — спросил наконец Николай Леонидович.

— Ничего-с! — ответил он сухо. — Все правильно. Как есть-с.

Зоя поправила его:

— Не только «ничего», а очень даже хорошо, папаша! — И, обратилась к Николаю Леонидовичу: — Очень жалько, что мы не были знакомы. Я приезжала в Москву на рождество, но, конечно, по делам папаши... Я вот и теперь поеду.

— Когда? — оживившись, спросил Николай Леонидович.

— На той неделе отправлю, — ответил за нее Шатров. — Ничего не поделаешь. А вы полагаете, — спросил он, покосившись на исписанную Николаем Леонидовичем бумагу, — будет «товарищам» достаточно? Может, юриста надо... Я не постесняюсь. Всегда с удовольствием-с.

— Нет, нет, — успокоил его Николай Леонидович. — Я думаю, что будут крупные изменения в политике... Конечно, трудно сказать, чья возьмет, но ведь у нас есть понимающие крестьянство — ученые, инженеры, профессура...

— Профессора-с? — холодно переспросил Шатров. — Так-так.

Одинаково, сдвинув сурово брови, смотрели на москвича отец и дочь.

Николай Леонидович записал в шатровскую книжку какие-то адреса, телефоны, наказал Зое Васильевне перед отъездом обязательно заехать за письмами. Та аккуратно собирала все бумаги в железную шкатулку. Николай Леонидович на цыпочках пошел проведать жену. Ольга спала, свернувшись калачиком. В доме было мертво, еще сильнее пахло масляной краской, в столовой глухо пробили настенные часы. В Барабаново решили ехать вечером, по холодку, — Николай Леонидович спросил хозяина, как ему выйти на речку... Одна тайная мысль не давала ему покоя. Шатров объяснял, завязывая рабочий фартук, — он собирался в слесарную. До речки оказалось с версту. Нужно было дойти до Митрина лужка, потом прямо, потом повернуть по тропке вправо, потом опять влево, а там идти дорожкой на стога и уже через ольшаник...

— Так, — выслушал Николай Леонидович, засмеявшись. И сказал: — Ей-богу, все уже перепутал. А вы разве не купаетесь, Зоя Васильевна?

Она покривила свой крупный откровенный рот:

— Ну! У нас в городе водная станция...

И вызвалась его проводить. Шатров ничего не сказал и вышел, даже не простившись. Она обещала догнать через две минуты. Николай Леонидович спустился во двор, с трудом открыл сложный запор ворот и пошел к лесу, весь наливаясь тревожной и сладкой дрожью. Он считал дело уже решенным. Ничто в мире не остановило бы его грубых, прорвавшихся желаний; сразу сорвало план установившейся жизни, то, что пришло в нее с Ольгой Васильевной, с его Олечкой, ставшей вдруг отдаленным воспоминанием. Она, московская, у пушистого персидского ковра, шахматы с дядей, склонившим над доской свою изощренно-насмешливую голову без единого волоска на черепе, тетя Лара с обвисшими бульдожистыми щеками, всегда курящая, всегда спокойная, всегда ироническая, немного опасная своей тонкой наблюдательностью. Всё сорвало к черту, и, если бы Ольга Васильевна появилась сейчас, его перекосило бы от внезапной злобной решительности...

Дитя двадцатых годов уездной России, из Володей в «ваше благородие», человек «после войны», эсер в гороховом кителе, он умел только презирать и ненавидеть, он, поклонник силы, права опыта и удачи, вдруг нагрывший в столицы и центры, и вот уже — советский янки, в роговых окулярах, с широкой ставкой на крепкую личность, без излишних рефлексий и сентиментальности. В пивных пели Есенина, в Арбатском подвале, в «Европе», в «Праге» сидели коверкоты, завывал первый джаз. Он ненавидел Достоевского и считал Столыпина единственной светлой головой русской истории. Он принял Советы как целесообразную народную форму государственности, делал поправки в сторону использования инициативы прогрессивной части крестьянства. Пошли растратчики, моды, пудра Коти, попутчики в литературе, в Смоленской губернии выжигали леса, — густо стали садиться хуторяне. Он был за духовную директорию специалистов. И Ольга Васильевна, случайная песчинка в мировых вихрях пролетарских мирообразований, приняла как оригинальное: Колины руки и ноги, — нигде не находили перчаток и ботинок его номеров, такой величины, что нужно было заказывать, нигде не отыщешь в готовом виде. И месяц, как вышла за него, лечила ноги от запаха и потливости, — столько было хлопот и формалинового раствора! И постоянно посылал куда-то деньги, в деревню, родителям, о которых она никак

не могла толком узнать. Его очень отмечали женщины, и женился уже в четвертый раз,— Ольга Васильевна видела последнюю — очень противная, полная и рыжая, заболевшая шизофренией. Немножко, немножко она побаивалась мужа. Когда он сердился, страшным казался его шрам — через лоб, от удара лошади в детстве.

Он остановился и ждал в лесу за дорогой. Зной, скука желтого поля, множество коршунов и ястребов, поднявшихся над низким и редким хуторским лесом, выгоревшие моховые кочки меж елок — какой-то сухой, воспаленной жаждой распалило все это его ожидание. А Зоя упорно не шла. Он долго ходил вдоль прясел, замыкавших границы поля, сломал прут и ожесточенно сшибал им мелкие и пестрые головки цветов. Мысль, что она его надула, кидала в бешенство. «Сука! — яростно шептал он. — С-сука!» — и прибавлял грубые и бессмысленные слова... У него темнело в глазах при воспоминании о мельничной лестнице. И когда вдруг за елкой лицом к лицу столкнулся он с Зоей, запыхавшейся, перекинувшей купальное полотенце через плечо, он растерялся. За ней, сутулясь и неловко улыбаясь, стояла старшая сестра.

— Вы здесь? — неприятно удивленно вскрикнула Зоя. — Я думала, вы не дождались и ушли. — Она лукаво улыбнулась, и Николай Леонидович впервые заметил, что глаза ее чуть-чуть косят и, должно быть, очень близоруки. — А я Лелю насилу вытащила — такая сонуля у нас! Ну, Лелька, айда!

Николай Леонидович, не ожидавший такого обстоятельства, нахмурился и еле сдержался. Это номер... Он постоянно твердил, что с женщинами признает только ясные отношения. А тут — ч-черт... А она, как ни в чем не бывало, мелькая перед его глазами необыкновенно белыми и гладкими икрами, с которых только-только стащила чулки, быстро и ловко ступала по еле заметной и корявой лесной тропе.

Сестру ее он возненавидел сразу — и за прыщи на щеках, и за педантичную серьезность (в самом Шагрове она ему нравилась), да и просто за самый факт существования на земле. Раздражало и злило его и то, что девушки разговаривали меж собой, как будто позабыв о его присутствии, и нарочито громко и многозначительно смеялись, всячески подчеркивая, как принято сие по российским провинциям, свою девичью неразлучность и дружбу. Злило Николая Леонидовича и то, что еще больше от всего этого

тянуло его именно к ней, к *сволочной девке*. Кругом стоял колючий и бесконечный ельник, редкие березки, отовсюду перетягивалась паутина, от которой саднило и раздражало кожу. Еще более душная и неподвижная томила послеполюденная лесная жара.

С лугового перелеска, с большим аккуратным стогом, тропинка скользнула в дол. Сразу в густом и тенистом ольшанике загудело оводом, запахло болотными цветами и грязью, окунуло в буйно-зеленую, с рябью солнечных пятен, приречную тень. До воды надо было лезть через запытанную, обвисшую ветвями глушь. Таинственно, как на всех речках, выходящих из неведомой дремучей завали, извилистыми ходами, чуть шевеля в ржавой ходячей глубине космы распущенных водорослей, то звонко переливаясь из одного щучьего бочага в другой, опаживала своими застойными холодками темная лесная вода. Отрешенной жизнью веяло здесь. Аир и пышные незабудки, иногда заросли острой осоки, пушистая душица, стояли над ними, потрескивая, бирюзовые стрекозы срывались росчерком, и целился в темную, неживую заводь, сквозь высоту деревьев, чистейший солнечный луч... Нежная песчаная коса вдруг выступала из воды, прижавшись к самой траве. Неустанно гудели в приречной сырости оводы, звенели цветные мухи, трепетали бабочки. Что-то всплескивалось у павших деревьев, и неслышно, над самой водой, перелетал зимородок, как в гроте у Брюллова бабочка, сверкнув волшебным и лазурным пером. Какая тишина и одиночество, какое мертвое царство, как настороженно и тонко сверлит сгнившую тишину первый комар!

Но не это занимало Николая Леонидовича. Девицы бросили его в кустах, он нерешительно разделся, прислушался. Зоиин смех и голоса были совсем рядом, не более ста шагов. Омуток, выбранный им, почти не двигался, вода стояла прохладной темнотой. Лезть в эту таинственную непроглядную глубину ему решительно не хотелось. Все же он осторожно потрогал воду пальцами ноги и замер. Они, очевидно, входили в воду: отчетливо доносился нарочито громкий визг, хохот, какие-то слова. Николай Леонидович выругался; нащупал крутое, неровное дно, вошел — сразу вода стала медно-красной — и с размаху окунулся по шею. На самом глубоком месте было по грудь. Вода приятно и терпко отдавала хвоей. Кругом стояла застойная, душно-сырая немота, однообразно гудели налетевшие оводы — ему стало не по себе от этой сосредоточенной лесной тиши-

ны, с темной и заповедной жизнью водяных сумерек. Донесился крик коршуна, где-то высоко над долом. Дурманно и нагло благоухал жадно разросшийся болотный лес, и распадом, застоєм и дурью, в поисках черной конской крови, в солнечной душевной сырости знойно жужжали оводы. Опять возбужденно-громко донеслись свежие голоса.

Овод прилепился было к шее, Николай Леонидович с наслаждением ударил по нему, — только захрустел под пальцами. И вдруг острая ненависть к этой девчонке, столь нужной ему, так охватила его, что сжал зубы, повторяя отборные ругательства. Он вылез из воды, напоролся на корягу и оделвался в ознобе, проклиная эту дурацкую страну, и этот лес, и хутор, и эту Лелю, свалившуюся, как бред сивой кобылы... Лес совершенно молчал, когда он выбрался на дорожку. Ясно, она и не вздумала дожидаться его московской персоны. Да, может, и все остальное было подстроено по их уездной глупости. Он решил на прощанье сказать ей прямо по-русски...

Между тем громко и протяжно закричал кто-то «ау». Он шел уже быстро, выбираясь из дола. Закричали еще. И вдруг явственно, знакомым Зоинным голосом донеслось: «Николай Леони-до-вич!!» Сомнений быть не могло. Он остановился, крикнул поразившим его самого резким и бодрым голосом, прислушался и быстро, перепрыгивая через ломь, ринулся в сторону, где купались девушки.

Речка, изогнувшись и выйдя из узкой луки, вливалась там в широкую и ровную песчаную заводь. Продравшись сквозь пыльные, еще от половодной грязи, заросли ольшаника, исколов все ноги о наваленный повсюду полусгнивший хворост, с треском вылез он из лесной чащи. Светлое Зоино платье стояло прямо на золотисто-зеленой глади солнечной воды. Она стояла посредине плеса, где было по самые коленки, как огромный ребенок, притянув обеими руками и без того короткое платье. Он растерялся.

— Идите, идите! — закричала она, ни капли не смущаясь. — Я оделась... Я кричала, кричала вам, — Леля домой уже ушла, — я осталась: думаю, заблудится! Сейчас, только вот ноги вымою.

И, повернувшись спиной, зашумела по воде коленками, показывая полноту, обтянутую полосатым купальным костюмом.

Весь берег был ровно прибит — здесь часто купались. В сыром песке краснела втопанная тряпичная подвязка, на траве валялись обрывки газет. Николай Леонидович сел

на бугорок и бессмысленно стал протирать очки. Зоя вышла из воды и, не глядя на него, улыбалась, старательно счесывая гребешком челочку. По ее тугим ногам сползали капельки воды. Еще жарче парило, еще распаленнее дышала речная заросль, и мучительной паузой стояли беспрепетный зной, горячий лес и трава.

Он решил действовать прямо, но Зоя его перебила.

— Пошли! — по-товарищески сказала она, перекинув через плечо полотенце, и быстро поднялась на пригорок. — Идите скорее, а то вас Ольга Васильевна дожидается!

Николай Леонидович вскочил, сбитый с толку... «Неужели она домой?» Но она повернула совсем не в ту сторону, откуда они пришли. Она шла быстро, не оглядываясь, он еле поспевал за девушкой. Коршуны опять дико и заливисто кричали над лесом, над густо заросшей вырубкой. Она пошла напрямки. Между сней стояла высокая белесая трава, там и сям розовел иван-чай, наплывали запахи вянущего березового листа, душицы. И уже вновь они подходили к реке. Здесь собственно буйствовала растительность, — разросшаяся листва, словно в яркой испарине, таила оранжерейную духоту тени.

— Тут вот из наших никто не ходит! — сказала она, оборачиваясь, и с каким-то присмирившим, святым лицом вошла в самую густую траву. И прибавила, нагибаясь и ведя ладонью по травяной гуще: — Сено-то какое пропадает! Деревенские — лентяи, у них все так.

Он нагнал ее в орешнике, у куста, в желто-зеленом огне развесившего тенистый, лапчатый лист. Початки орехов в кудрявых штанишках там и сям оттягивали перепончатые навесы ветвей. Пятнисто лежало солнце в густой и яркой темноте у земли. Она стояла к нему спиной, нагибая лещину и обрывая мохнатые, еще сочные связки плодов.

— Держите! — тихо сказала она не оборачиваясь, наткаясь на него кулаком с орехами и еще сильнее пригибая ветку. Он схватил ее сзади, всю изогнувшуюся, чудовищно явственную, от нее пахло речной сыростью. Было неудобно, они едва не упали. Она не выпускала куста, не говорила и глядела в небо. Потом, помогая ему пересилить естественную паузу, не сопротивляясь, тяжело дыша сказала задумчиво: — Сильные грозы будут — орехов... ужасно много. — И вдруг, выпустив ветку, воровски оглянулась кругом, облизнула губы и бросила поспешно, как будто они давно знают друг друга: — Только бы папаша не узнал.

Подожди, ты мне костюм порвал. Да не так! Ну вот, повесь его сюда.

И уже перекосило как-то ее большой, свежий рот.

Дико заливались в потустороннем мире коршуны. Над ними роями кружились оводы, налетевшие отовсюду из затененного распада трущоб. Когда они лежали, отдыхая, она дышала тяжело, почти равнодушная к нему, закрыв глаза. В лесу было тихо. «Вот ч-черт!» — то и дело восклицал Николай Леонидович, ударяя себя по телу ладонями. Потом она снова укусила его в плечо... Гудели оводы. Она была — как этот легучий сонм, оголтело жужжащий в душном и гнилом застое чутьем горячей крови. Он изумился ее требовательности, его изжалили проклятые насекомые, напрасно уже говорил он, что ее могут хватиться родители.

...Дымно садилось солнце в лесную крошечную духоту, когда москвичи уезжали с хутора. В полусвете зари, скованное безмолвием, недвижно стояло поле, чернел ровной оторочкой лес, дом, — заугрюмевший, с погасшими, мертвыми окнами, — и мельница, обреченно, словно не веря в лучшие времена, темнела на неживом фоне сумерек. И точно так же, угрюмо и недвижно, словно оставаясь на гибельном посту и взирая на счастливых и свободных, покидающих край, откуда им не уйти, стояла вся шатровская семья, одинаково опустив длинные, как у горилл, руки. Одна только Зоя не вышла и простилась с ними в горнице. Ямщик из учеников, тот самый кудрявый, что был с молотом в кузнице, взбирался на беседку... Он двинул вожжами. Ольга Васильевна с легкостью в сердце помахала платком, Николай Леонидович приподнял шляпу и взглянул на окна: все, как он чувствовал, шло отлично. Он вспомнил последние слова там, в лесу, самодовольно улыбнулся. Они уговорились, теперь все устроилось само собой. Шатров, молчаливый и невозмутимый, проводил их к дороге и открыл хуторские ворота. Москвичи обернулись: дом стоял, как прежде, но в столовой кто-то открыл окна. И, прощаясь, почувствовала Ольга Васильевна, что никогда, никогда не увидит больше этого душного и одинокого дома, этого застывшего поля, и может быть, и этого скучного и страшноватого человека с пыльным лицом. Она весело прижалась к мужу, паренек свистнул. Все ближе и ближе стала наплывать темная опушка леса. У конца прясел, вместе, они еще раз оглянулись на хутор. Легкая мгла кисейной пеленой висела в летаргическом воздухе. Причудливо,

головоломкой метнулась в сумерках летучая мышь. Мельница, хуторской дом без следов жизни стояли в туманно-желтом затишье хлебов. Ни огонька, ни звука. И вдруг в застой этой почти жуткой тишины, гнусаво прочертив воздух, глухой, давно исчезнувшей петербургской Россией ворвался шантаный граммофонный крик... Неживым светом полыхали зарницы, уже чернела темнота у земли, погромыхивал тарантас, ударяясь о корни, а в лесную тишину все несло: «... он ей шепчет уверенья»,— и, то пропадая, то вдруг заходясь угаром бесстыдной тоски, вновь возникало округ:

А она полна сомненья,  
Что-то ей любовь сулит...

К себе в Барабаново они приехали совсем затемно, среди сплошного крика перепелов. Ночь походила на беспмятство, было душно и тревожно в постоянном отблеске зарниц. Паренек наотрез отказался от всякого угощения, заторопился домой.

— Да, организация у Василия Ивановича твердая,— сонно сказал Николай Леонидович, взясь с замком.— Это хозяин.

— Ужасный человек! — живо откликнулась присмирившая Ольга Васильевна.— Боже мой, какой ужасный дом!

— Дурочка! На таких, как он, вся Россия держится. Ну, иди!

— Нет, ужасный, ужасный!

Спорить ему не хотелось. «Спать, девушка, спать!» — твердил он, зажигая лампу. Но Ольга Васильевна не утерпела и побежала в сад. Перепела, перепела! Песня из радости жизни, запахов и звуков исходила от земли. Ею окуталась усадьба, деревья, огороды, их сад. Низкая багровая луна стояла над миром; как от керосиновой лампы, на поля падал желтый, туманный свет. И там, в зыбком тумане, опять и опять кричали перепела. Она подошла к стене душистого горошка, опустила лицо в сухие, пряные цветы и целовала их от избытка жизни. Она была переполнена самым хрупким, самым непостоянным счастьем — своей случайной, неосознанной жизнью на стремительной и грозной земле. Николай Леонидович спал, когда она вернулась в избу. Едва светила убогая лампочка. Ей почему-то стало страшно: она была одна — одна, одна, она это чувствовала. Она сидела у его изголовья, шептала, что складывалось помимо воли, всем существом, всем

малым и преданным сердцем, быть может, созданным для большой и широкой жизни, быть может, таким же полным, как весь поющий и напоенный луной мир, и, быть может, так же, как одинокая хуторская дорога, полным никому не нужных диких цветков. Она сидела и плакала. Так было первый раз в ее жизни. Первый раз. И потекла ночь в глухой, спящей деревне. На следующий день первые волненья предгрозовых событий ворвались в их барабановскую тишину.

Утром, едва напились чаю, к ним постучался Ванин. Вошел он как-то особенно уверенно и сочувственно, с той тревогой, с какой еще по старинной привычке в этих местах говорят о появлении властей, рассказал, что вчера приезжал волостной милиционер, расспрашивал всех о Николае Леонидовиче и — разыскивал. Народ, какой нашелся, с перепугу молчал — появлялся конный милиционер только в случае какой беды. Все же добился милиционер, что приезжие ничего, люди хорошие, с ними, с крестьянами, никаких особых дел не ведут, ничего лишнего не говорят, а вообще что они за люди — никто толком не знает. Одна удаловская Анна только и распиналась за них, больно хвалила и защищала Ольгу Васильевну. Так что милиционер засмеялся и говорит: «Чего, мол, всполошилась, никто твою барышню обижать не хочет, а даже до нее никто и не касается...» А об Николае Леонидовиче спрашивал серьезно. Столяр Еремкин, как услышал милицию, окошки у себя прикрыл, так ни за что и не вышел. Стучал, стучал к нему милиционер, говорил, мол, только для одного разговору, и не достучался, плюнул. Ни с чем и уехал. К самому вечеру вылез столяр, кричал на всю улицу, что все власти прошел, а вот — никого не знает и никого к себе на порог не пустит. Говорили, как увидел милиционера, залез на печку и обмотал для верности голову шубой. И правильно: суди после, пожалуйста, он никого не слышал, никого не видал, ничего не касается. По всей деревне только и разговора о милиции. Жалеют больно Леонидыча.

Ольга Васильевна вся потемнела, когда все это выслушала, не сводила глаз с мужа. А он не показал и виду, сказал, что какое-нибудь недоразумение, и сейчас же перевел разговор на рыбную ловлю. Он собирается попробо-

вать на подпуска и ставить жерлицы. Ольга Васильевна понемногу успокоилась, — действительно, что может быть у Коли с милицией, — принялась было за вышиванье. Она очень любила слушать мужнины разговоры, наблюдать, потихоньку шевеля иглой. День опять был знойный, тихий, без облачка. И вдруг совсем неожиданно у крыльца послышалось топанье и фырганье лошадей, там разговаривали резко и властно, потом загремели на крылечке шаги, и сейчас же, с прямою и настойчивостью, которые еще остались от первых лет революции, стали стучать в дверь. Ванин так и застыл с открытым ртом, мигая белыми ресницами... Ольга Васильевна очень спокойно воткнула иголку в платье, отложила свой шелк и подошла к занавеске. И вдруг, увидев черносуконные плечи и фуражки с цветными околышами, отшатнулась и, сразу осунувшись, сказала упавшим голосом:

— Коля... там опять милиция...

— А вот я с ними поговорю! — быстро поднялся Николай Леонидович и почему-то стал надевать пиджак. Он выглядел сердито и решительно.

— Коля, ради бога, поосторожней!

В самом деле, своим видом, уверенным голосом он смутил приехавших. Старший, рябоватый, при полевой сумке и револьвере, сразу снял фуражку и, потеряв официальный вид, стал мирно вытирать бравую, бритую, серо-синюю голову носовым платком. Говорил он путанно, извинялся и в конце концов сказал, что прислан узнать, партийный ли московский гражданин и почему в таком случае не явился на отметку в волком. Николай Леонидович строго сказал, что он никаким волкомам не подчинен, что он экономист и ученый консультант виднейшего государственного учреждения союзного значения. Здесь он лечится и отдыхает. Милиционеры медленно курили, разглядывали каждую мелочь и неловко молчали. Потом старший попросил показать документы. Перечитал он их несколько раз, отдал как будто с сожалением и, поднявшись, важно подтянул ремень.

Уехали они, попрощавшись за руку, и оставили в наглухо прикрытой избе запах дегтя и махорочный дым. Ванин с Ольгой Васильевной просидели в светелке заговорщиками, подсматривали, как садились милиционеры на коней. Для чего-то, выйдя из избы, милиционеры осмотрели двор, зашли в сад и заглянули в сарай. Ванину осенью нужно было на призыв, — он глядел на форму и оружие с

неприкрытым восхищением. Наконец уехали. Николай Леонидович вернулся со снисходительно-насмешливым лицом.

— Ты что? — спросил он жену, прочитав неподдельную тревогу на ее лице. И улыбнулся.

Но сбылось старинное: беда не ходит одна!

12

Давно ждали грозы, так парило и жгло в канунные перед Ильей-громовником дни, а не запомнили такого душного, изнемогающего утра. В самую рань прибежала к московским удаловская Анна — принесла Ольге Васильевне первых огурцов, колючих, курносеньких, пахнущих солнцем и травой. Заговорились они в саду: сны да предчувствия мучили деревню, даром наступали самые страдные и горячие деньки. Все поведала Анна — и как боятся по деревням Ильи, и как боятся за скот в его день, до сих пор, и пожаров, и змей, и утопленников, — дай бог, пронесло бы! — вон дяди Алексея минька с ильинской пятницы за людей скоромной росинки в рот не берет. А молодые, да и она, Анна, — грех-грехом, а отошли от жизни старинных людей. Ушла горбунья, долго не могла Ольга Васильевна избавиться от какой-то душной, запавшей после шатровского хутора тяжести на душе. А день разгорался беспощадный, в страшной отчетливости затишья, среди ощутимого оцепененья недвижных сухих хлебов, среди раскаленной пыли захолустных дорог.

Хотели было пойти на реку, но так палили выгоревшие пустые луга, что сразу пересыхало в горле, в глазах наплывали огромные чернильные пятна, а тело, как в горячей ванне, наполнялось безвольной и вялой немотой... Будто ни живой души никогда не бывало в деревне! И скукой, содеянным каким страшным грехом, нависая однообразием долгих прошлых и будущих дней, гудели по избам мушкетные стаи — несметная сила черной и кусачей беды. Николай Леонидович занимался рыболовными снастями где-то у Ванина. Ей было тягостно и нехорошо. Думала пересидеть жару у себя в светелке, но и здесь кружилась голова от духоты и очень больно и надоедливо кусались мухи. Ее изводил неустанный звон ос, больших и пугающих, в черных обручах, наводивших на нее положительно ужас; в несметном числе обитали они в стропилах крыши, на дво-

ре. Солнце пропикало повсюду. К ней оно целилось пыльными полосами и столбами сквозь каждую щель. Близко по соседству возились голуби, что-то мягко выпевая зобами, хлопя и помахивая звучными, пружинящими в воздухе крыльями... Был особенно томительный деревенский день, когда выступал весь дух, вся тяжесть этой жизни, как жужжание мух и тишина избы, как нудный крик ребенка в замаранной зыбке, — среди лесов, обгорелых пустырей, оводных болот и лугов, некогда называвшихся Россией. Казалось, силится подняться вверх, отлететь из душной и зловонной тишины, из своей неустроенности, сирости, безвестности косяк деревянных изб, сатанел от бессмыслицы своей, скуки, бессильности — и не мог, не мог... Словно в мертвом застое полдня, в жаркой пыли дорог, в сухости обмершего воздуха перестала биться сама вековая лесная история, схороненная и сгинувшая без памяти и следа.

Ольга Васильевна спаслась от жары на усадьбе, там и пролежала в березовой тени до полдня. Потом пришла Пескариха, в драной шубейке, несмотря на жару. Учила ее делать салат из огурцов, накрывала на стол под яблоней и сама собственноручно нарезала цветов — горошку и резеды, — силясь преодолеть внутренний распад от скуки и жары из свойственного всем женщинам инстинкта противодействия всякому разложению. Обед прошел вяло, а чуть стал сваливать жар, решил идти Николай Леонидович на Большой Утрас, с ночевкой, ставить жерлицы, к своему знакомому и закадычному леснику. Там было все договорено и приготовлено, — как был, в легкой рубашке и сандалиях, в белой кепке, крепко и снисходительно обнял ее и, оставив на целые сутки, мелькнул под окошками...

Высунувшись за подоконник, прощально кричала ему — еще раз проститься, — не вернулся; на секунду подступило в нем раскаянье при виде ее любви и нежного, розового, смеющегося лица, — затем она захлопнула окошко. И раскаянье, и смущенье уже были на излете, чтобы померкнуть. Он ускорил шаги, как будто опасаясь передумать и перерешить что-то.

Деревня безлюдствовала.

Ни звука, ни движенья не было на улице — ни людей, ни животных, ни птиц. Он прошел до избы Грибанова, — отсюда пыльным проулком к Утрасу на кордон нужно сворачивать книзу — на луговую дорогу... Ни одной живой души не было вокруг. Николай Леонидович огляделся.

Стояла знойная, прямо заупокойная тишина. Лишь истошный, слабый и непрерывный крик... Дверь в грибановскую избу была растворена и зевала черной и душной скукой. Там, в прелой темноте, заходясь и закатываясь, орал ребенок, очевидно, только-только от груди,— не приходилось Николаю Леонидовичу слышать такого крика, похожего на захлебистый щенячий лай. Он остановился было, но вспомнил свое, огляделся еще раз, да и так темно, таким застарелым смрадом и одинокостью глядело старое грибановское гнездо, что не захотелось любопытствовать. И он быстро прошел мимо. У огорода, в тени старой баньки, среди разлапистых листьев хрена и путаной чащи маличника, спала грибановская костлявая старуха, прикрытая рваненькою овчинкою. Одна желтая, в страшных лиловых узлах, ступня ее вылезла в траву. Чуть доносило сюда вдруг совсем захлебнувшийся крик ребенка. Николай Леонидович миновал зады, пробрался огородом к лужку с разваленным общественным сеном, внимательно оглядел небрежно разбросанные и не сметанные в копны его клочки и выругался вслух. Потом он быстро взглянул на часы и задумался. Деревня расставилась вдоль лопчины, там, внизу, на лугах, едва видная, извивалась дорога к Большому Утрасу. Никого! Оцепенение. Лишь кузнечики вышывают звуковыми пятками... Он решительно зашагал вперед, через поля, в противоположную сторону.

Ольга Васильевна ожидала его к обеду следующего дня. Время ее сразу наполнилось хлопотами, что сразу приходят к таким молодым и счастливым женщинам, когда они вдруг остаются одни. И часы потекли незаметно от дела к делу, вместе с рассказами Пескарихи о нескончаемом бабьем житье-бытье. Уже стало радужное солнце, как будто загустел воздух, и уже нависала предзакатная, но совсем светлая душно-горячая мгла. Они сидели у крыльца, жизнь еще не вернувшись в деревню, когда вдруг Ольга Васильевна услышала женский неистовый крик и мгновенно поняла, что— беда. Сердце ее стиснуло ледяной и жестокой рукой. Она кинулась навстречу тому, кричащему, бегущему с жалким ужасным воем, и на пустынной, залитой ярким и низким солнцем улице увидела грибановскую соседку — тетку Анисью... Анисья бежала, прижав правую руку к груди, другой она придерживала полы длинного сарафана, она переваливалась, словно припадала к земле, как раненая птица, и с плачем причитала, крича: «Батюшки! Ой, беда! Ой, беда, сердешные!» Лицо ее было

удивляюще серого цвета... Страх, что случилось недоброе с Николаем Леонидовичем, охватил Ольгу Васильевну таким ужасом, что долго удивлялась она после сама себе; случись, действительно, что с Колей, она заревела бы диким, звериным воем,— то, что исходило от тетки Анисьи, женское, слепое в своей стихии защиты жизни, своей плоти, продолженной во всем живом, готово было кинуться в ярости, не останавливаясь ни перед чем. Полубезумная, бросилась она к Анисье, и сразу оцепененье, черные клещи тоски и боли отпали... Нет, не с ним! Слава богу! Анисья опустила на крылечко, слезы текли по ее щекам, она подвывала своим словам, и сейчас же завывала Пескариха, и уже бежал неведомо откуда взявшийся народ. То, что случилось, никак не дошло сразу до сознания Ольги Васильевны, но в том, что смутно поняла она, в том, что *заели мухи ребеночка* тетки Анны, было столько страшного в своей грубой простоте и дикости, и это было наполнено такой женской тревогой, что и она, сама не понимая толком происшедшего, уже принадлежала общей бабьей суматохе, заставившей ее дико рыться в чемодане в поисках каких-то лекарств... А тетка Анисья, вытирая глаза, охая, вскрикивала, пересказывала в десятый раз:

— Только вошла к себе в избу,— повторяла она, вытирая дряблый и мягкий нос концами головного платка,— а она, мать, прямо на меня бежит... «Ты что, баушка?» — говорю, а на ней лица нет... Стоит, а слова молвить не может. Ну, конечно, с испугу— старенькая ведь. Кинулась я к им в избу, а он как замарался, так и зашелся тут. Я обмерла вся, а мух на нем — такая сила! Всего так и облепили. Батюшки мои! Ему года, анделочку, нет, а они вон как жалят...

Рассказывая, она плакала; слезы, не переставая, катились по ее уже морщинистым щекам.

— От груди еще не отняли,— заголосила вдруг Пескариха, притулившись у дверей.

— У мамкиной титьки только и жил,— вздохнула Анисья.— Мать-от и не знает еще, с утра до ночи пашут... Господи! Ты, Ольга Васильевна, капель каких найди: совсем сполоумела баушка-то!

Валерьянка, как на грех, запропастилась. Наконец нашла Ольга Васильевна заветный пузырек, захватила напатырный спирт, неизвестно для чего — вату и, бросив незапертый дом, кинулась за теткой Анисьей... Предвечерняя духота стояла великим оцепенением: улица, дома, редкие

деревья у палисадников, словно в предчувствии великих бед, обмерли под смуглеющим и дымным солнечным пламенем. Еще ниже, темнее в этом свете показалась Ольге Васильевне грибановская изба — с глухими косячатыми оконцами, вся в печальной и копотной старости, глубоко утянувшей ее в землю. Многозначительно, мутными, непроглядными зенками взглянули на нее эти окошки, запрятавшие жилище от чистого света и воздуха, равнодушные свидетели — одного ли, двух ли? — поколений человеческих дней. В сенцах обдало ее кислой вонью. В полутемном углу, у чулана, увидела она старуху — виновницу страшного события... Старинно повязанная, с рогами, вытянув высушенные, как у скелета, ноги с уродливо отросшими и загнувшимися ногтями, она сидела прямо на полу, уставивши в одну точку взгляд зеленоватых и неподвижных, как у ястреба, глаз. На вошедших она не обратила никакого внимания.

В избе было так душно и темно, что Ольга Васильевна невольно остановилась. За высоким порогом неистово гудела и носилась жужжанием густая от мух полутьма. Не без содрогания перешагнула молодая женщина в этот живой мрак. Огромная печь с закоптелым и затертым челом, с массой черных пустых крынок, исходила жаркою духотой. Вся изба загудела и заныла, когда они вошли. Потолок, стены, стол, полки и картинки над зеркалом — все было покрыто мухами, как черной мерлушкой. И уже видела Ольга Васильевна то, что царило над всем этим обиходом длинной человеческой жизни, царило новым значением, над чьим ложем еще яростнее, нависая грозным рокотом, роился безжалостный мушиный гуд.

Она содрогнулась, когда тетка Анисья, вдруг строгая и спокойная, откинула полог зыбки, обвисшей, как сырая и набитая рыбой мотня. Оттуда еще страшнее взвилось и заметалось мушиное жужжанье. Ольга Васильевна невольно отшатнулась перед тем, что лежало там. Там лежало нечто неведомое, привлекающее вечно новой неизвестностью, что всегда толкает людей, толпясь и дыша друг другу в затылок, жадно тянуться к усопшему. Уже тесно окружало Ольгу Васильевну душное дыханье неведомо откуда набравшихся людей. Но спокойно и просто глядело это неизвестное, над чем, ненасытно крестясь, наклонялись женщины. Никакие лекарства здесь были не нужны, — это Ольга Васильевна поняла сразу, едва взглянув. Ужасная простота смерти — *ничего*, что так страшит людей, и здесь

ищущих только проявления жизни, — это *ничего* было слишком очевидно в парафиново-прозрачной голове ребенка, с подернутым синевою, как бы тающим, совсем не пугающим личиком, запрокинутым в сторону, с огромными, выпуклыми веками, полными еще младенческого сна. Одна ручка ребенка, в конвульсиях подвернутая у шеи, была странно опутана шнурком нательного креста. Ситцевая измаранная рубашонка как будто в отчаянном сопротивлении была задрана вверх и сбилась у подбородка... Ольга Васильевна рванулась вперед. Догадка пришла к ней с такой мгновенной очевидностью, что она невольно вскрикнула. И сразу, словно по давножданному знаку, едино, всеобщим воплем закричали женщины, и громче всех вдруг заголосившая причитаньями, всегда молчаливая и безвестная Пескариха. Он задушился, — ножницы, ножницы! Ольга Васильевна поняла это сразу, но руку ее невольно отбросила ледяная, спокойная и уже неопровержимая значительность трупа. Среди бестолковой суеты, крика и плача, среди смрада и полутемноты избы ничего нельзя было сделать, ни до чего доискаться...

И уже никто не слышал, как в сенцах, совсем без сил, заблудшая во мраке своего одинокого отчаянья, беспомощности и покинутости, завывла старуха, — крик ее, однотонный и бессмысленный, походил на вопль погибающего; словно сама жизнь отлетала от нее. И уже, прижимая к выпяченной груди тесно сведенные кулаки, неистово бултыхая пятками, отовсюду летели к грибановской избе ребятишки. Дикий огненный блеск ущербного солнца садился в душную, казавшуюся облаком пыли, полумглу. Леса уходили в сказочный и крошечный край сумерек. С луговых низин там и сям возникал деревянный скрип коростелей. На дорогах, долго не опадая, столбами поднималась пыль: отмаялись на пашне, кто пеший, кто конный, возвращался в деревню народ. Видно было с барабановской дороги, как огнисто — словно пылало все там внутри, — выставился окошками в закат сумеречный ряд изб. Молва о грибановском покойнике обежала народ. Потухали окошки, как сама, — десятеро, с меньшими за руки, задыхаясь, — маленькая, белесая, кругло-сбитая, с поросячьими ресницами, прибежала Грибаниха, — только вскрикнула, и покати-лась она... Еще пуще завывли бабы, и видела Ольга Васильевна, как прижала Грибанова голенький трупик к груди, так и закатилась, — все баюкала да причитала под неистовый крик ребятишек, рыданья и вой. И тут увидела

она удаловскую Анну в единственно ей присущей и сохраненной судьбою красоте.

Анна пришла к Грибановым последняя, густо уже набилась в избу народ, нельзя было протолкнуться. Но так торжественно-спокойно шла она, опираясь на суковатую палку, в чистом сарафане и новеньком коленкоровом платке, с такой доброй и спокойной силой смотрела вперед, что поневоле расступались перед ней, и подивилась притихшая совсем, заплаканная и не знавшая в чистоте сердечной, что ей делать, Ольга Васильевна. Словно в свое неотъемлемое царство вступила удаловская Анна, войдя в грибановскую, полную горя и темноты, избу, — по принадлежавшему ей праву прожитых болезней, одинокости, несчастности, покинутости, праву бесспорному, на которое никто не посягал. Сияла, сияла она, когда приходили за ней, с болезнями, горестями, смертями, — озарялась мимолетной значимостью и почетом и ее безвестная жизнь. Сто лет бы долой — быть в Заволжье ей, быть ей старицей: в глухих еловых лесах, в чугуновых веригах выходила бы из лесных пещер, в черной мантии, озаренная ледащей, гробовой красотой. Но кончалась уже юродивая, воспетая ангельскими клирами, прелесть смерти и страдания. Уходило во мрак все, чьей властью от смертей, мук, от безысходности людской питались вороньи святые обители. А что ей теперь? Манила ли избушка дедушки Якова, лужайка с пчелами и лесным «ку-ку», — не оторваться уж ей: слишком любила свое, деревенское, и скорбью постигала немудреные, так дорогие, не принадлежащие ей радости простых дней. При страшной беде расступались все, и, не дожидаясь зова, сама уже приходила она. И воцарялось то, пред чем, как перед купелью начал, пугливо и почтительно отступали мужики. Хоронили, лечили, принимали рожденье, равно как и смерть, провожали в тюрьмы, на войну и всегда оплакивали — женщины. В мрачных лучах этого женского, в народной тишине потаенных обрядностей только и признавалась она.

В первый раз увидела Анну такой Ольга Васильевна.

Стихло все, как прошла она, светясь желтым ликом, к иконному углу, по старинному правилу сотворить поклон и знаменье. Словно вошло с ней необходимое дело, важное для всех, такое же, как жнитво и пахота, — сразу стал выходить из избы весь лишний народ. Стихла и мать покойника, недвижно держа на руках страшную свою ношу. Ольга Васильевна и не слышала, что сказала Анна, только

у печки уже возились бабы — ладили там корыто, ведра, подтирали чело. Тут остались все, кто постарее и понесчастнее, и уж заметалась Грибанова: как же, срамота такая в избе при покойнике! И поглотила всех обрядная, ревниво-торжественная суета.

Ольга Васильевна так и осталась здесь, — с ее Анной не такой уж ужасной и неприветливой показалась ей грибановская изба. Раньше — помнила первый заход свой к Грибановым — обмерла она, как вошла: таким темным и ужасным показался ей этот бедный и многодетный барабановский дом. И все удивлялась тогда на хозяйку: одиннадцать детей прижила Анна, да схоронила еще троих. Со всеми Грибановыми у Ольги Васильевны прочно связалось ощущение неудачи, бедности, всяческой, словно заранее предопределенной, беды. Сама грибановская порода, мелкая, с какими-то приплюснутыми головами, с кургузыми, короткими туловищами, являла собой начало, в себе неуверенное, — не потому ль, в силу мелкоты ли, неустойчивости, смирения, так жадно, наперекор всему, стремилась расплодиться она? Про самого Грибанова в деревне говорили без усмешки, но с той, уже ставшей аксиомой, решенностью, что является приговором самым жестоким и окончательным. Их и не жалели уже. Ясно было всем: не подняться мужику, — так и будет коротать век на корке и луковице. И рассказывали, как сам, до германской еще, от нужды и забитости, пошел в стражники, и, неизменно при этом усмехаясь, приговаривали: «А какое из него начальство, сам он мухи боится!» И так смирен, так тих и безответен был он, что смеялись над пуговицами и кокардой его мужики, и не помогло ему звание стражника: ничего не нажил, а начальство било его по лицу. Но питно осталось. Правда, отстояли его после, заступились, но жил в вечном страхе этот маленький человек и так смиренно, конфузно смотрел в глаза людям, что становилось им как-то не по себе. Но знала Ольга Васильевна — крепко держалась вся семья друг друга, и, кто мог, работали не покладая рук. Да разве наработаешь на столько ртов! Кольке, старшему, было семнадцать, а выглядел совсем коlobком, — девки не хотели замечать, не знал никакой забавы, вечно с отцом в навозе — и так от зари до зари. Много раз видела московская барышня: все *вместе*, с черными босыми ногами, маленькие, круглоголовые, одинаково поджав губы, глядящие исподлобья, возвращались Грибановы уже темным вечером, и никогда не светилась огнем их

изба. Но неизменно, как говорили ей, ходила с животом грибановская хозяйка, и дивилась Ольга Васильевна: все и удаловская Анна — вечная девка — рассуждали об этом сочувственно-понимающе, будто кровно защищая себя. Ольга Васильевна улыбалась, думая, как бы восприняли эту прямо-таки профессионально-материнскую точку зрения у них в Москве. Послушаешь ее, Анну, можно подумать, что и она уже близко к десятку родила... Здесь все это — любовь, роды, дети — было непреложно и так же беспощадно, как небо, вода, земля. «Уродит», «пошлет», «бог даст», «слава тебе, господи»... Сами дети, видела Ольга Васильевна, постигали жизнь, все то, чем жили их отцы и матери, в непроверяемой и жестокой простоте. Вот и сейчас они — один меньше другого — как ни в чем не бывало бегают по избе. Все шло так просто, что она перестала поражаться. Единственно, в чем не могла отдать себе отчета, — это полное равнодушие всех к причине несчастья. То, что ребенок задушился шнурком нательного креста, стараясь спастись от мух, — одинокий, мокрый и грязный, — это не произвело ни на кого особого впечатления. «Мухи заели» — этого было достаточно. «Бог дал, бог и взял». Да и самую смерть уже заслонили похороны, суета, — смерть была где-то далеко, у кого-то снова в гостях, кто ее ведает! Лишь один Николай, старший, со странной для его лет привязанностью к детям, нянчась с ними, утирал кулаком слезы... Самого Грибанова не было — он ушел с утра в село и еще не вернулся. И уже чинно и деловито вступила в избу торжественная тишина покойника.

Тускло горела в избе небольшая, с заклеенным пузырем, лампочка. Сумерки душной ночи скрывали улицу, когда Ольга Васильевна вышла на волю. Удушающе поднималось над лесами багровое лунное зарево. Летучая мышь зигзагом метнулась в воздухе. Ольге Васильевне стало вовсе нехорошо. Эта старуха, — столько трудов потратили, чтобы напоить ее каплями... Безмолвная, костлявая, забила она на печь, казалось, приготовившись защищать до последнего свою уходящую и полную зыбких опасностей жизнь. И так страшно, ястребиными желтыми глазами смотрела она с печи, такой отчужденностью веяло от этого взгляда, что показалось Ольге Васильевне — лишилась старуха ума... Но вдруг отчаянно, как взятая в руки подшибленная птица, заметалась она, так затряслась и закрычала, с таким ужасом отпрянула от московской гостьи, что

та долго не могла передохнуть и вымолвить. Кое-как с помощью Анны удалось бабам одолеть старуху и влить ей водицы с каплями. И оказалось — от перепугу ли, от пережитого, или от дряхлости, как маленькое дите в зыбке, замаралась она под себя. Тут заругалась, припомнила все Грибаниха. Все это было ужасно. Ольгу Васильевну охватила слабость, тоска, она выбежала в сени, слезы вдруг нахлынули к глазам. Ей стало страшно, страшно, как в ту памятную ночь, когда они вернулись с хутора. Все ее лето, мир в цветах и траве, запахи его, говорившие о любви, расцвете, ее пробужденье, с птичьими восклицаниями, — все, все задушили серые сумерки, где восставало кровавое, лунное, выходящее из дремучих лесов...

Не было огней на деревне, кое-где лишь, раздувая огни сигарок, повылезали мужики. Слышны были тихие голоса, иногда скрип ворот. Ольге Васильевне стало вдруг душно, и, вдруг сжав сердце, судорожная, делая все тело чужим и посторонним, стала подступать тошнота. Она ускорила шаг — их избушка смутно темнела впереди. Сумрак ночи стал еще гуще, ощутительней. Что с ней? Она никогда не переживала такого ощущения тяжести и темноты внутри себя. У соседей, в потемках крыльца, шевелились огоньки папирос. Там смеялись и громко разговаривали, и она сразу узнала голос дяди Алексея. Узнали и ее — в сарафанчике, с голыми ручками, далеко видимыми в темноте.

— Добрый вечер! — обрадовалась она, с чувством, будто встретила родного, своих, жизнь, не похожую на все то, откуда она ушла. — Дядя Алексей, ужас какой у Грибановых!

— А чего? — сумеречным своим голосом ответил тот и поднялся навстречу. Ольга Васильевна разглядела Ванина, Любанова. Дядя Алексей, лохматый, в ситцевых кальсонах, босой, глядел как-то особенно весело и шатнулся. — Ба-рышня, Ольга Васильевна... — проговорил он ласково и нетвердо. — Гул-ляете... и мы гул-ляем...

И вдруг осклабился, взмахнул руками, ударил босой ножицей о землю и запел скрипуче и нескладно:

— И-е-ех, зажиг-ай-ка, м-мать, лампаду... — и оборвался. — А... ч-чего? — переспросил он, и поняла Ольга Васильевна, что все они выпили: так и висел запах водочного перегара. — А ч-чего? — еще раз повторил дядя Алексей.

— У нас их, Ольга Васильевна, много! — спокойно, будто извиняясь за дядю Алексея, вставил Ваня, как

всегда, расплываясь выпаренным своим, кумачным лицом.— Конечно, все на работе сейчас, не так, как у вас в городе. Ноли,— он сказал именно так, Ольга Васильевна уже знала, что значило это слово,— ноли в Плоскове был: там девчонка у Игнатия, Федорова зятя, горошиной закатилась...

— И закатится! — поддержал, будто рывквул, дядя Алексей.— Им что! А коронить как Михайла будет, ты это мне скажи! — Он говорил по-всегдашнему, нарочито грубо и резко: — Им что: помер — и нет. А Михайле его обряди, попу за него уплати... Жрать дома-то нечего! А ты — ужас! Ужас-ат у Михайлы Григорьича в амбаре сидит. Последний мешок сожрали, новину лопают.

— Покоронит, чай! — спокойно, неопровержимым голосом сказал Любанов. — А *товарищи* на что? Может, его на пенцион возьмут. *Беднота* ведь, не наш брат, мы что? — всю жизнь город кормили, а теперь подыхать будем.

Он жестко, со злобным спокойствием бросил сигарку и растоптал ее босой пяткой. Ольге Васильевне стало так тяжело, что она, не сказав слова, кинулась от них. Опять тошнота подкатила под сердце. В их домике стояла темнота-тишина. И так нуждалась она в добром слове, в поддержке, так душно было вокруг, что неволью задержалась у крыльца. Видела она, как через улицу, высокий и прямой, медленно прошел Любанов. У дяди Алексея заругалась Аксинья, хлопнула окошком, и там устоялась тишина. Красный и тяжкий свет луны не рассеивал темноты. Только у Сеньковых, в их порядке, через дол, все не потухал в окошке желтый огонь. Какая-то сила подтолкнула Ольгу Васильевну. Неслышно, по гладкой тропке у палисадников, пробежала она мимо ванинских черемух, смородиновых кустов и рябиц, — один-одинешенек стоял этот старый, оставшийся верным последнему хозяину, дом. Пусто, глухо и темно стоял он. У Курицовых спали, изредка фыркали лошади на дворе. Ольга Васильевна еще издали увидела в сеньковском окне комсомолку: согнувшись у стола, медленно и старательно писала она. Долго смотрела в окошко московская барышня и никак не решалась постучать. Мирно и грустно кричал в избе сверчок. Лицо Насти, слегка нахмуренное, низко клонилось к бумаге, писать ей, очевидно, было трудно и вместе доставляло удовольствие. О чем писала она в этот час, окруженная сном, деревнями, лесами, древностью, одна-одинешенька, не узнала Ольга Васильевна. Но судьбы их дышали совсем

рядом, как никогда, близко, — не ведала об этом и писавшая в ту душную, уже провожавшую лето, ночь.

Потом тихо, неслышно отошла от бедной, неведомой ей избы Ольга Васильевна. Ночь поглотила ее. И в какие-то часы, в светелке, ее мучили — то Шатров, навалившийся на нее невероятной тяжести пыльные мучные мешки, то милиционеры, тащившие Николая Леонидовича, и тогда кричал он страшные, циничные грубости и пугающе багровел его шрам; то вдруг искали ее и догоняли какие-то женщины с челками на лбу и мясники. Она вскрикивала во сне, сон наваливался, душил, и вот снова ломились и стучали, грохали мясники. В холодном поту, сопротивляясь, проснулась она и, только ощутив одеяло, подушку, свою комнатку, поняла, что действительно стучатся в их дом тревожным стуком, снова перехватившим сердце и дыхание. В одной рубашке, босиком, она кинулась в избу и, открыв дверь из сеней, сразу вскрикнула: черные треугольники изб, как нарисованные, стояли на небе, мерцавшем неживым, будто от гигантской; до самого неба, свечи, устрашающе светлым и красным заревом; мигающий свет проникал через окошки, в избе вытягивались, кривлялись и колыхались тени. Ольга Васильевна прильнула на стук: улица, празднично-яркая от света, выглядела мертвенно-пустой, неестественно, как напоказ, вырваны были избы из крошечной черноты вокруг. Под окошком сразу узнала она горбунью. Анна Гавриловна?! Она! Преданно, несмотря на испуг, улыбаясь, глянули на Ольгу Васильевну ее белесоватые, уже близкие и понятные глаза. Она распахнула окошко, руки ее дрожали: на земле перед избой, выплясывая, еще страшнее подчеркивая всю неестественность этого освещения, как на экране, зияли тени деревьев, жердей, кустов, окна пылали отсветами, — уже тревожно кричали на деревне, какие-то люди черными зловещими изваяниями стояли на коньке любановской крыши, вырезанные на зареве. «Батюшки, батюшки!» — только и слышала Ольга Васильевна Анну и не спрашивала, держась рукою за грудь, кое-как поняв, что горит у дяди Ивана, на хуторе. Лихорадочными содроганиями тянулись секунды. словно глухой шум подступающего вихря шел по избам, — выскакивал на тревогу и сразу орал, куда-то бежал и что-то хотел делать народ. Как огонь, только и стерегущий вырваться из своего тайного, стиснутого стенами, очага, чтобы сразу взвиться бесовским жаром, треском и пламенем, вдруг прорвался женский отчаянный крик, за

ним другой, третий,— и заметалась деревня, вся, от мала до велика, высыпав на мигающую неживым светом улицу. Заревел скот, заблеяло, заржало, заголосило,— сдуру, с перепугу ли закричал кто-то, что горит Барабаново,— кинулись отворять дворы. Ольга Васильевна, как набросила калат, та же застыла с Анной ни жива, ни мертва. Еще страшнее запылало над крышами, и сочился уже в каждую щель багрово-красный, ползучий свет — видно было, как поднимался у леса огонь, метелью уносило вверх золотую стремительную мошкарку...

— Народ не погорел бы... батюшки мои! — заплакала вдруг Анна и ахала, когда выбрасывало в небо, выше звезд, раскаленные клубы огненно-розового и алого, — будто взрывало и подкидывало весь ночной одинокий пожар.— Погорят, погорят мужики,— шептала она,— и не услышат, так наработались... О господи!..

Раздался оглушительный визг — неслась вдоль улицы ополоумевшая, вся красная, свинья. На лошади, без шапки, с багром в руке проскакал дядя Алексей, за ним Курицовы, а еще поодаль, туда же, вниз, на луговую дорогу, неистово крича и размахивая кнутом, столяр на бочке — веером из ее бока била вода. Сеньковы побежали вдвоем, — сам с комсомолкой — оба с топорами и ведрами. И сейчас же, — видела Ольга Васильевна, — открылись ворота у Любановых, и на тарантасе прокатил сам Егор Алексеевич с сыном, оба в фуражках, рукавицах, прямые, розовые, с аккуратными баграми и кошками. На беседке сидела глухонемая. Только пыль завилась — обогнали они Сеньковых, и совсем отпустила тут бессловесная мышастого, длинного, как хозяин, жеребца...

Одни женщины скоро остались на улице. Грибановы, на что с покойником, а трое с отцом убежали. Но все разгоралось, разгоралось — и сгорел дочиста в ту ночь хутор дяди Ивана.

Обмерло Барабаново в самый канун Ильи.

Спала еще в своей светелке московская барышня, когда провезли на телеге в больницу то значительно-безмолвное, молчащее, прикрытое бедными дерюжками, что осталось от былой, лесной жизни дяди Ивана на хуторе. Молчаливые, перемазанные сажей, хмуρο возвращались

барабановские в родную деревню. А за телегой, поодаль, шла и вторая. Страшную весть первым привез Любанов: все начисто съел огонь, и захватило всех сразу во сне; обгорели совсем: дядя Иван, неживой уже, — страшно взглянуть, — баба чуть дышит, от ребят одни кости курячьи... Только и осталась девка, что ходила на ночь по ягоды. И еще весть привез Иван Васильевич, только ахнули, совсем не дыша и побелев, бабы: чуть не пропал Сеньков, полез, дурья голова, в самое пекло, все детей искал, его и завалило бревнами, еле-еле выручили... Сам Иван Васильевич не глядел — страшно: а, говорят, обгорел Сеньков, да и голову смяло. Жутко мычала и плакала глухонемая, а Егор Алексеевич больше ничего не вымолвил. Сеньковская баба, как сказали ей, так и упала без памяти. Сейчас же с телегами поскакали туда, побежали, и палил снова тихий, еще душнее, весь сизый от дымки, совсем летаргический день. Вскоре и показалось на лугах печальное шествие. И так получилось, встретился с ним, как поднялся народ из лугов, лицом к лицу Николай Леонидович.

Далекie, нежилые края!

Только и слава есть там — леса и леса. Быстры там весны. Скосят — нет лета, медленны зимы, — по шапку залягут в рамень снега. На лицах там у людей странный финский румянец. Глухо в деревнях, ах, глухо, пустынно! Но от шума родного, как лужайка, разгорается тонко и грустно душа...

Замер московский, когда увидал неслышную, без шапок, в слезах всю, толпу. Медленно, словно прощаясь с зеленым, заросшим привольем, — навсегда уже! — поднималась телега дяди Ивана: странно короткое, напоминающее обрубки, покоилось там. Вздохнуло что-то большое, родимое — вся поколебалась, словно ветер прошелся в лесу, словно чему светлому поклонилась, толпа. Но, не остановившись, не умея преодолеть добродушия, весь перемазанный, в располоснутой через грудь рубахе, сияясь нахмуриться, заворачивал Ваня на улицу, — будто на плечах выплывала телега, осыпанная, как воробьями, ребятами, в тесной, светлоголовой гурьбе. И, колыхаясь, плыла за Ваньным, одна-одинешенька, девка дяди Ивана — ягодница, последняя, большеглазая, — со всем, что осталось ей, — а все-таки с домом, с родными, а куда? — и сама не знала, куда... Крепко вцепившись в дерюжку, как будто в своих, ненаглядных, лишь бы не отняли, не оторвали, и плыла; плыла на телеге мимо людей.

И еще раз, как ветром, поколебало толпу.

Медленно, хмуро — отцами, братьями, кормильцами — с топорами, ведрами и баграми шли вслед мужики.

— Дядю Петра везут, дядю Петра... — шорохом прошло по бабьим рядам. Вот и он воцарился короткой славой близкого, близкого гробового венца... Но не слышал ничего, укрытый с головой ситцевым стареньким одеялом он — Петр Иванович.

Впереди на соседской грязно-белой кобыле, — своего жеребца берег! — чуть не до земли болтая огромными валенками, в розовой рубашке, огненно-рыжий, кудлатый, со свирепым лицом, ехал дядя Алексей. Длинный багор наперевес походил на пику, — странным великаном, рыцарем показался он Николаю Леонидовичу. За ним по бокам телеги ехали Курицовы, по-воински прямые, вкопанные на лошади, — кавалерии и артиллерии кавалеры еще по германской. Так и припали глазами к телеге барабановские... «Тут, тут Наська, разви она от отца отстанет!» И точно; строгая, с упрямым твердым лицом, шла комсомолка, одной рукою держась за станок.

— Петр Иваны-ыч... — вдруг слабым рыданьем, почти упреком отозвалось где-то в людях, и хозяйка Петра Ивановича вырвалась к нему навстречу. И так тиха, бела и почтительна была она, так припала к невидимому и безмолвному, что везли, так нерешительно пыталась что-то шептать, что перехватило сердце...

— Мамонька... не трожьте, мамонька, — твердо сказала ей дочь.

И молчал, не двигался Петр Иванович Сеньков.

Остановились, смешались, окружили телегу со всех сторон, будто ожидали ответа оттуда, — и далеко уже впереди, почти к околице, продвигался Ванин.

Застыл, замигал дядя Алексей, еще более свирепый, в народе со всех сторон, и совсем опешил, увидав Николая Леонидовича. Лицо его все свирепело, свирепело:

— Вот... жил крестьянин... — сказал вдруг он отдельно и глухо, обращаясь к москвичу: — Вот жил он, и вот — вся его жизнь! — и неожиданно яростно, лающим голосом закричал: — Ребята-ы... Гони баб — помирает человек-от...

И видели все: сорвалось что-то в нем, а тут вышла его тетка Аксинья, — слезы вдруг потекли по его бороде...

...Вот и Илья-громовник постучался в Барабаново.

К обеду вернулся Ванин с комсомолкою, а после при- скакала милиция. И рассказали: Сеньков еле жив, а хутор

дяди Ивана, видно, опустел навсегда... Милиция записала все и уехала. Опять обезлюдела улица. О дяде Иване Смолянинове и тетке Марьюшке погоревали все. «Царство небесное! — вспоминали и приговаривали бабы-подружки и сверстницы: — Отмучилась...» А мужики, что играли с дядей Иваном ребятами, гуляли парнями, вместе работали по лесам, бок о бок ушли в германскую и без вести, где-то в Сибири или под Ташкентом, отвоевали красноармейцами, — кто шапку, кто картузишко молча ломали с головы...

— Ужасно хорошо было у дяди Ивана, — много раз после поминала Ольге Васильевне удаловская Анна, ласково выпевая несколько раз: — Ужасно хорошо было на хуторе! — И продолжала: — По грибы ли, по малину, по бруснику — все к дяде Ивану... «Дядя Иван, здравствуйте»... А он будто не слышит, пугает, а все, все медом угостит...

И добавляла тут Анна, что всегда заставляло Ольгу Васильевну улыбаться про себя:

— В проход у дяди Ивана ягода... Как пришел первый спас, так до самого снега. В проход, в проход у него — ягода.

Всегда смешило московскую барышню это — здесь обшее и привычное — «в проход».

Уже легендой становился дядя Иван в рассказах Анны, и много, много раз внимала ей Ольга Васильевна, как сказке о каком-то невероятном и, наверное, не бывающем счастье, с легкой, счастливой грустью. Но все туманнее внимала она, потекли барабановские дни, — отошел скоро дядя Иван в небыль лесной истории. С той самой ночи, с часа, как багрово и мутно стало мигать и совсем оплыло зарево с хутора, смешались, затолклись сумрачные тени по улице, — вспоминала она, — с часа, как прилегли они вместе с Анной почти на свету в душной горнице, так и поселилась грустная широкая пустота в ее душе.

Давно ушла от нее Анна, когда разбудил ее, вернувшийся самой жизнью и радостью, Николай Леонидович. Не спрашивала его, не рассказала о терзавшем ее в одиночестве, — нет, не то заставило броситься к нему. Только б защититься, прижаться к этой уверенной, сильной теплоте, слышать это сердце, непреклонность, настойчивость, его — единственного, найденного в миллионах других! Все прожитое без него показалось ей сразу лишь сном. Жизнь, выскокая, полная света и дыхания, все равно должна была стать ласковой, нежной, вот такой, именно такой, как он! И не сразу, не сразу рассказал ей о печальном шествии

с пожарища Николай Леонидович. Оживленная, с блестящими, совсем круглыми, как это бывало у ней в счастье, веселыми глазами, завивала она свои волосы о палец ему и рассказывала, рассказывала о девической своей Москве. Николай Леонидович, без очков, со смешной важностью закрывал глаза и напрягал силы, чтобы сразу не уснуть. В сон его тянула властная, темная сила. «Всю ночь провозились на реке — и хоть бы что! Нет жора у щуки!» Совесть у него была спокойна и уверенна. Лежа, он улыбался и почти не слушал: то, что происходило ночью, невероятное для этой чистой и скучповатой комнаты, продолжало в нем еще жить и самодовольно щекотало внутри. Удивительно, что сейчас в нем, пожалуй, еще больше нежности к жене и какой-то снисходительности... Словно чище, — он усмехался, мысленно произнося это слово, — да, чище, человечнее и властнее стал он. Однако сегодня еще предстояло выдумать...

Нет, отнюдь не из инстинкта добра, чем силен и неделим в своей массе человек, жил главный в нем, никогда не мысливший вне своих целей, давно готовый к прыжку, чтобы усесться повыше — любыми средствами, в кругу сильнейших, жесточайших, ворчащих и облизывающих клыки. Уездный Рим мерещился ему. Тоже, без нежностей, как бы отбрасывая и отщелкивая беспощадными костяшками расчета, говорил он о социализме. Это было последовательно, из офицерски-эсерского горохового кителя — без противоречий. Он никогда не был поклонником лирики. «Ну вот Олечка хотя бы... Но ведь она нисколько не потеряла, — раз. Во-вторых, я буду спокойнее, и это, следовательно, полезно, разумно и для нее». «Материализм? — конечно! Вне всяких особых чувств — русский мужик величайший материалист, поэтому с ним по пути, и мы — за. Мужик покажет еще товарищам гуманистам!»

Кю всему этому примешивалась ночь. Николай Леонидович жмурился — все было слаженно, к одному, к ощущению силы, власти... В лесу оставалось нечто, похожее на клетку в Зоологическом. Он всегда говорил, что его притягивает это дикое величие, великолепный цинизм природы, в основе которого всегда кровь и власть... В лесу, в лесу, — торжеством своих идей, всего существа ощущал он как бы покоренное ворчание, лунно-каторжный взгляд и всю ее, как бы в полосатой, вкрадчивой шкуре, изогнутую в лживой покорности, чтобы — в момент, при слабости спутника, — вгрызться в него — случайного, близкого.

Латинская мудрость о волках!

— Девушка, — лениво произнес Николай Леонидович, — а вы знаете о ночном происшествии?

Эта «девушка», из словаря, прикрывающего пустоту отношения к людям и не требующего никаких душевных затрат, применялась им постоянно. Жестко и как-то юмористически он рассказал жене о происшедшем. Все смешалось у Ольги Васильевны, когда узнала о новых покойниках. В особенности расстроило ее известие о несчастии с бедным Сеньковым. Она вспомнила свою одинокую ночь и то, как стояла она, не дыша, у сеньковского окна, — чувство какой-то вины перед этим домом у ней было давно, но приходило все это неясно и расплывчато... Она совсем взволновалась, пыталась расспрашивать, но засыпал Николай Леонидович и, притянув к себе, что-то сказал о бесплодной жертвенности дураков и неприспособленных. И никогда уже, никому не рассказала она, как пыталась искать, — но что же, что же? — может быть, ответа на непонятное безобразие жизни, тогда душевной ночью, у окошка самой бедной избы в Барабанове. Она освободила руку мужа, больно сжимающую грудь...

Тревога, тоска, предчувствия надолго вошли в ее дом. И не с ними ли вдруг постучался Ваня, только вернувшийся из Ивановского... Голос его, свежий, как всегда, задорный и смеющийся, заставил встрепенуться Николая Леонидовича. Сразу вскочил москвич.

— Колюха? — энергично закричал он. — Жив? Ну, давай, давай сюда, у меня дело есть...

— Коля, я не одета... — вспыхнула Ольга Васильевна.

— Давай, давай! — резко закричал он, и уже стоял Ваня в дверях, приодевшийся, с витиеватыми прядями соломенных волос, ухмыляясь своим стерляжьим пылающим лицом. Еле успела закутаться простыней Ольга Васильевна.

— Николаю Леонидовичу! Ольге Васильевне! — произнес Ваня церемонное и традиционное. — Шорохов приказал кланяться. Телеграмма и письмецо почтовый наказал передать.

— Давай, давай!.. Так. Из Москвы, — дело!

— А Сеньков как? — тихо спросила, закутанная по самый подбородок, подобравшая под себя ноги Ольга Васильевна. Она любила Ванина, и были с ним положительно большие друзья.

— А мы с Колюхой Любановым рядом были, как его махануло,— возбужденно и весело заговорил он. — Избу напоследок захватило, и-их как пошло чесать, не то что — глядеть страшно! Светло, как днем, стекла сразу вышибло, никто и не подступился, а тут тетка Аганька убиваться стала — как закричит: «Ребята там!» Дядя Петр один только и кинулся. В аккурат тут его и грохнуло...

— Так-с,— спокойно и решенно вмешался в паузу Николай Леонидович, пристально глядя на жену. — Должен сообщить вам, девушка, новость... Немедленно, во что бы то ни стало, нужно мне выехать в Москву.

Она растерялась...

— Вот...— восхищенно залился Ваня, всеми широкими зубами, узкими щелочками глаз, делая кулаком жест в воздухе, будто вертел кнутом: — Вот, отколол!

— Коля...— с широко раскрытыми глазами, сразу стемневшими, изумилась она: — А как... же я...

— На неделю, на неделю — только! Вот читай... А ты, Колюха, раскидывай мозгами; чуть свет завтра нужно меня на станцию. К скорому часовому поспеешь?

Ваня совсем осклабился, бил его вскочивший Николай Леонидович по плечу; вместе громко хохотали они, а Ольга Васильевна, застигнутая врасплох, бессмысленно вертела телеграмму и погружалась в какую-то пустоту... «Готовьте материалы тчк очень ответственно Извольский». Только и всего. Кто был этот Извольский, она и не помышляла. Но ее начинала сосать, сосать странная сердечная пустота.

— Олька! Да что с тобой? — изумился Николай Леонидович, уже разгуливающий по светелке в одном белье. — Дурочка!

В самом деле, что с ней? Она пробовала улыбнуться и попросила мужчин дать ей привести себя в надлежащий вид... Но ведь только семь дней,— это такие пустяки! А сейчас ягоды, уже бойко пошли грибы, только бы пропал комар,— то-то нагуляются они с Анной и ребятами в красном бору. В самом деле! И неожиданно, как бывает в юности, вернулись к ней беззаботность, веселость, и с удовольствием слушала она, как долетали из избы веселые, прерываемые залившимся смехом Ванина, голоса. Она надела чистое платье и перевязала лентою еле заплетенные в пушистую косу волосы.

Потом пили чай вместе с Ваниным, а после заснул Николай Леонидович, и с Пескарихой погрузилась она в за-

боту и хозяйственную суету. В первый раз отправляла она мужа. Сама уложила все в чемодан, отобрала белье, с нежностью положила выглаженные ею воротнички. Вот только с продуктами... Все труднее и труднее становилось жить в деревне. Сахар, последний, положила ему на дорогу в чемодан, — его уже не достанешь у лавочника в Плоскове. Пескариха качала головой, приговаривала о сельпо, а она только смеялась, — ну что же, посидит она и без сахара... Вот и мясник уже не приехал, сам говорил Ольге Васильевне — в последний раз, нет больше никаких сил, как прислали из волости добавочный. Что же, проживет она и без мясника. Мука у ней есть. И вдруг кинулась к окошку, стала креститься Пескариха, а тут увидала и московская барышня...

Неистово палило солнце и горела пыль, где немногочисленное, с непокрытыми головами, двигалось шествие, — весь почет и мимолетная слава внимания к уже исчезнувшему. Своего меньшого, сразу забытого и стерттого из памяти людской событиями, более грозными, значительными, вещими, хоронили Грибановы. Только редкие старухи да ребята глядели на них, прикрывшись ладошками, из пустых изб. И робко, будто стыдно им было, что лезут со своим мелким, бедным несчастьем на люди, когда молнией, только отдалось, ахнула над деревней черная беда, шли они по дороге. Колюха, старший, нес крышку на голове — крохотный, жалкий сосновый знак величия мертвого. И, спотыкаясь, один другого меньше, вприпрыжку бежали ребята за отцом и матерью, — на полотенце, как сеятель с кузовом, нес Грибанов покойника, — вот-вот, казалось, широко станет засевать землю — скорбью, неудачами, нищетой. Но это ли было написано на его существовании?

Заулыбался робко, нерешительно, оглянулся на жену, встал посреди улицы, когда, окликнув их, выбежала из избы Ольга Васильевна. Насилу втолковала, чтобы подождали, что хочет она положить в гробик цветы. И украсился неведомый малый человек душистыми крылышками цветов — алым, розовым, фиолетовым — и в последнем своем дощатом дому. И так необычна была принесшая эти цветы, с ярким бантом в чистых, рассыпавшихся волосах, с глазами, детскими от слез, в обтянутом светлом платье, что совсем растерялся Грибанов. Только всхлипнула тетка Анна.

Растерялся Грибанов и в церкви, при отпевании, крепко зажав узелок с яйцами и пригоршнею пятакон. Все боялся,

не изругал бы батюшка за их приношение... В церкви, старинной, еще от помещика, восставали с пола к окнам наискосок пыльные солнечные столбы, был беспорядок, словно собирались съезжать куда, пахло сыростью, тлением. Гробик был так мал, что уместился на табуретке, смешно было смотреть, как ходил вокруг поп, сердитый, огромнолицый, с рачьими глазами, с горбатым носом, широко зиявшим хрящеватыми раковинами, из которых торчали пучки черных волос. Размахивал он кадилом так широко, что напугались ребята, — но только холодный пепел и лязг летели от законченной кадильницы. Поджав губы, крестясь, недовольно смотрела Грибанова: «Скупится, скупится батюшка... Вон какой жеребец отъелся, а на пятак ладана положить жалко. Не задаром ведь пришли, и хоть с малым, а все-таки с покойником...»

Походил, помахал поп и спросил между дел, на ходу Грибанова:

— Откуда цветов таких набрали? — и, наклонившись, понюхавши, бросил: — Ты бы семян занес, хороши.

Как приготовились заколачивать, половину всех цветков вытащил поп, а за ним ребяташки. Так и отняли у мертвого душистый горох Ольги Васильевны.

#### 14

Собрали сходку, покричали насчет пожара — назначили, с края, поочередно, караулить и стучать в доску по ночам.

И канула деревня в голубой жар, в пекло и стрекот — в пропасть, где сиянье одно, колосья, как сон, и, запрёкненься, — немота.

День загорелся дымно-золотой, в раскаленных хлебах сгнули ночевавшие тут в ожидании Ильи зарницы. Нес огонь, молнии громовник, — еще пуще заиграла мошка на реке, заплескалась рыба, и вовсе пропали вдруг дергачи. Ночью, в дымных потемках, целовала, целовала Ольга Васильевна мужа, прощаясь, и — обмирала: фиолетовым огнем зарниц вдруг мигал отшатнувшийся мир, и с ним, как из сказки вспыхнувши, Ванин в дождевике, тарантас и лошадь со вставшими ушками, — и гасли опять ее взблеснувшие в ночи глаза... Три раза догоняла тарантас и напоследок, у самой околицы, видела: озарилось, и будто на лету сняло их — ее Николай где-то во ржи, и Ванин,

пригнувшись, со схваченным вспышкой кнутом над головой, дорога, как в лес, — взметнулись, погасли, как не было. И — заново жизнь.

Разлука впервые, как первая дрожь от невозможно близкого, как первый толчок материнства, как первая смерть.

И вот умчалось, завилось пылью, и вдруг поняла Ольга Васильевна, трогая грудь перед зеркалом, и руки, и плечи, что смотрит на нее — глазами, удивленным будто бы ртом, из волос, из ушей, из груди — и та лукавая, теплая, смешная, что была, и совсем, совсем уж не та. И смеялась ей эта новая, повзрослевшая чем-то, из зеркала. А деревню вдруг сорвало и тоже утащило вперед. Все — сразу и навсегда — забыли барабановские. Опять загалдели грачи, смешные, белоносые, словно вымокшие, — молодежь из нынешних гнезд, — и летели на пыльные, заброшенные поля. Отмахивались там, широко развевая зерна, прямые, словно перед судьбой вытянутые, не смотрящие по сторонам хозяева. Деда и отцы, старые, замшелые, все больше за полвека, ходили там, — так полагалось. Не утерпели и самые древние, белые, как лунь; важно, журавлями на холмистой, накаленной земле ступали они вдоль узких полос, от межи до межи. И когда поднимались вверх по холму, где только ослепительно пустое, горячее, ожигавшее глаз, как осколки стекла, и дальше — обрыв, казалось, уходили под самое небо, будто сражались с тем равнодушным, безмерным, широко замахиваясь на бездонную, жуткую, пустоту. Там и сям, опустив головы, помахивая хвостами у телег и мешков, закрыв добродушные веки, жевали черствыми и теплыми губами, дожидались кони. У курицовой кобылы белоголовые ребятишки играли — голые, сидя прямо на сухой, как порох, безжизненной земле. Больно, будто от пылающего во всем свете костра, палило на вспаханных полях. Туман зноя, зыбкий и лиловатый, дрожал над разлетом лугов и лесов. Влево и вправо с пашен заливало глаза знойно-желтое, пышное, нарядно наполнявшее холмы и доли мягким сияньем августа. Кое-где квадратами и полосками уже заперестрели жнивья, аккуратно выстриженные, с бережно уставленными первыми суслонами снопов. Ястреба вились над этим опаленным, блистающим миром, застывая и неподвижно дрожа крыльями, — от этого еще жарче казалось в воздухе... Все, все было забыто, — только б устоялось ведро, — жало во весь дух Барабаново, от ранней зари... Но ждали грозы.

очень уж быстро играла ночная мошка, пригибались ласточки, тяжело дышал громовник, словно обхватил всю землю, натужился, навалился, считая копы да снопы.

Ничто, однако, не шевельнуло тишины и оцепенения.

Ольга Васильевна, как уговорилась, так в самую рань и отыскала Анну. Густо клонилась удаловская полоска со старой, обвешанной длинными ветками, березой на горе. Завтракали уже жницы, когда увидела она знакомую, иссохшую фигурку с огромными, как ослиные уши, концами коленкорového платка. Обрадовалась горбунья, заулыбалась, и добрым словом встретили бабы московскую барышню. И удивилась еще раз Ольга Васильевна.

Не знали жнеек в тех лесных, далеких краях. Спокон веку серпами сжинали барабановские, и не то что машин, — полусапожек, бареток, лаптей не знавали в жнитво, не нашивали их, чуть расквасит снега, — от грачей до самой глухой волчьей поры. И тут были они — как одна: испугалась Ольга Васильевна, увидев растоптанные, чугунные, будто бы коркой покрытые Аннины ступни. Ели жницы из щербатой, из черной, как древняя икона, общей чашки, хлебали ладно, но не потянуло Ольгу Васильевну на луковую тюрю, да и ложку ей сунули закорузлую, в засохших кусочках картошки, — не поднялась рука ко рту.

— Чай, огурцей отведаешь? — ласково потчевала, довольная ее приходом, Анна: — Нынче сила огурцей, ужасная сила!

И сунула ей самый большой, желтый уже, самый лакомый по-здешнему, с кислицой.

В странной холщовой рубахе до самой земли, еще непрочнее, несчастнее показалась Анна Ольге Васильевне. Будто оделась удаловская в гробовой саван, что шьют старухи, готовясь в далекий, последний путь. Только и было одежды на ней, да подпоясалась самотканым цветным пояском.

— Али не видела, — посветлела вся Анна, заметив внимательный взгляд Ольги Васильевны на ее убор: — А мы по-старинному: как жать, дык проходницу на плечи... Я молоденькая была: мамонька-покойница проходницу хорошую спшила...

Заговорились они, обступили Ольгу Васильевну, дивились ее платью с вышивкой, городу, — а день сиял.

Ахнула Анна, как узнала об отъезде Николая Леонидовича, разом подперлись женщины на локоть, закивали головами, заслушались. И с увлечением говорила Ольга

Васильевна о том, как познакомилась с Колей, как много у него дел, как хворал, — о многом, многом, таком же, как у всех, рассказала она. Он милый, хороший, никогда не бывает у них ни ссор, ни попреков, и не расстались. Были за что на свете, если бы не Москва, — много там всяких заседаний, планов, контрольных цифр. И хорошо: пусть проветрится, освежится новыми впечатлениями, ведь однообразно здесь все-таки, и в особенности ему — мужчине.

— Эдак, эдак, — закивали головами женщины, и Анна поддакивала: — Куды там!

Тут подошли к ним с соседних полосок: епифановская, курицовская девка, Панькина племянница, — совсем разгорелся разговор. Жадно насторожились бабочки, как услышали, что бобылкой осталась московская, так и пошло по полям... И жалели кой-где уже, — досмеялась, допрыгалась... А может, верно, — и не муж вовсе... Нет, никому не верилось в беззаботное, веселое счастье.

А день сиял.

Еще пуще парило, горело во ржах. Со звоном шарахались усатые и ломкие колосья, подавалась, и, пружинясь, выпрямлялась высокая, солнечной медью горевшая рожь, — так захватывал и резал серп. Стеной наклонялась она, с шелестом падая, — в голубом, безбрежном море-океане, — чеканенные, будто выплетены, в лучах-усиках, стояли, клонились — колос к колосу — мириады застывших, недвижимым дождем наклоненных, солнечных стрел. Блестело, переливалось белесыми волнами, как драгоценный мех, поспевшее, прятавшее жниц, с бледными звездами васильков удаловское поле. Убежал перепел, прошлыл заунывный звон, прощемило гнусаво пчелой... Жара, страда, древность труда, — лило свет и огонь ушатами, и стоял навтыяжку неисчислимый, из острых лучиков, копий, к плечу склоненный, заглядывающий в лицо, желто-огненный сонм.

Боялись уже — успеть бы: сквозь пальцы текло зерно, и повторяли старинное: придет Илья, принесет гвилья. Но душно облапил, потом окатывал, молчал громовник.

И жала, отставая, путаясь полегоньку за Анной, слушая ее рассказы, Ольга Васильевна. Совсем, как бабушка, умела рассказывать Анна — бескорыстно, словно издали, с такой силой привязанности к своей стороне, что поневоле улыбался, бывало, и Николай Леонидович. «Экземпляр!» — снисходительно морщась, говорил он, но падал дружбу Анны и Ольги Васильевны. Плавала на челенях-однорядках Анна, еще девчонкой совсем, с отцом, давно, еще боль-

шеглазой, тоненькой и гордой, как елка в лесу. О многом наслышалась на плотях в юной пригожести и доброте. Но редко поминала о той поре, боясь, что не поверит никто, да и не верили, кто помоложе, а ведь не так давно жила в мире та, молодая, что отказала шарьинскому машинисту и сыну лавочника и что ушла вдруг в небыль глухой, непрочной молвы. Канули боровым ключиком — в мох, меж корней в черной рамени, — красота, нежность, страшные мясники. И вот сама понесла в себе, уделом немногих, избранных, неудавшихся в радости, сказителей, дедовбылинников, бабушек — народных писателей, искусников всяких, — крохотный, переливчатый, лесной, давно затерянный в памяти общей, от всех разбежавшихся и канувших, звон...

Может, и помнила так на всю деревню она одна.

Беды, несчастья, смерти, увечья — только по ним плелась деревенская быль. Все, все ведала Анна наперечет. О праздниках, днях кануных, постных, престольных, свадебных, об угодниках — по скоту ли, по птице, по льну, по снегу, дождю, солнцу, грому и по луне. По святым, как годичная стрелка по древней цифири, ходило красное солнышко в народном бору. Но близилось, близилось, загудело давно, будто притихло, и вновь, вновь кануным годом подступал великий исход...

Говорила Анна, и кивала невестка: очень, очень подавалась жизнь, недаром предчувствовали старики. Много судачили по деревням, а видели: отжило, отошло, чем жили отцы... На излете совсем брезжилось — барин лугининский, ветлужские и лесные кушцы, но уже не поминали их по имени-отчеству, а молодые и вовсе... В парижском городе, говорили, проживал Лугинин, пять поваров у него, две жены будто, а сюда писем не посылал. Ну, куды тут Лугинину! Сам Илья, что грозен, что пылок был прежде, а силы нет — отошел... «Ужасно был грозный раньше, вот как боялись, — рассказывала Анна: — С ильинской пятницы, спаси бог, что скромное съесть...» А теперь разве дяди Алексея минька да еще кто из древних. Но все же и теперь завпвали бороду Илье. Шибко и теперь боятся мужики: опалит, сожжет, с Ильи открываются волчьи выходы, нонче о них, волках, мало слышать; в самого Илью весь гад шипит и бросается, и только смотри: не вошла бы кошка и собака в избу...

Все поняла Ольга Васильевна, а про бороду громовника не приходилось ей слышать. Совсем заговорившись, опу-

стила серп и светилась Анна, и показалось москвичке — сама лесная крикса вышла из лесов перед ней... Вот жнитво кончат, обязательно оставят на полосе пучок, — бороду Илье завивать, — это уже каждая баба очень знает.

— Завьешь клочок, вот уж как — постарайся, — говорила Анна: — А после крышечку такую навертишь, прикроешь головку ему, низко поклонись...

— У нас так, верно, — поддержала, подойдя, Аннина невестка, — сама увидишь. Завьешь ему, поклонись, помолишься. А что? страсть, озорной он: сожжет, не убежишь... Нонче вот не слышно еще. Не время, видно, ему.

— Эдак, эдак! — закивала Анна.

А солнце сияло.

Будто огненным светлым молотом колотил кто по земле, — спирало дух, замирало сердце от зноя и духоты. До полуден взошел расплавленный шар, в самый летний зенит, дальше было катиться в осень ему, в гнилую пору. После обеда — лету конец, и муха, что кусалась и питалась до Ильи, теперь стихает уже, запасается. Кончилось лето, прилегли бабы и Ольга Васильевна с ними под свежий суслон, а тут подошел к ним неожиданно-негаданно дядя Алексей с дочерьми. Не успела московская барышня отложить серпа...

Дядя Алексей, босой, закинувши большую и тяжелую косу за плечи, подошел, скинул огромный картуз свой с чиновным околышем, поздоровался. Дочки его, рослые, светлоглазые, полногрудые, в косах с лентами, в бусах на шее, заулыбались, вымолвили: «Бог помочь вам, Ольга Васильевна», а близко при отце не подошли.

Пылал он на солнце, — рыжий, заросший, с облупленным носом, — будто не по делу, случайно, сложил косу на землю, опустил на одно колено, закуривая.

Пауза.

— Колюха на клевере, што ли? — небрежно, между прочим, вполголоса обратился он к Анне и, увидев серп в руках Ольги Васильевны, презрительно замолчал.

— Косят, слава тебе, господи, — важно, будто хозяйство у ней свое, заведенное, начала Анна, но сразу сорвалась и зачастила с виноватой поспешностью: — Большие клевера у нас нонче, дядя Алексей, хорошие, ужасно я довольна за скотину, право, ужасно довольна!

И засветилась восторженно.

Не нашел нужным дальше продолжать разговор дядя Алексей, курил медленно, хмурился, — с любопытством

глядела на него Ольга Васильевна. Будто не хотел замечать ее сегодня, словно переменялся дядя Алексей. Все молчали.

— Работать неохота,— сумрачно произнес он как бы про себя: — Да.

— Эдак, эдак,— поддакнула светлевшая Анна и хотела продолжить...

— Чаво «эдак»,— гаркнул, ни с того ни с сего рассердившись, дядя Алексей: — Чаво ты понимаешь: «э-дак»! Спину разломило к дождю, вот что!.. А надо. Ну ладно,— усмехнулся он Ольге Васильевне и прикрикнул на дочерей: — Неча вам в небо глядеть, собирайся!

Встал, втянул в самые коричневые пальцы последний табачный огонь, растоптал и — вдруг засмеялся.

— Вам зашел сказать...— обратился он смущенно к Ольге Васильевне, мягким, скрипучим голосом,— значит, неприятность вам вышла... Не робей только, Ольга Васильевна, их много нынче ездит — на всех не угодишь!

И, заметив, что сразу переменялась, словно схватили за спиной ее, совсем тихо и мягко продолжал:

— За хозяином твоим приезжали... Только с поля я, кошу отбил,— они тут. Чай, я знал, что ты проводила его,— Колюха Ванин у меня чресседельник брал! Мне Манька и говорит,— что твое рядом, белая прибежала. Ищут, говорит, Николая Леонидовича. Конные они,— милиционер, а другой будто из волости. Приехали, значит...

— Ну и что, что? — накинулась на него Ольга Васильевна. Она и перепугалась, и отлегло от сердца: ну, теперь это не страшно, а за себя ей нечего беспокоиться.

— Вот тебе и что,— продолжал так же ласково и тихо дядя Алексей.— Надел картуз, выхожу... Чай, я в полковом комитете сам был, не испугаюсь! Дык они у тебя всю избу вынюхали, замок сломили, а ни с чем уехали. Другой-то белобрысенький, все милиционера ругал: упустил, мол, прохлопал. Личности опасаются: будто боятся — от барина Лугинина, из парижского города здесь вы, вот что,— совсем шепотом закончил дядя Алексей.

— Безобразие! — вспыхнула Ольга Васильевна.

— Эдак,— согласился дядя Алексей, совсем добродушный и вежливый.— Я им и сказал: «Сами они из начальства, им вон сама Москва телеграмм подала». Ну, кони у них — хороши, поскакали,— кавалерия прямо... А ты не сердчай, чай, отстоим деревней — человека-то сразу ви-

дим. — И добавил совсем ласково: — Вот как нынче, Ольга Васильевна!

Вздыхнул дядя Алексей, что-то пробормотал хорошее и, приподняв застенчиво картуз, ладно зашагал за девками. Только головы их и косы мелькнули — и схоронились в хлебах. А Ольгу Васильевну словно поглотили — бездна в солнечном огне, легкий стрекот и гудение мух в пламени тишины. И вдруг тошнота, противной и тоскливой темнотой, опрокинула все перед ней. Потом снова и снова, еще нестерпимее в этом унизительном и противном, запылал и заходил солнечный огонь, и только лицо Анны, такое же, как и у ней в этот миг, — это чувствовала она, — в помогающей, соучастнической простоте было опорой в завертевшихся ее судорогах. Бледная, с глазами, полыхающими то темнотой, то огнем, лежала она на колючих снопах и пила теплую, отдающую травой, воду из бурака. И завертело ее.

Торжественно, словно за своим первым ребеночком, ухаживала за Ольгой Васильевной удаловская Анна, перепугалась, все негодовала на милицию... «Ездют, только беспокоят хороших людей...» Потом устроили московскую под суслоном, в кое-какую тень. И так захлопотались, забеспокоились бабы, что и не заметили, как шел уже на них громовник из-за желтых, ставших совсем ослепительно-огненными там, у горизонта, усталых хлебными волнами, холмов. Будто накрывало там все черною ночью — воцарилась такая жуткая, немая духота. И неожиданно отдалось в мире, треснула будто ветка под крадущимся черным зверем, будто лопнул лед на затянувшей весь свет реке — трах-тара-рах! — в глухой, смертно-неживой пустоте. Только ахнула Аннина невестка, а уже ползло, клубилось, потрясая огнем, вертел и дул за тридцать земель громовник.

— Матушка-покойница, светлая! — покрестилась Анна, а тут опять схватило Ольгу Васильевну, только упала на грудь.

Тысячепудово загремело вдруг, заворчало, и бледный, желтый дым стало выбрасывать ближе, ближе перед преисподним мраком, наползающим концом всей земли. Затряслось все опять, — не наверху, казалось, в глубине сырой земли, и раскатами где-то в лесах многозначительно замерло. И уже видно было — мутный и бешеный, будто окружив неводом на полсотню верст, крутя пыль до самого неба, шел прямо на Барабаново вихрь, — вот, вот и заку-

рились под ним дальние поля и леса. И страшно сделалось от тишины, что стала, от бессловесной покорности ожидания, — слышно было: занув, поколебав воздух, по тишине прошла, извиваясь, пчела... Взвились голуби в поле, ослепительно снежными, растрепанными комочками вспыхнули на грозово-свинцовом и, заплескавшись, понеслись от напалзающей тьмы по солнечным полям...

Бывают разные грозы, боятся их по лесным деревьям, но таких, мгновенных, огневых, опасаются более всего. Застанет ли в бору, на воде, в избе, а хуже всего на поле, — не убежишь, не спрячешься, — бьет огонь, как из ружья, в щелу колет сосны, возникают, где ударил, родники, зажигаются стога, катятся от него по деревне, подпрыгивают огненные шары. Каждый год бывали окрест утопленники, убивало народ зимою, когда валили леса, а больше того принимали кончину от небесного огня, в грозу. Чем жарче, суше, затишнее и душнее бывало к ильинской, тем страшнее громыхало, раскатывалось — только и слышно было огонь и пальбу. Ни жив ни мертв бежал кто куда народ, и смотришь — застигло кого, пошли по миру детки, там угодило в скотину, и загорелись леса... Анна рассказывала, еще при Лугинине, в самую ярманку, так подошло, потемнело, что позакрылись цветы, с испугу заревела скотина, — в минутку пала тучею ночь. Так стало тихо, что в ужасе, как был весь народ на гуляньи, так и кинулся в церковь. Стояли со свечками, батюшка из врат с крестом вышел, но ударяло все пуще, плакали женщины, видно, не дошло до Ильи... Крыши сорвал в селе, разметал начисто ярманку, а в самый купол с крестом пришелся весь его огонь и удар... Ужас, треснуло как — и повалило с ног весь народ. Семнадцать человек в уголь сожгло, двери царские через всю церковь перенеслись, а дедушку Ивана Родивоныча паникадиллом пришибло насмерть. А прошла гроза, почти сухонько осталось, к вечеру только село залило. С тех пор и стоит колокольня в Ивановском, будто вот-вот упадет.

И теперь шла та же черная огненная сила. А Ольге Васильевне еще дурнее, тошнотнее стало в последней, спертой до предела, совсем ополоумевшей немоте... Кто мог, — невестка Аннина, девчонка ее, епифановская, куриповские, — все убежали с поля — с полтора километра было до Барабанова. Видели с удаловской полоски, как отовсюду, с серпами и косами, к деревне, кто сам, кто с ребятами, бежал народ. Крепко обхватила Анна Ольгу

Васильевну, шептала ласковые слова и, словно защищая, не отпустила ее от себя ни разу за всю огненную страсть. Только плотнее еще, с накатом, обложила снопами она суслон.

Поколебался вдруг воздух, трепет побежал по полям. И уже мутно-желтое, будто бешеная тройка шла по дороге, завываясь, летело проселком прямо на Барабаново. Налетело, вихрь поднял над деревней мутную тучу, заревели деревья, словно водопад хлынул в березах, первые, невесть откуда взявшиеся, желтые листки погнало вдаль... И незаметно для людей потух солнечный яркий свет, неуютно, тревожным холодом протекло над землей. Вбегали в деревню последние, запоздавшие, пробежала Грибанова, уже накрытая дырявым мешком, волоча мальчишку, неистово кричавшего. Еще раз, хлопая, стуча, с дребезгом и звоном выбитых стекол, с пылью, закрутя листья, щепки, подняв выше изб перебежавшую было курицу, протекло второй раз. Громовой удар, сорвавшись с черного, приближавшегося многозначительной тишиной и быстротой, облака, вколотил кривую белую молнию, по самую шляпку, недалеко у околицы. Без памяти замигали в фиолетовом дыму, как обреченные, стлались и бежали под ветром белесые поля, — и что только делалось там! Перекатывалось, играло широкими волнами хлебное, колосистое море; казалось, вот-вот и выхлестнет его до самой высоты туч! Вколотило вторую молнию, голубую, — в широких пустынях раскололо и обвалило тяжести, пошло катать по железным небесным листам... В третий раз протекло холодом и пылью, согнулись хлеба, как парус, до самого предельного отказа, — чуть не повалился суслон над Анной и Ольгой Васильевной.

Наверху летел дым, и была ночь, как в полынье.

Глухой рев, вперемежку с громовыми ударами, раскатами, отвратительным треском, будто в лучины ломало проросшую выше облаков сосну, приближался издали. Одна за другой слетали молнии с туч, вспыхивали так часто, что, казалось, некто, весь из ночной тьмы, машет крыльями, закрывая ацетиленовым пламенем трепещущий мир. Крепче прижимала к себе Анна Ольгу Васильевну при вспышках и громовых ударах, а тут упал мерный и могучий рев, обрушилась на поля тяжким шорохом косившая все непроглядная водяная стена. Только захоло-тилось, запрыгало на земле, по дорогам, и совсем стемнело, словно было все глубоко под водой. Еще оглушительней

обвалился гром, и вдруг так коротко и ужасно блеснуло, что вскрикнули обе, но раньше их крика, раньше, чем дошло до каждой, потрясающе ударило по ушам, затрясло землю и окатило их тоскливым, паническим запахом серы и горелого... И уже ворочался грохот, перекатывалось, ворчало, уходило вдаль, и рос снова шум ливня, переходя в прежний рев. Еще крепче обняла Ольга Васильевна Анну, и в полубеспамятстве видела: спокойно, торжественно светилась та, будто опять была в грибановской избе, будто пришло в мир то, где она молода, хороша, всем желанна и всем права...

Уже реками гнало воду на Барабаново. Не все успели добежать до своих изб, захватило кого у самой околицы, — те и попрятались вдоль нового епифановского амбара, прижались к стене. И уж нечего было и думать сунуться под самую грозу. Только жмурились, крестились, вздыхали — бил, не переставая, громовник, грохотал в живых льющихся сумерках. Через край плескалась на земле вода, ревела с горы, как у мельницы, а мигнет — в фиолетово-белом и электрическом видно: нет улицы, несетя мутная вся, и выплясывают по ней пузыри...

Дядя Алексей грозы боялся, — прибежал с девками раньше всех, так с печки и не слезал. Застало в пути кое-кого из стариков, все-таки мокрые, а добежали кое-как и они. По избам вздули лампадки, позапирались, крепко прикрыли заслонками печки стряпухи: не дай бог залетит огненный шар на шесток! Столяр, как зашумело ветром, так сразу и притворился, и — в подпол. Девка его на машинке шила, сидела в избе, а он так до самого ясного неба из подпола не высовывался. Один Егор Алексеевич Любанов не отступал ни перед чем в Барабанове.

В самую страсть видели его: под ливнем, в огне, медленно въехал из-за околицы, даже лошади не подстегнул. Сидел прямо, навтыяжку, рубаха облепила его, а проехал мимо народа в амбарах — будто на какой праздник. Тут как вдарило, Колюшка, второй Егор Алексеевича сын, больно боялся грозы, как сидел рядом с отцом, так и не пошевелился — белый, ни жив ни мертв. А убежать не посмел. Но переваливать стало черно-лиловую тьму, сереть и клубиться, а кой-где уже засияла облачно-легкая, в снежных синих тенях, белизна...

Когда Ольга Васильевна, к удивленью своему, почти сухая, кое-как выкарабкалась из-под мокрых снопов, она поняла, сколько воды наплескала гроза... Вместе с Анной

стояли они совсем в новом вымытом мире. Гроза освободила полнеба, солнце светило уже в прохладной и кроткой ясности воздуха. Земля, отгремевшая, развесившая свои ветки, колосья, цветы, никла от водяной тяжести и пила, пила... Уже глухо, добродушным ворчаньем, доносило грозу. Было так тихо, что слышалось, как, откапавши, выпрямлялись стебли с колосьями. Ржи казались разломанными, разваленными, они потеряли свой золотой, легкий свет. В тумане стояло лесное море, и Ольга Васильевна с грустью подумала, где же ее милый, единственный...

Да и в самом деле, где же вы, наши бесценные?

Пахло в полях клевером, чуть земляникой и от спелых хлебов — чем-то теплым, как от близкой душе руки.

Береза на краю удаловского поля исчезла... Ахнули Анна и Ольга Васильевна, когда поняли, что это и есть тот, самый страшный, удар... На месте развесистых, длинной зеленью опущенных, густых ветвей безобразно торчала корявая, в острой щепе, расколотая половина ствола, с одной уцелевшей, нелепою веточкой. А наверху голубая, зеркальная глубина.

Гроза смыла и нездоровье, и тревогу Ольги Васильевны. Что ей, в конце концов, какая-то милиция? Ну, сделали обыск, и что же? Вот приедет Николай Леонидович, она расскажет... Ей стало весело, когда представила его лицо, как сразу он нахмурится и скажет то спокойное и уверенное, на что она полагалась, как на самое жизнь.

Еще шумели ручьи вдоль размытых дорог, по оврагам, когда они подходили к Барабанову. Необычайной свежестью и ясностью был напоен воздух, доносивший каждый звук. Из деревни слышались веселые ребячьи голоса. Зелень деревьев стала гуще, но в оцепененьи прохлады, в туманах долины, в ясной усталости вдруг проглянуло новое, о чем знала земля.

Как первая белая нитка в волосах перед зеркалом, блеснул желтым листочек на мокрой крыше, и под воробьями обронили свои капельки румяные кисти калины, и заколыхались за любановским палисадником...

Вся деревня кишела ребятами, с наслаждением и с азартом оравшими, по колено в ручьях. Простившись с Анной, заторопилась московская домой, — промочилась, с комьями глины на башмаках, с головой, совсем гладкой от накапавшего со снопов дождя. Кое-кто, из хозяйственных, с лопатами копошились у канав: совсем затопило деревню, — старались Курицовы, сам Егор Алексеевич в све-

жей рубашке, сыновья его, глухонемая... Замычала она Ольге Васильевне, замахала ручищами и умильно смотрела вслед.

Заря опустилась ясная, росистая, вся в красных лучах, — намокшая и сырая, тихонько расправляясь, засыпала прохладная лесная земля. Луна не поднялась еще, капало в борах, выходил гриб.

В сумерках по грязи раз пять бегала к Ванину московская барышня. Дождалась все-таки.

А наутро узнали все: наказывал кланяться Леонидович; просил ожидать, десятку Колюхе отвалил. Рассказывал Ваня — видел на станции шатровскую барышню, Василия Ивановича бойкую вторую дочь. В Москву по делам выписали ее... В шляпке, говорит, платье, как у московской.

Тут и забегали друг к дружке, подобрали губы барабановские бабы.

## 15

...И камень прозлябнет после громовника, — как обмочил копыто олень, багряный лист ждет синева, и вода холодна. Был пуд меда в сене Петра Ивановича Сеенькова, что на общественном лужке по взгорью, а стало — пуд навозу. Просто почернело все... Плох был сам, не жилец, — говорили, — а комсомолки его никто не послушался. А наказывал, наказывал ей и в больнице отец... Так и пропадало общественное сено, после грозы, — все чаще и чаще видела Ольга Васильевна из окошка: белые, подбитые серым гусиным пухом, выплывали тучи и облака из-за горы, то громыхнет, то побрызгает ситничком, холодные росы стали лежать по утрам. И сучило деревенское время бесконечную нить.

Неделя канула — от Николая Леонидовича не было ни слуху ни духу. Она побеспокоилась, а потом перестала: пришло письмо с дядиними рисунками, приписками и стишками, — оказывается, был у них Николай Леонидович, говорил, что задерживают всяческие серьезные и неотложные дела. Очевидно, все — почта. Так и напела ей Анна: «Погоди, пойдем вот со счастьем твоим по грибы... Известно, какие почтари в глухих наших краях!» А тут нагрязнули огурцы, малина лесная, горох.

В нарядных цветах, в полном зените, заросший резедой, зевом, астрами и колокольчиками, пышно стоял цветной

весь московский сад. Умильно нюхали, качали головами барабановские, а больше всего любовались на душистый горох. Глухонемая, Анна, Пескариха, Грибаниха, сеньковская комсомолка — все, кто победней, понесчастнее, будто в храме стоят, глядят на цветки. Дядя Алексей только кряхтел, как посматривал, и сразу серчал. Заходил и Любанов. Раз в воскресенье сидела в беседке с Анной Ольга Васильевна, не заметил он их, долго, долго глядел на цветы. Притихли в беседке, смеются они. Подошел он к горошку, понюхал и так покачал головой.

— Егор Алексеевич, — окликнули его не деревенским, смеющимся, совсем девичьим голосом.

Кинул усом, глянул строевым своим глазом, не моргнув, только затемнелся Любанов.

— Эх, — как скажет, и тут перекосило его, поднял кулак и, словно растапывая что, махнул им перед собой: — Все б зацвело! Всю землю бы перерыл, пальцы переломал, зубами все пни повытаскивал, а не дают! Эх, не придется уж, а шевелит...

Молчали в беседке.

— Отработались! Начисто! — крикнул глухо, будто грозясь, Любанов и, не обернувшись, зашагал на зады. Только налилась красным стриженная его, гладкая голова.

Отживалась деревня, спали на свежей сололке — кое-где ели лепешки и пироги из новины. За сорок верст ездили на паровую, поминали не раз водяного мельника, а Василий Иванович Шатров с воздушной турбиной забастовал. Говорили — носа не показывал с хутора, к себе не приглашал, а турбину эту разобрал по частям. Опять пошли разговоры про коллективное да про коммунию, там и сям только и слышно было про индивидуальных и добавочных по обложению. Сильно осерчал столяр — плевался при виде московской, собрался с рамами до Шарьи, встретил Ольгу Васильевну, ни слова не говоря, прямо повернул домой. Испугалась вначале Ольга Васильевна и рассмеялась, когда услышала... «Погодите, узнайте, — рассказывали ей, кричал столяр: — Они всё считают да отписывают... Я-то сразу учуял — меня не возьмешь». Глухой ночью только и увез свои рамы на базар. Мясник объявился, был в самой Вятке: «Нет, — говорит, — не надейтесь, зажали и там!» Сильнее махал кулаками Любанов, когда собирались мужики, а дядя Алексей молчал. А тут прошел слух: будто по карточке на теплые воды уехал благой...

Все слушала Анна вместе с Ольгой Васильевной. Со-

всем, совсем счастливой чувствовала она себя здесь, в убранном по-московски дому. «Мы с Ольгой Васильевной», — только и говорила она. Сначала сплевывал, слыша это, презрительно, тосковал дядя Алексей, а потом только чудно качал головой, — действительно, вся деревня видела — все с Анной да с Анной ходит московская. Судила деревня, рядила о Николае Леонидовиче — ничего не решила. Мыслимое ли дело, не срам ли: такой молоденькой да певуньей одной остаться в дому! Но заходили охотно, — в сады ли, в избу ли, — рукодельничала, всех привечала московская. А тут стала она брать кой у кого скатерти старинные, вышивки, а конфет раздарила! — сама осталась ни с чем! Вот и стали замечать: не больно уж густо у ней, ни чая, ни сахара, только песни да ласковые слова. Масла уже не берет, а с мучкой понче никто не напросится! Был разговор — отцовский кусок таскает горбатая ей за полой... Видели: плакала барышня, — и пошло тут, пошло: «Допелась, допрыгалась, так ей и надо, — твердили, — таких-то не берегут, мужья знают, кто им прикопит да кто припасет. Видно, ему не показалось, как роздала все добро...»

Снова побил дядя Алексей за разговоры Аксинью. Но не сдалась та теперь, не сдалась, слышали все:

— Ирод бесстыжий, — орала, — зенки поганые! Нагляделся на срам-от! Детей постыдилсЯ бы! Думал, московские так. Вот он, муж-от, тебе показал, где закон! Возьмет он ее теперь, дожидайся.

Ахал дядя Алексей, брался за кнут, топал, а верно: не ехал московский, он и терялся...

Спас первый прошел, вот и второй на дворе, лен уже дергали, сняли горох — не было, не было москвича, тут и совсем перед теткой Аксиньей замолчал дядя Алексей. А к московской ходил, — сидели там с Ваниным, ребят набивалось, тут же и Анна: чудные книжки про города и любовь читала им барышня. Болела, что ли, сохла с тоски, так и не понял дядя Алексей, а все смеялась и всегда его привечала она. Бабам и девкам некогда было соваться сюда, только судили, самая горячая для них постучалась пора.

Полюбилось у барышни и самым молоденьким, которым учиться бы, — Колюхе Любанову, Паньке грибановскому, еще кой-кому.

А тут заукалась вся тишина, красота, — тихо, не шелохнется, стояли красные рамени, — не слышно шага, чисто кругом, за версту услышишь — закричала желна, и так пахнет, зовет глубже и глубже: видно окрест, меж

хвойных столбов, там и сям наставились боровые грибы.. За Пустоши, мимо дяди Ивана-покойника, бором-беломошником, бором брусничным, еловыми кварталами, бором-черничником, через чистые речки беговые, повела Анна с Кольхой Любановым Ольгу Васильевну.

— Все забудешь, как царство наше увидишь,— говорила ей Анна, в аккуратных лапотках, с большим кузовом на лямках, кое-как пристроенным к горбу: — Все сердце услышит, как глянет в бору.

А сердце болело у Анны — почевали вместе, слышала: опять плакала ночью Ольга Васильевна. Заботливо, приговаривая, чтоб не расстраивалась, сама подвязала ей на онучки мягкие, с зеленым сенцом, такие же, как у ней, лапотки. И повстречали соседей, важно выкрикнула: «По обабки мы, дядя Алексей, вот вместе с Ольгой Васильевной». «Как на свадьбу собралась», — заскрипел тот, тронув картуз, а бабы и девки долго провожали глазами Ольгу Васильевну. Громко вздохнула Аксинья.

А они спускались уже на луга.

Все тропки, все гривки знала удаловская — всю шохру, все рамени и леса. Бывала она и в дальних карцевских, за озерами, и к Пумину-кордону, но любила всем сердцем, как лучшее в мире, свои ближние, целые еще, рослые и чистые бора. Вон ждут они ее, желто-палевые, темные, будто подкопченные снизу, с сине-зелеными верхами, шапка валится, когда подойдешь и засмотришься,— сухо и горячо внизу, выслано иглами, убрано, в небе — дыра, и стоит кругом в солнечных пятнах сизоватый, зеленый туман. А зашумит вдруг, как в детстве, издали, в стройных кварталах, и ближе, все ближе,— потянется, заскрипит, набежит лесной океан. Без края, без удержу мелькают и тянутся, через реки, холмы; овраги, безоглядно ступают стволы. Вот и увиделись, встретились все-таки, а весной думала — навсегда...

У Малого Утраса, за хутором, манил Анну, как в горницах высланный, моховой отзывчивый бор.

Все вспоминала свое, провела через дядю Ивана-покойника. И сжалось в груди у Ольги Васильевны: так безобразно и дико торчало пожарище. Но спокойно и мирно светил здесь, как прежде, высокий, прозрачный день. Только и было, что черная печь среди груды углей, черепки да стекло, да ведро осталось на тропке завалившее... И стояла уже тишина старины. Но слушала Анна спокойно, без упущения Кольху Любанова, все расспросила, даже

на старый родничок провела.. А оглянувшись, не дрогнула; поклонилась, — опустел дядя Иван, опустел и в ее душе навсегда.

Торжественно-гулко, далеко просвечивая меж чистых стволов, весь полосатый и палевый, расстелив холмистый беломоховой ковер, все вглубь и вглубь манил лес. Спокойствие августа солнечно падало из невозмутимых вершин. И уже грустно, по-осеннему, тем резким, не похожим ни на что криком, что знают лишь хвойные леса, отдавалась глубь, отвечая пугающей неизвестной птице. Вот и она сама, будто захохотав, таинственно махнув радужно-ярким, исчезла вверху... Один к одному, как оденьи рога, расходясь под небом, обвесившись хвоей со спелыми шишками, поднимали розовеющую сухую свою кость древние стволы. Целый час бродили барабановские меж просторных сосновых колонн, — лиловые, оранжевые, оливковые, с ломкими, в налипшей хвое, шапочками, шли сыроежки, боровые рыжики, мелкие желтые масленники... Страстная грибница была Анна и ягодница, наизусть знала, где растет какой гриб, в какое время, — проворно вела, еле попевала Ольга Васильевна с Любановым. Очень смущался Колюха, так и вспыхивало на его нежных щеках, а быстро между грибов разговорились они; давно, оказывается, таил и мучился: прочил отец в сапожники, взял было он заочный курс, как сеньковская Наська, — отец узнал, отобрал. Брату Ваське с Вапиным осенью вышло на призыв, — все им завидуют. Смущался Колюха, рассказывая, — очень уважали они и боялись отца, за работою с детства ничего не увидели, а в сапожники и вовсе не хотелось ему... Учиться бы!

Аукнулась Анна — далеко-далеко ахнул, повторил лес.

Кончился беломошник, повела Анна по Кянжонковой тропке, на Пустоши. Будто вышли под своды — только шишка треснет под ногой в тишине. И обступила их мягкая, глубоко затонувшая в черничниках, темнота баснословных стволов. Не приходилось Ольге Васильевне видеть таких лесов, в царство вошли, как нашептала ей Анна, — да и есть ли еще где в мире такие радость, любезность, печаль?

Всё — сказки, преданья, труд и заботы, ночи и звезды, ягоды, счастье находок, покой и грозу и шум народного моря — таил в себе лес. Лишь облако белое да голубые просветы вверху, — нет, не качнется... нет, не обманет — напоит, накормит, согреет в мороз. — бездонно, полночно, и звезды хрустят в конюшне попеременно с овсом; ни

белка, ни черный петух и не рысь, — все тихо, свято молчанье, — под снегом деревни, там — давно улеглись... И стоит человек, хорошеет, — и есть ли где лучше?

Нет, не найти!

Нет, не найти!..

...Много тут, говорила Анна, сам Шорохов бывал глухарею. Коренные тока. А выше, выше поднимало верхи... Брали грибы у самой тропинки, — сырее, глуше становилось в бору. Запятнило в подлеске: елки в растрепанных гривах, все в паутине, березки, сверху солнечно капало, с кочек, обомшелых колод, тончайше, как носики их, надсадно зазвенели комары... И все темнее, замшелее обступало вокруг; не так отдавались голоса, труднее стало ступать: корни ползли, гнилые колодники, там и сям вырастали трухлявые, обросшие моховыми шапками пни. Вдруг зачастила ель. Махинами, в облако вздыбив веселую, подбитую нежным серебром листву, завздыхались, как в сказке, осины, не обхватить их, с оливково-матовыми, туго обтянутыми корой стволами. Полезли в кузовок боровки — брызгливо-мясистые на рябой ножке, почти всегда с противной улиткой, — березовики — с пестрецей, как береста, — тугие, набухшие красноголовики, уже осыпанные окрест первым золотцем с осин. А тут из-под мягкой, с ворсистым плюшем кочки нацелился вдруг на Ольгу Васильевну — счастьем, счастьем! — сам боровой мужичок, нежно-закопченный, гладкий, пузатенький, кого не смешать ни с кем — никогда и нигде...

Закричала она от радости: «Аннушка, Аннушка!» — и затряслись руки: еще рядом прижилась парочка, а копула мох — словно шаров накатано, торчат, и закричала она звонко, аукнула на весь лес.

Тут и шарахнулось из-за кочек то непонятно-ужасное, ловкое, зарывавшее на нее, от кого, как стояла, так и упала на мох. Дико заорало, поднялось *это* на дыбки и, подпрыгивая, быстро понеслось меж дерев... И когда на мгновение увидела боком и поняла, кто это, остановилось *это* на миг, с огромным берестяным коробом за спиной, и стало кричать с непонятной и поэтому страшной для нее яростью, вперемежку с отвратительными ругательствами...

— Все мало! — кричал столяр, весь лохматый и сивый, с искаженным серым лицом, со сползшими очками на носу: — Ездют! До лесов добрались! Все переписали, грибы считаетё!! Я те покажу... — кричал все яростней он: — Я те дам проверить... Ты скажи там, в Москве, скажи: я не бо-

юсь... До всего советская дошла, а гриба ей не вырастить! Так и скажи: не вы-рас-тить ей!! Будь вы все прокляты!!!

И побежал через лес, с кочки на кочку, только замелькала коробом спина.

— Вот проходим, право, проходим, — только отшлепывалась Анна, вырастая, как всегда, словно из-под земли и приближаясь к бледной, с колотящимся сердцем, Ольге Васильевне: — Никак перепугал?! Вот бес, чистый бес! Тыфу! Все у них, Еремкиных, такие... Ужасно нехорошие все они!

Подошел и Колюха с разинутым по-детски ртом, с приподнятыми бровями.

— Ноли рядом пролетел, чуть не сшиб, — начал он изумленно: — Как заяц!

— Фу! — еле отдышалась Ольга Васильевна. — И смешно, и очень грустно... Все грибы просыпала! Что ему нужно от меня в конце концов!

— Они все серьезные... — солидно, по-мужичьи поддерживал ее Колюха: — Машину он делал: будто по всем странам она ответ может дать, как газетка... Дык мужики вытащили ее, хотели посмотреть, да и сломали. Он и тоскует теперь, опасается.

Но не стало веселее от этого. Ольге Васильевне. Опять нахлынуло на нее то ночное, защемило в сердце... Уже не радовали белые грибы, звонкое ауканье Анны, мягкий податливый мох, так и заманивающий прилечь. Все выше и выше взбивал лес густые ягодные постели, так и стлалась, мерцала прилепившаяся повсюду пыльно-голубая, окатистая черничная дробь... Не приходилось Ольге Васильевне видеть таких богатств: словно ягодный сад раскидался по земле, а тут ельник навис, черно-седой, будто обвешанный огненно-ярыми космами. Так ослепительно ярко светились висящие мхи, что казалось, напились медянки, опадая на нежные, в красных ворсинках и белых, бледных цветках, сугробы других уже, застланных, верно, к великому лесному празднику, — тонула нога в них по самую коленку. Уже поднял Колюха Любанов старого глухаря: так загремело и захлопало в чаще темного и глухого еловника, что вздрогнули все, и, свистя, полетел он прямо над Ольгой Васильевной, мелькнув, клокастый, пепельно-голубой, с чем-то красненьким на голове. Анна ходила, как тень, — нет-нет да исчезнет, смотришь — припала, стало быть, нашла, а то схоронится в ягоднике, — приволье, радость! Все трое, как школьники, до ушей

перемазались фиолетовыми и синими чернилами. Но грустила и молчала Ольга Васильевна; сегодня в особенности напала на нее тоска. Все больше и глубже начинала понимать свою ненужность и незащищенность, думала, и вдруг, вся заговоренная будто, столь неверная и зыбкая жизнь, в которой пришлось она незваною и случайной гостьей, открывалась во всей жестокости своей, во всем равнодушии к малой человечьей судьбе. Да и что одна такая судьба, — деревни исчезали без памяти в этой зачарованной пропасти. Страшно ей стало, когда увидела и поняла, что означают Пустоши. Вот куда тянула их Анна, все расхваливая за тишину и красоту восемьдесят первый квартал!

Лишь предосенний крик коршунов доносился сюда, на поляну с некошеной травой, с путавшейся под ногами поздней лесной земляникою. Словно караулило что здесь неживой, затененный покой. Если обступили тишину, нависая пагодами густого, поблескивающего золотыми беличьими шишечками, мрака. Еловый квартал заходил в обход — немой, как погреб, дыша прелым распадом, черная речка западала в него, в непроходимой душице, в багульниках, в каких-то высоченных зоптичных, ядовито мерцавших и дурманявших. Лосиная топь, ломи, гнилая прорва начинались там. Но не это были Пустоши. Там, за поляной, чуть холмистой и ямистой, стеной желтых бревен, молодец к молодцу, ровным строем солдатским сторожился бор. Тут и были некогда поля. И так росло и крепко стояли деревья, так победно и высоко задрались от комля распластанные щупальцами верхи, что поневоле приходило на ум: да с какою же лютою, жадной силой подняло тебя, утвердило и заплонило все здесь тобой!

На былых бороздах, видно было, рядами стоял, не пошевелившись, бор, победивший, непреклонный, безжалостный! И слышала московская барышня: все победил — огороды, поля и луга, — кладбище занял, а сто с лишним лет, как не стало крестьян здесь, — сжег барин, выгнал в Сибирь, вот и стали тебе Пустоши!

Падало солнце, прохладнело, еще чернее и угрюмее стало в лесу. Лес заходил отовсюду, будто облавой, — Аннино царство и тишина, а она, Анна, сидела, рассказывала. Ужас за себя, за свою любовь, за него вдруг охватил Ольгу Васильевну, — здесь, в этом высокомо молчанье, в силе веков, ответа ей не было. Зашумело, пошло по вершинам, будто от сонма безмолвных, оставшихся...

Потом снова накатила на нее еще более ужасная, чем

в Илью, тошнота. И так плохо ей стало, что еле-еле, к самому вечеру, под руки довели ее в Барабаново. Видно, сбылось предсказание Анны: все услышит сердце, побывав в бору.

На следующий день с ужасом увидела она, что деньги, оставленные ей Николаем Леонидовичем, почти на исходе. Предположения, нелепые и страшные, полезли к ней, неведомо откуда. Но тотчас же, стыдясь, содрогаясь от виноватости перед ним, чувствуя себя опозоренной своими же ужасными мыслями, называла сама себя гадиной и гнала все, все напрочь из головы. Надо было давно послать ему телеграмму, вот что! Эта догадка положительно развеселила ее, с утра перепортила все свои почтовые листки, и все ей казалось плохо, и что может это его оскорбить, что это не то, не то! Приступы тошноты мучили ее уже непрерывно, есть она почти не могла, началась тупая, нагонявшая хандру, головная боль. А тут собралась Анна с невесткиным мальчишкой в Ивановское, в больницу, — сразу все и устроилось. Написала Ольга Васильевна просто: «Приезжай, люблю, скучаю ужасно», а о деньгах, конечно, ни одного слова, — так и передали. А самой пришлось лечь, и перешла из светелки в избу, — замучили ее там всякие страшные сны, — стала бояться. Даже днем стал пугать ее, столь много для Анны наделавший, весь в паутине и в осиных гнездах, давно пустой сеновал. Удивлялась она горбунье: ни разу не потемнела она при виде памятной лесенки, не пригорюнилась, даром бывала в светелке у ней почти каждый день. Да и Пескариха возле колодца, где казнили ее, то и дело судачила с теми же, судившими некогда ее, бабами...

Серый, бессолнечный, с низкими грязными тучами, брезжился день. Кислое, кислое пила она, а после закачало — забылась...

Вырвало ее из сна совершенно неожиданно-негаданно, сколь проспала, — час, два или три? — не понимала, и как вошли, не стучав, кто и зачем, в первый момент никак не дошло до сознания. Но человек, очень будто знакомый, в сером дождевом балахоне, в пыльном мятом картузике, стоял посреди горницы и тихонько постукивал кнутом по сапогу. Она приподнялась и сразу, напугавшая и отвратительная, подкатилась под сердце тошнота. В окошках темнело небо, шел мелкий дождик, избы напротив вычернило. Серое лицо с бородкой было ей знакомо, но кто же, кто?..

— Не признаете-с? — с каким-то брезгливым равноду-

пшем произнес гость и добавил: — Хлеб-соль нашу попробовали, стыдно-с!

— Ах, да,— с неприятнейшим чувством поняла Ольга Васильевна, с кругами в глазах напаривая туфельки, ощутив все то, чем запомнился шатровский хутор.— Простите, у меня беспорядок! — сказала она, решив ни в коем случае не подавать ему руки. В конце концов, это свинство врываться в дом, даже не постучав...

Но Шатров и не думал здороваться. Ничего не ответив, с выражением, что, дескать, ничего — в мужицкой избе, как в избе, он встал у окошка, спиной к ней.

Опять, кружа голову, подступала к сердцу Ольги Васильевны противно-душная и тоскливая тошнота.

Отвращение и ненависть к этому человеку охватили ее сразу и с такой силой, что захотелось уже кричать, затоптать: «Ну что же вам нужно, что же! Говорите сейчас же и убирайтесь к черту, тупой, напыщенный хам!» Она стиснула зубы.

Шатров стоял как ни в чем не бывало,— чувство тошноты усиливалось у Ольга Васильевны при виде его тупой, безжалостно терзавшей ее спины.

— За вами должок небольшой,— вдруг повернулся он к ней, и она увидела впервые его глаза во всей их глубине: маленькие, светлые, как у зверей в клетке,— в них ничего не было; она поняла, смотрел не на нее Шатров, а на нечто, равное мухе, которой можно спокойно оторвать крылышки и бросить в цветочный горшок.— Да-с. Два сота меду, ящик деревянный, доставка-с. Девятнадцать рублей восемьдесят копеек, по своей цене-с.

Это «цене-с» взорвало ее. Задыхаясь, рылась она в чемоданчике, комкала последние бумажки, слезы готовы были брызнуть из ее глаз. Она судорожно закусил губы. Только б не разрыдаться! Как нужно иногда женщине выплакаться, боже мой! Всех денег у ней было только пятнадцать рублей...

Она протянула эти деньги с невыразимым отвращением.

— Николая Леонидовича нет,— с трудом выдавила она из себя, чувствуя, что последние силы ее покидают.— Он привезет остальные.

Шатров глядел на нее светлыми, по-прежнему пустыми глазами. Потом скомкал деньги в кулак,— только хрустнули,— и вдруг сказал задыхаясь:

— Все сам мне отписал! Все знаю-с,— и, глядя на нее в упор, шагнул ближе...

Ей показалось — пыльная груда мучных мешков, что-то связанное с невероятно скучной товарной станцией, зноем, дурнотой падает на нее. В то же время услышала она стук в сенях, чьи-то бодрые, веселые голоса, дверь широко распахнулась, и незнакомый ей, черноглазый, совсем седой, в запавшей, в памяти старомодной крылатке, быстро, похозяйски шагнул в избу. «Вы как попали сюда, молодой человек?» — громко и строго прикрикнул он на Шатрова, но тут уже Ольга Васильевна ничего не помнила...

Очнулась она в постели. И так сильна была потребность ее выплакаться, что, придя в себя, увидав Анну, нарядную, в черном платке, прижалась к ней, а слезы сами лились. И не сразу поняла, что этот чужой, будто с начерченными бровями, — ивановский врач. Потом — осмотр, началось, чего она никак уж не ожидала, пришлось выйти Анне, задергивать занавески, — и опять слезы потекли у ней по лицу.

Доктор молча вымыл руки у рукомыльника, долго и насухо вытирал их, присел и, сдвинув свои сатанинские брови, спокойно выжидал, когда она успокоится.

— Ну, вот что, барынька, — сказал он наконец, глядя на нее своими умными, неотступными глазами, — поплакали и — хватит... Вы скажите-ка лучше, каким образом попал к вам этот фрукт? Да, Шатров этот, знаменитость местная... — повысив голос, нетерпеливо пояснил он.

И, выслушав всхлипывающую еще Ольгу Васильевну, раздельно, пощипывая клочок седых волос на подбородке, сказал:

— Гоните его в шею, прохвоста! Личность маньякальная, антисоциальный резко выраженный психопат, — недаром боится меня... Знает. — опять супруга его плакала у меня, жаловалась. Черт их знает, тут случаи *variola haemorrhagica*, а, извольте видеть, возись со всякой их мерзостью!

Он произнес еще что-то латинское, так и не поняли его затаившие дыхание женщины.

— А с Ольгой Васильевной чего, Михайла Григорьевич? — застыдившись, притихшая вовсе, выпела Анна.

— А тебе интересно? — весело отвечивал доктор, вставая. — Да стоит ли вас любить так? — неожиданно повернулся он к Ольге Васильевне: — Ни за что не пошел бы, это она меня упростила!

— Дык как же...

— Ну вот, — продолжал он, обращаясь к москвичке: —

Картина типичная... Америки вы не открыли. Лечения не нужно, все в порядке, продолжайте в том же духе...

— А это пройдет? — нерешительно спросила Ольга Васильевна, ничего не понимая.

— Пройдет, — грубовато отрезал доктор. — Газ отличный, родите здорового мальчишку, например, — вырастет еще один оболтус... — И, видя, как по-детски недоумевающе, растерянно и жалко перекосило ее, закричал весело: — Беременны вы, матушка, как самая настоящая баба, беременны!

16

Обмороки, тошнота, боль в голове и тоска... Какое тут счастье! И с чем это, светлая, праздничная, будто воспрянувши вовсе, поздравляла ее в который уж раз удаловская Анна. «Вот и счастье тебе доктор припас, — только и слышала Ольга Васильевна. — У нас доктор ужасно хороший, ничего, что сердитый, — добром, все добром его поминает народ...» А тут побежали, приспели в деревне дожди.

В туманах, в пару поздно просыпались леса. Стало быстро темнеть, потолстела скотина, а тут поступили повестки: после успенья, кому подошло, — на призыв. Каждый день ползло и ползло над горой, лили дожди.

А она все ждала.

Как ни таилась, как ни просила Анну молчать, а скоро разошлось по всем бабам: забрюхатела барышня. Вот тебе и цветки, полусапожки высокие, тухельки вроде, голые ручки... И пошло, и пошло. За сметану наведались получить — отказала: «Вот как приедет Николай Леонидович...» «Дождидайся, приедет! Нонче мужика держи и держи», — шушукались бабы. Куршцовская молодуха плюнула даже, прошумела подолами, как повернулась, ушла. Кой-кто и жалел: конечно, молоденькая... Но налетала тут дяди Алексея хозяйка: «Артистка она... Сам-от сказал, в госпитале такие живут, потаскухи они... Вот — не сойти!» Качали, качали головами бабы, — что уж за времена! Будто столар опять машину вытаскивал, ладил — разви к добру!

А она все ждала.

Вот и успенье завтра, сельская ярмарка, последний ее, окончательно последний день. Если не явится, твердо решила Ольга Васильевна ехать в Москву. Но как? Думала устроить сюрприз ему, накупила в столовую, спальню вся-

кие вышивки, скатерти,— теперь у ней ни гроша... И лишь вспоминала Шатрова, тот день,— возмущением и чувством гадливости вскипало в душе. Все почта! Она не колебалась: не мог он, никогда не поверит она, не мог он написать кому-либо раньше, чем ей!.. Но каким-то страшным намеком отдавали шатровские последние слова,— и плакала уже, отгоняла мысли, как нечисть лесную, и не находила места она.

Вечером будто прояснело и прозрачно посвежело вокруг. Совсем иначе, тяжелым, безрадостным лепетаньем, шумела на деревьях листва. Уже поспела черемуха, та, что куталась когда-то в сверкающий утром и дождиком зеленовато-белый туман... Шум осени шел от нее, и огнисто, и холодно горела над горой, в облачных снежных обвалах, зоря. Мычали коровы, обезлюдела улица, быстро спустились сумерки. Когда-то любила она эти деревенские вечера!

Что же, у ней есть кое-какие вещи — лишние платья, но кто здесь возьмет их, кого ими прельстить! Туфли ее никому не нужны, смеются над ними, вот разве Колина бритва и машинка для стрижки волос... На бритву возлагала она почему-то все свои упования. Разве вернуть все эти вышивки, скатерти? Неудобно,— да и вряд ли возьмут...

Печально и грустно было сидеть у окна.

Уже совсем темно, наискосок за Пескарихою, через улицу, растяжно и вольно заиграла гармоника. «Наверное, призывники», — подумала она и представила Ванина, в сапогах, в пиджаке, с вязаным галстуком, утыканным жестяными держателями,— пришла мода, парни из женихов унизывали ими буквально всю грудь. Ласково усмехнулась, и потеплело внутри. Милый, хороший... Веяло от него такой наивной и чистой силой веселости, общности, простоты. Остался один, холостяк, сестра жила где-то за Нижним в прислугах, радостно и вольно думал заколачивать дом. Верно, он и играет... И весело вспомнила, все позабыв,— звал завтра на ярмарку, вместе, торжественно, как кавалер. Он да Колюха Любанов, епифановский, смирно, прирученными волчатами, ходили за ней. Все в саду у ней да в саду! И так захотелось вдруг к сотовариществу юности, к веселым, беспечным, как было когда-то, в то невозвратно-ясное, где все ожиданье и где даже вместе с одним хочется быть в живом, любимом кругу. Нет, этого никогда не поймал и не поймет ее Николай Леонидович! «Зацели!» Она засмеялась, накинула пуховый платок

и девчонкой совсем, веря, что это и есть беззаботное и верное, что осталось где-то в московском «вдали», выбежала на крыльцо.

Но сыро и ветрено, развороченной грязью и мокрой травой дышала ночная темнота. Зеленовато и холодно чуть-чуть брезжило над горой. Из беспокойной, черной тьмы, через улицу, где озарялись сигарками лица и картузы, донесло голосом Ванина протяжно короткое, на высокой ноте, с хрипотцой:

Раз в осенний мелкий дождик  
Я с гитарой под пол-лой...  
Любовался я природ-дай,  
Наслаждался крас-сотой...

Неестественно громко заорали остальные, подхватили повтором две последние строки, но широко и влажно пронеслось вдоль улицы, и затопило голоса в шуме черемух и берез. Опять, надрывая голос, запел Ванин, подыгрывая себе и подтягивая на гармонии: каждую строку песни он заканчивал отрывисто, будто поддегивал, что было очень смешно.

Из-за шума деревьев Ольга Васильевна не могла разоб-  
рать и половины спетого, донеслось до нее отчетливо уже из середины, где разошлись и пели с чувством, все громче и громче выкрикивая:

Я тогда в большом ужасе  
И хотел было бежать,  
Вдруг меня, схватив за шею,  
Стала нежно цел-ловать...

Шепчет: «Шура,— шепчет,— милый!  
Шепчет, душечка моя...  
А я думала — напрасно  
Два часа тебя ждала!»

Улыбалась Ольга Васильевна.

А Ванин все пел:

Я мальчишка не растяп-па,  
Дело вмиг сообразил...  
И божественную фею  
На кроватьку уложил.

«И божественную фею...» — заорали уже остальные, и Ольга Васильевна узнала голос Колюхи Любанова, совсем мальчишечий, нарочито изломанный и деланный. «Не уйти ли?» — подумала она, услышав «кроватьку» и насторожившись, но успокоилась, угадав там приглушенный девичий смех.

А Ванин все цел:

Из-за гор да из-за лес-са  
Вых-ходила к нам луна...  
Осветила мою рож-жу,  
Пала в обморок она...

И совсем яростно подхватили тут, так, что не заглушил  
уже, протекший холодным потоком, ветер.

А Ванин все цел:

Я тогда вскочил с кровати,  
Все замки переломал,  
Драгоценные брелюанты  
В узелочек завязал...

Подхватили, Ольга Васильевна хотела было перебежать  
улицу, но тут запел вновь Ванин, и захихикали, завизжали  
девки, очевидно, зная конец и желая его заглушить; но  
ребята проорали его нарочито отчаянно-яростно, и все  
услышала она, хотя ничего не поняла. Ветер смешал и раз-  
нес смех и крики, а Ванин заиграл частушечное, бойкое,  
с неожиданной и нелепой растяжкой на конце... В это вре-  
мя, напугав Ольгу Васильевну, положительно из-под земли  
выросла Анна и сорвала столь необходимый ей, от остат-  
ков ее молодой, не испорченной еще неудачами и бедами,  
порыв. Да и как-то неудобно ей было при Анне сейчас  
отправиться к ребятам... Но это пришло уже с раздраже-  
нием, неосознанным, случайным, но уже злым. В конце  
концов, не может же она только слушать об этих  
*миньках* да об *шохрах*... Женская душа такова,— быстро  
черствеет, как, впрочем, и все, в сердечном несчастье. Ан-  
на пришла ночевать, беспокоилась о подружке, но не взду-  
вала огня, не читала в тот вечер московская. Всю ночь  
шумел ветер, неровно стучал в доску караульщик. Без  
огонька, без слова, в тревожных снах, до рассвета простоя-  
ла старая удаловская изба. А там опять позабылась,—  
встала еще раз,— но в последний, последний,— живой,  
сердечной, с чуть прищуренным носом от молодой улыбки,  
уже былая Ольга Васильевна.

Празднично, давно ожидаемым и гаданным, загудело  
с утра Барабаново. Раздувало синий, высокий огонь,—  
резкий и ветренный стоял над деревнею день, взлохмачен-  
ным морем клубились, свинцевели леса, что-то мутное и  
дымное собиралось там... Вдоль улицы, к селу, куда уходил  
народ, гнало и завивало пыль: И с холодным осенним ши-  
пением, чуть подвывая шуршанью, сквозь солому двора  
протекала живая, студеная, наглотававшаяся простора по-

лей, синева. Анна ушла чуть свет, а поздравила Ольгу Васильевну с праздником, — успенье, ку-ды тут! — закачалась по улице; и то: сарафаны, калошки, жакетки и платки вытаскивали и у них из сундуков!

С ребятами на руках, в ярких рубахах из-под старых еще суконных пиджаков, в таких же картузах, у кого зажились, подвыпнвшие чуть свет, шли, воня сапожным дегтем, мужики. С узелками, в коленкоровых и шерстяных платках, печатая полусапожками и калошами, неистово торопились бабы, — кто постарше, те еще к заутрене убежали, а помоложе — лишь бы и к обедне поспеть! — разговелись, дожили — госпожинкам конец. Ругались самые древние с печек, повязанные по-старинному — с рогами: девок в церкву не выгонишь, с ног посбивались окаянные из избы в избу, с самого раннего утра. Отдельной державой, напрочь от всех держались они — косатым гуртом. Бежали, стучали подковками, распылялись сатинами, шелками, лентами, подрумянились, углем в бровях подвели, — смотрела на них, столь обычно знакомых, белобрыса голоногая мелкота, почтительно-безмолвно разинув рты... Дядя Алексей, как глянул на своих полногрудых и остроглазых, — зарябило в глазах, даже рукой потер.

— Заморская чуда! — заскрипел было он, да Аксинья накинулась. Гаркнул, рассердился дядя Алексей — опять далась ей московская — и замолчал.

Вышел Любанов, вместе с женой, скучно, с видом «все знаем!» сидели они у ворот. «Егор Лексеевич, а Егор Лексеич, — кричали ему. — Айда, насиделся, чай!» — не пошел. «Нет, — говорит, — по товарищам и пряники; неча смотреть: вощь на аркане да две блохи...» Дома гулял, — так говорили, после за столом и уснул.

А разгоралась последняя ярмарка.

С утра хлопотала и Ольга Васильевна. Дяди Алексея Клавдия и Манька залетели к ней чуть на свету: на картах гадала московская. Вышло «сегодня», вместе смотрели: дорога, дорога, известье, и вот он, вот он, желанный черноусый валет... Потом одевалась при них, все рассмотрели, глаза проглядели девки: никогда не приходилось видывать им тонкого кружевного белья. И смеялась Ольга Васильевна, болтала, все женские тайны рассказывала — как себя наблюдать, как стеречься в холод, — шептались с ней, шушукались барабановские, а мышами поглядывали на дверь... Боялись, не сыскала бы мать. «Приедет сегодня, приедет, приедет!» — только и было у барышни. И сразу

проснулись в ней снова — внимание к людям, отзывчивость, ласковая доброта.

Анна в окне проплыла с невесткою, с братом, — в девичьем, в шелку: будто как птица какая без ноги, на одном крыле. Помахала ей Ольга Васильевна: увидимся, встретимся, — уже бежал, торопился последний нерасторопный народ. Просили завить Клавдия с Манькой, завила их, — сбоку, у лба, — мотали маслянистыми, толстыми косами, все зеркало выглядели, дивились себе: на гвозде завивались у них самые бойкие, не приходилось и слышать о таких клещах.

Пришел Ваня, также гляделся и морщил в зеркало лоб. Был он в брюках навыпуск, в галстухе, с натертой репейным маслом, а поэтому казалось — с крохотной, головой. Пристали Клавдия с Манькой — подуши да подуши, — вытащил он пузырек и налил им прямо за шиворот. Потом и ему завила Ольга Васильевна челку на лбу и нелепый, из-под околыша напоказ, соломенно-светлый клочок. Колюха Любанов давно ожидал, а стучаться не смел, — вот и пошли все вместе, втроем, на последнюю ярмарку.

Дуло в полях, неуютно и холодно синело вокруг. И сразу прозябла в своей синей жакетке Ольга Васильевна. В Плоскове, по пути на село, тучей носило песок. Пустынно, безлюдно здесь было, ни кустика, ни деревца, в сыпучей дороге глубоко тонула нога. Гуси бежали, вытянув шеи, студеным облаком, осенью отдавался их крик... Внизу на лугах курилась дорога к реке, а вот и лука ее — черно-стальная, мутно-нахмуренная, и весь, стогами заставленный, сухой наволоок. Там, знала она, перевоз... «Приедет, приедет», — твердо уверилась Ольга Васильевна. И так весела, молода и доверчиво-радостна была она в этот час, что сразу зашептались бабы, лишь вошли, мимо старого барского парка, на улицу к церкви, где меж редких палаток и лотков, желто-черная, будто залепленная налетевшими на варенье осами, шевелилась ярмарка.

Заметили их сразу, слух о московской прошел давно, да и нечем было, кроме болтовни, поживиться бабам: совсем оскудели последние мелочники, то-то правильно говорил Егор Алексеевич Любанов! Да и не подступишься. Вокруг торговцев-татар для вида толпились, приценивались, а брали копейное — табачку, спичек коробок да курительный лист... Горшки и крышки, плоски и рукомойки, — подошли было барабановские — и ожглись: «Совести нет на вас!» — раскричались бабы, а горшечники скалились:

«К Циркину да Разумову толкнитесь, они по копейке отсчитают горшки». А Циркиных и Разумовых — купцов — всех порешили давным-давно после восстания, до единой души. «Эй, налетай, даром забирай!» — орал косоглазый, черный, как ворон, ветлужский мещанин, а видно было, так, по старой привычке, для души. Отходило, зажали — видели все. Винную лавку захлопнули утром еще, зато бойко торговали по избам, выносили в рукавах. Рядами ходили плосковские парни — самые драчуны, ором орали, валились, — визжа, разбегались цветные девки по сторонам. Деревнями держались, Барабаново сбилось в краю, — всех смиреннее, старинней, сплошь в сарафанах с проймами, в жакетах с планками, со сборными плечами, в мамонькиных лентах и шелках. Не так бойко и топотно играли здесь гармоники, — без тростей, но в галстухах да в жестяных застезках, как в медалях, держались женихи. А тоже готовились. Вдруг совсем цирковым шепотом пробежало по толпе: «Панька Веселов с Санушкой! Идут!!» И показались пьяные уже, растерзанные, надвинув к носу картузы. Пили они с самого вечера, как приговоренные. Все равно, ожидали от них, свое Плосково и по округе, — хочешь не хочешь, а по заведенной славе — иди. И подобострастно, с восторженным страхом, бежала за ними ожидавшая новых подвигов толпа... Жадно глядели бабочки: «Вон они! Они самые, страшные, батюшки!» И шли они бледные, в гибельной славе, зная — не миновать... Чуть подались в сторону барабановские, но вида не подали, сразу гаркнуло похабной частушкой по женихам. Только пуще еще растянулись, задышали, запыхтели меха... Девки пыль распустили, пошли выщебетывать, — будто врага увидели запорожские куреня! Будто тревогой прокатывался боевой рожок по полкам, — деревню за деревней проходили с восторженной свитой Санушка и Панька Веселов!

Ольга Васильевна зашла было к Шорохову, но не застала, оказалось — ушли с самого еще утра в лес. Толстая и рябая женщина, прислуживающая, сказала ей равнодушно: «Ярманку больно не любит сама... Да и правда: шум, толкотня, мужичье. Вот погодите, увидите, драться еще начнут... Кричат, ровно взбесились, прости, господи!»

Так и не пришлось Ольге Васильевне увидеть лесничиху. На пасхе ее тоже не было, — все, говорили, больше в Ленинграде да в Москве...

Не сразу нашла она своих барабановских.

Неистово и бестолково толкалась, не зная, куда прило-

жить силу, возбужденная и пестрая толпа. Народу было так много, что Ольга Васильевна не различала уже лиц. Ветер, еще более порывистый и резкий, заносил глаза пылью и песком. Оживленно там и сям выпевали гармоника. Но в шуме, криках, визгливо отбиваемых песнях было нечто, заставлявшее настораживаться ее, городскую: с каким-то разухабистым равнодушием глядели друг на друга парни, особенно бессмысленно орали и толкались пьяные, испуганно уже глядели девки, и все будто ожидали чего; в толпе назревало то сосредоточие мутных, безпризорных сил, что так ощутимо для людей, постоянно живущих в едином дыхании и осмысленном ритме больших человеческих муравейников. На краю улицы, где скопились почему-то особенно густо, она увидела Анну, среди наблюдавших — Пескарихи, Грибановой, сеньковской Наськи и глухонемой. Не шел к Анне яркий девичий наряд, совсем старухой, вросшей в землю, костистой, бесцветной с лица глядела она, но светом радости, гордости, что так хорошо кругом, что вот и отработались ее родные, близкие, земляки, брезжило от ее существа. Жадно и ненасытно, кивая головой, подперши лицо ладонью, высматривала она.. Ольга Васильевна, затерянная в толпе, метнулась было к ней и — не подошла. Угрызением совести на мгновение поскребло где-то внутри, но так захотелось к молодым, к Ванину, к веселью...

Ванина она поискала. Ближе к избам, у плотно рассевшегося по завалинкам, бревнам и скамьям бабьего ряда, в стороне от дороги, где под руки, парни и девки врозь, патыкаясь и бесцеремонно отпихиваясь, гулял главный народ, Ольга Васильевна увидела его и Колыху Любанова, плюющих тыквенной шелухой возле танцующих. Там, вокруг гармониста, небрежно и брезгливо, с шиком отводящего голову, раскидисто плавали две огромные девки, будто в кринолинах, огненные и зеленые, и — повернутся — у каждой сзади до перетяжек, неживая, будто прилепленная, в лентах, масляно-перевитая коса... Девки поплавали, постучали полусапожками, каждая подходила, потупив лицо в землю от напряжения, видно было — все здесь ставилось в счет, и выщебетывала гармонисту, щегольски равнодушному:

Вам спасибо-спасибо,  
Вам спасибо еще раз,  
Я еще скажу спасибо,  
Хорошо играл про нас!

Не видала Ольга Васильевна, как перегнулись друг к другу, зашущукались бабы — курицовская молодуха, Аксинья, их ивановская родня, лишь подошла она к Ванину, обрадовавшись, после тесноты, бестолковщины и пугающего здесь, в этом пьяном кружале, одиночества. Не видела, — вся выкатилась грудью, оттопырила и поджала губы молодуха, пышно разобравшаяся подолами по бревну, когда взяла она Ванина под руку, со всей простотой своих восемнадцати лет. Тут освободился круг от танцующих. Гармонист лениво растянул меха и недоумевающе смолк... Он взглянул на Ольгу Васильевну: Ванин, втайне очень довольный, конфузно улыбающийся, с завитой прядью волос из-под ухарски сдвинутого картуза, неловко говорил, старался обернуть к ней лицо; они стояли вплотную, ручка ее крепко держалась под ванинским рукавом. Гармонист осклабился, пробежался по клавишам, двинул меха и, растянувши их до предела, — только, высоко зазвеневшись, выпело, — крикнул:

— Колюха — и-ех! Ну-ка с московской! — и, грянув мехами, оборвал рывком: — С почтением-с... — обратился он, выпрямляясь, к Ольге Васильевне.

Ласково, одобрительно засмеялись девушки. Ольга Васильевна не помнила ничего, кроме веселых и любезных, обступивших ее, любопытных лиц. Шумела, редела, визжала и выкрикивала со всех сторон ярмарка. Она видела сразу посерьезневшее, приготовленное к пляске лицо Ванина. Немигающе глядел он на нее, — будто и не был знаком. Радость, легкость, ощущение своей молодости и успеха в движении, которое сейчас будет, охватило ее, — пыль и ветер пронеслись над ними и распались в безбрежном и голубом. Заиграл неожиданно бурно, вступительно, показывая переборы, гармонист. Все глаза обратились в сторону Ольги Васильевны. Уже бежали со стороны к ним. «Московская вышла!» — закричали где-то ребятишки. И вдруг, словно какой могучей силой задуло весь шум, мгновение — и растерянно оборвался гармонист... Но не понимали, в чем дело еще, и все смотрели еще на круг. Приготовилась Ольга Васильевна.

— Потаскуха! — вдруг яростно визгливым, неопытным голосом закричала на нее курицовская молодуха: — Свой-от брюхо набил и бросил, она на мужицкого сына польстилась.

И вдруг грозно, явственно для всех уже, на много сажен кругом воцарилась тишина.

Ольга Васильевна, как убитая наповал, мгновение не падала, продолжала холодеть: сознание непоправимого, ужасного в какие-то доли секунды доходило до ее сознания и сердца, но это было столь страшное, оскорбительное, что она уже понимала — как в момент величайшего несчастья понимает человек — за этим уже другая лежит жизнь, и — горе! — сколько длинных ночей и дней пройдет, чтобы вернуть то, что было несколько стуков сердца назад...

Но страшный, завывающий крик, из самой гущины улицы, в эти доли секунды резал и резал уже мертвенную и паническую тишину. И глухой рев, явственные звуки пьяной и кровавой беды, пронесли над толпой. Что-то невидимое разваливало на обе стороны народ, отчаянно закричали женщины, а мужики и парни сразу кинулись вперед. Закрыв лицо руками, не помня себя от горя, боли и ужаса, будто избитая, изнасилованная, исплеванная, кинулась куда-то и Ольга Васильевна. Пустота набегала на нее, не понимая, она бежала вперед, на то, перед чем сломя голову расступался народ...

Били Барабаново.

Но ей ли было понимать этот гул и рев, замелькавшие вдруг палки, жерди, кулаки, отчаянные, будто метался и блеял застигнутый огнем скот, плач и крики людей! Не видя ничего перед собой, бежала она — куда? зачем? в Москву ли? — нет, только к нему, к Николаю Леонидовичу. словно какая сила расчищала перед ней толпу. Только в последний момент, будто озаренное ночной молнией, в неживой вспышке полыхнуло перед ней искаженной гримасою...

Вертя колом, развевая перед собой на сажени бегущую в смертном страхе толпу, весь кровавый, с разрезанной от уха до зубов черно зияющей щечкой, шел прямо на нее сам Панька Веселов.

И как перед гибелью, понимая, что это сама смерть идет ей навстречу, закрыла глаза, и, чувствуя, что сейчас, вот, — ступнула вперед...

Рассказывали после, что не будь случайно удаловской Анны, ей бы не выйти: убивал — без памяти был Веселов. Будто из-под самого кола, мозжигшего вдребезги, вырвала московскую Анна, чуть сама не приняла конец. Трех покалечил, двух ивановских насмерть положил Панька, после самого испыряли ножом и выпустили кишки. Кончился он через два часа в больнице. До самого вечера разгоняла

народ милиция. Но Ольга Васильевна ничего не видела и не ведала. Смутно понимала она, что ведет ее Анна, обнимавшая и целовавшая её в щеки и шею, а потом усадила ее в чьем-то огороде и хватилась — кинулась за мальчишкою... Но не стала ждать ее Ольга Васильевна. Какой-то ужас и неимоверная боль заставили ее бежать — подалее, подалее от людей, от человеческого жилья, лишь бы не видели, не смотрели на нее, не разговаривали. Она знала, что только бы дожить до вечера, до Коли, тогда все устроится, успокоится, все страшное разлетится, как дым. Бросилась вниз, но по дороге, растянувшись уже до самого парка, бежал народ. Задыхаясь, прижимая руки к груди, кинулась на зады, садами, изодрала все чулки, изожглась крапивой, и, как полевой заяц, скорее, скорее спустилась в овраг, и бежала оврагом, логом, скотьями тропками, до черноты в глазах... Давно закрыло дорогу в столбах крутящейся пыли, древний ивановский парк, сельские крыши, а она все плакала и бежала вперед.

Порыжели чапыжники, крапива, тихо, как зачарованные, в желтом накрапе стояли по оврагу орешники. Чуть лепетали осины, уже покрасневшие, заворачивая на ветру словно заиндевевшую подкладку упругих листков. В сырой, спутанной зелени внизу отзванивал и булькал мутноглинистый ручеек. «За что же? За что?!» Как недоуменно, страдальчески и болезненно плакала она! А потом, проплутав целый день, изгоревшись лицом, пробралась, как воровка, усадьбами к своему двору, опять разрыдалась у себя в саду...

Сильно побсило, осыпало душистый горох дождями и ветрами в Барабанове.

День иссякал.

Забегала два раза к московской Анна, но все до самой темноты было у них на замке. «У Шорохова, видно, осталась. Страсть-то какая была!» — подумала она и успокоилась. А Ольга Васильевна совсем в сумерки, ложились уже, попала к себе в избу.

Больше всего боялась она встретиться с людьми. После того, что ей крикнула эта страшная, полная ненависти и ярости женщина, которой она никогда не сделала ничего плохого, казалось, не сможет она ни показаться на глаза, ни разговаривать с хиром — с кем множество дней прожила так близко и так хорошо. Даже Ваня и Коля Любанов, слышавшие эти ужасные, отвратительные слова, воспоминанье о которых буквально терзало ее, даже они вдруг ста-

ли чужими, бесконечно далекими. Ничего, ничего не могло исправить случившегося, за чертой чего стояла теперь бледная, с другим уж лицом, то ненавидящая, то обличающая и вместе — слабая, пораженная в самое существо свое, как никогда. Только один Николай Леонидович! Она бросилась на постель — закружилась голова — и, вздрагивая от рыданий, забылась в слезах.

Было совсем темно, когда ее пронзила стремительная непоколебимая уверенность, что — едет. Он, он! С колотящимся сердцем она бросилась к окошку и прильнула к стеклу. От звезд августа в темноте угадывались темные очертания изб, деревья, безлюдность и ветреная пустота. Глухо шумела и проливалась шелестом листва. Действительно, ехали, но мимо, мимо, вовсе не к ней... Посидела, нацупала спички, — странным при разгоревшейся лампе показалось ей в зеркале собственное лицо... Никогда не узнала бы! Потом, как бывает с женщинами, после волнения и слез, с острой проснувшейся жаждой сладкого съела последние свои шоколадные — целые полкулька. И снова оцепенела в томительных предчувствиях ожидания. Чу! Показалось, что едут, — глазами, слухом, всем телом впилась в темноту... Нет! Шумели деревья, было молчанье, деревья давно уже улеглась. И тут неожиданно увидела в щели меж оконными створками, засунутое еще утром, наверное, большое белое письмо.

Почерк его на конверте поразил до слабости в ногах, обрадовал, напугал, — она никогда не могла бы рассказать, да что же случилось с ней... Нет, она не могла сразу же вскрыть конверт! Он, он, — ее милый, забывший, ну он, ну, конечно, он... «Деревня Барабаново... волости... уезда... губернии... Нижегородской губернии!» До самого гроба после помнила она каждую кривульку написанных резким, подобранном почерком слов! Она надорвала конверт, вытащила туго сложенный, исписанный только внутри лист, не решилась раскрыть сразу, целовала его, слезы умиления и любви к нему полились из глаз... Как девочка с куском торта — сначала самое невкусное, снизу, а крем, с засахаренной полупрозрачной вишней напоследок, и есть чтобы медленней, — она не знала, как и раскрыть... И кинулась в конец, чтоб скорее узнать — благополучно ли, любит ли...

Письмо было напечатано на машинке ужасными лиловыми, выбитыми буквами, это ошеломило ее. Что-то мелькнуло в сознании, но такое нелепое, что она и не поняла... Затем правда, потрясающе коротко напечатанная на ма-

спинке, выбила все буквами ундервуда на мозгу. Ей казалось, буквы эти молотками высекают там, разбивают голову: «...я уезжаю не один, может быть, ты догадаешься, с кем. Эта сильная женщина — моя судьба окончательно. Надеюсь, с тобой мы останемся друзьями. Комнату — одну — записал на твое имя. Другую буду менять».

Что-то глубоко безразличное охватило ее. Она перечитала все письмо — раз, другой, третий. Гора не было как будто, оно еще сторожило пока, как паук, ждущий, когда окончательно запутается бьющееся, еще полное содрогающий, жизни, — горе где-то пристально смотрело на нее, а она читала, читала вновь... «Мы, собственно, были всегда глубоко разными людьми, ты не сумела понять моего одиночества...» Мир, весь серый, жизнь, — вдруг вся узнанная заранее, — такая? Такая жизнь?! На нее надвигался огромный мрак, нечто тусклое, как шатровское лицо, какая-то страшная тишина, липкая, как полы на том хуторе. Ей показалось, что он, этот Шатров, растекшийся вдруг необозримо, с длинными горильими ручищами, обхватил ее душным объятием, — боже, боже! — нет, нет, ничего не случилось, это ошибка, ошибка!! Вдруг страшная догадка, наконец, таща за собой ждущее давно горе, паучьим броском накинулась на нее и вцепилась в самое нежное, незащищенное железными, игольпо-отточенными зубами... Зоя! Эта ужасная, с челкой, — вот почему ее видел на станции Ванин, вот что значили шатровские слова! Уже не было ни души, ни сердца — все растерзано, растащено, и он, серый, лохматый, затянувший весь мир паутиной, сосет ее кровь! Она жалко рыдала, тело ее сползло на пол и уже валялось раздавленное на вымытых Пескарихою древних досках.

С рассвета нагнало туч, — надолго полились вялые и тусклые дожди. Скучно шелестело по крыше, намокли избы, затянуло всю даль безрадостной пеленой. Дымились кой-где овины, блестела утомленно и тяжело уставшая листва. В этот день пришла весть, что в больнице умер Петр Иванович Сеньков. Говорили — антонов огонь. Но так же, как и при нем, шли из-за горы серые тучи, ниже еще, чернее врасстало Барабаново в дол. И так же вышла Пескариха, желтоногая, ледащая, накинув от дождя кое-какую

рвань, и спускала на колодце бадью. Наклонился серый журавель, клюнул и, поскрипывая, осаживаясь на новую желтую чурку, вытащил ведро...

Совсем опустела и потемнела самая бедная барабановская изба. Книжки кое-какие остались после Сенькова — «Азбука коммунизма», сапожки, красноармейский картуз.

Машину сладил столяр, — еще зловецей грозился кому-то в окне...

А у московской была тишина, задернуты окна, будто и не было никого. Только и видели Анну — шмыгнула с каким-то узлом... А после пошло, растеклось: расторговалась московская, — платья два шелковых, простыни три, поскребок мужикам, машинка и мыла духового кусок... Бегали к Анне, смотрели, ощупывали. Слышали, слышали все, — вон как отделала ее курицовская, срам-от! Мыслимое дело — с парнями связалась, под ручку при всех! Но важно молчали бабочки в удаловской избе. Чего уж! Им, удаловским, нонче москвичи как родня! Дядя Иван до свету караулил, рассказывал: ночью будто бы бегала к Анне, лица на ней не было, ровно мертвец. Куды тут отделали — загудело по всем деревьям!

Платья будто понравились, а никто не купил. Простыни больно тонки. За поскребок дядя Алексей полтинник давал, да тут раскричалась Аксинья, а машинке и вовсе не верили...

Так и вернулась Анна ни с чем.

Совсем разрыдалась барышня, как узнала про бритву: только и слышала Анна: «боже мой... дядя Алексей тоже... дядя Алексей...» И тут приходилось поить ее каплями, и замолкало надолго в избе, будто там не было никого.

Не один человек не взялся везти дешевле пятнадцати рублей до станции. Ожидать, обратиться к дяде, к нему — никогда! Да и нет его, давно уехал с этой ужасной на море, на Кавказ.

И опять пахло каплями и совсем затихала изба.

В сумерки вышла из нее Анна, затвердевшая будто, светлая, дверь тихонько прикрыла и пошла на зады... Уже в стручках, пожелтевший кой-где, весь в капельках, шелестел под дождиком и шептался душистый горох. Остановилась, побрезжилась Анна и, перекрестясь, перелезла к родному дяде — Алексею Удалову, в огород. А там — через двор в избу. Ночью же самой глухой порой, никто не видал, проводила она притихшую, слабенькую, ни с кем не

простившуюся московскую барышню. Будто ничего не понимала, уезжая, Ольга Васильевна.

Не понимала она, действительно. В сознание было так смутно, разорванно и тускло, так безнадежно затянуло все впереди, что она ожидала только плохого, и главное — унижение, самое ужасное унижение перед этими людьми, в которых она уже запуталась окончательно. История с ее бритвой и платьями убила ее более всего. Ударом хлыста она ощущала пятнадцать рублей до станции, — и это — дядя Алексей, боже мой, боже мой! Ночью она решила твердо и окончательно покончить с собой. Горя острого, режущего, проносащегося по душе, как гроза, не было, — быть может, почувствовала бы она при нем, что отгремит, отсверкает, но еще впереди свежесть, и заюют птицы, и сладко будет капать в молчании и глубине. Но страшно и неопровержимо давило то молчаливое и серое, от чего было не уйти. Будто навсегда пришли мокрые сумерки, сырые, темные крыши, где ни огня, ни сочувствия, ни родной теплой руки. Скорее, скорее — лишь бы приходила ночь! И когда постучались, она шла безразлично, не понимая ничего, ничего не желая. Ей ничего не хотелось уже, — вот где был ее конец. Но вот чуть отворила дверь, за рукав потащил кто-то, ласково шепчущий, добрый, — боже мой! — она отшатнулась даже — дядя Алексей!.. Забиться, закричать: «Уйдите, уйдите, дайте добить себя!», закрыться, но вдруг что-то спасающее, живое увидела она в округленных, совсем отцовских, мужичьих глазах...

— Ты не сердчай, не сердчай... — тянул ее дядя Алексей. — Да разви порядок это, чтобы человека прижать... Чай, люди одни, все мучились... Дык я тебя, — шепотом вдруг продолжал он, — отвезу. Никаких мне денег не надо. Ты, Ольга Васильевна, бабам только — никому. А то заест меня Аксинья, не даст жизни! Дык Анька прибежит, разбудит, а ты ложись... Эх, — вздохнул он и горестно покачал головой... — Какая мучения получилась!

Без Анны не сумела бы она ни собраться, ни уложить в чемоданы опротивевшие ей тряпки и чулки. Словно в дыму, плавала перед ней изба, круг лампочки, их постель и много, много еще не умершего и не остывшего. Потом чуть-чуть зашумело и зачавкало на дороге, и постучались тихонечко по стеклу.

Дождик мерным шорохом опускался на улицу. Она зарыдала, когда обняла Анну, прощаясь навсегда, навеки, но никогда не забыла она тех слез, что увидела; и того

узелка, что ей сунули напоследок в руку... Смутно растаяли во мраке избы, журавель колодца, а бежала вслед все маленькая, горбатая и, — видела Ольга Васильевна, — плакала, словно расставалась с единственной, данной ей на радость, мечтой. Потом и ее закрыл дождь. Он опускался на спину дяди Алексея, ни разу не повернувшегося, на непроглядные поля, на весь мир, беспощадный, обещающий холод, грязь, скучные рассветные сумерки. Навсегда скрылось Плосково — с глухими окошками, без единой души. Потом, в мутном подводном свете нового дня, была переправа, мокрые лошади, мокрые люди, мокрый песок и леса...

Далеко от насиженного места, в необозримом мельканьи прямых и желто-черных стволов, когда вытащил дядя Алексей краюху, развязала и она подаренный ей узелок. И вдруг рыданьем, впервые возвращавшим ее к горю жизни, драгоценной теплотой этих лесов стали найденные там вытащенные из заветного единственного своего уголка Анной измятые двадцать рублей.

Вот и пошел с тех пор в Барабанове душистый горох.

## ЭПИЛОГ

Уехала. А после — дождями, ветрами, снегами, лютыми бурями и метелями, водами и потоками и новой весной — залило, завалило, смыло и разнесло и вновь закидало молодой, нежной зеленью память и воспоминание. И уже подходил неисчислимый, менявший все избы, все поля и леса, вырвавший заколдованную сон-траву, открывший живую и мертвую воду в потаенном народном бору — исход. Два раза облетела вокруг огненного сияния Земля. Медленно, бездонны снегами, железны промерзшими до самой души речками были у века зимы — двадцать восьмая, двадцать девятая и тридцатая. И ахали, стучали под топорами и разбивали в пыль саженные снега падавшими шестидесятиаршинными бревнами строевые бора — от железной дороги до самого Пумина и Пустошей. Прошло по лесам раньше неслыханное, отмечавшее новое, перед чем и замирала, и веще сторожилась смиренная, лесная душа: авиационный лес. Ледянку проложили в дачах, деревянные дороги, ладили в самой еловой глуши бараки с печами, окнами, сушильнями, заместо древних дедов, отцов и безвестных прадедов согревавших, — зимниц. Круглый год

стучался и держал огонек в лесах человека. Словно буря какая прошла по избам, и чем глуше, — заметнее подняло всех: детей, старых, сирых, несчастненьких, дедов последних и старух. Лишь искоркой малой мелькнуло весной, занесло и погасло: из Москвы привезли — свои, бывалые уже Ванин, старший любановский сын, — Красной Армии командный состав, — читали будто в газетах: расстреляли Николая Леонидовича. Говорили еще — ученые все там были, из офицеров и понов — профессора. И потушило разом. Реки подняло тут, потекло из лесов, и с баграми, матерьясь и крестясь по старинке, поплыли вниз мужики... Бестолково и бурно, не щадя живота, валили, вязали, гнали на низ самые строевые леса. С кордонов глухих, бородатые, проплывши по речкам, из самого мрака, душа в душу с водой, солнцем, деревом, садились на беляны, челянья, а кто и дальше — транзитом на Тракторстрой, до Сталинградского, — плыли и плыли, — самый глухой, смирный, с верховых пристаней народ. А вернулись с черемухой, с цветками на заячьем ухе, как начисто сбрило Шатрова, плосковского лавочника, попа, трехлошадных, подрядчиков, — только чесались, слушая, и кряхтели мужички... Расформировались — нареченное русскою древностью, от уделов, от княжений царских, опричных, монашеских, от господ помещиков, приказчиков и кокард — губерния, волость, уезд. И покатилося, еще грозное, диковатое, отчего брало и трясло мужика, — не знал он еще — с радости, с горя ли, но чуял уже: не шутит оно — колхоз. И загремело через года... Было ли помнить тут? Ведать кого, вспоминать? В далекое ушло, все реже — и, странно как у людей! — все ласковее, нет-нет да и поминали бабы некогда жившую, бывавшую здесь, погостившую Ольгу Васильевну. Канула навсегда. Только и уцелел от нее нежный горошек по огородам и палисадникам — душисто-веселый, алый, розовый, голубой. Остались от Николая Леонидовича огромные башмаки, долго, долго по праздникам посила их удаловская... «Все-таки разжилась, не зря старалась!» — говорили не раз про нее. А у ней новая, неожиданно, из-под земли будто, как из крохотного стручка, все выше и выше, разгоралась жизнь... Сразу подняло всех баб, как только заявился колхоз. Только они и работали — прокурили, прогалдели, проорали на собраниях, все примеривали, прикидывали, да и не зря, — так дружно всем скопом, в самую пахоту, — ушли на лесные работы мужики. Все чаще и чаще стал ездить всякий новый народ — в курт-

ках и хромовых сапогах, говорили, увещевали... Когда окончательно сложился колхоз, собрали народ районные и постановили: Грибанова, как бывшего стражника, не принимать. Были все бабы, тоже кричали, и Анна с ними, а после, как прочитали «Головокружение», стала — муха пролетит за версту, услышишь, — тишина. Не распались, не подались назад. Думали, тронут после Любанова — нет, обошлось. Но передал все имущество, двух лошадей, весь сбруйный обиход Егор Алексеевич, попрощался с семьей и сам чуть свет ушел навсегда... Видела Анна, поставили коней на их старом дворе, — сам их привел, привязал, долго, долго смотрел, — будто заплакал, и махнул рукой. А председателем встал дядя Алексей. Тут и прислали барабановским на помощь из города Ленинграда, в порядке буксирного руководства, прямо с железного завода, тысячника Ивана Мироновича Евдокимова. Опять пришлось Анне знакомиться с новыми людьми — тысячника поставили к ним, на место московских, в старую, памятную ей избу. Аукнулась ей еще раз судьба, но тут пошла она сама напрямик, ей наперерез.

Присмотрелся сначала тысячник, с неделю помолчал, все ему не понравилось.

— Э,— говорит,— тут у вас черт паутины напел...

Было много народу, собрались к нему вечером, слушали. Вздохнули, как он сказал:

— Эдак, эдак,— закивали ему, поддакивая.

— Нужно, товарищи, заново начинать, — продолжал, помолчав, тысячник. — Раз послали меня, ничего не попишешь, — мне с вами жить. Только чур-чур, я в вашем деле человек новый: будем думать коллективным мозгом. А прежде всего стариков нужно послушать и вот их...

И тронул ласково Анну по плечу, только расцвела и засветилась она. Был тысячник брюзгловат, кругом брит — ни волоса на голове, брови черные и густые, а глаза как выгоревшие васильки. Рассказал, что оставил вечерний университет, и так начал резать, что барабановские пооткрывали рты. Каждому полную характеристику дал, не за глаза, а в лицо, и еще раз похвалил Анну. «Вот золотой человек, — сказал он серьезно. — Одна все помнит, все знает. Таких, товарищи, нужно выдвигать...»

А на другой день забрал дядю Алексея, Аннинаго отца, еще одного самого древнего, и выехали они на шатровский пустой хутор. Старикам понравился почет, рассказывали важно: весь хутор облазили, десятиполье у Василия

Ивановича было заведено, химическое удобрение, ну, теперь без хозяина, конечно, пустыня египетская... На жнитво приехали к тысячнику ленинградские товарищи, родной брат с дочерью-комсомолкой, — и пошло, и пошло.

Стал нажимать тысячник на лен, на клевера, на скотину, зимой принялись за ферму, срубили не кое-как, а настоящий, теплый, с новыми затеями скотный двор. Загудели в Барабанове сепараторы. И поставили Анну к молодняку, потом бригадиршей, — начальством, — упала суровая, малокормная от плохого лета, с болезнями, тревогами, слухами и расстройтвами очень длинная зима. Не было товаров; платя поизносились, посерели, забыли про чай-сахар по деревням. Но шло новое, неуклонное, только ахали, удивлялись, а через день принимали уже как свое — будто и было оно всегда, не одну сотню лет. От ленинградских гостей ожила сеньковская Настя, объявились комсомольцы, радио, а в самую темную, сирую февральскую муть выхлопотал тысячник кинопередвижку, негде было собраться народу, падал снежок, — прямо под снежком показывали ночью, на дворе. Из парижского городу сапожник, — оттуда, где проживает Лугинин с пятью поварами, — говорили, про него показывали на картине, а другие спорили... С Лугининым французы живут — буржуи, а на картине наш рабочий класс. Хохотал тысячник, объяснял, устроил собрание, все подробно рассказал о культуре и живых картинах. В этот вечер говорили речи, — о культуре поговорил дядя Алексей, больно сердито и грозно, стуча кулаком, чтобы все понимали, столяр выступил — все опровергал, а после тысячник устроил так, что очутилась и Анна, в первый раз за всю свою жизнь, перед кругом родных ей, столь близких, памятных лиц. И хоть прославил ее уже тысячник, все отличал по работе, хоть не околели у нее — ни поросенок, ни телка, ни бычок, а все же насмешливо прошло по собранию... А вдруг бойко и ладно заговорила она, — и не о культуре, а перевела на свое, — на скот, на кормы, на силос. Слышала она давно, еще лугининский садовник рассказывал о кормовой свекле, — вот и придумала, много, много, много ночей не смыкала глаз...

Историческое, што ли, оказалось собрание, — так говорил похоже после тысячник, — но именно в этот вечер, после культуры и кино, словно прорвало скупой на речи народ. Пошла тут писать, как говорилось, губерния! Только

сидел и отчеркивал в книжке тысячник. И оказалось — попала Анна в самую точку, в самое больное, — сразу подняло её на невиданную высоту. Уже упорно, понимая, что всерьез и навсегда эта жизнь, задумались, закрипели мозгами мужики. Сначала смеялись над Анной и бабами, а тут пришлось выкладывать из головы на людях при ленинградском, при всяких комиссиях, доказывать, и, смотришь, притихли сразу самые оруны, что забивали на сходках всех. Начались бумажки, ведомости, отчеты. Кряхтел дядя Алексей, отказывался, а пришлось учиться грамоте, вспоминать солдатчину: неудобно ему, начальнику, оказывалось, отделяваться крестом. Анна удаловская посидела с Настей зиму — всех лучше научилась расписываться и читать букварь... Стал грозиться и предсказывать по машине столяр, тысячник пригляделся — и сунул его в ревизионную комиссию. Как взялся столяр за контроль — так и слетело с него...

Вертелась Земля. Прилетали и улетали грачи, а с ними менялись попы в ивановской церкви. Старого, толстого, что хоронил грибановского покойничка, не было давно: отослали его в Соловецкий монастырь, — очень много серебра обнаружилось под алтарем. Но никак не угождало священство, — как весна, так и новый поп. Звонили в Ивановском поочередно: шесть дней звонит на колокольне колхоз, ударяет сбор и шабаш, а в седьмой, воскресный, — священство к заутрене. Только попы с каждой весной шли пожиже, не такие уже самостоятельные, полные и голосистые. Вертелась Земля.

Пришли опять из лесов мужья, братья, отцы. Летом приехала к тысячнику дочь — инженер, с подругами: совсем оживилась Анна — наговорилась, наслушалась, насмеялась и жалела все Ивана Мироновича. Семь лет как схоронил жену, а жениться, говорил, некогда. Дочь у него была высокая, русая, полная, хохотушка, в красном платочке и со значком. Рассказывала ему о заводе, о братьях, о товарищах, скучнел, скучнел тысячник и смотрел, как Анна, когда говорила о лесах...

...Найти ли где еще царство такое — любезность, радость, печаль? Нет, не найти! Нет, не найти ей, и здесь, здесь навсегда... И стоит человек, хорошеет, потому что здесь родина, здесь пробежал он и мял траву. И все ему хорошо...

Но не так, не так уже летела судьба-Земля. Из лесов вдруг вытащило Анну, ахнули только все, и расширилось

царство, — тридцать третью зиму накидал снегами, примял морозами и стеклянными речками, укатал свежесмолистыми бревнами по лесам и раменям век. На самые святки распределили трудодни, с районною властью, с кино, с представителями железнодорожников. И грянули бабы. Первой выпла Анна, с книжкой ударницы и грамотой, — говорил о ней речь районный секретарь партии, — словно на ковре-самолете, над сырыми, темными лесами, ключами и берлогами приподняло ее и понесло, понесло. Будто поплыли деревни под ней, родные, родные, занесенные поля, скотина, леса — восемьдесят первый, семидесятый, сто второй...

Но степенно, с торжественной простотой, с материнской силой внимания к жизни, что расстиралась вокруг, стояла она перед секретарем, с грамотой в руках, в коленкоровом своем платке, так же, как стояла она перед смертью, страданиями, коровами, перед своей судьбой. И такой же стала перед многосотенной уже человеческой бездной, в районе, в сиянии рампы, в духовой музыке, под декорациями, изображавшими травянисто-зеленый березовый лес. Что она сказала, не помнила, но снизу, где в темноте блесело множеством глаз, вдруг набежало, как в вершинах рамени, заплескалось, она не знала, что делать ей и куда идти. Но сошла твердо, будто весь век ездила по конференциям. В клубе было душно, тесно, накурено. А вышли — порхал снежок, долетали гудки со станции, на улице среди бревенчатых новых домов лиловела уже кануном весны кромка лесов. Ночевали они — лесные, деревенские — в Доме крестьянина, опять в тесноте, духоте, — не понравилось Анне. И вдруг узнала — ехать ей в Москву. Поздравляли ее самые главные, жали руки, чинно улыбалась: из города Нижнего, оказывается, знали и были наслышаны о ней. Вместе с ними похаживал тысячник, хлопал ее по плечу, и так уж хорошо при нем и весело стало ей. Словно помолодела, посправнела, и уже спектакль видела, концерт и в третий раз живую картину — кино. Дядя Алексей на конференции был, а выступить ему не пришлось. Как увидел Аннин почет и славу, будто помолодел, будто в солдатах очутились вместе, — ладно, лучше, чем муж и жена, ходили рядышком, говорили они. «Начальство, ну, Калинин там, увидишь, — наказывал таинственно он, полупешепотом. — Дык не моргай. Жнеек нам нужно, льнотеребилку, — будут давать коли, и другое бери, не отказывайся. Сгодится при надобности...» — «Эдак, эдак», — смутно кивала она.

С непривычки оглушило ее, устала, быстро измучилась. А впереди еще было то могучее, что вставало дремучим, высоким, сказочным, — опять поднимало ее, выше, выше, уносило в даль.

На перроне сжалась она, как бесчувственная. Но забилося сердце, и еле сдержалась, так хотелось перекреститься, когда, попыхивая белым дымком над высоко задраным туловищем, показалось, — и, вырастая черным с медной звездой, вдруг надвинулся разом, задул ее ветром, жаром и, поражающе быстро раскачивая и вертя колеса, закрыл перед глазами пути паровоз. Остановились широкие стекла. Медленно, — словно отпускало его силу, — спало шипение тормозного воздуха, — и уже выкидывалась из курьерского маньчжурского торопливая суета людей. Потом оглушительно бил колокол, толкали ее в бок тысячник и дядя Алексей, а не могла Анна развязать тугого узелка, где был билет. С плацкартой оказался, в мягкий. И уже стояли они у проводника в чудной фуражке с козырьком и галунами, — обробела Анна перед ним, не сразу пустили ее. А тут налетел сзади одоевский председатель с мешком, обрадовался, тоже делегат, по пути. Всунулась в коридор, беспомощно оглянулась на одоевского, — узкое, застланное коврами, пахнет, как у Ольги Васильевны, чисто одетый народ... Снисходительно, еще раз перечитав их билеты, открыл блестящую дверцу проводник. Уже отходил транссибирский люкс-экспресс. Глухо заревело, скрипнуло, прижалась Анна к холодному граненому стеклу, — стоял тысячник, грустно улыбаясь, а дядя Алексей бежал у вагона, «ну-ну!» — было написано на его детски-восторженном, опоясанном огненными волосами, лице. И потекло за окнами, перемигались будки, заборы, скрипело и чугунно подбивало снизу — маньчжурский крутил на Москву.. Прогреломело железом, и в переплетах моста, далеко внизу, прошла белой пустыней снеговая река. Только ахнула Анна — их родная, кормилица, лесная красота... Тут сел одоевский мужик, огляделся, пощупал диван: «Ну, Удалова, дожили и мы... Гляди только — деньги б не срезали: тут народ вострый, аршавский... Мне много про это наказывали...»

Нет, крепко было зашито у ней на груди.

До самого вечера говорили они шепотом, просидели серьезные, прямые, не шевелясь. Одоевский сунулся было, приоткрыл дверь, у соседей заиграла музыка, а тут во всем белом прошел, в фартуке, и стояли не то немцы, не то ки-

тайцы, а может, и какие из парижского города... Сразу прикрыл дверь одоевский. А после не вытерпели. Увидел их военный, высокий, с орденом знамени, все расспросил, показал, — вот уж как рады были, благодарили, — а то измучились. В уборной глянула Анна в зеркало — обомлела...

А вечером видели немецкие инженеры из Свердловска, англичане, пересекавшие континент, японские курьеры, хозяйственники из Сибири, ученые, ехавшие в Ленинград, актеры, журналисты, — множество разноликих, разновременных, разноразличных, — видели, проходя привычно и небрежно в вагон-ресторан, как, разувшись от вагонной сухой духоты, вышел одоевский в коридор, ступая огромными выпаренными ступнями по мягкому ковру... С испугом, будто ворвалась к ним из русских лесов и полей та сила, от которой они надежно запрятались в лакированных, теплых, мерцавших уютными матовыми огнями коробках, смотрели на него — в розовой ситцевой рубашке и мужицких штанах — проходившие матоволицые, в крахмальном белье, независимо-презрительно вдыхавшие дым сигарет. Улыбались и добродушно подмигивали русские и еще узкоглазые, широкоскулые из северосибирских тундр, из таежных — ойротских, якутских, тунгусских — урочищ и хребтов. Весело, как приголубленный, глядел на них одоевский председатель, все примечал.

Видели их утром в вагоне-ресторане, за одним столиком с военным при ордене и в ремнях. Уже впереди одоевского была Анна — и по разговору и по обхождению. Стеснялся бы рассказывать о всяком пустяковом председателе, а поведала военному столько своего, любопытного и неизвестного ему Анна, с таким простым достоинством выстраданного, что долго-долго после вспоминал он ее. И, когда хотелось ему рассказать что-нибудь интересное, припоминал он слышанное в сибирском поезде, и все головы всегда поворачивались к нему. И понравилось, и навсегда запомнилось ему о лесах, о медведях, об отшельниках-птицах, о чудесных весенних токах. Даже записал в книжку адрес, так нахваливала и звала к себе барабановская. Спросила она и об Ольге Васильевне — не знал ли такой, не слышал? Нет, ничего не слышал и не знал. Сидела Анна прямая, даже горб не портил ее, пила чай, как в гостях, без лишнего, а председатель потел, опрокинул стакан, путного командир-начальнику ничего не сумел сказать...

Внакладку Анна не стала пить: полкусочка изгрызла, повернула стакан вверх дном — полкусочка оставила.

А другой припрятала, приберегла. И это запомнилось и растрогало неизвестного командира-начальника. Долго курил он после и смотрел неподвижно в окно...

Понравилась Анна всем и в Москве.

Маньжурский запаздывал, как водилось еще в те года. Шли пригороды, подмосковные, отдавались люксу лязгом и грохотом леса. Все это было, как и у них, — совсем не того ожидала Анна, вот и церкви еще не нарушены, и домики, как у Шорохова, и всё строевая и распиловочная сосна. Жужжа, налетали и перемигивались в окнах электрические поезда. Но вдруг приоткрылось и навстречу дымами стало наползать, наползать и вдруг подхватило ее...

Огненно-алой лентой запечатлелся привет — первому Всесоюзному... колхозников-ударников... — над всей шумной толпой, и с тем длинным, безмолвным уже, наглухо свинченным, что осталось у крыши перрона с выпуклыми серебряными буквами на синих вагонных стенах, оторвалось последнее. Она поднималась, поднималась высоко над землей. Тысячи черт, обличий и памятей остались у ней, но воскресло все это снова лишь после, в своей барабановской тишине. Здесь же, лишь уселась в автобус, специально для них, с *Северного*, лишь, загудев, тронулись, и в стеклах закачался по камню, асфальту и железу неистово бегущий, звонящий, лающий, скрежещущий, но единый и стройный мир, ее подхватила эта стремительная сила добра и подняла...

Февральская, пестрая, закиданная последними снегопадами и оттаявшая, грохотала Москва. Отяжелел воздух, бросали снег с крыш, стлались понизу дымы, пары и гудки, чернее и гуще казалась непрерывная, перебегающая перед автомобилями толпа. Вечером галочки тучи закрывали зеленоватое зарево, летели над Александровским садом, над уходящими в древность заката розово-черными башнями Кремля. Звезды огней прорезали дымные дали башен, церквей, веков, эстакад вновь возносящегося... Пыхтели и ахали у Свердловской усилия подземного, неустанного труда, люди в широкополых шляпах, какие рисовал Менье, девушки с нежными волосами и в грубых матросских брезентовых брюках, — они отмечали новый, будто просыпающийся из февральских снегов и дымов, железом и бетоном выкладываемый год. И, могуче вперив колонны, тишиной неподвижности, многозначительно неяркий, знающий, что никогда ему не сойти, не уступить никому этой отвоеван-

вой у движения, гула и мимолетного, ему только присущей величавой покойности, стоял Большой академический. Для удаловской Анны, для одоевского председателя — для сотен, тысяч, миллионов — светился он за колоннами, алея тем же, чем встречали эти сотни, миллионы, тысячи там, на Северном, распахивал свое молчанье и скрытую золоченую пропасть зал — там вечно жили, струясь легким, воздушным *царством*, не иссякая в красках, в мерцаньях, невесомо-нагие звуки, голоса, тела балерин.

Но вовсе не потерялась, не растворилась там Анна. Ее поднимало все выше и выше, — простую, неизвестную, в деревенском сарафане, в черном платке, — и кончилось *царство*, — вдруг, с неведомой высоты, на том рубеже, где вместе с людьми, чьим именем вновь замолодел древний мир, смотрела она вперед, — увидела себя, своих, судьбы людей, — и ей, ей ничтожной, лесной, горбатенькой, ответил, загремел народный человеческий бор.

В докладе говорили о ней народу, об их Барабанове. А после не помнила: как выходила на сцену, как встала, как вдруг открылись перед ней — неисчислимы, в полном молчанье, где-то внизу и вверху среди алого бархата и позолоты, дремучие леса и леса... Словно мир поглотил ее, и, доверчиво глядя прямо в глаза ему, все что было в душе, отдала.

Все рассказала Анна.

Могуче вдруг набежало и прихлынуло морем, — загремело, как никому — всей землей, всеми реками и вершинами, осветило вспышками молний, — и, улыбаясь, так запечатлелась она навсегда, в памяти, в сотнях тысяч газетных листков, в радиоволнах, в мерцающем потоке кино. И так истово-просто, как некогда Разин народу, как Пугачев перед мукой, по-старинному, по пояс поклонилась она во все стороны, и еще обернувшись туда, где совестью всех и самую близкой правдой встал и хлопал ей плотный, сосредоточенно прищуренный человек, — что совсем обвалился от восторженных криков, ураганного шума и треска ладоней переполненный зал...

...Совсем распустило листву в Барабанове.

Напилось, наваялось солнышком, паром, — кукушками, жуками, белыми лавдышами повысовывалась и насылась уже майская теплота. Догревалась земля на полях, жирно-лиловая, великим черным молчанием, чуть дымясь под легким и душистым сквозняком... Без межей и полос, единым согласным полем, в гору и в гору поднималась она.

И взбирался хрустальным столбиком по звукам жаворопок. Отпахались, отсеялись барабановские.

Уже черно-косатый селезень в зеленые сумерки напрасно шарпел и летал по лугам. Шипели, хлопали еще косачи на утренней подгорающей темноте, но унизалась черемуха в белый туман, загудела, и вот по-летнему побежали тени, и в траву запряталась, убралась земля.

Опять до самых потемок пели гармоника и пестрела деревня вторым барабановским праздником. Но без тысячника, без Ивана Мироновича уже, сияла окошечками, шумела, толкалась и ухала деревня до самой обозначенной белым, прозрачным диском вверху, до теплой, с запахом дождика, темноты. Перекинули ленинградца, и проводили его всем миром, осталось дело на дяде Алексее и на Анне Гавриловне. В славу вошли Удаловы, как вернулась она из Москвы, — ахнули было, а всех затянуло молчаньем, как вылезла из тулуца она в новых калошах-ботиках, в городском пальто, в шелковом дареном белом платке. «Здравствуйте, Анна Гавриловна!» — сразу пошло, а чемодан и корзину ее нес сам, опешивший вовсе, со всех ног прилетевший председатель, дядя Алексей. Слышали все по радио, изба ломилась у тысячника, будто невод удачный вытаскивали, — такое было на лицах у мужиков. И совсем присмирели, как посмотрели в газетах, увидели карточку, — верно, она, под руку с *ним*, чуть будто щерится... Рвали из рук бабы, ребята, — сеньковская Настя вслух всем читала — и сразу вдруг загордились мужики. А тут подвалила сама.

Три деревни сбежались на Аннин доклад. А после в районе, в ивановском клубе, с начальством... Совсем притих, полупшепотом стал говорить при дочери Удалов, а без нее размахивал руками, рассказывал, только качали головами и умилялись старики. Дядя Алексей при ней стоял, будто секретарь какой, стал уже со свирепым видом вытаскивать от нее мужиков.

— Чай, должны понимать, — кричал он значительно и смущался. — Куда лезете? Не знаете! Может, завтра докладывать ей... снова... Стало быть, нельзя. Из районной партии восет *опять* ее требовали.

— Эдак, эдак, — почтительно соглашались мужики, а все торчали.

Приехала кинопередвижка с хроникой, специально присланной. В канун праздника вертели ее, — гудели и, влетая в светло-дымный электрический сноп, чудовищными пятнами чертили экран майские жуки. Мерцало и струилось

самотканое спитое полотно, и в тишине внимания вдруг закричали: «Вон она, вон она!» — встали все сразу, поднялся неистовый шум. А она, как живая, смотрела, улыбалась, и видели все: не оробела, а прямо подошла к Сталину и подала руку *ему*...

Анна Гавриловна!

Сам Егор Алексеевич Любанов прибыл в деревню проводить, все осмотрел под праздник, а вечером стоял в стороне и увидел: прошла... Но такая же, как была, еще проще, в своем обычном наряде, прошла Анна Гавриловна. Увидела его, засветилась.

— Дядя Егор, а дядя Егор, — выпела: — Ужасно хорошо у нас стало, дядя Егор... Колюха работает, дочери ваши, сестра ваша — ударницей! — И весело кончила: — Дык вас дожидаемся, дядя Егор!

Степенно поблагодарил за честь, — первая прежняя сила и рука, — но поугрюмел и ничего не сказал Егор Алексеевич. Смеялась, хлопала в ладошки со всеми Анна Гавриловна, и в майских жуках разверзалась на экране счастливая, волшебная, как море, казалось, несбыточная, но живая, живая мечта.

В темноте, не отчуждались еще с зарей косачи, приходил после ночи Любанов на конюшню. Увидел его, почтительно поздоровался с ним бригадир — поили уже, ничего не сказал Любанов, долго глядел на своих... «Правую бы перековал», — медленно сказал он, глядя на любимого своего жеребца. А лошадь узнала, подняла уши, закосилась огненно-пыльным глазом.

— Председатель приказал переждать, — весело ответил дежурный, епифановский сын. — Когда к нам гостить, Егор Алексеевич?

— Так, — медленно и мрачно произнес Любанов и, не простившись, вышел во двор. Был он в дорожном, с котомкой, в аккуратных онучах и лаптях.

Светало. Заржал его конь, звал, вспоминал хозяина. Медленно шел Любанов к лугам, лицо его дергалось. Встал, оглянулся — родное, нажитое, невозвратное! — и окончательно, не горбясь, не сдавшись, пошел к темноте лесов.

Весь праздник и другой день прохлопотала с неожиданными гостями Анна. Приехали журналисты из Москвы. Ваня в черном бушлате с ленточками, в золотых буквах «Аврора», фотограф; нужно было отправлять передвижку, беседовать с комсомольской ячейкой, присмотреть за коровами.

Никто не обломил ни одной веточки в ее вскопанном, с высаженными рассадой цветами былой Ольги Васильевны, в голубом от сирени саду. И вот стемнело, душистый и влажный час опустился на туманную землю...

Гудел воздух, поднималась трава. Золотая майская луна стояла над миром, под тонким сияньем, глубокими тенями зияли овраги на черно-влажных полях. Закричал первый дергач, — гуляли еще, шептались жданными голосами — молодость, пригожесть, любовь. Но опустела уже улица. И казалось Анне, стоявшей в сладкой тревоге, в душисто закапанной тишине, что все невозвратное, дорогое, безвестное, чем жила и дышала, возвращается в мир. Ничто не исчезло, будто кто записал все, продумал и вот раскрыл перед народом, там, в далекой Москве. И Сеньков, и дядя Иван, и все, кто отмучился, — все они были там. И она, но не такая, а большеглазая, как Ольга Васильевна, на всю жизнь милая и близкая, и тоненькая и молодая, и в глазах у ней, как у Ольги Васильевны, трепетом отражена сероголубая сирень.

*Клязьма, санаторий НКВД,  
34-й год, март.*

# РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

---



## ДРЕВНОСТЬ

За гранью прошлых дней...

Фет

### 1

Древняя ночь августа. Жарко налиты огнем драгоценности звезд. В их жертвенной, мерцающей яркости безмолвный лес нависает столетним мраком; пропадая во тьме, уходят в тлеющее небо сосновые вышки. Я лежу в заброшенной лесной избушке, — где, когда, с кем — уже позабыл, и смотрю на костер, в груди коякого, багрового жара; он сумрачно звенит и покрывается тонким сероватым пухом. Серые тени забвения!..

И первый комар звенит песней ветлужских лесов. Тонко поет зеленая глушь, ядовитая, как мянганка, зыбко курит лесным светлым паром, настсем рассветных цветов.

Глушь гниет. Ночь сыра. Сумрачен костер. И толкутся, и мешаются тени.

Где я? И — что я? В забвении встают вековые, затененные недра лесов, комариная тьма колодников и еловых боров. Там во тьме старинная река блестит и уходит на низ. Она уносит во мглу свои воды и омота, звезды, спящие в застойных ярах, свои пески, черные моренные дубы, запавшие в сладкой тине. Журавли еще стоят в чародейном тумане. В лугах росисты и прохладны шиповники. Пахнут миндалем заплетенные ивняковые кущи. Воды белеют утиным рассветом. Я лежу в чадной курной избе, в глубине зава-

ленных древесною падалью кварталов, в гнилом хаосе лосипых болот. Дым кружится и тишется в звездное окошко. Я слышу, как кругом, на десятки верст, жадно растут, впицаются в землю, шевелятся и гниют лесные трущобные недра.

Комары поют. Они жалят слух тончайшим игольным писком, воспаленно зудят в сыром мраке. Они поют о красном закате костра, о ветлужских еловых кварталах, повествуют о мраке глухариних заказников.

Я засыпаю, сваливаясь в настороженную дремоту. Огонь мигает мне раскаленным звериным глазом. Смешиваясь с потемками, я вижу белоснежное, ласковое, непонятое, затем все заполняет ночь, и мне снится древний торжественный лес, наполненный потемками. Он полон ими, и в них возникают нежно-палевые, непостижимые стволы. Призрачно поднимаются они кверху неисчислимыми бледными полосами, теряясь в густом хвойнозвездном мире. И вдруг во мгле взрываются огромные угрюмо-свинцовые птицы. Они рассаживаются наверху, и ломко ходят во тьме их круглые черные хвосты. И большие костяные капли, одна за одной, срываются и падают в тишину с хвойных верхушек.

Играют!

Лес недвижим. Сосны — как струны, тишина — как занесенный топор. Под звездой, когда родилась заря, тысячу лет назад, шевеля сырость сосны, запел глухарь.

## ГРАНЬ ПЕРВАЯ

### 2

Эти птицы владеют мною с самых отдаленных детских времен. На верховьях жизни, на самых потаенных тропичках встают мои первые ощущения, как бы отдаленные зарева потухших когда-то охотничьих костров. С пожелтевшей гравюры старинного издания Брема посмотрела на меня большая неуклюжая птица с круглым куриным телом, бородатой головой — такой, с какою теперь уже никто и ничто не бывает... Она сидела на хвойном суку, важная, нарисованная с тем маперным простодушием, каким отличаются старомодные охотничьи рисунки. Птица вытянула голову и собиралась лететь. Глубоко под нею чернели гористые лесные громады, уходящие в

непроходимую даль. Меня на всю жизнь пленил этот рисунок и особенно то, что лес уходил на нем *до конца света*... Что-то средневековое было в этих германских дремучих деревьях, туманно зиявших глубиной сырых и сумрачных дебрей. Они поднимались обвешанные мхами, вознося кверху пучину грозного лесного океана, сливаясь в черную хвойную даль. Эта даль шла без конца. Высоко над верхушками сидела старая охотничья птица и смотрела *через всю мою жизнь*.

Пусть на дворе шумит и крутится вьюга, пусть снег заносит всю землю и шуршит, ударяясь в ставни,— мне сладко часами не отрываться от таинственных бременских слов.

«...Она распространена по бассейнам глухих и таежных рек...— эпически замечает древняя книга, пахнущая кожей и кислой стародавностью.— ...Встречается часто в средней части Европейской России...»

Желтый круг керосиновой лампы начинает темнеть и расплываться. Бородатая птица, сидящая над пустыней лесов, медленно и насгороженно приподнимает голову. Непонятная розовая и желтоватая карта, висящая в отцовском кабинете, начинает темнеть: я чувствую, как с нее дует сырой, непроглядный ветер. Вот медленно текут и плещутся свинцовые, студеные реки, уходящие вниз. На них нет ни огонька. Желтые стены сосновых лесов стоят на их берегах; слышно, как ходят, скрипят, отдельные деревья. Снег тяжелыми хлопьями летит на сальную неприютную воду. И ледяной мрак веет на белые сновидения детства своими хвойными безлюдными пропастями... Как стонут насквозь продутые, холодные леса! Вьюга осыпает их колючим снегом и заносит темнотой. А птица сидит наверху, где особенно тоскливо и ветрено, где вершины ходят с пронзительным скрипом, проваливаясь в ночь и снова возвращаясь из мрака,— непостижимая на своем сучке, одна во всем мире...

Просек чуть белеет под ней бледной снежной млечностью, туманное море верхушек набегаёт седым прибором. Я прохожу гудящим казенным лесом и слышу, как там наверху кора звенит и лопаётся от мороза. А деревья стоят прямо и часто, поднимаясь, как хвост, плотной черной стеной. Что-то упрямое, ненасытное и тоскливо озаряет глубину сердца. Вершины ходят, наклоняя свои голубые, болотно-обреченные стебли, послушные буре,

летающей из глубин таежной сибирской пустыни. Она проносится над застывшими озерами и просеками, над полями и погостами, над всем миром и над тем далеким, уже ночным, моим губерньским городом...

Где же он, отжелтевший керосиновый свет юности?

Ветер шуршит в застывших кустах сирени, ветер свистит и качает звезды, галки дико, чертом, срываются в городском саду. На улицах холодно, неприятно, и холоднее всего от бесснежных заборов. И пещерно выплывает белеющая наносами улица, скучная, на которой есть кинематограф «Бразильский» и есть фотография, где уже много лет выставлены длинные портреты, люди на фотографиях — с зачесанными писательскими волосами и в сапогах; руки держат они у моддевок, оттопырив, лица у них пожелтели от времени и недовольны. Город старый, либеральный, — под боком фабрики. Тут же ветер обсыпает снежным шелестом черную вывеску с крендельными золотыми буквами:

*Кениг и сын*

*Д И А Н А*

Я вхожу в подземное царство охотничьего счастья. Его пахучая полутьма нежно блестит виринами с широкими бликами матовых ружейных стволов. Воздух сладко настоен на тревожно-счастливом, волнующем запахе: это висят сумки и патронташи из скрипящей шагреновой кожи. В потемках у лестницы ловит время огромный плюшево-бурый медведь с новенькой двустволкой на ярко-зеленом погоне. Громадная серая птица, хлопая крыльями, с надрывным свистом срывается с пожелтевшей бремовской гравюры и застывает на пыльном сучке с выгоревшими сосновыми иглами, рядом с черно-курчавой головой буйвола, играющего яростными стеклянными глазами. У птицы топорщится шея и отливает зеленым серебром. Она наклоняется, и широкий хвост ее разворачивается с треском, рисуя на стене пышный японский веер. Дверь старомодно хлопает домашним отставным колокольчиком.

Старый Кениг выходит из могильного мрака в немедком тугом воротничке, в сиреневом галстучке с булавкой, в манжетах с крахмально-синими полосками. К его вязаному жилету, полыхающему сигарным дымом, тесно прижато открытое ружье, отливающее вороненой

синью и серым глянцевым мрамором закалки. Старик таранит сизые, подагрические глаза с красными жилками и говорит задыхаясь:

— Молотой человек... Да хабен зи эйне прахтфолле флинте! <sup>1</sup> О! Это ружье...

И ружье, осветясь своими начищенно-полированными недрами, мягко щелкает и щегольски запирается ловким гринером. Ложе его отликает вишневыми ступками курчавого воценого ореха. Широкая прицельная планка стремительно сужается по серой гильюшировке.

— Э-дуард! — хрипит Кениг-отец. — Молотой человек желает лучши бумажные гильсы.

Зеленые и красные шерengi ровных картонных трубок отражаются на стекле. Бледные лейтенантские руки молодого Кенига поражают огромным бриллиантом.

Он ловко разбивает гильзы на отделения. К ним присоединяются синие пороховые коробки с круглым медведем на этикетке, ремни, сетки и те таинственные медные и выкрашенные в лягушечий цвет вещи, которые так аккуратно разложены за ледяными освещенными стеклами.

О, эти стекла и зачарованные в них светлые ученические пуговицы!

Во мраке прошлого Кениг-сын передает мне тяжелые, как гири, тщательно перевязанные покупки и блестит костяными отсветами своей нафиксатуренной головы с надменным прусским пробором.

Колокольчик звякает, — и с морозным паром поспешное дыхание счастья охватывает потемки улицы с ее золотистыми губернскими огнями.

### 3

На улице гонит сухую снежную пыль и прохватывает ледяным сквозняком. Это дует с Волги. Если пройти дальше, миновать Покровку и вечерний, уже занесенный потемками кремль с его скамейками и деревьями, тяпущими в ночь свои голые и костлявые шу-

---

<sup>1</sup> Вот вам великолепное ружье! (нем.)

пальцы, выйдешь на Откос. Там совсем пусто, бездомно, ноги тонут в жестких надутых сугробах. Огромная черная бездна заречья тускло мерцает редкими огнями, обвеивает своим пустынным, снежным и лесным мраком. Губерния уходит в темноту своими лесами, болотами и залезшими в солому сянцами деревьями. Ветер не доносит пилы, ни стука. Но я слышу издалека, словно из-под земли, глухой набегающий матовый шум; резкий скрип врзается в этот ровный прибой, лес жалобно плачет, кричит и стонет; по почтой губернии растет заунывный деревянный набат... Лес набегают грозным, растущим гулом, осыпаясь снегом. Лес идет и гудит. По реке, где нет ни души, гоняются друг за другом белые поминальные вихри.

Здесь, именно здесь, давным-давно, весною, когда заволжские ветра становятся тревожными и влажными, пронеслся я, минуя гудящие лесные полустапки с их штабелями бревен, пахнущих морем, бесконечные мосты над снежными еще тростниками, семафоры, уездные станции. Березовые рощи уже туманились, опухали лиловой и синей бахромой. Снег на промелькнувшей мимо сторожке, ярко-желтой от солнца, уже распекшего заборы, осунулся и посерел. Вечером зеленый фонарик семафора говорил о пустоте перелеска, о хрупких сумерках, о России.

Поезд уже грохочет ночью. Я проношусь в притусшенном вагоне, темным лесным миром туда, на *край света*, в какую-то давнюю, заброшенную страну. И те же старомодные потерянные слова плезают память под лягз и громыхание дымного дальнего поезда: «...По бассейнам глухих и таежных рек... в верховьях заброшенных, заповедных речек, в мрачных сырых лесах...» Вагон, точно приседая, еще стремительнее и страшнее бросается в свой чугунный и безвозвратный поток. «...Жизнь этих птиц мало исследована и таинственна. Она спрятана от глаз человека. Они не выносят неволи и отгесняются все дальше от человеческого жилья, туда, где еще сохранились дикие чащи, непроходимые ягодные болота, дремучие бора...» Глухой, отдаленный и грустный свисток паровоза ярко прорезывает качающийся мрак отдаленного, забытого; с шумом, отвечая эхом, проносятся как-то строения, штабеля досок, вагоны — и все заволакивается влажным, темно-зеленым шумом.

Какая ночь стоит над миром!

Мы выходим из домика в самый поздний, беспросветный час, и сразу глаза пропадают в непроходимой, беспредельной темноте. Деревьев не видно. Они слились с ночью и потонули в ней. От звезд, мигающих в смутных бездонных просветах, рябит в глазах. Они играют сверкающими настороженными огнями. Бысь уходит головокругительной, роящейся бледностью.

Мы идем уже целую вечность.

Я не вижу лесничего, но смутно чувствую, как покачивается его неширокая, сутуловатая спина, как раскачивается подвернутый рукав, закрывающий обрубок его левой руки. Мне вспоминаются его старческие бритые щеки с лиловыми отеками, его короткие прокуренные усы и худая шея в расстегнутом вороте, от которой мне всегда становилось грустно, неведомо почему, — в стариковских шеях столько печального и трогательного, чего никак не выразишь.

Лесничий останавливается и шепчет тоном старинного сообщника, таинственно и серьезно:

— Ну, теперь шабаш. Вчера... здесь вот, по болоту, двоих убил... Как бараны! Стойте-ка... стойте...

И он перестает дышать. Лес звенит чудовищной тишиной; я замираю от ужаса, — так громко стучит мое сердце. Но лесничий говорит уже громко и обыденно:

— А вот медведей стрелять еще интересней, батюшка... Тот, знаете, проворный. А ночь-то, ночь! Литургия-с!

Звездное зарево побледнело. Мы идем уже уверенно: во мраке стали угадываться дымные столбы уходящих в тайну сосновых стволов. Потом закрапали звезды. Лес заредел. Речка переливалась и отзванивала где-то сбоку, на отлете, — ночные сумерки низкого болота встали перед нами серым призраком.

— В самое время! — дышит мне в ухо лесничий, и я ощущаю кислый запах водочного перегара. Боже мой! Он опять пил всю ночь, милый, седой, заброшенный... — Вы... того, действуйте, — говорит он. — А я послушаю здесь. Только чур: стрелять под песню, идти не торопясь — птица не пуганая, матерая...

Он исчезает. Я остаюсь один во всем мире, и от счастья за доверие мне страшно и невероятно. Тихо. Разве взвести курки? Податливые, шершавые парезки мягко поддаются пальцу и щелкают. И тут же мне

представляется пустой левый рукав лесничего. Что я делаю! Рука нащупывает спуски, и в тот же самый момент где-то недалеко, вверху, в бледно-звездной темноте лесных верхушек, что-то оглушительно хлопает и обрывается отдаленным громом...

Началось.

Я слышу, как далеко за версту треснула и упала шишка. Неведомая крохотная птица жалобно и тонко пискнула в сучьях. Над болотом незримо и тревожно процыкал, на низкой кожаной ноте повис хрипом вальдшнеп, но я не обратил на него никакого внимания. Протрубил, протосковал хор журавлей из дебрей серых болот и смолк. Сладкое, мучительное страдание стиснуло сердце и легкие. «Раз... два... три...» — считал я до ста, с тайной надеждой, что вот тогда все устроится, все прояснится, и я увижу (хотя бы один раз!) то таинственное, уже ставшее для меня страшным в своей необычности и в своем невероятии, что вдруг должно появиться неведомо откуда, из темных, давно знакомых, но уже давным-давно исчезнувших дремучих дебрей. Какая смутная, древяная, языческая сила должна привести сюда, в эти звездные сумерки, ее, эту странную громадную птицу, живущую еще до сих пор далеким, зачеловеческим миром, который может сниться только на сумеречной заре детства?

Заря уже брезжила. Рваные и грубые контуры сосен чернели в зеленоватом небе. Болото липалось тайн и обнажалось. Мир природы выступал своим изобильным хаосом. Все молчало. «Все погибло, — думалось мне. — Да и могло ли быть иначе?» И мне уже представился день, дневной свежий свет, мы с лесничим на весенней светлой дороге. Он с серым прожитым лицом. Как он худ, беспомощен и жалок! «Вы не огорчайтесь, — говорит он. — Глухарей все равно найдем. Не сегодня, так завтра». И в его голосе звучат старческие, извинительные нотки.

Небо уже светилось. И вдруг вверху, где-то бесконечно отдаленно, я услышал слабое, не уловимое ухом шипение. Оно оборвалось, чтобы через несколько мгновений появиться опять не похожим ни на что на свете. Неясная, чуждая мне лесная жизнь, дальние отзвуки бурлящего родника, забытый разговор замирающих углей, — темное, неуловимое, неосязаемое, — едва коснулось слуха и исчезло. И тотчас я услышал ломкие костяные звуки, звонко и отрывисто отбившие нача-

ло песни; они участились и рассыпались в быстрое и страстное колено.

Я прыгал среди туманных редких сосен, останавливался, не дышал, падал, прыгал опять, замирал, когда замирали шипящие звуки. И вскоре я увидел птицу, черным силуэтом застрявшую между хвойных веток. И я уже давно не жил. Глухарь сидел раздутый, раздвинувший свои мощные перья, поводя громадой раскинутого полукругом хвоста в белых мраморных пятнах. Бородастая его голова приподнималась и опускалась в такт бурлящему горлу. Косматый и черный, он поворачивался в нежном розовом сиянии, проникавшем сквозь сумеречность сучьев. Древнее, полночное, петушиное было в этом мохнатом призраке, повисшем в рассветном безмолвии дерев.

Задыхаясь, я навел ружейные стволы на это черное, ходящее по суку,— и вместе с багровым, гулким, потрясшим весь лес ударом понял, что все погибло. Громкая птица встрепелась, грузно ринулась вниз и, круто захлопав и свистя, замелькала среди сизых курящихся сосен. Ружейный дым плавал по земле синими сырыми кругами. Я бессмысленно бежал, спотыкаясь у пней, гнилых сучьев, мохнатых и грозных стволов. Отдаленные звуки и шорохи — и счастье, и ужас — еще стояли в ушах. И острая предсмертная боль, целый разгромленный мир, погубленный мною, застлали весь лес, сочлились горючими ночными звездами, еще стоящими в глазах; нестерпимо жгучие повисали они, расплываясь горячими, задохнувшимися соснами, стекая палящими солеными жгутами, закрывая все ослепляющим блеском. Разбиваясь в грязные струйки, падали они на мое первое ружье.

— Иван Михайлович!.. Иван Михайлович! — кричал я, цепляясь о сучья, безвозвратно погибая, захлебываясь в диком отчаянье и ужасе.— Иван Михайлович!..

## ГРАНЬ ВТОРАЯ

### 4

В лесной избе было тускло и чадно от густого серого дыма. Черные прокуренные бревна нависали из мрака и, поблескивая мокрой смоляной копотью, грустно от-

свечивали рассветом — поздним и сырым. Рассвет еле сеял свои полосы в низкую дверцу. В этой бледности была предосеенная гиблая лесная пасмурность, когда зелень становится чересчур яркой и глядит утомленно.

Зарудин проснулся от душившего его бреда и с трудом поднял тело со сбившегося колючего сена. От косых и неровных нар спина и бедра ныли свиной усталостью. Он слез с досок и ползком добрался до порога, вылез из прелой, дымящейся избы. Тусклый, залитый водою, затянутый туманом мир сразу обдал его тысячью своих запахов. Лес парил. Ночной пряный дух еще поднимался от земли. С лугов душно и остро пахло болотными цветами. Облака сеяли свет, похожий на сияние. Ночь еще жила, комары тонко и надсадно звенели у зудящего лица, в горле першило. И Зарудину сразу стало не по себе и одиноко на этом усталом лесном рассвете.

Повеяло, обняло откуда-то дуновением отдаленного, полузабытого сна. Спускаясь к речке, задевая кусты, окутанные ночными махровыми запахами, он ощутил на сердце легкую звенящую пустоту, и блаженную, и сладкую. Быстротечно пронеслась весенняя тень юношеского, повеяло просто и кратко радостью милой памяти... Старичок Иван Михайлович скончался восемь лет назад. Он заброшен, всеми забыт, никем не оплакан.

Жил. Давно. Никогда. В быстрые дни молодого времени.

Вода на речке стояла в забвении, осиротевая, почти осенняя. Большие кусты с утиными лапчатыми листьями касались воды, — и вода обдавала холодком лесной черной смородины. Славно поплескаться в дикой, заброшенной на краю земли речке, ощутить в себе буйные и старинные силы! Поднимаясь по белому от росы косогору, Зарудин ничего уже не помнил из юности: мир жизни охватил его свежей, играющей силой. Огромные коршуны косо парили над лесом, их дикие крики говорили о пустоте осенних боров и отлетных стаях.

На тонких московских чашках еще нет четырех. Но поднимать Алексея Яковлевича, пожалуй, пора. Дождя, вернее всего, больше не будет, но лес надолго еще останется и сырым, и туманным. Это плохо: глухари не любят воды и после дождя не будут *широко ходить*, — с собаками можно пробрести мимо самого выводка. А середина августа — самое время для летней глуха-

рипой охоты. Молодые уже выровнялись, заматерелись, нагнали крепкое перо. Петушки одели свои распадающиеся, тускло-зеленые воротники, потяжелели на урожайных нынешних ягодниках и, подымаясь, летят с тем надрывистым тяжелым присвистом, который так веселит сердце записного охотника. Выводки прочно держатся своих излюбленных мест. Смешанные глухие перелески у зимних дорог, ягодные борювины, сухие песчаные веретья, поросшие вереском и столетними соснами, осинами и елями — обычные их уголья, где с хорошими лайками можно всегда наткнуться на этих прекрасных, сторожко-отшельнических птиц.

Изба еще курилась, когда охотники, бросив лайкам последние куски, не оборачиваясь, задевая ружьями росистые ветки, пропали в омуте клубящегося зеленого дыма. Старик шел впереди, не торопясь, перелезая через поминутно налезавшие громады павших стволов, ловко вышагивая между переплетенных, перепутавшихся и склонившихся друг к другу деревьев, сучьев и кустарничков. Изредка он останавливался и свистал собакам, и тогда Зарудин снова и снова с любопытством вглядывался в его страшный, непостижимый, ископченный древностью лик.

«Алексей Яковлевич, — хотелось спросить ему, — кто вы? Готтентот ли? Дикарь с острова Таити? Жрец, умерший пять столетий назад? Или просто неизвестное человеческое дитя?»

Но старик непостижим. Кожаный старый картуз скрывает его длинные покойницкие волосы, падающие прямо и сквозящие коричневой, грязной, старческой плешивостью. Глаза его напны и сини, поражают своим широким открытым спокойствием. В неровной инородчески-редкой бороде, как всегда, застряли крошки, оброненные его непомерно большими, обвисшими губами с постоянно заекшейся синевой. Он стоит, вросший в землю, в корни, в буйную густоту зеленых неисчислимых стеблей, в своих серых портяных лохмотьях, и кажется обветшалым затаежным идиолом.

— Ху-усть!.. Ху-усть!.. — кричит он таким тонким и жалобным голосом, что рябчики трескучим веером подымаются в ольшанике за болотом. — Мотик!.. Мотик!.. Ху-усть!

Мотик серебристой тенью мелькает среди елок, обпихивает на ходу моховые кочки и бросается, поводя

кругами, за болото. За ним черной лисицей вырастает из-под земли остроухая Кукла с зелено-серыми хрустальными глазами. Она смотрит на охотников и виляет хвостом: извиняется. В зверином взоре доклад: я сделала все; я могу; глухарей нет; я люблю теплые глухаринные кишки.

— Ищи! — сердито говорит старик.

Зарудину видно, как собака быстро уходит в лес, как она останавливается, вбирает с земли целый мир недоступных человеку запахов и следов. Она ищет тревожно, то поводя носом, то стремглав бросаясь вперед. Зарудин снимает с плеча мокрое ружье и пробует предохранитель: ружье готово.

— Алексей Яковлевич, — шепчет он. — Собака-то заметила...

Но старик невозмутим как всегда, и как всегда одинаково его коричневое лицо в черго-синих угрях и пятнах.

— Не пройдут, — отвечает он тоже шепотом, но просто и обыденно, — собаки-то. Энтот вот помоложе, а способистей. Гляди — и на потку никакую не забрехнет.

Собак уже не видно. Желтыми и фиолетовыми колоннами стояли сосновые стволы, и оливково тянулись в самое небо сказочные ветлужские осины. Ели свисали ключьями седых и медяно-ярых ослепляющих мхов. На вершины их страшно смотреть: в глазах темнеет, когда запрокидываешь голову, шапка валится замертво. Капало, стекало с деревьев. Шагов не было слышно, — лапти глубоко тонули в напившемся, пышно-податливом моховом ковре, залегшем повсюду мириадами своих ярко-зеленых, ничтожных, как снежинки, звезд. Лес обволакивал своим душным дыханьем, дурманом распаленных красок, своими шорохами и звуками. Где-то простучал дятел, и далеко отдался его резкий, оборвавшийся пулеметный стук. Желна захохотала в сучьях, зловеще махнув в полусвете хвон клоунскими радужными перьями. Все влажно дышало кругом, упиваясь ранней росистой свежестью. Черничник, по колено в ягодах, непроходимо путал и стлал по земле свой голубой, ценный к ногам дым.

Время черничника! От ягод голова идет кругом, — синие россыпи их покрывают пни, обомшелые колодки; ягоды лезут под ноги; они поднимаются, унизав

высокие кусты неспящими шарками в матовой сизой пылице, они покрыли кочки и пригорки, тянутся целыми полями. Руки и губы давно перемазаны их липовыми и несмываемыми чернилами. А их все больше и больше. Как, наверно, сладко, вольно и беззаботно пасть здесь лесным птицам, слушая внимательное квохтанье большой оранжево-круглой глухарки, встречая здесь в дреме хвои красный рассвет! Как сладко дремать им, прижавшись к замшелой дремучей коре, высоко под звездами, над мраком хвойных пустынь, когда внизу господствует сумрачнейшая тишина веков! А бури, когда лес скрипит и качается!.. А грозы!..

Бледное водное сияние дня становится яснее и прозрачнее. Иногда небо прояснялось,— голубоводный, вымытый провал его сиял девичьей утренней прелестью. Солнце прорезывало золотыми пыльными искрами столбы светового тумана, восходящие в лесных просветах. И на солнце сразу становилось жарко, начинали звенеть мухи. Большие желтые бабочки трепетали, срываясь с обсохших радужных листьев.

Охотники погружались в мохнатые еловые дебри. Стемнело и засырело. Идти становилось все трудней от навороченных гнилых колод и вставших корней, потянувших за собою землю со всем прижившимся к ней зеленым, впившимся в коричневую гнилую труху миром. Ноги проваливались в гниющую древесину, из мрака которой тонко выпевал и поднимался столбом комариный окаянный зуд. Голову кружило от сладковатого эротического запаха грибов, восставших везде, где сырел распад. Белые боровые торчали из-под еловых шатров, поднимая свои законченные замшевые головки. Лес опускался вниз.

«Странно,— думал Зарудин, еле выводящая ноги из цепких сучьев и пахучей истевающей трухи,— мы привыкли чувствовать лес ровным, растущим на спокойной равнине. В сущности же говоря, какие это горы, долины, пропасти!»

Ему представилась уходящая в даль, искореженная пнями, морщинистая от повалов, гор и откосов пустая порубленная гарь. Чувство острой жалости охватило его от сознания, что так, именно так скоро и будет... Топор и пила обнажат бугристую, шишковатую голову земли, состригут, сбреют эти густые, пышные зелено-

черные кудри. Состригут — и она на годы станет неуклюжей, злой, арестантской, как голова подростка из-под двухпулевой машинки.

Леса! Каким древним криком и гулом падает старое дерево! На этот мир гнили, этот хаос распада — в черных речках, в мирпадах древесных трупов... Но этот старик — привыкший к молчанию, куриному дыму — нищий, грязный, звериный... Как он сросся с сизым сумраком этих стволов, болот и лесной догнивающей падали!.. Даже его ружье — кусок выверенной, сверленной стали, бывшей некогда совершенным американским изделием, — приспособилось к нему, осторожному, лесному, слитому воедино с ржавыми, зеленоватыми и голубыми потемками зарослей. Деревенский кузнец приделал к стальной коробке скорострельного виччестера огромную ржавую стволину с шапаянной кривой мушкой. Ружье покрылось глубоким слоем застарелой, навсегда запекшейся ржавчины. Но столько прекрасных зверей и птиц полегли под дымными, громовыми ударами этого грубого, почти древнего орудия!

Зарудину представилось, как бьется на земле подкарауленный, выслеженный, обманутый глухарь, отливающий на апрельской красной заре зеленой амальгамой, кофейным шелком мощной груди, белым атласом подкрылий, тончайшим серым креном пера ювелирной работы. Даже кровь, столь ужасная на человеке, прекрасна на его роговом клюве — висящая сгустком влажного вшшевого бархата. В его огромных глазах, округленных золотым ободком, еще живет ужас, он еще помнит прыжком кинувшуюся тень, что склонилась к нему своим коричневым ликом идола, детскими широкими глазами, затертыми портяными лохмотьями.

Зарудину стало тошно, отвратительно, мерзко. Переделывать, переделывать все! Вспомнились — темная изба с ее кислым и прелым запахом, печь, на которой постоянно сушатся зловонные онучи; девки, толстые, голенастые, с прилизанными коровьим маслом, а поэтому дурно пахнущими головами. Ему припомнилась последняя ночь в той душной, притуленной к печке избе, где этот старик прожил всю жизнь, все радости и надежды: от подушки тянуло тем же прогорклым маслом, всю ночь тело обжигали клопы... И он знал:

там недавно, в этой пазбе, девочка умерла от глистов. А кругом стояли леса, до конца света, леса, пахнущие свежим солнцем и ветром, и хвойной тишиной, — когда на последний наст падают и остаются лежать шишки, весной, в сине-снеговом марте, когда от беличьей шкурки пахнет кожей ребенка, когда лыжникца к вечеру ложится, как тень.

Кругом стояли леса.

Зарудину сразу стало грустно и одиноко. Он почувствовал, что устал, что этот старик, которого он считает своим другом, в сущности говоря, ему жалок, чужд и ужасен.

— Переделывать! Переделывать! — шептал он, с трудом волоча ноги. — Камня па камне, бревна на бревне не оставить на этих воющих и вшивых гнездовьях! Древность! Чудище! Навозный компресс на теле республики.

И старик, неторопливо шагавший со своей огромной *кочергой*, показался ему большим серым насекомым, забившимся в заношенные складки дряхлого умирающего мира.

## 5

В лесу сразу залились, яростно перебивая друг друга, собаки.

Заунывно, на весь лес, забирая все грознее и грознее и переходя в остервенение, затаивкал, завыл и отдался в бору Мотик. За ним с нетерпением, перебивая заунывное, по-женски страстно и упрямо залилась Кукла. И сразу зазвенел, заукал и надломился тишиной лес. И, надломившись, наполнился громом и треском тяжело поднимающихся крыльев. В соснах и елях замелькали косо забирающие вверх, надтреснуто свистящие во все стороны, серые глухаринные копны. Собачий лай уже бил в набат. Лес выл и метался. По лесу шел гуд. И в него вкрадчиво и осторожно падало откуда-то сверху, совсем близко, лесное: «куак, куак, куак», — и стихло.

Как в тумане, Зарудин увидел огромную пепельную птицу, севшую прямо напротив него на верхушку одинокой, задранной в самое небо ели. Снимая на ходу ружье, он бросился вперед, еле сдерживая вдруг заколотивше-

еся, нестерпимо сумасшедшее сердце. С легкостью перемахнул он через скользкую ободранную колоду, продрался сквозь колючие кусты и замер.

Легко, благостно и безбрежно парили в небе пуховые, завитые тучки. Еловые черные лапы не двигаясь плыли куда-то в лазурную теплую высоту, непоколебимо, недвижно разрезывали они белые облака. Типшина и спокойствие опочили на еловых ветках, и белое, воздушно-легкое, перистое, — то, что стояло над верхушкой, — казалось несбыточным и во сне.

В висках стучало, голова уже затекла, небо становилось черным, но Зарудин не видел птицы. Он ходил вокруг дерева, ходил и все больше и больше убеждался, что глухаря ему не найти. Он чувствовал глухой шум в голове, в висках четко отдавался сердечный молоток, знакомое охотничье отчаянье холодком пробиралось за спину.

— Миколай Миколаевич, — услышал он вдруг страстный, сияющий шепот.

Он оглянулся. Старик стоял, высоко закинув свою обвисающую пыльными волосами голову, и показывал ему вверх. Не чувствуя земли, путаясь ногами, перехватывая хриплое дыхание, тот тщетно бродил глазами — и наконец увидел: глухарь чуть брезжился низко опущенным хвостом, уплывая вместе с вознесенной хвойной вершиной навстречу неподвижности снегового облака. Ружейные стволы на миг закрыли его сливающуюся тень, секунду она задержалась между двух стальных полукругов, и ружейный удар показался особенно гулким, подрезывающим и посадистым. Громадная птица плавно, не задерживаясь, мелькнула впиз, безмолвно и мягко, стукнувшись темным бултыхнувшим зобом и распавшимся ворохом перьев. Одинокое перышко, крутясь, опускалось в воздухе.

Держа глицу за длинные шершавые ноги в плоских роговых пластинках, Зарудин еще раз ощутил истому дикого, необъятного счастья. Собаки заливались впереди, и это сулило еще то новое, тревожное, острое в своей сладкой и сердечной тоске, которое пришло, которое, он чувствовал, повторится опять, которое было сейчас и которое будет еще впереди без конца. Это *без конца* было особенно сладостно; и, очевидно, потому, что охотничье, древнее всегда поднималось из пройденного, векового, затерянного в забытом, туманится синим

куревом потухших костров, светивших много лет назад, зовет неизведанными дорогами вперед, — никогда не иссякнут темные, уходящие в даль неведомые охотничьи дороги, никогда не умрет темное счастье предчувствий, погони, следоштыства, удачи, счастливой охоты...

Он неожиданно понял, как страстно, неспясаемо любит жизнь — мучительной, детской, пытливой, охотничьей любовью. Ему вспомнился смутный и очень давний его мир, горячая тьма, ужасные звезды, разгромленный бор, но полностью всего он не мог уже припомнить. В своем ощущении мучительной влюбленности в этот лес, в этот дикий, неприветливый, почти каменноугольный ландшафт, в этого чужого старика, вдруг сказавшего так необычайно, так древне-соучастнически: «Миколай Миколаевич...», когда они стояли под древней, сказочной добычей (сколько веков назад!), — в своих ощущениях он смутно различал только одно: это никогда, никогда не кончится.

## 6

А кругом стояли леса. Те леса, что скоро уйдут с земли, леса, где в снегах тонет рысь, когда в железный мороз слышно звезду и человек один на один с тишиной слышит, как в Канаде поют петухи.

...Без конца чернел, уходил, закрывая все — горы, реки, долины, тысячи верст, — неспчислимый, мелькающий сонмами дымных прямых стволов, сырой хвойный лес. Он стоял, вырастая все выше и выше, поднимался, как неведомый, дикий народ, покоривший некогда райскую зеленую землю бродячими древесными ордами. Нет им числа и имени. Курились болота, тихо шли на низ черные реки, гигантские тени падали на былую землю вольной травы. Валились, гнили, ложились в торф на болота синеватые погибшие стволы, — высокие лесные кремни восставали над горячи, над сгнившею падалью, над топями пустынных низин.

И он жил, великий лес.

Еловый мрак заслонял солнце, играл изумрудный мир несметных жужжащих оводов.

Бор сухо звенел струнами своих натянутых стволов, провевая дебри свои зноем, грея свою заповедную скользкую сушь.

Красный лес, старый лес! Сосны прорастали кладбища времен, поднимая крестами мириады своих рваных вершин, хороня столетья и кости, тайну былых бизоньих бархатных пастбищ. Лес рос, жадно пил свои соки в темноте земли. Стоячие воды кипели прожорливым, неукротимым счастьем бессмертных личинок, кипящих в оцененной тайне гниения. Солнце медленно падало, опускаясь ниже и ниже, в комарах и мертвых прохладных теньях. Лес синея, подымаясь и опускаясь до конца света — непроходимый, непобеденный. В глубь его уходили охотники. Один из них, длинный, беспечный в своих лохмотьях и лаптях, с отполированной до сияния дорогой бескурковкой, был увешан огромными, раскинувшимися до земли птицами, мотающими на ходу свои тяжелые древние головы. Он брел устало, но охотно, был весел, иногда улыбался и свистал...

Да ведь это же из Брема!

Живая, непобедимая древность: охотники уходили все дальше и дальше.

*Москва. 1928—1929 гг.*

## ЗАКОН ЯБЛОКА

*Н. Ремизовой*

### 1

Сад пуст и трагичен. Пришли дни синего рая — опсыпался первый по-зимнему. В лесах еще досыпается осень, рядом кружит продутая роца, полная кленовых звезд, такая желтая, что кажется освещенной керосиновой лампой; роца светит прямо в черный засыпанный золой сад; от него поднимается вверх нежное голубое море, и тянет, и пьет глаза, — и вокруг столько прозрачности и чувства полета, что большие зубчатые листья пьянеют желанием нестись за тридевять земель.

Кордон стоит озаренный: леса освещают землю.

До станции пятнадцать верст. Колеи дорог выстланы древесным мягким шумом; катишься по ним быстро, то

погружаясь в прохладу дубовых серых сучьев, то с шорохом выносясь на уютные, заросшие былинками поляны, где домовито стоят круглые шиповники и где уже не пахнет ни мокрым турецким табаком, ни разогретой последним солнцем гнилью.

Уже прошли сентябрьские лунные ночи. В озере, отгранившем свое стекло до черной глубины, откунались розовые, свежие пвы. Наступило последнее, — заезжий Ланге знал это сердцем, он страдал от перелетного чувства, — наступило туманное, самое позднее затишье. Оранжевые тугие листья, обрызганные красным вином, картинно слетали на воду. Река давно умерла и стояла в пестрых лесах и кустарниках, остекленившись. Пролетали вальдшнепы и последние дрозды. Октябрьское липовое утро поднималось блистающим собором в золоте и дыме. Роща дрожала заревом. Отсыревшие сучья сада тлели черными углями, на рассвете от них шел синий неуловимый чад.

В этот день, проспавшись, Ланге подсчитал свои лесные дни. Москва смутно мерещилась: дни складывались уже в месяц. У объездчика жили по своему календарю. Давно засохла капуста, давно залегли в придушенном, скользком сне грибные кадки. Лишь у дуплистой липы еще белели свежие стружки — следы отошедшего последнего труда.

Ланге решил приняться за работу: никто не придет, не заглянет сюда; поезда проходят далеко в стороне, стало совсем поздно, лес готовился к снегу. С утра он решил засесть за письма. Избушка охраняла покой, отживая свой век: хозяева давно жили рядом. Все было по-прежнему: невозмутимая прохладная тишь, в покосившихся окошках светился ярко-желтый экран разваленных листьев.

Ланге смотрел на стены, заклеенные сплошь старой иссохшейся «Нивой» времен японской кампании, думал. За смутными серыми листьями тепорщились и шуршали тараканы. «Вечная память — вечная слава, — прочитал он. — Подъесаул 113-го Заамурского казачьего полка И. Позднецов пал смертью храбрых под Ляояном». С бумаги недвижно выписало полное лицо с добродушными усами, под косматой сибирской папайой. Другие офицерские лица были уже непроглядны, едва светилась давно остановившейся жизнью. Словно громадная черная пропасть висела над временами, над

Ляояном, Шахе, над узкими, вытуженными, наглухо застегнутыми военными куртками.

Ланге вскочил, порвал в мелкие клочки начатый почтовый листок, прошелся по комнате. Он вздохнул, разгладил юношески круглую грудь, схватил папиросы и, бросив несколько вспыхнувших и едва затлевших спичек, закурил. Ляоян и Шахе не давали ему покоя. Он лег на дощатый самодельный стол, пригнулся к самой стене и стал читать. Тонкий выгоревший шрифт сливался в сознании с чем-то давним, ставшим теперь незначительным. Слова проходили мимо его памяти. «Шимозы», — прочитал он, и сразу совсем знакомое неожиданно встало виденными не раз, старинными картинами.

Шимозы! Это была целая эпоха. Перед ним поднималась глухая предутренняя рань, черная, дымящая, до нелепости громадная труба паровоза, похожая на воронку; были заамурские, забайкальские, маньчжурские, бог весть какие, бегущие людьми, шинелями и солдатскими сумками станции; над всем этим царило пламя, дико освещенные горящие фанзы, волчьими тенями мотались в огне клыкастые, оскаленные хунхузские лики. Ах, все это было знакомо! Неудержимо следовало за этим — губернское, российское, подымавшееся сплошной далью, дымами крыш, присутствиями, уходящей во тьму низких полуосвещенных улиц стародавней конкой. Реальнее всего нависала перед ним синевато-пепельная громада генеральской шинели с золотыми слитками погон. Он явственно чувствовал седые добренькие усы на розовых чистых щеках, прихрамывающую походку, палку коричневого камыша с черным резиновым наконечником...

Старина, глухая, темная старина!

Генерал двигался медленно и курил через старый пенковый мундштук; он волочил ноги в мешковатых, с красными лампасами брюках; большие его калоши, окованные желтой медью, с разрезами для шпор, поднимали пыль; в его руках плетеная веревочная сумка для провизии: он сам покупает дыллат и цветную капусту. О Тамбов, Пятигорск, Николаев! Раннее утро, парк, большие кленовые листья, попираемые генеральскими сухими окованными калошами; наверное, веет зимой, дети в шубках играют на песке, солнце пригрело пустые скамейки... Он шел медленно, почти не сги-

баясь, серый, как Куропаткин, генерал и, безусловно, с фамилией вроде Клюки фон Клюгенау...

Ланге мучительно морщился. Он знал это сам: сотню лет тому назад, несомненно, — он сам это видел, — именно тогда, в парке, генерал покупал газету.

— Паслушайте! — крикнул генерал раздраженно и затопап вслед бегущему, звонко кричавшему мальчику, махнув палкой.

Газетчик подлетел и на ходу выхватил целую пачку свежих липких листов.

— Паслушайте... вы! — Генерал все размахивал палкой. — «Эхо», я вам говорю, мальчик! И какие это еще шимозы?!

Он взял газету, сунул мальчишке двадцать копеек.

— Идите! — крикнул он, не дожидаясь сдачи, совсем яростно. — Идите, идите, идите!

Изумление.

Но Ланге чувствовал, видел совершенно точно и определенно, как спина генерала удалялась широко и плоско, как шаркал по песку резиновый наконечник его палки; хлястик на его спине сидел очень широко и низко, шея генерала беспомощно жилилась под медно-красной щетиной.

Все это промелькнуло в его крови мгновенным физическим ощущением: шимозы, Ляоян, какие-то станции; от генерала несло стареньким сухим запахом шкатулки красного дерева. И теперь — этот подьесаул Позднецов! Было невыносимо от этой схваченной на лету и навсегда застывшей, не уходящей жизни.

Ланге бросился из тесной, просветленной последним солнцем каморки, вышел на волю.

На сухих смирных листьях бродил тихий увядающий день. Сторожка лесника, липа у бесчаного обрыва, сад, изгородь с веселым подсолнухом совсем затерялись в безбрежности, налитой в мире. В низком кустарнике, стлавшемся серым дымом, резким полетом ласточки чертилась и взлетала по косоугру тропинка. Река закуталась в дымку. Прозрачно поднимаясь над лугами, уходил горный берег, весь в темных впадинах оврагов. Утреннее солнце слегка дрожало. В освещенном лесу рябины там и сям пылали изнуренным тревожным румянцем.

У сарая, за желтыми бревнами нового кордона, к нему бросилась пенельная круглая лайка и, умильно

визжа, рассыпаясь пахучим мехом, стала тереться у ног. Обездчик мазал тарантас, собираясь на станцию.

— Чать, не соскучился на даче? — крикнул он весело, сияя всей своей широкогрудой и косматой фигурой, проседью бороды, круглыми и блестящими, как у зверя, глазами. — А не то прокачу до станции. К обеду обернемся, Борис Сергееч! В лесхоз мне не заезжать.

Нет, Ланге никуда не поедет. Он присел на шелушащиеся, сваленные у сарая сосновые бревна, задумался. Нет, он никого не ждет; он, собственно, всем доволен: его работа, правда, медленно, но верно идет вперед; вчера он убил трех вальдшнепов; ему отлично у объездчика Антипа Алексеевича Пестова. Вот эти письма, на один и тот же адрес, он очень просит сегодня же отправить заказными; больше у него нет никаких пожеланий...

Старик радостно и приятно вздыхает. Все будет сделано. Он аккуратно кладет письма в кожаный картуз, пробует колесо тарантаса, приподнимается и, подняв голову, слушает. Далеко, за сухими лугами, в бледном небе слабо гогочут гуси. Они оба вытягиваются, замирают.

— Воздух зовет! — говорит вдруг лесник решительно. — Солнце сейчас всю землю кружит. Самая глухая пора.

Пауза.

Гуси пропали. Ланге встал, потянулся:

— Ну, счастливо доехать!

Он обнял пушистую, щекочущую сухой предзимней теплотой собаку, любовно оттолкнул ее и быстро пошел по тропинке в лес, настороженный кругом сиреневыми, частыми, как былинник, стволами.

Он шел быстро, с наслаждением вдыхая крепкий вкусный воздух, студено стоявший на рассыпанных листьях. Было особенно приятно брести, зарываясь в листву, шуршать ее желтыми сугробами, чувствовать телесную теплоту отдохавшей всем своим огромным телом земли. За баней, черневшей провалом разбитой двери и стоявшей как отдаленный домик детства, зарывшись в мягкий, разваленный кругом лист, лес был дико прелестен. Кленовник был редок, строен, украшен золотыми и красными флагами, круглые упругие ветки его, напившись ночного тумана, стояли дерзко, полнокровно. Было

видно далеко окрест: как выложен ровно и желто низ всего цепкого, лоящего каждый звук леса. Огромные кленовые звезды-листья изредка порхали, перелетывая между стволов.

Ланге остановился и замер. Паутишка ласковым прикосновением погладила его щеку. Он ничего не заметил. Он ощущал, как темно-красным потоком неслось в нем ощущение жара, дикой воли, танцующего иступления. Хотелось закричать на весь лес, хохотать, броситься на траву и целовать ее пахучие блеклые стебли. Он лег, прильнул всем телом к холодной сырой земле и стал слушать.

«Атавизм!» — подумал он машинально, надвигая на голову куртку, уходя в набегающие звуки, шепоты, почти небытие. Под его щекой ломко звевела трава, он слышал, как шумела земля, улавливал ее тугие, прерывистые удары, ощущал темные, певедомые запахи, движение воздуха.

Земля стучала медленно, осторожно. Ланге закрыл глаза. «Я завещаю себя грязной земле, на которой я вырасту своей любимой травой». Это были слова любимого поэта. Очарование их пробежало по нему иступленной судорогой. Сырой, проникающий в грудь запах земли вливался в него звуковыми сновидениями, погружал в их колдующие, мучительно неотступные волны. Слова набегали, рассыпались, окатывали друг дружку ласкающими оттенками звуков. Это было пещерно-счастливое глубокое колыханье пад отвесом бездонной памяти.

Он слушал. Он ждал. Он читал запах воспоминаний. Пахло полынью, ее легкая осенняя гарь приносила былое, степные дни, блекнувший седой горизонт, — едва горели затерянные глухие огни... «Южный фронт!» — подумал он торжествующе, жадно собирая остатки своей памяти. Возникла ночь. Военная темнота провизала его чувством щемящей тоски. Кругом на степи было заброшено, печально и скучно. Велло мраком из разбитой хаты, тихо хрустели кони, люди спали под синими звездами, обнявшись с оружием.

Он помнил: шипели последние костры, в сонном забвенье прошлое едва воскрешалось хриплой, обрывавшейся руганью... Свежело и серело в степи. Казак спал, запрокинув в седло смертные ямы лица, его русые волосы путались с космами черной папахи. Исчезали звезды.

В каторжных липовых устах запеклась улыбка: был в ней сон легкой счастливой земли, высоко светился и уходил мерцающий девический образ,— и тотчас все оборвалось рассветом, сбитым, растрепанным жаром и руганью последних промозглых сумерек. Полынь лежала изморосью. Старинное чувство боя! Оно поднялось ликующей волей, вместе с солнцем, блистая кривыми дымящимися клинками. Туман восходил огромным раскаленным шаром, тушил костры, поднимался гибелью, полынь уносило в отгоревшую пропасть звезд...

Ланге еще раз пережил прошлое. Исчезли костры, исчезли седла и лица, он помнил лишь образ, тот самый, что снился в последнюю ночь, что играл на смертных улыбках, что шел и смеялся сквозь ругань и вставал над мирами спокойною лаской. Она проходила, совсем близкая, через все моря, пустыни и страны, в красной сказочной шапочке, с тем именем, которое звучало для него полной загадкой своей простоты и обыденности. Он мог бы назвать ее тысячами имен: она была в запахе сырой шумящей земли, сквозила в гибельной гари полыни — и все, все говорило только об одном, о неизменном: вот, неопровержимо ясная, светлая, как день, проходит она через пронасти и темные фронтовые ночи, через все города и дороги мерцающей замоскворецкой улицей. Он узнает — это Пятницкая! Как невыносимо просты и знакомы ее серое с мехом пальто, ее обычные, сжатые у чемоданчика руки, ее ожидание у остановки трамвая. Она ждет, каблук к каблуку, закусив полные, нетерпеливые, совсем еще школьничьи губы. Она смотрит, не глядя ни на кого, как всегда прямо, уверенно, непоколебимо. Трамвай красным блеском и звоном бежит по Пятницкой...

Ланге вскочил, сбросил фуражку — его охватило играющей бездонной пустотой света. Вся оглушительная бездна неба хлынула в его глаза. И там, в мигающих провалах, сияющая прелесть мира сразу вынесла занемевшие ночные тени. Он протер глаза, осмотрелся. Кругом в сером лесном тумане стлались низкие летаргические долины. Землю ласково и золотисто клонило ко сну. Воздух, совсем в обмороке, озирает вокруг: недвижный лес, дальнее зеркало реки, кленовый лист, слетевший влюбленным, шуршащим признанием.

Он медленно побрел к дороге. У ручья, из темных кустов, перепутанных липовыми ветками ежевики, из

самых водяных, студеных и отдававших мокрой крапивою потемок столбом поднялся огромный ржаво-коричневый вальдшнеп. В голом лесу заныряли его острые крылья и визко повисшая длинноносая изумленная голова. Ланге замер, точно от удара, и бросился за ним. И тотчас другая птица с треском сорвалась с примятых, уложенных на земле листьев и потянулась за первой.

«Высыпка», — блеснуло у Ланге, бессмысленно хватавшего ветки и задыхавшегося от бега.

Он остановился. По дороге, мягко вздрагивая, приближался шум тарантаса. В осиннике выставилась и, старательно прихрамывая, закачалась лошадиная морда, мелькали колеса, сплошь облепленные узорчатыми яркими листьями.

— Хоп! — крикнул Ланге, обмирая от счастливой теплоты лесного шума колес, от всей этой нежной русской картины.

Объездчик ловко ударил вожжами лоснящуюся спину лошади, бойко выкатил на прямую дорогу, свистнул.

— Борис Сергеич! — по-охотничьи дружелюбно и радостно гаркнул он, сдерживая лошадь. — Вальшней вы спугнули?.. Птица вся на ключах, обязательно, я вам говорю... Охота!.. — восхищенно махнул он рукой и потянулся к подошедшему Ланге всем туловищем: — Закурить не хотите ли?

Лесник огладил косматую бороду, глаза его темнели степенной приязнью, совсем по-отцовски. Славно, заботно оглядел он улыбавшегося Ланге, спял кожаный картуз, достал ярко-красный кисет с вышивкой, развернул его закорузлыми черными руками.

Они помолчали, оба улыбаясь, не зная, что еще сказать приятного, — старые лесные друзья. Ланге свернул папироску, заклеил ее слюной и, потянув разом затрепавшее косое пламя со спички, почувствовал томительное, острое удушье. Табак был самосадный, мореный, обжигавший, как чистый девяностоградусный спирт, и голубой дым его уносило, как легчайшую паутину в солнечном воздухе.

— Ну, бывайте здоровы! — решительно повернулся старик, нахлобучил картуз и, ловко подбоченясь, севши особенно молодо и непринужденно, тронул. — Письма я вам беспременно привезу, Борис Сергеич! Н-но... Я т-те-

бя! — замахнулся он притворно грозно на лошадь. — Балдуешь!

Тарантас дернуло, вынесло; лошадь, фыркая и нервно вздрагивая крупом, бойко пошла по мягкой и ровной дороге, колеса давили на листьях новую колею.

Объездчик обернулся еще раз. Ланге помахал ему фуражкой, его бледное лицо оживилось. С утра у него было и беспричинно замирало в груди.

— Черт его знает что! — махнул он рукой, выплюнул липкую ядовитую цыгарку и пошел на кордон.

Старал незабвенный, почти летаргический день.

## 2

Мир избушки, ее низкие, оклеенные сплошь стены, окошки, дующие запахами разогревшегося сада, галерея мертвых — «вечная память — вечная слава», кровать, сооруженная из лавок и прикрытая клетчатым пледом, для него уже не существуют. Он пишет, бормоча отдельные фразы, изредка откидываясь на спинку расшатанного венского стула, заглядывая в окно и вскакивая с места.

— Оно еще не упало! В конце концов это совершенно невозможно!

Он смотрит в сад пристально, не отрываясь: на вершине голый, колющий воздух терниями черных сучьев яблони, мучительно пригнув ветку, не может сорваться вниз огромное тугое яблоко. Оно висит, налившись упругим пьяным холодком, кажется — все мироздание зовет его вниз. Кругом сучья яблони тлеют угольно-синими огоньками. Воздух совсем райской яркости созерцает все это изумленно.

И все-таки, о боже, оно сейчас упадет...

Ланге кидается к столу. Он пишет. Его мелкий ровный почерк покрывает бумагу безукоризненными линейками строк. Жадно затягиваясь папиросой, еле поспевая за своими мыслями, он продолжает:

«...Иван-царевич, ты не можешь представить, как я изнемогаю: оно уперло не падает и совершенно, кажется, не собирается упасть. Эта история тянется более двух недель. Ты, конечно, получил посланные мною письма и знаешь мои взгляды относительно всей этой чертовщины на земле. По-видимому, надо только пожалеть оставше-

гося в дураках Ньюгона. О, я теперь понимаю, почему старый Энгельс называл его «индуктивным ослом»... Он висит, этот прообраз счастливой созревшей земли, постигая все противоречия тяготений, все равновесия, упиваясь своей сферичностью, — одним полетом он готов вступить в тайну заверщенного. Мир смотрит на него своими голубыми спокойными глазами. Вот-вот оно должно сорваться, упасть, стукнуться в мягкие, ожидающие в сыром холодке листья. Кончено!

И душа моя вступила  
В предназначенный ей круг.

Говорят (говорят!), высшие ступени развития есть снятие противоречий. Однако я, мой добрый, грустный друг, по-прежнему пребываю в неизвестности.

Представь, от Н. нет ни одной строчки. Ни малейшего намека на какое-нибудь внимание. Совершенно царственное молчание или — чертовская, какая-то самоуверенная жестокость!

Не знаю, быть может, так и нужно. Быть может, всякая юность должна быть жестокой. Пусть! За ее плечами стоит свежее утро эпохи, эти рань и заря, в которых заспанное теплое детство смотрит столь эгоистично и погруженно в себя...

Но все же в ней нет никакой доброты. Представь себе эту язычицу, этого прелестного варвара, с ее чемоданчиком, с ее восемнадцатилетним стажем, с голосом, высоким и стройным, как былинка. Вот он поднимается хрупким грудным удивлением, гнется, совершенно покоряет тебя задушевностью и опять недоступно и далеко выгибается прямою и дерзкой юностью...

Предо мною, повидавшим достаточно всякой жизни, эти жестокие каблучки проходят каким-то чудом. Чудо, чудо! Необъяснимое, лирическое чудо! Непостижимо смотрит оно на меня значком общества «Динамо», глубочайшим презрением ко мне, как жалкому дилетанту, не постигшему плавания с правильным дыханием; чудо смотрит на меня сдвинутыми строгими бровями и всегда деловым лицом, где лишь случайно, украдкой, можно поймать, — не иронизируй, ради Христа, — нечто вроде розового облачка на месте затуманенной холодной щеки. Итак, действие первое — мы идем вместе, вокруг — неизвестный осенний вечер Москвы, уже заброшенный в памяти. Она идет прямо, никогда не оборачиваясь,

не смотря по сторонам, как ходят эти гордые девушки в беретах, она идет, это новое чудо вселенной! Она любит ходить здесь и ходит постоянно лишь потому, что здесь живут «свои». Огромные вечерние фабрики стоят у реки, раскачивая серую ртутную воду решетками зыбких холодных огней. Их смутные трубы тают в московском зареве. Там, вддали, у освещенных фонарями кремлевских стен, роня быстрые огоньки, словно спасаясь от преследования, появляются, трогают жужжащем воздух и убегают по набережной трамвай. Разговор ведется в полутонах, в некоторой не решенной еще наивности.

Любит ли она это место?

— Люблю? Ха-ха! — Она произносит часто это любимое восклицание. — Ненавижу! Вообще ненавижу все в Москве, кроме Арбата... Арбат! У меня была чудная комната, а теперь наш дом давно сломали и там выстроили почту...

— Почту? Да ведь это же почти рядом... Я так часто покупаю там марки. Но неужели почту?

Это звучит явной бессмысленностью.

Она отвечает совершенно спокойно:

— Ну да! Большую серую почту...

Полное молчание.

Она родилась, смеялась, бегала в том воздухе, в том доме, где царствует обширный приглушенный почтовый покой...

Арбат, почта! Я влюблен в этот край мансард старинного русского Парижа! Эти заросшие травой переулки, беспечная родина смещливых арбатских девчонок, подстриженных городских причесок, веселых башмаков и округлых ног, мелькающих под смех школьных мальчишечьих губ!

Веселая, почетная, незабываемая родина... Но ведь здесь тоже необычайно. Здесь, конечно, ей тоже должно нравиться. Она не может не любить всех этих геральдических сказочных стен, этих разбросанных шахматными фигурами башен, реки, несущей свою черную неприютность между зачарованных гранитных устоев Москвы!

Любит ли она этот вечер, полный неисчерпаемой густоты, легкости, старинной, неуловимой пустоты и вечерних огней?

— Нет, нет! И хожу здесь только потому, что здесь живет наша команда. Жорж Медников... Вы его знаете?

Она вскидывает на меня изумленные, чуждые глаза.  
— Нет?! Он взял первенство. И вообще — он прекрасный мальчик. Что? Вот пустяки!

И сразу нахмурившись, что-то вспомнив, она говорит:

— Вообще я не признаю и не верю в никакую любовь. Никакую!

— Надя, неужели совершенно? Совершенно?

— Совершенно.

Иван-царевич! Я чувствую, как заливают меня всего теплыми щекочущими токами. Какая новая истина! Я, признаться, не знал, что существуют такие девушки... Я просто смеюсь, меня заливают радостью и легкостью, мне становится весело как никогда.

Она смотрит на меня недоумевающе.

«Какая важная, важная!» — хочется крикнуть мне, схватить эти легкие, полноватые плечи, кружиться с ней до иступления и хохотать от беспредметного счастья.

Сейчас я пишу тебе с острым и жадным ощущением прошлого. Тот вечер так далек, его унесло вдаль, и где он сейчас? На какой планете? Под какими звездами? «Наденька, — хотелось сказать мне, — это вовсе не смех и вовсе не беспричинная радость, но мне вспоминается снова далекое ощущение, и, конечно, вам никогда его не понять. Я слышу все то же, как тогда, лежа в туманной степи перед боем, много лет тому назад. И ночь, и не скоро рассвет, и тускло в тумане светят боевые костры. Это нечто совсем неуловимое и может показаться бессмысленным — какая-то мелодия, звуки, слова. Может быть, это просто тема для лирического поэта. Но во всем этом присутствуете вы. Да, ночь пройдет, поднимется солнце и упадет для нас уже навсегда. И кто же вспомнит нас, диких, безыменных, зарытых прошлой убитой жизнью? И будет все то же — новый рассвет, дымная земля, солнце живых. Это старая история: так перед боем, сверкая оружием, заброшенные в гибель вспоминают всю ночь спившуюся и неизвестную женщину... Наденька! Я смеюсь, но не над вами, конечно, я тоже не признаю никакую любовь...»

Я изредка смотрю на нее, беру ее под руку. Мы идем вместе, касаясь плечами, по длинной, совсем уже пустой улице. Круглая и серьезная теплота ее руки, мягкое предплечье проникают через перчатку сильной и властной нежностью. Под грубыми шерстинками пальто ее женский

мир царствует над моими пальцами, поселяется в них и танцует в крови под самыми кончиками перчаток. О, это темное и зоркое зрение рук! Мы идем медленно и молчим.

— Ужасно неудобно! — говорит, освобождая руку. — Простите меня, но я люблю ходить просто так...

Она смотрит прямо мне в глаза черными блестящими зрачками; левый глаз у нее немного меньше правого, чуть прищурен!

Что на это можно сказать!

— Пожалуйста, пожалуйста!

Я засовываю руки в карманы. Я молчу. Но мне хочется сказать ей что-то необычайно значительное, трагическое, быть может даже обидное.

— Надя! — начинаю выдумывать я. — Мне скоро придется уехать из Москвы. И, вероятно, очень надолго.

Она переспрашивает совершенно равнодушно:

— В самом деле? И куда?

— Куда? Конечно, я могу поехать для своих занятий, требующих спокойствия и упорства, куда угодно... Но я поеду в лес, к своему приятелю-леснику, в осенний лес, где отлично просыпаться с рассветом и где нет ни телефонов, ни многочисленных друзей, ни женских глаз. Кроме того, мне необходима солидная теоретическая обработка своего жизненного опыта.

— И больше ничего?

Не находит ли она, что этого мало для полезной жизни и социально-полноценного поведения?

— А мне больше ничего и не нужно в данный отрезок времени. Мне надоела Москва. Я уезжаю послезавтра.

Так. Она думает о своем, она совершенно спокойна.

— Послезавтра? Боже, какой счастливец!

И вдруг оживает, светлеет, наполняется шумом эта живая здоровая девушка.

— Вы знаете, — говорит она смеясь, и родника на ее щеке становится дерзостной, — я все время мечтаю удрать в Ленинград... Но это так трудно: меня не пускают дома, и вообще с нашими разве сговоришься. Ах, как чудно я провела бы время. У меня там столько подруг и знакомых...

Опять совершенно не в плане моих жизненных путей. Молчанье.

Мы приближаемся к мосту, обдутому с реки грубым и сальным холодом воды. У противоположного берега,

оборванного отвесным гранитом, колет глаза голубой электрический шар; шипя, галлюцинируют клубы тяжелого пара, бредя пыхтящими трубами, черными осатаневшими людьми, стропилами и балками. Там весь берег смутен от зеленоватого вечернего дыма.

Мы переходим через мост, минуя поворот блестящих, будто вычищенных о землю трамвайных рельс. Она идет рядом, как всегда глядя вперед, не оборачиваясь и не заботясь о том, что делается по сторонам. Ее рука невозвратна — не может быть, что я держал ее когда-либо в своей... Да и вообще — чушь, чушь и чушь, и надо действительно уезжать. Теперь в самом деле приходится уезжать.

Мост сотрясается тревожной лихорадкой движения. Совсем рядом мотающимся световым трезвоном пропосится трамвай. Он заставляет нас кинуться налево, и тотчас упруго вскакивают с желтых наклоненных столбов света впереди два расплавленных пылающих солнца; они упираются в наши глаза мгновенным спяньем, рокотом гудка, вскриком, волчком приглушенного несущегося шума. Ослепительно-черные тени стремглав бросаются от нас длинноногими стрелами, и на миг я вижу яркий берет, чемоданчик у рук, задержавшиеся сзади, отгненные белым пламенем глаза. Мгновенно мигают мне: звездный муравейник города, сразу перелетевшее в реку стремительное небо, вспыхнувшая и мерцающая, как на экране, брусчатка мостовой... «Надя!» — хочу крикнуть я, напрягая все тело, чтобы отпрыгнуть назад, приостановить секундную инерцию шага, задержать ее перед налетающим бешеным роком, и в то же мгновение чувствую, как ее рука с непонятной силой толкает мое тело вперед. Я двигаюсь в завертевшуюся, непроходимую темноту, — и сзади живым ледяным ветром, почти коснувшись спины, проносится повисшая на всех своих тормозах машина и, дернувшись, застывает на месте, опавнув нас раздавленным дыханием.

Ее рука еще крепко держит мою, она властно ведет меня и не хочет остановиться, из машины что-то громко кричат вдогонку, но я ничего не слышу. Я не нахожу сил произнести хотя бы одно слово. С трудом я поворачиваю к ней свою голову.

Она просто представляет моим глазам свое розовое лицо в теплых пушинках смеха, с блестящими, широко открытыми глазами.

— Чудно! — говорит она проникновенно. — Мы пролетели под самым носом.

Героическая эпопея исчерпана. Она идет, опустив глаза, начинает напевать. Это у них всегда так, у этих девушек. Она вытанцовывает на ходу замысловатый чарльстон, отнюдь не смущаясь потрепанными башмаками, у ней собственные мысли. И наконец она выпускает мой локоть. Соучастничество, очевидно, закончено. И очевидно, мы идем по ее улице, и ей вовсе не хочется попадаться на глаза знакомым с пожилым юношей в таком тесном союзе. Скоро нужно будет сказать прощальные слова: она живет в старинном особняке с большими темными окнами. Поздно. Улица уходит в ночь нескончаемым булыжным коридором, вертя ночные пыланыя фонарей.

Она останавливается.

— До свиданья, — говорит она совершенно обычно.

В эти слова входит все: вечер, темная знаящая калитка, решетка сырого, пахнущего погребом сада, протянутая мягкая, чуть припухлая рука.

— До свиданья...

Я спрашиваю: быть может, у нее найдется время написать мне несколько строк?

Она смотрит холодно и недоуменно:

— Зачем?

Царевич, старый друг! В самом деле, перед этим вопросом умирает всякая поэзия. Зачем? Она совершенно права. Да и у меня вряд ли будет время писать свои длинные, никому не нужные письма. Мы стоим молча, чего-то ожидая. Она медленно раскачивается корпусом взад и вперед. Я начинаю поспешно прощаться: я тороплюсь, нужно собрать кое-какие вещи, завтра, быть может, я успею взять билет на дальний двухчасовой поезд.

Она поворачивается, медленно уходит.

— Вы опять курите? — говорит она уже из темноты двора.

— Прощайте!

Я возвращаюсь обратно к сквозняку, в речную озябшую ночь. Город уже пуст, тротуары гулко отвечают шагам. Мосты, башни и огни на реке уходят в зловещие времена Тауэра. Мне нужно попасть в западную часть города, пересечь Арбат и держаться линии «Б». Почти пустой, нарядный светом и полированным блеском трамвай несет меня по набережной, раскачиваясь из стороны в сторону. Встречные вагоны вдвигаются в нас мгновенным шумом и

огнями, мигают человеческим потоком и снова проваливаются в темпоту. Напротив меня садится дама в низко надвинутой шляпе, с яркими, окровавленными краской губами. Движение вагона клонит ее в сторону, она деланно и страдальчески морщится и задерживается на мне снисходительно-оправдывающейся улыбкой. Это мне знакомо — и превосходно. Черт знает что, мой дорогой Царевич! Всю жизнь везет мне на длинноносых и толстозадых...

У памятника Гоголю, отлакированного поднявшейся мелкой изморосью, я выхожу. Средневековые замки Арбата давно спят, лишь на углу бессонные инвалиды торгуют папиросами. Узкое ущелье улиды уходит вперед сырой, блистающей фонарями глубиной. Я знаю здесь каждое окошко, но каждый раз я открываю все новые и новые каменные лица. Арбатские дома встречают меня тайными дружескими улыбками.

Дорогие друзья! Я воспитан вами, вы заложили в меня неведомых химер, я чувствую в вас веселых, героических бардов нашего города. Закованные в каменные панцири, вы ждете своего Гюстава Доре; все мое детство освещено столбами его величественного света, падающего из облаков, словно в средневековом храме; я пленен навеки его рыцарскими дубами, амбразурами его высоких башен, ущельями его замков, стоящих непроходимым мраком. Здравствуйте, веселые гезы! Погруженные в сон, вы храните жаркое дыхание, тревожные мысли нашего века. Храните! Храните! Я прохожу мимо вас и слышу, как стучит ребяческое сердце спящего в суровости города. Я приветствую вас — серые громады, вас — молчаливые каменные переулки, вас — новая серая почта, выстроенная как храм идолопоклонников. О, какое прямоугольное капище, уходящее в дождь; огромные стекла, ступени в испарине грязи, медные начищенные ручки, двери, легко уходящие вглубь, бесшумно, плавно, точно гроб в зале крематория! Здесь, в этом воздухе, стоящем между паркетом зал и высокими, слабо освещенными потолками, где-то над конторками, полированными стеклами и шкафами, бродит ее детство и, привстав полно-обтянутыми чулочками на подоконник, сосет ириску. Вот оно пробегает по комнате и смотрит, не отрываясь, в окошко: там, в мире, все стены ослепли от мягкого белого света; на Арбате выпал снег; черная веселая толпа освещает яркость и белизну тротуаров; зима дует, краснея, на кончики пальцев.

...Я вхожу в полуосвященные, музейно-чистые почтовые покои. Мне нужно много марок. За глубокими вырезами окошек телеграфа степными кузнечиками цокают и щелкают аппараты Морзе... Это страшно знакомо: ночь пылает лампами-«молниями», бумажная лента ползет далеко за полночь, — еще живая непропавшая штабная ночь. Мгновенье столь быстролетных канувших лет!

— Дюжину марок! — говорю я в полукруглое слуховое окошко даме, совсем седой гувернантке в пенсне, с припухшими веками, погруженными в папиросный дым. — Что? Пожалуйста, дюжину марок.

И я продолжаю свой немой-задушевный разговор:

«Да, да, Наденька, понимаете ли вы, насколько это важно и значительно... Воспринимать все с той серьезностью и простотой, что принадлежали нам в отдаленном детстве. Но, знаете, у меня от этих лучей и потемок остались лишь какие-то пушистые зайцы и одна загадочная, как фант, песенка:

Эп, беп, грпкотен,  
Цукер, мукер, пумаден,  
Ас, бас, трибас,  
И выходит — кислый квас.

Не правда ли, чертовски непонятно, совсем, совсем непостижимо! Я и сам не могу в этом разобраться».

Но что это, что это такое?! Седая гувернантка превратилась в злую оперную дуэнью. Она угрожающе шипит уже в самом окошке. Седые букли растут у нее из прически. Я никогда не видел таких круглых от негодования глаз.

— Молодой человек! Это безобразно! — кричит она мне нависающим у самого уха шелотом. — Каких вам марок, наконец? Я вас спрашиваю — каких?

Все летит кувырком. Я плачу за марки; дуэнья, не глядя на меня, хлопает по дубовой доске серебряной сдачей. Я отхожу от окошка раздавленный, уничтоженный. Арбатская почта! Я спускался по ступенькам, переполненный невозвратным, ощущая глухую тоску времени и пространства. На улице уже лил дождь, прыгая и мгновенно вырастая на тротуарах студеными водяными почками. Омерзительно щелкая копытами, тащился по мостовой извозчик. Пьяный, с непокрытой головой человек слонялся у стены, прижимая к себе мокрые и недоступные камни. Наконец он остановился, повис у стены, застыл. В универмаге на углу полусонно стояли на своих

манекенах высокомерные серые костюмы, выпитив в ночь пустые двубортные груди. И тогда под дождем, мой милый друг, мой ненаглядный Царевич, поздней, промозглой ночью ее прямая недосыгаемая фигурка, знакомая шапочка, проходящая над городом и его временами, ее нежное, устремленное в себя спокойствие пронизали меня тем, что мы склонны называть страданием...»

Многоточие. Ланге дописал двенадцатую страницу. Он бросил ручку на стол, приподнялся, взъерошил волосы. Густые, сросшиеся его брови стали почти черными. Он встал. В окне за садом лес лучезарно светился охрой ровно выложенных на земле, один к одному, продолговатых, почти табачных листьев. Солнце дрожало. Оранжевое дымчатое сияние радужно веяло в воздухе. Было время обеда.

«Сейчас должен приехать!» — подумал Ланге. Он закурил, прошелся по комнате. Что же, будут газеты, журналы, быть может письма, но она, конечно, никогда не напишет ни одной строчки, ни отзвука на целый поток его корреспонденции...

Он вздохнул, собрал со стола окурки, бросил их в печку. Взгляд его скользнул по стене: темным блеском выгнутой тяжести запрокинулось на ремне его любимое старое ружье. Он взял в руки тяжелое, холодное как лед оружие: ружье разломилось в его руках широкими, уходящими перспективой стволами. Он закрыл ружье, вскинул его к плечу — и почувствовал тоску, томление... Заячья черная спина, стоящие, стремительно прыгающие уши и шорох, сорвавшийся с густой, заросшей, как предание, межи, — все это ударило ему в голову. Пора, пора! Ланге повесил ружье, дописал ровным обычным почерком письмо и заклеил конверт. Он улыбнулся, подчеркивая адрес знакомое, сочувственное лицо друга встало бездонными теплыми глазами.

Точка. Он старательно пригладил письмо, встал. Ему показалось: приближались голоса, ближе, ближе — смолкло... Нет, то была полнейшая праведная тишина леса. Было так тихо, словно у самого уха кто-то взвел тугие, беспощадно щелкнувшие курки. Осень хранила каждый малейший звук. Тишина пела привычную песню. Вдруг у самой его двери столкнулись громкие голоса, оборвались... Он вскочил. Голоса были близко, светлый грудной смех перерезал удивленную тишину в сених и сразу пронзил его сладким ужасом; в дверь ворвался пестовский низ-

кий добродушный говор, и вдруг весь мир раскрылся оживленным стуком, невероятным в своей близости мгновением.

— Сюда, барышня... Не упадите. Борис Сергеич!

Это был гром, тяжелый удар землетрясения.

Буйная тяжелая поступь, перемешав легкий, совсем неопиcуемый женский шаг тысячами скрипов, порохов, дуновений, надвигалась к его каморке.

— Можно?

Голос прозвучал звонким, переломившимся дыханием.

И Ланге стремглав бросился навстречу.

### 3

Они столкнулись в дверях — и он сразу вскрикнул, пошатнулся. Все — бордовая шапочка, стемпевший блеск ее глаз, сухие раскрывшиеся губы — ужаснуло его своей правдивостью. Словно огромный сияющий блик мигнул в душевной парализованной темноте. Как пропасть падения, пронизал его неуловимый, ничем не постигаемый страх. Сопrotивляясь, страстно желая кинуться к ней, защититься, он поднял руку...

— На-дя! — вдруг вырвалось у него громко, ликующе. — Вы?!

Она задержала дыхание, смотря на него во все глаза. Ее голос прозвучал, как всегда: нежной, спокойной, как лозинка, гибкостью.

— Как поживаете? — спросила она быстро. — Ну да, конечно, это я! — Она рассмеялась и уже уверенно, как дома, крикнула, задерживаясь на пороге: — Де-душка! Таштите мои пожитки! Здесь мне очень нравится, и, думаю, Борис Сергеич меня не прогонит... Да, — обратилась она к нему, — я получила от вас на станции целых три письма. Они у меня здесь... вот!

— Ах, да...

Ланге смотрел на нее с изумлением, бледно улыбаясь.

— Разорвите их.

— Нет, для чего же... Я очень люблю получать письма. — Она посмотрела вокруг. — Как у вас чудесно. Мне очень нравится.

— Я так рад, знаете...

Молчание. Обьездчик, еле пролезая в дверь тугим и толстым полушубком, втащил фибровый чемодан. Надя

бросилась ему помогать. Он, широко улыбаясь, снял кожаный картуз, обер рукавом бороду и, радостно обводя ее круглым, упрятанным в косматые брови взглядом, шумно вздохнул.

— Борис Сергееч! Не ждал?! — Голос его поднимался, как всегда, восторженно и весело. — Да что уж за дела такие! Вот уж так рад, что повстречал Надежду Михайловну, прямо не расскажу... — Он обмер, задохнулся. — Батюшки! Только приехал, а она, матушка, с поезда слезает... Ну, прямо такая удача. Захватить бы мне утром поранее, в аккурат ей, дорогой, на станции ночевать! — Он закачал головой: — Вы, Надежда Михайловна, всегда старайтесь телеграмму подать... а то не дай бог! Вот Борис Сергееч, так тот...

Он говорил шумно и ласково, смешно сморкаясь, отвлекаясь в сторону воспоминаниями и бесконечными рассказами. Они возникали у него буквально на каждом шагу, на каждом просеке, при виде каждого дерева. То он оглядит исподлобья тропу: «В ерманскую, в самом шестнадцатом году, здесь вот убил лесничий лису. Такая славная лиса — девять четвертей»; то понюхает воздух: «Теперь, — скажет он, — весь сок под землею бежит, никакого воспарения не принимает»; то поднимет сухую уже, обретенную ветку: «Беспрерывно, стало быть, и лоси тут», — и, закурив свою ядовитую, бьющую комара на лету трубку, скажет таинственно: «Зверь — он по земле ходит и землю всегда слушает!»

Его рассказы были неистощимы. Он говорил, и Надя слушала его с остановившимися глазами: она была коренной москвичкой, никуда не выезжала. Лесник рассказывал ей о куницах. Она сняла шапочку, вертела ее на пальце. Ланге искося, затаенно оглядывал ее сухую, сверкающую короткими блестящими прядями прическу, розовый холодок лица, сильные, полноватые ноги. Его поразила ясная человеческая прелесть ее улыбки.

Надя улыбнулась, встала с хромого, податливого стула.

— Батюшки! — оборвал свой рассказ Пестов, комично переходя в неподдельную тревогу. — Заговорили барышню. Им с дороги покойствовать надо, а я тут про куниц развожу. Иду, иду! — замахал он руками. — Просим милости обедать, а насчет охоты, — он весь зацетинился волостками своих улыбок, — чай, погостите у нас... поохотничать вместе...

— Конечно,— смутилась Надя,— обязательно.

Объездчик вышел, осторожно ступая севями.

— Знаете,— обратился к девушке Ланге,— мне прямо невероятно. Я никогда не думал...

— А что вы думаете? — перебила его Надя.— Я приехала просто так... Совершенно! — Она посмотрела ему в лицо совсем холодно, гордо—и засмеялась.— Я так смешно ехала! Всем наврала, насилиу отделалась... все хотели меня провожать. Я же уехала в Ленинград, понимаете? В Ленинград! Ха, вот будет потеха, если узнают у нас дома...

Она посмотрела на Ланге и добавила быстро:

— Я получила от вас столько писем!

— Да?

— Есть очень милые.— Она сразу оживилась.— Мне страшно нравится ваш почерк, не то что у меня: свой я ненавижу.

— Да?

— Держите мое пальто.— Она поправила волосы.— Вид у меня, наверно, кошмарный!.. Вы какой-то странный. И — все курите. Да? Вы, говорят, дружите с поросенком! И называете его Борей!

Ланге пожал плечами, криво улыбнулся: ах, да... поросенок... Но откуда она об этом узнала? Ведь он не писал в письмах о подобной идиллии. В самом деле, он часто разговаривал о самых серьезных вещах с этой скотиной.

— Вы возьмете меня на охоту? Завтра же?

Он становится серьезным.

— Обязательно. Слушайте, Наденька, устраивайтесь, как хотите, приводите себя в порядок. Отдыхайте. Вы можете спать здесь, на моей постели. Я устроюсь у Антипа Алексеича.

— Ничего подобного. Вы будете спать здесь же. Ха-ха! — произносит она свое восклицание.— У меня чудное, чудное настроение! Мне здесь очень нравится — и ваш дед, и лес, и все...

— Ну вот, и очень хорошо...

Ланге взглянул еще раз на ее лицо, вышел. Она стояла перед ним неуловимая, далекая, как воздух, спрятанный под тончайшей четкостью облетающего, чуть стареющего дня. Он вышел к липе, обернулся: Надя смотрела в окно, высунувши золотистую прическу: перед ней был сад, леса, заколдованная солнцем тишина лугов. Она засмеялась: Ланге был так длинец и неуклюж в своих бо-

лотных сапогах; он смотрит, уходит... Ей странно, смешно, щекотно. Какой он все-таки непонятный, а иногда и чужой. И, в сущности говоря, для чего она приехала? Ланге, Ланге! Она прыгнула со стола, завертелась на каблуках, осмотрела стены с их картинками, не обратила на них никакого внимания, нашла на столе письмо. Москва, адресат ей незнаком; но какое толстое, большое письмо! Она никогда не получала таких. Она поднимает письмо, дует на него, о чем-то думает, улыбается... Трай-та, ти-та, там! Она бросила письмо, подошла к шкафчику, раскрыла дверцы, внимательно осмотрела чашки, стаканы, сахарницу; в сахарнице были шоколадные конфеты; она взяла самую большую, засмеялась, съела. Что это? Ланге пьет коньяк? Целых три бутылки. Странно. Она задумалась, стала раскачивать дверцы шкафчика, наклонив теплую веселую голову. Ей надо переодеться, помыться, причесаться. Она прыгнула, еще раз засмеялась, подбежала к запрокинутому на стене ружью, потрогала синие холодные стволы и начала стаскивать через голову пеструю вязаную кофточку.

4

День падал в бледные холодеющие сумерки. Черный лес заочепел, совсем отодвинулся в запыльную лиловую даль. В дубовых кустах туманно завохтели и перелетели дрозды. Стояла тишь. Воздух вырубал стеклянным топором каждый голос, шорох, мгновение звуков. Надыхаться прозрачностью, набегаться по живому листопадному шуму, крикнуть в лесу, наестся холодной как лед кровавой рябины; вдруг услышать голоса на кордоне, отдаленный лай; засмеяться на щецерный, погибающий вопль рога.

...Жизнь, жизнь! Она вездесуща, она везде, она касается своим дыханием щек и груди. Вот она стоит и зовет, вот она нагибается, бежит и смеется... Жизнь! На всю затаящую тишиной долину лесов вдруг пролетит ошлеивающий медной тоской гончий завывающий вопль. Еще. Тишина. Ветер. Голоса. И — голоса идут по лесу, голоса оборачиваются и стихают.

— Беспременно, я вам говорю, Борис Сергеевич! — говорил кто-то неуклюжий и большой, продираясь сквозь кусты.

И вдруг совсем рядом, другим уже голосом, с ветром и шорохом, бормочет, говорит лес:

— Конечно, конечно. Мы так и сделаем. Но куда же она запропастилась?

Позеленевший латунный рог вновь поднимает алчущую далей бурю. Лес отдает голоса, молчит. Ветер несет звуки, шарит в листьях, бормочет у самой земли.

— Борька, Борька, Борька... Ишь, шельмец! — Голос Пестова из осторожного, подманивающего переходит в быстрое, ласкающее. — Борь, Борь, Борь, — говорит он и смеется.

Надя видит, как они стоят в лесу и нагибаются. Длинный, лопухий и насквозь розовый поросенок ложится у их ног, поднимая кверху короткие точеные копытца. На его перламутровой щетине, через весь нежный и застенчивый бок, выведены лиловым огромные буквы: Боря.

Лес четко передает хохот, отдаленные слова, заглушенные быстрые шаги.

...Жизнь, жизнь! Она касается горячим, нежным дыханьем щек и груди, тянет целовать воспаленные листья, как письма слетающие с раздетых деревьев... Счастье!

Надя расхохоталась, не выдержала и бросилась к ним навстречу. Она успела обежать пруд, была у реки, ездила на лодке. Ее грудной смех стал еще прозрачней. Она вся была холодок, вечер, она вся была тонкий запах лесов. Она подбежала, взяла их под руки и, прижавшись, выгнувшись, таща их вперед, стала рассказывать. Огромный объездчик шел, конфузливо согнув напряженную руку. От лица его, полного лесного добродушия, исходила серьезная торжественность: проворная крепкая рука, державшая его полушубок, была необычна и ставила в тупик. Надя рассказывала беззаботно, весело. Она часто смеялась, в ее голосе носились стрижи, веял золотистый вечерний воздух.

— Борис Сергеевич, вы на меня не сердитесь? — говорила она. — За поросенка? Ведь это я написала...

— Ради бога! Это такие пустяки.

— Нет, серьезно? Ведь вас не разберешь...

Она помолчала.

— Я видела ваше яблоко... мне очень хотелось подарить его вам, я начала трясти, но оно не падает. Да, еще забыла привезти свои новые фотографии.

Ланге остановился.

— Ничего не поделаешь, — сказал он без притворства печально. — А может быть, это к лучшему. Вы не должны и не можете хорошо выходить на фотографии. Антип Лексеевич, — обратился он к объездчику, — посмотрите, разве она может получиться: у ней лицо, как ручей. В самом деле, ваше лицо бежит, как ручей под солнцем!

Он смотрел прямо в глаза девушки — они смотрели на него беззаботной правотой жизни.

— Это вовсе не пустяки, — говорил он, жестикулируя. — И было бы совершенно ужасно, если бы вы хорошо выходили. И вы не должны огорчаться, что это так. Поверьте мне: так называемые фотогеничные лица принадлежат людям, не обладающим богатым ассортиментом душевной жизни. Надо сдать в архив все старые буржуазные представления о красивом женском лице. Выставки фотографов — это ужасные ярмарки пошлости.

Он рассказал об одной актрисе. Он разгромил с десяток кинозвезд. А девушка слушала и улыбалась.

— Первое место, — говорил он, — принадлежит женщине не прекрасной, а милой, так сказал один из тонких русских поэтов. Да, да, — размахивал он руками и обращался к объездчику, стоявшему с мрачным и напряженным лицом. — У меня есть несколько заповедей, отличных заповедей: каких можно любить и на каких нужно и должно жениться...

— Господи, ну на каких же? Я, например, не люблю, ненавижу свое лицо.

— Прежде всего на таких, которые совершенно не выходят на фотографии. Во-вторых... и это очень важно, вдумайтесь: нужно любить таких, которых никак нельзя представить через пять, через семь, через пятнадцать лет. Больше всего бойтесь ощущения рассказанности. Это совершенно ужасно, безнадежно... Ах, Надя, как печально ощущать все эти будущие отвисающие подбородки, красную мертвенность глаз, все эти моськины щечки, бородавки, утренние тяжелые кашли, узловатые, брюзгливо оплывающие ноги... Нужно искать женщину, в которой нет и намек на это ужасное неизбежное чувство — «завтра». Это — вторая заповедь. Третья — но она принадлежит уже моей матери, которая говорила: «Целуй только ту женщину, которую тебе не стыдно привести в круг самых дорогих друзей».

Надя задумалась. И вдруг быстро, резко переспросила:

— Ланге... ну, а вы, сами... ну, вы... любите хотя бы одну женщину?

Она взглянула ему прямо в глаза.

— Я?.. — Он растерялся, ему стало душно. — Могу вам сказать, — начал он задумчиво, с мягкой, поразившей ее душевной пристальностью, — могу вам сказать, что самую «милую» женщину я нашел в книжке, которую вы, конечно, читали... Я вам могу прочесть несколько строк.

Он освободил руку, вытащил из кармана темно-зеленой куртки клеенчатую книжку, быстро ее перелистал.

Надя, крепко держа под руку огромного, косматого лесника, ждала.

— Вот... Слушайте. — Он начал читать: — «...Таким образом, всегда мне нужно что-нибудь такое, что захватило бы меня с головой, как бы мало ни подобало это солидной особе, от которой, — на ее беду, — всегда ожидают чего-то умного. Но мне ведь нужно иметь кого-нибудь, кто поверил бы мне, что я лишь по ошибке попала в водоворот мировой истории и, в сущности, рождена пасти гусей...» — Ланге захлопнул книжку. — Все!

Молчанье.

Они пошли медленно, тревожа шумные вороха листьев. Кордон был уже рядом.

— Кто же это написал? — спросила она наконец, хмурия брови и перекусывая кончик желтой былинки...

— Она никогда не выходила на фотографиях, — сказал он, засовывая в боковой карман записную книжку. — Это написала Роза Люксембург. — Он задумался и добавил хмуро: — Ах, Надя, мы, все, собственно, рождены пасти гусей!

На кордоне уже вздули желтые, теплые огни. Совсем завечерело. В воздухе чувствовалось, как кругом, не шевелясь, вытянувшись напряженными ветками и стволами, стоит туманное море лесов. Землю несло в железную тишину ночи.

— Ну вот, отыскались, стало быть, — хрипло и весело наконец оборвался в своем молчании объездчик, страдальчески освобождая локоть из Падиной руки.

Он ловко перекинул через плечо латунный измятый рог, расправил грудь и, уже веселый как всегда, бросился закрывать сарай.

— Надежда Михайловна! — крикнул он из темноты. — Попьем чайку и спокойствовать до завтра. Заходите, не стесняйтесь!

До самого позднего вечера просидели они под низкой керосиновой лампой, за большим свистящим самоваром. В избе у объездчика было чисто, стоял опрятный, бездетный покой старости. Пестовы доживали свой век согласно и дружно, протянув в лесу длинные сорок лет жизни. Было хорошо глядеть на их суровые запавшие лица и в полусне — от осеннего воздуха, жара избушки, горячего, пахнущего яблоками чая — слушать как бы совсем дальние старинные разговоры, сливающиеся в уютный лесной шум. Так чувствовала Надя. Окошки в избе бойко, матово запотели. Надины щеки горели необычно, на глаза набегали огромные, оплывающие сиянием блики. Ее укачивало — то шумом тарантаса, то самоварным топким пением, то близкими, а может быть, и далекими голосами. Ее мир наполнялся неведомыми звуками и ощущениями.

Все остальное прошло перед ней свежим пахучим холодом новизны.

Когда они вышли в ночь, небо как будто уже потеряло свои изначальные магнитные силы. Бездонная бледность звезд мерцала отдаленно и неясно. Пахло туманом, близким морозом. Она крепко засунула руки в карманы модного пальто. Отовсюду наступала тьма. Их темная избушка едва выступала, заброшенная в какой-то древний, таинственный лес. Они с трудом отыскивали крыльцо, тугую непослушную дверь с железной скобкой, вошли в сени. В темноте Ланге чиркнул спичкой, на них бросились красные испуганные стены и отступились. В сенях ее обдало свежестью, сразу наполнившей весь ее мир детской и жуткой радостью. Она почувствовала нервную дрожь, всю новизну своего положения и вдруг подумала: «Ах, если бы он...» Но она ужаснулась своим глупостям.

Каморка была радостно, до белого румянца печки, натоплена. Пахло сушеным сеном. Его молодой щемящий запах приносил нагретые травы, ромашки, легкое жужжанье. Пахло дугами, какими-то веснушками земли. Надя осмотрелась, сбросила пальто, радостно оглянулась на Ланге: она так рада — ему приготовили мягкую постель у самой стены, ему будет хорошо; вообще все пока очень славно. Почему он так долго возится с лампой? Она шумно вздохнула и села на скрипнувший венский стул, опустив руки. Ланге зажег лампу и, не раздеваясь, смотрел на нее в упор.

— Почему вы так смотрите? — спросила она со своей милой улыбкой и вдруг сладко, неприятно зевнула.—

Мне так хорошо! Вы знаете, я лягу, ну а вы что-нибудь расскажете... Нет, нет! Мне не хочется спать.

— Быть может, вы выпьете рюмку коньяку?

Он поставил ружью, словно освещенную солнцем бутылку, рюмку, стакан.

— Нет, нет, я не пью...

Он налил в стакан, выпил, закупорил бутылку.

— Пойду угощу Алексеича, ну а вы раздевайтесь, ложитесь. Я постучусь.

Не надевая куртки, он вышел, даже не оглянувшись, бережно затворил дверь. Шаги его удалялись, смолкли, оборвались. Тишина зазвенела, зашела, тихонько закипая горелкой пылающей лампы.

Надя быстро разделась и легла. Постель показалась ей необыкновенно свежей и мягкой. Она откинулась на подушку, задумалась. Печка наносила на нее горячие, атласные волны! Нечего сказать! Она вместе с Ланге, вдвоем, где-то в лесу! На мгновение ее ужаснула вся эта история. Ночь, томящий запах леса, тоскливая сила пьяного острого воздуха, сено, борода лесника; уносящая ее вдаль летаргическая сила осенних пространств — все это кружилось у нее в голове, в сердце, во всем теле властным горячим пламенем. Какая странная, длинная, непонятная история! Она припомнила последние вечера, перечитывание его писем, их ровные, легкие, красивые строки... Нет, нет! Сегодня она окопчательно убедилась, поняла... Ланге? Никогда! Никогда!.. «Они — все такие». Эта чудовищная мысль оскорбила ее смутные потаенные чувства. Как ей не стыдно! Он такой милый, правдивый, внимательный. Она стала улыбаться самой себе, части самой себя, лукавя со своей изменяющей душой. Ей было приятно, нежно, обольстительно. И все-таки: «Нет, нет, нет — никогда!» С торжеством она чувствовала твердое, окончательное решение.

Она прилегла поудобней, вытянулась так, что лицо ее закрыла большая прохладная тень от шкафчика. Окопчко зазвенело от стука, смутный подземный голос Ланге донесло из-за стекла, из темного сада.

— Конечно, конечно, можно!

Она слышала, как он обошел дом, искал дверь, загремел половицей.

— Надя, вы не спите?

— Нет. Что вы!

Он поставил на стол почти пустую бутылку, откинул

назад волосы. Лица ее он не видел — оно было закрыто тенью. Он подошел к ружью, снял его с крючка, положил на стол.

— Какая глухая ночь, — приглушенно звучал его голос. — Простите меня, я протру ружье. Завтра мы выйдем чуть свет... Нам нужно переправиться на горы. И мы пойдем далеко, в наши темные, пустые поля. Но какая странная ночь, если бы вы знали, какая грустная ночь...

Она не ответила, погруженная в новые, набегающие ощущения. «Неужели он пьян?» Эта тревожная мысль заставила ее вздрогнуть. «Не может быть!» Лицо Ланге смутно белело над столом. Она видела, как он разобрал ружье, любовно протер его тряпкой; длинная прядь волос свисала с его выпуклого лба, он над чем-то возился...

В избушке стояла чистая, заброшенная тишина. Надя лежала, смотря в потолок: перед ней мягким косым прибоем бежали бесконечные волны. И голос Ланге откликнулся ей уже издали, словно из темного опавшего леса; он говорил, говорил; ей показалось, что она протянула ему руки; звук его голоса качался как маятник: раз-раз, раз-раз...

— ...И всегда, в прошлом, в настоящем, — говорил он куда-то в пустоту, тихонько глядя ружье, — слышите... всегда... возникали именно они. Далеко, темной ночью, туманом, каким-то небывалым смеющимся детством. Вот я сплю, дремлю, весь старинный, закрытый белоснежным счастливым мраком. Где вы были тогда, где дышали, мой далекий, неузнанный друг? Не знаю, не знаю. Но мне и тогда, в той непогоде, мерещилось все то же: и поле, и ночь, и дорожный туман, и одни во всем мире под вьюгой пушистые теплые зайцы... Ах, казалось, тепло, тепло им под снежным степным одеялом. Мир натоплен до звезд, и вьюга завывает не здесь: там, над всем домиком вселенной...

Он выпил еще коньяку, захлебнулся.

— Вьюга и зайцы, зайцы — старинные пушинки мира!

Ланге откинулся на спинку стула, голова его никла, он говорил все тише и тише; казалось, голос его опустился к самому сердцу, до слез.

— Наденька, — бормотал он, — непроглядная, слышите...

Быть может, он ожидал чуда. Невыносимое желание взять ее руку, отдать ей прожигающий его бред заставило подняться, приблизиться, говорить еще тише и не-

уловимей. Он слышал, как дышала она, ему казалось — ее уставшие внимательные руки разговаривают с ним и отвечают ему теплым благодарным согласием. Переполненный чувством признания, он хотел позвать ее, окликнуть...

— Надя! — прошептал он едва слышно, как он мог прошептать лишь несколько раз в жизни.

Ему никто не ответил. Он подошел совсем близко, взглянул — и сразу отшатнулся, ударенный в самое сердце. Девушка беззаботно спала, сомкнув длинные влажные ресницы, спала так, как спят только в позднем охотничьем лесу.

5

Это был последний день солнечной, светлой земли. Всю ночь, оцепенев под инеем, ждали рассвета — последние птицы, листья, промерзшие ягоды, одинокое яблоко, вымытое звездами мерцавшего сада. В камерке Ланге едва тикали часики, их тончайший стук долетал до звезд. Было тихо. Земля бредила расставаньем, седым озябшим туманом; порою неясный гул просыпался в ее темных недрах, — сладко очнувшись, потягивалась, томилась и зябла ее тихая долина, — и снова падала в сон. Шло новолуние — холодное таинство планет. И каждая былинка обмирала под вещим заячьим дыханьем.

Медленно сходила голая, воспаленная ночь. Из вечности грустно и хрипло пропел петух. Смолк. Чуть зашелестел, прозвенел — быть может, звездами? — мимолетный ветер жизни. Над лесами вздохнуло, гулко треснуло веткой, оборвалось, чуть стало брезжить. И деревья, прощаясь с последними красными листьями, провожали этих милых детей за моря...

Иссякала ночь расставанья.

Ланге проснулся, вскочил, почувствовал тесноту; он спал не раздеваясь; тихонько, чуть грохоча сапогами, подошел к окну. Уже серело. Спутанный сумрак висел над садом; в позеленевшем небе трубили охотничьи рога — звезды прозрачно выморозило. Она — спала. Ему казалось, что от ее постели шел предутренний сухой жар, качавший комнату.

Этот вчерашний вечер, коньяк, его петушинные самонадеянные разговоры!

Он вздрогнул и оскорбленно поморщился: вся его горькая чаша опрокинулась в груди. К черту. Теперь все кон-

чилось. У него осталось столь много... и эти поля, поля... Потянувшись, он подавил зевоту. Его бросило в холод тоски предрассветных сумерек.

В сумерках все звало охоту. Уже в тишине с легким звоном пели подружейные поля; в их тонкий голос врывался улетающий стон: то запевало дуло, заунывно раздубая мотив скитальческой удалы... Он схватил фуражку, мигом надел куртку, патронташ и вдруг, уже спокойно и грубо стуча сапогами, подошел к девушке.

— Был сон. Щекотал его любовную близкую мрею запах сушеной солнечной былинки. Пахло сеном, скошенным лугом, пригорком. Снились старой заброшенной колее полевые зори, июльское теплое колесо...

Ее вырвало из сна: кто-то тряс ее руку, смеялся, говорил: «Надя! Соня! Вставайте!..» Она прятала руку, хотела вернуться в сон, побежать к нагретой, сухой траве. Ее не пустили.

Она открыла глаза, как в Москве, зевнула, потянулась глазами к светлой, с темным крестом рамы занавеси, — и сразу вспомнила... Москвы не было! Был темный, новый, вот-вот родившийся, незнакомый день. Окно серело холодной жесткостью.

Она не узнала Ланге: он показался громадным в своих мужественных ремнях, опоясавших грудь; он уходил куда-то вверх, его лицо вспыхивало под угольком папиросы. Он стал неузнаваем после вчерашнего смутного и непонятного вечера.

— Неужели нужно... так рано? — спросила она, зевая, голосом, полным сонной теплоты, и приподнялась к окну: там чернела дикая лесная ночь. — Как темно и страшно!

Он смотрел сосредоточенно.

— Быть может, зажечь лампу? Вставить нужно немедленно. Слушайте, Наденька, — сказал он, и она заметила, как сразу охрип его голос. — Я вчера говорил вам много всякой ерунды. Я просто выпил. Простите меня. Больше этого не повторится.

— Я ничего не помню, — ласково ответила девушка. — Мне так хотелось спать, ей-богу, я ничего не помню!

— Очень хорошо. Надевайте самые простые чулки и свитер. А я очень рад. Вам даются пять минут... Есть?

Она смотрела из темноты живыми блестящими глазами. Он снял сумку, висевшую на стене, привычно перекинул за плечи ружье. Она сидела в прежней позе; положив

подбородок на коленки. Ланге ее удивлял: его ремни, грубые спокойные шаги, уверенность, с которой он собирался, военная фуражка и особый тон голоса — все было необычно. Она задумалась. Ледяная мгла ночи, стоящая за окнами, сделала ее незащитной; она чувствовала глухую бездну, прижимавшую их теплый затерянный уголок своими черными пространствами.

Ланге вышел в темноту, хлопнул дверью. От лампы в окнах стало еще темнее и бездоннее. Она вскочила, стала лихорадочно одевать чулки, спрыгнула с кровати. Полуночное утро теплело над ее обтянутыми чулками кружевной белизной. Ах-ах! Она положила руки на бедра, покачала головой, уши ее горели от жаркой сухости волос. Странно! Она задумалась, запела, побежала к чемодану.

На кордоне уже сонно клокотал самовар. В розовом дымящем заморозке занималась ранняя заря. Тепло в избе казалось после сумрака ночи спящим, пригревшимся от собственного дыхания. Ланге сидел в фуражке, курил, ждал и уже волновался: «Пожалуй, и верно — последний раз перед снегом. Но какой день! Русаки будут лежать сторожко, срываться молнией, а стрельба просто с находа — самая дальняя и трудная. Да, сейчас весь русак уже в поле, на межах, по оврагам». Он любил эту бродяжку, в сущности говоря, рассчитанную только на знание повадки зверя охоту...

— Пожалуй, к снегу... Что-то похолодало!

— Пожалуй.— Обьездчик возился у печки с обувкой.— Вон землю как обручем стянуло... Хоть и замереки!

Ланге лениво вытянул ноги, чуть сторбился. Светало скучно и зябко. Пришла Надя — в светлой фуфайке, теплой шапочке — и посмотрела на него совсем кротко: она опоздала по причинам уважительным... Пили чай. Собственноручно она налила ему стакан, подошла и поправила воротник куртки. Они почти не говорили. Была особая многозначительность в коротких обрывистых фразах, в молчаливой торопливости, в полупелоте, которым передавались непонятные ей намеки о каких-то «лежках», «сметках», «порошках»... Она чувствовала за всем этим смысл этого расцвета, еще живой, не пропавшей ночи, будущей дальней дороги и совсем неведомых ей темных, неприютных полей. В избе еще шевелился сумрак, тараканы шуршали за лубочными картинами.

Они вышли на волю, и сразу ее охватило металлическим осенним холодом. Воздух казался серым, тайным, поджидающим из-за угла. Ланге скрипнул калиткой, строго цыкнул на собаку, опавшую на Надю предзимней сухой теплотой, горячим дыханием. Собака сразу виновато отстала. Они быстро спустились на холодные и смутные луга, прошли мимо стога, еще окутанного ночью, и на ровной выбитой тропинке она сразу ощутила всю дикую, захватывающую прелесть этой безмолвной, еле поспевающей за биением сердца ходьбы. Впереди смутно нависал горный берег реки, зевая темными, еще ночными оврагами. Она увидела, как идет осенняя, поднимающая пар вода, согревая водяным дыханием свои бегущие железные глубины. Сзади вся лесная долина уже подымалась тысячами дымок; она увидела их домик, затерянный в сером кустарнике: это было далеко, казалось, невозвратно. Всюду, куда она только ни смотрела, миллионы запахов, туманов, сыростей поднимали к ней холодные, пьянящие пары; в кустах шиповника возились осторожные порохи, неясные зовы; вода неслась мимо, говорила на странном, неуловимом языке; она увидела, как смутные и дрожащие камни пили студеный, тянущий вниз это дрожание поверхности полумрак; подымался рассвет; она чувствовала, что воздух начинает тянуть ее властными иступленными пространствами; все обращалось к ней, все воспаленными тайными устами искало ее глаз, к которым — она чувствовала, почти осязала — оранжевые рябиновые кисти припадали пылающим жаром. Невыразимо сладко было отдаваться веселым бегущим шагам, дыханию, переполнявшему грудь, своим глазам, которые звало и упрашивало небо!

Река проходила вниз прозрачной невозмутимостью.

Ланге вытащил, выворотил из кустов низкую долбленную лодку, ушедшую на воду с мягким шуршаньем. Надя стояла неподвижно, покусывая горькую веточку: он торопился, почти забыл о ее существовании.

— Садитесь, — обернулся он к ней и, не спрашивая, снял потянувшее гирей ружье, — только не уронить!

Он помог ей пробраться на середину лодки, сесть, устроиться. Зайдя по колено в самую темную, ледяную воду, он оттолкнулся, прыгнул и, ловко выгребая веслом и выкладывая журчащую зеленую воду, вывел ботник на течение.

Он греб ровно и опытно.

— Надя.— Он расплылся в закрасневшейся, мальчишеской улыбке. — Так ли гребут у вас в «Динамо»? Держитесь! Раз...

Ей не хотелось говорить и думать. Московские воспоминания мелькнули слабо. Вспомнился Жорж Медников с невозмутимым пробормотом над матово самоуверенным лицом. Она нахмурилась: с ней происходило совсем непонятное.

Вода бежала кругом мягким журчаньем, и берег наплыл сразу, задавил свет зари, косо загородив даль неприступной глиной, ветками и оврагом. От него дохнуло мертвенным, застоявшимся холодом. Они выскочили на берег. Утро уже раскрыло ночные тайны, жертвенный его дым подымался к древнему, в ледяных ослепительных иглах, солнцу.

Это был последний день осени на пустой, освещенной земле. Громадный ее полукруг подымался в зареве зажженных, плывущих в тумане лесов. Впереди овраг, заваленный листьями, бормотал спросонку студеными потремешками ручья. Тонко и грустно пахло здесь сухими ветками, ягодами, грибами и мохнатым бурьяном. Стекляная изморозь травы сжимала ноги одиноким, тоскливым холодом. В овраге, подымавшемся кверху мелькающей стеной нанизанного часто осинника, настоялась могильная, слепая тишина. Дно оврага густо заиндевело можжужушником.

Надя еле поспевала за охотником, засунув по привычке рукав в рукав, спотыкаясь о корни, глотая ключевую воду воздуха. Из темного, как склеп, дымящего прелой пахучей сыростью куста мягким округлым взмахом пахнула на них огромная серая птица и бесшумно замахала в кустах. Девушка вскрикнула.

— Сова! — остановился Ланге. — Большая. Вы не устали? — спросил он ее. — Скоро выйдем! Вы испугались? Пустяки.

Он зарядил ружье, взял ее под локоть:

— Ну... пойдете. Нам нужно в поля...

На ветках стали нависать белые пустые капли, осыпаясь приятной ключевой свежестью. Надя совсем задохнулась, подымаясь по крутому пахучему лесу, ей стало сразу жарко, возбужденно-весело. Кругом с каждой минутой становилось совсем беспредельно, торжественно. Громадная сила жизни тянула вдаль поголубевшее небо. Когда они вышли на гору, она чуть не вскрикнула: — размахом

молнии пролетел необъятный лесной горизонт: стояло полное солнце, пригревая каждую былинку; мир, как ребенок, вышел погулять на это последнее, гладившее кожу, ровное тепло. Повсюду, куда только хватал глаз, от лесов бежали ровными квадратами щетиновые, памятые поля в густых, обросших туманами межах: кругом березовые перелески мылись под ясным утренним сияньем; отовсюду распахивались чистые, непаглядные окошки вселенной, — в них все уже было выметено и прибрано к зиме; вдали черный, опавший и застекленный лес говорил о веселых улетевших стаях...

— Боже, как чудно! — вырвалось у нее.

Она невольно схватила его за руку. Они стояли друг возле друга, безмолвные, полные далекого, полутемного чувства. Светлейшая тишина парила над ними, река, полная света, остановилась в кустах и песках. И он услышал вдали, из дальних лесных прогалин, такое прозрачное, такое удивительное воркование.

Конечно, он попросил девушку быть внимательной. И она слушала звуки лесов, как школьница слушает лекцию о заманчивых и непонятных вещах.

Это была последняя прощальная нежность осеннего мира. Далеко, страстно токовал в лесу черный тетерев. Золотые, наивные звуки умирали в воздухе, обрываясь лепетом неведомого, прыгающего по лесным камешкам ручья. «У-ру-ру-ру-ру», — звала кого-то осторожная черная птица. Потом смолкла. Он стоял покорно возле нее, такой кроткой. Она не знала, почему это ей вздумалось взять его за руку.

А солнце поднималось.

Поля бежали, бежали вперед.

Ломко, звонко хрустели под их ногами соломенные щетки полей, заиндевшие мохнатым туманным серебром. Живья дышали тяжелым сонным паром, полные заморозков и ясного холодного солнца. В ивее недвижно стояли высокие репейники — молчаливое царство былинки, полыни, засохших татарников, веселых розовых цветов; заглохшей колеей межи клонились эти полевые заросли, уже подтаивавшие поздним прозрачным утром.

В глубокие глиняные овраги стекали нестерпимо зеленые реки озими. На солнце дымился совсем постаревший, увядающий в сырости холод. Все ждало снегов: межа, продрогшая последней одинокой ночью, конопляник у растерявшегося, недоуменного перелеска, отъезжий сумрак хмурых полей...

Очарованные поля! Их проводила в зиму последняя ночь звездным, близким дыханьем. Русачьи сметки в эту ночь были безумны, запутанны. Лунное тяготение тревожно гнало древние токи крови, тянуло звериный шаг слепой жутью первого снега: заматеревшая шерсть светледа, густела от осенних звезд, и заячий шаг вдруг ослепительно бросало в прыжки; его гнало неуловимым шорохом через поля, в глубокие овраги, в кривые темные промоины ручьев, в самые глухие, заповедные заросли полей, где каждая былинка знала все мироздание...

Была глухая тревога опустыньи. За ночь на озимь опустились в последний раз гуси. Они летели в Египет, в сирий туман морей. Всю ночь стыло в морозе их сытое, теплое гоготанье. Самой темной ранью птицы грозно поднялись в воздух, и поле слышало долго их стройный треугольный шум. Когда взошло солнце, поле уснуло, забило заячьим дыханием в заросшую тишину межей и дремало в ожидании снежной теплоты. Все слышали они — древние поля, родина ромашек, репейников, русачьих горячих прыжков. И они услышали вдруг, за много сот длинных, медленных шагов — ломкое, осторожное, крадущееся напряжение; поле вздрагивало, морозно трещало; это надвигались неотступающие человеческие шаги.

Они шли. Каждая соломка подслушивала их тяжелую, уже уставшую поступь.

В этот день все в мире знало мучительную магнитную истому земли. В каждой пушинке пробегали сладкие, зовущие токи восстаний. То — звали новые страны, то — летели дальние стройные стаи, поднималось священное оружие, сплетались любовные руки, то — в гулких, сторожких лесах бродили охотники. И все тянуло в дальние, неведомые миры.

И они, эти наследники нового тревожного города, проходившие в мертвом ожидании полей, не знали, что новолуние уносит сегодня последний подвиг листьев, гусиный полет, бродяжий человеческий шаг. Они бродили ненасытно, проходя через овраги, ловя каждое шуршание совсем

застывавшего дня. Было такое страстное оцепенение в склоненных, прижатых друг к другу былинках, в давно умерших цветах, такое ожидание движения, стремительного шороха, залчьего бега в этих древних, непроходимых межах, такое напряжение в склоненных вниз, смертельных ружейных стволах, что Надя, вся розовая от ходьбы, уже изнемогала от нетерпения и мучительного, словно обреченного ожидания. Она уже чувствовала себя в полной власти коротких охотничьих посвистываний, полусогнутой темной куртки, с вытянутым, страшным заряженным ружьем; властных движений — вправо, влево, назад; его тайных знаков, сразу звавших ее лихорадочно машущей рукой, его перекошенного волнением шепота, грубой неутомимости, силы и воли, которым она подчинялась с неясным для нее, тайным наслаждением. Все переменялось. Она была охвачена новым чувством, не знакомым ей раньше; детская преданность, стремление быть с ним рядом, гипнотизирующая сила оружия — все это заставляло ее, закусив губы, задерживая дыхание, напрягая последние силы, следить за каждым его движением. Тяжелый блеск ружейных стволов, сухое щелканье взводимого курка надвигались на нее секундами зажмуренного, нестерпимого ожидания; спокойная, уравновешенная сила оружия, готовая вот-вот разорваться дымом, потрясающим огнем удара, вставала в ее ощущениях новым миром мучительного покорного страха, покорности и вместе — обаятельного, нежного безумия. И в центре была уверенность пересеченных ремнями плеч, его лица, совсем далекого от нее, остающегося с собой наедине, вместе со взведенными курками, со своей решительной бледностью. В секунды полной тишины, считающей каждую травку, сорвавшуюся под ногами, — тогда, когда все уходило в его быстрые движения, в решимость, в твердое вскидыванье ружья, — ей становилось трудно, невозможно. И это тянулось все утро, так долго, без всякого результата.

Ланге коротко свистнул. Они подошли к новому полю, густевшему перед ними тяжелым, разломанным жнивьем, пересеченным межами, заброшенными полосками и мелким кустарником. Его голос донесло невнятно: он почти не смотрел на нее во все это смутное, оглушившее ее утро. Остановка. Сейчас они пойдут по двум межам. Здесь, он ручается, где-нибудь обязательно *лежит*; здесь он убил не одного матерого, превосходного русака; в этом поле — их старинное, любимое место.

Они двинулись. Все поле с ужасом следило за их движениями; каждая травинка вскрикивала от боли и тревоги под их сапогами. Сухой треск соломы резал тихий воздух стальными ножницами. Коричневое поле стлалось грубой неопровержимой силой. Надина шапочка нежно светлела и качалась над межами. Если бы она знала, как ценна и невозвратна была ее жизнь в это заповедное утро! Сухой, последний репейник настойчиво хватал ее за руку, упрашивая не идти, остановиться.

Они двигались непреклонно, затаив дыхание. Поле надвигалось на них темнотою своих спрятавшихся, заросших уголков. Иногда жнивье лезло так густо, что страшно было опускать шаг: нога натывалась на жесткий, беспощадный, колющий шум. Вдали поле опускалось в низкую долину, синевшую кустами и овражками, — и снова ровные, мохнатые полосы лезли вверх, обрываясь голубой нетленностью чистого неба.

«Как далеко!» — подумала Надя. — А что, если побежать туда, взобраться на холмы, еще и еще, дальше? Как хорошо бы прибежать и вдруг увидеть там конец света... Прямо — обрыв, и — ничего: небо, пустота, без конца и возврата. Схватиться бы за руки, взяться крепко-крепко и броситься, и лететь, лететь...»

Сухой, металлический треск сорвался у нее из-под ног. В секунду он повторился шорохом, тяжело метнулся качнувшейся густой веткой репейника и вдруг ужасным, близким прыжком выскочил впереди нее: огромный длинноухий заяц, словно нехотя, вскидывал перед нею белый пушок хвоста, срывая былинки, чернея ноздреватой головой, и вдруг пошел прямо через поле...

Ее оглушило хлынувшей к голове кровью.

— Заяц! Заяц! — закричала она диким, не своим, иступленным голосом.

И в тот же момент русак молнией вытянул туловище и, прижав черные закругленные уши, выкинул отчаянный, голсвокружительный прыжок и бешено замелькал голубой тенью над слившейся рыжей землей.

Поле прыгнуло и помчалось за ним; сбоку раскатисто и дымно ударило, и где-то далеко, — она видела, видела, — прыгнуло в последний раз и вмиг остановилось поле; заяц мгновенно дрогнул, покачнулся и сразу опрокинулся на бок. Надя видела, — кричала, ликующе бежала к нему, — он огромной кошкой протянулся на колючей борозде, белея пушистым светлым брюшком.

— Ланге, скорее! Ланге! — продолжала кричать девушка, прижимая руки к груди.

— Готов! — отвечал он ей, как будто спокойный, перезаряжая ружье, еще дымившее длинными стволами, и вдруг нелепыми саженными прыжками кинулся за ней к светящемуся на земле пушистому комку.

Она добежала, еле дыша.

— Фу! Здорово! Но какой милый, милый, бедный...

Ланге приподнял русака, кинувшегося вниз передними лапами и тупой безжизненной головой с коричневыми ночными глазами. На его рябой от крови морде сияли уже зимние, ждущие вьюг и снегов усы. Русак был матерой, с черным ремнем на бархатной спине, весь запыленный от плотной и теплой седины. Ланге прикинул русака на вес. Ничего! Этот потянет фунтов на десять.

Надя смотрела на все это молча, закусив палец руки, о чем-то напряженно думая. Что с ней? Она ничего не понимает. На нее надвигалось нечто ей совсем неизвестное, ликующее и вместе с тем опасное.

— Так, — сказал Ланге. — Видите, как все просто и несложно.

Он бросил русака, встал на одно колено, начал разглаживать мягкую, ласкающую руку шкурку. «Старое детство, заяц, этот день... — Ему стало глухо, отчаянно, безнадежно. — Если бы кто знал... какая жалкая, ненужная победа!»

Надя подошла к нему совсем близко. Она по-прежнему о чем-то напряженно думает и кусает палец левой руки. «Ха-ха!» — произносит она одно из своих восклицаний. Она смеется, кладет руки на его плечи, срывает с него фуражку и вдруг начинает быстро колотить по его спине кулаками. Он никак не может повернуть к ней голову, бледнеет, ничего не может понять, — и она неожиданно, полная решительной силы, чуть не плача, шепча несурезицу, запрокидывает его изумленное, сразу похудевшее лицо и начинает без конца целовать его щеки, пахнущие полевым холодом.

Пропал день, ушел вечер, уже прощально, по-матерински смотрели в далекое зеленые осенние звезды. Стыл последний туман, шествовал холод, беспримельный коче-

неющий мрак земли. К полночи северная туча закрыла леса, багровый рожок молодого месяца, потушила отсветы давно умершей реки. Гуси уже не гоготали в спрятанном темнотою небе. Был поздний час, замереки, ожидание снега.

И ровно в полночь на кордоне, когда давным-давно задули огни, царствовал сон, объездчик слез с печки, нащупал валенки, надел их и, крепко прикрыв дверь, вышел на двор. Туча закрывала последние звезды, стоял глухой оловянный холод.

Он сошел с крыльца, остановился и так и остался стоять с поднятой, непокрытой головой, вытянув огромные тяжелые руки. Смутный, нарастающий гул едва уловимо шел с севера. И ничто не ответило на этот первый, чуть долетевший скрипящий шорох. Шли замереки. Последние звезды текли великой тоской в исчезающем небе. Лесник огляделся, взглянул на избушку Ланге, притушенную в темноте сада; высоко поднял голову.

— Спят! — громко сказал он и грустно, широко вздохнул, припомнив стародавнее.

Гул приближался. Поток ветра ворвался в сад, зашумел и дохнул на него снегом. Лесник стоял, никому не ведомый, и слушал. Все спало, забывалось под налетающим снегом, и казалось, никого в живых не осталось на этом дальнем, пустом хуторе. Лишь тихонько стучали под звездами московские часики и в безглазую тьму в закипутой на краю света избушке со стены зорко, неустанно смотрели с фотографий мертвые, давно забытые всеми офицеры российской армии; в их числе был подъяесаул 113-го Заамурского казачьего полка И. Позднецов, убитый под Ляояном. Он глядел лихо из-под сибирской папахи.

Но и он, конечно, не мог слышать и видеть, как еще раз налетел ветер, принес первые сухие снежинки и в саду с глухим счастливым стоном сорвалось и тяжело упало в листья последнее яблоко.

## ПУТЬ В СТРАНУ СМЫСЛА

### 1

Ландшафт запеваёт монотонную песню. Фата-моргана, Майя, колдовство пустынь, — я не знаю что, — необыкновенное беспристрастие, равнодушные окружают эти берега, эти плоские излучины, затаенные пленкой цветной и студеной воды. Урал — безразличный рассказчик — соткал свои повести об огромной прожитой жизни и так же спокойно смысл, чтобы замедленно снести их к горизонту стоячей, необозримой воды... Великое озеро Каспий! Нирвана! Световые галлюцинации! Там отмирают безрадостные глиняные равнины, пучки соленой травы, вскипает мерным шелестом гигантский камыш, и мерцающий разгром пространства, фосфорический, идущий к небу блеск затопляет глаза.

Но этот город, этот прикаспийский Чаир, царь-осетр, мерещившийся казачьей вольнице под треск бродяжких костров, мечта мохнатых шапок, кафтанов, кремневых пищалей, призывный клич московских опричников, разинских стругов, этот город, спящий в безвестных могилах казачьих, монгольских, киргизских, офицерских, купецких, этот город, что стоял в тифозном бреде красных конниц, как символ и последний предел, как призыв и предсмертный крик бессменно живого Чапаева!

...Над городом стоит низкое марево дыма. Это не легкий, прозрачно тающий дым обычного города: он нависает синеватой грозой, что-то тяжкое, грозное чудится в контурах его темных громад. За этим дымом мы привыкли видеть железные эстакады, вознесенные кверху трубы и фермы, геометрию корпусов и нагроможденность заводской жизни. Но это обман, игра ассоциаций. Дым стоит над глинобитными, плоскими кровлями, он курится, осыпая черные хлопья липкой сажи, над унылыми кирпичными домами, над былыми судьбами расстрелянного, замерзшего в адайских пустынях купецкого капитала, над деревянными крышами рыбацких домов, — индустриальные громады его скопляются из мизерных домашних очагов. И все же это нефтяной дым. Это дым будущего, равно как и дым прошедшего. Этот дым — безмолвный повествователь истории, политики, экономики. В зимний день он сочиняет английские сказки, и отнюдь не о добродушных судьбах незабвенного Пиквика и о добром дядюшке в полосатых брюках

с рождественским пудингом. Он вьется весело, колеблясь шелковыми струями, над убогими улицами с героикой чапаевской драмы, над белыми зданиями Бухарской стороны, — фантастическими видениями века рядом с кибитками кочевников, — над истлевшими костями тех грозных, непоколебимых, вошедших, как страшный суд, в своих косматых папах, перетянутых красными лентами, что полгли в темных ямах с осколками обточенной стали, бывшей из города Бирмингама.

Это дым Гурьева. Это дым странного города, столь непохожего ни на один город в мире, города, где кости лежат прямо под улицами, где единственный памятник — память расстрелянным, где дети рассказывают о приемах, при помощи которых белые инквизиторы снимали кожу с голых людей под звуки духовой музыки. Тлетворный запах истории, рев верблюдов, свистки пароходов, цепь огней и электрических сияний над нефтью и рыбой по ночам; казахстанское небо — прекрасная роскошь и нежность красок, гуси под солнцем, их зовы к морю, к зиме, сухость заморозка, — боже мой! — как заунывно лают и воют псы, когда замирает вечер и огненно-красное зарево, разгораясь над ночью, повисает лунным багровым глазом пустыни. И опять запах рыбы и дыма, то нефтяного, сладкого и одурманивающего, то горького и острого, этот запах горелого верблюжьего помета, камыша и скупых древесных кустарников, — о, дым Гурьева-городка, самый своеобразный, самый непохожий на других, самый томительный, как мечты человека о будущем. Он окутывает самый плоский и безрадостный угол земли, ее дальнюю пыльную горницу, он висит свинцовой неспадающей пеленой, и путник, покидающий эти края, конечно, навсегда, долго видит с грузового полутонного форда его неопровержимое облако. Дальше, дальше, — уже бесперебойно ревя и поднимая столб крутящейся пыли, оставляет машина первые десять километров, а дым еще тает, еще чудится... До свиданья! Я уверен, что на сердце у путника навсегда осталось облако странного чувства.

2

Этот день солнца и ветра — октябрь Казахстана, этот день — как вымпел просторов, глубокого сиянья, водяных рассказов, повестей пустыни и моря, очей пустыни. Стоят верблюды, стоят корабли, стоит солнце — движение здесь

подобно покою, покой подобен движению: он не имеет пределов. Пустыня набегает на город, на низкие крыши, как великие воды. Однообразно плывут навстречу, в желтый прибой, в сон, в пучину небытия, кирпичные стены собора, — гигантский Ноев ковчег мрака и смерти, корабль длинноволосых пиратов еще правит свой путь.

Город выбросил свалки, отренья, грязные шалаши, удушливый спор запахов прямо в глину пустынь. Летопись его хрустит под ногами, — прозеленевшие гильзы винтовок, могилы и смерти, отбросы человеческих тел, — мы находим здесь успушные крики и стопы, лохмотья безвестных судеб, реликвии дней, томление невысказанного, кости людей и животных, навоз будней и мощи истории.

И навстречу дню, глазам, ожиданию с речных берегов, — обращенный к морю, к рыбьим путям, шестами, флагами, крышами, дымом, — шествует он — старый Лицевой промысел. Как стан варваров, пирует он на крови, рыбьих внутренностях, окруженный зарослью мачт и снастей, потягивая свою трубку — удушливое морское жерло, где топится жир и клокочет тухлое варено.

Какие запахи и краски! Он бьет в лицо суматохой дикого пйра, тревогой морского ветра. Шесты с красными флагами четко и остро вопиют о военных приказах путины.

Над станом обветренных изб, обветшалых лабазов, просоленных, выщербленных временем, солнцем и водой настилов гуляют просторы реки. Мутно-зеленые волны ее плещут о бревна плота, этого прилавка рыбной разделочной кухни, где все пропитано слизью, сыростью, незамерзающей соленой гряздой, разъедающей руки, как сервая кислота. Прогулки ветра студены и ослепительны. Плот царит над берегом, как гигантский дебаркадер, — чудятся прибытья, отплытья, романтика расписаний, дымы и ревы необъятных труб, пропасти трюмов. Но только прорезы, плоские, словно затонувшие лодки, где леденеют залежи рыбьих хвостов, только бойкие катеры и широкозадые рыбницы толпятся ввизу. Караваны деревянных судов воскрешают Макарий, старину Мочального, деревянный эпос расшив и стругов, «сарынь на кичку», дебри астраханских набережных. Вокруг них суeta и гвалт ярмарочной площади. Разноязыкий мир промысла, в своих певреятных шапках с висячими ушами, похожими на уши немецких лягавых, в халатах, из которых клохья ваты смотрят лохмотьями классических одеял западных мeste-

чек, в овчинах песочного цвета бархан, в бабьих затертых до блеска кацавейках, в щегольских шерстяных чулках, этих зеленых, малиновых, фиолетовых возгласах женских икр, — эта ватага промысла, неповторимый гомон песен, брани, слов, не доступных цивилизации языка, создают музыку ослепительной карусели. Люди стоят в рыбацких и лодках — это лица пустыни. Люди разносят носилки, сортируют осклизлое рыбе серебро, — те же сосредоточенные, матовые, словно покрытые пылью скулы, бесстрастные, как глиняные бугры солончаков, неведомые еще нам своей невозмутимостью, ложным спокойствием. И — женщины. Вчерашние кочевые матери, девушки юрт, невесты аулов, они проходят молчаливые, полные достоинства молчания.

На плот непрерывным потоком шлепаются, на миг неуклюже застывают, бьются и наконец распластываются, удивленно жуя воздух и уже костенея, тупо закругленные плавники, черно обрисованная чешуя и красные перья сазаньих туловищ. Мокрая сетка зюльги, опрокинув ослепительную судорогу хвостов, вновь опускается вниз. Двое людей веревками поддерживают ее металлический обруч сверху. Внизу шестом управляет третий. Кошель зюльги погружается в глубину воды, шарит, — и вот молниеносный всплеск, и вот через всю прорезь стреляет от него подводная, настороженная, пятнадцатифунтовая тень узника, пришедшего с моря. Живое серебро проливается в суматоху плота. Рыба шлепается в растущие груди, на лету осклизывает колючие перья и вытягивается, блестя вымытыми белыми брюхами. Здесь отблески всех благородных и цветных металлов, здесь роскошь посланников — речных и морских, с подводных пастбищ, из сумрака заповедных ям, из рассветной зеленой мглы прибрежных глубин. Плоские головы судака, неподвижно и вяло простертого на грязных досках, вспыхивают фосфорическими лунными глазами. Сундуки скупого рыцаря ничто перед этой струей воблы, проливающей сонмы звонких монет. Иногда сомовья распластанная мякоть с обвисшими розовыми усами, с буравчиками крохотных глаз скомкает на лету возникшие библейские образы рыбарей и невода, скомкает, как лист старинной гравюры, и душа в жилетке лавочника, презренная отрыжка сытости и неприкосновенных прав, возникнет острой тоской гроссовского рисунка. Но вот уже сазан, бронзово-зеленый, с брюзгливо оттопыренным ртом, весь в роскоши шахматной четкой чешуи, наводит на промысел

темноглазый взгляд, настороженный из ободка яркой латуни. Великолепный день, говорящий языком труда, удачи и щедрости!

Воды Урала поспели — так говорят рыбаки, — мутно-зеленая масса воды ходуном ходит под упругим октябрьским ветром. Время хода судака — пыльное время, когда руки людей ценятся на вес золота. На тонях работа не знает остановок. Рыба идет с моря, наваливается несметной силой в устье реки, покорная биологическим законам, желая подняться кверху, на свои зимние исконные пастбища, чтобы заполнить темные глубокие ямы, где она в строгом порядке — порода с породой, возраст к возрасту — многоэтажными слоями стоит долгие зимние месяцы, дожидаясь весенней поры — солнца, тепла, икрометания. В глубине моря, вдали от черней, — так зовут здесь, по зрению, каспийские камыши, — уже пошла вобла. Ее косяки выписывают гигантские кривые от Мангышлакского полуострова к унылым побережьям Живой Косы, к пескам Эмбы, к равнинам Денгиза. Там, в глубине далей, под ветром, коварно играющим всеми путями компаса, верные логу, звездным созвездьям и древнему чутью исконных мореходов, идут паруса гурьевцев, астраханцев — грязно-серые, косокрылые видения, всегда среди плеска и ветра дней, холода и тьмы безвестных рыбацких ночей. Здесь, на промысле, эта дальняя морская жизнь только в отголосках, только в завершении. Иногда грузные морские сапоги, добродушная оторопь походки, черная запутанная борода появятся на борту рыбницы, облепленной рыбьей чешуей, и тяжкий, всепроникающий дух моря повеет на крики и гвалт медлительным и суровым величием.

Рыбу несут все утро, весь день, до полночи. Уже тьма пришла из пустынь, уже опоясали лабазы, избы и гнилые доски висячие огни, уже речной ветер ожигает, как морозная сталь, а рыбу несут, валят и снова несут. Глубина лабаза погружена в слякотный, промозглый туман. Там не затихает работа. Песни резалок серебристы и заунывны, голоса блестят среди этого гигантского распоротого рыбьего брюха, полыхающего смрадным угаром свежей крови. В тумане мы видим их друг против друга, на узких скамейках, с короткими ножами, в промусоленных насквозь варежках. Лица их молоды, розовы, иногда миловидны, сероглазы, языки бредут, как бритвы. Это гости из изб Нижней Волги, Украины, казачьих аулов. Они хватают скольз-

кие рыбы туловища, ловко вонзая в них заостренный крючок, методично вспарывают их взмахом ножа, отделяют внутренности. Ножи вонзаются с хрустом, течет липкая кровь. Еще живые, скользкие, полные последних содроганий, рыбы бьются на липкой грязи настила. Сейчас ливень воды смывает кровь и ненужную слизь, тачки свезут их к зевам чапов, и там, среди измочаленных, добела изъеденных солью деревянных сот превратятся они в просол, малосол, полупросол, в загадочные наименования, стоящие трафаретами черных букв на днищах серых, душно пахнущих рыбных бочек.

### 3

Еще один день, полный света и солнца. Дует выгонный ветер, тот самый, что приходит с севера и надолго опустошает ерики, ильменя, заливы, обнажая прибрежные косы. Камыши пустеют: гуси и утки отлетают в море.

Пыль крутится по улицам города, вся степь затянулась дымкой. Близок мороз. Приходится надевать перчатки.

В Урало-Каспийском тресте непроходящая суматоха. Директор болеет, оперативные провалы очевидны, план путины еще не выполнен и на пятьдесят процентов. Промысла завалены рыбой, а тут кризис транспорта, самотек в море, скандал с контрольными цифрами, вечная история с недостатком работников. Газета неистовствует, — в сегодняшнем номере замечательный лозунг: «Рыба просится на берег».

И тут же новый скандал: пьянство ответственных работников-рыбников, мордобитие, житейская грязь. Нервозность, суета, — в ней поспешные фигуры приезжих, озабоченность полномочий, бесконечные заседания. Безобразная стихия косноязычной старины, разваленной, сокрушенной, еще не взятой в цельный костяк новых лесов, напоминает вид только что начатой стройки. Щебень, бревна, разрытая земля, тоскливый запах извести, ветер со всех сторон. Я знаю, что трест организован буквально на днях, и его сразу задавило богатством, изобилием, необъятностью возможностей, золотой прорвой сказочных угодий. Прорывы, прорывы... Среди всех рыбников один Хохряков, бродяга-«американец», невозмутимо и спокойно посапывает своей трубкой.

Он колоритен и здесь, в этом городе моряков, смелых замыслов, в этом крайнем пункте человеческих судеб и биографий, где непреклонные, суровые фигуры пионеров социализма так же обычны, как и обтрепанные лохмотья неудачных карьер, авантюрных жизней, последних пропившихся надежд. Я смотрю на него с любопытством, не удивляясь: удивляться быстро отвыкаешь здесь, в русском рыбном Клондайке, имеющем свою собственную философию и лирику. Но как он уверен в себе, этот человек, впитавший запахи всего мира, говорящий на особом интернациональном русском языке, несокрушимом перед Японией, Китаем, Аляской, Канадой, Аргентиной, Мексикой, где он жил, в устах этого человека с прозрачными синеватыми глазами, в заморской брезентовой куртке, опушенной воротником искусственного меха.

Хохряков ушел из беспощадных лап американской политической полиции совсем недавно. Он говорит об этом словно неохотно, кривя скошенный в сторону рот — беспощадный, плотный, сидящий на прочных жестких челюстях с желтыми, несокрушимыми зубами.

— Они бьют насмерть, — говорит он. — Там есть настоящие здоровые парни. Но все же труднее всего в Мексике. О, Мексика... Я очень люблю Мексику!

Мы идем на промысел пыльными захолустными улицами в глинобитных стенах, с заборами из камыша. Я всматриваюсь в этого человека, в его синюю шерстяную шапочку с шариком на макушке, в неморгающую ясность его глаз, мне кажется, он сам похож на заморскую рыбу — плотный, заверченный, в своих отличных резиновых сапогах, знавших промысла Аляски.

— Нравится вам в Советской России?

— Ну еще бы... — отвечает он, не задумавшись. — Я заметил, у вас многие рабочие не понимают, где они живут. Они говорят, нет обуви, нет одежды... Америка имеет много, но мы не имеем долларов. Зачем мне Америка, если там нет работы? Полицейские очень хорошо дерутся. Я люблю хороший удар, когда человек ложится мешком. Здесь этого не знают. Но я еще хочу жить и работать. А кроме того, я люблю русских женщин. Русскую женщину я считаю первую в мире...

— У вас была жена?

— Я спал с женщинами всего мира. У меня были жептины всех наций. Я забыл их всех, но были хорошие жептины.

— Вы любили хотя бы одну из них?

— О! — Он говорит с металлической твердостью. — Мне так нравятся испанки! Они похожи на русских баб. Они и русские — самые веселые, неунывающие нации. И еще Мексика. Вы спросили про любовь? Я вам сказал, что я спал со всеми странами.

Он тынет свою трубку, замедляет речь.

— Я никогда и ничем не болел, — перебивает он мой вопрос. — Они любят гладить мое тело, они говорили мне на всех языках, что ни у кого не видали такой кожи, как у меня... Смотрите!

Он засучивает куртку и обнажает руку до локтя. Я вижу согнутую матовую кисть тончайшей резьбы с игрой закаленной мускулатуры, покрытой нежной кожей из теплого шелка. Я ошупываю его руку, — она притягательно чутка, наполнена горячим дыханием.

— Во мне хватает на всех, — невозмутимо продолжает Хохряков, расправляя рукав куртки. — В Мексике, однако, приходилось трудно. Меня вели двое полицейских. Одного я ударил в висок, он не встал и теперь, другого задушил этими руками... Это настоящее дело. А они знают, как принять удар.

— Вы пьете?

— Я не пью спиртных напитков.

Он шагает точно и прямо, отвечает на мои вопросы серьезно, но я вижу по его внимательным взглядам, бросаемым в сторону, что ничто не ускользает от его внимания. Его мысли, очевидно, имеют свое собственное течение, независимо ни от чего. Он обстоятельно разъясняет мне сущность своей профессии, экономическую выгоду этой разделки рыбы под клиффиск, при которой она лишается костей, сохраняя полностью свои достоинства и внешний вид. Это новинка, входящая в экспортный ассортимент. Сегодня он произведет первые опыты над судаком. Он работал по этой специальности в Аляске и Канаде.

— Я никогда не видел такого богатства, как здесь у вас, русских. Из этого выйдет толк. Но разве можно такую рыбу солить? В Америке соль совсем изъята из дела. Нужно морозить, консервировать, нужно клиффиск, филе. Конечно, все это будет у вас. Я уже вижу. Я очень доволен, что здесь знают, как нужно работать.

И он снова шагает, старый мировой бродяга, обдутый ветрами всех континентов.

Кругом нас пустыня. Промысел подошел близко. Уже наносит его запахи — тяжелый смрад салотопки, удушье подсыхающих у заборов человеческих шлаков, жирные запахи коптильни. Осеребренная шелухой солончаков, глиняная равнина беспредельна вокруг. На ней, как паруса на горизонте воды, неподвижно стоят верблюды. Ветер гонит пыль, пахнет кочевым дымом: несколько прокуренных кибиток и грязных шалашей приткнулись среди мусора и нечистот на самом ветру.

— Зайдем, — полувопросительно говорит Хохряков, показывая вперед. — Мне нравится этот народ, они веселая нация. Они никогда не плачут, значит — выйдет толк.

Я смотрю на него недоуменно.

— Рабочий человек должен быть веселым, — говорит он как бы про себя. — Иначе он погибнет. Хорошие у них бабы, надо попробовать.

Юрты стоят в отдалении. Мы подходим к шалашам, слабо курящимся дымом.

— Алма-Ата — ура! — кричит Хохряков, и, нагибаясь, приподнимает рваный кусок кошмы, заменяющий дверь.

Ответа нет. В темной яме с трудом можно разобрать нищий очаг с тлеющим верблюжьим пометом, жалкий скарб и завернутую в грязное, засаленное одеяло человеческую фигуру. Никакого ответа. Ледяной ветер врывается в эту пещеру, раздувает красный зрачок очага, поднимает пепел. Хохряков кричит еще, сопит трубкой и наконец я слышу несколько фраз, гортанные звуки, привезенные им с берегов Тихого океана. В его голосе странная глубина, нежность. Он зовет кого-то, произносит что-то далекое имя, повторяет его настойчиво и страстно. Но я ничего не могу понять. Наконец одеяло шевелится, и мы видим лицо — без возраста, жесткие заплетенные волосы, испуганные глаза.

Женщина приподнимается и начинает поспешно кричать, размахивая руками.

— Пошел, пошел! — выкрикивает она. — Хозяин нет, никого нет. Ушел на промысла. Иди, иди, — машет она руками и начинает выкрикивать по-казахски, на языке скрипучем и грубом, как древние колеса истории своего народа.

— Аман! — кричит ей Хохряков.

— Аман, аман! — раздраженно бормочет она, закрываясь лохмотьями одеяла.

Солнце, ветер, тишина. Хохряков сосредоточенно-спокойно оправляет кошомную дверь, сплевывает.

— Живут так себе, — говорит он. — Можно бы и получше.

И мы идем к промыслу, плывущему против степи, этого символа исторического небытия, этого образа не пороченной еще человеком необозримой бессмыслицы.

4

Резалки, разборщицы, укладчицы, солельщицы, — безвестные тысячи женщин, — оставили следы своих жизней на этих деревянных, выщербленных временем деревянных стенах. Отовсюду с досок, рядом с безмолвно орущими кабалистическими фресками материцы, глядят они, эти имена, выведенные наивными — широкими буквами. Лена, Ксения, Мотя, Мертина Дуся — весь инвентарь промыслового девичества запечатлелся на заборах, на стенах выходов и нерушимо сохраняется, как традиция.

Бессмыслица старороссийской похабщины еще держится вместе с остатками купецкой ватаги, сохранившейся в навыках, словаре, в приемах варварской и прасольской рыбной премудрости. Деревянная рвань строевой говорит за себя. Царство алтына кончилось. Кровопивоцеры гнезда сметены начисто, но еще жива закваска, еще не отошли окончательно старые нравы, еще жив жаргон прикаспийского разгульного вертепа, где невежественная промысловая девка была рабой приказчика и хозяина. Надо представить себе всю глушь и оторванность прикаспийского промысла, всю махину жизненного косноязычия и сложность национальной политики в Казахстане, где средние века соприкасаются с самыми передовыми идеями человечества, чтобы оценить и понять трудность задач, встающих перед переустройством северокаспийской рыбной промышленности, жизни и быта ее рабочих кадров. Бывшие земли Уральского казачьего войска еще дышат кровью борьбы, жестокость и непримиримость которой сравнимы лишь с библией, самой кровавой из книг. Беглые люди и бунтари в древности, потомки Пугачева и Разина, белоуральцы, обманутые мнимой мишурой вольницы и внешним демократизмом, опутанные искусно сплетенной сетью казачьих привилегий и полуфеодалных прав над несчастным киргизским населением великих степей и

пустынь, — пали под ударами чалаевских сабель, защищая свои кулацкие, царем данные вольготы, фанатиками религиозной и политической бессмыслицы. Герои тьмы, невежества, кругозора своей колокольщи, слепо смотрят последние старики на враждебную их старинному укладу, неслыханную новую жизнь. Казачья станица опустошилась, заглохла. Казачий Урал мертв. Активные формы нового рыбного хозяйства, со ставкой на глубь, на море, заперли рыбу у Гурьева, нарушив заповедные законы Урала. Отошли рыбные атаманы, весенние и осенние курхай, плавни, прибыльная ловля на ятовях, удары на рубежах. Нет и в помине знаменитого зимнего багренья с царским оброком первой красной рыбы. И не услышишь былого, хвастливого: «Почему войско Уральское богато? Где пьют и едят, там столы, скатерти бросают».

Уральское казачье войско ушло в легенды. Но оно еще живет — в костности, в неверии во все новое, в убеждении, что богатства Урала все равно пойдут на убыль, что рыба не стерпит. «Птица, рыба и человек, — говорил мне старый уралец, — смысл у ней все равно одинаков. Присовокупляется оно вовремя, вовремя и одежду надевает. А теперь напугали ее, и пристать ей некуда. Воля рыбе и человеку дадена, она есть жизнь. Закон законов есть воля, птице лететь в океан, рыбе идти вверх, а человеку жить, как он хочет».

В закон законов менее всего верит новый, молодой, социалистический Казахстан. Выкинутый из истории в продолжение веков, заклеванный царскими коршунами, заклятый своими страшными природными стихиями, он угнетал своей беспредельностью, пустынями и солончаками огромные человеческие массы, разобщенные на жалкие кочевые судьбы. Народы, населявшие его пространства, несли в себе все проклятия земли. Кочевой океан, казахстанская Майя, — здесь прошлое подобно барханам: они возникают мгновенно, исчезают, не оставляя следов, хороша следы жизни под сыпучими холмами. Здесь почти не осталось следов прошлого. Небытие наступало воинствующей смертью. Время, ветер, солнце — они стерли все краски, уничтожили следы жизни, рассыпали глиняные гробницы мертвых. Каким значительным должно предстать нам стремление Востока к праздничной яркости, его по существу глубоко детское искусство, сказочность его орнаментов перед ликом этой смертной истории — выветренного белого черепа, истлевающего среди песчаных хол-

мов. И какими понятными должны нам казаться тот пыл и та любовь ко всякой внешней организации, которую так быстро усваивают молодые казахские администраторы. В самом деле: нет более трагических и проклятых страниц в истории русских царей и русского капитала, чем те, что перевернуты здесь, на этих беспредельных равнинах. Все образы смерти, все виды унижения, все горести и болезни знает этот народ. Он знал гнев и хищность феодалов, слепую власть стихий, бесправие полного раба, лишенного каких-либо надежд, каких-либо средств для борьбы с беспощадной природой. Но и среди всех других париев, среди других рабов,— исторический хозяин этих земель,— он был последним. Машина эксплуатации сделала его предметом издевательства со стороны всех своих иноплеменных братьев — и по труду, и по положению. И надо сказать, что нигде не развернулся так пышно и полнокровно дух русского царизма и русского капитала, как здесь, на промыслах северо-восточного Каспия. Вся хитрая, подло-изуверская душа русского продувного купца открылась здесь во всем своем великолепии. Гойя и Ропс могли бы увидеть здесь пир своих замыслов. И если первый обнажил бы потрясающий социальный яд, для второго открылись бы картины отвратительных пороков и физической грязи, сатанинских и мистических для глаз художника, лишенного дальнзоркости социального и политического зрения.

Навыки старой промысловой казармы чудовищны и жестоки. Здесь обнажалось все то, что в осмысленной жизни оскорбляет достоинство личности. Купчики-голубчики всячески потакали национальной вражде: она давала им почти бесплатные руки. Казарма выработала крепкие законы, где неизбежно стояли права более сильного. Русский раб был хозяином раба-киргиза. Казарма имела свою «вольницу» правов — напвный и ужасный хмель для рабов, жизнь которых была бесконечной цепью однообразных дней сурового труда. Огни промыслов влекли своеобразной богемой. И надо оценить всю безысходность жизни русского человека, если эти прикаспийские вертены, с их ужасной эксплуатацией, бесправием и жизненной грязью, эти купецкие ватаги, на которых хитрые и невежественные кровопийцы наживали безумный и легкий рубль, могли привлекать своей бесшабашной жизнью, артельными песнями и вольностью промозглой женской казармы!

О так называемой «промысловой девке» до сих пор еще ходят легенды. Промысловая Нана! Среди осклизлой грязи этих досок и бревен, среди гор желтой соли, у заборов, окутанных нестерпимым зловонием испражнений, среди изб и лабазов, где все дышит рыбными испарениями, возникает ее прошлый образ — трагический и все же жизне-радостный, неунывающий, как и все выходящее из недр трудового народа. «Стерва, распутница! — шамкает прошлое из домика на какой-нибудь Хвалынской. — Им, лошадям, все трын-трава». И начинается рассказ, душный как угар, беспощадный закон законов. Легенд этих и рассказов сохранилось большое число. Сюжет их неизменен — лихость и распутство, неунывающая веселость и презрение к людской молве, и всегда — откровенная способность смотреть прямо на вещи. И посейчас рассказы эти не редкость услышать наравне с анекдотом чисто армейского остроумия. Однако есть и курьезные факты. Действительно факт, что вот этим самым летом на Каменном промысле случился «бабий бунт». Триста девушек, переброшенных на отрезанную морем территорию промысла, устроили «забастовку» из-за отсутствия на промысле русских молодых людей. Директор промысла, исконная «промысловая девка» в прошлом, нашла основания бунта достаточно вескими... И женский вопрос был разрешен соответствующим пополнением, присланным со стороны. Мотивировка промысловых девиц поразила бы, конечно, любую московскую комсомолку и, наверное, возмутила бы до глубины души своей грубой прямолинейностью. Но Каспий имеет свои особые нравы.

А ночная женская казарма! Можно было бы написать целую историю о конституции «ситцевой занавески», этого прообраза прав на личную жизнь. Необыкновенные хитросплетения жизненных узоров обрисовались бы в этой истории, и Соломона пришлось бы искать, чтобы разрешить сей щекотливый вопрос. Сейчас он решен паллиативно. Счастливым парам запрещено пребывать в женской казарме после десяти часов вечера. И запрещена занавеска. Ибо нельзя же каждую ночь обыскивать эти лукавые девичьи уголки! Но нет такого препятствия, которое победило бы человеческую изобретательность. И директора промыслов озабочены хотя бы элементарным врачебным контролем, оставляя область морали тому трудовому распорядку, что лучше всех охраняет правоту человеческих отношений.

Трудовой же распорядок промыслов героичен. Нельзя найти другого слова, не преуменьшив факты.

Да, еще остались старые пережитки, еще живы некоторые традиции, но все это лишь слабые отзвуки старины. Проституция всех оттенков навсегда исчезла с приходом советской жизни. Промысловая девушка достаточно защищена, ей не нужно зарабатывать право на работу подчинением хозяину, приказчику, мастеру. Но старый артельный дух, традиции «веселой жизни» вдали от семьи, культурная отсталость и, главное, специфическое мужское отношение — еще налицо. И это отношение более всего становится ясным, когда слушаешь рассказы и более всего следишь за рассказчиком. Обманчива жизнь. Назойливо груб, нищ и невежествен еще быт. Отрицательные стороны его вошют. Глубочайший смысл жизни доступен лишь внимательному глазу, умеющему охватывать разнородное в единую систему явлений.

Я внимательно слежу за Хохряковым. Мне интересно увидеть его здесь, в царстве женского труда, среди безвестных сотен резальщиц, сортировщиц, солельщиц, — его, спавшего с женщинами всех стран. В тусклом свете лабаза я не свожу глаз с его плотной фигуры с трикотажной шапочкой. Я вижу, что он чувствует себя отлично, он свой здесь, где малейшая поза вызывает неугомонный хохот и беспощадный приговор смелых в своем пестром девичьем стаде женских голосов. Они поют, не обращая ни на кого внимания и вместе с тем замечая все, перекидываясь репликами, от которых краска бросается в лицо.

...Это будущий пролетариат той новой страны, что зарождена среди самой пустынной и безотрадней природы смелым творчеством эпоса стального пятилетия. Это кадры тех гигантов-комбинатов, где рыбные потоки Каспия будут перерабатываться на отличную пищевую продукцию средствами передовой техники. Их будет пять. Пять грандиозных машинных комбинатов, что должны переделывать природу, рыбу, быт и, в основном и решающем, сырую человеческую психику. До этих дней осталось совсем пустыки. Первый рыбоконсервнохолодильный уже покорила плоский берег Урала, где год назад самодержествовал ветер и беспамятствовала пустыня. Они, женщины, — пока что еще полуремесленники, временные рабочие, деревня, партизанки труда.

В просторах зданий, что примут их труд, конечно, не будет промозглого тумана испарений и резкого холода,

залетающего сюда из ворот, распахнутых прямо в реку. Рыбные тачки, первобытные чаны, окровавленные ножи смеются бункерами, консервными кухнями и химией, совершенными, молниеносными и чисто плотными машинами. Сейчас же длинный коридор разделочной прохватывает до костей. Так сыро, дико и грязно, что женские песни неправдоподобны. Быть может, это дно человеческого труда. Быть может, это самое нечисто плотное и необорудованное производство.

Возле каждой из женщин груды наваленной прямо на пол скользкой, уже костенеющей рыбы. Варежки, в которых плотно зажаты рукояти ножей, насквозь промусолены кровью и слизью, фартуки стоят коробом от впитавшейся зловонной сукровицы. Здесь есть совсем молодые, есть старейшие и бывалые, прошедшие в лабазах десятки лет жизни. Эти десятки лет жизни давали прежде только сомнительную репутацию. «Промысловая девка» ставилась моральной пробой на женской судьбе. В этом слове соединялось презрение к черному, неблагодарному и грязному труду, лишенному всякой и прежде всего материальной перспективы, и та худшая черта раба, что склонна презирать бедность и неудачи. Под двойным презрением и гнетом формировалась здесь психика парии и, совершенно естественно, находила себе самозащиту в особом ухарстве и подчеркнутом неуважении к достоинству личности. Люмпены, босяки-женщины — неисследованная и сумрачная страница «ужасов и страхов России».

Революция свершила грандиознейшее. Революция вернула достоинство работнице промыслов. И это достоинство выразилось уже полностью в новой психике труда, ибо и здесь уже доказано и утверждено то, что и в самой примитивной профессии есть возможность творческого начала, облагораживающего однообразный и утомительный трудовой процесс.

Среди резалок есть удивительные виртуозы ножа. Методичность движений, экономия сил в размеренности каждого приема, необыкновенная ловкость, — можно любоваться всем этим и можно понять, сколько гордости и удовлетворения принесло здесь соревнование, впервые в истории рабочего класса поставившее труд как индивидуальную творческую способность, дающую право на руководство и рабочий авторитет.

...Ножи резалок мелькают с неуловимой быстротой. Сегодня бригада Чумаковой поставила новый рекорд.

В бригаде круговая порука — она у всех на виду. Седал толстуха, четверть века просидевшая на разделочной скамейке, подгоняет молодых. Разговор непередаваем. Самокритика оперирует лексиконом, задирающим окружающее, как бабий подол. Между реплик, убийственных по натурализму, пенне частушек — выщербывание тонкими, неестественными голосами, греховодное пение, поражающее скопом особой женской точки зрения, противопоставляемой здесь всем остальным с особым упорством. Кокетство — сногшибающее. Оглушительные промысловые моды. Юбки, укороченные до самых бедер, румяна, пудра, острокритика мужчин. Особая оппозиционность ко всему и ко всем, непонятная и обманчивая для тайного антисоветского злопыхателя и понятная нам, — слишком свои, семейные отношения у этих женщин с партией и властью. Их недовольство — по принципу семейных сцен. Их ревность к классовой правде — ревность своего домашнего свойства. Ненависть ко всему паразитарному, барскому, петрудовому — накаленная, — этих не проведешь ни ласковыми словами, ни жестами, никакой патокой и никаким словесным маслом. Удивительная любовь к детям, обожевление чистых, хороших отношений в семье. И острая тоска по настоящей, «порядочной», как сказала мне старая резалка, ответственности и верности со стороны мужчины. И везде и всегда ревностное отношение к суждению о профессиональном умении. Боже сохрани, если похвалят или наградят зря! Если у писателей существует так называемый «гамбургский счет», то здесь он ведется с неумолимым педантизмом и потрясающей наблюдательностью.

...Директор промысла Иван Николаевич не обращает на все это ни глаз, ни слуха, он изнуренно озабочен, работа поглотила его полностью, он знает здесь каждого человека в лицо, он привык. Все тело его давно привыкло к суровости, к власти над собой, к дисциплине, ответственности. Но глаза голубой ясности и внутреннего внимания сразу опровергают внешний облик. Я знаю, что он любим всеми, и догадываюсь — почему. Ленинградский пекарь несет в себе большое спокойствие твердой общественной уверенности. У него есть тот величайший дар целомудрия к самому себе, который так характерен для крупных людей рабочего класса и дает им силы и волю направлять и судить жизнь. Это человек глубокой верности — и поэтому сердечного спокойствия. Все неясное в себе или в других, все драматические положения человеческого «я», кото-

рые он не может оценить обособленно, он решает ясно и твердо в пределах «мы». Говоря с ним, я невольно вспомнил Гамсуна, тончайшего поэта, создавшего величайшую и грустную музыку беседы одного человека со вселенной... «Что я могу ответить, — писал он в своем письме к нашей стране, — на вопрос, как надо жить? Может быть, мне скажут что-либо ветер и звезды... Одно я знаю: для движения цивилизации нужно душевное спокойствие. Есть ли оно у вас?»

Есть ли оно у нас? Я смотрю в глаза пекаря Ивана Макарова, слушаю его речь, он отвечает старому норвежцу, его Нателю, лейтенанту Глану, художнику из «Розы». Он повторяет опять «мы», этот образ величайшего смысла и душевного спокойствия.

— С пролетарской точки зрения, — говорит он, — я после это понял... Сам я вначале не мог понять промысловую девушку. Мне казалась загадочной ее психика. Я боялся этого дикого стада, ругани и, должен признаться, краснел, не мог подступиться... Вы сами видите, где уж тут до культуры. Но у нас есть другие средства... Стоит лишь организовать определенную ячейку, дать ей задание, создать ответственность — и уже можно работать и говорить. Раньше одна Дашка сказала — все за ней. Ну, а теперь? Вы посмотрите сами, насколько крепко сидит в них рабочее самолюбие и как ревностно начинает работать какая ни то Марфа, когда соревнование ставит ее на виду у подруг. Даже в стандартной работе тогда начинает играть творческая мысль. У нас за последнее время огромная масса всевозможных рабочих предложений. А ведь рыбное дело — грязная и трудная работа! Да и в самом деле, вы посмотрите: руки у них сплошь изъедены солью... При ручном труде это, к несчастью, почти неизбежно. И варежки не помогают, да и мешают работе. И вот подумайте: придут утром, опустят руки в тузлук, а слезы так и бегут. Но прошло полчаса, ушам не веришь! Хохот, песни, и какая работа! Должен вам сказать, — говорит, понижая голос, директор, — этой публике ничего не стоит прогулять ночь... Хоть бы что! Ни в одном глазу. Работают друг перед другом, ударник на ударнике. Да иначе и не могло бы быть. Ведь у них столько неизрасходованных сил и полная невозможность куда-либо их приложить. У нас культурная работа ничего не стоит... Все это надо создавать почти на чистом месте. И вот — работа. С пролетарской точки зрения это есть героизм масс, плюс

новое сознание, плюс неорганизованная психика, старые анархические душевные привычки, плюс казарма и все это паршивое деревянное барахло... Сквозная бригада, — заканчивает твердо Макаров, — перевернула весь промысел.

У директора в лице еще сохранились краски юности: он обманчиво глядит незамысловатым и мирным пареньком.

— Америка солит только шесть процентов сырца, — говорит он, спокойно поглядывая на горы великолепной рыбы. — Мы вынуждены солить шестьдесят шесть процентов. Это порча ценнейшего товара, гибель народного достояния. В два года мы прекратим все это безобразие. Факт! Я жалею только об одном: казахский язык для меня китайская грамота. Но я уже свыкся. Вы хотите посмотреть на наш народ? Приходите сегодня в клуб. Мы будем награждать ударников. Да, конечно, это для вас будет интересно. До свиданья!

...Хохряков стоит, окруженный резалками. В руках его скользкий колющий судак, обтекающий холодной слизью. Он привычно переворачивает рыбу, чертит по ее брюху пальцем, объясняет. Я открываю в нем новое: он великолепно вежлив, деликатен, в голосе его интонации необычайной дружелюбности, простоты. Он обращается с аудиторией, как директор цирка, не оставляющий без внимания ни одного голоса с амфитеатра, как врач, знающий всю подноготную жизни и обращающий к ней дружескую простоту, во всеоружии всех своих прав. Девушки уже смотрят на него восхищенно. Этот бродяга видел все: он знал голод, нищету, драки, но он хозяйски щедр к жизни, его не обманешь внешней мишурой, он чувствует себя равным везде, где есть рабочие руки. В нем солидарность. В нем — ни малейшей позы. Он не знает обид, обезоруживает самые бойкие языки своей ровной предупредительностью. Вот он как-то оказывается, этот человек, уважающий даже злейшего врага за хороший удар!

— Ишь ты! — певуче говорит ему высокая, синеглазая, с нежной розово-сахарной кожей и могучей, обвисшей грудью под замусоленным фартуком. — Чай, хуже парода-то нашего и нет! А ты врешь, больно мы хороши. Ай не видел лучше? Ай лучше нет?

— А чего нам лучше быть? Ты возьми ее: она ни с кем не спала.

— Возьмет, дожидайся... После второй пятилетки!

— Ха-ха! Хи-хи!

— Девушки, не толкайся. Человек идет.

— Ишь ты, в шляпе! Американец!

— Наська, Наська, сдери с него... Може, там...

— Эй, девушки! У него в штанах-то...

— Ха-ха-ха! Дуська, дура!

— Эй, иди поработай за нас. Надень варежки.

— В шляпах-то не работают...

— Цыц! Озорные! Подумают, что мы охальницы.

— А нам на...

— Стой, девушки! — говорит Хохряков. — Дай-ка нож. Пусти, не мешайся... Скоро резать вот как будем. Гляди. Постой, постой, ты не гомони... Резать будем вот так...

Стихает. Он уже за станком, на узкой промозглой лавке, в руке его нож. Он уверенно хватает огромного судака...

— Ой, запачкаетесь! — вдруг спохватывается высокая.

— Да вы что, в самом деле, человека обступили? Накинулись. Вы бы, гражданин, постлали что-нибудь...

— А ты уж влюбилась... Наська, дура!

— Ничего, — спокойно говорит Хохряков, ловко разрезая рыбу с брюха и уже освобождая ее костяк продольным движением ножа. — Вы за меня, Настя, пойдете?

— Пойду. Ей-богу, пойду. А чего это вы кости вытаскиваете?

Хохряков работает быстро, не отвечает. Он уже распластал рыбе туловище: оно как плоска.

— Ты поучи их, поучи! — наставительно говорит пожилая резалка с ножом в руках. — Поучи их, хороший человек. Они, дуры, ничего, кроме деревни да казармы, не видели.

— Так и не видели!

— Тетка Марья, ты у нас женихов не отбивай!

— Авось и отобью, — спокойно продолжает женщина, отирая нос рукавом. — Нонче всем жить захотелось. А их-то, голубчиков, каждая баба любит. Сладкого на всех хватит, девоньки.

Она не сводит настороженных глаз с рук Хохрякова. Тот уже вытащил рыбий позвоночник и освобождает туловище от последних костей.

— Вот так! — говорит он. — Это клиффиск, самая лучшая разделка. Ее в особенности ценят в Англии.

— Ишь ты, в Ан-глии... Гляди, как разделал! — ревниво, явно профессионально-ревниво ворчит пожилая. — Неужто я не сумею? Двадцать лет режу. Дай-кося попробую и я, хороший человек!

— Ты, мать, подожди! — спокойно отстраняется «американец». — Я тебя научу. Так. Вот что, девочки: скоро все это машина станет делать. Готово!

— Ой ли? «Машина, машина»! А мы куда пойдём, хороший человек?

— Управлять. Работы до черта. Рабочему человеку сидеть на одном деле всю жизнь не годится. Инженером будешь.

— Инженером! Хи-хи. Она и так зажила!

— Вы бы руки обтерли, — говорит ласково и смиренно Настя. — А на их вы не обижайтесь. У нас девушки хорошие.

— Куда лучше! — сердито ворчит пожилая. Ей не терпится, я это отлично вижу. — Кли... кли... склизк... И не выговорить мне по-аглицки. Ты как ее сначала, со спины али нет?

«Американец» небрежно вытирает руки о Настин фартук, объясняет. Внимание совершенное. Настя вся рдеет от счастья — огромная, чуть сторбившаяся, уже поверившая во что-то несбыточное, уже плененная, полная достоинства от внимания этого странного человека в трикотажной морской шапочке.

Возле пожилой — круг напряженных лиц: она режет.

Через минуту «американец» критически рассматривает и освежеванную рыбину. Он удивлен и поражен.

— Отлично! — говорит он сдержанно. — Кто учил вас?

— Никто не учил! — резко и ухарски вдруг гаркает пожилая. — Я без штанов всю жизнь прожила! Девки! Довольно зубы точить!

И она запеваёт диким пронзительным голосом, и весь лабаз подхватывает тонкими голосами.

...Ножи резалок неумоимо мелькают над скамьями. Рыба, рыба и рыба! Течёт липкая кровь. Промысел вертит колеса привычно размеренного и убийственного труда.

— Русские девушки — самые лучшие в мире, — говорит мне Хохряков пять минут спустя, пагая по плоту и сплевывая в неприятную вечеряющую воду. — Они

умеют печь пироги с капустой. Они поют и смеются, как испанки. С русской бабой я бы остался в Мексике. И это ничего, что они так ругаются. О, это — товарищи! И они не боятся ничего.

Мы идем сквозь туманный вечер, полный огней, дымов, ужасных запахов, заунывных песен. Избы дымятся. Морозный воздух наполняется темнотой. Электрические сияния ослепительны. «Американец» прислушивается к бабьим звонким голосам, и мне кажется, что на его твердом, лоснящемся лице лежит тонкий свет легкой грусти.

— Красиво! Очень красиво! — вдруг говорит он и произносит опять загадочные для меня слова на непонятном и чуждом языке.

— Может быть, он произносит чье-то имя?

— Когда я раз умирал, да, когда я умирал, — знаете, чего мне хотелось?

— Ну?

— Мне хотелось, чтобы возле меня поплакала русская баба. Понимаете? Я умирал от тропической лихорадки.

## 5

Чудом кажется этот вечер, заброшенный в низкий бревенчатый зал, окруженный сбившимся жарким дыханием, под сотнями глаз, у стола президиума слета ударников старого Лицевого промысла.

Зал смутен и непрогляден. Электрические лампочки едва справляются с мраком. Зал дышит в лицо банной, обжигающей духотой. Люди, сидящие на лавках, слились воедино. Я вижу лишь космы бараньих шапок, гигантские голубоватые чалмы казахских женщин, слышу гул, аплодисменты, живой рокот человеческого моря. С театральной сцены, ослепленной рампой, звучат слова председателя. Оттуда, из жаркой полутьмы, они возвращаются прибором гула, смеха, непонятных криков. Волны звуков набегают, заливают сцену, возвращаются, опять голос председателя наступает на зал, и опять его отбрасывают волны.

Слет открыт. Его символ — опадающий малиновый бархат и шелк знамени первенства — осеняет угол сцены. Знамя гостит здесь уже третью путину. Сегодня ораторы подведут итог: промысел вновь выполнил план на сто два

процента. Сегодня ораторы заявят новые цифры — четверть миллиона центнеров рыбы как призыв, как задание.

Дышать с каждой минутой становится все труднее и труднее. Я вижу подготовку к самому торжественному моменту: в кулуарах сцены с загадочными декорациями римских колонн уже расположился оркестр гитаристов и балалаечников, тут же сложены груды подарков — свертки мануфактуры, перевязанные шпагатом. Это все Мистин — бледный энтузиаст производственных совещаний с приподнятым дискуссионным голосом, вечный спорщик и организатор, это все он. Порой мне кажется, что оживают времена дивизионных политотделов: так кажется знакомой его фигура в черной кожаной куртке, его белесые, сдвинутые брови на обескровленном чахоткой, совсем еще юношеском лице. Но председатель говорит, заступая каждого оратора. Он говорит неумоимо, по любому поведению, комментирует каждое выступление, переводит на казахский язык, — я замечаю, что говорить — его страсть, я замечаю, что казахская речь его покрывается восторженными аплодисментами, я замечаю национальную горячую ревность, кипящую в зале.

Президиум особенно горячо и страстно переживает каждое его выступление. Возле меня сидит высокий и худощавый человек с длинной меланхолической бородкой. На нем синий полосатый халат; высокая, опушенная мехом шапка придает ему вид алхимика. Он слушает казахскую речь, повторяя губами каждое слово, покачиваясь корпусом в такт речи. На лице его написано глубокое наслаждение и вместе с тем настроенность.

— Тишь... Товарищ, тишь! — вскрикивает он, ревниво оберегая блестящего оратора Суйналеева от реплик и шума. — Тишь! Э-э-э... — И он укоризненно покачивает шапкой.

Оратор Суйналеев, председатель Суйналеев, промком Суйналеев говорит не уставая. Речь его льется и льется, в нее причудливо вплетаются русские слова: «партия», «ударник», «промфинплан», и Суйналеев выкрикивает их громче, чем другие, заостряя голос, потрясая руками.

Мы видели, как к рампе подошел Иргалий Турманов, член Казахстанского ЦИКа, член правительства огромной страны, разметавшейся вокруг мертвыми песками, снеговыми хребтами, поднятыми к самым облакам, пучинами озер и морей, страны, потерявшей историю несколько веков назад и теперь выходящей из своей песчаной могилы.

Не из зала — из мрака исторического небытия, из глубин степеней, из туманного прошлого выходил он, — это закричали сотни голосов, это сказал рев переполненного зала, неистовство аплодисментов. Человек в синем халате встал и закричал «ура», весь зал подхватил этот крик. Оратор Суйналеев возбужденно замахал руками, — понадобилось несколько минут, чтобы водворить тишину.

Иргалий Турманов стоял и ждал. Последние шумы и крики упали и стихли. В огромной шапке с обвисшими космами черно-седой овчины он стоял, могучий и плоский, опустив длинные, как весла, рабочие руки, являя собой поистине всю судьбу, прошлое и настоящее своего народа. Мы увидели его глаза, наполовину ослепленные бельмами, желтую кожу лица, изрытую черной осной, редкую бороду аскета и, когда он снял шапку, закинутый куполообразный лоб мудреца и созерцателя.

Подняв глаза вверх, он произнес несколько слов, глухих и непонятных нам, не владеющих языком Казахстана. Наступила пауза. В зале прыснула русская девушка.

— Тишь! Тишь! — укоризненно закричал человек в синем халате.

Турманов сказал еще несколько слов, поднял палец. «Партия» — услышал я. Он вдруг заговорил быстро и уверенно. Председатель и промком Суйналеев, потный и напряженный от волнения, нагнулся к нему своими нависшими усами и бритым подбородком. Я видел, что он приготовился подсказывать совсем как школьник: он не мог утерпеть и сейчас, неутомимый вождь промкома. Да, я видел все это, и я слышал восторг зала, превращенного вдруг в неимоверный шум, «ура», дикие вскрики, огни, в струнную музыку оркестра. Я видел пекаря Макарова, краснолицего и отиравшего лоб, слышал его речь, воплощавшую политические лозунги, знакомые слова, положения генеральной линии в язык насущных дней жизни, в живые факты, в цифры, сведенные к итогу повседневной энергией живых человеческих рук.

В его простых словах отчетливо и ясно выступало главное — великолепная диалектика жизни, идущей наперекор всем стихиям бессмыслицы, жизни, имеющей самые широкие мечты и побуждения и созидаемой самыми житейскими и простыми делами, самым элементарным и вместе с тем героическим трудом. Да, техника производства старого Лицевого промысла еще стоит на варварском уровне. Да, еще не создана новая казарма, не изменен полностью

быт, не поставлена на должную высоту культурная работа. Но, самый несовершенный технически, он оказался передовым по трудовой организации, по новым формам трудовой дисциплины и заинтересованности рабочих. Среди рабочей массы рыбаков, пожалуй, самой отсталой в культурном отношении, формы социалистического соревнования дали удивительные результаты. Горячий дух этого убогого зала, напряженность внимания и ревность к каждой оценке говорили это без слов.

Директор Макаров подтверждал эти мысли цифрами: всякое дело, напряжение, заслуги и пороки были зарегистрированы и подсчитаны, таблицы и гигантский циферблат висели на плоту, и черная стрелка ежедневно отмечала движение работ. Да, это была новая жизнь, новые дни, новые песни.

Иван Николаевич кончил говорить. Когда стих зал, слово получил опять Суйналеев.

— Товарищи! — начал он. — Директор товарищ Макаров в своей блестящей речи...

И он начал говорить, как всегда — с наслаждением, а я видел, как человек в синем халате повторял беззвучно каждое его слово губами. И директор Макаров безнадежно махнул рукой.

Он наклонился ко мне, потный и красный. Как? Меня не утомило еще ораторское искусство? Бог ты мой, он немного устал от говорильни. Он только что из треста. Там заседают каждый вечер. Казахи говорят больше всех. Да, да, он согласен, что народ впервые дорвался до родника живого слова. Он согласен: Суйналеев дорвался до живой воды, как сожженный зноем кочевник дорывается до колодца, Суйналеев пьет и пьет, не отрывая губ, не поднимая головы от ослепительно вкусной прохлады и свежести. Но он пьет слишком долго, великолепный оратор Суйналеев.

И все же праздник ораторов кончился. Зал уселся крепче, передохнул. Торжество приближалось, напряжение достигло полного завершения. Теперь слово Мистину. Оркестр приготовился. Президиум уже нагружает стол увесистыми свертками, на которые прицелились сотни настороженных глаз.

— Товарищи! — звенящим голосом провозглашает Мистин. — Герой соревнования — это тот, кто не только хорошо работал, но своим примером, словом и делом заставлял подтягиваться других. Буржуазные страны не знают такого труда. Наши ударники не побивают других, не берут

призов. Наши ударники помогают отстающим, учат более слабых. Кто этого не понимает, тот не передовой рабочий, не верный солдат нашей партии.

Пауза. Гром аплодисментов. Крики: «Правильно!», возгласы, восклицания из президиума: «Товарищи!.. Тишь! Тишь!.. Э-е...»

Мистин. Я прочту список сначала полностью. Я читаю. Бирюкова Наталия. *(Повышенно грудным голосом.)* Выполнила встречное задание на сто пятьдесят пять процентов... Премируется...

В зале чистейшая тишина, после каждой фамилии шум, как порывы ветра. Оркестр подобен взведенному курку.

Мистин. Якунина Антонина... Петриенкова Агрипина... Привалова Маруся... Чумакова Марфа...

Оратор неожиданно останавливается по причине близорукости. В зале полный штиль. В оркестре легкий шорох.

— Премируется, — повторяет Мистин, — как лучшая из лучших...

Голос его вибрирует на пределах высот, замирает, и вдруг гигантский сноп звуков, дробь балалаек, перебор гитар, возгласы мандолин и пузатые звуковые бочки барабанных ударов сокрушают тишину, взрывают молчание, поднимают вихрь и вместе с гулом, криком, аплодисментами превращают зал, людей, президиум в победоносный смерч ослепительного шума.

Он сокрушает на своем пути все. Напрасны старания Суйналеева, напрасны его призывы! Музыканты играют цирковой марш, его такт подхвачен ногами, ритм завладел залом, и Мистин, как щепка, подхваченная ветром, уже несется в потоке, предоставленный воле стихии.

— Музыка! Музыка! Остановить! — кричит Суйналеев.

Но тщетно: подарки уже пошли по рукам, человек в синем халате распаковывает их, показывает игру ситца, гордо размахивает полотнами в воздухе, прищелкивает языком, и гул одобрения докатывается до нас вместе с нестерпимо жарким дыханием вставшей со своих мест толпы.

И люди идут на сцену.

Ударницы резалки! Я видел их выходящими из жарких тисков набитого битком зала, я видел их на сцене, во всеоружии промысловой моды — в коротких саках, из-под которых их круглые могучие колени пылали нейстовыми фиолетовыми, малиновыми и красными шерстяными чулками, в платочках всех цветов, из-под которых их полные,

остроглазые лица горели смущением. Я видел их праздничность, парядность — неунывающую, всепобеждающую жизнь, перед которой бесследно исчезали зловещие наговоры пошлости. Их чествовали, ради них играла музыка, ради них произносились речи, ради них это внимание, этот почти детский восторг, эти народные аплодисменты. Я видел их руки, изъеденные солью, исколотые, израненные о рыбы кости, я слышал слова мужского уважения к их труду, и я должен сказать: никогда и нигде я не был свидетелем подобного праздника.

Музыка не падала струн. Не все ли равно, что порядок был сорван и оркестр нарушил торжественность плана Мистина! Я видел, как на сцену вышел старый мастер Поляков, человек, сорок лет проведенный в рыбных лабазах купецких ватаг, знавший всю подноготную старого промысла. Этот человек видел все. Быть может, этого плотного, массивного лица, этих челюстей, поросших жесткой щетиной, этих щучьих глаз, этой широкой, оплывшей фигуры боялись как огня на промысловом плоту. Быть может, и он когда-нибудь пользовался своими неограниченными правами доверенного своего хозяина, ибо кто не знает, что такое старый мастер прикаспийской ватаги? Быть может, и он был старостой в хозяйском гареме, где законы были жестки, непослушание невозможно, расправа коротка? Не знаю. Но сейчас ему хлопают сотни рук, он взволнован, на глазах его слезы. Его приветствуют женские одобрительные крики. Итак, да здравствует старый мастер Поляков!

Но как много крика и музыки! Я не знаю, почему оркестр заиграл «Светит месяц», почему он отказался от туша, когда русские имена кончились и когда Мистин, водворив порядок, выкрикнул степные слова:

— Суменов Айтманбет...— сказал он, и тут началось необыкновенное.

Действие музыки для меня загадочно, и более всего мне непонятны законы соответствия ее настроениям и запросам людей. Но я хочу сказать, что неизвестный струнный оркестр в глухом, как Камчатка, городке Гурьеве в этот вечер, закинутый уже в пропасть памяти, нашел средство выразить все настроения людей. Когда мелодия вырвалась на простор этой удивительной песни, увлекающей вперед, как широта деревенской улицы, все крики, шумы и аплодисменты подчинились все нарастающему ритму, и зал стал притопывать, сначала осторожно, потом уверен-

ней и уверенней и наконец самозабвенно, забыв обо всем остальном. Аплодисменты подчинились мелодии. Такт завладел ладошами. Зал перешел в пляску, все быстрее и быстрее, и я видел, что движений уже не хватает, что еще момент — и зал сорвет с места, что рождается громовой, победоносный ритм, противостоять которому ни у кого нет сил.

Все громче, громче, уверенней! Я видел, что оратор Суйналеев уже забыл о светской школе административной культуры, и все его туловище ходит, а ноги неутомимо перебирают пол. Человек в синем халате бил ладонь о ладонь и не кричал своё «тишь». Рядом с ним пожилой казах в резиновом плаще и легкой панаме блаженно подкикивал музыке, его ладони работали не уставая. Это был вихрь, радость тел и мускулов, порыв, выражение всех затаенных чувств, веры, уверенности в себе. Это было детство, неумиряющее, вечное детство народа, впервые ставшего подлинным народом. Это был праздник, в полутемном зале, далеко от больших городов, в глуши пустынь, под звездами Казахстана. В даль, в ночь, к миру, унося беспредельный восторг неизвестных людей, соединяя воедино все безвестные судьбы, под хлопанье, крики, удары ног, под женские визги летели мы все, видя светлые страны, все более широкие и необъятные горизонты, к солнцу прекрасного смысла, к берегу моря неиссякающей жизни, в года, в надежды, в музыку. Мимо, мимо, вы, мимолетные скорби, тяготы, тени прошлого, зловонные казармы! Мимо, вражда к иноплеменным, — мимо, мимо! Светит месяц, светит яснее, плывет над селами, аулами, городами, озаряет мир, могилы, прошлое, настоящее, будущее, и вот они — новые, дерзкие к неправде, к лени, к косности, к несправедливости, они — народы мира, вместе, плечо к плечу, они — единственный смысл, единственное, неповторимое, ценнейшее земли, неба, облаков, звезд...

Музыка пала.

Спокойной ночи!

В пустынях тьма, великая тишина, и у моря, за рекой, у домов, у могил — бесправде голодной, пустой земли.

Дичь. Тишина снящих. Директор Макаров спит под стеганым одеялом на деревянной некрашеной кровати. На

земле глинобитной землянки спит товарищ Турманов, член Казахского ЦИКа, рядом со старухой матерью, не знающей ни одного русского слова. Дряхлы кошмы, дряхлы ковры на полу, тикают дешевые московские часы на стене, бродит сон. Бродит сон — старый, сказочный, непрременный. Иргалий Турманов бормочет и шевелит губами и во сне все твердится букварь, которым он занят, уча на старости лет премудрость российской грамоты. Снятся ему еще пустыни, верблюды, промысла, — никто никогда не расскажет, что ему снится.

Город во мраке, лай собак заунывен, лишь бессонное зарево над Эмба-нефтью и холодильником борется с полночью. Да, сколько людей безмолвствует сейчас в потемневшем мире! Земля здесь впитала прошлое, как влагу, и молчит как всегда. У церкви, на берегу Урала, догнивают кресты. Здесь лег побежденным генерал Мартынов, павший в бою двадцать четвертого января тысяча девятьсот девятнадцатого года как рядовой боец и командующий фронтом, защищая Уральск, столицу белого казачества. Спят под землей атаманы, офицеры, бородатые уральцы. Нет им славы, ибо они оживают лишь с легендами о ненавистном прошлом. Но есть иные мертвецы, чьи смерти вечно жгут, как глагол. От Уральска до Гурьева — по всей пустынной земле сокрылись могилы наших бойцов, — нет им числа, нет меры страданиям, успокоенным смертью, нет слез и гордости, равных перед их судьбой. Величава их слава, нетленна память, ибо они оживают в наших делах, освещают будущее.

Ночь течет, земля плывет под звездами, с моря в воды старого Яика идут косяки рыбы. Пустыни безмолвны.

«Американец» Хохряков ушел с Настей, резалкой старого промысла, в бездонную степь. Там, наедине с небом, с ночью, с мерцанием светил, он рассказывает ей о портах и океанах, о Мексике, где женщины никогда ничего не просят, об Испании, где бабы похожи на русских, о том, что она, Настя, узнает, когда Мексика станет Россией. Она умиляется и плачет, когда он говорит о пирогах с капустой. Она будет горевать о нем, как о прекрасной мечте, в своей деревне на берегу Волги.

...Жизнь! Как мы любим тебя, как жадно и ненасытно глядим в твои человеческие глаза! Нет, нет! Не то, что я слышал, не то, что читал, совсем не то. Вижу я — чище, лучше, осмысленней, мужественней предстоишь ты в своих трагедиях, драмах, веселых комедиях. Из сырых при-

родных сил возникаешь ты подобно электричеству, этому интеллекту материи, в игре противоречий соединяешь ты минус и плюс, положительное и отрицательное, и только тогда, когда два провода замкнутся и дадут жизнь свету, ты являешь нам богатство огней, миллионы маленьких солнц, мириады миров, сонмы судеб, движение в безграничную и вечно растущую страну смысла.

Не дистиллированная вода, не идеально чистый звук, очищенный от обертонов, твои стихии. И то и другое — мертвое, обеспопложенное, противное вкусу и слуху.

Вот она, эта жизнь, вот она предо мной во всем своем растрепанном великолепии творчества. Вот труд, творимый самыми отсталыми народами, и вместе с тем — самый передовой, самый осмысленный и героический труд. Вот огни старого промысла, пронзающие мрак. Здесь я видел и слышал лучшее, что можно отыскать сейчас в мире. Но оттуда и сейчас наносит варварские запахи, там люди спят в зловонных бараках, новые души живут еще в старых отрепьях. Но дальше я вижу другие огни, огни воссоздания, электрические возгласы генеральной линии, призывы класса-победителя, огни над машинами, уничтожающими гниение, огни над будущими, сохраненными и замороженными богатствами.

Они зовут, кричат, призывают, толкают сильных, поднимают слабых, борются со степью, пронзают небо и уже властвуют над прошлым, досыпающим последние часы в кибитках и шалашах, продуваемых насквозь ледяным дыханием пустыни.

*Москва. 1931 г.*

## СНЕЖНОЕ ПЛЕМЯ

### 1

Царила сибирская степь. Зима лежала еще крепко, продрогшая насквозь, под солнцем в низких пустынях, живущих лихорадочными грезами березовых кустарников. Это была передняя дремучей, заросшей тайгами, сопками и камышом страны. Пустыни ее шли с запада на восток, продуваемые насквозь ветрами всех континентов. Пустыни надувались, как паруса под полным ветром. И не было

конца редким, еще заметным дорогам, ночам, завывающим последними буранами, а днями — ветреному, сумасшедшему солнцу, уже гнавшему с юга жаворонков и гусей.

Через степь лежал великий северный птичий путь. Он возникал от теплых вод Индийского океана, где небо так сине и блаженно, что, кажется, ему завидует райское мерцание воды; от Египта через горы и скалистые пропасти китайской провинции Синь-Дцзянь и дальше на Алтай, в ясный первозданный хрусталь, налитый между зеленых гор. Серые птичьи косяки проходят мимо их белых шапок. Горы покрыты бледно-лиловыми клубами туч. Со снежных туч вниз прыгает и бьется гремучая студеная вода. Она поит красные сочные тюльпаны, альпийские фиалки, и тогда пчелы поют над прохладными цветами зноем и летят к пастбищам, в долины, полные меда и скота.

Перелетные птицы безудержны... Они спешат на восток, через снега и поздние льды. Птицы летят над озером Чан, минуют реки, стремясь к великим водоемам и моховым тундрам Севера. Косяки пересекают рельсы, ведущие к желтым водам Японского моря, и птицы с необъятного простора видят крошечные хлопья дыма поездов, уносящих и привозящих Россию. Солнце освещает их длинные серые станицы. Они летят высоко против ветра. За ними бесконечны ночи, бездонны морские пути, за ними остаются бури и метели, горы и степь. Никто не знает, зачем покинули они страны, где на деревьях зеленые плоды подвешены, как бомбы, где змеи висят и искушают белые цветы, где солнце и море щедры и неустанны.

Закон жизни дикого летного племени не разгадан. Инстинкт, ведущий их ежегодно к северу, никем не понят. Что заставляет их с верностью компаса находить свои старые, прошлые гнездовья, — никому неизвестно. Птицы летят с той же силой и верностью, с какой земля летит вокруг солнца. И люди, стоящие на этой земле тысячи, а быть может, сотни тысяч лет, провожают их взглядами, полными счастливой зависти.

На захолустной станции, черт знает где, у почтового поезда, вставшего перед оштукатуренным баракком с круглыми казенными окнами, с колоколом и ящиком для мусора, их заметит какой-либо неизвестный гражданин, поднимет голову и остановится.

— Гуси летят! — скажет он, перебегая пути у длинного, как Сибирская дорога, красного товарного состава.

И позабудет почтовый поезд, чайник, высоко подняв голову и прикрываясь рукой от солнца.

— Высоко! — авторитетно, в воздух, ни к кому, подтвердит парень, большой, как оглобля, неизвестно для чего попадающийся на всех дальних станциях.— Стараются,— скажет он,— значит, летят! — И он безудержно расплывается своему важному открытию.

Но тут, как часто бывает это с российскими людьми, словно удивится собственному голосу, сконфуженно смолкнет и отойдет, стеснительно надвинув шапку на лоб.

Посмотрит на гусей и проводник вагона, в котором едет гражданин с чайником. Проводник поднимет к нему желчное, жесткое лицо с жестяными глазами, такими чужими и равнодушными, что, кажется, в них навсегда вопли бесконечные станции, разъезды, хлопанье дверями, пыльные лавки и близость тысяч пассажиров, втаскивавших в вагон при свете свечных огарков свои корзины и мешки, спавших, куривших, чтобы бесследно пропасть и никогда не вернуться. В глазах проводника будет то же выражение, с каким он обычно говорит:

— Гражд-дане! Просил вас не сорить, в самом деле... Метешь, метешь... никакого в вас понимания... Тоже пассажиры... Черт бы вас всех,— и тут начнется бормотанье, невнятное, как дребезг поезда.

Птицы уйдут в бездонность. Потом будут звонки, хриплый рев паровоза, словно из-под земли,— и через перрон, неловко припрыгивая, кинется военный с голым, подвижным редкими белыми волосами лбом, без ремня, в чувыках и синих галифе, заправленных в полосатые носки.

Поезд будет идти под нежным небом, бледной весной к востоку. А гуси полетят на север, унося свой путь, который так неизвестен, что, кажется, лежит от самой колыбели человечества.

## 2

В этот день, когда над степной станцией прошла вешняя птица, южнее, в восьмидесяти километрах от магистралей, соединяющей Европу с Великим океаном, находился человек, в ведении которого был весь перелетный путь от центральной Азии к пернатым зимовьям Индии, Африки и Южного Каспия. Мы имеем в виду орнитолога Николая Александровича. Орнитология — наука, и, как всякая наука

ка, точна и чужда каким-либо обобщениям, основанным на личных переживаниях. Это — чистая наука, наука о пернатой жизни, знающая только факты, только наблюдающая, регистрирующая и устанавливающая связь явлений в своей области. Орнитология — еще молодая наука, она не имеет древности и еще насквозь фотографична. И орнитолог Николай Александрович, долгие годы отдавший классификации, неукоснымым датам, латинской порядочности, придал своему мозгу и сердцу точность чувствительнейшего фотографического объектива. Он был точен и совершенно бескорыстен. Он был предан работе целиком и отдавал ей все внимание, которое требовало полной и сварливой верности. В его сознании, чувствах и поступках никогда не было никаких отступлений. Поэтому он презирал всякое искусство и не считался с его магической силой, претворяющей всякое знание в героическую биографию Вселенной. В его птицах не было идеи мирового совершенства. Птицы летели от даты к дате, сами по себе, залетая лишь на страницы орнитологических книг, вне истории и политики, знакомые лишь музеям и страницам сухих научных журналов. Поэтому Николай Александрович был аполитичен, был человеком *post factum* и числился незаменимым. Но революция, постигавшая жизнь во всей связи ее явлений и проникавшая через ее суровый хаос путями искусства борьбы, никогда бы не занесла его имя в списки членов хотя бы захолустного исполкома.

Гуси, подчиненные орнитологу, летели от царственной лазури Индии. Это шли серые гуси, имеющие мощные остроугольные крылья, развивавшие полет, равный скорости стрелы тунгусского лука. Клювы их, выточенные из бледного рога, и перепончатые лапы с крепкими когтями розовели, точно в них вращалась нежная, разбавленная водою кровь. Индийский магараджа, отдавший старость созерцанию мира, окольцевал десятки этих птиц. Магараджа был богат и знатен. Он принадлежал к той части мира, которая огорожена от любого разговора в вагоне сибирского почтового поезда карабинами английского империализма, имеющими дьявольскую начальную скорость пули.

Страна магараджи лежала далеко за снежными тучами южных гор.

На серой заре, когда косяк миновал степные озера, вышел к тусклым водяным равнинам Оби и повернул на восток, птицы снизились к займищу и летели на камыш,

неизменно выходя от мыса на мыс. Камыш стался мертво. Поднималось солнце. Косяк шел, коротко перебрасывая осторожное: ка-га-гак... ка-га-гак, изредка трубя медными расцветными трубами. Ветер дул с поморья. И русский охотник на этой дикой заре убил из камышей на мысе глухого озера громадную птицу, за версту услышав крики, летевшие с Индии. На гусе он нашел металлическое кольцо с надписью неведомого содержания.

Орнитолог Николай Александрович получил его через две недели и сам продиктовал машинистке заметку в газету краевого значения. Заметка была торжеством точной чистой науки. Индия соединилась с тундрами. Гуси оказались вне социальных законов человеческой истории.

Однако точный факт оказался условным.

— Никаких магараджей,— сказал по этому поводу заместитель редактора краевой газеты, сгустив презрительные морщины на лбу, унаследованные им от ГИЖа.— Краевой орган партии, товарищ, не может заниматься агитацией бесящейся от жиру индийской аристократии.

— Позвольте,— начал орнитолог Николай Александрович, и его глаза, как всегда в минуты волнения, стали совиными,— мировая наука не знает примеров...

— Ничего не могу сделать, товарищ,— отчеканивая последнее слово, перебил его заместитель.— Мы оцениваем каждый факт информации политически.

Орнитолог понял, что в кабинете, заваленном кипами газет, есть своя сфера точных понятий, не терпящая посторонних вмешательств. Он чуждался лирических обобщений и уважал всякую специализацию. Случай с окольцеванием экземпляра *Anser anser* взволновал его отнюдь не в художественном порядке. Он с достоинством надел зеленую помятую шляпу, чтобы вернуться к обычным занятиям, идущим неукоснительно и вопреки всем мировым потрясениям. И кольцо магараджи, знавшее воды Индии, сухо замкнулось в полированном ящике с этикеткой, датой и фамилией русского охотника, безынтересного для событий орнитологической науки.

В этот день в степи дул юго-западный ветер. Орнитолог находился в собственных владениях и объезжал их, направляясь к озеру Тандов, лежавшему западнее. Весна тронулась уже дружно и весело. Степь облезла. Синевато-свинцовые озера воды стояли у самой дороги. Воздух по буграм дрожал прозрачными волокнами, как над трубой паровоза. Всюду, где только попадались обгаившие буры

гривы жнивья, серели тяжелые, сытые табуны гусей, поднимавших длинные змеиные шеи. И судьба свела орнитолога Николая Александровича с попугайчиками, о которых можно сказать, что разнообразные существуют граждане на свете. Не считая ямщика, их было трое.

Дорога лезла тяжело и скупо, и лошади тащили телегу, резавшую серый снег и черную вязкую землю, лениво и безучастно. Ехали вторые сутки. Сначала дорога стлалась по столбам, гудевшим сыро и бесприютно, потом она свернула в низкие березовые перелески, и столбы зашагали куда-то в сторону однообразной шеренгой, напоминающей редкую солдатскую цепь. До станции и города, стоявшего за горизонтом, неизвестно где, считали столько верст, что никому не хотелось и спрашивать. Да и не верилось ямщику, уверявшему каждый раз, что от переезда до города подать рукой... И в переезд никто из людей, сидевших в телеге, уже не верил.

Веселее всех жил орнитолог. Сергей Иванович, ехавший по не известной никому командировке и числившийся экономистом, впал в задумчивость. Он был длинен, худ, большеглаз, из тех людей, о которых обычно говорят: «Ах, это тот, некрасивый... а впрочем, он симпатичный!» Ему очень хотелось курить, но было лень шевелить закоченевшее тело, вынимать табак и закуривать на ветру... Он вжился всем существом в тряску и качание телеги и чувствовал, как всем телом уходит в этот случайный мир нелепого дорожного ритма.

Мир впереди закрывался широкой спиной орнитолога. Из-под шапки выбивались его кудри — темные завитки, словно посыпанные пеплом. На нем плотно сидела смешная желтая шапка с ушами, придававшая голове что-то бабье, очень неопровержимое. Орнитолог напомнил Сергею Ивановичу некоего очкастого, поднимавшегося из детства, из приложений к «Вокруг света», где он читал романы с рисунками художника Риу. Этот Риу особенно запомнился. Орнитолог совел круглыми очками, зарастал бакенбардами и чудаковато лез в дядюшку, который должен полететь на Луну.

Выехали на обсохшее серое поле. Лошади взяли сразу бойко, и телега пошла, мягко громыхая, и всем сразу стало легче и радостнее. Сергей Иванович освободил тело от привычной, ставшей даже сладкой и необходимой, боли и приподнялся. Впереди бежала дорога. Замшевый, чистый затылок ямщика с глубокими морщинами трясся как все-

гда свежо, бодро и неизменно. Орнитолог прыгал своей шапкой, широкой спиной, очками. Мир существовал как вечная объективность.

— А где же агент наш... Захаров? — спохватился Сергей Иванович, не найдя сбоку аккуратных плеч и лица знакомыми колючими усами. С агентом Сибторга они познакомились дня три, но никто не знал его имени и отчества. У этого человека не изменялись доброе лицо и скромные глаза, от которых и орнитологу, и Сергею Ивановичу почему-то становилось неловко. Но ямщик сразу стал называть его «Захаровым» и на «ты». А, как известно, ямщики и официанты беспощадно устанавливают право человека на титул и положение. И все, точно по уговору, стали называть агента просто Захаровым, и это почему-то казалось законным. Никто не удивлялся, когда ямщик спрыгивал наземь, хватал лошадей под уздцы и с властью, которая в таких случаях показывает, что и он исполняет в мире важную функцию, кричал:

— Тпру... раклятая... Язви тебя в горло! Захаров, помоги супонь подтянуть... Тпру... дьяволы!

Захаров ловко и умело подтягивал супонь; они долго и солидно возились у лошадей, и, когда ямщик, не глядя на орнитолога, крепко усаживался и дергал лошадей, опять-таки последним усаживался Захаров, уже на ходу, как-то особенно аккуратно. И относился он к своим путникам, как относятся к детям, которым не может быть никакого дела до всех забот и лошадей на этом трудном, проклятом пути...

На этот раз удобной, приветливой фигуры агента и его нависших колючих усов не было.

— Народы! — сразу тревожно крикнул орнитолог. — В самом деле, где же Захаров?

— Да вон он, — обернулся ямщик.

На его молодом краснощеком лице с заволоченными красивыми глазами застыли особая извозная сытость и равнодушие. Он ухмыльнулся:

— Вон бежит! Как заяц. Н-но... заскучали! — Он замахнулся кнутовищем. — Копям тут было очень чижало, он и соскочил...

— Да ты, брат, подожди... Надо же подождать человека! Что ты, в самом деле...

Сергей Иванович пытался еще что-то сказать, но телегу затрясло и понесло по ухабистой сухой колее. Он схватился обеими руками за корзину.

— Догонит. А тут дорога хорошая...

Захаров в самом деле догнал. Он бежал, неловко улыбаясь, тяжело дыша, похожий на доброго усатого жука. И оттого, что он ловко прыгнул и по-обычному уселся с краю телеги, на своем неудобном месте, и орнитологу, и Сергею Ивановичу стало увереннее. В агенте выступала та обязательность и верность, которые совершенно необходимы эгоистическим людям в дороге для душевного спокойствия.

Ехали молча, каждый погруженный в себя. Ветер гнал степь и снега. Откуда-то сбоку снова запагали столбы, и холодно запела проволока. Солнце сквозилось пустышнее, недосыгаемое. В спину дуло уже зябким талым закатом, мороженой полынью. На редких озерах, лежащих зеленоватыми привидениями, мотались в воздухе чибисы. Гусиные серые кресты и стрелки в небе попадались реже. Степь лежала холодной в пустынном раздумье неба и пространства. Порывы ветра болтались, как невольные, безучастные мысли и воспоминания.

И каждый думал так, как думает человек в дороге, случайно, наудачу. Орнитолог привык к дорогам и думал систематично. В данный момент его занимали мысли о пространстве и быте розового снегиря. Кроме всего прочего он беспокоился за сохранность фотоаппарата с дейсовским телеобъективом огромной ценности.

Мир Сергея Ивановича был пестр, добр, неясен и наполнен цифрами. Он считался экономистом: так как у нас все люди, не имеющие специальных знаний, причисляют себя именно к этой области. Революция гудела и звала в проводах, не поспевающих за шагом телеграфных столбов. Столбы шли на ходулях. Короткие значки азбуки Морзе, казалось, не успевали бежать за их гигантскими шагами, уносившими даль. За ними неслись планы, цифры, молнии распоряжений, судьбы. И они боролись с тупым безразличием пространств.

На равнинах полей шла борьба со стихией, решались судьбы двух миров. Сергей Иванович со своей судьбой был включен в систему этой борьбы. Генеральная линия пересекала степь вдоль и поперек. План должен был решить пути человечества. Зеленого восстания колосьев ждала земля, и колосья должны были стать историей. Так гудели и звали провода.

Экономист планировал, подсчитывал, проверял. А Сергею Ивановичу каждую ночь снился сон: девушка с выра-

жением свежей дождевой ветки. Сон отдавал старинным и милым. Ветка пахла дождиком, а дождик так, как пахнет Волга весной под Симбирском. Экономист жил в командировке, в городке, где председательствовали хлеб и масло. Городок существовал тускло, где-то и как-то, и поезда проходили возле него, забирая новый паровоз и не запоминая его так, как никогда не запоминают бабу в сапогах с зеленой палкой, мигнувшую где-то на переезде у насыпи. Из городка шла поддержка мировой истории. И экономист Сергей Ивапович, прожив в нем полгода, только случайно заметил, что каждый день проходил мимо дома с надписью «Электронарикмахерская «Путь к коллективизации» Добровольного Пожарного Общества».

Еще запомнил он <...>: на вечеринку у сослуживца, куда он был приглашен и где его все почему-то называли профессором, в самый разгар ужина пришли гости — молодые люди в серых рубашках и вязаных галстуках. Лиц их экономист не запомнил — они походили на выгоревшие фотографические карточки. <...>

Молодые люди сидели молча, солидно и пили водку, как лошади. К экономисту они отнеслись высокомерно. А он чувствовал свое превосходство и говорил с хозяевами плавно и кругло. На вечеринке, в людях, он был только один раз.

За работой он ничего не заметил и не запомнил из своей провинциальной жизни. Город жил неведомо, «сам по себе», и неизвестно, кто выполнял планы, программы, инструкции. Казалось, и не было вовсе людей. Но жизнь шла — и какая жизнь! — вся степь ворочалась вековыми пластами. Воля рельс и проводов правила железно и беспощадно. Цифры и планы были грандиозны и зажимали необозримость пространств. Экономисту казалось, что только они сами правили поездами, пересекали вьюги и снега и сами неукоснимо переворачивали, командовали, направляли. Он верил только в централизацию и в магическую, ясную и неопровержимую силу телеграфного аппарата. Все остальное слагалось абстракцией. «Все это» мерещилось ему в неопределенных лицах, над которыми было сознание своего превосходства. Лица людей, подчиненных системе, которую он знал и силу которой чувствовал, сливались в туман, в незначительное, как серые рубашки и полосатые галстуки пожимающих ему руки и отряхивавших волосы... <...>

И кто же, кто творил жизнь, проходящую вокруг?

За экономистом стоял неинтересный, добродушный Сергей Иванович. В нем замешалась доброта, обыкновенная наша бесхарактерная доброта, прошлая бедность, огромная Москва, которую он, в сущности, не знал и не видел, театры, в которых он не бывал, хотя и говорил о них восторженно; было еще что-то очень далекое, почти чужое, горькое до слез: мать в приволжской губернии, домики в соломе и пятнадцать рублей, посылаемые ежемесячно. Сергею Ивановичу снился иногда глупый сон, блажь: ветки, туман на Волге, платье, не существовавшее на свете. На его столе стояла карточка в рамке некрасивой женщины с упрямым, длинным лицом. Карточка появилась случайно: ее подарила сослуживица. Но на ней еще не стерлась надпись, старая, как мир: «С. И. — с верой, что существует чистая дружба». Дружбы, собственно говоря, никакой не было, но карточка хранилась. Ну какой же мужчина, у которого нет женской карточки! Кроме того, Сергей Иванович наблюдал за людьми и ждал их в жизни безотчетно. Мысли, которые он произносил о людях, в большинстве случаев были случайными или просто удобными для работы. Чаще всего он произносил фразу, слышанную им в вагоне от лукавого человека с трубкой, относившегося ко всему с веселой иронией. Фамилия его была странная, — нечто вроде Гриба, и говорил он подсмеиваясь и добродушно:

— Нам нужна воля, судари, — и никаких гвоздей! Люди должны выполнять: командует класс и наука. Человек — средство. Абстракция! Ради того, чтобы человек навсегда перестал быть абстракцией. Это не так плохо! — Он затягивался трубкой, и в ней что-то хлюпало и запевало. Он смеялся и, лукаво улыбаясь, хлопал себя по колену. — Нужны быки, энергия в тысячу лошадиных сил, здоровье, послушные здоровые мускулы. Да-с! Вы говорите: люди, мир, осмысленность, счастье... Есть! Идея прежде всего — люди приложатся! А после будет ренессанс, краски, греки, черт возьми! Я ради греков только и работаю. Как вы это все находите? Это не так плохо, уверяю вас, — продолжал он, — и в этом есть краски, красота, хотя сейчас, откровенно, — ну ее к дьяволу! — здоровый может найти красоту вот в дыме этой трубки. Нужна Спарта, черт возьми! Спарта в идее, в машине... Все остальное будет, как пятьдесят две книжки бесплатных приложенный к «Ниве». А насчет греков — они будут. Я работаю только на них. Я деклассирован по существу, инстинктов прямой

заинтересованности во всей этой борьбе у меня нет. Мелкая буржуазия. Поэтому мне нужна идея, Венера, солнце, чтобы полетели к черту галстуки. Это — уставка. Теперь — только воля. Кому нужны цветочки — в сторону. А не хочешь: заставим пулеметами, погоним, выгоним из стойла, заставим пахать и копать... Железо, судари мои, трактор, трансмиссия. Ради того, чтобы через десять, двадцать, тридцать лет из тартарары времен слушать музыкальный дождь, кататься на колеснице по берегу Эллады... Тогда мы покажем, что такое жизнь! А сейчас я верчу кино, черт возьми! Верчу, наяриваю — и никаких гвоздей!

Дым трубки синел, пах сладко скитальчеством, неведомыми странами.

Человек хохотал и лукаво щурился всем телом. На голове его не жило ни единого волоса. Голова сверкала, как кость, борода вороненой сини казалась подклеенной. Веселость человека играла гладью заструенной, сияющей летом реки. Он хохотал, как буйвол, и сошел в степь на станции, носившей странное название — Жаба. Сергей Иванович знал, что у него было два романа в доезде. Всю дорогу дальше дама с капризными, измученными глазами, соседка по купе, смотрела не отрываясь в окно и грустно улыбалась.

Человек с трубкой на прощание дернул его за галстук, проводника оглушительно хлопнул по плечу, исчез на перроне, и без него всем в вагоне стало тихо и скучно. А Сергей Иванович после много месяцев повторял его слова:

— Идея — всё, люди приложатся.

Но дальше у него получалось вяло, неинтересно, а о Спарте и музыкальном дожде он просто забыл.

На станции Жаба осталось неведомое буйство жизни. Люди вспоминали его, неловко, но приятно улыбаясь. Так провинциалы смотрят на заезжего знаменитого скульптора — с почтительностью и молчанием, соглашаясь со всем и не соглашаясь лишь с одним: может же заниматься всю жизнь такими пустяками человек!

Сейчас в степи, не имеющей ничего общего с эллинами, из Сергея Ивановича вытрясало экономиста.

Он старел и мерз на телеге. Она качалась, сипела, чавкала в грязи, медленно опускаясь в долину. Агент Захаров, неизвестный в мире, просто смотрел вперед. Рыжеватые, прокуренные усы его были обыденны, — и о чем ду-

мал он, не знали ни Сергей Иванович, ни орнитолог, ни ямщик, душевная жизнь которого, как полагается, выражалась в ругани. Ибо мысли ямщиков никем не исследованы, а что они люди, почти никому не приходит в голову. Встречных людей не попадалось, степь безлюдствовала, и лишь раз за всю дорогу повстречался тарантас. Там завалялись двое: пьяный мужик без картуза, закинувший голову, и другой, махавший длинной хворостиной с недоуменной веселостью. Он глядел рыжим и отчаянным.

— Дорога... мать ее в душу... — крикнул он, не глядя на встречных. — Ах, твою мать... да пропади она в доску...

Он заорал дико, грозно, нахлестывая лошадей все сильнее и сильнее. Тарантас поравнялся, его мотало из стороны в сторону, голова пьяного открывала и захлопывала челюсти. Хворостина неистово мелькала в воздухе.

— Да... расхристи ее... дья-волы!! — ответил ямщик и, словно вспомнив свое назначение, начал хлестать коней, приговаривая: — Дья-волы! Дья-волы!

Тарантас прошел мимо. Сергей Иванович повернул к нему голову совсем по-старчески, агент просто, орнитолог не пошевелил спины. И только ямщик долго ругался и хлестал лошадей, пока не затихли воспоминания встречи и тарантас не смыло грязно-лиловыми отеками перелеска. Так ехали, то поднимаясь на подсушенные колеи широких холмов, то увязая в ледяные пологие озера, налитые тусклой, шипящей мутью студеной весны. Степи не было конца. И не было конца этому воздуху, и пространствам, уже посеревшим и затянувшимся у земли. Столбы совсем повечерели и обездомели.

Когда закуривали, орнитолог слезал и шагал в стороне прямо по снегу: он не выносил табачного дыма и курильщиков. Иногда он останавливался, снимал фляжку и пил, держа ее высоко на весу, запрокинув трясущуюся бородастую голову. Напившись, он сосредоточенно навешивал фляжку на ремень, мокрая борода его салилась, красные губы глянцевели, лицо пучилось. Сергею Ивановичу становилось смешно: орнитолог был до нелепости осторожен и пунктуален в своих привычках и вместе безразличен и к собственной, и чужой жизни; все человеческое походило в нем на холодный, клеенчатый диван губернского прокурорного присутствия: никто никогда не собирался садиться и отдыхать на этом диване, — так он был холоден, замкнут, неудобен; и все же диван существовал диваном, с

широкой спинкой, пружинами и блестящей клеенкой, отдающей больницей.

Вечерело. До озера оставались пустяки, там были рыбачьи летние избышки. Рассчитывали заночевать.

В сумерки степной дорогой и коням, и людям думается о доме, о задушевной чистоте родного круга; случайные дорожные встречи поэтому часто зовут к откровенности. Да и вечера на степи, даже в непогоду, студеной весной, полны домашних, зябких потемок. Дом в мире везде. Везде не дремлет жизнь, и звери, и птицы, и нищие кусты живут семьями. Даже звезды и те, кажется, внимательно наклонены друг к другу, словно за чайным столом, под мерцающей лампой мира.

— Ты, Захаров, небось как приедешь, так прямо к старухе! — захохотал вдруг ямщик, оборачиваясь и фамильярно откидываясь на локоть. — Небось притомилась! — Он задумался и помолчал. — Я недавно здесь до колхоза одну дамочку возил, у ей муж рабочий из Ленинграда, товарищ Дубровский. Такая веселая. Только нашему брату не приходится воспользоваться. Которые в солдатах были, те рассказывают — поблаженствовались... а мы что — ездий, ездий, как окаянные.

Все молчали. Орнитолог глядел непроницаемо.

— А ее до мужа здоровенный хлюст провожал. Чистый зверь. Но ничего, человек внимательный. Только через кажные полверсты все за нуждой слезал. А дамочка смеется. «Ты, — говорит он мне, — еще молодой, ничего не понимаешь. У меня этих гриппов штук четырнадцать было. Как лапша, говорит, они из машинки лезли. Все в стакан, говорит, смотрю, а там ложка стоит... И теперь у меня этот самый гриппер»... Такой чудной был человек! Но одет ничего, чисто...

Он ударил лошадей. Вдохнул.

— «Ты, говорит, молодой еще, все, говорит, еще узнаешь». А чего я узнаю: цельные дни в разъезде? И кровь у меня мороженная. В наших местах проживешь — и ничего не увидишь...

— А ты вот уши распускай, — перебил его агент. — «Ничего не узнаешь!» Разве это человек должен узнавать? Надо к жизни свое пристрастие иметь... А товарища Дубровского я знаю: вполне сознательный рабочий.

— Сознательный, это верно, — согласился ямщик. — Чего говорить. Из центра. Ну и встречали их, товарищ Захаров, — оживился он, переходя почему-то на «вы», — как

они приехали на станцию, делегация была, музыка. Встретили их с епитимом. И што это думают в центре вѣтки о наших местах?

— А ты что думал? «Из центру, из центру»! Ты все на центр сваливать. Видите, Сергей Иванович,— обратился вдруг агент к экономисту,— у них в голове только один центр. Из-за маковок своей колокольни не видят.

Он засмеялся своим потаенным мыслям:

— Москву-матушку нужно с маслом есть. Ха-ха. А где масло ты, дорогой товарищ, видишь?

— С этим мы вполне согласны,— поддакнул ямщик.— Только масла-то маловато!

— Хватит. Кашу не испортим. Ну ты, Ваня, поторапливай... Масло у нас под каждым кустом ходит. Глаза только нужно иметь.

— С этим мы согласны,— согласился опять ямщик.

Он бойко приподнялся, ухарски гикнул, заорал, но только для виду, чтобы снова застыть в тупую, серую брезентовую спину.

Однако озеро намечалось. Над снегами ровно зажелители камыши, перелесок плешивел, разбредался, вдали забрезжили темные кошны соломы и редких крыш. Они сливались с землей и снегом. Лошади пошли бойко, телега, шипя, резала целину снега. Ехали напрямик степью. Вечер висел слюдяным, закрапали первые ледяные звезды.

Орнитолог вытащил бинокль, стал походить на капитана. Его фигура темнела предводительством.

— Да тут живут! — вдруг закричал он беспомощно.— Кругом народ. Сплошной бульвар!.. Да стой же ты, стой! — злобно, совсем по-детски накинулся он на ямщика.— Стой!

Лошади стали... Орнитолог водил биноклем, жалобно стонал.

— Пропало озеро! — беспомощно опустив руки, обратился он к Сергею Ивановичу.— Места-то какие были. Тут мы станцию хотели учредить. Совершенно ужасно, господа... И, наверное, ваш колхоз,— застонал он страдальчески,— ваш, ваш... Вы это все планируете. Ну вот, и напланировали. Полюбуйтесь. Бульвар, бульвар, окурки, сплошной бульвар! Любуйтесь, любуйтесь! Ради бога, любуйтесь...

Он темнел лицом, бинокль его прыгал с бородой.

— Верно, что бульвар,— отчаянно-весело и радостно крикнул ямщик. Он стоял на телеге во весь рост и выражал собою восторг.— Колхоз тут, беспременно. Народ

рази таки места оставит? Гнать, что ли? Тут с полверсты осталось...

Тут он осекся, увидев трясущееся, темное от негодования лицо орнитолога. В очках оно круглилось, совело, превращалось в мировую науку. Всем стало неловко.

— Гнать! Ему только гнать! — Ученый всплескивал руками, ходил по снегу, обращаясь то к агенту, то к Сергею Ивановичу: — Ува-жа-емый, да вы поймите, что это беспримерное отношение... Гнать? Конечно! Конечно! Но куда — на какой-то базар, в деревню! — Он стоял и хватался за голову: — Ну что же, планируйте, планируйте... Но ведь здесь мы наблюдали редчайшие виды!.. Мы смотрели отсюда весь мир. Что же это такое, я вас спрашиваю?.. Го-спода, что же это такое?..

Он обратился снова к агенту. Тот смотрел просто, и его нельзя было понять. Сергею Ивановичу показалось, что в его рыжеватых усах нависала усмешка. Но агент молчал. Он подошел к лошадям, поправил сбрую, вернулся и аккуратно подвернул тулуп, служивший сидением.

— Поедем, — коротко бросил он ямщику. — Садитесь, Николай Александрович. Приедете. Посмотрите. Человек вашей птице, я полагаю, не помешает...

— Не по-мешает? — Орнитолог негодуя выпрямился, очки его остановились; он махнул рукой и, сгорбившись, уселся на телегу. — Едемте, едемте, — замахал он на Сергея Ивановича, пытавшегося сказать ему что-то по поводу планирования. — Все равно. Едемте.

— Собственно говоря... — начал было Сергей Иванович и замолчал.

Телегу переваливало набок, и лошади входили уже в сплошную воду, хрустящую внизу мерзлым стеклом. Камыши стояли под бледной зарей равнодушным морем желтого ветра. За ними лежали пустыни покоя, cedившие зеленые чаши умирающего льда. Лед смотрел, как глаза древнего ящера, караулившего время из темной пещеры веков. И заря дула и замерзала над ним, розовая от гнева.

### 3

Здесь пригрелась человеческая жизнь. Пахло дымом, наносило голоса, стук топора. Жилье лежало, зарывшись в сугробы и обледеневший конский навоз. Сугробы равняли низкие дерновые крыши. Ветер, шевелил кучи соломы,

поднимал шерсть круглой пепельной собаки, лежавшей прямо у трубы, и уходил на восток. Отовсюду шелестел и шипел камыш. Он шипел по-гусиному. В ломких звонах и шелестах собрались все звуки, которые он слышал неизвестно сколько веков. Камыш гоготал, трубил, свистел, заунывно и неуловимо.

На озере заночевали лебеди. Солнце застывало и покидало блеск слюдяных затонов. За камышом, по снегу, рыжая, как октябрьский кленовый лист, горела и, подняв острую морду, слушала лисица... Она ловила мышей и потухала в серой золе снегов; ее было видно за версту. Сибирский тетерев снялся с тонкой березки и низко полетел по ветру...

Вечер, пустынная старая земля! Все жили вместе: люди, птицы, звери и звезды. И каждый боролся и украшал свою жизнь.

На снегу, закинутые в голой степи, стояли машины: жнейки, веялки, плуги, выкрашенные в голубую и зеленую краску. Это воинствовала генеральная линия, пересекавшая континент с запада на восток. Машины были мертвы, как природа, обманчиво равнодушны и недвижны. В их железе, дереве и колесах жили те же мечты движения и совершенства. Они включались в мир, в солнце, в лисицу, в тетерева, пролетевшего к ночи, высшим сочетанием закономерности и отбора.

Камыш ждал солнца и нарождался мириадами: это был хаос; сильный затемнял слабого; птицы и травы поднимались миллионами и погибали; люди жили тысячами и десятками, но были известны единицами. Они были так же безвестны в тысячах, как и камыш. Генеральная линия меняла землю, слагала десятки и тысячи в миллионы, соединяла их, уничтожала с жестокостью природы все стоявшее и мешавшее на пути. Она боролась с хаосом и безвестностью жизни. Во имя миллионов люди соединялись в миллионы, чтобы в них стать единицами. Люди не хотели жить и пропадать, как камыш. Сильный должен был поднимать слабого, слабые превращаться в сильного,— и те и другие вставать зеленым изобилием. Люди хотели цвести, отцветать и падать в землю, как невиданные цветы, политые, подрезанные, выращенные миром. Разум природы подчинял природу. Законы отбора меняли отбор. Системы чисел переворачивали системы единиц. Наука становилась красочнее искусства, а искусство умнее науки. Машины, стоявшие на снегу, должны были хоронить мир, создавший

их своим опытом. И лисица, горевшая солнцем, на берегу ледяной пустыни была прекрасна, как мир, и была включена в заготовительный план Сибторга.

Кто же творил и исполнял эту удивительную жизнь?

Здесь легла безвестная человеческая история.

Существовала ли в самом деле на свете эта низкая, полутемная изба, зарытая в землю, с огромной печью, бледными окошками и грубыми круглыми бревнами, нависавшими над ее тусклой, загаженной жизнью? Когда Сергей Иванович с орнитологом спустились в черную яму со скользкими, покатыми ступенями и вошли в сени, заваленные дровами и сбруей, они еле нащупали дверь. Пришлось сгибаться, чтобы перелезть через порог. Избы не существовало в человеческом мире. Кислые, зловонные потемки мутно кружились в какой-то преисподней запахов, которых так стыдится и сторонится человек.

В избе, жарко треща, царил железная печка. Под светом копейной лампы углы, лавки и кровати, заваленные тряпьем, шевелились и ползали... Казалось, все разлагалось здесь, прело и сладко чесалось в истоме гниения.

Экономист Сергей Иванович сгинул в этом тумане. Люди вошли и недоуменно застыли. Очки орнитолога перестали видеть. Он глядел кругло, голова его тряслась. Вся его фигура выражала оскорбленность.

— Ну, здравствуйте! Чуваши, что ли? — сказал Сергей Иванович, скидывая с плеч вещевой мешок. — Будем знакомы, — и огляделся. — М-да... — промолвил он неопределенно, — действительно... Ну, здравствуйте!

— Зластуй, — ответили ему из-за стола.

Отовсюду на вошедших смотрели глаза. Изба завалилась людьми. У стола, казавшегося просаленным насквозь, ужинали. Народ прижился всюду: полуголые дети лежали и сидели под самым потолком, на каких-то досках, пристроенных неведомо как. Худые, плоские девки тянулись у печки. Желтолицая баба в черном покойницком сарафане, с нахмуренными бровями и огромной грудью, свисавшей к самому животу, наливала в чашку зеленое сусло, при виде которого у Сергея Ивановича подступила тошнота. Он обратил внимание на глаза: народ наполовину щурился; женщины надвигали платки — их нельзя было разглядеть. Лица были желты, сплюснуты, бугристы, как жулаки.

— Тут трахома, Николай Александрович, — сказал он

орнитологу шепотом.— Попали, нечего сказать. Но à la guette, comme à la guette. Подождем Захарова.

Агент распрягал с кучером лошадей. Без него трудно было начать разговор. Сергей Иванович не знал, как и о чем, а экономист в нем скрылся неведомо куда. Орнитолог существовал вообще, вне человеческой истории.

От железки, раскаленной докрасна, полыхал невыпосимый жар. Надо было раздеваться. Было неловко показать брезгливость. Сергей Иванович скинул куртку, бросил ее на кучу тряпья, наваленного по стенам.

— Жарко у вас,— начал он, подходя к столу.— И народом вы, слава богу, не обижены... Ух!

— У нас жалко, очень жалко,— ответил ему человек в шапке, которую никогда не снимал.

Один глаз у него высох, другой, черненький, смотрел узко и неподвижно. На губе у него слюнявились тощие, китайские усики, и Сергей Иванович сразу подумал: «Для чего он бреется: какой смысл бриться человеку, изуродованному, лишенному всякой надежды на красоту?»

— У нас жалко очень,— продолжал человек, домовито, по-хозяйски поднимаясь из-за стола.— У нас человек рабочий... мы все тут вместе, один национальный коллектив...

— Мы рабочий человек,— промолвил кто-то из толпы, набравшейся в избу неведомо откуда.

— Рабочий мы все человек,— повторил парень с запекшимися губами и знойным черным чубом.— Мы все — как один! Рабочий...

— Они плохо понимают по-русски,— снисходительно заговорил черненький, одноглазый,— а старики ничего не говорят. Председатель хорошо у нас понимает. Только он в городе: как у нас национальный колхоз... У нас народ дружный, не хотят, чтобы поотдельно. У нас четырнадцать семейств, девяносто шесть едоков... Все приехали Сибирь работать. Мы будем работать. Мы были сначала за Урман, за болот, с нашим председателем Ирзин...

Сергей Иванович закурил, хлопнув крышкой портсигара вятской работы. В толпе зашептались, заговорили что-то черненькому на языке, непонятном всем, кроме чувашей. Черненький переминался с ноги на ногу. Сапоги его напоминали средневековые, рыцарские: они походили на огромные, короткие раструбы, придавая его фигуре нечто воинственное; тщедушная его фигурка с усиками, в лохматой бараньей шапке была самой светской; в остальных говорила сама дичь, глушь, лесная дремучая заваль,

непроглядные века, полные комаров, диких зорь, деревень, звякающих лесными болотными колокольцами с коровьими богами; в их говоре скрипели гниющие сучья, тянуло курным дымом, заунывно скрипела длинная колыбельная песнь народа, ослепленного мраком, нищетой и трахомой. Говор был древен и уводил во времена Иоанна. Черненький шептался с чубастым парнем. Сзади, в углу, старик, стоявший все время навывтяжку, опустив длинные руки, и смотревший на печь невидимыми глазами, тоже по временам, словно в воздух, бросал отрывистые глухие фразы... Старик походил на Некрасова.

Изба шепталась. Бабы и девки стыли недвижно у печки и ухватов. Они стояли молча, одинаково безучастно опустив лица и подпираясь кулаками, словно у всех у них нестерпимо болели зубы. Они несли в себе семью и материнство народа, его печальные песни. Баба в черном засаленном саване кормила ребенка. Левая грудь ее лежала на животе. Большеглазый, головастый ребенок упирался в нее белыми, парафиновыми ручками и уходил губами в вялое, коричневое пятно на теле, таком будничном, что оно не казалось голым. Ребенок делал судорожные движения: чудилось, что он плыв по потоку жизни...

— М-да, — промямлил совсем резиново Сергей Иванович, — действительно... Положение ваше не из приятных...

Он курил, и дым папирасы тяжело вис в воздухе: так он был тяжел и насыщен.

Орнитолог смотрел прямо на дверь, ни разу не отведи глаз...

— Тяжелое наше положенпе, тяжелое, — закивал черненький и, конфузливо улыбаясь, остановился... — Народ просит, — проговорил он нерешительно, после паузы, — дать немного табаку... Мучаются все у нас, весь коллектив. И старики, и молодые — все вместе... У нас женщин одна молодая померла из-за этого...

— Померла... все просила закурить... молодая еще, — выступил опять парень с чубом. Он был в лаптях, с деревянными колодками и в домотканых серых штанах с огромными черными клетками. Штаны казались шахматной доской. — Ой мучилась она. Вчера померла. Молодой она, все курила трубку.

— Закуривайте! — сказал Сергей Иванович, вынимая портсигар и чувствуя прескверную тяжесть в душе и в теле.

В толпе засмеялись, зашептались. Из толпы потянулись десятки рук. В народе смеялись, закуривали и улыбались, как дети. Дети народа смотрели молча отовсюду, не смеялись и смотрели, как старики. И старик с изнуренной бородой подвижника, стоявший, как всегда, в углу павытяжку, смотрел по-прежнему на печь и тоже глухо выкрикивал свои непонятные слова. Он звал, надеялся и боялся, что его забудут. Черненький взял папиросу и, осторожно держа ее между пальцами, отнес старику и весело заговорил ему на ухо. Старик смотрел прямо, глухо клокотал и выкрикивал. Длинные его руки дрожали, лицо было устремлено вдаль.

Курили жадно, садились на корточки, с наслаждением улыбаясь сладкому дыму, празднично располагаясь прямо на сыром, затоптанном полу. Дверь поминутно растворялась, новые люди входили и безмолвно усаживались вдоль стен. А черненький, шевеля шапкой, щурясь узкой, сумеречной прорезью единственного глаза, рассказывал, мигал и, словно управляя всей сложной, заповедной жизнью этой темной, ужасной избы, изредка бросал в народ глухие, непонятные слова, загадочные русским, как шум темного, непроходимого леса. И народ слушал, сочувственно кивая головой.

— За Урман, в тайге — плохо, ой плохо, — говорил черненький, — там все кроты кончают... Много кроты. Саженой десять прошел — болот... А здесь земли крепкой, плодородной. Здесь надо всем народом поднимать, надо трактор, а после можно лошадьми. Нас всех вместе завел на Урман председатель Ирзин, лихой человек. Обидел народ. Он хорошо говорил, народ его слушал, а он обокрал всех и положил себе в карман... Он был офицер, торговец. И теперь ему будет суд. А мы народ, как один, — все рабочий..

— Как один, — повторяли в толпе.

А бабы, девки и дети слушали затаясь, на лицах их были написаны все века, одинаковые, как закаты над нищими крышами. Черненький рассказал все: здесь была жизнь огромной, плоской равнины, на которой селились люди, работали, валялись зловонными ночами по избам, землянкам и баракам, чтобы снова вставать, работать, подниматься над землей безвестными стеблями и сгнивать в ней вне истории мира. Но и сюда через серые листки газет, по столбам телеграфа, по талым, непроходимым дорогам неусыпно, неустанно, неутомимо шла генеральная линия. Черненький повторял слова: «контрактация», «коллек-

тив», «кооперация», и эти слова включали зловонную, грязную избу, зарытую в снег на краю света, под ветром и звездами, в орбиту, которой неслась история, грохоча космосом.

На восток и запад шли столбы, летели, быстротечно суживаясь и хватая пространства, рельсы. Поезда пронесли людей от берез и прозрачных перелесков московских равнин к сошкам и пихтам океана. В международных вагонах оранжевые шелковые лампы покоили белоснежное белье, клетчатые пледы, веточки цветов; в вагонах хранилась тишина спальни, мягкая речь, уверенность и сытость чужой, избалованной жизни. Она неслась в огнях мимо степей и озер, вдали над темной, потухающей ямой, где в смрадной вони прелых тряпок и жестяной печки на корточках, на соломе вел рассказ народ, потерявший историю в еловых дебрях и заревах Иоанна...

В поездах шла быстротечная жизнь.

Англичанки съели свои бананы и апельсины и, не глядя ни на кого, выходили из вагон-ресторана. Немцы, из которых один высокий и полный, с притворно-грозными бровями; произносил, вставая из-за столика, «гоп-ля», курили сигары и записывали дневные расходы, — они говорили и кричали на весь вагон. Японцы с лошадиными желтыми зубами, похожими на клавиши старинного фортепиано, любезно улыбались всем, на лицах их, покрытых огромными шляпами, нельзя было прочесть возраста; они были одинаковы, и все были в лакированных туфлях с очень высокими, почти дамскими каблуками. Русские были вихрасты и разнообразны, как мир. Что думали они, никто бы не мог разгадать. Здесь в вагонах встречался весь мир в его полюсах — кости и движения. В спальней тишине международных над степями неслась тишина динамита.

А в национальном колхозе «Просвет», в десятках километров от линии, где проходил «The sibirian express», давно отдоили коров, наступала тишина, засыпали сырые, темные бараки. Молоко, падавшее теплыми густыми струями на дно жестяных ведер, входило в расчет и план генеральной линии. Оно шло на экспорт, вступало в неведомую, сложную систему мировых отношений. Оно становилось силой, мощью, проникало в банки, играло на биржах, гнало с запада на восток заморскую сталь, механизмы, расчеты техники и энергетики. Оно было известно, качества его проверялись и контролировались знаменито-

стями. Молоко гремело в мире. Бабы, доившие коров за плетеными стенами загородок, были темны и непроходимы, о них знали, как знают о дикой сибирской заре, встающей над камышами. Генеральная линия включала их жизни в борьбу за покорение стихий и чисел.

Знали ли они эти великие тайны, обнаженные исторической волей, завоевывающей райские долины будущего? Давно уже отгорела железка, пришла ночь, в избе ворожила усталость и привычный сон, а черный одноглазый человек все говорил, шурясь, причмокивая, повторяя слова: «контрактация», «трактор», «социализм», — слова, которые приходили сюда из времен, стоящих сегодня и впереди, сюда — прямо во времена становищ, лесных гатей, комаров и коровьих богов.

Лампа светила скучно, как окошко древней избы, подпирающей край глухого, лесного поля. Народ присмирел, слушал, смотрел на людей, которых никогда не встречал и вряд ли встретит. Пили чай: агент Захаров, снявший пиджак, с добродушной красной худой шеей, Сергей Иванович, ямщик. Орнитолог сидел не раздеваясь, с кудлатой головой, в очках и пил кипяток из высокой странной мензурки с делениями. Ему было совершенно невыносимо, и он решил спать на дворе в телеге. Он один не принимал участия в разговорах.

Агент пил чай неутомимо, грыз каменный сахар, потел и вытирался ситцевым платком. Это выводило орнитолога из себя, и он хмурился. Он с ужасом смотрел на окруживший его чужой, непонятный ему и привычный для всех здесь живущих мир. Девки и бабы не переставая чесали головы, уродливо, по-старушечьи повязанные темными платками. На огромной кровати, похожей на первобытный станок, сидели дети. Девочка с темными, прелестными глазами играла с мальчиком в куклы, волосы ее вились; другая, худая и длинная, смотрела на гостей не отрываясь, одергивая к носу грязную тряпку, служившую повязкой, на месте глаз у ней были узкие, черные, казавшиеся злыми и презрительными складки. Орнитолог узнал в ней маленького одноглазого человека. Трахома шла из дебрей Симбирской губернии. Дети несли в себе историю народа, не имевшего историков и дат.

Девочка с чудесными глазами играла, смеялась. Глаза ее были чисты, любопытны и полны жадности к жизни.

Агент выпил десятую чашку, крикнул и перевернул ее на блюдце. Человек с одним глазом одобрительно закивал

головой, попросил закурить. Это звучало ужасом: они закурили зеленую, самодельную махорку, которую совершенно уже не выносил орнитолог.

— Ну, народы,— поднялся он,— я укладываюсь на воле... Вы как хотите. Утром я уйду на озеро... Имейте в виду, господа, ваш табак убивает всякую ясность мыслей. Это ужасно. Доброй ночи,— поднял он руку и обратился к кучеру: — Ты, дорогой мой, помоги мне устроиться... За сим до свиданья!

— Бывать может, — начал Сергей Иванович, — и мне? — но оборвался: взгляд ученого был сух и официален. — Нет, уж я здесь... Тем более — сегодня заморозит. Желаю здравствовать.

Они вышли. В избе было тихо, словно все чего-то ждали.

— Серьезный человек! — с уважением вполголоса проговорил одноглазый. — Серьезный очень человек.

И он крикнул бабам на своем приглушенном языке.

Принесли солому, разбросали ее на полу, стали укладываться семьями на овчины, кафтаны, сбиваясь по родам, тело к родному телу. Народ разувался быстро и привычно. Вереницы серого тряпья повисли под потолком. В избе стало еще сумрачнее, грязнее, зловонней. Древний старик стоял в своем углу, по-прежнему одергивая голубую рубашку, смотря куда-то вдаль. Он ложился последним. Наконец и он исчез в сонной, заколдованной мути. Избу укачивало мерным дыханием. Стучали мерно и равнодушно часы, подвешенные к балке, и запел сверчок... Он пел мирно, грезил теплой печью, старой, старой прошедшей жизнью. Сон подступал, как рыданья к горлу, сладкой, безвозвратной силой, туманом. Сверчок пел грустно и ласково, о том, что есть материнские руки мира и что нет нищеты, болезней и печали; он пел о хлебе, о сытых ароматах, о каравах, полных душистого счастья, о том, что прошел лихой человек и все глаза просто и чисто смотрят на мир.

Сергею Ивановичу он пел о Москве, о чужих огнях, о далеком. Москва распускалась на бульварах, трамваи гудели бархатными шмелями, и лето приходило веселыми девушками с голыми гладкими коленками. Актер Художественного театра в высоком, наглухо стянутом пальто гулял по праздничному тротуару; щегольское лицо его было сухо поджато старческими губами и блестело стеклышками пенсне; он словно сходил с английской гравюры, где кавалькада черных всадников летела в буковой аллее, а

высокие люди в сюртуках держали длинные старомодные хлысты. Сияла сухая полная весна. Сергею Ивановичу было тоскливо, он ничего не понимал и поэтому уснул, как безвольный русский человек, с сознанием, что ему грустно и, следовательно, он с хорошей, доброй, правдивой душой. А когда пришел ямщик, что-то говорил и громко бесцеремонно ругался, он уже ничего не слышал.

Изба спала, а сверчок слушал и пел... Не спал с ним лишь один агент Захаров да кучер, к которому тоже лезли всяческие мысли. Он лежал и думал. Агент сидел на корточках в полосатых розовых подштанниках и докуривал папироску, свернутую из газеты. Шея его была худа и обижена, усы выглядели по-детски, будто они могли и не быть, и весь он казался беспомощным.

Кучер никак не мог заснуть.

— Захаров,— заговорил он, вглядываясь в Сергея Ивановича и стараясь убедиться, что тот спит непробудно: — Чудной этот очкастый... — Он говорил шепотом: — Подхожу я к нему, а он лежит, как медведь, в очках, укрылся тулупом и глядит вверх. «Я, говорит, смотрю на звезды». Что же, говорю я ему, это очень даже антиресно. — Ямщик вздохнул и задумался. — А он лежит. «Ничего, говорит, ты не понимаешь: пропало мое озеро, о нем, говорит, во всех странах знают». Так и сказал: во всех странах знают... Очень даже вероятно.

Он помолчал. Агент добродушно тянул папиросу.

— А я и говорю: разве наш народ такое известное озеро пропустит? Тут одной рыбы на миллионы. А он как рассердится... Я думаю, товарищ Захаров, он из попов...

— А ты распускай язык! Значит, беспокоится человек.

— Беспокоится, это верно! — согласился ямщик. — А чудной! Рази народу помирать из-за него...

Агент ничего не сказал, стал укладываться и свернулся калачиком. Он стал трогательным, как все засыпающие люди. Долго молчали. Стучали часы, пел сверчок, в избе кто-то жалобно застонал и заворочался: это у бабы, кормившей ребенка, нестерпимо болели зубы. Она привсталала, облокотилась на руку и так и застыла... Заплакал ребенок, баба сунула ему грудь, он сосал, баба держала на зубу табак, одолженный агентом. Ночь текла беспощадной.

— Захаров,— спросил опять кучер, не переворачиваясь, совсем задумчиво,— а правду говорит очкастый, что лебеди живут за триста лет?

Агент спал, кучеру не давали покоя мысли.

— Триста лет,— говорил он Захарову,— да как же это? Мы все погнием, а они будут летать и клыкать... Чудно. А я полагаю, Захаров,— продолжал кучер, человек должен больше птицы жить... У нас в кино рассказывали. А что толку — ездешь, ездешь... Захаров, ты что, спишь?

Ему никто не ответил. Пел сверчок, спали лебеди за камышами, спала изба, спал Сергей Иванович. В соседнем бараке на голых досках крепко спала покойница. Не спали одни поезда, пожирившие пространства, да столбы, гудевшие ночным ветром под горевшими полуночными звездами.

И до самого серого рассвета одиноко и безмолвно сидела на полу баба, у которой нестерпимо болели зубы. Ребенок сосал ее почти не переставая. И ей казалось, что нет предела ночи, всей жизни и темной страшной дороге, по которой она шла без начала и конца...

#### 4

Откуда-то из-под земли пели хриплые петухи.

Когда погас северный ветер и звезды перестали отражаться в очках орнитолога, позабывшего их снять на ночь, пришла заря. Она поднялась в морозе и разбудила камыш. Камыш побежал, затрубил — и ему отозвались гуси. Крики их полетели к солнцу и вспыхнули резко и неожиданно, как блестящая жаркая латунь. — Ка-га-гак! Ка-га-гак! — низко прошло над озером и смолкло. И все проснулось, потому что приходил день.

Орнитолог ушел в камыши с ружьем и фотоаппаратом. Его провожал человек в шапке, торчащей как рысьи уши, с лукавыми табачными глазами. Озеро закрыло их мириадами своих желтых султанов, пригивавшихся, как полчища стених всадников, идущих тучей завоевывать земли. Всадники пригibalись к северу, они летели уже с юга. И коровы в низких стойлах хрустели остатками ночи мирно и вечно, чувствуя теплый день с юга. Все это звалось весной, которую ждали все, кроме покойницы; она была бессонна, ожидая мочалы и глубокой могилы, чтобы забыть всех.

Завхоз национального колхоза «Просвет» жил молодым и сохранил от Красной Армии точность, смысленность и веру в самого себя. У него была записная книжка, в которой хранились планы и расчеты. Сегодня стояли на-

ряды: рыть могилу, везти молоко, рубить березовый кустарник. Нужно было готовить сети и лодки. В коллективе хлеба осталось на три дня. Семена лежали, как священный алтарь, тремястами пудов будущего. Председатель уехал в город, за сотню верст добиваться помощи.

— Нужно терпеть,— говорил он,— держаться до последнего...

Мысли завхоза работали неустанно: на него смотрели тысячи лет прошлого, редкие огни глухой российской губернии, весь народ, пять человек детей, старики, знающие все и не помнящие ничего. Из России ехали еще шестнадцать семейств. Коллектив был должен государству пять тысяч рублей — три тысячи из них украл лихой человек и офицер Ирзин.

В городе шел суд, и народ одобрительно кивал головой. Пять тысяч! — это были деньги, из которых никто не получил для себя и на восьмушку табаку. Здесь сокрывались машины, лошади, будущее, — и ни одна баба не дождалась платка. Весь народ ожидал этого будущего. Он выходил из времен, от которых не осталось ни одного дня. Завхоз был неустанен, читал газеты, записывал в книжку. Бабы смотрели на него с молчанием, старики говорили с ним, размахивая руками. Он не знал экономики, но точно знал и днем, и ночью свои обязанности и то, что на него смотрит племя, которому он принадлежал всем существом. Племя шло волоком в неведомую страну, минуя пять шестых мира и пять шестых его законов, как солдаты, не говорящие ничего во время сражения. В неведомой стране лежала хорошая жизнь. Право идти туда было правом выходить к морю, — и даже старики хвалили это право и кивали, ожидая трубок, набитых табаком, и теплого хлеба, о котором поют неспящие сверчки.

Завхоз знал только людей и их работу. Поэтому он думал только о ней, и дети, и жена тоже смотрели на него с молчанием.

Когда Сергей Иванович умудрился встать и нащупать свои мысли и ощущения, он понял, что он в дороге, где всегда его существо было вне работы, без мыслей, в одних ощущениях. Дорога тянулась пустыми местами, почевками и перегонами. Жизнь оставалась в кабинете, в учреждениях, в системе. Людей он только ощущал, — подходят ли они к нему, или нет. Генеральный план был для него Элладой. Сейчас осталось только ожидание тряски, возвращение и усталость. Он увидел день, тусклые окна, девок у пылаю-

щего огня и вчерашнего старика, так же стоящего в углу с опущенными руками. Одноглазый человек сидел у печки на корточках и ел круглые оладьи, передаваемые по рукам прямо с жара. Баба в черном, с большими зубами, снимала их с противня, ворочала сковородником. Тут же месили хлеб; дети сидели по-прежнему на кровати, свесив ноги. Изба задыхалась от дыма. Кучер возился у лошадей: с него давно сошли ночные мысли, затылок его краснел от утренника, и он одергивал лошадей, смачно ругаясь, тпрукая, повторяя свое любимое: «У... за-стыли... Ну-ну! Дьяволы!» Он выспался отлично и вымылся снегом.

У бараков и машин стоял уже чистый, ласковый день. Завхоз отдал приказания рыть могилу, идти в лес, — и люди выходили на волю с лопатами и топорами... Молоко, розовое от зари, остывало в бидонах. Оно родилось чистым, как глаза ребенка. Агент Захаров сидел за столом и доказывал завхозу о преимуществах крупных объединений и нелепости заводить трактор на десять семейств. Лицо его серело, прокуренные усы шевелились, и Сергей Иванович, натягивавший противно скользкие, сальные сапоги и как никогда ощущавший себя потерянным и одиноким, чувствовал в его голосе непонятную осанку, домовитость, ту самую, которую замечал у ямщика, когда он в бурю ли, в ночь ли, при любых обстоятельствах, медленно, не торопясь спрыгивал со своего места и как будто для особого удовольствия затягивал возню у лошадей. Какая ужасная, тупая, беспощадная жизнь! Да, все это надо было переделывать, все не годилось ни к черту, — но как переделывать, кому?

Сергей Иванович чувствовал раздражение против агента. Зачем соваться в каждое дело: товарная значимость колхоза ничтожна; в его работе это была тысячная единицы, а его занимали пятизначные, семизначные ряды знаков; то, что говорил агент, казалось ему давно знакомым и скучным. Пить чай не хотелось и голода не было: все поглощали вонь и смрад, при утреннем свете ставшие еще более нестерпимыми.

Запахи имеют звуки и краски, стоит лишь их перечувствовать и заставить себя быть невесомым, как в детстве. В избе запахи не бегали, не гонялись друг за другом: они стояли и звонили. Они гудели и жужжали, как надтреснутый колокол, они были бурыми, зелеными, лучились и липли, как канареечный желток; бум, бум, бум — сливалось их назойливое завыванье, то пропадая, то вновь воз-

никая жаркой жужелицей... Запахи нависали в ощущении, как большая ядовитая муха, в которой висела скука, усталость, забытие и зной... Бум, бум — било в голову бурное зловоние, а зеленая, кислая вонь подвывала замшелю, усталым голосом... Изба прела, парила, кружилась. Агент Захаров походил в этом аду на клочок угольного дыма, в нем было что-то от старомодного товарного паровоза, агент толкал своим голосом бесконечные мысли, как пустые, похожие друг на друга вагоны клопиного цвета: вагоны, пружинясь, шли, сталкивались, а завхоз кивал головой и слушал... Бабы, тряпки, дети и кучи соломы — все пропало в этом звоне, дыме и жужжании. Вонь наступала, как пестерпимый воспаленный свет, ослепляющий больного. Сергей Иванович, задыхаясь, выбежал в мир, больно стукнул головой о какую-то балку, вышел на свет.

— Боже! — хотелось стонать ему. — Как беспросветно, ужасно! Какая страна, какие люди: без мыслей, чувств... Какой смрадный ужас, плодливость и равнодушие!

Он поднял голову,пил воздух и солнце, спотыкаясь, брел по снегу подальше от барака. Но в небе, стоявшем, как океан, не было сочувствия. Пространства мерцали грозно и бездонно, равнодушные к утопающему. Под ними шла степь, пустая, как небо, камыши лежали, как рыжие длинные облака, и обе стихии — и наверху, и внизу — были суровы, мрачны и жестоки пустой, бездетной старостью, не вскормившей еще здесь своих единственных, счастливых детей — человека.

Над камышами летели серые гуси: их крики уносило к тундрам. Они летели неведомо почему к болотам севера класть яйца, линять, чтобы возвратиться в Индию. Сергею Ивановичу не было до них никакого дела. Он утонул в пространствах. А кучер, стоявший у лошадей, смотрел вдаль и медленно жевал кусок холодного, подмерзшего за ночь хлеба. Два парня открыто сидели на снегу, погруженные в собственные дела; они походили на кондоров.

Ах, это светило утро, к которому земля готовилась миллионы лет! Но кто мог думать об этом и радостно запечатлевать это прекрасное утро! Из камышей к баракам бежал самый веселый человек в шапке с рысьими ушами, провожавший орнитолога. Бежал он, как заяц, смешно и лукаво дрыгая ногами, словно неожиданно припомнив, что у него осталось дома неотложное дело. Увидев Сергея Ивановича, он замахал руками, закричал весело и побежал к нему... Кучер глядел на него презрительно и думал, что чуваши —

последний народ. Но и он медленно и нехотя пошел к экономисту. Втроем они курили табак, веселый улыбался, поправлял ежеминутно шапку, оглядываясь по сторонам. Ему до смерти хотелось рассказать веселую историю и соврать, так как он считался первым балагуром, картежником и беспутным; люди, стоявшие перед ним, молчали, веселому было это невыносимо. Кроме всего прочего, ему надо было на работу, а идти не хотелось: весенний день таял, камыш выгорал, с земли несло легким угаром, и степь казалась пустым домом, в котором выставили все окошки. В такие дни в Москве на дворах вывешивают шубы, они кажутся серыми от солнца, нафталин пахнет темным детством, а возле шуб сидят и караулят седые дамы.

Время шло, ехать решили после полудня: так условились с орнитологом. Веселый убежал, размахивая руками, на работу, завхоз с агентом возились около каких-то досок... Им помогал одноглазый, вскидывая доски к глазу, примеривая их и похлопывая руками. Верстак стоял здесь же под небом. Агент скинул полушубок, плюнул на руки и начал строгать, — и, захлебываясь, завиваясь словно схваченные пламенем, стружки кудрявились и бумажными кольцами свисали с его рук. Стружки завивало, они выворачивались кверху, и дерево становилось белым, как кость, праздничным, молодым...

Агент сбросил шапку, морщинистый лоб его краснел: он работал ловко, молодея с каждым взмахом, так же, как дерево, строгал, ворочал доски и, приставляя их тоже к глазу, бросал в сторону. Пила жалила дерево, как оса, и сухие доски давали опилки, сырые, пахнущие речным ветром: доски гладило солнце, они лежали звонко, опрятно, весело. Одноглазый смотрел, одобрительно причмокивал и быстро приговаривал: «Хорошие доски! Жалко доски... Ты мастер! Правильный мастер! Хорошо...»

Агента и здесь стали называть на «ты». Он взмок, скинул пиджак и в одной налипшей рубашке, жадной к телу, продолжал пилить. Гроб выходил на славу, длинный и узкий, с гранеными тупыми боками, принятыми всеми народами и культурами; в нем славно должно было пахнуть солнцем, свежим, чистым домом, сквозняком.

А покойница лежала в землянке, обмытая золой, в новом ситцевом сарафане, повязанная коленкоровым скользким платком с черными горошинами. Она ждала. Голые ноги ее, связанные синей тряпкой, казались прозрачными.

Она была плоска, узловата и измучена, как корни огромного столетнего дерева, выползшие вдруг наружу. Зубастая голова ее хитро светила высохшими, незакрывшимися зелеными глазами. В землянке настоялась тишина горя, которого некому выплакать. Разымчиво пахло ушатом, сладковатым запахом мертвого, и от железной печки, сушившей воздух, еще сильнее и печальнее донесило сырость лавок, вымытых по случаю похорон, и хлебной опары, замешенной здесь же у печки. И люди, сидевшие здесь, смотрели ей в лицо, не отрываясь, словно от мертвой исходила завороченная сила.

Что побудило Сергея Ивановича придти и взглянуть? Чувство ли любопытства? Или та непонятная сила, которая заставляет людей жадно, толкая друг друга, бежать к раздавленному трамваем и неотрывно глядеть на кровь, кости и на то чужое, ужасное, что лежит на земле с серым, пустым лицом, грозным, как хаос? Неизвестно. Но он пришел, снял шапку и остановился.

Мертвая держала время, и оно не двигалось. Старуха с красными, запухшими глазами смотрела на нее бесцветно; ничего нельзя было прочесть на ее лице: народ, не имевший истории, не читает своего горя. Концы платка над головой старухи поднимались, как черные хвосты: они походили на перепончатые летучие крылья. Возле нее баба помоложе равнодушно кормила ребенка. Старуха смотрела на мертвую, как будто она смотрела на нее всю жизнь. Ямщик кашлянул. И Сергею Ивановичу, и ему стало неловко. Минуты остановились, жизнь проходила где-то далеко, далеко от этих печальных мест...

— Ну, что...— спросил вдруг у старухи неведомый в Сергее Ивановиче трусливый, любопытный человек,— жалко дочку? Хорошая была?

И Сергей Иванович сам ужаснулся пошлости и никчемности этого вопроса.

— Не дочь она ей... сноха,— поправила его баба, кормившая ребенка.

Старуха смотрела прямо, не отвечала. Но вдруг круглые мутные слезы потекли у нее по щекам, глаза ее стали совсем линиями, и она заплакала, словно первый раз в жизни.

— Холосая... ой, холосая была,— заговорила она быстро, не стирая слез, вся заливаясь рыданиями и болью.— Холосая... такая холосая... никогда меня не ругала... ой... ой... ой-ей-ей-ей...

Она рыдала не переставая, жалобно воя, и крик ее походил на тот, что вырывается из операционной, где человеку беспощадно блестящими инструментами, не обращая внимания ни на что и даже не утешая, быстро и жестоко режут тело, — и он слышит и чувствует, что навсегда кончена его веселая, прежняя жизнь, и, падая в темноту, ощущает, как отделилась, исчезла его раздробленная только сегодня, но еще жившая нога и теперь страшно шлепнулась в ведро...

— Холосая... ой холосая... ой... ой... ой...

Крики старухи резали сердце, холодили спину и проникали страхом. Они стали стихать — она снова смотрела на мертвую, как прежде мучительно, не отрываясь.

Сергею Ивановичу стало нехорошо и стыдно. Но другой человек, равнодушный, никогда не видящий людей, помимо его воли смотрел на чужие страдания, резонерствовал и любопытничал.

— А мучалась она сильно? — спросил этот человек дрянненьким голосом, дрябло, не веря заранее, что в этой мертвой ощеренной бабе могла пройти страстная жизнь, могли быть думы, надежды, нежность и даже физическая боль.

— Мучилась, — спокойно сказала молодая. — Сильно мучилась. У ней муж веселый, любит водку, всю жизнь в карты играл... Она его все звала. Все упрасивала, плакала: «Ты женись, говорит, ты еще молодой... Ты женись...» — Она замолчала и добавила задумчиво: — Мучилась так сильно.

— Она от перебоя табаку померла! — вмешался равнодушно ямщик. — Тут все бабы курят: у них у всех груди порченые...

— Табаку, табаку... — закивала старуха сквозь слезы, — просил она табаку...

Становилось невыносимо. Сгинул экономист, сгинул обычный, примелькавшийся Сергей Иванович, — на их место появился давно простой, беспомощный человек. Ему стало больно за себя, жутко, стыдно, как в детстве, и он, краснея, путаясь ногами в соломе, вышел в сени, ничего не понимая, неся в душе тяжелый позор своего эгоизма, трусости и одиночества. Этот человек вышел к воздуху и к жизни, увидел мир и почувствовал, что он слаб и тщедушен. Он был один и тонул в стихии, которой была жизнь, — и он почти заплакал, но о чем? о ком? Неизвестно.

Навстречу ему попался веселый хлопец в рысьей шапке, с табачными глазами, уже старый знакомый. Хлопец скопфуженно улыбнулся, на ходу снял шапку и показал ему горсть заржавленных, кривых гвоздей. Один гвоздь так и застрял у него в волосах. Он засмеялся, беззаботно хлопнул шапку на голову и исчез в сених.

Сергей Иванович пошел к телеге, нашарил тулуп, завернулся и задремал. Мирно припекало солнце, пахло сеном, и ветер щекотал его лицо смеющейся былинкой. Небо мерцало океаном. В телеге он проспал до самого полудня.

И он не видел, как поздним утром, когда кругом уже распустило снег и по льду пошли выпуклые, похожие на стекла объективов лужи воды, древнее племя, вышедшее с далеких финских озер, провожало свою покойницу. Племя растеряло свои могилы необозримо — по лесам, по озерам, по степям, и везде они исчезли, как истоки дремучих речек, не имевших начал. Род продолжал род, гнилые избы по-прежнему курились дымом, и не было песни такой печальной и заунывной, чтобы заплакала о своих сынах зеленая земля...

Гроб несли молча всем коллективом. Его обнесли мимо низких землянок и сугробов, мимо машин, переброшенных генеральной линией, мимо собаки, спавшей по-прежнему на крыше. Новая и последняя отчизна смотрела на людей со снегов и навоза, на гроб, ярко-желтый па солнце, и молчала, как всегда. Крышку несли ребята. Процессия шла бестолково, гурьбой, и казалось, к смерти племя шло волоком, так же как оно шло в жизнь. Самый древний старик, тот самый, походивший на Некрасова, не шел за племенем, а провожал его глазами... Он стоял у барака, обращенный лицом на восток, неподвижный, опустив длинные руки, под солнцем, сиявшим из голубого океана и тонувшим в нем великолепным сиянием; ветер шевелил его волосы, он смотрел неморгающими глазами на перелесок, куда уходило племя; туда уплывала жизнь, люди, гроб — и в нем зеленоглазая чувашская девочка, которую он помнил тридцать лет тому назад. Это было давно, в старой жизни, где-то в симбирской России. Старик стоял вестью всех могил и истоков народа.

День сверкал и лучился. У черной, зиявшей полночью ямы гроб поставили на землю, и все племя сняло шапки. Веселый муж стоял виновато и мял в руках свой рыжий трех; за поясом его был топор, а в шапке гвозди; его

мысли, как всегда, уносило в страны рассказов, в жадную даль... Агент Захаров вместе с завхозом забрались на пригорок земли, выброшенной из могилы и черневшей сырыми, жирными комьями, и завхоз поднял руку...

Он заговорил глухо, отрывисто, так, как говорил со стариками, о том, что никогда не станет известным читателям, знающим наше русское слово. Неизвестные слова поднимались и падали, как страницы и письма затерянных становищ, в них складывались шумы лесов, скрипы повозок и стуки топоров, рубивших еловые срубы; в них смутно и космато играли зори и дымы, плакали дети и набегали клеба, пожары, болезни; черные осны горели под серыми крышами, необозримо шли избы, гудели мухи и за окнами пылился зной; в них заунывно, длинными ночами скрипели люльки и пели женщины, колыбельные песни мешались с шорохом тлевших гробов, сырые, незабудки росли на ядовитых лесных чарусах, комары и болота зудели под заревами... А племена шли, шли и шли. Они пахали сохой, доили коров и исчезали. И слова складывались в огромную жизнь — бабы и старухи выли длинно и протяжно, как саван в гробовой колоде, над нищим телом.

Слова складывались, как деревни складываются из изб. Завхоз говорил длинно и глухо: деревни тянулись без конца, жизнь не имела пределов, слова не могли передать всей ее длинной истории. Он оборвался, оглядел всех недоуменно, жалобно крикнул... И бабы завывли снова длинным воем, без конца и начала.

Тогда выступил агент Захаров. Он стоял, сложивши руки у шапки, смотря в народ темными усами, ставшими под солнцем багровыми и синеватыми. Щеки его добродушно золотились густой щетиной.

— Товарищи, члены национального колхоза «Промсвет», — начал он медленно, и весь народ поднял головы и перестал плакать. — Товарищи! Мы провожаем и покоим гражданку Марию Денисовну Ефимову, прибывшую с вами сюда строить новую жизнь...

Агент замолчал, передохнул.

— Она, — продолжал он громко, сжимая кулаки и отчеканивая каждое слово, — была верным товарищем своему заморенному народу и понимала, что пора перестать плакать нам, как плакали мы черные сотни лет. Она прожила свою жизнь, трудясь с утра до вечера, вырастив малых сырых детей, и за кусок хлеба отдала свою жизнь. За этот

кусок хлеба она заплатила ямой-могилой царям, помещикам, генералам. Она не пожаловалась никому. Но пусть каждый из вас помнит, что за этот черствый кусок положения ее жизнь. Пусть каждый из вас знает, что теперь нам некому платить своим потом и кровью... и каждый из вас помнит сознательно только себя и коллектив. Вы бедняки, у вас нет пауков-эксплоататоров. Вы дружный народ и живете смиренно, по-рабочему — одним котлом. Пусть, товарищи, машины и советская власть поведут нас к жизни, где вы не будете расти, как кусты, а будете жить и не сгнивать, как безызвестная трава... Пусть поведет она нас туда, где каждый будет кончать свою жизнь под музыку... Над этим гробом, — выкрикивал агент, бросая кулаки, — проклянем всем народом мрак, нищету и невежество. Проклянем то, что мы жили как под снегом, смеялись друг над другом, молились доскам и порознь плакали, помирая. Никто не поможет нам чистыми руками. Мы сами своими мозолями, такие же серые, как эта гражданка, мы сами, неизвестные, плохие, будем бороться... Бросьте плакать, товарищи! Как мать унимает свое дите, нас унимает республика. Оставим память, чтобы сильнее трудиться. Проклянем могилы, куда нас силой толкали. Скажем мы все над замороженным бедным человеком: республика все слышит и все видит...

Он сделал паузу, погрозил в пространство, и глаза его стали совсем простыми; он поднял указательный палец:

— Она, как мать, знает о каждом своем дите на чужбине. Но она не плачет, потому что много ей кормить и обувать, много ей надо соблюдать и принимать к сердцу, товарищи... Вечная память! Склоним знамя борьбы над трудовыми руками... Отдыхайте же мирно, покойтесь, гражданка Ефимова...

Он кончил, обтер лицо грязным, измятым платком. В народе молчали. Словно поезд готов был отходить в далекие, чужие страны, — такая чистая, глубокая стояла тишина. Завхоз положил на грудь покойницы красный флажок. Бабы сгрудились у гроба и кулаками утирали слезы. И только седая старуха жалобно выла, приговаривая: «Ой... ой... о-ей-ей...» Веселый муж вынул из-за пояса топор и приготовил гвозди. Крышку прилаживал одноглазый черненький, хозяйственно припирая ее коленкой, гвозди входили в дерево бойко, и малый в рысьем треухе заколачивал их, как ему всегда и полагалось, жизнерадостно...

Когда закопали могилу и утоптали могильный холм, солнце поднялось высоко, в океане света и воздуха стоял птиль. Легкое облачко звало степь парусом или заморской чайкой. Издалека над камышом летели птицы крестами, стрелками и треугольниками, высоко, высоко, чтобы высиживать новых птенцов в северных тундрах.

5

Весною хорошо и весело расставаться. Это сказал писатель, любивший всю жизнь, как юноша, и умерший далеко на чужбине. Он жил в городе, увитом плющом, где занимал верхние мезонины чужого дома, плакал от любви и написал, что старость самое большое преступление, которое никогда не прощается. Писателя до сих пор помнит и любит все юношеское в огромной России, сумевшей простить одинокому страннику его грузные, холеные седины. Говорят, в том городе, где он жил, самая лучшая и веселая весна. Бульвары и мансарды празднуют ее каштанами и воздухом, таким легким и изящным, что он, кажется, выпил все лучшие женские глаза в мире. «Весною хорошо расставаться, любезный читатель!» И еще лучше расставаться в дороге, где люди стремились, как птицы, помогали друг другу и беззаботно забыли и покинули свои встречи навсегда. Они разошлись, забыли и даже не верят, что все это было; был какой-то сон, совсем не настоящий, и никто не вспоминает, как выглядел вагонный проводник, как называлась ночная станция и как кучер, пересчитав деньги, на прощание махал шапкой, а на путях в сквозных ветках березового перелеска горел перстень семафора...

Поезда уносят все.

Через несколько дней экономист Сергей Иванович Троицкий дома, как всегда, укладывался спать и долго чистил зубы. Он помолодел, загорел и забыл уже все — и дорогу, и степь, и далеких случайных спутников. Он укладывался спать, как всегда, после долгой работы, и от сознания своей усталости, налаженности жизни ему было тепло и казалось, что он хороший и порядочный человек. И ничего в нем не осталось от ночи, проведенной в избе на берегу озера, носившего дикое, зараставшее камышом название — Тандов. Да и существовало ли это озеро, избы и какие-то странные, зловонные люди? Их вовсе не было на свете, — Сергей Иванович засыпал. Карточка некрасивой женщины на его

столе тоже спала, а надпись на ней говорила, что не существовала в жизни и «чистая дружба».

Городок за окнами молчал, лишь в тишине глухо лаяли собаки. Через станцию, нависая трехглазыми оранжевыми огнями, тяжело проходил скорый, — он грохотал стрелками, шипел тормозами и менял паровоз, который подводили к нему как раскаленную племенную лошадь, осторожно, на вожжах, — и снова уходил, вращая колеса, клокоча паром и маслом и неистово крутя сталью по насыпи, поднимавшейся за ним, как безумный поток приводного ремня. Поезд дымил на Москву и уносил тысячи судеб и вестей.

С ним вместе уходил на Москву солидный, объемистый пакет, адресованный Главнауке. В пакете точным языком квалифицированного орнитолога Николая Александровича, имя которого было известно научным журналам всех языков, сообщалось о «возмутительном нарушении исследовательских планов вверенного ему учреждения мирового значения»; обращалось внимание на необходимость немедленного устранения «пришлых элементов с варварским отношением к памятникам природы»; писалось о «срочных мерах», «невозможности работать», о переселении национального чувашского коллектива «Просвет».

Поезд шел бессонно, оглушал переезды, перегоня столбы: он опаздывал на двадцать минут. Ответы его топков неслись в пляске мрака. Степи, лежавшие кругом, кружили, заворачивали, и перелески плыли, точно были посажены на карусель.

А в большом сибирском городе, прозванном русским Чикаго, где новые дома из бетона и стекол стояли прямо на пустырях и захолустьях, в эту ночь происходило заседание коммунистического конвента края. Было уже за полночь, матовые электрические лампы теряли свою зоркость.

Секретарь конвента, бритый наголо человек, в рубашке апаш и сером пиджаке, кончил доклад и закурил трубку. Над столом, покрытым красным сукном, громоздились головы, бумаги, графины. Люди, сидевшие за столом, молчали и походили друг на друга. Заседание продолжалось, колокольчик секретаря коротко звякнул.

— Слово имеет, — сказал он, отрывисто поднимаясь и горбясь, — член краевого комитета партии Василий Герасимович Захаров...

И, улыбнувшись рыжеусому вставшему рядом с ним человеку, добавил:

— Вася, уложись в двадцать минут... а то с курорта приехал — заговоришься.

В зале засмеялись и затихли.

Конвент пролетарского века слушал. «Агент» Всесоюзной коммунистической партии большевиков Захаров, вернувшийся из отпуска, использованного для объезда юго-западного сектора крестьянских хозяйств, говорил пятьдесят минут. В середине речи, не прерванной никем, он скинул пиджак и остался в голубой ситцевой рубашке, под воротом которой его худая шея казалась детской. Он сжимал кулаки, отирал лоб платком, усы его щевелились. Генеральная линия творила жизнь, полную трагических противоречий, удач и неудач, героизма и юмора, но она шла неуклонно к будущему, побеждая пространства, уничтожая препятствия, объединяя единицы в сотни, складывая сотни в миллионы...

Стенографистки были измучены, менялись через каждые пять минут. Когда Захаров кончил, лампы стали будничными, графины на столе желтыми и равнодушными. Захаров говорил о том, что партия, вооружаясь техникой, должна все неуклонней двигать в будущее низшую, загнанную былыми хитцами массу деревни. Он говорил о том, что легче перешагнуть в это будущее: не имеющим ничего, чем другим, бешено цепляющимся за жалкое, натрабленное благополучие прошлого. Генеральная линия, — говорил он, — победит, несмотря ни на что. Проклятые своим «ничем» будут благословлены «всем», что они завоюют...

Конвент двигал стульями и расходился. Город стоял на заре; и люди возвращались по домам со своими портфелями уже тогда, когда кругом на всех степях, лесах и озерах, на тысячи верст кругом, поднималась жизнь. Океан ее мерцал наверху, огромная плоскость, похожая на небо, дымилась внизу. Пространства шли на юг, на восток, на север. И над всем миром, крича на красную зорю, пересекая земли, где спали в могилах безвестные народы, озера, где мириадами нарождался и погибал камыш, серыми стрелками, длинными снеговыми крестами летели гуси и лебеди.

Они шли от Каспия по великому северному птичьему пути. Впереди всех из туманных озерных степей дикими белыми парами выходили лебеди. Они шли неуклонно, с верностью полета земли, никогда не сворачивая с пути, не облетая гибели,

Их видели везде на чистой заре, в хрустале которой они шли низко, прямо опуская пушистые крылья, повторяя заунывное: глук... глук... глук, что означает счастье. Снежная, огромная, миловидная печаль была в этих криках. Люди знали, что они, летевшие над их грязными и позорными бараками, над их могилами и трудом, живут по триста лет, — и люди поднимали головы и провожали их глазами в нищие тундры.

И никто не подумал о том, что эта мощная красота, сила и печаль, лучше и светлее которых не видел человек, выводят свою верность, жизнь и снежное племя там, где всего скуднее и беспросветнее мир; и что похоже это чистое племя, летящее в даль, на старые, заветные мечты, на ту зовущую думу народов у всех колыбелей и песен, что родилась у самых неизвестных и обездоленных и должна долететь до своих краев, несмотря ни на что.

*Москва. 5. 31.*

## СТАРИНА АРБАТ

Мы возвращались с запада. Таких ребят уже не найти на земле.

Нас пачками выбрасывали вокзалы. На границах пушки оделись в чехлы. Смоленск, Минск, Бобруйск, — штабы фронтов и армий, там, сзади, срочно меняли названия. Мир обновлялся заново. Подули другие ветра, — мы ходили толпами, глазели и хлопали ушами на площадях Москвы. Нас раздирало от нежности к девушкам. Вступая в новый, завоеванный мир, мы не знали, куда девать свои огромные красные лапы, торчащие из рукавов пожелтевших шинелей, хранивших едкие запахи дезинфекционных камер. Нерешительно толпились мы у ярко сиявших витрин — новобранцами новых и оседлых лет. Да, мы вылетели из военных гнезд. Подростки, выпущенные из средней школы великой гражданской, — мы сдали арматурные списки; в последний раз нас отдали в приказах, списали с довольствия, защитные фуражки сидели уже на нас, как синие студенческие картузы. Мы вступали в Москву с холодком в сердце, полные неведомых ожиданий, пугаясь ресторанных вывесок, желто-зеленых пивных, озираясь на людей в коверкотах, на ярких женщин в юбках двадцать четверто-

го года. Бега и казино работали. Мы шептали слова Коммунистического манифеста, вдыхая запахи этого великого котла, где варился питательный бульон для выписавшейся из военной больницы страны, вступая в этот великий город, каждый день оставляющий позади целую прожитую жизнь.

Осторожность, осмотрительность, верность. Двадцать четыре года века были заряжены молодостью, как полевые пушки.

На улицах города мелькали *свои* с западного, восточного, южного. Мы хлопали друг друга по плечу, задыхались от хохота, глядя на славные фронтовые рожи, на наши штатские пиджаки с широкими, как у юбок, полами, на узконосые ботинки, на первые галстуки, — это были *мы*, действительные, неопровержимые, еще конфузливо взирающие из отражений витринного стекла.

Москва сияла надеждами. Нас пьятил грохот этой неоскудевающей и неутомимой жизни. Большинство из нас никогда не знало стремительности большого города. Мы были неуклюжи и застенчивы во всем личном, фанатичны и беспощадны в общественном, — это был провинциальный пух на щеках поколения, угловатость его замыслов и надежд. У нас не было привычек и вкусов к платью и удобствам жизни, это поколение не говорило о предпочтительном преимуществе блондинок перед брюнетками, но оно не толковало евангелие по мертвой букве.

Оно рождалось и входило в жизнь второй раз. Были забыты, отошли в туман родительские семьи. Теперь мы оставляли семью юности, с горечью первой самостоятельности, вспоминающей беззаботное веселое мальчишество. Там, *на войне*, не только дрались — это была первая такая война! — там впервые серьезно читали, воспитывались, спорили о философии до изнеможения, там возникала первая тоска по женщине, первая освященная смертью дружба. Москва собрала все это еще раз в узел. Здесь в старых стенах все встретились еще раз, еще раз переспорились, перелюбились, чтобы определиться уже на всю жизнь.

Город стоял весенний, обсохший на свих, тогда еще редких, асфальтах и грубых булыжниках. Его огромные надежды и ожидания запомнились гулками вечерами, в дымах реки, у башен, окутанных испарениями парков, столетних деревьев Александровского — в отзвуках наших легких шагов. Мы были почти бездомны в громадах этого

города. Мы бродили по общежитиям, ютились у случайно счастливых друзей, обходились без завтраков, обедали в пивных. Повсюду пели цыгане. В литературе это было время Маяковского, ломившегося с треском и громом в лесу поколений, первых книжек «Красной нови» с есенинскими — «не жалею, не зову», рассказов Пильняка и Бабеля, первых наших привязанностей и крушений, успехов и потерь — удивительный пролет лет, шумных, ярких и волнующих, как театральный зал.

Это было, когда мы возвращались из армии. Мир с Польшей был подписан давно. Имя Чичерина было популярно, анекдоты, как мухи, носились в воздухе. Все знали и Паункаре-войну, и Чемберлена, выставленного во всех стрелковых тирах, и Клемансо-тигра, и Ллойд-Джорджа, — в этот год мы, последние запоздавшие, прощались с военными скругами, — костер гражданской дотлевал где-то в Средней Азии. Нам приходилось туго, привыкшим к заботливым рукам каштеармусов и квартирьеров, к растроганым и нежным квартирным хозяйкам, к братской беспечности армейского котла. «Нигде кроме, как в Моссельпроме», «Кто куда, а я в сберкассу», «Реклама — двигатель торговли» — эти слова врезались навсегда так же, как *ци совнаркомовские* тех лет, как первые папиросы «Наша марка», первые дома отдыха и первый выезд на море, в Крым.

Жили трудолюбиво и весело, как птицы. Через рабочую фракцию жилищного товарищества, что в Рыбниковом, в доме тринадцать, въехали в комнату, первую, забываемую комнату Москвы. Номер двадцать седьмой — называлась эта каморка, просто-напросто бывшая уборная гостиницы, с узким окошком под потолком. Нам передали уборную друзья, — они сматывались куда-то в Сибирь, в первые экспедиции, — мы выгребли горы мусора — прогнившие тряпки солдатской бязи, банки из-под консервированной конины, скелеты селедок, — мусор двадцать первого, двадцать второго и двадцать третьего года. Двадцать четвертый наслоил бутылки из-под хереса, коробки из-под скумбрии, огрызки колбасы и разные предметы гигиенического значения. Друзья жили беззаботно: они медленно расставались с армейскими традициями. С негодованием сшибли мы полуразбитый унитаз, сложили кирпичную печку, оставив раковину умывальника. Этот уголок украшался настоящим шелковым абажуром. В двадцать пятом пошли на тряпки последние кальсоны армейского образца.

Их удивительный материал с черными, столь подозрительными крапинами соединился в памяти с испарениями этапных бань, комендантскими командами, госпитальными преисподними. Мы носили уже гумовские сорочки зефир в бойкую полоску. В тряпках умерла боевая бедная юность.

Москва гремела от ломовиков и трамваев. Чудовищные кентавры с мохнатыми ногами с рассвета до ночи создавали цоканье и московский гром. Их хозяева запрокидывали зеленые литровки, — трактиры и рестораны окружались толпами, в пивных дым шел коромыслом. Появились лихачи на дутиках, автомобили еще ходили на фаэтоны, таксомоторы Рено привлекали всеобщее внимание. Чудом казался грубый австрийский Штейер, имевший представительство на Кузнецком, но уже вещь, дрожью будущих строительных эпопей, рокотали слоновые бюссинги. Сухаревка, Смоленский, Анапьевский — их было много — тошнотно воняли жареным салом, прелой кожей, полувытертыми горжетками — удушливым запахом вывернутого наизнанку барахла старого мира. На Трубной торговали птицами и рыбами, ружьями и охотничьей стариной. Там в клетках сидели лисицы, осенью хрустально перезванивались из своих клеток щеглы, — весело там было от рыбок в аквариумах, от цветов и деревьев-саженцев и от множества птичьих клеток, уставленных друг на друга. Уже вихляясь, забывая и выквакивая, вылезал на улицы джаз, зацели бандитские частушки с припевом «Коммунист, взводи курок!», и пошли от Мейерхольда «Кирпичики»... Нэп стал на ноги. В пассажах Петровки прохаживались обтянутые дамы, слишком внимательно застывавшие у витрин, сияли из радужно освещенных магазинных ниш трикотажи и шелка; на тротуарах — у ГУМа, у Мосторга, у прочих — торговали китайцы со скромными лицами, опуская ресницы, — тут были чемоданы, ремни, всяческие чулки; предлагали тут же духи Коти в длинных бутылочках, — своего разлива! — вязаные папочки и бюстгальтеры — «на вашу фигуру, мадам», — какие-то, смахивавшие очень на оставных актрис; у банка на Никольской неизменно стояли люди с особо сосредоточенными лицами, вдруг начинавшие произносить как бы про себя: «Доллары, доллары, доллары», — и опять невозмутимо прохаживались вдоль стены. Говорили о кассирах, бешено наживавшихся на повышении червонца, о первых разудалых растратчиках...

Когда перестал падать червонец, ордером нас перебро-сило на Арбат. Это был колоссальный дом предвоенной модернизированной архитектуры. Нам досталась отличная комната, обращенная в глубокий колодезь двора, — проти-воположная стена смотрела в ее окна десятками своих черных глазниц. Она приняла нас радушно — комната барской квартиры, с паркетом, прожженным красногвар-дейским отрядом, с временной печкой, согревавшей чьи-то ледовитые годы, с отчетливыми звонками и сотрясениями улицы, от имени которой бросает в нежную дрожь...

Весна на Арбате. Так можно назвать книгу, или сти-хотворение, или картину. Но в ущелье старинной улицы, извивающейся, как течение реки, всегда должны ворвать-ся какие-то легкие дни, когда трамваи гудят так, словно хотят оторваться от земли, изумленная синева над Моск-вой, только что налетевшая, ранняя, прохладно-наплес-кавшая гроза... Грохнуло, расколосось, пробарабанило и пропело по крышам, музицируют водосточные трубы, и вдруг запахнет тополями из Денежного или от Николы на Плотниках. И вот уже унесло облако. И отчаянно тарах-тит по вымытому ржавому булыжнику извозчичья про-летка, о которой мы будем рассказывать дедушками, как сейчас уже рассказываем о недавней арбатской старине. О Николе шатровом, что звонил еще в наши молодые дни, — рядом с ним дом с белыми колоннами, он жив и посеячас, — о Спасе на Песках, том самом, в котором вен-чалась дочь Казимира Станиславовича — этим именем и отчеством назван рассказ Ивана Бунина, страшный рас-сказ о человеческой судьбе из *того*, давно умершего мира. Или, быть может, мы расскажем о доме, что так близко к нашему, — угловой бывшего Денежного и Арбата, что против дома туристов, еще не достроенного, — там жил дав-ным-давно профессор Бугаев, математик, и сын его Борис Николаевич смотрел из окошка, как скучно идет русский снег, как устилает низкие крыши нежными сумерками и желтеют грустные предвечерние огни. Бориса Николае-вича провезли уже к Донскому — Андреем Белым, извест-ным всему миру, он лежал в гробу, как юноша, красивый, а мы помним, как бежал он по улице с последней плющихинской квартиры, в галстук бантом, похожий на музыканта из Гофмана, с голубыми лунными гла-зами...

Весною особенно хорошо бывало в арбатских проулках. Там по-особенному пригревало солнце, бежали совсем не столичные весенние ручьи и очень озорничали в деревьях и кустарниках воробьи. Дворянские Хамовники отходили спокойно безмолвной, давно отрешенной от жизни старухой. И в дворянских тихих переулках еще веселее становилось от быстрых этих смертей. С утра до ночи шумно выбивалась из них человеческая толпа, ручьями стекая на черный от народа Арбат. Но там в глубине кривых и бульжных улиц таилась старая губернская тишина, покой старости, — голоса там раздавались резче, часто попадались собаки и кошки, то и дело обдавало раскрывавшимися почками деревьев. Жужжа, словно кто провел густо накинфолненным смычком по струне, врвался вдруг звук трамвая. Что-то старозаветное, как печь с лежанкой, чудилось там. И люди там попадались другие, каких сейчас давно уже нет. Еще умирал вечерний церковный звон, попадались еще попы, но казавшиеся уже совсем невероятными, сошедшими со средневековых гравюр. И встречались длинные суконные шубы с бобровым блеском под боярскими шапками, старые ватерпруфы и боа, чиновницы с гнездом на голове, укутанные оренбургским платком поверх — зимою это ярче бросалось в глаза. Но вот гремело, и ласково сияла влажная майская синева, обсыхала весна, старина исчезла, как дым.

Нас редко заставляли дома в те быстрые дни.

Мы приходили поздно, чтобы исчезнуть утром, нас втянуло огромным маховиком Москвы. И уже смотришь, кто и отобедал в «Праге» или в арбатском подвале, и уже не краснели перед официантом, заказав непонятное блюдо, оказавшееся вовсе не мясом, а какою-то дрянью, подбитую сахаром.

«Прага» тогда переживала расцвет.

Электрическое имя «Праги» горело над полночною площадью, тогда еще с садиком, с памятным диском желто-лунных часов. Душно было на Арбатской площади — бульжной, запруженной вечно трамваями, похожей скорее на тесный домовый двор. Две церкви стояли на ней — Бориса и Глеба и еще одна, где нынче вырастает станция метро. Но с площади — в скуке бездарных низких домов — сквозила уходящая бульварным спуском, городская смутная даль: вниз по Гоголевскому бульвару, еще черно-лесному, но уже в мириадах ярко-зеленых точек — туда стекал поток деревьев, — в туман беспорядочно нагроможден-

ных цветных крыш. Теперь изменилась и самая даль. Изменилась и «Прага». Но в двадцать пятом ею по праву открывался шумный торговый Арбат.

Сейчас и «Прага» и магазинный Арбат стихли, по-серьезнели, а тогда шумели они по-купчески и торговали разнообразно — винами, всяческой снедью, галантереей и обувью, аптекарскими товарами, мебелью, был даже свой оружейник — некто Салищев, его помнят арбатские охотники и собачники. Нэповская «Прага» орала цыганами. Внизу, в помещении аукционного зала и одновременно кинематографа, продавали с молотка царское и княжеское имущество, простыни в самодержавных монограммах, судки и бокалы с коронами, сервизы. Продавали купеческие меха с Поварской, мебель красного дерева с Остоженки, Воздвиженки, со всяких Николо-переулочков и тупичков, с Сивцева Вражка. Шли тут всякие бисерные вышивки, гобелены и редкие парчи, вазы и лампы, ампиры Александра, настоящие Павлы и Елизаветы и прочая, прочая. Вечером среди аукционного нагромождения, среди картин Айвазовского и профессора Клевера, разглядывая посуду и ковры, ожидали киносеансов. А наверху начиналась особая, плотно прикрытая портьерами жизнь. Туда проходили позже, опытно кидая швейцарам пальто и шляпы, и кто может разгадать, сколько концов всяческих драм и падений поднялось по лестнице в яркий свет, в визг цыганского пения, в шум и звон, в туманный дым папирос.

Опускалась ночь. Но ярко сияли огни «Праги» до утренних сумерек. Кто помнит инвалидов, торговавших тогда папиросами под рестораном «Прага»? А моссельпромщицы в белых фартуках и картузах с золотыми буквами и прямым козырьком? Наступала глухая ночь. Когда смолкал трамвайный звон, когда в переулках под старинным газовым светом гулко исчезали последние шаги, «Прага» выкидывала накипь свою прямо на тротуар... Кого-то били. Заливались резкие трели свистков, вырастали из-под земли какие-то наглые, быстро втиравшиеся в толпу, кого-то держали, выворачивая руки, и злобно рычали на него — в изжеванной и вытертой военной шинели, кричавшего: «Эх, попался бы мне в восемнадцатом году!» — целая орда красных и потных, с модно обтянутыми задами, в почти клоунских штанах, треугольником вниз... И такие же, науськивая и грозя, высовывались из ресторанных дверей вслед швейцарам, крепко держащим окровавленного человека, с желтым измученным лицом.

Потом медленно расходилась толпа. Совсем глухой ночью, тьякая гудками, подъезжали сюда такси — с Тверской, с Неглинного, с Петровских линий, — высаживали полупьяных женщин в мехах настоящие мясомордые моржи, лапали их при всем честном народе, спотыкаясь, подымались по лестнице, чтобы, уже окончательно осовет, на зеленом арбатском рассвете до одури торговаться с частными шоферами, дежурившими всегда тут же на площади. Увозили всю эту дрянь, тогда отовсюду высунувшуюся и разжиревшую, машины, имевшие грубое и символическое отличие: канареечно-яркие полосы по краям кузова.

Весенние арбатские рассветы пронзали тонким и ясным холодком. Когда исчезала последняя нечисть из «Праги» и знаменитого арбатского подвала, — особенно скандального в те дни, — с цоканьем последних ночных извозчиков воцарялась уже совсем иная жизнь. Блистели арбатские булыжники. Ежась, вылезали зевающие дворпики, в ювелирном магазине досыпал меж запертых входных дверей ночной сторож в тулупе. По синим отсветам рельс скользила улица — кривая, еще пустая, в нагромождениях своих домовых машин, все более снижаясь к Смоленскому, — там полностью царствовала в те времена убогая губернская скука: низкие дома вокруг рынка с подслеповатыми окнами, узкие трамвайные ущелья, безвкусица купеческого модерна с лепными выкрутасами, «Смоленская лечебница О-ва русских врачей», аптека, сенная базарная площадь, всегда в конском навозе, зловонные прибульварные нужники с вечными оборванными и опухшими бабами у входа. Здесь светало скучно и тоскливо. Лишь вверх, по юно-зеленому, взлетающему на веселую горку Новинскому ускользала московская легкая даль, так радостно опровергавшая запахи и мраки наискучнейшего и наигрубейшего Смоленского.

Рынок царил над всеми своими подступами и переулками. Люди Смоленского сейчас поисчезали, царство Смоленского торгового княжества пало, и даже реликвий не осталось. Последних холодных сапожников и тех вымело из-под развалин крытого мясного и овощного рынка, позже — посолочной базы и еще позже — куч щебня, перемалываемого машинами Метростроя. Тогда же это грязно-кирпичное, наводившее тоску на многие поколения капище высилось, как храм смоленского прасольства и последнего — спившегося и догнивавшего — дня.

Рынок поднимался к самому Новинскому. Тут на булыжной равнине вразвалку распродалась рухлядь последних барских, чиновных, купеческих Хамовников. Тут неистово благоухали вывернутые кишки района — мясные, зеленные, рыбные рундуки и прилавки попеременно с жареной и вареной обжорочной снедью, всяческими рубцами, пирогами и поджарками — к вечеру вся площадь поднимала сырой и ядовитый туман миазм. Смоленский, расторговавшись и растекшись в ночи по всем своим норам и переулкам, делался страшным, — полутемный, заваленный мусором, ошметками и всяческой дрянью, скандальный от множества пьяных, опасный к полуночи, когда разбежались по нему пронзительные милицейские свистки.

Смоленский тогда переживал свою вторичную молодость. Он замыкал собою Арбат тех лет, Арбат, начинавший свое каменное течение рестораном «Прага», Арбат, взрастивший свои высокоэтажные доходные махины еще на костях дворянской Москвы, Арбат, занятый давпо во всех своих узловых пунктах и механизмах той рассветной, неопровержимой силой, которая на каждом рассвете зывает мощным разливом гудков.

Но мы взрослые и оформлялись. Нам суждено было становиться на передовую линию жизни — нам, двадцатилетним, чьи годы отсчитывались годами века, стрелки чьих жизненных часов шли паравне с часовыми стрелками эпохи. В нас было достаточно сил, свежести и бодрости, — мало кого занимал вопрос «принимать» или «не принимать». И, право, в бурном накоплении сил, в радости нарастания крыл не так уж страшно было, что в «Праге» обедали с водками быв. Смирнова и с рябиновкой быв. Шустова, что танцевал на вывесках некий Глик, приподняв цилиндр над продуктами против мышей, бородавок и мозолей, что ожил даже Ж. Руссель, — Жан Жак Руссель, как говорили шутники, — ожил на прежнем месте в Столешниковом — гигиенические изделия, интересные вещи для мужчин, прейскурант закрытым пакетом, масса новостей — так он рекламировал себя в «Ниве» четырнадцатого, пятнадцатого года. И что было до того, что на Арбате появились «Братья Брабец — фирма существует с 1889 года»!

Между тем Москва гремела от ломовиков. Появились частные дома, застройщики, концессионные фирмы, личные автомобили, мода подняла женские юбки до предель-

ной высоты. Нэп багровел, наливал складки затылка, трескал шампанское с рябчиками, спал на простынях с царскими вензелями. Были слухи, что у Сандуновских ходит настоящая княгиня, нэпачи брали княгиню, катали на частнике с желтым кантом. И уже танцевали фокстроты под патефон, прогремели кабуки, чубаровщина, пошли луны с правой и с левой, в пивных рыдали под есенинские стихи.

В нашем доме история бродила как молодое вино. Жил рядом кубанский казак, партизан без правой руки, прямо из гражданской в Москву — товарищ Шевалко, — мать его, старуха шестидесяти пяти лет, пила натуральную литрами, плясала и никогда не пьянела. На глазах наших к ней сватались, и она пошла и выпла бы, если бы не сорвался сын... Мы знакомились с ним при обстоятельствах ночных: ежедневно в четыре ночи звонил к нам Шевалко — два звонка — и падал из двери покойником. Пил он зверски. Утром ежедневно у них, у Шевалко, начиналось: плач, драка, укору, а мирились опять с водкой, причем пили уже все вместе — жена, мать, вечные гости из артели инвалидов. Из партии его вычистили — и навсегда. Сам Шевалко уверял, что сердце у него порченное — хрюкает вроде поросенка. Но ежедневно повторялось вчерашнее... Действительно, что-то там хрюкало. Бедняга был жертвой сложных отборов истории, он нэпа не принимал идеологически, расстраивался — отсюда и пошел сплошной госспирт и всякие ресторанные выпивки. Казачий офицер рубанул его в бою под Новочеркасском, подули новые ветра, и запахло иным уже и невидимым порохом. Но Шевалко успел как-то перепродать комнату, кого-то надул и сгинул уже навсегда. С ним обрубались концы каких-то далеких и дымных лет.

В нашем доме история бродила как молодое вино. Учились, работали, подчас подголаживали, подчас и кутили, и ждали, ждали, как продолжения книги... Уже внутренне чувствовалось дыхание близких событий. Арбат стремительно катил свои человеческие волны.

Напирал какой-то половодный разлив, жизнь заливала необозримые берега, страна после морозных вьюг и тифов жадно впитывала теплую влагу и свет. Образы людей возникали и пропадали, как в бешеной скачке. История набрасывала их с карандашной быстротой, чтобы мгновенно перевернуть альбомную страницу.

Молодые люди из окон напротив, на каком заводе, где вспоминают они арбатские весны и зимы? В те времена,

когда лежал еще на Арбате старый провинциальный булыжник, они заканчивали грызение научного гранита и не признавали занавесей, их, впрочем, не признавали все остальные рядом, в большом венецианском и в крайнем, где жил одинокий гражданин.

Студенты жили перед нами в двух окнах, они относились к жизни с усмешкой добрых философов. В их комнате не было мебели, она подметалась лишь в исключительных случаях. Один из них, сибарит по натуре, проявлял природные способности рационализатора: придумал тушить лампочку прямо из кровати ногами, — они читали в постелях далеко за полночь. Но иногда на студенческих окнах появлялись листы «Правды», они возникали вечером, что совпадало с явлением в этой комнате девушек, приносивших кудлатым философам колбасу, булки и прочее — от женской нежности и участия. Жизнь студентов скрывалась тогда. «Правда» висела на окнах два дня, три — по инерции.

Студенты были видны как на ладони, но они пренебрегали скромностью занавесей вовсе не из отсутствия такта в общественном поведении. Они были бедны, как церковные мыши, и взирали на жизнь с добродушием обладателей мира.

Но зрелая дама из большого венецианского... Там тоже не было занавесей — мы расценивали наготу этого жирного и плотоядного счастья как пренебрежение к нам, *они* не считали нужным стесняться, — черт побери, могла же офицерша когда-то раздеваться перед своим денщиком!

Там жили двое, *напманы*, как говорилось тогда, и это было довольно. Он исчезал неделями — толстый и лысый, рожа совой, прямо с плаката, выглажен, в длинных утконосах-ботинках, в брюках по щиколотку и в таком же коротком пальто. В комнате, как в комиссионном магазине, — в нагромождениях мебели, в сервантах, трюмо, шифоньерах, среди блестящей посуды и мельхиора — всегда полуодета — царила *она*. Утром она выходила к раскрытым окнам Венерой, ставила зеркало. Она брила все волосы, — никто из нас не мог так ловко орудовать бритвой!

В тридцатом их выслали. Мебель свозили уже по асфальту: в этот год с Арбата сняли булыжники. С дамой-вахханкой было покончено, там поселился военный — спартанство, обтирания утром и вечером, у него брало синела бритая наголо голова. В тридцать втором он пристрастился к радио и ловко перехватывал буржуазные

танго, наслаждаясь музыкой почти до утра. Занавеси он себе завел только с приходом метро.

События шли, сам воздух пылал изменениями, — мы хотим рассказать об Инге, девушке реконструктивной эпохи, в крайнем окне.

Нэповскую нечисть разбросало, как вулканический пепел и грязь. Перед самым взрывом студенты выехали инженерами, от них не осталось и следа. Там поселилась рабочая семья, там тюлевые занавеси, горшки с цветами, много детей, гардероб и комод, граммофон, и до сих пор по вечерам на столе стоит самовар.

Инга поселилась в крайней комнате, там, где покончил с собой неизвестный нам одинокий гражданин. Комната была опечатана три дня. Там долго возились военные, потом ее мыли, белили, оклеивали, — Инга въехала с небольшими двумя чемоданами, совершенно одна. Она прежде всего распахнула окно. Мы жадно смотрели на девушку. Она вскинула свои синие большие глаза и пожала плечами. Больше она на нас не смотрела.

На Арбате катилась новая человеческая волна. Мы помним первое морозное дуновение тридцатого года. Гудки старых Хамовников перешли в наступление. Это были дни проверки, когда люди испытывались, как орудийная сталь. Со Старой площади бойцы получили сигнал... Буржуазия пэпа отходила, юродствуя и кривляясь, истекая слюной жадности и злобы, дрожа от страха и обороняясь только из-за угла. Она выдавала друзей и приятелей, — этот омерзительный конец не вызывал сострадания. Она лопнула, как гнилой пузырь. Из него пошла вонь почти целого столетия, стояло только Старой площади ткнуть в это жалкое брюхо. Но она дала о себе знать через подставных лиц. Завыл Смоленский: этих обдали, как клопов в старом, продавленном диване, ковшем хорошего, крутого кипятка. Уже сокрушили арбатскую булыжную мостовую, меняли газовые гоголевские фонари, исчезла шатровая колокольня Николы, что у Серебряного переулка против нас, на месте домишек времен Наполеона в Москве выросла серо-бетонная почта, простая и трезвая, как геометрический чертеж. Безмолвные пушечные громы сотрясали воздух. Трамваи задыхались от удвоенной и утроенной давки: огромные массы проходили через Москву. И уже в преданиях стояло старое имя — Хамовники. Имя Фрунзе, образ полководца армий разума, мужества и простоты, встал над районом. Язык вывесок менялся в третий раз. От до-

военного Арбата осталась лишь одна смутная надпись на брандмауэре «*Кофе Ретгере*» — как надпись древнего мегалитического камня. Вывесок и надписей всепного коммунизма нельзяз было отыскать, его громоподобная история не была записана ни над какими магазинными входами, иероглифы ее запечатлелись лишь следами пуль и снарядов. Нэп стирали мгновенно. Брабеца заменил Хамдиэтпродукт, спартанство первого пятилетия развесилось на столовых с запахами гнилой капусты, на магазинах пирпотреба многочисленными Хампитаниями и Хамкоопинсоюзами. Тогда же с «Праги» было снято звание ресторана и вывешено было строгое и щепетильное — *столовая*. Потом уже в последний раз сняли все эти железные и раскрашенные традиционные вывески. И от нэповских магазинов и имен не осталось и следа...

В эти дни к нам переехала Инга. Сам язык меняется на этом огненном рубеже, когда умирало всякое прасольство. В той комнате, где поселилась она, застрелился *вредитель*, — это слово звучало несколько лет так же, как некогда звучали *золотопогонник* или *колчаковец*.

В эти дни заговорил точный и медноголосый эпос тяжелой индустрии. Новобиблейской суровостью дышали имена гигантов — Сталинградского, Кузнецкого, имена Магнитогорска, Днепростроя и сотен других. В эти дни наборщик, набирая «Спекторский», невольно набирал «*Спекторстрой*».

География, которую мы изучали когда-то, вдруг пришла запросто, как домашняя гостья, — все далекие пространства придвинулись к Москве. Арктика, сибирские реки, северные тундры и Памир, пески Средней Азии и Карелии, — кто не ощутил их дыхания в эти баснословные дни? Экономика заговорила языком штабов. Уголь, железо, сталь, тракторы, автомобили, — на стенах домов полыхали сводки, в самом воздухе носились значки Морзе. Арбат тоже стал шествием точной науки, математики и геометрического циркуля. Новая эпоха вставала из нэповских туманов, — заводские гудки поднимали единую страну. Шли армии — без винтовок и пушек. Там, в этих армиях, слагались новые поколения, так же, как слагались когда-то и мы. Они тоже начинали с барачков, с походных палаток, с морозов и тифозных смертей. Они копали землю, взрывали скалы, боролись с буранами, меняли течение рек. Росли корпуса, день и ночь шли платформы с Запада — из Европы, с Запада — из-за океана, — машины, ма-

шины, турбины, станки. Шли армии, зажигались в дебрях, в метелях, в болотах многоярусные соты огней, поднимались новые зовы гудков. Все выше, все выше, — воздух гудел от сотен тысяч лошадиных сил, выносящих сваренные металлические крылья. Москва потекла лавиной новых наших автомашин. Это были дни, когда окончательно вызрело поколение. Мы вместе с другими были в бою. Нас бросало по всей стране. Это были дни, когда возвращавшиеся не узнавали покинутых улиц, насиженных мест — так быстро менялся облик земли. Они приезжали, с удивлением видели новые черты в окружающем — улица стала словно не та, все изменилось, и прежде всего сами они.

Арбат!

Мы возвращались к нему, мы находили здесь людей своего поколения. Все те же лица, но тверже, обостренней, без неопределенных и расплывчатых линий. И те же приветствия, живая речь, все тот же быстрый, насмешливый ум. Почти не осталось мальчишества, но то же жадное любопытство к жизни, любовь к товарищам, ненависть ко всему эгоистически-замкнутому.

Как мы любили эти черты!

И сама улица, как будто вровень с людьми, стала строже, просторнее, с каждым днем все осмысленней, чище и светлее течет ее жизнь. Смоленский вытасчен с корнем, очищен, сам пепел его давно развеян по ветру. Там, где некогда торговали развалом, зеленеет бульвар, и глаз уже свободно скользит дальше, где раньше, загромождая проезд, стояла лечебница «О-ва русских врачей» и аптека Арбата, — свободно по глади блестящих брусчатых камней пролетит человеческий взгляд, чтоб повиснуть в дали Москвы. Только посолочная база еще посылает проклятья седой старшны.

Арбат накатан автомобилями, блестит грифельным глянцем, поднимает молодые дома, новые этажи выкладываются на старых фундаментах. Незабываемо было ходить по нему и отыскивать новое, идти до театра Вахтангова и вдруг вместо здания-торта в легкой резкой увидеть нечто простое, чистое, плывущее навстречу, как на воздушной летней реке пароходные этажи. А как волновались когда-то у этих дверей, комкая два билета на «Турандот», ожидая тщетно, чтобы, переболев, перестав вовсе надеяться, вдруг апофеозом света, обвеянные театральными сквозняками и душистыми токами, вести вверх по лестнице чьи-то добрые и взвол-

нованные восемнадцать лет. Теперь он другой, какой-то спортивный, свободный, как будто скинувший гнет ненужной мишуры, дребедени, мешающей двигаться, и вот — уже свободные, чистые линии, естественная и непринужденная простота. И совсем другой зал, и другая, еще более уверенная в себе, публика, и вдруг в ней что-то очень знакомое, в гладком, прекрасно облегающем молодое гибкое тело платье, слегка суженные глаза, и в руках небольшой, красной кожи портфель... Инга!

Она, она! Это была странная, на наш взгляд, девушка — страшная чистюля, приходившая домой только вечером, всегда одна, — может быть, она была директором фабрики, может быть, молодым инженером или инструктором райкома. Она появлялась в своем окне рано утром — свежая, скромная, с гладкой, всегда причесанной головой. Мы не могли назвать ее *хорошенькой*, это обезличенное слово не подходило к ней так же, как ужасное *интересная*, как трафаретное *красивая*. К ней, жывшей в одном доме с нами в период великих потрясений тридцатого года, не подходил весь этот традиционный словарь старого общества. Что мы смогли бы прибавить к ней? Тогда у нее почти не было мебели, телефон, очевидно персонально-ответственный, стоял на подоконнике. Ей часто звонили — утром, вечером, ночью. Она много читала, сидя у лампы, любила цветы, никогда мы не видели в ее комнате мужчин и гостей. В двенадцать она всегда тушила свет, темнота заменяла ей занавеси.

Время протекло удивительно быстро. С изменением улицы все менялось и в комнатах. Занавеси повесил военный, за туманами тюля двигалось многолюдство рабочей семьи, одна Инга поддерживала стерилизованную пустоту вокруг своей прозрачной и чистой жизни. Впрочем, это имя придумано нами, так называлась пьеса, одна старая пьеса... И вот мы, вернувшиеся, видим ее в театре и замечаем, что сама жизнь смотрела из ее насмешливых глаз.

Арбат, Арбат! Похоже — прошло сто лет.

Мир переменялся еще раз. Посолочная база Смоленского — наша ненависть — рассыпалась под страшным ударом метро.

Еще недавно в ущелье улицы, гладкой, как водяное зеркало, стояла синева, утренний заморозок, яркие флаги обмерли, как красный кленовый лес. И нет трамваев. И в переулочек Веснина, в этот старый Денежный, где столько раз видели мы в стеклах машины бороздку и песню Луначарского, ускользает оттертый, как бритвенный камень, асфальт.

И вот Арбатская площадь, все ново: и люди, и вечер, и снег.

Летит, опускается в нагое, огромное озеро в четырех фонарях, где был раньше скверик, где, гудя, закруглялись на повороте трамваи, где сейчас пустота поля, белые летучие сумерки над далью Москвы. Колбочие звезды лучей висят над площадью слева у кинотеатра, где рынок с всказальным сводом в переплетках стекла. Там стройка метро, комбинезоны, береты, девичий смех, и в тачках сырая тяжелая земля. А справа сияния прожекторов, и «Прага» снова ресторанным победным веселым огнем лучится сквозь живой снежный туман. И просквозит, вдруг резнув сердце знакомым, укатанная пирами, ослепительная под перекрестной игрой фонарей, без единой морщинки, скользкая глубина. Вырваться, утыкаясь хрустальными и дымными столбами фар, от строгой тишины великого караульного здания Знаменки, мимо часовых Союза республик, под семафорные самоцветы огней, мимо поднятых белых перчаток — и прямо в эту заветную, мгновенно расходящуюся, с фигурами постовых, пустоту. Мгновенно «Прагу» сорвет и оставит у площади, мгновеньем увидишь былое и годы первого изумления жизнью, когда мы сопли, как Ноевы дети, впервые на новую землю, и три разных эпохи, и всю свою жизнь... И мимо, мимо протечет огнями сквозь снег и вечернюю тьму, там, где когда-то звонили трамваи, блестели булыжники и брезжил губернский полусвет переулочков, и были дожди и метели, и весны, и осени, и — липко прижимаясь к пирам «линкольна», — обдует волненьем новый Арбат.

Стены и выражения домов, залегшие будто уже в отлетевшей, средневековой памяти; нищий, стоящий у Николо-Плотницкой церкви в любые морозы и слякоти, два года подряд, в офицерской шинели; книжный развал у бывшей церковной ограды, букинист на одном косяке, случайные похороны, девочка в розовом платье — из гроба, в страшный бесснежный мороз; встреча со спив-

шимся другом на улице, так больно, негаданно; Инга, что читала в окне в начале тридцатых годов; дом, где резвился и сочинительствовал с жаром, впервые, Борюшка — профессоров сын, он же Белый Андрей; площадь Смоленского рырка; — эти древние безмолвные плиты, и камни, впитавшие столько следов счастливых, отчаянных, эти свидетели наши, друзья, спутники памяти, еще уцелевшие, чтобы пойти на щебень для новой торжествующей жизни!

Дом, в который столько раз мы возвращались, машина, выросшая в довоенные годы на костях деревянных домишек и склада камня для кладбищенских плит, надгробий и могильников; дом, откуда загремели первые октябрьские залпы, лестница его, по которой поднялось столько живых и горячих эпох, дом конкистадоров русского капитала, приходивших в лаптях от застав, памятник мошенничеств, грабежей и крови, бесстрашный свидетель превращений истории, и паш, ваш памятник! По семенам ли идем, по праху, нам не тяжело от твоего воздуха, наполненного столькими тенями и преданиями, старина Арбат!

Сквозь снег, сквозь востер пронесется улица, вся в отголосках эпох... И в изменениях ее глядим и мы, разбившие старые фундаменты, ломавшие стены человеческой отчужденности, эгоизма, близорукости, скопидомства, так же как ломались здесь подлинные стены, плиты и чугунные ограды церковных дворов. И вот на нас груз воспоминаний, история чудесных перемен, каких не знало ни одно поколение седого мира Москвы.

И еще одно, сокровенное...

Поколения соединяются воедино. Уцелевшие седые отцы примкнули к замыслам века, к его дерзкому разуму, уничтожавшему старую драму отцов и детей. Толстые, Кропоткины, Скрябины, Андрей Белые, — старики прошлых Хамовников, и вам суждено вдруг молодеть, вам, мертвым, — вас поднимают из косности замкнутого молодое руки, нелюбезные ученики, сыновья единственной запечатленной истины. Выше, выше!

И открывается даль.

## СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

### 1

За двести верст от Москвы воцаряется бескрайняя глухая зима. После жаркого плацкартного вагона Кривицкий, двадцатипятилетний урбанист и почитатель Дос-Пассоса, остается один на один с незнакомым и страшноватым, как ему кажется, миром.

Станция не из примечательных, затонувшая в снежном почном тумане. Два часа журналист Кривицкий ожидает лошадей в предрассветном сумраке нетопленной людской залы. Бесконечно перечитывает он плакат Союзплодоовощи, приказ Наркомпути, слышит за стеной телефонные звонки, выкрики о вышедшем 51-м и считает, сколько раз приоткрывается дверь, выпуская морозную ночь, людей с фонарями и мерные громы проходящих составов. В телеграфной чей-то надорванный голос до самого света негодует о кознях какого-то ревизора Сытина. Там, очевидно, тепло, нет этой круглой, обитой черным железом печки, не топленной по крайней мере сто лет. Кривицкий слышит о каком-то суде — что-то глубоко российское, где и жена начальника станции, и опять ревизор Сытин, и служба пути, и стодвадцатипятирублевый оклад, ревизия, черт его знает что! Он саркастически морщится, мерзнет, оскорбляется, видя полное равнодушие станционных служащих к его судьбе, но не двигается с места. Лампа «молния» еле освещает пустую комнату. По асфальтовому полу, словно за невидимой ниткой, бесшумно перелетает мышь. К рассвету Кривицкий приходит к окончательному убеждению, что он брошен на произвол судьбы, и с острой тоской и любовью вспоминает шумную свою, вчерашнюю, как патефонный диск, неуклонную московскую жизнь... И деревня, куда он едет, представляется ему уже с тем чувством заброшенности и одиночества, что испытал он давным-давно в южном еврейском городке, при оккупации его неким атаманом Ангелом.

Светает очень медленно и уныло. Уже совсем засветло журналист выходит на пути. Бездна мира в холодном сиянии. Поле, пересыпанное миллионами стеклянных игл и блесков, освещенное морозным солнцем, ослеп-

ляет глаза. В глубине воздуха, студеном и колючем, как варзанная вода, на путях впереди, клубится дерзкое розовое облако. Палец семафора опущен вниз. Начальник станции, в фуражке тревожно-пожарного цвета, стоит, подняв воротник.

Выбрасывая глухой, настагающий рев, неподвижно висит черной громадой паровозного котла над спешкой поршней, вырастает скорый и, перемахав поле вагонами, обдув мазутным ветром, утаскивает в качке и вьюге три фонаря вдали...

«Товарищ, товарищ, скажите нашей маме...» — думает Кривицкий и долго смотрит туда, на Москву.

А когда за ним в десять часов утра приезжает лошадь, когда его тихонько и вежливо расталкивает на лавке человек в огненно-диком тулупе, он смотрит недоумевающе, решительно встает и сразу начинает расспросы. Первым делом спрашивает он, имеется ли и какая в колхозе Сатине партийная ячейка.

— Александр Михайлович-то? — переспрашивает его добродушно приехавший, сморкаясь в рукавицу. — Есть такой. Только его, товарищ, не придется вам встретить. Его на конференцию вызвали, в район.

— Как — вызвали? — сразу холодеет внутри у Кривицкого. — Да мне же от него весь материал надо получить!

— А народу рази нет! — добродушно усмехаясь, отвечает возчик. — Вы об этом не сомневайтесь. Чемоданчик ваш? У нас народ, нечего говорить, дружный. Государственно, как один, работали. Вы не беспокойтесь, — опережает он журналиста, — я донесу.

Он берет чемодан, и через минуту Кривицкий конфузливо уже снимает калоши и ботинки, надевает огромные, подшитые кожей валенки и, дрожа от озноба, погружается в морозно-пахучий тулуп. Лошадь трогает. С удивлением замечает он, что лицо его возчика совсем не походит на те крестьянские лица, что представлялись еще в поезде. Но все это приходит к нему смутно и неуверенно. Бессонница укачивает его сознание. Завалившись в дровни, он различает яркое поле в искрах стекольных игл, необычайную силу и крепость воздуха, входящего, как водочный запах, терпкий вкус овчины и то, с чем он оставлен один на один, — простое и тугое, как яблоко, исходящее от возницы, от лошади, от всего этого мира, живущего здесь под морозом и солнцем.

Неожиданно журналист чувствует себя слабосильным, насмерть переконфуженным перед какой-то наготой жизни, от которой его московская судьба была запрятана столько лет.

Он дремлет.

А когда сразу обрывается шуршание снега внизу и перестает колыхать и сваливать его на бок, он просыпается от неожиданного покоя, приподнимает голову... Лес, обвешанный люстрами гололедицы, обступает со всех сторон.

— Ну, что же вы... — бормочет спросопись про себя журналист.

— Никак невозможно! — отвечает ему спокойно возница и, наклонясь к собранным ладоням, чиркает спичкой.

Кривицкий облакачивается и поворачивает голову. Он видит, как, оседая задом, подымает хвост лоснящаяся потом кобыла и долго из-под нее клубится паром разъедаемый и буро-желтый снег. Возница уважительно и серьезно молчит.

Наконец животное женственно отряхивается, выпрямляется и поднимает голову.

— Н-ну! Удо-вольствия! — притворно грозно кричит возница, причмокивает, и Кривицкого, упавшего от толчка в сено, из этого натурализма снова тащит в неведомый, сияющий ледяным стеклом, обмороженный лес.

## 2

...И точно, партийной ячейки в селе Сатине Кривицкий не нашел. Но так уж водится в жизни — никак не оказываются верными наши представления об ожидаемом, и всегда открывается жизнь с иной, нежданной и негаданной стороны.

Три дня солнечно освещена деревня с чистой голубой высоты. Гололедица. Отовсюду — с кустарников и с деревьев садов, с надпрудных берез и осокорей — свисает и кипит под солнцем несметный ледяной виноград. И три дня, с часа, когда привезли его, сонного и отогревшегося в тулупном тепле, к домику сельсовета, переживает Кривицкий среди этого блеска и света совсем не похожее на виденное им за всю жизнь.

Деревня оказывается на редкость слаженной, сытой

и занятой по горло совмом своих житейских забот. И когда входит он, московский журналист, в небольшую комнатку, оклеенную светлыми обоями, с телефонным аппаратом, радиорепродуктором, с чистотой, сразу поражающей его, видит Кривицкий, что многие заготовленные им вопросы здесь уже неуместны и давно оставлены позади. Но надвигается на него другое, главное, что составляет здесь основной смысл. И журналист два дня чувствует себя перекофуженным.

В колхозной конюшне, куда его ведут сразу же, он сталкивается с этим смыслом лицом к лицу. Председатель колхоза, суровый и военной выправки человек, в распахнутом полушубке, вводит его в обширный сарай, наполненный паром, мягким животным хрустом, острым конюшениным запахом. Журналист видит, как масляно поблескивают крупы из полутемных стойл, как помахивают метелки жестких хвостов, слышит глухие удары, огненно косятся на него конские глаза, насто-раживаются уши и гневные гривы... Ему немного жутко, неуверенно вздрагивает тело при очередном ударе и топанье. Председатель быстро шагает от лошади к лошади, оглаживает лошадиные спины, задумчиво разбирает рукой рассыпчатый волос хвоста, щупает ноги и копыта; потом он лезет неожиданно под тугое и круглое конское брюхо.

— Тетка Фиона! — кричит он, поднимая синие, мутноватые глаза, и берет на колено копыто с блестящей, как плуговая сталь, подковой. — Неладно у тебя. Перековать отведешь сегодня же.

Женщина в платке, с лицом сизой луковицей, вырастает, словно из-под земли.

— Ай, Иван Васильевич!

— Плохо смотришь, бригадирша, — говорит строго председатель. — Отведешь в конюшню сама, присмотришь. Зорьке промывание сделала?

— Промыла вот уж как... Все глаза проглядела!

— Смотри, бригадирша! Бык-то как?

— Задумываться стал, Иван Васильевич!

— Задумываться? — резко переспрашивает председатель и бережно ставит конское копыто на землю. Лошадь буйно переступает ногами, вскидывает зад так, что Кривицкий испуганно шарахается в сторону. По всей конюшне, как беспорядочный залп, перебирают хрустящий полумрак тяжкие, кованые удары — и стихают.

— Так, — удовлетворенно говорит председатель, добрея лицом и похлопывая лошадь по крупу. — Не кони — мысли! Мой был — до Рязани два часа ездил, а теперь еще лучше... Прямо скажу — народная лошадь! Куда тут! Колхозники-то довольны конями, бригадирша?

— Довольны, Иван Васильевич. Теперь меньше ходить стали, а то спервоначалу все ходит да ходит... Ларивончк все приходил. Ну, известно, смотреть, тоскуеть... Они, коты, бабу раньше не берегли, как скотину. А теперь нет, обыкновенные стали, сытые, чуть вечер, бегут радиу слушать. Право. Михал Михалыча будете смотреть?

— Посмотрим. Наш бык, — пояспяюще обращается к журналисту председатель. — Вы идите, не бойтесь, у нас лошади смирные, это они с морозу постреливают. А бычок знаменитый — изо всех колхозов. Только вот задумывается...

— Как это... задумывается? — спрашивает журналист, косясь на хвосты и копыта, играющие своими откормленными силами, и стараясь держаться поближе к председателю.

— Эх, Михал Михалыч... — вторит своим мыслям тот, не отвечая. — Тяжел, тяжел, чего говорить! Разве ему наша корова — радость? Ты, Фиона, полегче, полегче...

— Меня одну изо всех принимает, Иван Васильевич! — бойко, нараспев говорит бригадирша, отмыкая закут. — Вон ядра-то какие развесил... Ну, ну, ну, — бормочет она, — ишь, родитель какой...

И входит к быку, в натянутых струною канатах опустившему курчаво-глыбастую голову с неподвижно-блестящими и падучими глазами. Журналисту становится по-настоящему страшно. Он видит, как тяжело вкопалось в сырую солому всей стопудовой, литой яростью черно-белое мраморное туловище, как убийственно-выразительны роговые его крюки, как пружинит канаты и вздыбливает махину груди то, чем освещается вдруг закипающий смолой неподвижный звериный взгляд. Глаза зверя вспыхивают, стекленеют и потухают.

Председатель смотрит восхищенно, как-то весь молодеет.

— Вот черт! — говорит он радостно, но не решается войти.

Бригадирша, навалившись всем телом на быка, чешет его меж рогов, львет к нему головой, будто вся распадается.

— Ну, ну! — бормочет председатель и снимает почему-то шапку. — Знаменитый, знаменитый... Ну и мужик! — И он выругивается, вспоминая какой-то «корень».

Он смотрит на зверя не отрываясь, как замороженный.

Бригадирша ластится к быку, гладит его завитую мерлушкой аршинную шею, и, переступая на стальных, гибких ногах, валится чудовищная зверипая туша в сторону, не сводя с журналиста подернутых влажным фиолетовым блеском неподвижных глаз.

— Продавать придется! — вздыхает председатель. — Мелка наша корова, Фионушка, — не выдержит...

— Уж я, Иван Васильевич, так к нему приобылка, прилюбилась, ей-пра, как к родному ровню... Только задумывается, Иван Васильевич, слов нет, задумывается. Никого, кроме меня, не подпускает. Жалко мне его, жалко, а про коров наших ты правильно... Не родильницы они под ним, Михал Михалычем-то... Разви можнo! Наша корова, как барышня...

— Вот то-то и оно...

— А он чисто трактор какой... А ласковый ко мне, обходительный!

— Смотри, Фиона... Полегче! — И председатель обращает к Кривицкому бритое лицо с подстриженными щеточкой усами. — Пойдемте! — говорит он, из вежливости к быку, вполголоса.

Они выходят на чистую, обласканную рано увядающим солнцем улицу далеко за полдень. Вдали, за тремя снежными прудами, журналист видит рисованный угольными штрихами обширный сад, редкие заиндевевшие елки совхозной усадьбы, желтую предзакатную громаду бывшего помещичьего дома. Ясная и золотистая пауза предвечернего воздуха. Кирпичные избы поднимают над теплыми соломенными гнездами крыш вечеряющий дым. С колхозной риги доносятся крики и песни, жужжащие молотилки, — и кажется Кривицкому, после конюшенных запахов и всего виденного, что отовсюду — из круглых хором гололедицы, из серых лесков на снегу, из воздуха со стаями сытых падающих голубей, из обваленных по самые крыши соломою и клевером изб —

смотрят на него горячей мукой одни и те же огненно-влажные неотступные глаза.

В риге, у самого поля, его закидывает душистой пылью, горячим и заунывным распевом песен, женским хохотом, — он никак не может прийти в себя. От намолоченных и проветренных гор вихи полыхает теплым, сытным запахом. Из барабана молотилки выдувает, бросает на воздух клочки соломы, вертится пыльный смерч. Парни и девушки огребают в этом вихре мусорный еще, вихрастый и колючий обмолот. Гудят веялки, и, звонко выщебетывая, валя друг друга на крутые курганы чистого зерна, из многих молодых, розовых сшибается, крутится в обнимку, пропадает в пыльных вихрях многоликая белозубая и поющая сила.

Из этого мелодичного, веселого и шумного отчетливо долетают до него голоса песни:

Долго глядела ему девица в лицо  
И молча надела на ручку кольцо.

Мелькает, кружится, дует какими-то сухими полевыми цветами, налетает на Кривицкого все то же, то же, что его так поразило раньше, и выходит он из риги совсем забывавший, с неопределенной завистью к чему-то, — но к чему? Не к тому же, что видел и слышал, не к тому же, о чем так складно и бойко пели, обнимаясь и валясь в зерно парни и девушки? Но, возвращаясь по деревенской улице, отыскивая назначенный ему дом, начинает твердить он две строчки услышанной им первый раз песни. И это так далеко от Дос-Пассоса.

### 3

Свой дом он находит быстро, усталый, наглотавшись вдоволь вкусного полевого воздуха, еще более неуверенный в себе. И взаправду он начинает стыдиться своих тонких ног в клетчатых спортивных чулках, своих роговых очков и модного, с длинными, острыми концами, голубого воротничка. Он еле находит холодную скобку двери и входит, здороваётся. Хозяйка с чудовищно приподнятым животом приводит его в полное смущение. В полутьме черной половины избы, застав-

ленной огромной печью, он смугло различает ее маленькое личико с бойкими темными глазами, но в первую минуту ее мощный и невероятный живот заслоняет все. Хозяина, как он уже слышал в правлении, дома нет — он на курорте, где-то в Крыму. Журналист здороваётся. Его, оказывается, ждут давно. Он входит на чистую половину и раздевается. От света подвешенной к потолку лампы, от сухого комнатного жару, от прожитого на воздухе дня его сразу бросает в сон, и голоса детей, собственные слова, звон чайной посуды начинают казаться какими-то далекими, давно посторонними звуками.

Он сидит и борется с дремотой. Четверо ребят разглядывают его с любопытством, — он пробует с ними говорить, придумывает, как все далекие от детей люди, нарочитые для них фразы и вопросы, но дети бесцеремонно глядят на его очки, отмалчиваются или отвечают холодно и конфузно. Журналист пытается погладить твердую и курчавую голову старшего, лет десяти, тот откидывается в сторону, совсем как барашек, и закрывает ладонями книжку.

— Они у нас смиренные, в отца, — звонкоголосо откликается из-за двери хозяйка. — Пообвыкнул, так надоедят. А ты что, женатый будешь? — любопытно высовывается она. — Не-же-на-тый? Ой ли!! Да как же это так? Врешь, наверное.

Она ловко и быстро вносит самовар, потупив глаза, ставит его на стол, вытирает губы и, сложив руки на высоком животе, смотрит Кривицкому прямо в глаза. И вдруг замечает журналист, что похожа лицом она совсем на девочку. На миг проступает в ней ощущение нежного лукавства, затаенного под какой-то сонной важностью и сытой, утоленной животностью, чем озарено все ее нелепое и ненормальное, как ему кажется, существо.

— Ой, врешь, притворяешься! — говорит снова хозяйка, покачивая бойкой головкой в платке. — Да разве без женщины мужик проживет? У меня муж слабогрудый, туберкулезный, я с ним никогда не поцелуюсь, а и то вместе спим. Ей-богу! А ты неженатый... Да что уж это! Неужто ученые люди так и живут? Батюшки... Нет, у нас мужчины самостоятельные, — убежденно продолжает она. — Да чего мужчины, конче девка за барыню пошла, попробуй ей скажи! Чего уж тут, вон

наш Ванюшка летось наозоровал — ему одпинадцать в покров исполнилось, а мой-то ведь, хоть и слабый, но справедливый, лучший ударник, не то что на меня, на муху руки не подымет; Ванька наозорничал, а он ему ремнем и пригрози... Так Ванька прямо в сельсовет, к Александре Михайловичу: «Тягька мой,— говорит,— с кулацким уклоном, меня ремнем пороть хочет. Его, мол, из колхоза исключить надо». Ей-богу, так и сказал! Тот, конечно, туды-сюды, по-партийному, значит, разобрался. Отец-от и оказался прав по всему закону. А вот он вырастет, скажи ему, чтобы он с девками не гулял! А ты... неженат... Чудно, ей-право, чудно!.. Бабы у вас по городам балованные, вот что я скажу, — скороговоркой добавляет она. — Спать-то с мужиками умеют, а родить не хотят! Вот тебе и все.

Она посмеивается глазами.

Журналист смущенно молчит и смотрит на нее с удивлением. Сонная дремота его начинает проходить. «Дамочка,— думает он весело и удивленно,— вот это пять раз — да!»

Он искоса бросает взгляд на ее живот, на маленькие голые ступни и понимает то, что никак не приходило в мысль... Женщина начинает поражать его, несмотря на все, странной своей грациозностью.

— Ты чего смотришь? — спрашивает неожиданно она. — Ты что думаешь — нонче бабы у нас умные стали, тебя всему научат.

Она закидывает круглое под платочком лицо, хохочет и, покрасневшись, словно натанцевавшись, спохватывается:

— Вы чего уши развесили? — накидывается она на ребят. — У, волчата лохматые! Уж так я с ними намаялась... А все книжки читают, никак спать не прогонись, ученые будут. Беды-то с ними! — говорит она все добрее и податливей, собирая детей под свой живот и уводя их за перегородку, к деревянной кровати с горою розовых и голубых подушек.

Кривичкий слышит ребячий шелот, ласковые шлепки и ее, теперь совсем ипой, материнский и приглушенный голос.

— Чай-то кушайте, а то простынет, — слышит он опять ее, звонкую, может быть задорную (так показалось!), перешедшую почему-то на «вы». — Председатель наказывал вам к восьми на собрание. Цыц, прокляту-

щие! Народ у нас умный, дружный — послушает! Плач, слышь, высказывать будут. А уж я вам, не обижайтесь, постелю на полу... Время-то мне еще не пришло, а вот численник не купили, дни-то я и перемешала. Цыц, вот я васогрею! Численников в лавке не стало, и куда подевались, право...

Кривицкий смотрит на часы с гирей зеленого стекла и двумя привешенными гайками, спохватывается.

Он надевает пальто, шапку поддельного котика, берет новый блокнот и сует ноги в калоши.

— Ужинать я вам соберу, — слышит он уже сонный и теплый голос, с чувством неясного сожаления покидает этот уют материнства и, толкнув дверь, выходит в кромешную тьму.

Ему нужно в какой-то не то овин или сарай, — он не знает, как это здесь называется... В потемках впереди угадывается морозно-синяя и звездная полоска наверху. Он чиркает спичкой. На него кидаются горы соломы, бревна, нагороженные жерди, низкая дверца в провал мягкого и густого, как сажа, мрака. Спичка потасует, едва он нащупывает деревянный засов и ступает в солому, шуршащую и податливо тонущую под ногой. Сверху чуть просеивается ночной свет. Журналист слышит мирный конюшенный хруст, ступает дальше и, очутившись один на один с пустотой вокруг протянутых рук, вдруг спотыкается и падает грудью вперед. И сразу руки его хватают мягкое, теплое и колючее, что мгновенно обдаёт его раскаленным визгом, подбрасывает и, скользко вырываясь из-под его тяжести, неистово бросается в сторону. Он вскрикивает. Отовсюду налетают на него, шарахаются мохнатой теплой стеной, блеют живые тулупы и вспыхивают фосфористые круглые огни, с оглушительным шумом взрываются над головой крылья; рукой журналист влезает в какую-то вязкую и неподобную дрянь...

Едва вырвавшись из этого гвалта, жеванья и хрюканья, сдерживая одуревшее сердце, журналист нащупывает дверь. За перегородкой он останавливается и переводит дух. И снова там, в оставленном им, чуждом ясельном и темном мире, хрустит чья-то вечная, неустанная пасть, погруженная в теплый и нежный смрад, и отсчитывает, отсчитывает этот маятник, и мерцает над ним циферблат с бледной цифирью звезд.

Совсем тихо.

— О, донна Клара! — бормочет, улыбаясь себе, Кривицкий. К нему возвращается врожденное чувство юмора. — Но что вы скажете на это, дорогой Марк Соломонович?

И, выбросив испорченный носовой платок, пробирается он сквозь уют зимней улицы с желтыми пятнами деревенских огней.

Ему опять вспоминается огненный бычий глаз. Отовсюду — с далеких звездных пустынь, которые он никогда не замечал в городе, из снежного мрака открытых отовсюду полей, из соломенных и навозных дворов, из дремучих и ледяных дебрей зимы — отовсюду смотрят на него, крадутся, подступают все те же, те же горячие, неутомимые глаза. И когда входит он, споткнувшись о порог, в неистовую людскую тесноту со странной тишиной, пробирается к зовущему шепоту председателя и усаживается у самой лампы, одолевает его окончательное слабование.

Как в тумане, он видит сосредоточенные, больше пожилые и спокойные лица, множество овчинных шубеек и женских платков.

— Конечно, товарищи, мы обсудим наш будущий строительный план, как у нас есть полная возможность культурной зажиточности... — начинает председатель, сурово хмурясь и строго оглядывая собрание. — Есть предложения повестки дня?

Пауза с редким кашлем у двери.

— Докладай, Иван Васильевич, — просто говорит старик с лавки, выколачивая трубку. — Баню нам нужно, вот что.

— О бане скажу. Кто еще?

Молчание.

— Михал Михалыча не продовать бы... ей-пра!.. — выкрикивает кто-то в платке, и видит Кривицкий знакомую луковицу.

— Чего не продавать? — отвечает ей тот же старик, наклоняя голову и легонько приподнимаясь на ладнях от лавки. — Бык-то хорош, а нам ни к чему!

— Прибыкла я к нему...

— Ну вот: привыкла да привыкла... Бабья память коротка.

— Добавлений не будет? — спрашивает председатель.

— Будя! — кричат сзади. — Обговорились.

Собрание начинается.

От жары, бессонницы и усталости Кривицкий едва поспевает за речью председателя и лихорадочно подбирает все слышанное и прочитанное, весь запас своих представлений о новой *социалистической деревне*. Но фантазия его оказывается мертвой и отставшей. И совсем убивает его дотошная, скрупулезная, совсем семейная осведомленность председателя о мероприятиях десятков правительственных учреждений, о всех постановлениях и декретах, — сонм распоряжений, поправок, пунктов, параграфов!

Председатель говорит о будущих хозяйственных планах долго, дотошно, семь раз примеряя и один раз отрезав.

Гектары, центнеры, литры, рубли, трудодни! — уже с трудом понимает Кривицкий эти сложные расчеты и выкладки председателя. И снова он оказывается совсем не сведущим в пчеловодстве и садоводстве, и снова приходят к нему новые слова, досель совсем далекие и казавшиеся пустяками. Председатель останавливается на культуре цикория. Кривицкий тщетно пытается припомнить это растение, но ничего не получается. Цикорий... Нечто кофейное или лекарственное?.. Или еще что-то? Но в голову лезет вульгарная поговорка, и в ней цикорий окончательно запутывается и исчезает... А собрание слушает чрезвычайно внимательно и одобрительно. «Правильно, Иван Васильевич!» — слышит неоднократно Кривицкий и, к своему ужасу, не может разобраться, что тут правильного и неправильного... Внимательно вглядывается он в незнакомые лица окружающих. Женщина, сидящая напротив, кормит ребенка. Она распустила платок и не отрываясь смотрит на председателя. Полная правая грудь ее вся наружу и подаливо вдавлена к самым спящим ресницам детского личика. Дальше бритые мужские подбородки, — лица, лица, лица, — деревня, с ее прямыми, откровенными взглядами... В глубине людских потемок Кривицкий наталкивается на чьи-то влажные насмешливые глаза, виденные им в риге, — они ожигают его, заставляют потупиться. Он снова прислушивается. Колхозная баня? Как, неужели здесь никогда не знали бани?

— Это есть неотложная проблема, — продолжает пред-

седатель,— чтобы колхозник походил на порядочного человека...

И вдруг Кривицкий ловит себя на совсем мальчишеском занятии. Он всматривается в лицо председателя, мысленно подстригает его непокорные, жесткие волосы, одевает его в городской пиджак и воротничок, завязывает на нем галстук, и председатель вдруг превращается в председателя треста, нет, в профессора,— настолько интеллектуально-выразительно его лицо и уверенны осанка плеч и жестикуляция рук. А вот тот и вот этот... С удивлением замечает журналист, что сидящий сбоку человек более всего напоминает немца, и куда-то исчез, сгинул и провалился бородатый и рыжий мужик, что затвердился в памяти своим полущубком и своей бородатостью. Открытие это почти поражает Кривицкого. Он пробует переодевать женщин, но тут ничего не получается. Их лица кажутся настолько неопровержимыми, что с них слетают представляемые им шляпки и прически, а туда, к двери, в сторону молодых, он не решается смотреть. Ему все кажется, что оттуда с нескрываемой усмешкой смотрят на его костюм, на его очки, на его сухую черную шевелюру. Он чувствует какую-то слабость, почти так же, как это было утром в конюшне, возле играющих избытком сил звериных копыт и хвостов, как это было в риге, и вечером, в закуте, где на него накиннулись жующие, погруженные в навоз, холод и ночь деревенские химеры. И когда после слов председателя наступает полная тишина, когда слышит он свою фамилию и чувствует вдруг шорох внимания и любознательства, им владеет уже сознание провала, и все сливается в мутную пустоту...

#### 4

Когда он садится, ищет носовой платок, закуривает, это ощущение провала еще больше чудится ему в полной тишине комнаты и в том, что никто не решается смотреть прямо ему в глаза. И Кривицкий начинает всячески ругать себя за ненужную откровенность. Зачем понадобилось ему признаваться, что он первый раз в деревне? И к чему было говорить о городской подвальной судьбе того народа, из которого он вышел?

Журналисту кажется, что его никто не понял, и после всего им сказанного он чувствует себя еще более одиозным и потерянным. Совершенно естественно ощущает он полное молчание собравшихся и осторожное покашливание после неоднократных предложений председателя высказаться. И это молчание в конце концов становится мучительным.

— Товарищи колхозники! — обращается опять председатель к собранию, весь вспотевший и как будто сконфуженный. — Надо высказаться по нашей колхозной жизни. Ты бы, дядя Петя, сказал.

— Петруха! — слышит Кривицкий знакомый жепский голос. — Перескажи о нашей жизни. Ты много всего прошел.

У стены поднимает голову хмурый человек в шапке.

— Что я — инструктор, што ли? — говорит он резко.

— Товарищи! — начинает опять председатель. — Очень неудобно даже получается... Достижения у нас в газетке отмечены, товарищ из Москвы вам докладывал... Иной раз говорят, говорят, а сейчас получается — вроде колхозник забитый какой...

— Чего говорить-то, — спокойно отвечает ему старик с трубкой. — Говорить-то, когда дело хорошо, много не приходится. Ну что же, могу я за молодых сказать.

Он медленно поднимается, аккуратно выколачивает лаково-вишневую трубку, и видит Кривицкий в его прямой осанке, в седой подстриженной бороде, в откинутах блеске высокого лба, под хмурью густых бровей, уверенную в себе, простую, знающую силу. Говорит он не торопясь, ровно, положительно.

— Докладать много, — повторяет он, — нам, крестьянам, нынче не приходится. Чего тут обманываться: жить научили, — про это вам не то что я, все молодые скажут... Мужик-то раньше жил да думал, больно хитер, — всегда своим умом проживет, коли земля есть. Она, земля, ему народит, она его накормит, согреет, она его обует и оденет, — нам так еще отцы говорили. И верно, нам всю жизнь от ее податься некуда, а она, земля, мужика не щадила... Она его держит, ломает, а ему один почет, что хозяин. У нас что до революции было? Овражки да ямы, как барин отсюда лет пятьдесят высрал. На одной картошке сидели, а пахать выедем — каждый друг перед другом похваляется...

Как генералы выезжают, один другого лучше, по деревне катят. А чего генералы? Он латан да перелатан, одна слава землевладелец, а дома жрать нечего. И в городе, — кто, ну там штукатуры, маляры, кровельщики, — работает он, последнюю копейку копит, все мечтает, чтобы все, как у людей: вот, мол, какой я самостоятельный да справный... Кажный норовит, как у другого, — и коровник, ну, там овин, и рига — полное обзаведение. Вот они у мужика, мол, нечитанные какие копейки!.. А на поверку вышло, одна была удовольствия — самолюбия да обман. И чего, какие там зажиточные! Последняя голь, самая беднота! Он только-только при коммунистах землю получил, коровенку нажил, лошадь какую последнюю, хомутишко, а уже загордился — перед женой великий князь, ходит, приказывает, самовар купил, только чай пить ему не приходится. Какой чай — все копейки его на самостоятельность пошли! У нас, товарищи, скрывать нечего: были из бедноты — дольше всех в колхоз не шли, дольше всех, как дитя какое, перед властью забавлялись. Есть еще такие: в обман играют, в охотку им самим похозяйничать. Мужик, как червь, в земле сидел, землю эту клял, а со страху в нее прятался. Его наружу — а он вглубь, его на свет — а он в яму: генерал, мол, я на своей собственной земле, сам приказываю, сам выполняю, сам себя надуваю, а команду. И получилось у нас в двадцать восьмом году: сами себя, дурни, били, пока уму-разуму не набрались. А теперь возьми: не деревенский генерал, верно, а ударник! — да зато у него двести пудов своих да две тыщи в кармане. Правильно я говорю, Иван Васильевич?

— У кого и побольше есть, — спокойно говорит председатель, и слышит Кривицкий в его голосе явное самодовольство.

— Согласны мы, — продолжает старик, — може, у кого и побольше. Теперь важная копейка у нас считанная по трудовню, мужик-то будто сам не барин, а положение свое подсчитал. Впервые подсчитался мужичок-то, и чего получилось? А вот что: раньше он собой никак не дорожил. Лошадь он имел? Имел. Стоит она у него, сердце его любит, а что за ней ходить, по ночам вставать, упряжь, сани и телегу ладить — это он не считал. Видно, голый и богатый был, коли деньги да дни у него были нечитанные! — прямо хоть в банк, как барин наш, закладывайся. А сейчас не-ет. Сосчитался.

Ан и вышло, что трудодень ему тридцать пять рублей стоит, каждый час — от полтора целковых, а лошадь ему готовая, прибранная, уваженная. Сани там или телегу ему подай. Нонче он деньги получил и раскидывает мозгами... Корова у него стоит, радует, ну овцы, поросята, все, что полагается. А вот коровник подправить, сарай поднять — он теперь задумывается. «Давай все в общую ферму, разорение, — говорит, — лес покупать, я лучше мебель да радио поставлю». Выходит, как подсчитался мужик, так из него егеря голодраный вылетел. Елксандр Михалыч — партийный, а сдерживает нас да смеется... «Рано, — говорит, — товарищи колхозники, рано еще...» А мужикам больно из подсчитанной тыщи деньги на сараи да заборы выкладывать неохота. Вот ты и пойдешь, выходит, наши мужики сами в комиссары лезут. Чего, на красную доску вышли, портреты помещают, товарищ начальник из политотдела каждого по отчеству и имени называет, и получился тут опять самостоятельный почет и уважение каждому мужику... Прямо скажу, этим довольны и нынче за колхозную копейку пострадаем, а назад не пойдешь. Я вот что товарищу из центра скажу... Город раньше при царизме мужиком был, а деревня бабой. Город новый картуз оденет, сапирску в зубы, в киятер пойдет, всякие книжки, науки, развлечения, а баба знай роди да роди, нянчиться ей да кормить сиськой, да вынашивать, да глядеть и гадать из окошка на дорогу... Город придет — подавай ему щи да кашу, ему и полбутылка, и почет, и уважение, а деревня все в бабьем положении. Она народит, вынянчит, ан смотришь — и осталась с бабьей судьбой: старуха, одна-одиношенька, и нет у ней ни детей, ни кола, ни двора, погнило все, порассыпалось. И выходит тут печальная семейная положения. И пошел тут нехороший разлад да озорство. А ныне будет родить деревня — и земля, и пчела, и корова, и яблоня — расцветет, как пава какая, организуй, приголубь ее, к дохтуру вовремя, всякую ей машину приготовь да музыку, а уж она для тебя вся: бери, пей, ешь — не хочу... одним словом, как полагается, по природе. Все я сказал, Иван Васильевич.

— Так, — говорит, поднимаясь, председатель. — Будут еще какие мнения?

Кривицкий с любопытством оглядывает старика, усев-

шегося на свое место и набивающего трубку из огромного кисета с яркой вышивкой. В комнате тонко и пронзительно начинает плакать грудной ребенок, никто не обращает на это внимания. Нестерпимо душно и жарко.

— Чего говорить-то! — слышит Кривицкий опять знакомый женский голос. — Грузовик нам очень нужен. Мы, женщины, теперь в театр съездить хотим!

— Ты, Фина, о культуре и выскажись, — благожелательно отвечает ей председатель, но из женского угла уже летит смех, и кто-то парашаается к двери. Председатель хмурится.

— Лентяев пришибить вовсе надо! — выкрикивает вдруг тонким голосом сморщенная старушонка, с острым носиком из-под платка.

И вдруг Кривицкий понимает, что это надолго, и бессонная ночь опять наваливается на него удушью, расплывчатым теплом.

Ему становится хорошо и уютно, нестерпимо сияет лампа у председателевой головы, начинает укачивать сон. И уже откуда-то издалека доносит к нему слова, обрывки фраз, палит жаром тесная, наполненная дыханием людей глубина горницы, покачивается упрямая голова председателя. Иногда журналист пытается очнуться. «Расцвела я в колхозе, как цветок!» — вдруг слышит он чью-то пронзительно-громкую и резкую речь и опять напоминает, что ни один человек не обмолвился о сказанном им, а ведь он говорил как будто много, а что — он и сам бы не мог повторить! Затем опять начинает укачивать его невидимым маятником слов. Ему кажется, что снова выпжит снег, его везут, везут, там, за тулупом — поле, снег и мороз, а его пригрела, придышала, чья-то огромная материнская теплота. Потом очень быстро собрание заканчивается. Мельком Кривицкий видит старика, говорившего речь, потом журналиста оттирают от председательского стола, и от возросшего снова чувства неловкости переживает он в сторонке толкотню и, так и не дождавшись председателя, торопится выйти в ночь.

В сенях он снова наталкивается на крошечную морозную темноту. Журналист жметя к стене, тщетно старается припомнить, где он входил, и вдруг прямо перед собою, откуда-то извне слышит приглушенно

смеющиеся женские голоса и сразу наталкивается на податливую, уходящую в мерцающую пустоту дверь. Кто-то тесно прижавшийся сторонится от него на крыльце. Не оглядываясь, ступает Кривицкий в седую, полную тумана и сумерек снега, уже позднюю ночь.

— Товарищ! — слышит он вдруг окликающий голос, и, когда оборачивается, сразу его обдает женским горячим смехом и шепотом. Сердце его замирает и падает... — Я — Женя Рузина, — слышит он смеющийся голос и видит кого-то в тулупчике, заложившего рукав в рукав, с задорными прядями из-под пухового платка. — Мы вместе с подругой, — говорит этот некто. — Можно, товарищ, к вам завтра прийти? Только никому не скажите, а то я по секрету, посоветоваться, как активистка по нашим женским делам. И моей фамилии никому не называйте; а то муж у меня больно ревнивый. Можно? — переспрашивает она уже тихо и серьезно.

— Пожалуйста, пожалуйста! — поспешно отвечает Кривицкий, вглядываясь в милостивый, округленный платочком облик, с блестящими и в снежной полутемноте глазами.

— Вы у Пелагеи Васильевны стоите? — спрашивают его уже ласковым голосом. — Я знаю. Мы с Фионой вместе придем, а то она одна не смеет. Завтра после работы, — прибавляет она шепотом. — До свиданья! — и протягивает руку.

Журналист ощущает холодную шершавую ладонь, хочет сказать что-то задушевное, но девушки быстро исчезают в темноте.

Глухая ночь загонула вокруг в снежном тумане. Совсем пуста улица. Вдали, из спящего ледяного царства едва белеет совхозный дом — огромный, с давно потушенными огнями, среди мертвых вершин парка. От ярких морозных звезд, от снежных полей на земле стелется неясный жемчужный свет. Домик, где он живет, словно обмер среди обвисших заиндевевших кружев.

Журналист стучится.

— Это я, Пелагея Васильевна! — говорит он ласково, вдруг ощущая удовольствие, что останется один на один с этим лукавым и простодушным существом. В домике глубокая домашняя тишина.

— Ужипать будешь? — шепчет она ему, опахивая сонной теплотой, зажигая лампу и опять лукаво блестя глазами. — А то я собрала.

Но журналисту смертельно хочется спать. «А ведь она того... Ч-честное слово!» — мелькает у него мысль. Он вынимает простыню и подушку, устраивается на посланную ему солому, тушит лампу. «Да, — опять думает он, — бывают шутки...» И сразу, накрывшись тяжелой и неуклюжей овчиной, погружается в сладкое и зовущее забытие. Потом стремительно налетает темнота, и на невидимой, и бестелесной грани, неощутимой, как рождение и смерть, вдруг пронзают его тело чьи-то живые, звериные прыжки; нечто мягкое и осторожное, что сразу выдергивает его ужасом из теплоты сна. Журналист вскакивает, хватая рукой какой-то бешено-живой и пушистый комок, ударяющий его, как развернувшаяся пружина, невольно вскрикивает.

Крик получается очень глупый и неловкий. Он сидит с колотящимся сердцем, ощущая один позорный и глупый страх. В тишине, ровно отсчитываемой часами, слышно дыхание связанных, чуть-чуть в окошке брезжит снежная ночь. Затем Кривицкий слышит осторожную возню в соломе, нерешительно тянется к столу за спичками и оглушительно чиркает по коробку.

— Фу ты, черт! — бормочет он, видя кролика, прыжками заковылявшего вдоль стены. И вдруг отчетливо слышит, как где-то совсем рядом ровно дышит спокойная женская грудь.

## 5

Деревенское утро опахивает его холодным, душистым дыханием, когда отворяют дверь на мороз, неясными шепотами, отдаленным звоном колхозного колокола; потом сыро и свежо начинает нести с пола, смутно чувствует он, как жарко, потрескивая и разгораясь соломой, топится печь, — но ему снится крешко, и просыпает он до самого белого дня. Когда он вскакивает и видит на часах десять, в деревенском домике давно стоит чистая и свежая тишина. В окнах, с кистями рябин меж замазанных рам, светит солнце, то самое солнце глухой и глубокой зимы, от которого, как от шествия духового оркестра где-то за окнами, хочется

схватить шанку и бежать сломя голову на двор. И не хочется вспоминать предыдущий день и о чем-либо думать,— так ярко освещены снега за избами, небо с восходящими дымами, стеклянные подвески берез. Но неясный осадок вчерашнего вдруг подкрадывается к журналисту тошнотным и мутным холодком. Как все люди, еще не знающие отношения окружающих, по думающие о себе лучше, чем они есть, Кривицкий постепенно настраивается на тревожные и неуверенные мысли о себе. А когда приходит хозяйка с двумя ведрами на коромысле, от которых так и поднимается студеный пар, ему кажется, что она глядит на него уже явно насмешливо.

Пока он умывается и убирает постель, разговор у них не клеится. Она обращается к журналисту на «вы» и больше разговаривает с младшим сыном, спотыкающимся у ней в юбках. Потом она ловко ставит тяжелый самовар, и Кривицкий узнает, что давным-давно, чем свет еще, убрались в доме, проводили ребят в школу, что приходил председатель, наказывал его кормить получше и приказал не будить. От всего этого у Кривицкого конфузною кровью наливается лицо; проспать, как мальчишка, позор, позор! Опять словно обошла его жизнь, которую он приехал изучать,— ранняя, трезвая, куда страшновато сразу влезать, как в сводящую зубы, черную от снега вокруг полыню. Но женщина и не думает его укорять. Она говорит уже оживленно, бойко кусает сахар и пьет с блюдечка, уставясь неподвижными глазами в одну точку. Тонкая, совсем девичья шея ее, обрисованная голубыми стеклянными бусами, удивительно гармонирует с пелерой, словно вымученной, выпуклостью живота. Она говорит быстро, певуче,— журналист с удовольствием смотрит, как чисто и лукаво, светом многих нетронутых сил играют ее глаза...

— Все смотришь! — вдруг произносит она, усмехаясь, опрокидывая чашку вверх дном на блюдечко, и скромно опускает глаза. И звонко рассыпается высоким голосом: — Все над нами смеетесь, над деревенскими... Право!

Она смотрит внимательно на журналиста и, помедля, говорит тихо:

— Мы, конечно, как городские, не умеем — что касается разговору и обращения. Откуда нам? Вон мне

как вчера на собрании хотелось послушать, а разве их вот оставлю? Они так за мамкин хвост и держатся. У нас жизнь не такая, как у тебя! — выговаривает она быстро и громко и улыбается, показывая влажные белые зубки. — И-и-и! — смешно передразнивает она кого-то, совсем девчонкой, и добавляет: — И тоже хоть деревня, а теперь совсем не та. У нас до германской войны проехал человек на велосипеде... Крику-то было! Черт на колесе едет. Ей-пра! А сейчас что! Теперь каждое дитя в тракторе разбирается. Ты вот его спроси, он тебе и фэрзон, он тебе и катерпиллер расскажет...

Она смотрит испытующе на журналиста, словно в сердцах, покачивает головкой и смеется.

— Не веришь? — говорит она. — Ей-богу, с места не встать, какие нынче пошли! Ты не думай, что я так одета. У нас не смотри, на девушках теперь шелковые чулки... Да что чулки — шляпки стали носить. Другая выйдет, словно на трохтуаре, — не крестьянская дочь, а ровно городская барыня... — И она начинает хохотать, добавляя шутливо: — Вот нынче бабы какие, набалованные!

— Пелагея Васильевна, — говорит серьезно Кривицкий, вглядываясь в нее, вставшую, и ощущая, как исходит от всего ее существа какая-то нежная, вкрадчивая грация, и после невольной паузы продолжает: — У вас вот трое детей, а вы совсем как девушка... Вам сколько лет? — спрашивает он и конфузится.

Она охает.

— Как девушка?! Ой! Да ты что! Старуха я, скольких детей сносила! — И, обхватив голову мальчугана, обнявшего ее колени, вдруг говорит живым шепотом соучастницы: — Больно хорошо, слышь, высказывался на собрании, бабы утром прибежали, рассказывали... Очень всем понравилось. Уж так мне хотелось сходить, а куда я их дену? Ой! Так уж нам, женщинам, тяжело, маемся, маемся, господи! Вы когда обедать будете?

Кривицкому очень нравится это «вы», неизменно появляющееся на ее устах вместе с деловыми, хозяйски-обиходными мыслями. Он спрашивает хозяйку, что она слышала о собрании, и никак не может поверить... Как, его неудачная, путаная речь произвела сильное впечатление! Вот оно что! И стало быть, эти вчерашние дезушки... Так, так! Втайне это ему очень приятно и льстит. Он рассказывает о своем уличном

ночном разговоре. Пелагея Васильевна слушает с широко раскрытыми глазами и вдруг всплескивает руками, когда произносится имя Жени Рузиной.

— Женька! — вскрикивает она с разгоревшимися глазами, подперев подбородок ладонью, совсем по-бабьи, и утвердительно кивая своей головкой в такт речи Кривицкого. — Так, так... Ну, она тебе расскажет... Дык она с подружкой собралась? Дык с кем же это такое? Так и не говорила?

— Там были две. Две девушки... — нерешительно поясняет журналист.

— Бабы они! — нетерпеливо перебивает течение своих мыслей хозяйка, что-то напряженно обдумывая. И, вдруг просняв, говорит решительно: — С Фионой придет, вот не сойти мне с места, с теткой Фионой. У ней быка продавать Иван Васильич хочет, больно она расстраивается. Ну что же, — грустно добавляет она и вздыхает, будто сожалея, что не ей назначать такие разговоры. — Ну что ж... Женщины они хорошие, поговорите. Только вот что я тебе скажу...

Она делает таинственную паузу, оглядывается на дверь и, наклонившись в сторону журналиста, говорит шепотом, с блестящими от волнения глазами:

— У Женьки вовсе не хорошо... Вся деревня знает. Это-то ты в сельсовете видел? Председателем он служит. Ну, вот... — Она машет рукой и говорит совсем тихо: — Восемь месяцев вместе не спят. Ей-богу! А красивые такие, молоденькие...

Она совсем страдальчески покачивает головой.

— Женька! Я так и думала! — неожиданно освещаясь озорной улыбкой, произносит она. — Ну что ж, поговорите, чего особенного... Мужу, чай, не велела говорить?

— Она сказала, чтобы никому...

— Ну, вот! Тут делов... — говорит она и опять задумчиво покачивает головой...

Весь день — в колхозных мастерских, у председателя, в соседнем совхозе — Кривицкий улыбается и покачивает головой, вспоминая этот разговор. Ему чудятся какие-то намеки, поневоле он чувствует себя тайным заговорщиком. Москва уже перестает тянуть его воспоминаниями. Столь чуждый, поразивший его с первого же часа встречи мир вдруг открывается совсем неожиданной стороной — и так необычайно! Весь день ему мерещится грациозная

головка Пелагеи Васильевны, ее шепот, бабья, ласковая, — понятая, понятая! — и все-таки втайне приятная ему речь. И, уже что-то предвосхищая, тайными намеками, почти ее жертвенными глазами обращен к нему весь трепетный вечерующий мир. Какая-то прямота жизни, неукротимая сила насыщения глядит на него отовсюду — из воздуха, нагого до предела, сгорающего ясным солнцем, над землей, заиндевевшей мохнатым бархатом, как бока и холки коров, из горячей тоски всех глаз, обращенных к нему, из тучного сна родившей и ожидающей вновь оплодотворения земли. До изнеможения сладким, пьянящим вливается в него воздух, какого он еще никогда не знал. Человеческие голоса, песни, мыки скота кажутся ему музыкальными, теплыми, вздрагивающими, как нежная и чуткая кровь, — в этом сне оцепенения, в этом лесу хрустальной, инея и туманного серебра, развешанных в полной недвижности дня. Два пруда матовым блеском, как закатывшимся взглядом, светятся из застекленных ледяными тальниками, укутанных постеленными сугробами берегов. А там взмывают теплой стаей зобастые голуби, и лошадь, выведенная колхозным конюхом, опускает к студеной воде, недвижно стоящей в колоде, горячие, нервные ноздри, и тянет, присасывая, этот сладкий, железный мороз...

Глубокая, красная зима!

Домой журналист возвращается засветло, отобедав у председателя, словно поплотневший от прилива новых, с морозца согревшихся сил. Улица с редкими людьми, ледяные деревья и вдали трехэтажная громада помещичьего дворца озарены солнечной радужной тишиной. Пусто и глубоко в полях со стеной осинника, наполовину высунувшегося из-за подсипенного тенями, чуть проглядывающего жнивьями косогора снегов. Там, вдали, настаивается вечерняя дымка — пустынные, веющие сгнившей далью, сумерки... Пахнет в воздухе печеным хлебом, дымком. Будто на море, свежо и радостно пощипывает легкие морозный туман.

Дома, чуть приоткрыв дверь, журналист наталкивается на оживленный говор и шум. Когда он входит, в горнице начинают так хохотать, что он окончательно теряется... С первого взгляда ему кажется, что весь дом полон женщинами, — так, захлебываясь, будто от щекотки, валится кто-то со смеху, — он ничего не может понять в этой оглушительной женской возне, в этом

визге и хохоте. Потом он сразу различает распалившуюся свою вчерашнюю почную знакомую. Без платочка она уже не так молода и миловидна, у нее каштановые густые волосы, сбившиеся к одному плечу едва заплетенной, небрежной косой.

— Мы вас ждали, ждали,— говорит она и снова давится от хохота.— Ладно вам, дайте с человеком хоть слово сказать!.. Вы нас извините, у нас бабы дружные, как соберутся, так обхохочутся. А мы думали, что вы не придете, сидели, сидели...

— Нас мужики, как соберемся вместе, боятся. Так мы думали, что и ты испужался! — бойко выворачивает навстречу Кривицкому хозяйка, раскрасневшаяся, помолодевшая, повязанная новеньким белым платком.

Она поднимается с лавки, щелкая семечками, из-под ног ее разбегаются кролики. Ребята — все трое — сидят, обнявшись, на полу за книжками. Журналист видит на лавке еще женщину, как будто знакомую, старается вспомнить. Ах, это та самая, что показывала быка в конюшне!.. Да, да, тетка Фиона. Он неловко здоровается. Женщины церемонно подают ему неподвижные, шершавые руки, вытянутые лодочками, стпхают.

Хозяйка из вежливости уходит к печке, в переднюю горницу, наступает неловкое молчание.

Пауза.

— Вы уж нас извините,— опять начинает Женя Рузина, сложив ладоши на коленках, вся розовая, с горячими, темными глазами.

Она кажется журналисту очень громоздкой, теперь он уже явственно видит тень длинной женской жизни, явной на всем ее существе. Его поражают ее глаза — с горячим, как у молодой лошади, блеском, уже впавшая и вялая грудь, чуть сгорбленные плечи. Но говорит она мягко, певуче, с девичьими чистыми и очень страстными подъемами в голосе.

— У нас деревня хорошая, слов нет,— продолжает она, заметно волнуясь, заложив руки в карманы городского пальто и еще более розовея.— А к нам, женщинам, относятся все по-старому... Вы уж, пожалуйста, никому не говорите, что я пришла. А то подумают, что я наговорила на мужа по злобе, опозорила. А я разве по злобе! Вот они всю мою жизнь знают... Пожалуйста, уж никому не сказывайте!

— Женькину жизнь каждая баба знает! — отзы-

вається хозяйка, показываясь из-за перегородки, подперев щеку кулаком и жалостливо склонив головку.— Первая пара у нас, а карахтером оба гордые.

— Как не знаем! Что она, что каждая женчина! — опытно вставляет та, что называют Филопой, и, шмыгнув носом, вздыхает.

— Хорошо, хорошо, я никому не скажу, — бормочет журналист уже с комическим чувством, думая: «Попал, черт возьми! Держитесь, Марк Соломонович!» Он с любопытством вглядывается в бригадиршу-скотницу, что-то царапает по сердцу. Вот уж, действительно, изжеванная какая-то, исплакавшаяся, протянувшаяся из потемок старых, старых дней, человеческая судьба! И что за дни оставлены там позади, — так изрезано морщинами пухло-сизое ее лицо под старым платком, луковица луковицей! — так искажены руки, с одеревеневшими бугристыми пальцами в больших мертвенно-синих ногтях с черными трещинами, что странен на ней, ровно апельсин, яркий, пышноборный, новый овчинный кафтан!

Что-то совсем неведомое видит перед собой журналист.

— Конечно, — слышит он Женю Рузину и вдруг видит, как глаза ее наполняются слезами и она, совсем как девчонка, складывает ладошки: — Конечно, я могу с ним развестись. — Голос ее спотыкается. — Ну что же, и разведемся... — И совсем хрупко сламывается ее голос. — Я, товарищ, вам откровенно скажу: мы восемь месяцев вместе не спим. Ей-богу!

Она закрывает глаза, встряхивает волосами и мучительно всхлипывает.

— Молоденькая, мучается! — поясняет Кривицкому Филона, шмыгая опять носом.

— Он у ней с карахтеру гуляет, разрывается, — возбужденно отзывается вновь хозяйка. — Они, верно, восемь месяцев вместе не спят, вся деревня знает. Она на постели спит, а он на печке, — да разве это жизнь!

— Какая жизнь! — восклицает Рузина с такой страстностью, что журналист с опасением отводит взгляд от ее животно горячих глаз. — Я ведь любила его одного, любила, а он со мной за всю жизнь вместе по деревне не прошел! Господи... И детей не любит, ей-богу, Филона, не любит! Да чего говорить — ничего не кушит им никогда, что на них есть, это я сама, сама.

на свои трудодни. Вчера на собрании вы вот хорошо рассказывали о жизни... Мы все слушали, — у нас женщины о жизни всегда слушают. А сегодня все ждут, что вы по избам пойдете: смотреть, как живут колхозники... Мы ведь ничего живем, право, хорошо совсем!

— Правильно, Женька, правильно! — выговаривает Фиона, забирая в ладонь всю свою луковицу и по-прежнему шмыгая носом.

Хозяйка смотрит на Кривицкого покровительственно и лукаво; он видит, что она переживает рассказ с участием подружки. «Вот милая чудачка!» — думается ему.

— Нет, не любит он моих детей! Так мне уж горько это, а виду никогда не покажу. Свекровь сегодня девочку мою спрашивает: «Ты что московскому, стало быть, скажешь, как проверять придет?» А она ей: «Я им скажу, что мой папка меня не любит, ничего мне не покупает». Право, вот смеялась я. А свекровь как рассердится: «Смотри, — говорит, — не скажи взаправду, не позорь моего сына!» Вот как мы живем. Я, конечно, трудодней больше его парботала, сама, если захочу, проживу и детей прокормлю. Но ведь жалко! Как дети без отцовского воспитания...

Фиона:

— Вот, товарищ... Вот и оно!

Хозяйка Пелагея Васильевна:

— Без отца дети, ровно как самостоятельные какие... А отцы нонче всю жизнь пройти хотят, куда им с детьми! Правда у нас народ хороший — взять моего: хоть и больной, а ласковый, обходительный. Ей-пра, не похваюсь, а хороший!

Женя Рузина:

— Я, товарищ, у вас вот что хотела спросить: почему мужчинам все можно, а нам, женщинам, мужья шагу ступить не дают? У женщины и в помысле ничего нет, а он с кулаками, чуть что, лезет. Да как же это так? Неужто и у образованных людей, в городах, все равно мужчины себя так ведут? Вот Ваня мой — он красивый, а я что же, уroda какая? За ним девушки всегда бегали, он с ними крутил, крутил и теперь крутит, — зачем же он женился на мне? Ну, разведемся по-хорошему, теперь я сама проживу, ну, обойдусь... Чего же он, товарищ, меня пугает, говорит, я ему жизнь загубила, а сам мне, как активистке, ступнуть

не дает?! Я уж плакала, плакала. Да разве я такая раньше была!

Фиона:

— Семейное их дело, товарищ, она все сомневается...

Хозяйка Пелагея Васильевна:

— Ты посмотри на нее. Да разве эдакая Женька была! Что с нами, женчинами, проделывают... Была раньше Женька — ух! — самостоятельная, круглая, вся пухлая да полная, разве у нее такие груди были! Я, бывало, не утерплю — щикотать ее начну... Да, бывало, Женька пройдет — мужчину кипятком обдаст.

Фиона:

— Надо, товарищ, это понимать...

Кривицкому уже не хватает его жизненного опыта, чтобы разобраться в этом потоке живых трепетаний жизни.

— Скажите... а вы сами никогда ему не изменяли? — спрашивает он, набравшись решимости, сосредоточенным тоном врача.

— Я?! — вспыхивает та. — Никогда! Если женщину мужчина любит и уважает, разве она изменит!

— Мне хоть бы их не было! — будто разговор коснулся чего-то несостоящего, говорит Фиона, хладнокровно собирая в руку расквашенный нос свой и сморщенные, пухло-сизые губы. Лицо ее выражает столь горький жизненный опыт, что Кривицкому становится не по себе, словно он в чем-то виноват.

— Так, — продолжает он и видит, как женщины напряженно вытягивают головы, ожидая его слов. — Хорошо. А может ли, скажите, по-вашему, мужчина жить весь век только с одной?

Рузина вспыхивает, отвечает страстно:

— Может, кто и может, а я по своему мужу скажу — не может. Ну и пусть, ну и пусть! Только чтобы не ставил меня в глупое положение. Пусть так, чтобы никто не знал. А если он мое имя позорит, то я ведь тоже могу себе найти.

— Вот, вот! — вставляет Фиона. — И найдешь! Их, котов, много.

«Это да! — думает журналист. — Чище «Анны Карениной».

Женя разжимает руки — порывисто, так, как это делают в отчаянье, глаза ее еще более блестят от наплывающих слез.

— Так вы разведитесь! — быстро и решенно говорит журналист.

Она всхлипывает.

— Могу развестись! — восклицает она с резкостью, заставляющей Кривицкого вздрогнуть. — Могу, могу, могу! Подумаешь, какой мучитель нашелся, что я, другого себе, что ли, не найду? Уйду от него, уйду! — и вдруг обрывается. — Товарищ, — произносит она с трудом и медленно, — а семья? А как же мы с Ваней столько лет прожили... — Она опять всхлипывает, и вдруг, как подломленная, никнет ее голова, и, закрыв лицо ладонями, она плачет, вздрагивая осыпавшимися каштановыми прядями волос.

Секундная недоуменная и тяжелая для Кривицкого пауза.

— Страсть-то! — произносит Фиона, вздыхая.

— Карахтерные оба, ей-пра, карахтерные! — вскрикивает хозяйка. — Да я бы и минуту на красавца твоего не смотрела! Плюнула б и ушла. Они, — обращается она к журналисту, — они все равно не сживутся. Он, Ваня, у ней, нечего говорить, хороший, умный, а сроду этим заражен... И-и-и, — жалостливо смотрит она на Рузину, подперев подбородок кулачком. — Слышь, Женька, что он, опять в совхоз бегал?

— Бегал, — сквозь слезы отрывисто бросает Рузина.

Фиона так же подпирает щеку, лицо ее еще более походит на сморщенную, старую луковицу. Обе женщины одинаково покачивают головами, вздыхают и смотрят столь незнакомым Кривицкому и столь старинным, туманным взглядом, словно смотрят через десятки бабьих веков. И вдруг все трое заговаривают разом и обращаются к журналисту. Он с трудом понимает, чего от него хотят. Иногда ему кажется, что они совсем забыли о его присутствии, так горячо говорят они друг с другом. Но постепенно голос Фионы покрывает голоса других. Постепенно две другие обращаются в слушателей — настолько убедительней и беспощадней ее правда, ее мучения, и вот видит журналист, как Женя Рузина в свою очередь подпирает по-бабьи щеку и начинает сочувственно покачивать головой.

— Верно, Фиона, верно! — поддакивают уже обе женщины.

И Кривицкий, еще более удивленный, смотрит на нее,

широко открыв глаза, словно приоткрыли перед ним какой-то неведомый и беспощадный мир.

— Муж у меня был настоящий кот,— слышит он женщину, и глаза ее, затуманенные постоянной, прижившейся там маею и скорбью, глядят на него испытанным спокойствием.— Чистый кот старого режима! — повторяет она.— Право, окаянный котиче, чистый хитрованский котиче, тридцать лет меня истязал и бил... Бывало, работаю с утра до поздней зореньки — то ли жну, то ли кошу, — а приду домой: мой кот тут как тут — цап-царап меня, проклятый, да за волосы, да сапогами... «Ах вы, сени, мои сени! Давай на вино!» — кричит, да матушкой, да как зачнет окошки лупить, коли ему не подашь. Ох, господи! Сундук разобьет, все мои несчастные тряпушки повыбросит, всю излущует, искровянит и уйдет из дому. Тридцать лет я жила в пропасти, бабоньки. Ох уж и бил, проклятый, ох уж и поиздевался надо мной... Только вот в колхозе сейчас немного и расцвела. Его, проклятого кста, кажись, где-то в драке убили. Только я и вздохнула. У нас, товарищ, бабы умные, работающие, мы эту водку не любим, табаку нам не надо, да разве нас с мужиками сравнишь?! Взять вот ее, Женьку: она у нас бригадиром работала. Одни женчины у нас были. Так уж вот как работали, а знали, что если она с нами — Женька-то! — так уж ни одна соточка от нашего трудодня не пропадет. Разве мужик когда так подсчитает! А Женька у нас бригадиршей — мы спокойны, потому справная, грамотная, сама из сил выбьется, а всегда веселая, ну и развлекательная... Мы бабы такие, нам нужно, чтобы кровь бежала, чтобы в глазах чиркало. Баба, если у ней крови невеселые, — не баба. Потому мы и песни всегда поем! А уж работать — все в жилку вытянемся, а что зададут, сделаем. А почему женчина так работает? Она, товарищ, со старины привыкла душой скорбеть. Она всю жизнь чувствует, она прилежнее: как звонок ударил, она спешит, все на свете забудет...

Обе другие женщины вместе:

— Верно, Фиона, верно!

— Я, товарищ, человек измученный. <...> Теперь в колхозе меня не тронут, не тронет меня никто... У меня трудодень свой, свои права! А мне этих котов проклятых не нужно. Господи! И до чего рада была, когда моего убили... Как я от радости плакала, и так уж избушку свою

прибрала... И все-то не верила, что моя радость пришла! Вот, товарищ, что я хочу вам сказать: нас, женщин, в Октябрьскую годовщину очень обидели. Мы все в стенгазету попали. Ей-пра! Они, коты-мужики, на нас написали. Вы рассудите, товарищ! Годовщина. Мы, женщины, хоть неученые, а прямо скажу, этому празднику очень сочувствуем... И решили мы, женщины, сами, без мужиков, праздник отпраздновать. Конечно, припасли четверть вина... Вы не подумайте чего — я это вино все на себе перенесла, я его очень даже хорошо помню, но нужно из сочувствия, как полагается, со всеми бабами. А то мужики думают — им одним вино пить! Мы их, котов, к себе и не пустили. Выпили по рюмочке, попели, так нам стало хорошо и весело, вышли на улицу и по деревне идем. А коты-то смотрят! Смотрят во все глаза! А мы с песнями да с плясом — вроде как демонстрация, што ли. Вот они, мужики, на нас в стенгазету, в стенгазету... написали... Пьянство, мол, несознательность, безобразие. Это за то, что мы песни играли! Очень обидно было. Хорошо, политотдела начальник приехал, ихнюю заметку отменил. А ее, Женьку, за это с бригадирш убрали, ей-пра! Мужики — все коты проклятые! Одна на них управа — трудодень. Мы-то нонче сами самостоятельные... Вы скажите, — добавляет Фиона шепотом, — чтоб Женьку опять бригадиршей поставили. Ванька это все колхозному председателю нашептывает, с Александр Михалычем, секретарем, у него из-за Женьки недоразумение получилось... Вроде как... ну, стал думать про их, ну симпатия что у них... А чего — Женька с Александр Михалычем политграмоту по вечерам учит. Ну, а он, кот, известно, по-своему соображает...

— Верно, Фиона, верно! — с жаром поддакивает хозяйка.

— А я к вам, товарищ, с заявлением, — быстро и вдруг смущенно продолжает Фиона. — Уж, право, не знаю, как и начать...

Журналист видит жаркое, почти детское смущение на ее багровом лице.

— Я думала, думала, сказать али нет... Не решалась все, а сердце болит, вот уж болит... Вчера, Целагешка, и не спала ровно...

— Да ты говори, чай, не съедят тебя, — покровительственно, тоном человека, близкого к такой важной

особе, как журналист Кривицкий, лукаво выпевает хозяйка.

— Уж я не знаю, пра...

— Насчет быка она,— говорит хозяйка.— Быка у ней продавать хотят, она за ним ходит, ну, она и тоскует...

— Она скотину очень любит,— поясняет Рузина, присмирившая было после слез.— Она его холила, берегла... Конечно, жалко, как дитенка нянчила.

Фиона комкает концы платка, и журналист с удивлением видит, как грубый румянец явственно заливает ее сморщенное, дряблое лицо.

— Я, товарищ, человек заброшенный...— говорит она медленно.— У меня при Николае не то что скотины — дитя родного, как муж искалечил, не было. Прожила весь век, ровно во сне: всю меня страшный котище истыркал, искромсал, изувечил... Мне, товарищ, как колхозную скотину дали, я ночи не спала — ее охаживала. И теперь спать не буду, а все сделаю: напою, накормлю,— к нам из Рязани, от начальника политотдела приезжали, хвалили. Дык вот, бык у нас, Михал Михалычем зовем... Уж так я приобыкла к нему, прилюбилась, уж я так прошу вас, чтобы сказали председателю: не продавал бы... У меня, Пелагея, все сердце изъело — мужа убили, сердце не дрогнуло, а теперь вот животная, а места не нахожу, ей-право.

— Сумлеваешься! — в сердцах, повимающе-сочувственно восклицает хозяйка.— Баба всегда всю жизнь к сердцу принимает!

Журналист чувствует, как что-то высокое и светлое проходит мимо и касается сердца. И вдруг свободно, просто, сами собой появляются у него ответные слова...

## 6

К вечеру Кривицкому кажется, что он давным-давно поселился в этой снежной деревне. Совсем свободно уже бродит он по гумнам и улицам. И ловит он себя на мыслях, что не такая уж пропасть нынче между ним и этими полевыми людьми, закутанными в пахучие бараньи овчины. Пожалуй, через одну пятилетку... А дети! Будь у него сын, с малым Пелагеей Васильевны сразу нашел бы он мальчишечий общий язык... Читают Некрасова, Пушкина,

Гоголя. Этот малый спросил его о «Капитанской дочке» и вогнал в краску: что же, действительно, он, настоящий журналист, и классиков знает больше по словарям... Гринев, какой это Гринев? Надо будет перечитать, перечитать все это!

Он усмехается, вспоминая свои разговоры с Пелагеей Васильевной. «Любопытная, как зверек, живая дамочка!» — думается ему, и он неожиданно заворачивает от совхозного парка к полю, чувствуя, что тут, в женском, прямом и непреклонном мире, он немного может понять. Мороз заметно крепчает. Журналист глубоко напяливает шапку и, прислушиваясь к резкому скрипению снега, быстро идет к перелеску, с удивленной серьезностью подростка, остановившегося по пояс в снегу. Наезженная дорога бойко катит куда-то в мутнеющую синеву полей. Обдутые, твердые сугробы косыми белыми дюнами вливаются в лес.

Там в покое зимы застывшими испарениями развесилась обледеневшая, закутанная в белые пушистые меха тишина. Гололедницу уже опушил иней. Все к большому морозу — солоноватый студеный туман, выцветающее небо, острым серпом народившаяся неживая луна.

Какая живая тишина!

Журналист останавливается и вникает. Никаких звуков. Осинник насторожен, кажется, ловит малейший шорох, — это удивительное, трогательное сердце молчание, эта праведная тишина лесов! И кругом — необозримая равнина... Снег, соломенные гнезда деревень, белое поле, с редкой, точно в бой уходящей, цепью телеграфных столбов.

Его пьянит от воздуха, величия, оцепенения тишины, щеки его загораются от лукавых морозных шипков. Но он чужой скрипящему снегу, деревьям, совсем не таким, как в городе, небу, властвующему здесь всеми планетными силами... Ему бы схватиться с тишиной, дышать бы ему вольно, горячо, смеяться бы дерзко, всеми зубами, кровь его просится к действию, к работе, но как он слаб и застенчив пред этим простором, пред этим дыханием расплывшейся снегами и звездами зимы! И опять Пелагея Васильевна, смутная, как ему кажется, дразнящая своим лукавством, любопытством, принадлежностью к дерзостным и жестоким веяньям жизни, настагает, как в детстве, постыдный и вместе обаятельно-любопытный сон.

Жизнь! Как сильна эта жизнь!

Он стучится домой затемно. Деревня уже теплит свои огни в тумане. Кажется, слышно, как с мягким шорохом

садится иней на ветви берез. Хорошо, уютно пригреться у камелька в дремучих снегах и дебрях русской зимы!

Кривицкий входит в домик с приятным и родным чувством. С удовольствием здоровается он с хозяйкой, с ребятами, даже *труссы* — так называют здесь кроликов — не доставляют ему теперь тревоги. В горнице чисто и хорошо пахнет, жарко натоплено, часы отсчитывают свои дорожные мгновенья. И вот далеко за вечер сидит журналист у стола, читает вслух детские книжки, разговаривает с хозяйкой, слушает маятник. Потом укладывают ребят, и он остается наедине с мирной, наполненной одной этой женщиной и лукавой тишиной.

...Совсем поздно, стрелка часов оставляет десять. В домике тихо, и еще тише кажется от дыхания спящих, от черной бездны, там, за окошками. Там — знает Кривицкий — давно спит укутанная в снег, в солому и звезды пустая деревня, ни одной живой души нет на полях и дорогах. От всего этого, оттого, что он с глазу на глаз, один с *ней*, оттого, что все спит вокруг, не пишется журналисту в его дорожную записную книжку. Щеки его пылают от жаркого воздуха, и все кажется ему...

Она сидит у стены, немного раздвинув ноги, и вяжет, огромный ее живот бережно развален на коленях. Иногда он чувствует ее взгляд, лукавый, быстрый, — когда он поднимает глаза, она насмешливо глядит через его плечо. Бойкая головка ее, небольшие запекшиеся губы, новый чистый платочек, эти взгляды — все наводит журналиста на диковатые, но, как ему кажется, непреложные догадки.

Он гонит уже прочь последние угрызения мужской совести, и в голову к нему лезет другое, заурядное: у нее больной муж, а она так молода, и так все понятно! А оттого, что у *ней*... Кривицкий видит ее чудовищный живот, — черт его знает, кто их поймет, этих женщин! Кроме того, он видит, видит: она сама затевает игру. «Марк Соломонович! — шепчет в Кривицком вечный насмешник. — Держитесь. Она дает вам авансы, честное слово! Это более чем оригинально...»

— Все думаешь! — неожиданно говорит хозяйка и вскидывает на него лукавые, простые глаза: — А мы живем так: прожили — и хорошо.

— Нет, отчего же... — бурчит совсем нелепо журналист, уже опасаясь взглянуть на ее розовое лицо и горячие, совсем как у Жени Рузиной, глаза.

Она вздыхает, откидывает к стене головку.

— Никак десять?! — быстро, притворно-испуганно восклицает она, взглянув на часы. — С тобой заговоришься, право! Я тебе сейчас соломы постелю... Чай, надоело со старой толковать? Ты бы с молодыми поговорил... У нас девки хорошие, ласковые, авось не обидели бы... Бедовые девки стали! — неожиданно быстро и шутливо перебивает она себя. — И-и-и! Я-то за своего выходила, ничего не понимала, а теперь пойд!

— А чего? — вдруг с тайным страхом, предчувствуя и желанное, и постыдное, произносит журналист.

— А ничего! — озорным голосом бойко отвечает она. — Дай-ка я стол отодвину. Нынче пятнадцать лет ей, а она вдруг, пожалуйста, родителям объявляется... Им-то, правда, обижаться неча, вон девки у нас как стали запибать: у кого полтораэта, а у кого двести трудодней! Ну, и гуляют. Ты мне вот что скажи: бог есть али нет? — говорит она, упираясь кулаками в бока, прямо перед Кривицким, смотря ему в глаза суженным горячим взглядом.

У того мгновенно перехватывает дыхание от подтверждения догадки. «Вот, вот это и есть!» — с необычайной ясностью ощущает он этот жаркий угол, схороненный в темной пучине полей, стук маятника, тишину, в которой заключены оба они, наедине с той позорно-страшной возможностью, которая — он видит, видит — живет в ее пристальных глазах.

— Есть, есть! — говорит он, утверждая совсем не то, что подразумевала она, и, поднявшись, собираясь бежать, вдруг неуклюже сталкивается с ее телом, и мир, пылающий керосиновой лампой, уносится от него в таргарары...

Женщина, однако, смотрит странно-спокойно. Она все не обнимает его, не отстрапается, лишь инстинктивно защищает свой живот, складывая руки на его крутизне. И говорит, повергая журналиста в мучительное и тревожное оцепенение:

— Дык, говоришь, он есть! Дык, выходит, бедным жепчинам здесь мучайся, мучайся, а помер, и опять тебе там покою нет! Неужто правда, что батюшка-покойник говорил?

Кривицкий слышит ее ровное, незамутненное дыхание, ему неловко стоять, ему стыдно невольного прикосновения к ее телу и своего прерывистого и хриплого вдруг голоса.

— Бога нет! — говорит он, не в силах уйти от мучительного любопытства и страха и еще веря, что у нее в

мыслях все то, в чем он уже окончательно по-мужски себя убедил: — Бога нет! — говорит он еще раз, цепenea от неловкости и решая — сейчас вот! — оборвать резко и грубо эту женщину...

— Ой! — вскрикивает она в это время особенным, блаженным голосом. И вдруг схватывает правую руку журналиста и властно тащит ее вниз по упругой и бархатной покатоности живота.

Журналист столбенеет от мучительного безволия. На мгновение чувство какого-то позора и ужаса пронизывает его, и вдруг под своей ладонью он чувствует озорные удары, словно там внутри кто-то брыкается, шалит — радостный, живой, как сама кровь... И слышит, как смеется женщина, торжествующая, живущая наедине с началом всей жизни, совсем забывшая о его существовании.

— Ой! — повторяет она, с любопытством, как ребенок, следящий за дерганьем поплавка, словно и не в ней происходит эти толчки. — Ой... ребеночек мой... шевелится...

И продолжает смеяться, пристально смотря в пустоту перед собой.

Так вот она что! Огромный стыд за себя и одновременно спасительная радость обваливаются у него внутри.

Потом происходит нечто огромное. Сначала журналист ничего не понимает, — женщина с неожиданно перекошенным лицом медленно оседает на колени и вдруг, садясь на свои ступни, начинает глухо стонать: «У-уу-уу... батюшки... царица небесная...» И опять: «У-уу-уу...» Не понимает он и дальнейшего, когда она, еще более перекошенная, совсем белая, кидается в сенцы. Проходит минута, другая, третья. В голову ему не идут истинные причины всего этого, слышит он из-за стены неясные ее стоны и начинает понимать все только тогда, когда, распахнув дверь, видит ее прямо на полу — уже повергнутой, уже раздираемой муками рождения.

Еще более огромный стыд на мгновение бросается ему в лицо.

С трудом он помогает женщине перебраться в черную половину избы. Кролики разбегаются из соломы, приготовленной для его постели, когда женщина опытно, в стремительном изнеможении, опускается в ее колкую пахучую полумглу и падает на спину. Все остальное приходит очень быстро. И, похолодевши окончательно сердцем, понимает журналист, что поздно бежать ему за какой-то бабкой Анисьей, и что главное уже началось, и что он

должен быть здесь и что-то делать во имя сокровенной и непреклонной во веки веков работы.

Через день, через два, много дней спустя, он при всем желании не может припомнить, как все это происходило. Человеческая память служит только утверждению будущего: она не оставляет ни могил, ни страданий. И вот,— как впопыхах, чуть не уронив, вешал трясущимися руками лампу на потолочный крюк, как расстилал свое одеяло и простыни, как она, дергающаяся, с восковым перекопченным личиком, заглушив невероятным напряжением стоны, чтобы не услыхали ребятишки, сама обхватила свой ослепительно-белый живот, помогая содроганиям схваток,— всего этого не мог никогда вспомнить ясно Кривицкий. Словно в довременье хаоса, в бурных хватаниях водяных и огненных пучин, разверзаясь жидким огнем и страшно-малиновым заревом, будто в преисподних гулах и взрывах планетных рождений — полыханьем крови, корчами раступающегося тела, в ужасной паготе разведенных колен, промерцали перед ним эти страдания жизни. И когда показалась залезанная, облитая алым головка ребенка, понял он, что сейчас *это* кончится, что мука, напряжинившая тело женщины, предельная, и что ему нужно теперь сделать все, что подсказывает сама собой появившаяся сообразительность... В несколько мгновений он изодрал, на куски простыню, отыскал в чемодане никелированные ножницы для ногтей. Тут женщина вскрикнула, застонала, и вдруг сразу все терзавшее напряженный его слух стихло, и она, словно блаженно выдыхая набранный до предела расширенными легкими воздух, в изнеможении поникла грудью. Когда он кинулся к роженице, ребенок в длинной, испугавшей журналиста пуповине лежал меж ее полных раскинутых ног. Глаза женщины были закрыты, одной кистью руки она прикрывала будто заиндевевшее лицо. Кривицкий, попадая во что-то теплое, вдыхая мокрый и тяжелый запах, наконец перерезал скользкую ленту пуповины. Он помнил: нужно сейчас же взять ребенка, чтобы он закричал. Это далось не сразу: красный, сморщенный кусок чуть не упал из его ладоней. Кривицкий шлепнул раз и другой — безуспешно, еще раз, и, уже испугавшись, сильнее... И вдруг руку толкнуло живое, горячее содрогание, и крик жизни, услышанный им в первый раз — так неожиданно и странно! — пронзил его радостью. Роженица, бездыханно и безвольно лежащая, открыла глаза. Кривицкий, бессмысленно улыбаясь, заворачивал кричащего

ребенка, чтобы передать его на руки матери, уже приходящей в себя. Он положил его к ней на руки. Роженица слабо улыбнулась. Кривицкий, чувствуя страшную усталость, словно проделал какую-то каторжную работу, опустился на колени. Что-то пушистое и нежное попало ему под руку и вывернулось... Кролик. Но Кривицкому было не до него. Его не поражали ни нагота женщины, ни страшные, забрызганные и залитые простыни. Какое-то странное облегчение, почти опьяненное состояние легкости и сиянья на душе... Он улыбается. Ребенок кричит опять, женщина приподнимается и, спохватившись, говорит слабым голосом:

— К соседке... к тетке Марье... разбуди... скажи...

Он кидается в горницу, хватая одеяло с хозяйкиной кровати, накрывает им роженицу и ребенка и так, как был, без шапки и пальто, выходит на ночную улицу и сразу попадает в сугроб. Потом он лезет прямо через непротоптанный снег, стучит в первый попавшийся дом, будит каких-то людей, его слушают, охают, и вот его окружают суета, радостные возгласы, свет. Женщины стремглав бросаются из дому, а он остается сидеть с хозяином и никак не может прийти в себя. Высокий усатый человек, тот самый, что вез его со станции, все повторяет:

— Так... Не иначе, ты в солдатах был. А что, наш брат всегда найдется! Так. А все-таки ты молодец. Сам, говоришь, принял? Так.

И вдруг, сконфузившись, говорит ему шепотом, переходя на «вы»:

— Пойдемте... руки вымойте... я вам полью. А то неудобно выходит...

Журналист смотрит на свои руки и ужасается: пальцы, ладони, манжеты рубашки и рукава пиджака — все покрыто рыжими зачерствевшими пятнами.

## 7

Через два дня чуть ли не вся деревня провожает его в Москву. Скорый проходит в одиннадцать утра, — Кривицкого обряжают с самого свету, весь домик полон народу, и вот его прощальное утро изумленно запечатлевается человеческой приязнью, что так обогащает и наполняет наши мимолетные дни. В самом деле, столь мгновенно переворачивается, изменяется в его глазах и чувствах незнакомый и страшноватый прежде деревенский мир. Да и сам он, на-

верное, уезжает уже другим, и совсем другие поля, снеговые просторы, совсем иные перелески и небо провожают его до станции... И на месте деревни, в туманной дали, чудится ему кивающий уже неясной женской головкой светлый и высокий смысл.

Было мягкое, неслышное, как раздумье, утро.

Скорый уже выходил, когда они подъехали к станции. В покое необозримого полевого дня, прикрытого серой пеленой неба, наносило предчувствие метели, снегопада, еще более глухой и глубокой зимы. Но загрязненная полоса полотна с черными нитями колеи уходила, как всегда, с неуклонностью и беспощадностью в глубь нескончаемых равнин. Товарный поезд, еще не видимый за бугром, поднимал клубящиеся облака дыма и пара. И все это было одно: труд, неспящие силы человеческой воли, тысячи тысяч судеб, заключенных в один образ неуступной, необъятной в своем будущем, рождающей повые светлые народы страны. Уже товарный, нахлынув неистовым воем и громыханьем вагонных колес, заслонил свободный простор пути, и Кривицкий все смотрел и смотрел вперед...

А в селе Сатине в этот день, в это утро, вели племенного быка, по кличке Михал Михалыч, на пункт конторы Заготскота, на убой, согласно постановлению правления. Бела его целая делегация, во главе с председателем, на всякий случай. Мягкой тишиной наполнилась улица, чуть доносилось жужжание молотилки, ничто не отличало этот день от других. Но животное, опутанное веревками, с перехваченными мертвой петлей рогами, вкапывалось в снег, било хвостом, противилось всей яростью, изваянной из горячей многопудовой энергии глыбой чудовищного туловища. Иногда бык замирал на месте, мотал тяжелой, как скала, головой, шея его страшно ворочалась в курчавых складках словно свинцом оттянутой шкуры. И жалобным погибающим ревом, тяжелой руганью и громким дыханием людей отдавалась чистая утренняя тишина. Разбрасывая снег, ворочался бык, силясь повернуть обратно — к оставленной конюшне, к теплоте закута, к прелестным дням жизни.

Женщина в оранжевом овчинном полупубке, шедшая сзади поодаль, останавливалась тогда на месте — сморкалась и всхлипывала. Но, увидав ее, еще страшнее и неподимее ревел бык, еще жалобней, с такой тоской и силой, что, матерясь и отводя глаза, едва удерживали веревки колхозники.

— Тетка Фиона! — кричал отчаянно председатель. — Возьми ты его сама... А, ты, ч-черт! Давай скорее, сюда! Покалечит он у меня мужиков!

И тогда подходила женщина, и за ней, мгновенно при-  
смирив, к смраднему и убойному своему концу шел, не  
натягивая крепких канатов, ступудовый бык. Колхозники  
ступали с опаской, курили и молчали. Председатель мы-  
сленно прикидывал колхозные барыши, солидно кланялся  
встречным. Никто как будто не обращал внимания на жен-  
щину. Она вела быка, положив руку на страшный его за-  
крученный рог, чуть сторбившись, по щекам ее стекали  
мутные слезы. Женщина не вытирала их, они падали на  
снег незащищенными — не нужные никому, не рассказан-  
ные никогда слезы прекрасной любви.

*Москва, январь 1935 г.*

## СОЛНЕЧНЫЙ ХОР

Весь март в лесу было так тихо, что слышалось за вер-  
сту, как падают сосновые шишки. Изредка валил густой и  
сырой снег. Иногда бушевал ветер, и тогда леса синели и  
туманились морем. Но чаще всего в лесу стояла полная  
тишина. Казалось, жизнь навсегда исчезла из этих нежы-  
лых краев, так безмолвно спали под снегом речки и так  
пусто и зябко вечерело среди пустынных болот. И даже  
охотники перестали появляться у просек, перечертив серый  
снег следами лыж.

И вдруг началось.

Солнце все реже и реже вставало с заморозками. Сырой  
ветер качал сосны, скрипели сучья, с глухим шумом садил-  
ся снег, и в один неизвестный день закутало туманом леса  
и болота, и полил мелкий и темный дождь. Лило три дня.  
Неприятно и сыро дуло с запада, шли ненастные тучи, три  
ночи ударяло и скрипело в бору, влажный и широкий шум  
бежал по вершинам, запевая старую-старую песню лесов.  
В эти дни умер снег.

В эти дни впервые обнажились пригорки и пни, почер-  
нели дороги, а на речках выпотели непроглядные оконца  
воды.

В потемках и сырости стояли леса.

Через неделю над лесной сторожкой, где капало с крыши, высоко-высоко в небе показались птицы. Рассвет подымался. Крики птиц доносились до земли. Казалось, серебряные трубы летели под солнцем. Все выше, выше — звуки, вначале густые и зычные, становились печальнее и заунывней, — птицы забирались под самое солнце, описывая плавные круги. Потом они опустились на старое глухое болото. И все узнали, что весна уже здесь, — и ручьи, и медуницы, и шорох травы, — потому что прилетели журавли.

В этот день на речке было так радостно и светло, что почки у берез не выдержали и лопнули, показав прохладные зеленые ушки. Ручьи лепетали по-детски и спешили к долине. Они были братьями и сестрами речки, поившей множество лугов и низин. Пушилась верба. Вода затопила кусты и прибрежные деревья. Речка, колыхая кусты, шумела и неслась, играя солнцем. Даже щука — жилица темных глубоких ям — ходила на мелких местах, показывая из затопленной травы пестрые плавники.

Вечером отовсюду затоковали тетерева. Загудели первые жуки, а когда село солнце и пахло туманом с болот, в лесу затрещали дрозды и прозрачно и грустно запела малиновка. Заря, как забытый костер, дотлевала в лесных сумерках. Голоса птиц все более и более замирали, наконец смолкли, и в дрожи прохладного воздуха перелилась первая звезда.

Чу! Вдали над лугами раздался щебечущий свист, еще, и, хрипло и отрывисто трогая низкую кожаную струну, над частым осинником протянул вальдшнеп, мелькая на угасающей уже мрачной заре. Еще один, где-то над большим лесом.

В этот час слышали, как шевелится трава, пробиваясь сквозь сырые прошлогодние листья. Мириады растений высовывали из-под земли робкие бледные стебли. Кое-где у обсушенных пней медуница вздувала свои синие и алые огоньки. И ночь напролет шли с юга певчие и водяные птицы.

Они проносились иногда очень низко, слышно было — их крылья рассекали воздух с быстротою пупучного снаряда. Гуси уходили без отдыха — они спешили на север. Утиные стаи стрелглав падали на водяные зеркала. Их криканье всполошило болота, но никто не слышал еще голоса журавлей. Потом в лесах совершенно стихло,

и можно было услышать, прижавшись ухом к земле, лишь крохотных мышей и движение цветов и трав. Кто, кто мог назвать бы более чистую, трогающую сердце тишину!

Журавли спали на сыром, не залитом еще лугу, вытянувшись в два ряда, заложив головы под крылья. С обеих сторон сон их караулили часовые. Только звон воды нарушал великий покой болот. Птицы дремали, вытянув шеи, — самые старые, опытные, узнававшие сквозь чуткую дремоту любую опасность. Но никто не тревожил их отряд в эту теплую и звездную ночь.

Ни ветерка, ни шороха не доносилось из сосновых боров, как черная стража застывших на многих холмах. Где-то закричала грустная лесная птица, но это было очень далеко... Только речка позванивала в чуткие водяные колокольчики. Казалось, земля напевала что-то, полное тишины и воспоминаний, подслушанное у музыкальных птиц. С каждым часом все теплее и теплее дышала земля, — это воздух свежел к рассвету, каждая травинка отдавала свое дневное солнечное тепло. Журавли спали. Кончалась короткая весенняя ночь. И каждое сердце ожидало первой рассветной трубы.

Глухо и темно было в лесах. Еще далеко-далеко было до того часа, когда в городах возникает удивительное звучание фабричных гудков. Еще тьма, полная хвои и ярких звезд, висела в лесу, лишь на востоке обозначилось зеленоватое зарево... Но сразу, все вместе подняли шеи и вытянулись огромные серые птицы; задрали к небу острые костяные носы, и на весь лес полетели какие-то огромные, неудержимые песни, как будто целый хор подняло над всей темной землей. Торжественно музыка облетела тишину лесов, болот и долин. И встал день солнца и свет. И кончилась ночь.

Глухарь заворочался на мшистой сосне, обронил шишку и, загремев крыльями, полетел в бор на холме. Утка громко закричала и всплеснулась на болоте. Уже бекас зажужжал над лесом, поднялся веретеном вверх и камнем метнулся вниз. И вальдшнеп быстро промелькнул в сумерках туманной долины.

Журавли затрубили еще раз. Весь лес пел несметными голосами птиц. Издадека, с большой вересковой поляны, шипели, хлопали крыльями и ворковали бархатно-синие, как головешки, подбитые снеговым пухом тетерева. Словно огромный пчельник гудел и носился там.

Над болотами кружились, заунывно крича, рябые кулики.

Солнце, солнце!

Красным огнистым шаром вышло оно из лесов, и просиял этот час. Редко-редко кто из людей городов видел, что происходило тогда на лугу. Солнечный шар горел в высоте. На лугу, окруженном светлой водой, двенадцать птиц в светло-серых мундирах танцевали танец утра и весны. Они невозмутимо прохаживались на длинных черных ногах, выступали, покачивая длинноносими головами в малиновых шапочках. Неожиданно они приседали, подпрыгивали кверху, подраспустив крылья, и начинали выплясывать, — никто никогда не расскажет, что думали они в это время! Но вода отражала эти невероятные ужимки, и солнце горланило, изливая раскаленный огненный свет... Птицы кружились. Хвосты их с пухистыми мягкими косицами колыхались за поворотами туловищ — это напоминало надутых, важных дипломатов, в которых проснулся человек.

Может быть, это вовсе не было так смешно!

Речка передразнивала их всюю. Там в подвижных светлых зеркалах колыхались голубые тени, — в мире не было никого, кроме солнца и света, для этих далеких для нас птиц. И никто не смеялся вокруг. Солнце сияло над маленьким шаром земли, весь лес гудел от птичьего щебета, и резвились мухи, и оранжевые шмели вылетели в это утро к первым открывшимся цветам. А когда день стал во весь рост, журавли застыли как вкопанные. Самый старый закричал резко и внушительно, и все двенадцать птиц побежали-побежали и с разбегу стали подниматься на воздух.

Много раз поднималось солнце...

Но только двое вернулись обратно. Все остальные — десять серых журавлей — полетели дальше, и везде они раньше всех трубили о приходе величайшего часа солнца — о конце ночи, о радости чистых утренних глаз, о приходе труда во имя веселого продолжения жизни.

И везде они танцевали и трубили свою песню красному солнцу.

1935 г.

## ЧУВСТВО ЖИЗНИ

Вся тишина вечера — в прозрачных лужах, налитых на дубовые листья, глубина и покой лесной прохлады. Снег еще в оврагах и в самой чаще, но уже квохчут дрозды и у ручьев истыкана вишнево-черная прель: вальдшнепы с прилета здесь. Лист подсох, в лужицах он вырезной, — чувство этих вырезных дубовых листов так сильно, вода так прозрачна от них, что совершенно невыносимо от радости и нетерпения.

Это я больше всего и люблю в охоте.

Осинник необыкновенно сух и чист, листок на прутике весь в уцелевшей строгости осени — будто смотришь на него в бинокль. И кажется, ломает шаг чуткую прозрачность холодка, так чист воздух с запахами снегового таянья, так незыблема колея, наполненная светом зари и водой, на дороге, заваленной прошлогодним листом, когда малиновке петь, и теши уже, и овраг полон заката и покоя старости.

Тогда в лесу необыкновенны звуки и запахи.

Тяга для охотника — это вовсе не то, что представляет себе человек, бывавший случайным гостем в лесу и не выдавший леса во всей его домашности. Много, много раз бывает охотник в лесу, в любимом своем апрельском чернолесье, слушает, дышит, много заветных мест и потоков скопит в памяти и уже подсчитывает — сколько же раз осталось ему встретить еще прилет... Тяга! Так до конца не узнать ему, откуда берутся весенние запахи, отчего замирал не раз, вдавивши тяжелый сапог в мягкий и прелый лист.

Тяга!

Мы плыли по Волге на плотках с близкими товарищами, в апреле, ближе к Ульяновску. Целая деревня плыла на плотках, две кошевые набиты были народом — не хватило их, народ ютился по шалашам, — одних якорей и лотов была целая тысяча пудов. Выдалась пасмурная, снежная и сырая весна. В мае были на Волге штормы, в мае, в холод и дождь пустые и раздетые смотрели леса, и дубравы Чувашии только-только пробовали соловьев. Такого пустого мая — в холоде и воде — не запомнили старики.

День за днем качала плоты вся черно-седая, ненастная и пустынная река. За Уткой-Майной буря побила реи, нас

*ударило в луги*, — искони так говорят на плотях, — лоцман бросил все железо, всю тысячу пудов якорей и лотов. Ночь напролет бушевала вода, только скрипели цепи и ухали бревна, а к рассвету все полегло. Глянуло тихое и душистое утро. Ожили плоты, ударил колокол, к полудню поголубевшая полегшей ясностью опрокинутого неба, полная тепла и сияния, перестала дышать река. Чудо! То несравненное чудо северных дней, что так будоражит охотника, когда не раз хватаются со стены тяжелые стволы неизменного и верного фланкота...

А уже стояло вокруг в полной тишине, на ослепленной воде совсем прочное тепло. Все нагрелось мгновенно. Глухо постукивая колесными плечами, наплывал, чуть видный широким салонным окном над узкой прорезью корпуса, белый, сквозной весь и воздушный пароход. Через реку перелетали пчелы, и острой свежестью, запахами застоявшихся лесов тянуло от берега.

Предстояло рубить реи, чиниться и стучать топорами не менее двух суток. Три народа плыли на плоту — с Мариинского посаду, что на горах, из Чувашской республики, от Кугу-Кокшана — великой марийской реки. И уже кошевые казармы, настезь, дышали легким и веселым сквозняком, отдавая артельный свой и мужицкий дух. Привольно раскидался там и тут, растянувшись на желто-смольных шпалах с лесных кокшанских пристаней — от Красного Яру, от Старой Мельницы — приустановивший от бессонных ночей, от колокола и свистков народ. И уже плескались с линялыми, розовыми и голубыми кофтами да юбками, кто помоложе — веснушчатые, с прилизанными девичьими волосами, собранными на макушке, — меж бревен, в зеленой быстрожурчащей воде. Сладко, ах сладко зевал и чесался парень, глядя на бледные девичьи икры, на солнце, тепло! Еще чище и тоньше запахло к вечеру, затрепетал на берегах лист, тронулось во всем мире, какие-то майские были признания.

Лоцман дал нам Яшку Полозова, героя и победителя завозень, трех девушек на весла — мы двинулись на тягу.

Волга понесла сразу всей своей живой и быстрой глублиной. Медленно шлепали весла. Длинный, тяжелый завозень недвижно надвигался в предзакатную, словно наплавленную светом и тишиной, бездну воды. Она спускалась нескончаемой шириной, берег стоял все так же недосыгаемо, плоты истончились, чуть желтея и курясь

дымком над флагом и мачтой кошевых. Там впереди, в огромной серо-дымной массе лесного острова, медленно садилось солнце, лучистое и радужное, солнце тяги и заволжских лесов. Потом сразу надвинулись тальники. Желто-зеленый туман их, отражаясь, запрокинулся в живую, журчащую и сейчас же вновь неподвижно-зеркальную воду. Луга открывались сияньем воды во всем зеленеющем великолепии. Утки, крикая, поднялись из кустов и потянули луговым протоком, лесной остров наплыл неожиданными голосами птиц, близкими деревьями, — теплый и шумный запах, такой, что ошеломляет и заставляет не верить ему, ударил в лицо нам со всей майскою свежестью. Что-то неведомое творилось на земле. Вся заросль острова — павший, сгнивающий лист, стволы деревьев, озера и протоки, поившие долинки, луга и гривы столетних дубов, затопленные солнцем и полым теплом, безмолвствовали, покоились в обмороке, а из самого существа этого приготовленного для торжества жизни мира дуло неясным, удивительным запахом, и все наполнилось им, вся прохладно-согретая и не дышавшая река.

И вдруг отчетливо повеяло фиалковым корнем, тем удивительным благоуханием солнца, вылета шмелей и разогретых листьев, приподнятых молодой травой, что возникает лишь ранней весной и что слышал я с полной ясностью лишь несколько раз в жизни. И вот запах повеял с такой силой, что все замерли, а наши девушки подняли весла. Одна из них — некрасивая, прыщавая, с голубыми, словно вылинявшими, глазами — нас поразила. Все молчали, когда она сказала спокойно и уверенно:

— Теплый ангел пролетел!

И, невозмутимо глядя нам в глаза, сняла белый чистый платочек, почесала ногтями меж масляных, уже по-бабьи скудных и гладких волос.

— С рогам твой ангел-ат! — грубо и фамильярно захохотал Яшка Полозов, грудью налегая на огромное кормовое весло и блестя неистово красной рожей своей.

— Нет, теплый ангел! — настойчиво повторила девушка, и было в этом нечто беспрекословное, нечто только ей принадлежащее, утверждение чего-то девичьего, тонкого, что отдано только им, — никто из девушек не улыбнулся и не усумлился в его сказанном. И Яшка залился своим властным и грубым смехом водителя, не знающего отказа перед снисходительной своей и ласковой силой.

Невольно все обратились к берегу. Лес наплывал. Зеленый дым кутал черпые сучья огромных деревьев. Весь воздух наполнился трепетом чего-то необыкновенного. Из теплого леса потянуло еще тоньше, душистее. За день все успело перемениться до неузнаваемости; казалось, сама весна привстала на цыпочки из одепенения разогретой, сгнивающей, еще прохладной под листом тишины деревьев. Ландыши неисчислимым сонмом пробивали берег, блистая ярко-зелеными стрелами.

Мы встали на тягу засветло, вдоль гривы старого дубняка.

Лес наполнился шорохом, трава росла на глазах. Был тот вечер деревьев, солнца и серой подсохшей листвы, когда слышно траву и цветы, когда вальдшнепы тянут со всей силой и неопровержимостью; охотник задолго чувствует их присутствие всем существом — ухом, легкими, ноздрями, — он ощущает всю насыщенность окружающей его потаенной жизни.

Все гривки и холмы были унизаны свежими, закрученными в синевато-зеленые трубки ландышами. Дрозды перелетали с оглушительным треском и кудахтаньем. Медленный тяжелый гуд нависал над землей все явственней и ниже; он шел от воды — там он словно закипал избытком жизни; от травы и цветов — синеватых огоньков медуницы, от бледных перелесок — там возились мириады смычков, невидимых, протяженно дрожавших, уже знойным созреванием ароматов и медовой пыльцы. Трава пробивала прошлогодний лист, сила ее поражала, это было чудеснее броневых снарядов и пуль с медными накопечниками.

Но я не мог догадаться, откуда наносило тот фиалковый запах, что помнился с детских, совсем затемненных уже лет — тогда лес тоже только просыпался и терял свой апрельский и серый дым. Подуло опять таким тонким лесным изяществом! Взрывая шумные сугробы листьев, я перебежал вправо к мелколесью, жадно втягивая неуловимый ароматный воздух. Нет, сухая листва пахла табачным — легкою горечью и чуть-чуть дымком. Я перешел влево, упал лицом прямо в заросли зеленых и тугих ландышевых трубок. Там пахло водянисто-прохладно, дождиком, туманом и листьями. И — зачарованный запах исчез.

Я вернулся и тщательно огляделся вокруг. Медуницы синели там и тут, их было множество вокруг пней, под

орешником, там, я знал, пахло спокойным запахом зноя и земли, от цветов благоухало медом и полднем в лесу. Так еще раз я не доискался до источника лесного моего вдохновения. И в самом деле, никто и никогда не расскажет мне, что так пахнет в апрельском лесу. Оно исчезало так же негаданно, как появилось.

Стало темнеть. Прелесть лесных потемок с замирающим вскриком дроздов, с отдаленной прозрачно-слетающей песней малиновки, с неверным светом зари — воцарилась. Гуд насекомых, гуд от цветов, травы и земли нарастал. Все кипело вокруг, из земли восходили мириады зацветающих жизней. Земля источала зовы, она обращала ко мне свои дуновенья — сонм намеков и ароматных теней. Спине цветы явственно светились вокруг в темноте. В сучьях наверху зажегся розовый Арктурус. Но я не слышал более того *единственного* дыхания лесов.

Тяга началась.

Было в налетавших потемках неожиданно-резкое, щебечущее, что ошибочно и неточно называют свистком, и кожаный хрип троекратно, — *вальдшнеп*, как гром, появляющийся над стрелком, и английский приклад у щеки, небо, мелькнувшее в голых ветвях под невидимой мушкой, два огненных бездымных треска и растрепанный полет длинноносого вкось, мимо сучьев, наповал, вниз...

Один упал прямо в куст, прямо в пучки шершавых медуниц.

Они прекрасны, эти птицы, черно-ржавые, с темным бархатом на спине и с глазом — у повисшего дуплистого носа — вишневого блеска и сочности. В них вся выразительная скупость мира лесов, благородная, как простота английского ружейного мастера, — в дереве этого отличного оружия мне всегда чудились ржаво-бархатные и ночные пятна вальдшнепа наших краев.

Но в охоте на тяге меня поразило другое.

У каждого есть свое единственное — наедине с миром, — в чем он раз и навсегда нашел выражение своему чувству жизни. Чувство жизни! Этот огонек пламени, то ярко светящий, то в колебании меркнувший, то опять возгорающийся, один в мириадах прочих, шестви жизни, оставляющем сзади летаргическую темноту прошлого. Ведь не всегда горит полным светом этот зыбкий огонь, и не всегда еще освещен им человеческий мир как прекрасный и признанный друг! И не для того ль, чтобы светил он ровным, незатуманенным пламенем — не для постоян-

ства ли счастья грохочет в мире, среди мрака и пропастей, благородная и неотступная борьба! Пусть и моя человеческая судьба и отступала, и падала, и мрак, сторожащий вокруг, колебал мой пламень, ничтожный в мириадах других, сражающихся с вечной темнотой. Озаряясь, выходя из падений, болезней, побеждая в себе все ничтожное, подымаясь и чувствуя слитность свою с тысячью тысяч других, все идущих вперед, когда свет мира заливал мою жизнь, — видение солнечного благоухания, — видение апреля на сгнивших прошлых листьях, запах самого существа жизни, — пронизывали, как в лесу...

Мой *теплый ангел*, чувство жизни мое, откуда же вы?

1935 г.

## НА ТРЕХ ПОВОРОТАХ РУЧЬЯ

### 1

Август в лесу. Еще пригревает полудепное солнце. В низинах и по гребням далеких гор пожелтели кустарники.

Но лес еще полон ягод.

Людей здесь нет — год, другой, третий ни один охотник не приходил в долину к ручью. Им незачем сюда идти. Большая река течет много сотен километров южнее. Там, у реки, много зверя, а лес выше и крепче; там можно пробраться к жилью, долгие дни плывя на долбленной лодке между скал и камней. Здесь же лес очень стар и заброшен. Пожалуй, это самое дикое место в этом краю.

Здесь не слышно пения птиц. Стоит тишина, совсем неживая тишина. Еловый лес так глух и завален древесной падалью, что птицы не выют в нем гнезд. А он идет до самого перевала. Нет и медведей. После пожара, пять лет тому назад, они ушли в горы — никто не встречал их больше у долины красных рябин.

Берега ручья не измяты ничьим прикосновением. В пустынном безмолвии падает его мелодичное журчание. Иногда ветки наклонившихся или павших деревьев, противясь течению, производят неумолкаемый и невнятный ропот. Водяных птиц не видно: они не селятся на воде, когда она слишком уединяется в лесную глушь. Непроходимыми за-

рослями нависают над холодком русла кроны ольхи и березы, а вся долина осыпана огненными чашами рябин.

Уже отцвели пышные незабудки, поредела трава, пожелтел сонный аир. Исчезли голубые стрекозы. Солнце совсем усталое и еле пробивает мрак деревьев. Но долина — как яркий флаг среди темных, иззубривших все небо лесов.

Там есть жизнь: рябчики с утра сидят над ручьем и слушают тихий звон воды. Это красиво. А с гор в ночь на пятнадцатое августа сюда спустилась старая рысь.

## 2

Рысь охотилась. В этот год было чрезвычайно много ягод, глухаренные выводки давали ей отличную пищу. Но птицы с каждым днем становились умнее и осторожнее, и не так-то легко было схватить их на земле. Тем более кончалась линька — время, когда старики меняют перо, забираются в крепи валежника, неохотно отрываются от земли.

Рысь с воздуха чуяла запахи и следы. Беспшумно крадась она по земле, в один мах взлетала к неприступным вершинам, сторожась кошкой, ждала и ловила каждый звук. В этот день она дремала, забившись под грудку еловых колод, в темном завале лесной чащи.

Зверь выходил на охоту в сумерки. Едва догорала быстрая таежная заря, едва потухали яркие краски долин — в лесах начиналась тайная жизнь. В августе каждый звук был на счету, тайга куталась в сырой неподвижный туман. Иногда, далеко разнося гул, падало умершее дерево или на горах обрывался камень — еще настороженнее вытягивались сучья и мохнатые стволы, и спрятанные уши, затаясь, ждали. Но ничего нельзя было услышать в мертвом молчании непроходимых и неведомых пространств. В тайге никто не знал ни расстояния, ни времени. Звери и птицы знали лишь солнце, смену дней и ночей, круг осени и зимы, весны и лета. И ночь тайги несла пищу одним и гибель другим.

Рысь знала тайгу на много ночей пути. К осени она всегда спускалась в долины, к речкам и ручьям: сюда приходили козлы и лоси, здесь жили рябчики. Она знала один закон жизни: есть, чтобы жить, и жить, чтобы есть. И рысь охотилась.

После весенних токов самка рябчика положила десять яиц, и в мае десять молодых, круглых, как голуби, шумно взлетели от земли. Никто не учил их этому. Но самка тонко-тонко свистнула, раздался оглушительный шум, и все десять, едва успев сменить первый пух, вдруг сами по себе затрепетали за ней, затрещали крыльями и расселись по елкам, крепко прижавшись к сучкам.

Белое солнце поднялось из-за гор, чернели леса, проплывали пушистые облака. Самый бойкий и смелый взлетел выше всех и открыл широкий, необъятный мир. Повсюду, до гор горизонта, в глубоких хвойных потемках мрачнели лесные дебри. Великий мир открывался для крыльев — легкое небо, край света, пустыня лесов. Но птушок еще теснее прижался к еловой лапке и зажмурил глаза: его древний инстинкт опасался открытого, он навсегда врос мохнатыми ножками в потаенные мраки чащи. И он не летел.

Потом самка тревожно свистнула. Все десять вытянулись, все десять с красными бровками наклонили темные хохолки вниз. Никто не сумел бы отыскать их глазом, в рябинах и крапинах, с плотно прижатыми крыльями — так слились они с зеленью хвои и листвы.

Они смотрели и слушали. Было совершенно тихо, вдали позванивал знакомый ручей. Потом самка шумно перепорхнула к воде, все десять захлопали и затрещали в деревьях — это походило на очень отдаленный скатившийся гром. Так мать приучала детей к возможной опасности. Она внушала взлетать и прятаться и всегда смотреть вниз.

Выводок взматерел так быстро, что ко времени ягод, к самому сладкому и счастливому времени солнца и леса, молодые совсем сравнялись со взрослыми. Их уже осталось девять. Одну съела ласка на заре, вечером, но гибели ее никто не заметил. Самка все реже и реже заботилась о своих детях. Они расходились уже далеко друг от друга, и каждый думал только о себе.

Наступили дни жаркого света. Леса стали сухими. Цветы умирали, начали опустошаться и вянуть травы. Пришло время ягод, когда утром птицы выходят пастись, — время черники и ярких брусничных зарослей. Затем пролетели грозы и ливни. Тайга ходила ходуном, скрипела, шумела океанским прибоем. За эти дни много

старых деревьев упало на землю. В одну ночь ветер бушевал с такой силой, что деревья падали с громом пушечных выстрелов. Рупились ливни — и тогда ручей пенился и бурлил. Ночью еще страшнее ревела и грохотала тайга. Казалось, как волны, катились леса, грозя сокрушить на своем пути горы и скалы. Но рябчики забивались среди корней и сучьев, защищенные от воды и ветра. За время бурь и дождей еще трое погибло от мелких таежных зверьков. Шесть из них встретили август — тихий месяц, когда даже солнце начинает клонить ко сну. И в августе, в одну из ночей, они узнали, что в долину пришла рысь.

#### 4

Весь день после полудня они дремали, слушая звон ручья. Никто не может сказать, что привлекло их в этих мелодичных звуках. Но музыка ручья притягивала все их внимание. Птицы часами слушали водяные рассказы: ручей бился о камни и неумолкаемо звенел о своей лесной жизни — он спешил к южным рекам. А тайга молчала, как всегда.

Рябины стали совсем красными — об этом говорил ручей. В дни красных рябин он звенел совсем прозрачно. Близка осень, пауки полетели на своих паутинах, пора странствовать. Небо манило в бездонный голубой свет.

Птицы любили чистить перья и купаться в сухой пыли. Иногда они вырывали ямки среди скользкой рыжей хвои. Это происходило в жаркие дни. Они были еще вместе, хотя летели уже попарно. Самый бойкий петушок знал все законы лесов не хуже старой самки. Несколько раз он первым предупреждал об опасности. Но он не бывал дальше трех поворотов ручья и опушки ельника, где в июле они паслись среди земляничных садов и где — чуть пробежать между елок — очень много черничных кустов, утром полных холодной росы. За третьим поворотом ручья уходил неведомый мир.

Ночью птицы забились под шатер старой ели. Упавшие стволы деревьев и сгнившие пни, серые листья, хвойные иглы — все быстро исчезло под мраком. Над лесом светили звезды. Наступила последняя ночь крохотной лесной семьи.

Рысь пришла прошлой ночью сытая. На перевале она съела старого глухаря и весь день пролежала в логове. Три поворота ручья увидели ее в сумерки: она вышла на водопой. Зверь шел деревьями, по бурелому, — старый самец, пепельно-голубой, с рыжеватыми отметинами у брюха. Приподнятые страшные уши его были лучшими ушами тайги. Напившись, облизнувши острые как иглы клыки, зверь молнией перебросил туловище через ручей, его пушистая голубая тень мягко провалилась в темноту. Через минуту он повис на ели, махнул лишь вершинами и затаился вверху, слушая.

Шли часы. Звезды переливались и мерцали в небе. На земле копошились мыши. Медленно увядали листья и травы.

Зверь слушал. На ручей вышла выдра — от нее всплеснулась вода. Где-то у гор глухо упало дерево. Сова бесшумно скользнула у леса, ринулась вниз и, взметнув крыльями, остановившись на миг, пропала в кустах. Глаза зверя, не дрогнув, вспыхнули зеленоватым огнем.

К полночи он обошел верховья ручья и съел белку. И тут же учуял с земли горьковатый и теплый запах птичьих следов.

Два часа он бесшумно крался, выжидал, выслеживал в чистейшей тишине, где стук птичьего сердца слышит каждый сучок. Рябчики были здесь перед вечером. Потом зверь учуял живое содрогание их тел; прижав к земле, он потянул воздух с теплотой сладкой, горячей крови. Два раза самке почудилась опасность. Два раза она поднимала голову из сонных перьев и слушала. Зверь лежал уже близко, — птицы не имеют чутья. Нет, все было мирно, лишь ручей переливал свою жизнь без конца. Все спит в мире — тихо, тихо бормотала вода. Потом прынуло страшным полетом мягкое туловище, вспыхнули зеленые угли глаз, затрепетало и билось на земле, и тонкий свист пролетел в лесу вместе с треском и разлетом крыльев. Все дальше и дальше — и стихло.

Утро встало над лесом поздно, умываясь в туманах. Долина дымилась. Утром рябины были краснее самой багровой и холодной зари.

Выводок уже не собрался вместе. Сначала молодые пробовали свистеть, но старой самки никогда больше не видели в долине. И вскоре без матери от молодых осталось только четверо.

Ночи все удлинялись, опасность неизменно приходила с темнотой. Иногда птицы погибали днем. Самый старший и бойкий — у него под горлом отчетливо выступило темное пятно, а брови с каждым днем окрашивались как рябины, — он дважды видел рысь засветло и дважды взлетал, чуя страшный прыжок и трепет раздавленных рядом крыльев. И все реже он слышал ответ на свой осторожный призывный свист. И он больше никого не звал.

5

Здесь такая тишина и покой, что порою становится жутко. Лето ушло, ночи темны, и гудит ветер, приносящий с гор тяжелые и холодные тучи. Утром листья кружатся в сером воздухе. У трех поворотов ручья множество спелых рябиновых ягод. В ясные морозные дни они горят в синем пространстве, где неустанно зовет даль. Но здесь некому спешить и нечего вспоминать. Если бы птицы имели память, они бы давно перелетели в другие места.

Рысь ушла за лосями далеко в тайгу. Сюда она приходит ранней осенью.

Сегодня утром в долине почти не осталось листьев. Совсем пусто и голо, каждая веточка четко выделяется среди других. Солнце поднялось утомленное, и долго стоял белый заморозок. Какая тишина... Лишь изредка в лесу раздается длинный тонкий свист, за ним еще такой же, и маленькое коленце бойко завершает звук. Это звучит: «тю-и-и-ить, тюи-и-и-ить, тью-ть-ить». Это значит: «Скорей беги и леги, я тебя жду!» Никто не отвечает. Затем в чаще осинника вспархивает глухой шум, и на голой рябине, обвешанной тяжелыми красными кистями, круглая птица с темным хохолком на голове вытягивает шею.

Скоро тайгу закроет белым покоем и смертью. Это последний рябчик из семейства, жившего на трех поворотах ручья, — птица, не знающая тоски одиночества. Она не знает тоски по пространствам, у нее нет памяти, ей все равно, что скоро, очень скоро пойдет снег.

1935 г.

## КОГДА ЦВЕТЕТ ВИНОГРАД

### ДВИЖЕНИЕ СЧАСТЬЯ

Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни...

Пушкин

Инкер Софик из политотдела вела нас через эту равнину изобилия. Два Арарата — Малый, похожий на японский вулкан, с трещинами конуса, заполненными белым блеском, и Большой, в самые тучи поднявший свою горбатую снеговую спину, — курились облачными парами. Распростертые прохладные тени облаков стояли на знойных предгорьях, отмечавших страшный разлет низменности, — сто верст скакать до оливковых безлюдных склонов, что держат на себе величие двух снеговых высот.

Инкер Софик говорила о характере этого народа, и доброе лицо ее светилось улыбкой. «Они», подчеркивая, называла она армянских жителей, бывших ей братьями и сестрами по крови, и, улыбнувшись, говорила о человеческих слабостях. Мы говорим *слабостях*, так как у инкер Софик в ее политотдельской комнатухе не было ничего, кроме книг и газет, ее что-то там никогда не заставляли, и жизнь ее показалась нам очень мало организованной для себя. В политотделе гремела какая-то неслыханная индустрия человеческой зажиточности. И о деревенском человеке, о сборке совершенного гражданина Камарлинского района говорили там непрерывно, и там говорили — и о хлопке, и о вине, и о кулаках и агентуре дашнаков, и о дынях *дугма*, и о земляных орехах *аракис*, и о малярии и абортах, и о родильном доме, и о бане, и о директивах Цека. И все это, обсуждаемое так же дотошно и яростно, как обсуждают на каком-нибудь автомобильном заводе новый тип кузова и освоение его, все это там сводилось к одному — к творчеству и труду человека, к нуждам и запросам человека и к слабостям человеческим. Да, *они* хотят никелированные кровати, *они* покупают ковры и часы, и, улыбаясь мягкой улыбкой,

втайне гордясь ими, инкер Софик из политотдела говорила: «Они у нас очень любят *кутить*».

Это слово в Армении не имеет общепринятого русского значения. Здесь оно имеет значение веселое и народное. Сама инкер Софик присутствовала с нами на одном *кутеже*, когда бригада колхозных виноградарей с блеском закончила очередную работу и праздновала это окончание. В школе тесно соединились столы, уставленные тарелками с вареной бараниной, с зеленью, бутылками, наливаемыми здесь же из аппетитного доброго бочоночка... Лаваш был тонок, как бумага, и таял во рту, пили вино цвета хорошей золотой луковицы, ожигая рот имбирным вкусом *тархуна*, и колхозные музыканты ударили в бубен, и кяманча залилась заунывной и очень длинной песней, и тара, и запел самый веселый Арам, ударник с черными, как сочинская слива, усами и всегда танцующими ногами.

— Они всегда так, — улыбаясь, говорила инкер Софик. — Им только бы покутить. Что им, кончат работу — почему не повеселиться? Зимой они все время пьют вино — они такие... — И она не притронулась к своему стаканчику.

А мы пили и учились понимать армянское счастье.

Инкер Софик везла нас в Зораблю, улыбка не сходила с ее лица — было на что посмотреть, а она знала наизусть каждый поворот дорог. Виноградники, разлегшись на своих высоких насыпях, цвели миллионами желто-зеленых ежиков — будущих гроздий, благоухали тонкой мечтательной свежестью. Мы знали: много, много здесь оставили политотдельцы бессонных ночей, заседаний, автомобильных разъездов, чтобы так привольно и душисто цвели кусты и чтобы народ мог, славно потрудившись, читать в зимние дни газетку, пить счастливое вино и *кутить*. Были дела. Инкер Софик рассказала о *классовой борьбе* на виноградниках... Вот эти побеги лоз, на которых торчат нежные цветы, нужно обрезать так, чтобы не обессиливать куста излишней и ненужной листвой. Оставляйте два-три чубука, не больше. Есаян — начальник, понимающий виноградники, — раскрыл целый заговор, нити которого вели далеко за реку Аракс, тонкие белые нити дашнакской катушки... Ничего особенного не случилось. Только на кустах — не одного и не двух виноградников! — лозы оказались с пятью-семью чубуками,

и повсюду развесились дашнакские бесплодные листья. Вот почему так часто останавливается знакомая оливковая машина, вот почему нужно совать нос в каждую мелочь и самому знать физиономии всех видных колхозников района. Вот почему в политотдельском доме еще столько походного духа и сам Есяян смахивает скорее на начподива кавалерийской, чем на виноградаря и хлопковод.

Перед самой Зораблю автомобильные шины стали разбрасывать гладкие речные голыши, мы ворвались в деревню, разваливая по обе стороны каскады воды, руслом реки, меж тутовых деревьев, тополей, глиняных заборов, под визг ребятишек, хлопотные выкрики кур и оглушительный трезвон собак.

Колесо жизни вертелось. Молодые женщины с высокими животами сидели на земле у домов, осыпанные вокруг голыми детьми, как садовые деревья плодами в знойном июле. Курчавые и пузатые купидоны ловили в мутных ручьях тутовые ягоды. Молодые люди в пиджаках и грубошерстных брюках сосали папироски у кооператива, старики важно курили трубки, рассевшись в тени,— коричневые добрые лица их казались намыленными, так густо выбивалась белая щетина их армянских бород. Неудержимое солнце стлало пятнистые тени на глиняные полы двориков, проглядывающих в переулке ослепительными контрастами потемок и нарядно-ярких лучей. Иногда буйволы, чернолысые, с задами угловатыми и костлявыми, как у падали, преграждали дорогу, жуя мокрыми бегемотовыми губами... И гнезда аистов, с большой чернохвостой птицей на одной ноге, красным клювом переворачивающей своих птенцов, осеняли весь этот накаленный, обутый в мягкую и глубокую дорожную пыль и все же вызывающий у инкер Софик сочувственную улыбку, день.

Улыбаясь, повела она нас в хороший, с торжеством приготовленный ею дом.

— Они все хорошо живут,— сказала она и, как всегда в таких случаях, обнажила зубы, говорившие о годах, когда не приходилось за собой следить.— Но вас я поведу в средний типичный дом.

И благополучие, сытость и довольство светили на нас, когда мы шли по кривым узким улочкам Зораблю. Сипая блуза Софик, ее блестящие черные, как антрацит, волосы вели нас в этом лабиринте,— наконец мы вошли

в ярко освещенный солнцем двор, и двухэтажный дом обратился к нам своей высокой традиционной галереей с белой чистой лесенкой, своим наглухо скрытым с улицы винным подвалом, где царствуют огромные карасы — гончарные кувшины, похожие на те погребальные, что стоят ныне среди сухой мертвенности каменных богов, топоров и костяных наконечников в музеях, в приглушенном покое эпох. Один из таких кувшинов стоял на дворе, розовый на солнце, уткнувшись в землю своим конусообразным отточенным дном. Деревья сада — туты, абрикосы, черешни — нагибались из-за глиняного заборака.

Мы поднялись по лесенке. Хозяин дома — молодой, красивый, черноволосый — с застенчивой предупредительностью пригласил нас в дом. Инкер Софик, улыбаясь, говорила ему на родном языке. Очевидно — о цели нашего прихода, о содействии нашим наблюдениям за растущей зажиточной жизнью. Он смущенно и добросовестно кивал головой.

В комнате было прохладно и чисто. У комода висели фотографии, серые, выгоревшие следы ушедшей жизни. В них принужденно застыли обычные виды солдатского и крестьянского быта. Сверкала и пышно — святыней — поднималась кровать с нарядными подушками, укрытая кружевным покрывалом; со стен вязали свои узоры яркие, веселые зриванские ковры — старый признак благосостояния. Три ковра, больших, ярких, как молодые мечты, висели в этой комнате. И огромный граммофон, с гигантской никелированной трубой, измятой, выдавшей виды, с дубовым резным ящиком и ярко-зеленым диском, говорил об отдаленных временах Юлия-Генриха Циммермана, рекламировавшего такие машины на допотопных обложках «Нивы» и «Родины».

Хозяин дома как встал, так и остался стоять возле этой величественной трубы. Зажиточность блестела и отражалась в ее великолепном никеле. Инкер Софик, усталая, бледная, несмотря на темный загар, смотрела на него с улыбкой.

Мы щупали ковры, спрашивали о ценах, подсчитывали богатство хозяина, как деревенские родственники. Богатство! Это более чем смешно в устах Софик, но ей доставляло огромную радость складывать сотни и тысячи, истраченные колхозником за эти роскошные вещи.

Ого! За этот ковер он заплатил тысячу двести рублей, а за этот — вы только подумайте! — восемьсот! Так. А сколько он заплатил за этот ужасный граммофон? Она немедленно обратилась к нему с вопросом. Все были заинтересованы. Он отвечает ей горячо, с жаром, он долго рассказывает... Наконец-то!

— Он говорит, — перевела инкер Софик, — что купил машину в городе, у бывшего владельца. *Они* ведь, как дети, вы знаете. Он говорит, что боялся упустить машину, все время искал случая и заплатил... тысячу восемьсот рублей...

Она задержалась на мгновение, прежде чем произнести эту цифру, ударившую, как гром... «Да», — промычали все, пораженные, с любопытством взглядываясь в хозяина и величественную машину.

Пауза.

— Софик-джан, — обратились мы, — пожалуй, вам и не приобрести *такой* машины и за *такую* цену. М-да.

— Ну, конечно, — счастливо расцвела она. — Ну, конечно... Что вы! Кто из нас, партийцев, имеет такие деньги! Но ведь они уже стали совсем зажиточные...

Она стала рассказывать, переспрашивая хозяина между русских фраз по-армянски:

— Он был раньше очень бедным и не жил в таком доме. Он работал у богатого...

— У кулака? — вопросительно добавили мы, наставляя карандаши.

— Да, у кулака... Он был батраком. И не одна из девушек не хотела идти за него замуж. Ведь вы знаете, как *они* на это смотрят... Он очень долго не мог найти себе невесту. Когда ему дали этот дом, все решили его обязательно женить...

Тут инкер Софик что-то сказала о счастье. Она смотрела ласково на хозяина и обращалась к нему за точными справками. Он отвечал, стоя у своего граммофона.

— Одним словом, — быстро сказала инкер Софик, — он полюбил очень сильно девушку. И она, когда правление колхоза дало ему дом, согласилась... Он говорит, когда привез жену в дом и она увидела, что у него ничего нет, она очень плакала и хотела уходить. Он очень много пережил.

— Понятно, понятно,— поддакнули мы, — перебивая застенчивую паузу.

— Долгое время его жена была очень недовольна,— продолжала Софик,— это был период дополитотдельский, здесь работа шла очень неважно, и *они* еще не умели организовываться... Его жена несколько раз уезжала обратно к родственникам. Он говорит, что очень страдал. Теперь, конечно, другое дело — он стал зажиточным.

Инкер Софик опять быстро сказала что-то о *счастье*. И все спросили:

— Теперь она уже не хочет уходить?

— Не-ет! — улыбаясь, ответила инкер Софик. — Он даже купил эту машину...

И все стали смотреть на громадную коническую трубу, закрепившую долгую нешуточную историю, все сочувствовали и не сводили глаз с хозяина. Мы хвалили кровать, вновь щупали роскошные ковры, — лицо его разгорелось, он что-то сказал нашей идейной руководительнице — Софик Слкуни из Камарлинского политотдела.

— Он говорит,— обратилась она к присутствующим,— что хочет показать, как она играет... Он может завести машину.

И громадная коническая труба, выложенная внутри ярко-красным, повернулась в нашу сторону. Урча, стала наворачиваться пружина механизма. Потом хозяин заслонил диск своей черной сатиновой спиной. Воздух тронуло резкое шипение, как электрические искры, стали соскакивать из мрака красного жерла хрипы и шумы, и вдруг, оглушительно пробарабанив роялю, машина выкинула из своих недр чудовищный, картавый и пронзительный голос. В одно мгновение проклятая труба сорвала деревенский покой, все мысли и ощущения, и публично, нагло канканируя, визжа и уже не притворяясь музыкой, повлекла всех в безумный, издевающийся как-уок продвинутого российского капитализма. И в никеле, пылающем изнутри трактирно-ресторанным гардинным *бордо*, забила душа самого Юлия-Генриха Циммермана, выкидывая чудовищные *антраша*. Чего только не изобретала эта вопившая машина, заколачивая в мозги тысячи раскаленных граммофонных иголок и высверливая ушные раковины ужасными шипами и тресками!

Счастливым, еще более сконфуженным своим величи-

ем, стоял наш хозяин возле шквизиторской трубы. И вдруг дверь отворилась.

...Все, что означает слово *жена*, было написано на ее лице, мы это поняли сразу; в одно мгновение это толстое рябое лицо с бельмом вместо правого глаза, этот округлый живот, эта приготовленная для мужа укоризна по поводу несвоевременной музыки, эта растерянность и что-то очень большое, только что случившееся, что должно было вот-вот обрушиться, — все это сразу опахнуло нас мучительной секундной паузой. Но сейчас же просияла она и выкрикнула слова, непонятные слова, оборвавшие дикие надрывы Юлия-Генриха. Погромыхивая, вращался диск с безмолвной пластинкой, и над поднятой мембраной сияла мертвая труба.

— Она сказала, — торжествующе, неожиданно произнесла инкер Софик в общей растерянности и тишине, — она сказала, что буйволица разрешилась теленком.

Словно какая-то нелепая тягость отхлынула, и ворвались ветер, и свежесть, и свобода, — мы жадно кинулись вниз. Лишь один побледневший хозяин остался с поднятой мембраной в руке. Конечно, он не мог бросить, не остановив и не разрядив, дорогой машины.

Внизу, в тесных потемках коровника, мы, толкая друг друга, не видя ничего после солнца, пытались разглядеть то, что первым счастьем бытия пробовало подняться на зализанные тонкие ножки, покрытое слизью, дымящееся животным материнским паром, еще волочащее только что оборванную пуповину — последнюю нить с довременным, темным миром рождения. Буйволица уже спокойно и царственно жевала свою однотонную жвачку. Остро и мирно пахло навозом, молочным теплом, какими-то тучными ночными лугами земли.

Мы не сводили глаз с этого безрогого и маленького, с этих первых движений, означающих торжественность жизни. Возле него стояла хозяйка. Безобразное лицо ее лоснилось от счастья и нежности, в ней не было и следа неловкости перед гостями, она давно растворилась в радости и женском сочувствии, водивших ее руку по материнской спине буйволицы. Вошел хозяин, еще бледный от волнения. Та же радость прорывалась на его сдержанном лице. И мы вспомнили о сложной истории его счастья... Еще одна прочная скрепа, еще одна нить, еще одна ступень для укрепления того, за что здесь уважают мужчи-

ну... Пожалуй, она теперь окончательно не уйдет к своим родным, ха-ха, как вы полагаете, инкер Софик? Во всяком случае, он ее всегда вернет музыкой.

Но на лице инкер Софик было столько доброты и сочувствия семейной зажиточной радости, что мы вышли на пыпочках, тихо-тихо, оставив наедине счастливую чету. Нужно же, в самом деле, им поговорить, обсудить события, прикинуть свои расчеты на будущее. Пусть они побудут одни, без назойливых глаз. К несчастью, мы забыли записать их имена и фамилии...

Но мы не могли забыть Зораблю и случайной страницы жизни, столь умело исправленной твердым руководством политотдела. Нужно было узнать фамилии. Каждый счастлив по-своему, — разве можно упускать из виду *факт* подлинного, освоенного счастья! Через три недели я упрямил самого начальника политотдела захватить со мной в Зораблю и взглянуть на граммофон и буйволенка. И конечно, я имел в виду и фамилии.

Герегин Есяян выслушал этот рассказ в своем оливковом «газе», на ходу, морщился, старался вспомнить, о ком идет речь, оскалил белые зубы и расхохотался, ударив пальцами правой руки о ладонь левой так, как это могут только в Армении. Он великолепно смеялся, этот человек в военной фуражке, высокий, худой, с глазами профессора, фигурой кавалериста и отличным раскатистым смехом доброго товарища, понимающего толк в жизни.

— Пожалста! — сказал он, и два Арарата, в этот день на редкость ясные, открывшие все свои совсем февральские снега, опять провожали нас, невероятно громоздясь и блестя над кудрявой лазурной и желтой свежестью виноградников. И вновь рыжая пшеница налетала на машину, клонились тополя, и дымный столб пыли надвигался с нами на Зораблю. Разбросав гальку и камни реки, обрызгав ребят, приветствовавших нас криком «ура», и неистово пыля, въехали мы в знакомые улочки *персидских влиятельных*, как говорил нам академик А. И. Тамалян.

Начальника мгновенно окружила толпа. Но нам нужно было его... обладателя блестящего граммофона, — фамилию его мы отыскивали.

— Каков он из себя? — спрашивал меня Есяян, собирая все приметы, но я положительно ничего не мог вспомнить: блестящий рупор заслонил *его* черты, а кроме того, столько лиц промелькнуло за эти три недели!

К нам подошел молодой небритый человек, облокотился на кузов машины. Я напомнил Есаяну главную примету — надо спрашивать о толстой жене, — не много, очевидно, таких кривых и безобразных жен. И начальник именно с этими справками обратился к подошедшему. Он заговорил по-армянски, тот ответил, начальник повторил, и, вдвур расхохотавшись, возбужденнейше хлопнул меня по плечу начальник политотдела Есаян...

— Вот он и есть! — крикнул он мне. — И у него граммофон... Да, да, — слушал он одновременно заговорившего старого приятеля нашего и обратился снова ко мне: — Вам нужна была его фамилия? Пожалста. Его зовут Балабек Дамелеан. Да, Балабек *Дамелеан*. А его жену — *Ангин*.

И он начал смеяться:

— Ее зовут *Ангин*, запишите, это очень красиво! Но я проберу его сейчас, зачем он тратит такие бешеные деньги и покупает граммофон у частного лица. Тысяча восемьсот рублей! Да ведь это же безумие!

И на армянском языке он обрушился на человеческую расточительность, вскрывая ее социальную подоплеку. Веселые огоньки не потухали в его лукавых глазах. Он громил мелкобуржуазные штучки. Это была прекрасная речь, но я не мог понять ни единого слова. Он кончил и, сняв фуражку, стал вытирать лоб. И тут ему стал отвечать молодой безумец, скупающий драгоценные вещи. Он говорил горячо, так, как говорят в Азии, в темных глазах его, в пыльных скулах непримиримо прятались старые батрацкие дни, тяжелое солнце, знойные виноградники, — и я увидел, как потемнели глаза Есаяна и весь он посуровел, посерьезнел и уже не перебивал парня своими добродушно-насмешливыми замечаниями. И горячо вдруг заговорили кругом — весь народ — и в пользу молодого.

Начальник политотдела слушал, глаза его становились все шире и шире. Наконец лицо его стало светлеть, он совсем удивился, и я видел вокруг, как сразу ласково заулыбался народ. Расхохотался снова Есаян. Он шутливо ударил молодого по плечу, заговорил громко и весело и вдруг замолчал, пораженный... Напротив автомобиля, еще более рябая, кривая и толстая, стояла *Ангин*, та гордая, неприступная *Ангин*, о которой столько мы слышали в Зораблю. Но она ли? Та как будто была привлекательней... Начальник политотдела поразился окончательно, подмиг-

нул мне и спросил молодого. Тот счастливо и гордо закивал головой.

— Ангин! — обращиваясь, сказал мне Есаян, тонко и грустно улыбаясь.

Он махнул рукой, пожал руку молодому, еще раз с особым выражением похлопал его по плечу, и мы тронулись.

Автомобиль затрепетал. Мы покидали Зораблю: с туга падали ягоды, громадное количество детей купалось в ручьях, величественные молодые матроны, как будды, восседали под деревьями, храня свои неизменные высокие животы. Сиреневые ослики, шевеля ушами, легко ступали по дорогам, трудолюбиво вынося непомерно огромных верзил, опустивших ноги до самой земли. Аисты уже летели с лугов в свои гнезда. И высоко в голубых пустынях стояли снега Араратов, и дымно-белые вихри иногда выходили из-за них, чтобы паром каких-то мертвых бездн сказать о таинствах мира.

Начальник политотдела после некоторого молчания обратился ко мне, придерживаясь за кузов.

— Вы знаете, — сказал он, — почему так дорого заплатил за граммофон этот Балабек? — И он стал опять совсем серьезным. — Этот граммофон принадлежал раньше его хозяину, у которого он всю молодость работал батраком. Он купил машину у него уже в городе. Он долго за ней охотился. Машина стала идеей жизни. Понимаете, какие сложные и гордые у него переживания? Когда я узнал, я растрогался и не мог читать ему нравоучений. Правда ведь, у человека бывают иногда сложные причуды! Вот когда мы сумеем удовлетворить всех...

И он вдруг начал неудержимо хохотать, покачивая головой, что-то вспоминая.

— Ангин! — крикнул он мне сквозь раскатистый свой и детский смех. — Вы знаете, что означает по-русски Ангин! Ха-ха-ха! — Это означает *бесценная! Бесценная!*

И он закачался на сидении, ловко, в полном восторге, ударил наотмашь пальцами правой руки о ладонь левой и высоко поднял их, как умеют только в Армении.

## СТАРАЯ ДЖАВАИР ИЗ ДАВАЛУ

Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются.

*Пушкин*

Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы.

*Пушкин*

В самый столбняк жары, оставив за собой заросли камарлинских виноградников и садов, отодвинув в сторону оба Арарата, дымчатые, как привидения, мы прибыли в Давалу по старинному Нахичеванскому шоссе. Вединские горы вплотную пододвинулись своими сухими и пустынными склонами. Индоевропейский телеграф шаггал дальше. Уже справа возникали невысокие лысые розовые и серые горные холмы, похожие на курганы. Из Персии, далеко впереди, на дорогу надвигались хребты. Сухой, раскаленный, розовый и голубой, манил к себе этот край, разлетевшийся страшной и плоской далью Аракской низменности. Белое душное шоссе прилегало к самому селу.

И оказалось — мы остановились у самого дома знаменитой «змеиной старухи» Джаваир. Несколько крестьян гостеприимно подошли к нам. Один из них, с кровавыми ямами вместо глаз, оказался ее сыном.

— Здесь, здесь! — закричали они нам, не дожидаясь вопросов. — Она только что пришла.

Невысокая, закутанная по старым обычаям в платок, надвинутый на самые губы, женщина с огромным утиным носом и мутными, слезящимися глазами вышла навстречу. Посредине голого обширного двора стояла традиционная спальная вышка, с одной стороны, меж столбов, защищенная циновками. Нас усадили под ней на жалкий топчан с грязным одеялом. Это был тот самый «стационар», как назвал его в своем докладе армянскому наркомздраву доктор В. С. Садоян, где эта темнотица, плотная, с достоинством себя держащая женщина спасает от неминуемой гибели сотни людей, укушенных змеями.

Джаваир охотно отвечала переводчице. Правда, сведения, которые удалось от нее получить, были скудны и рассеяны. На наши вопросы, как, когда и под влиянием каких обстоятельств начала она заниматься лечением укушенных и что заставило ее в первый раз преодолеть чувства страха и отвращения, свойственные людям всего земного шара при виде змеи, она отвечала туманно и неохотно.

— Ты рада, что изучила русский язык, — ответила она переводчице. — Я рада, что изучила змей.

Это был умный ответ с намеком на возможные наши подозрения в знахарстве и шарлатанстве. Ее не возьмешь на всякую удочку! Она отвергает все, что приписывают ей чудесного и колдовского. И вот завязался разговор. То, что мы узнали, было односложно и очень кратко. Ей шестьдесят пять лет, и она, Джаваир Саркисян, родилась в Персии, в селении Келала. Знакомиться со змеями она начала с двенадцати лет. Впервые поймав змею, она стала держать ее у себя и постепенно настолько «привыкла к ней», что легко стала переносить укусы. По ее словам, «она плевала на свою рану и этим вылечивалась». Это очень помогало. То же самое она стала практиковать по отношению к укушенным животным. Обнаружив и проверив лечебные свойства своей слюны, Джаваир стала заниматься широкой лечебной практикой. В двадцать втором году, после саранчи, опустошившей персидские поля, она с мужем и детьми перешла границу и поселилась в Советской Армении. Здесь, в Давалу, она спасает каждый месяц десять-пятнадцать человек. В Армении живут шестьдесят три породы змей. Из них двадцать три — очень ядовиты. В горах водится даже крылатая змея... ее очень трудно встретить.

Все ядовитые змеи ее кусали. К ней приезжают из Нахичевани, Ленинакана, Ордубата, Джульфы. Как относятся к ней доктора? Теперь очень хорошо, но в больницу ее не берут. Когда приехал наркомздрав, с нее сняли все налоги. Да, они единоличники.

Она отвечала, надергивая на рот свой темный платок. Седенький, смиренный и вежливый старик, ее муж, принес нам затрепанный номер «Огонька» с очерком Мариэтты Шагинян. В тексте с фотографии глядела сама Джаваир со змеями в руках. Каким-то чудом, через начальника станции, очерк этот залетел сюда. Мы его

прочитали. Шагинян была здесь несколько лет назад. Многие, конечно, уже изменило время. Сейчас деятельность Джаваир проверена рядом научных опытов. Теперь бесспорно, что в слюне Джаваир заключено мощное противоядие, — благоприобретенный *иммунигет* выработан самим организмом после многократных укусов одних и тех же видов змей. По отношению к укусам этих основных видов змей Армении, среди которых — опистоглифа (отвратная по одному названию!), страшная смертная гюрза, ехидна и рогатая гадюка, слюна Джаваир заменяет поливалентную сыворотку. Для приготовления ее обычным порядком животных *иммунизируют* разными сортами яда. Сыворотку эту впрыскивают под кожу живота, возможно скорей после укуса. Но и употребление специальных моновалентных и поливалентных сывороток, над которыми работают мировые авторитеты Кальметт, Кауфман, Физалиц, не дало абсолютного успеха. По тому же Кальметту, применение этих сывороток в Бразилии понизило смертность змеиных жертв лишь на тридцать процентов. Замечательным и, может быть, единственным в мире примером является то, что при лечении у Джаваир не было *ни одного* смертельного исхода, кроме случая, когда ее не было дома при доставке укушенного и она подоспела только через сутки. Но все это мы узнали позже, познакомившись со специальными материалами. Сидя рядом с Джаваир, мы заинтересовались другим. Когда и как кусают Джаваир змеи, иммунизируя ее своим ядом? Неужели потому, как пишет Шагинян, закрывает Джаваир свой рот, что нижняя губа ее отвисает постоянной опухолью, покрытая ранками от змеиных зубов? Но мы ведь знаем, что все старые армянки, испытавшие персидские и турецкие влияния, закрывают рот от мужчин, точно так же, как в эриванских проулках закрывают лицо тюрчанки, кутаясь в свое магометанское покрывало? Все же мы спросили Джаваир.

Она ответила очень резко и рассердилась. Губы ее такие же, как у всех людей, и она не любит выдумок праздной болтовни. Мы задали ей еще несколько вопросов. С удивлением заметили мы, что вокруг нас переговаривалась уже целая толпа. Уже наперебой, заглушая голос самой хозяйки, нам говорили по-русски:

— Если змея уйдет из ее рук — она все равно погибнет.

— Если она рассердится на змею и плюнет — змея сохнет.

Старуха сидела — величественная, серьезная, принимающая экзальтированный восторг как должное. Вот как создаются жрецы! Живой трепет чуда был написан на лицах окружающих, — горный мир, дикий, фантастически расписанный нежными красками, таинственно громоздился вокруг, древний ужас перед хвостатым и ползучим гадом жил здесь еще живой былью, — и вот она, Джаваир, властительница странных, чудодейственных сил! С любопытством наблюдали мы за этой смелой народной натуралисткой, неграмотной старухой, в своем собственном теле первобытным опытом создавшей ту поливалентную противоземную сыворотку, над которой далеко не с полным успехом работает ряд мировых ученых. Никто не позаботился здесь объяснить окружающим истинный смысл чудесной силы Джаваир, популяризировать научные опыты, подтвердившие необыкновенную силу ее слюны. По всей Армении шли легенды о тайне змеиной женщины — Джаваир. Поэтические легенды плела ненасытная народная фантазия. О чудовищной змее, самой большой в мире, живущей на Большом Арарате... Нас уверяли далеко не глупые люди: в какой-то тайный почной час все змеи Армении проходят через Давалу к Арарату на свой праздник. Нас уверяли серьезно, — известно это всем и давно! — Джаваир Саркисян обращалась к Советскому правительству, в Москву, с просьбой дать заграничный паспорт, «визу» ей, дабы она могла перейти границу и привезти на территорию Советской Армении великую змею — королеву всех змей мира. Много говорилось о Джаваир — змеиной женщине. И здесь, в Давалу, молодые и старые колхозники, и седенький ее благоговейный, смиренный муж наперебой хвалили нам необыкновенные колдовские чары ее, сидевшей степенно и привычно слушавшей (она не понимала по-русски!).

— Я к змее не иду, — повторял кроткий муж. — Как только увижу, бегу: очень я боюсь.

— Хочишь? — восхищенно манил нас бравый инкер, черноусый, с кипучими смоляными глазами. — Хочишь? Она плюнет в твою шапку... Вай! Всю ждзнь ни один змей не укусят!

— Она ходит за змеей один, — на ухо, задушевно-положительно наставлял нас некий светского вида ста-

ричок.— Скажет — змея остановится. Когда змей появится в доме или на винограднике, все за ней бегут... Приходит, ничего не боится. Змей держит у себя месяц, два — и отдает доктору в бутылке. Доктор много змей просит, а сам боится! Он, когда укусит, сам не может лечить — всех сюда везут, со всей Армении. Она только плюет, два-три раза плюет, — человек, какой угодно змея укусит! — будет жить.

— Я к змее никогда не иду, — опять слышен был муж, скромно поглаживающий свои белые армянские усы. — Я боюсь. Я как увижу, скорей бегу и смиренно сажу.

Властно и строго смотрела на него Джаваир. Она сидела сурово и прямо, отирая мокрые, воспаленные глаза крепкими сухими руками. Совсем уже резко, голосом, каким врачи выгоняют зевак, когда наступает час их непререкаемой власти, оборвала она переводчицу, спровисшую от нашего имени об араратской змее...

— Она говорит, — перевела покрасневшая переводчица, — что все это ерунда... Вы, говорит, интересуетесь Арменией, ездите — так же и я интересуюсь змеями. Все, что болтают, — сказки.

Старуха удовлетворенно кивала головой. Мы спросили, есть ли у ней змеи. Сейчас мало — только две, всех она отдала доктору. Она с удовольствием их принесет, если мы желаем...

И какое-то странное напряжение овладело нами и всеми окружающими, когда вдруг появилась она из доменной пристройки с небольшим серым ящичком в руках.

Доктор Ваган Самсонович Садоян шесть лет как приехал в Давалу и работает здесь на Тропической станции. Приехав сюда, молодой доктор сразу же услышал о Джаваир и спервоначалу хотел самым решительным образом бороться с влиянием этой знаменитой «знахарки». Внимательнейшим образом он стал присматриваться к тому, что делается в глубине ее традиционного крестьянского дворика, более бедного и грязного, чем у других. Но скоро причины обаяния неграмотной старухи, с трахомой третьей степени, предстали перед ним в полной действительности жизни.

В двадцать восьмом году, с момента, когда начало припекать солнце, до мягкого и прозрачного его увяда-

ния, пятьдесят двух человек укусили ядовитые змеи. Всех до одного, независимо от места несчастья, привезли сюда, к старой Джаваир. Внимательный доктор отметил двадцать девятый год сорока пятью пострадавшими, тридцатый — сорока, тридцать первый — тридцатью четырьмя, в тридцать втором году эта цифра упала до тридцати трех, и в тридцать третьем — до двадцати пяти. В доме Джаваир в летние знойные дни доктор встречал по пяти тяжелобольных.

Картина болезни потрясала. Место укуса быстро превращалось в рану с *геморагическим* отеком, быстро захватывающим всю конечность, а иногда переходящим и на туловище. Больные стонали от невыносимой боли и жжения, их содрогала рвота, они впадали то в сонливость, то в состояние полнейшей слабости и безразличия. Все без исключения они были парализованы чувством ужаса и отчаяния.

Доктор был молод, горяч, наука для него была символом веры. Но он был бессилен перед ядом смертоносной гюрзы и рогатой гадюки. Между тем старая Джаваир спокойно и деловито справлялась с подчиненными ей ужасными опухолями. Лечение во всех случаях было одинаковым: привычно оглядывала она место укуса, плевала два-три раза и, покрыв зеленым листом, перевязывала рану. Несколько раз в день в течение двух, трех, пяти суток, — в зависимости от серьезности укуса, — она повторяла свое лечение. Иногда, при чудовищных отеках, она прибегала к массажу — сверху вниз, по направлению к ране, и только один раз доктор В. С. Садоян был свидетелем смертельного исхода. Это случилось в августе тридцать первого года.

Змея укусила колхозника селевия Смо. Лишь через четыре часа его привезли в Давалу, — Джаваир отсутствовала... За лечение взялась одна из ее дочерей, — доктор знал, что слюна их обладает теми же свойствами, как слюна матери, но в меньшей степени. Нога укушенного стала быстро опухать, и в течение суток смертельная опухоль залила всю конечность. На второй день, несмотря на то, что подоспевшая Джаваир сама кинулась к ране, больному не стало лучше. Нога, раздутая багровым пузырем, жгла его невыносимой болью. Все его тело билось от рвотных судорог — он уже не мог ни говорить, ни глотать, дыхание стало прерываться... Только на пятый день отек стал медленно опадать. Но зато

усилились все остальные муки. На шестые сутки несчастного парня привезли в белый просторный дом Тропической станции, где он жил только одну минуту. Доктор Садоян сам установил смерть «при явлениях упадка сердечной деятельности».

В год этой смерти, в тридцать первый год, доктор уже с колоссальным уважением и вниманием следил за деятельностью Джаваир. Тропическая станция не имела морального права задерживать пострадавших от змей — она не обладала такими верными средствами, как Джаваир. Весь мировой врачебный опыт — ни сыворотки по Кальметту, ни ввод однопроцентного раствора марганцева калия, ни мучительная операция выжигания и даже ампутация не могла заменить ее слюны. Перед врачом была исключительная народная натуралитка, живая лаборатория лучшей в мире поливалентной сыворотки, неграмотная спасительница людей.

Общение с Джаваир дало понять доктору, что он имеет дело с очень умной и осведомленной в своем деле женщиной. Джаваир превосходно знала классификацию змей. Наблюдая, доктор заметил, что она вовсе не обладает абсолютным противоядием и идет на известный риск, когда дело касается *гюрзы*. В последующие годы он следил за ней, когда ее укусила эта змея. Образовалась большая опухоль, сама Джаваир «три раза умирала и три раза воскресала», по собственному ее признанию. Лечила ее родная дочь. Через три дня она была совершенно здорова. И когда на двор Давалинской тропической станции заползла эта же *гюрза*, в общем переполохе доктор отлично запомнил: Джаваир, вызванная для поимки страшной гостьи, как всегда бесстрашно и спокойно, но с известными предосторожностями схватила змею у самой ее ужасной и плоской головы с разинутой пастью...

Двадцать пестого июня тридцать первого года доктор В. С. Садоян совместно с Л. С. Истамоняном, осуществляя приказ наркомздрава и Тропического института, произвели опыт над действием слюны Джаваир, применив *гюрзу*, пойманную во дворе станции. Документальные данные, дошедшие до нас, и устные рассказы восстановили примерно следующее.

Для опыта наркомздрав Армении прислал трех кроликов. Надо сказать, что Джаваир долго отказывалась иметь с ними дело и предлагала испробовать ее лечение

на любом сотруднике станции. Врачам стоило большого труда ее уговорить. В присутствии специальной комиссии у кроликов была измерена температура, сосчитаны кровяные тельца и выбрито брюшко. Выгоревшая фотография еще хранит самый момент опыта: кролик № 1 лежит на коленях у сотрудницы станции, на переднем плане Джаваир в своем обычном платке, надвинутом на губы, в руках у нее пятнистая, пружинно-изогнутая змея; доктор Садоян в белом халате, как замороженный смотрит прямо на белое кроличье брюшко, куда должны вонзиться зубы змеи.

В протоколе опыта написано:

«...Дали возможность *гюрзе* укусить сначала кролика № 1, а через пять минут — кролика № 2. Кролик № 3 остался контрольным. Через десять минут после укуса у обоих кроликов началась сильная дрожь, подергивание конечностей и сильный понос. На месте укуса стала расти равномерная опухоль величиною с медный пятак, красная с синеватым оттенком. Через двадцать минут после укуса змеи Джаваир предложили «лечить». Она ослюнила рану кролика № 1 три раза подряд. Кролик № 2 остался без лечения».

Нужно добавить, что первый укус змеи наиболее ядовит, так как в рану попадает наибольшее количество яда. Таким образом, кролик № 1 объективно был в более опасном положении, чем кролик № 2. Протокол устанавливает: «...через час после ослюнения раны кролик № 1 начал пить воду, а через два с половиною часа у него постепенно прекратились судороги, хотя дрожь продолжалась. У кролика № 2 эти явления усиливались, до воды он не дотрагивался и через пять часов погиб в мучительных судорогах. Кролик № 1 остался жить и погиб через несколько месяцев на станции, разорванный собакой».

Двадцатого октября, как сообщает бледный шрифтом захолустного ундервуда, станция повторила опыт с новыми кроликами и новой *гюрзой*.

«Кролик № 1, укушенный *гюрзой* два раза и ослюненный Джаваир, остался жив. Кролик № 2, оставленный без лечения, погиб через три часа сорок минут после укуса с такими же судорогами, как и кролик № 2 во время первого опыта».

Так были установлены добросовестность и целебная сила старой Джаваир из персидского селения Келала.

Доктор В. С. Садоян написал соответствующую докладную записку, в которой установил то, что сказано нами в начале текста о свойствах слюны Джаваир как естественной противоземной сыворотки, действительной по отношению к двум ядовитым видам змей Армении — колубриде и виперине. «На основании наблюдений и эмпирических опытов...» — писал доктор и воскликнул: «Но как же образовалась у Джаваир противоядие?»

Да, в детстве, очевидно, ее часто кусали змеи, вначале, вероятно, неядовитые и полужядовитые. Она сама рассказывает, что спухоль от этих змей проходила у нее через два-три дня. Постепенно она так привыкла к ним, что легко стала переносить укусы змей ядовитых. И теперь, когда ее кусает *гюрза*, у нее бывает, за исключением редких случаев, «лишь слабая воспалительная реакция». И доктор Садоян поставил скобки в этом месте своей докладной записки: «(укус гюрзы для другого субъекта в большинстве случаев смертелен)».

Но что же, в самом деле, заставило эту старую женщину тогда, много десятков лет назад, девочкой, привязаться к своему чудовищному и опасному ремеслу? Как перешагнула она черту дрожи и отвращения, что вселены во всех нас — еще не от тех ли смутных, блиставших тропическими зарослями, обилием воды и солнечной теплотой времен, когда повсеместные ползучие гады зачаровывали первых обладателей каменного топора и копья своими маленькими раскосыми глазами и царствовали, содрогая ужасом? Неужели корыстные цели? Только? Но ведь сама она с негодованием разрушает попытки навязать ей чудесный ореол колдуньи, казалось бы, столь выгодный! Да и мало нажила эта семья, спасшая сотни человеческих жизней. Что же, что же?

Странная сила любопытства, страха, отвращения приковала все глаза к ящику, который она поставила на землю.

Ослепительно горел день, и сверкала вокруг знойная, сухая и пестрая, как выгоревший ковер, каменистая Азия. Ящик на земле, как в гипнотическом фокусе, открывал мерцавшие в памяти ощущения, но не заунывное пение флейты поразило слух, и не зачарованная голова кобры с черными ушами поднималась на пружинящем тулови-

ще... В раскаленном до миража, наполненном привидениями нежных цветных гор, звучащем автомобильными взлаями, реальном дне все было просто и обыденно. Старая Джаваир с глазами, пораженными трахомой, притихшая толпа, белое шоссе за домом... и вдруг в ее руках — то самое, от чего неожиданно спархнулись все в сторону и что показалось из ящичка, навитое скользкими толстыми кольцами до ее локтей, с плоскими головками, в почти неуловимом для слуха щебетании, непрерывно выметывающими черные раздвоения жал.

Она подошла совсем близко. Серые плоские головы змей плавали в воздухе, жгуты их скользких хвостов качались, разматываясь по спирали,— те самые серые пятнистые жгуты, на тропах которых, как у токов высокого напряжения, следовало бы вывешивать черепа с перекрещенными берцовыми костями. Бедный и кроткий муж Джаваир жалобно отбежал в сторону. Она с любовью гладила отвратительные пятнистые жгуты, развивала их и наконец осторожно опустила на землю. И тотчас заструились по земле те невыносимые, бросающие в холодный пот, блестящие металлические извивы, что вызывают неизменный жалобный человеческий крик: «Змея!»

Но Джаваир крикнула своим гадам что-то другое. И мы видели своими собственными глазами, как две серые гадюки остановились и, взятые ею на руки, спокойно вползли ей за пазуху. С расширенными глазами смотрели на все то соседи и односельчане Джаваир — колхозники селения Давалу.

Когда мы собрались уезжать, сама Джаваир проводила нас за ворота. Содрогаясь, жали мы ей руку, только что ласкавшую то самое, от чьего ледяного прикосновения возникают самые большие страхи на земле. Мы оглянулись еще раз. На середине двора, облитая палящим солнцем, поднималась вышка, а под ней — пустой топчан, ожидающий очередных жертв. Их будет немало: кругом громоздились пустые раскаленные горы—Персия, Турция, Армения, — замкнувшие низменную долину реки, самое древнее и любимое обиталище всех ядовитых — камни, безлесные библейские холмы, опаленная зноем пахучая трава...

Через неделю, по пути в Зангезур, на большой скорости миновали мы полдневное, безлюдное Давалу. Дом Джаваир нанесло и мгновенно оторвало на ленте бьющего ветром шоссе. Но все же на одну секунду мы увидели вышку и что-то темное под ней, с огромной, забинтован-

ной белым конечностью, простертое на нищей постели. Как, наверное, страшно лежать ему, очередному, там, и как преданно, наверное, смотрят его глаза на старую Джаваир!

Пять суток спустя, на обратном пути, мы задержались у этого двора. Джаваир встретила нас как старых знакомых и повела к своему пациенту, едва оправившемуся после нахичеванской *горзы*. Это был отличный парень, уже с веселыми глазами, только что вышедший прямо из смерти — обросший бородой, страдальчески-желтый и худой. Отец его, бессменно просидевший у сыновней головы шесть дней, смотрел на нас светлыми от счастья глазами. Жизнь исходила от старухи на этих людей; с преданным доверием, парень даже не пошевелился, когда она стала разматывать грязный, забрызганный гноем бинт...

Джаваир не умолкая говорила переводчице, что больница не дает ей даже перевязочных средств, что доктор напрасно залил коллодием рану, что ей привезли больного с ужасной опухолью, когда убедились, что сами бессильны, успев уже навредить...

Действительно, рана и немытая, чугунная нога были ужасны. Омертвевшая и сморщенная кожа отека походила на капустный лист. Но парень, улыбаясь, счастливый, вернувшийся уже ко всем интересам земли, спокойно смотрел на нас. И мы видели, как плюнула Джаваир на рану — раз, другой, и старый отец держал перед ней наготове лист лопуха, смеялся от радости, и она плюнула еще раз на страшную ногу слюной жизни...

## ХРАНИТЕЛИ ВОДОПАДА ШАКИ

Я увидел в стороне груди камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле, я приехал в армянскую деревню.

*П у ш к и н*

Простота гениальных созданий техники напоминает естественную жизненность великих художественных произведений. И в том и в другом случае совершенный идейный отбор и безошибочность формы приобретают такой характер «живой жизни», что создание человека перестает быть чем-то вне обыкновенной природы, являясь как бы лучшим ее выражением.

Но мы не знаем произведений более простых, непреложных и близких к первородным силам мира, чем гидроэлектростанции. Есть в Армении, в диком, горном, недоступном Зангезуре, водопад чистой родниковой воды, и там строится, как и повсюду, такая станция.

...У водопада висит ровный падающий шум. Огромная завеса измельченной в дымный порошок воды курится с двадцатипятиметровой террасы, и сквозь свежую раду́гу водяной пыли тропической сочностью блестит прижавшийся здесь зеленый, круглый год не угасающий оазис цветов и травы. Одурающе-яркие мхи покрывают камни и скалы. Погон, падая и разбиваясь в пыль, сливается в тесную каменную щель, яростно бьется в ущелье, устремляясь к руслу мутной реки. Внизу, в ста саженях, прикрытый отвесами голых оливковых гор, в тесной стремнине шипит Базарчай.

Водопад Шаки возникает в деревне, в двух километрах от сброса, из восьми ключей, бьющих из базальтовых скал. За тридцать сажен до сброса, сквозь четыреста метров горы, навывлет — взорван, просверлен, выдолблен динамитом и сталью тоннель, чтобы вывести воду в сторону, прямо на высоту над стремниною Базарчая. И падая с шестидесяти метров, взятая в стальные трубы, скоро будет вращать седая вода три турбины, дав тысячу восемьсот лошадиных сил.

...Мы оставили машину внизу, у построек, — там не было видно ни едипого человека, — и поднялись к водопаду. Через пятнадцать минут двое людей, — гиганты, как нам показалось, один в красной тубетейке и толстовке, — догнали нас на тропинке у самого рева и смятения воды. Очевидно, гиганты очень обрадовались людям. Поспешно бросились они к нам, и сквозь вековой водяной шум услышали мы первые шутки знаменитого создателя гидроэлектростанций Ивана Вартановича Тер-Вартаняна, и руки наши жал мощный добряк, производитель работ Шакигэса, Мушег Григорян из горного гнезда — Гориса. Доброта и радушие этих людей нас поразили. И в десять минут мы уже знали: Тер-Вартанян прибыл сюда из Тифлиса на несколько дней, строительство станции стоит из-за десяти вагонов цемента, на стройке полное безлюдье, и один Мушег Григорян с мастерами-каменщиками царствует здесь вместе с буйволицей, горными форелями и кристальной тишиной гор.

Тер приехал спасать свое детище — станцию самой дешевой энергии в Закавказье. Десять вагонов цемента! Уже полетели телеграммы, двинулся районный пред, Иван Вартапович давил на все кнопки, призывал шефов — Тер-Габриеляна, Ерзинкьяна, верховных правителей, первых друзей станции. Но десять вагонов уже полгода как заморозили всю жизнь Шакигаса.

Есть особое обаяние в небольших строительствах. Здесь глаз легче охватывает весь замысел. Здесь не теряешься перед громадой территории, многоголосицей тысячных толп, перед буйным нагромождением машин, подъемных кранов, экскаваторов, наполняющих громами и свистками кипящий котел строительства.

Тер-Вартанян, ласково пожимая наши локти, наклонив седую голову в тубетейке, водил нас по станции, уже поднявшей свои стены из серого горного камня, уже ожидающей в своих каменных гнездах турбины, уже принявшей в свой канал, — куда устремится, дав жизнь вращения механизмам, вода водопада Шаки, — первых форелей из Базарчая. Мы видели этих молодых рыб, — их заперли в бетонном бассейне, — первых питомцев станции.

Вечерело, как в храме: последний свет падал сбоку в уютную темноту между скал.

Над нами, над стенами здания без крыши, под косым и розовым солнцем нависала каменная гора с готовыми ложками для металлических труб, по которым хлынет естественной силой вода — создавать тоже первородную энергию электричества. Там, на высоте полета ласточек, зиял выход тоннеля. Мы спросили о водопаде. Как же водопад, драгоценная красота Армении? Что будет с ним, когда станция похитит его хрустальные источники? И Тер-Вартанян, седой властитель горных рек, достраивающий двенадцатую свою станцию, зажегший тысячи огней в Грузии, Армении, Азербайджане, рассказывал нам о планировании такой тонкой вещи, как дикая красота гор...

Обо всем заботятся седые инженеры. Прежде всего станция не будет забирать всей воды, и водопад, разбивающий два кубометра в секунду, совсем не иссякнет; достаточно будет взяться за рукоять, чтобы вернуть ему на желаемое время всю мощь, все шумное величие, с радугой, стоящей в живой водяной завесе, и потоком, омывающим моховые скалы. Другими словами, он будет прекрасен, когда это нужно будет людям. Тер думает, что о туристах позаботится будущий начальник станции. Они имели это

в виду. Эта станция не нарушает стройности окружающей красоты. Она очень изящна простотой конструкторского замысла. А здесь вот, на площадке, будет построен дом, разбиты цветники, сад, здесь будут фонтаны. Жизнь здесь вся будет построена на электричестве, вплоть до отопительных печей. Здесь не будут знать ни пыли, ни дыма, ни шума. Он уже подыскивает сюда такого красивого человека — всестороннего человека, чтобы он мог завершить всю композицию.

— Сюда пужно патриота: он должен создать прекрасный уголок, не уступающий лучшему водопаду, какой имеет страна...

Мы стояли у неумолкаемой воды Базарчая, слушая инженера. Ущелье дикой скотоводческой страны уходило в ночную тень. Две скалы, как два стража, караулили въезд на территорию станции, сжимая узкую дорогу — единственный сюда путь. Лишь шум реки оживлял неукоснимое безмолвие, страшную угрюмую древность, безвестие народов, оставивших здесь только развалины.

Совсем недалеко отсюда, у горных дорог, по которым идут в наши дни кочевники, еще стоит древний каменный фаллус, о который женщины скотоводов трутся животом, прося камень о зачатии. До сих пор они останавливаются у камня, когда стада проходят из Азербайджана в заоблачные альпийские луга. И поверхность камня отполирована, как слоновая кость. Кругом селения людей, осевших у горных источников, напоминают руины. А дым от очагов выходит прямо в отверстие на крыше.

— Это здание, сложенное из горного камня, строили старые мастера-зангезурцы, — рассказывал нам инженер. Таких мастеров теперь не найти. Три брата каменщики, Алексан, Данэл и Айрапет Оганян, младшему из них — семьдесят, а старшему — восемьдесят лет. Они мастера церковной архитектуры, теперь они строят гидроэлектростанцию. Это замечательные люди! — сказал инженер. — К счастью, они долголетни, как все люди, живущие в безмолвии гор. Здесь были старики по сто пятьдесят лет. Знаем ли мы селения, где живут в пещерах? — туда проведено его электричество.

— Как, наверное, вам приятно, — сказали мы инженеру, — проезжать на построенные вами станции! В будущем вы так и будете гостить то на одной, то на другой...

Инженер вел нас под руки к землянкам на склонах горы. Он был тронут нашими словами. Мастера церковной

архитектуры жарили наверху шашлык, а добряк Григорян, стосковавшийся по людям, поджидал нас у дверей своей хижины. Он был шире и выше всех дверей.

— Мне уже пятьдесят пять лет, — сказал инженер, останавливаясь и поворачивая нас к дикой красоте реки. — Много лет. И я хорошо знаю все лучшие наслаждения жизни. Но самое лучшее, что я знаю, — это пуск станции.

У реки, в час зангезурского заката, он рассказал нам, как дрогнуло у него сердце, когда он впервые ночью подъезжал к Горису, где только пустили его станцию. Там, где раньше слепила дикая ночь, сиял маленький Париж. Так он и сказал дословно — маленький Париж.

Когда мы покинули домик Григоряна, совсем вечерело. В ущелье оседала ночная горная мгла, остро тянуло свежестью. Торжественно и вечно шумела вода. Все живое провожало нас: мастера церковной архитектуры, седоусые, худощавые, с бритыми подбородками, Тер-Вартанян, накинувший синий пиджак, единственная буйволица строительства... Добрый гигант Григорян сбегал к автомобилю вниз, — он очень стосковался по людям. И мы проехали каменные ворота, средневековые, где не хватало стражника с копьём. В последний раз обрисовались стены станции, сложенной старинными мастерами камня, и показалось: облеченный в новые стройные формы, в призрачном свете ущелья камень жил так же естественно, второй жизнью природы, как самое прекрасное, что мы видели в искусствах Армении — развалины храма в Звартноце.

## ШОХО САЯДЯН ИЗ НИЖНЕГО КАМАРЛЮ

Как они переменялись! Как быстро уходит время!

*Пушкин*

Когда она впервые пришла в эту школу, за ней был сорокапятилетний путь жизни. Ее уже невозможно представить другой, — дом ее, муж ее, ее жизнь, полная труда и настойчивости, все так прочно, камень к камню, улеглось в крестьянскую судьбу. Сорок пять лет жизни — это очень большой срок! Сорок пять лет! Это срок, когда так трудно потревожить хотя бы один положенный камень, — попробуй дотащи его, молодой безумец, по такой длинной пыльной

армянской дороге! Между тем жизнь ее — вовсе не крестьянский амбар, где нищета запирается в своем скаредном благополучии. Давным-давно стронуты все привычные запоры, давным-давно открыты настежь двери, и хотя по-прежнему осеняет ее дом столетний тут, хотя так же, как у соседей, прикрыт железным листом тундырь и так же светит солнце на глиняном полу, под навесом со столбиками, — давным-давно гуляет по комнате ветер новой жизни, и в самом воздухе носятся запахи перемел.

Конечно, и она не прочь погордиться своей мануфактурой и тем списком чести, где трудодни перечислены на язык деревенского изобилия и благополучия. Разве не они получили в прошлом году сорок ведер вина, пять ведер виноградной водки, одиннадцать ведер суслу для бекмеза? А одно кило девятьсот граммов зерна, помноженные на триста тридцать девять их трудовых дней? И разве не стоит вспомнить три рубля тридцать копеек деньгами, сено, кизяк и дрова, арбузы и дыни, картофель, капусту и лук, требующие той же математики? Сам начальник политотдела Есаян гордо говорит об этих бочках, мешках и грудах, хотя дома у себя и среди своих друзей он никогда не говорит о собственном картофеле и луке. И когда Шохо угощала в своем доме вином и лавашем, о ее богатстве, известном всем, говорили вскользь. Софик Слкуни из политотдела очень хотела показать какой-то весьма большой сверток с мануфактурой, но постеснялась. Разве вы не сконфузитесь, если при гостях кто-то станет вытаскивать и демонстрировать собственные ваши пиджаки и брюки?

Гостей больше всего поразила небольшой узелок на ее столе. Это были книги и тетрадки, с необыкновенной аккуратностью увязанные в чистый головной платок. И на руках этой пожилой благообразной женщины со строгими глазами, развязавшей детский школьный узелок, совсем такой, какой приносят домой румяные русские девочки в нагольных полшубках где-нибудь в рязанских Починках, — на руках у нее тоже были *детские* чернильные пятна.

Ее зовут Шохо Саядян, партийный организатор из селения Н. Камарлю. Это она в двадцатом году ушла вместе с красными партизанскими войсками и бросила свой дом на произвол судьбы. Нам говорили о женщине, посланной в часть, наполовину состоявшую из ас-

керов и охранявшую золото и деньги армии. Это она была брошена в лапы грубой солдатни, чтобы следить за дикими, ненадежными стрелками, слышать и ловить измену.

Это она — жена бывшего наемного раба, без земли и верного куска, армянская санюлотка, коммунистка, вождь батрацкого сельского комитета, сельсоветчица, секретарь сельской партийной организации, — та самая, что снабжала войска Красной Армии продовольствием, чистила свое селение от скрытых врагов, вела колхозников своим гортанным словом лучшего, огненного оратора и работала бригадиром. И это она построила в своем селении первую со времени сотворения мира общественную уборную и вызвала на соревнование все другие колхозы.

Это она — парторг Шохо, боровшаяся за право женщин взять на себя полку хлопковых полей и добившаяся этого. Когда мужчины, не вытерпев, по своей старой гордости, такого неслыханного права для женщин, чуть свет все же заняли поле, это она повела женскую бригаду *колотить* и гнать в шею *нахальных* мужчин.

Шохо Саядян. Она пришла в школу колхозных бригадиров четыре месяца тому назад неграмотной, сорока пяти лет, после пыльной, кровавой и знойной дороги жизни. На ее пальцах сейчас фиолетовые чернила.

Конечно, она не одна в этой школе, но она одна пришла добровольно. Большинство же из двадцати трех долго пришлось уговаривать политотделу, прежде чем они согласились учиться. Здесь надо сидеть восемь часов ежедневно. И так — пять месяцев! И дома — каждый вечер до двенадцати, до трех ночи! Но Арусяк Ахвердян имеет двух детей и ежедневно приходит сюда из Арташада — ежедневно! — проделывая по двенадцати верст. Маруш Агонесян из Даргалу каждый день приходит сюда и возвращается к своему ребенку за пять верст. И так же точно меряет дорогу в холод, дождь, зной и Забел Бадальян и другие. Они учатся виноградарству, организации труда, агротехнике, изучают естествознание, ленинизм, математику и родной язык. Впервые за всю жизнь они узнали здесь о зоотехнике, о борьбе с малярией, о гигиене женщины. Ни одна из двадцати трех не бросила школы, научившись волшебному секрету понимать значки грамоты. И когда захавшие гости в один отличный солнечный армянский день спросили здесь этих женщин, только пять месяцев

как вышедших из первобытной разобщенности с миром: кто хочет продолжать учение после школы? — живая, новая Армения со смехом и криком вскинула двадцать три руки...

— Какие пожелания у вас? — спросили гости, с удивлением вглядываясь в живость этих женских лиц, с которых еще не сошли тени нужды, болезней, кровавых несчастий, вечных армянских похорон и скорбей. — Скажите, что бы вы хотели добавить к вашей школе?

— Русский язык! — хором, одновременно, будто поговору, крикнули женщины. — Русский язык!

И когда стих немного шум, когда гости уже присмотрелись к этим лицам, к этим изможденным и правдивым глазам страны, самая пожилая, строгая и благообразная поднялась с места и, опустив ресницы, передала гостям ею впервые написанное письмо...

Оно было написано по-армянски, на аккуратном конверте стояли имя и фамилия писателя, известного всем. Гости просили его огласить. И маленькая болезненная женщина, ученица школы, мать двух детей, подруга автора письма, перевела его на русский язык:

«Дорогой товарищ Максим Горький!

Мы бесконечно благодарны Вам за то, что Вы командировали к нам поэтов для изучения нашей зажиточной жизни. Я ударная колхозница с двадцать девятого года, и сделалась такой зажиточной, что считаю своим долгом помочь какой-нибудь безработной, живущей в Германии. Я хочу установить с ней связь. Я прошу Вас помочь мне в этом вопросе и сообщить о результате. Извините, если я не совсем ясно пишу. Мне сорок пять лет, и лишь всего четыре месяца, как поступила я на пятимесячные курсы женщин-бригадиров Камарлинского политотдела.

Горячий товарищеский привет от всех наших колхозников!»

Это писала она — Шохо Саядян, вышедшая из пучин исторического небытия, скромная внимательная женщина, которой побаиваются гордые мужчины старых правил из селения Камарлю на Араратской низменности.

## ДЕТИ АРАРАТСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

— Что нового в Эривани? — спросил я его.

— В Эривани чума, — ответил он; — а что слышать об Ахалцыхе?

— В Ахалцыхе чума, — отвечал я ему.

*Пушкин*

Камарлю затонуло в садах и виноградниках. Селения сливаются одно с другим, дорога непрерывно обвисает тутовыми деревьями, из-за глинобитных заборов и остатков частновладельческих стен не иссякая пылает махровая желто-зеленая свежесть виноградников, и одуряюще пахнет пшатом, роняющим уже свои пыльно-желтые цветы... Улички селений сохранили еще старые персидские влияния. Глухие глиняные проулки, уходящие в кривые, запутанные коридоры, садики, закрытые от постороннего глаза, плоские кровли домов, осененные вековыми деревьями... И повсюду, у каждой кровли высокая свайная постройка с лестницами. Здесь спят, спасаясь от ночных комаров.

Месяц тута. Только отцвел виноград, перестали пахнуть виноградники, — исчез тончайший и лучший запах в мире. Садовые работы заглохли, срок опрыскивания еще не наступил. А потом будут пускать воду. Сейчас жизнь только на хлопковых плантациях. Там уже четко наметились зеленые всходы рядов. Женщины рыхлят землю мотыгами, изгоняя сорняки. И вся Армения встречает июль под тузовыми деревьями. Огромный праздник детей чудится приезжему. Автомшины устают подавать сигналы. И повсюду дети, дети и дети. На громадах столетних деревьев отцы трясут ветви. Дождем сыплются сахарные зеленовато-белые ягоды, в темных пупырышках, похожие на гусениц. Вишнево-черный тут почти не тронут, ценится меньше — он кислват. Все едят белый. И дети, знойнокудлатые, красивейшие дети мира, толпами перебегают и переползают улицы, собирают тут с земли, ловят его в каналах и тут же купаются, блестя гладкими жпвотами.

Нигде и никогда мир не видел столько детей. Детская смертность здесь ничтожна. Любовь к детям, забота о них, пзобилие рождений бросаются в глаза. И резко бросается

в глаза разница между уродливыми матерями и прекрасными детьми, разница страшного значения,— символическая память вчерашних дней истории, в изображении которой так бессилён человеческий язык.

Все они, здесь живущие, кроме этих маленьких и пузатых, знают страшные цифры *вырезанных*,— само слово *резня* в тысяча девятьсот двадцатом году ещё было набатом. Дашнакские безумцы со своими маузеристами, двадцатый год с его Карсом и Ленинаканом, старая Турция — кровь, пожар, сифилис от дикого кавалериста из конницы Гамидиз, рабство,— эти ныне доисторические слова не дошли только до грудных детей. Но женщины знают их все,— оставшиеся, уцелевшие, вместе с голыми стенами и развалинами, с разрушенными станциями, что до сих пор ещё сохранились вдоль железных дорог. Двадцатый год повторил четырнадцатый и пятнадцатый, повторил Киликию девятнадцатого года, Сасун, девяносто четвертый, девяносто шестой, и так далее, и так далее. И всегда женщин насиловали — и заражали; женщин, девушек и девочек увозили в гаремы, увозили в рабство. Мужчинам было легче — их убивали без длинных разговоров. И вот дети Советской Армении гораздо красивее своих матерей.

Рузанна Есаян, интеллигентка, выросшая вместе с вставшей из развалин Арменией, говорила нам у себя в паркомземе:

— Мы, армянки, мало похожи на подлинных армянок. В Армении все лучшее всегда истреблялось. У нас ведь почти не осталось красивых... Может быть, армянскую женщину надо искать в Зангезуре. Это единственное место, где нас не вырезывали и не насиловали. Но туда очень трудно попасть!

— Мы как-то окаменели,— сказала нам и Софик Слकुни из Камарлинского политотдела.— Армянская женщина безразлична к страданиям. И если мне скажут: поезжай ночью в местность, где есть бандиты,— я не побоюсь. Мы слишком много видели, нас ничем не испугаешь, у нас сердце *каменное*.

...Нигде и никогда не было столько детей, как в Армении. И в Камарлю, центре Араратской низменности, их было больше, чем в горах и на возвышенностях. Или, может быть, так казалось, ибо в Камарлю пришел месяц тут, а в горах в это время только отцвели яблони. В месяц тут детей не удержишь у подола матери.

В самом центре района мы сидели у доктора Саадяна, заведующего детской и женской консультацией, сельским родильным домом и обширной сетью детских яслей. Доктор-хлопотун забросал нас цифрами и фактами. И конечно, замечательным историческим фактом для этой, всегда наибеднейшей и разоренной страны является то, что только в одном Камарлинском районе теперь существуют и процветают пятьдесят с лишним сельских и тридцать девять полевых яслей, в которых выхаживают и растут две тысячи девятьсот восемьдесят детей. Девяносто пять коров, *собственных*, обслуживают эти ясли, находящиеся на полном содержании колхозов. Но еще более знаменательным является то, до чего не дошли и многие наши прославленные сельские районы и что здесь уже стало бытом: беременные женщины в Камарлю получают через консультацию трехмесячный отпуск с сохранением полного заработка трудодней.

...Быстро пройдут каменные сердца!

Доктор оказался одним из тех, которых называют *энтузиастами*: он вытащил длинейшие ведомости, цифровые данные, перед нами открылись все стороны деятельности его учреждения. Рожают? Да, рожают очень охотно, и уже научились рожать культурно... Понимаем ли мы, что это значит здесь, где до сих пор пожилые армянки закрывают рот от посторонних мужчин? Теперь? Не-ет! Теперь они всегда обращаются в консультацию... Конечно, конечно, и мы иногда делаем аборт! Но аборт в Камарлинском районе делают только родившим не менее четырех детей...

Доктор Саадян! Мы осматривали камарлинские детские ясли, и в частности ясли селенця Беджазлу. Когда мы вошли на просторный двор, постучав старинным дверным молотком, о котором прежде только читали в романах Диккенса, дети были на широкой традиционной веранде и завтракали. Они подумали, что пришел доктор, и дружно завопили... Тридцать семь кроватей стояли в комнатах, в чистом белом полумраке которых естественными казались и одеяльца с пододеяльниками, и аккуратные холщовые сумки для платья, подвешенные к каждой спинке, и многое другое. Здесь была настоящая детская с ее милыми запахами тимолового мыла, с игрушками, большой вешалкой для полотенец с индивидуальными отличиями каждого хозяина: здесь были зайцы, цветы, насекомые — много прекрасных значков. Но больше всего нас поразила кисея над

полотенцами — от мух — и множество портретов Д. Е. Сулимова. Ему пришлось осенять это счастье детства в глуши Араратской низменности. Заведующая яслями Еран Александян, одна из тех, что преданы созиданию, что рагуют о государстве, как жена о семье, показала нам свое повождение: черную и красную доску для матерей. Она объявила соревнование на лучший уход за ребенком. Для детей в Армении делают все. Кому будет приятно висеть на черной доске в роли худшей и самой грязной из матерей? А как трудно следить за ребятами в месяц тут! Мы это видели: везде трясли деревья, везде сыпался сахарный тут, везде десятки, сотни, тысячи детей смотрели на ветки или ползали по земле, набивая рот пылью и ягодами. И везде молодые женщины — от восемнадцати до сорока лет — величественно несли перед собою мощные очертания материнства, столь почитавшиеся в легендарной Спарте.

Так спокойно, благостно и мирно дышала заложенная в них будущая молодая страна!

Новому народу нечего беспокоиться за свое будущее. Его хватит на все — на радость и творчество, на труд и забавы, на новые неоскудевающие надежды и упования...

Мы говорили о том, что армяне — красивый народ, глядя на детей в месяц тут.

## ДУХ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. «Вот и Арпачай», — сказал мне казак.

*Пушкин*

Станция Ленинакана набирает свои семь тысяч киловатт на дне каменного ущелья. Стремнина его прорезывает равнину горного плато двадцатиметровой бездной — узкой отвесной щелью, почти невидимой издали на поверхности каменной равнины. Ни шум, ни дым, ни человеческие голоса не доносятся снизу. Отведенная каналом вода Арпачая протекает поблизости по своему бетонному ложу. Наверху, над самой станцией, путь ее разделяют щиты. Здесь исход Ширакского канала, и отсюда мутная арпачайская струя уходит творить жизнь на пятьдесят кило-

метров окрест,— другой поток низвергается по железным трубам в камеры турбинных волчков, чтобы вернуться в свое, заваленное гигантскими каменными глыбами, полутемное ущелье.

Поднимаешься снизу из ущелья по временной деревянной лестнице, простертой по крутизне пятнистых, зеленых и серых скал. Скоро подъемник будет переносить людей из этой тягостной бездны. Сейчас же — нескончаемы деревянные планки, набитые на прилепившиеся к скалам доски; мокнет сорочка, едва переводишь дух. Только ласточки сверкают над узкою пропастью, и медленно плавают над нею коршуны,— а наверху, если бы не чистые белые домики и столбы, можно бы и не подумать, какая сильная быстролетная и всепобеждающая закипает здесь жизнь.

Пуста и мертвенна сухая равнина вокруг. Оливковые, серые и синие горы, белые снеговые расщелины вершин закрывают Турцию. Россыпью камней едва заметна последняя деревня Армении... А сзади — горный Абаран в тумане, иззубренные ледяные изломы Алагеза в снеговой и махровой полумгле туч.

Плато здесь так залито миллионнолетней лавой, так неприступно, что для посадки деревьев нужен динамит и много-много вozов земли. Зноем опахивает этот естественный каменный пол. Невыносимой кажется здесь жизнь, уделом проклятья, страшной насмешкой — такая «родина». И тем удивительней та чистая, прохладная, «городская» жизнь, что выросла наверху десятком домов электрического оазиса.

Невольно вспоминаешь нищету горных сел Армении, вступая в новую рабочую квартиру с электрической кухней, с электрическими отопительными печами, с той чистотой и аккуратностью, которые воспитаны и новой профессией здешних людей, и теми машинами, что требуют точности, грамотности, безукоризненной пунктуальности и внимания, и всем тем сложнейшим узлом материальных причин, знаний, навыков и эмоций, которые составляют самое сложное и самое ясное народное понятие — Советская власть. Может быть, одеколон на туалетном столике, зубная щетка, постель с простынями и пододеяльниками вызовут здесь мысли не только об «овладении культурой»... Для истории Армении это больше — больше в миллионы раз, чем для всякого народа. Голос всех ее мертвых поэтов, мыслителей, борцов дрогнул бы от волнения...

Еще жива нищета армянских горных районов. Еще вмещает новая Армения самые дерзкие и разительные контрасты. Еще старина выступает как смутный и почной сон. Нигде нет такого поражающего разнообразия пейзажа, быта, благополучия и нищенства, как в этой стране. И отличные автомобильные дороги разматывают перед путешником самый захватывающий фильм. Здесь — гордые армянские гнезда Зангезура: Хензореск, где люди живут, как стрижи, в отвесных стенах ущелий, вдолбившись в камень; здесь — Делижан с его тирольскими долинами и домиками, совсем швейцарские деревни Степанавана с розовой черепицей крыш, оазисы Камарлю, Аптарака, Эриванской равнины, деревни с персидскими улочками. Здесь на дорогах сотни автомашин лучших мировых марок, мощные заводы и фабрики, новые города, и рядом с ними — абаранские и баязетские селения, где люди живут вместе со скотом в каменных хижинах без окон и без печных труб. Так разноречивы голые, холодные пустыни гор, осыпанные каменными глыбами! Курдские и армянские горные деревни остаются в памяти видениями каких-то первобытных эпох. В Абаране можно увидеть курдские селения вокруг фантастических руин, невольно заставляющих остановиться. Оказывается — кладбище! Селение вкопалось вокруг поля, засеянного каменными изваяниями. С удивительной вероятностью и непосредственностью первобытных изображений высечены из камня чудовищные фигуры коней — вздыбленных, мчащихся, грозных, воплотивших на мертвом поле этот единственный символ жизни и благополучия кочевников, только сейчас получивших письменность. До сих пор еще в этих селениях, более всего похожих на развалины, в этих горных скотоводческих крупных становищах чешутся и вечно роются в своих лохмотьях люди, не употребляющие мыла. Так же как в казахских аулах, паразиты сопровождают здесь жизнь человека от рождения до могилы.

#### Электричество Армении!

Уже десятки станций, вращаемых горными реками и волей впервые осознавшего себя народа, бросили тысячи киловатт в работу, брызнув морем огней, побеждая ночь, накаляя карбидные печи, крутя сотни текстильных станков, обогревая, обогащая человека. Скоро старый изумрудный Севан наполнит каскад плотин и каналов своими холодными спящими силами. Скоро синтетический каучук потечет в страну из своих гулких лабораторий.

Ток расплавит добиблейские базальты, вроеется в дебри земли, распашет новые земли, оживит новые сады и плантации. И у ложа Арпачая, на горной равнине самой сухой и мертвой земли, рядом с бесправной нищетой отходящей старой Армении будет так же неслышно гудеть электрическое сердце каменного города, подающее светоносную жизнь по всем его металлическим венам и артериям.

Трудно представить себе что-либо убедительнее этих белых домиков — совсем не русских (вспоминая русскую избу!) и совсем не армянских (представив древнюю кровлю скотовода, заросшую травой!), уже имеющих совсем иные песни и жизнь. Мы побывали в кооперативе, в столовой, в только что законченном клубе. Везде лежала печать духа всего этого дела, печать *электричества*. И то, что стояло живым неподвижным ветром страшных скоростей в стальных непроницаемых кожухах, расставленных в просторном, аптекарски чистом зале там внизу, присутствовало и здесь. Энергия, протекавшая в заповедных камерах станции, в ее святая святых, была везде очерчена и окружена зловещими черепами и берцовыми костями. Силы электричества, враждебные и опасные для человека в диком первородстве, были заключены в идеальные и точные аппараты, укрощены железной организованностью знания. И в домах людей, управляющих ими, воцарялись те же чистота и порядок, поражающие посетителя на электростанциях. Посетивший их замечал — машины тут живут гораздо удобнее и целесообразнее, чем человек во многих и многих местах. Над машинами неусыпно витает наука — лучший друг жизни. Не случайно в стенах домиков ленинканской станции все сделано так, чтобы человеку жилось так же хорошо и целесообразно, как машинам в их роскошных опекаемых залах.

Все это — и чистые квартиры со всеми удобствами, и отличная столовая, и уютный образцовый клуб, и довольные лица жильцов — достигнуто трудом, заботами и творческой увлеченностью инженера Александяна, его способностью увлекать тысячи. Тысячи тысяч стоят за его спиной. Он из тифлиссских рабочих, коммунист, инженер, директор Ленгэса, проводник духа электричества. В Армении мы видели много таких — умеющих работать там, где, кажется, проклята земля, где иссушают человека камень и зной, равнодушные пустых пространств. Он из породы мастеров, умеющих строить, заколачивающих гвоздь

в завтрашний день. Характер добротности, чистой работы,— там, где все было разрушено или где ничего не было,— вот характер этой породы.

...А в Армении столько рек! — о, электричество Армении!

## ВАРТАН ИЗ ДОЛИНЫ МУША

...Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце, с гибким куртисским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и брел о турках и сражениях.

*Пушкин*

Он происходит из долины Муша, из Турецкой Армении — страны уничтоженной, оставшейся только названием географическим. Случайно спасенный знакомыми курдами, он ушел от резни, и она погнала его через Константинополь на Яффу, в Трапезунд, в Тавриз — в мути и мраке исторического потока, катившегося мировой войной. Уцелевших, как он, из этой легендарной долины очень немного. История выбросила его вместе с матерью в каменистую, голую, разоренную страну. В тысяча девятьсот двадцатом году здесь все резали друг друга. Дашнаки объявили Армению великой — от моря до моря, турки двинули свои армии, ужасные остатки старой султанской Турции. Армянские маузеристы пошли на грузин. Азербайджанцы резали армян в Баку, в Гяндже, на железнодорожных магистралях, пуская одновременно под откос русские поезда. Турецкие войска вырезали Карс, Ленинанканское плато, заняли Караклис, часть Араратской низменности. Эривань висела на волоске... Жаля сифилисом, грабя, заливая кровью, лезла на Армению старая Турция, раздраженная дашнакским маузером и английскими агентами. Армянские войска, мстя и отступая, стреляли местных тюрок на улицах. Маузеристы залезли в Зангезур. Здесь бросали в пропасть захваченных революционеров. Отовсюду, со всех концов неслись дикие предсмертные крики, поднимались черные дымы пожаров. Из Киликии, преданные французским империализмом, жалкие остатки армян бежали в Сирию, на Кипр, в Египет, — в Мардине, Айнгабе, Урфе еще работали кинжалы и сабли турецких

аскеров, ликвидируя старинную армянскую мечту о родине.

Он очнулся, когда полная тишина стояла на пепелищах Шурагела, Шаруро-Даралагеза, Кагызмана, Сурмапли, Каракурта, Сарыкамыша. Там помнили армянских маузеристов.

Тишина стояла по всей Турецкой Армении. Там некому было помнить конницу Гамидие и турецких аскеров.

И только в новой, Советской Армении собирались остатки народа, подсчитывали себя после тысячелетий, начав заново то, что впервые стало единым цельным отечеством, — начав социалистическую Армению.

Здесь, в этой новой стране, он приобрел четыре специальности, оправдав репутацию долины Муша. Там ведь умели трудиться! Он стал ремесленником — сапожником и слесарем, одновременно он механик по ремонту автомашин и лучший шофер страны. И в этой последней специальности, имеющей уже привычный профессиональный тип, он пронес все качества, все традиции, все черты той невозвратной страны, что в устах всех армян звучит символом национального характера: он армянин из долины Муша.

Этот человек, лишенный всякой грубости, наглости и ухарства, мало походил на шофера, каким он представляется нам, много скитавшимся по разным дорогам страны. Чудесными казались его целомудренность, его отвращение к ругани и, что совсем невероятно — его подлинная веселая трезвость. Он не пьет ни вина, ни пива, ни водки — в стране, где все пьют и где никогда не увидишь пьяного.

В манере его езды по отличным и вместе с тем почти акробатически неприступным горным дорогам Армении сказались собранные, внимательные ко всему, индивидуальные черты: ловкая осторожность, настойчивая выдержка — вместо беспшабашного риска, высчитанная точность и спокойная скорость — вместо обычного «расейского» авось...

Равномерный, мягко вибрирующий говор его мотора сопровождал нас по всей Армении. Неизменное дорожное спокойствие звучало в машине. Мягко зажужжав, без отвратительных шумов и тарактения, выжимая конус, машина переключала скорости, — тысячи вспышек в цилиндрах уравнивали волнение подъемов, все тяготы стали и чугуна так же автоматически, как наше сердце

уравновешивает напряжение мускулов и нервной системы. Это была, в полном смысле этого слова, *музыкальная* езда, когда всякий испытываемый оттенок движения и колебания колес гармонично сливался с ходом мотора.

Он был виртуозом, мастером, чувствующим мотор всем своим существом, создающим впечатление легкости и *пустяка*, тогда как невероятные петли над отвесными скалами, неожиданные повороты на страшной крутизне, подъемы по наваленным каменным глыбам требовали целого комплекса действий — молниеносной сообразительности, автоматически связанных движений, величайшей выдержки и хладнокровия.

Армения, страна многих стран, то поднимаясь, то опускаясь перед стеклом оливковой машины, меняла времена года, людей, животных, растения, открывая все новые и новые выражения своего — то пыльного и добродушного, то сурового и овечьего пропастьями, то словно впитавшего мягкий зеленый туман пастбищ, но всегда одинаково армянского лица.

По дорогам, пахнущим облаками и мокрой травой, мы спускались в горячие объятья долин, — там наверху только цвели яблони и черешни, и гусыня только-только выводила к шипящему мутно-желтому потоку лимонных гусынь. В долинах полыхало солнцем, падал на землю сахарный туг, ослы поднимали раскаленную пыль в узких ущельях садов, среди серой листвы, где оранжеевел вестник июля — абрикос, в желто-зеленом пылании и ароматах виноградников, в зарослях бронзово-пышной, налитой заревом пшеницы.

Неожиданно какая-то заоблачная, чудовищным хаосом сине-зеленых, оливковых, розовых, то стекающих густым бархатом пастбищ, то грозно-зубчатых, заклубленных тучами гор — распахивалась страна. Отовсюду кричали перепела. Кочевники из Азербайджана рассыпали на влажных, разостланных голубыми туманами незабудках свои овечьи стада. Лошади щипали цветы у прохладных заросших ключей. Тучи вдруг садились на каменистую дорогу, и странно возникал в их мокром дыму верблюд, раскачиваясь и отворачивая с презреньем свою стрекозиновую голову.

То вдруг песней безмятежных высот, свежестью с перевала, с вершины стоверстной открывшейся крутизны заливал Степанаван — влажная чаша из синевы, чтобы хлынуть в душу мягким дымом своих некошеных цветов.

Мы врывались туда, спустившись на тормозах, раскидывая на обе стороны ряды красных кирпичных крыш, каменные заборы с черешневыми огоньками и листьями, влезая по втулку колес в траву, где сами пчелы путались в обступивших ирисах. Победно, счастливым странником трубил в свои гудки Вартан.

Неизменно без аварий, починок и задержек продолжал он свой путь. Не случайно он так блестяще и влюбленно знал наизусть дороги всей страны. Любовь к странствиям исторически вошла в его кровь и плоть. Этот человек врожденного широкого гражданства стал гражданином мира — пусть невольным, но глаза его открылись беспредельно широко. Когда в прошлом году он получал премию от правительства Армении, он выбрал путешествие по СССР. О! Он посетил Ленинград, Москву, Харьков, Одессу, Киев, Поти, Батум...

Одесса и Ленинград! Это тоже как Трапезунд или Константинополь. Да, это города! — И он начинал полупшепотом, поднимая палец:

— Это очень хороший город: подходящий, культурный — и мировой!

Какая-то детская восторженность и непосредственность жизни поражали в этом человеке, неутомимо летающем из конца в конец по всей своей скалистой стране.

О! Степанаван!

...Мы въехали в сплошной альпийский луг. Ароматическая маслянистая трава, полная сочных цветов, напоенная студеными горными потоками, лежала десятками километров пастбищ. Пьянил прохладный, чуткий, как ключ, хранящий каждую пчелу, как соринку, воздух. Невозможно было не остановиться и не полежать в этой дикой и душистой благодати... Мы легли в заросли ирисов, но вскоре удивительная картина привлекла наше внимание.

Он остался у своей машины, — все мы знали его слабость украшать ее цветами и букетами. Но сейчас происходит нечто необыкновенное... Чуть посапывая, машина описывает по траве правильные круги. Но в ней не видно ни одного человека. Без пиджака и фуражки, он бегаёт впереди, перебегаёт у самых колес, садится на корточки перед неуклонно надвигающимся радиатором, манит к себе машину, радостно трет ладонь о ладонь и, задыхаясь от смеха, пятится от настигающих его колес, и наконец, надув автомобиль, счастливо вадится на бок в траву.

— Вартан, Вартан! — кричали мы ему, и, прыгая и хлопая в ладоши, бежал к нам этот человек, сожженный солнцем, с бритым втянутым лицом, сухой проволоочной шевелюрой и младенчески светлыми глазами...

Он прыгал и смеялся.

Мы знали его достаточно хорошо: он был необычайно вежлив, тысячи раз повторял неизменное армянское «пожалста», был добр к товарищам, по дороге бескорыстно возился с машинами всех потерпевших аварию, имел огромное число друзей, счастливо и сконфуженно смеялся, когда его спрашивали об *ахчик*, о девушках, с которыми ему полагалось бы иметь знакомства. У него были слабости, мы о них знали. Эти слабости владели им слишком часто, хотя он никогда и не думал их скрывать. Больше всего говорил он о Ленинакане, наивно и честно называл Армению лучшей страной, самой прекрасной частью мира считал свою родину — долину Муша. Но самым большим чудом, поразившим нас, была его привязанность к Турции и уважение к турецкому народу.

...Где-то в Зангезуре, под самыми тучами, в дубовых лесах над Кофаном, над заводом, где плавится армянская медь... Мы одолевали горный хребет. Диковные пингвины и химеры из дикого выветренного камня, — средневековый, рассеявшийся скалами зангезурский каменный мир, — остались внизу, в ущельях кипящих рек. Довременные зубчатые дали громоздились в тумане, грозилась горная цепь, вся в снегу. Мы погружались в сырую, пятнистую от солнца, темноту кабаньих и оленьих лесов. Потом вылетел необозримым светом обогретый яркий простор, скалистая пропасть, и лесные увалы, и вершины, уходящие вдаль, в синий туман. Благоухал чебрец, мыльной свежестью пахла пена боярышника, — было необъятно, прохладно, величественно. Только кукушка в светлой тишине гор, вскрик дрозда в чаще, ящерица извивом в серых камнях.

— Видишь? — крикнул нам Вартан, торжествующе останавливая машину. — Это все — *Армения!*

И он застыл, оглянувшись, терпеливо ожидая восклицаний, от которых всегда удовлетворенно сияло его обожженное зноем лицо. В тайниках души он снисходительно-нетребовательно относился к другим странам. Но было одно, мы это знали...

— Ну как, хороший? — наконец спросил он, потеряв терпение и увидев по нашим лицам, что да, да, да — торжествовал. — Очень хороший! — повторил он еще раз, мед-

ленно, шепотом, округляя глаза, похожий в этот момент на хищную птицу. — Видишь, какой — очинь хороший!

И добавил, уже явно жалея нас, живущих в другой, совсем не похожей на эту, стране:

— В Армении много есть хороший мест. Это самый лучший место. Самый мировой.

Тут он таинственно погрозил кому-то пальцем.

— Да, — согласились мы совершенно серьезно, ударяя в знаковую нам его слабость. — Это все верно, но *в долине Муша* тоже нет таких лесов! — И, злорадствуя, заключили: — И водопадов там нет!

Он сразу вспыхнул и потемнел:

— Как — нет?! — изумился он, втягивая шею и пожимая плечами. — Все есть. — И продолжал быстро: — Очинь хороший. Водопад есть. Гор всякий — большой, маленький, лучший есть. Как — нет?! Пожалста. Все есть в Турецкой Армении.

— Ну! — издевались мы. — Вот еще — Турция... Пока еще это все-таки дикая и отсталая страна! И чего вспоминать несчастную Турецкую Армению?

— Как — дикий?! — изумился Вартан. — Самый культурный, тонкий, очень хороший народ. О, мировой!..

Жарко, убежденно начинал говорить этот человек, чудом спасшийся от турецкого султанского ножа, о неповторимой долине Муша, о мудром и трудолюбивом турецком народе, о веселом и грациозном городе Константинополе. Он говорил с горячностью пушкинского Артемия, призывал все кары и месть на головы безумцев дашнаков, клялся невинностью турецкого народа...

И все становилось серьезным.

Много раз приходилось нам слушать неопровержимо точную музыку вспышек его машины, когда уносило горные дороги, срывало каменные мосты, когда горный вечер опускал в ущелья свой синий таинственный дым. Страна эта каменная, пустынная, покрытая цветами пастбищ, гидростанциями, редкими городами с гигантами промышленности. Вот мы едем снова, и Вартан, наш друг, армянин из долины Муша, поет... Это слова из Саят-Нова. Он поет: «Если ты стар, ты здесь будешь снова молодым...»

Кажется, сам вечно молодой народный дух катит среди гор на веселых колесах.

## У ГРАНИЦЫ МОЛЧАНИЯ

Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное.

Пушкин

Мгновенно, с торжеством наклонил к рулю свой резкий, гончарный профиль Вартап, резко бросил машину в сторону, и — река полноводной, крутящей и мутной стремительностью открылась перед нашими глазами.

...Граница! Два Арарата чудовищно выпукло, неправдоподобными кручами подняли привидения своих неживых, хищно поблескивающих снеговых пустынь. Безлюдность, равнодушная, дикая, грозящая видениями неживых курящихся облаков, мертвенно блестит на высоте. И Аракс — без единой живой души в камышах и первобытной траве, и долина за ним, с далью такой, что навеки пропасть там, и слабый дымок одинокого мусульманского села, едва-едва в воздухе, — кажутся затерянными в давно забытой, мертвой стране.

Машина, подрагивая и посапывая, замерла у самой реки. Никакой жизни не было видно там, за нею. Лишь крики лягушек и птиц, — и запахи трав охватили нас своей древней ароматической силой. Мы смотрели *туда* не отрываясь — в туманные очертания чужой, другого мира, земли. Дикая, неистоптанная и некошеная, летела к горизонту даль, чтобы, замерев чуть видимым тополем, пропасть под Араратом. А там, дальше, слышали мы, еще более глухая и заглохшая, давно спала мертвым сном опустошенная страна турецких армян.

Говорили об огромном количестве дичи и зверя, что развелись на одичавших развалинах. Впервые за долгие годы появились дрофы в Араратской долине. Говорили о волчьих стаях — оттуда, где привольно зверю и дичи, где все пышно заросло и заглохло среди костей и могил.

И в самом деле, какой-то жутью захватило нас! Равнодушно стремилась река, едва нарушая безмолвие. Слышен был каждый всплеск воды, как в таинственном гроте, переливалось ее журчанье, дикие птицы грустно кричали в отдалении. С каждой минутой все пламенней и ослепительней блестели на западе снега Араратов.

Казалось — необыкновенная мертвенность сквозила в этом вечере. Вскоре, испуганные и не побоявшиеся нас, появились огромные белые и серые цапли, кулики всех пород, прогоготали гуси, и низко и шумно стали пронеситься бесстрашные криквы. Огромный мир лежал кругом в летаргической предзакатной тиши. Долина реки стлалась туманными заводьями садов Советской Армении — до Вединских розовых гор, до лысых змеиных курганов Волчьих ворот, до Эриванских предгорий. Там, за столицей новой армянской страны, курился Алагез, снеговой поитель пастбищ и долин, высоко отточив свои острые зубцы.

Только оттуда, из далей живой Армении, доносились отблески жизни. Столбы пыли висели над дорогами, долго обозначая путь вечерних стад и колхозных повозок. Хлопанье трактора четко проносил воздух за пять километров, мелодично нависал ровный шум почтового самолета. Уже аисты возвращались в свои деревенские гнезда. А на реке все звонче кричали лягушки, и все больше и больше заповедных птиц летело со стороны Турции. Там еще тише, еще пустынное казалось в этот одинокий вечерний час. Лишь один затерянный дымок поднимался у гигантского подъема горы.

Снова загоготали гуси.

— Вот, — сказал один из наших спутников, инкер С. — Вот вам конец великой дашнакской Армении от моря до моря... Как тихо! Слышите, как страшно там тихо!

И он начал говорить о преступлениях армянской буржуазии, об армянских — тифлисских, бакинских и константинопольских — ростовщиках и капиталистах, о библейских днях кровавой бани там, где воцарилось такое мертвенное молчание.

Неврастеническое темное лицо его подергивалось, когда он упоминал о старой султанской Турции, о коннице Абдул-Гамида и еще раз, еще раз о партии *Дашнакцутюн*. Мы слушали его с чувством непередаваемым, здесь, у вещей реки, под баснословной горой. Тишина и крики испуганных птиц, дикая природа, запах трав — все веяло здесь горьким величием каких-то древних могильников. Инкер С. говорил, страдальчески морщась: то, что нам казалось погребенным в столетиях, он пережил четырнадцать лет назад, — он улыбнулся грустной улыбкой и указал на Вартана, неустанно собиравшего цветы.

— Они все такие, — сказал он, — эти армяне из долины Муша. Ах, если б вы знали, что сделало султанское правительство, уничтожив их целиком! Если бы вы только знали, что это был за честный, нежный и веселый народ! Теперь в Турции нет армянских ремесленников. Они прогадали экономически — Турецкая Армения превратилась в пустыню. Ах, что они только наделали: они вырезали всех, до одного человека!

Он гневно махнул рукой, схватился за щеку, словно от нестерпимой зубной боли.

— Мне невыносимо смотреть туда, — сказал этот человек. — Мысль, что их больше нет, приводит меня в отчаяние! Никто никогда их не вернет, я не могу больше смотреть на Турцию...

Река неумолкаемо всплескивалась, крутила свои водяные воронки и, журча, уносила свою полноводную темноту. Уже потухал сугроб Арарата, в безднах и пропастях его наступала ночь. От трав пахло еще сильнее — тленом, маслянистым бальзамом, древними благовониями.

Мы возвращались домой, когда повсюду закричали сверчки — от реки, полной заповедного молчания, от замороженного царства диких птиц, от страны мертвецов. Мы возвращались к благодати электрического света, в государство, полное жизни и движения, меж рядов пшеницы, густой настолько, что она казалась вылитой из бронзы, и вновь — садами, бесконечными виноградниками.

Необыкновенно тонкий и нежный аромат бил нам в лицо. «Что это?» — спросили мы своих спутников. Цвел виноград, поэтому пахло так прохладно и тонко, — цвел армянский виноград — растение жизни и труда, дружбы и веселого отдыха.

1935 г.

## ДУХ ЗЕМЛИ

Величайшая жизнь, — говорим мы, — величайший художник, и за этими словами, полными сознания и ощущений, утрачиваем способность непосредственно выразить их мучительно-многообразное содержание.

Таковы наши любимейшие выразители — наши воплощения, то наше беспредельное и в то же время бесконечно простое, как облака и звезды, где «прошлое страстно

глядится в грядущее», где наше дыхание, совесть, мысль и сердце — Пушкин и Гоголь, Чехов и Толстой. Лица — барельефы народа. Души, ставшие душами каждого из нас. Богатства — превыше всех материальных ценностей, — живая преемственность человечества, школа, где каждому последующему предстоит пережить прошлые века, усвоить их жизненный опыт, пройти Академию душ и характеров.

Максим Горький любящими руками всего нестареющего в человечестве поставлен рядом с ними — как пылающий огонь в летаргии прошлого, как живой образ настоящего. Народ, породивший его, принимает в свою пучину, в свою вечную жизнь его живую душу, его дыхание, его характер и мозг, — Максим Горький заново начинает жить во всех нас, заново начинает работу. В этом значительном смысле он не разгадан еще, он — наше будущее. Ему дано уделом гения, уделом народа вечно обновляться и вечно порождать прекрасное.

Великий художник — это тот, по чьим твореньям узнают народы, любят и ненавидят их. Великий художник — часть истории человечества, запечатленная в живых характерах и поступках. Понимая так, можно сказать, что великие гении искусства — лучшие радостные поступки народов.

И в этом смысле Максим Горький — настоящее, прошлое, будущее. Но никогда еще ни один гений искусства не был так целен, так един; ни в одном воплощении народа не бывало такого соответствия творчества и личной жизни.

Он прожил жизнь, какая могла быть только у представителя нашего народа, страны необычайного своеобразия, фантастических противоречий, удивительных пережитков, судеб, непонятных человеку идеалистического мышления. Он — великий человек прежде всего потому, что он пережил все наше человеческое и не отказался ни от одной нашей слабости. Все — самое обыкновенное, распространенное, простейшее — весь человек, со всем скарбом своих страстей, постоянных волнений и душевных битв, был пережит им, понят им — и побежден им. Максим Горький — стихия, подобная Пушкину. Он совмещал и горы, и пропасти, и степи, и тундры — бездны жизни с ее сверкающими снеговыми высотами, размах противоречий, непосильный для обыкновенного, даже очень одаренного человека. Подлинно — он был «заклинателем» стихий, —

вспомним слова Аполлона Григорьева, обращенные к Пушкину. Как дорог и священен должен быть для нас этот путь, эта живая биография народа, наполняющая нас гордостью, радостью, славой.

Его творения, как творения великанов, сокрушают все доктрины эстетических школ и поучений. Как у Шекспира и Толстого, педант из академии может найти у Горького немало страниц, произведений с неуклюжими фразами, без музыкальной и гладкой поверхности... Еще Флобер говорил, что второстепенные писатели пишут подчас совершеннее великих. Но тот же Флобер воскликнул: великие создают, посылая к черту все каноны и установленные обычаи прекрасного! Максим Горький подобен грандиозным событиям жизни, — это пласты, классы, эпохи, профессии, народы, — народность его и в том новом осознании исторического и личного бытия, что делает его *началом*, откуда видно во все концы...

*Человек* в нем всегда поддерживает художника. Он не любит говорить о литературе как о профессии. Он знал только *работу*, как совокупность всего живого для живых, он имел *дело жизни*, и в этом одна из величайших черт его, что ставит Максима Горького наравне с народом, его породившим. Как безвестный Антип Ершов, гениальный резчик из медвежьей глуши Горьковского края, равнодушный к медалям и отзывам выставок, творящий в своем дереве *простое* житейское дело, Максим Горький творил своим искусством житейское дело пролетариата и человечества. Величие этого русского человека именно в этом, в этой страсти *делать*, что так роднит его с другими бессмертными, чье имя стало символом всеобщего освобождения Земли.

Не нация Обломовых, а нация Горьких в этой народной черте!

Он прожил жизнь, каждый поступок в которой нам мил и дорог. Только у самых светлых и дерзких голов мира, в судьбу которых каждый может вложить свою, жизнь сложилась так естественно, столь победоносно. Он велик тем, что никогда не шел одиноко. Всегда, во всем он выражал историю; его победы — это победы народов; его скорби, недоумения, ошибки — это путь рядового человека нашей страны, помноженный на цифры астрономические... Мы не можем сказать, что более величаво — его творения или эта русская жизнь, ставшая жизнью народа, жизнью мировой.

Есть бесконечно трогательное в том, как встретил он смерть. Народу, из которого он вышел, свойственно умирать просто и мужественно. И он приготовился, словно повторяя конец великого сонма безвестных,— переделся, побрился, по всем правилам нашей земли...

Я не хочу вспоминать лицо его, тонувшее в цветах. Пусть не пишут о мертвых, что они величавы. Но так же как не мог представить я *женщины* за его гробом, одной, которую он любил, как не мог представить я *друга*, одного, который был для него дороже всех, я не могу уже представить его *лица*, одного определенного лица его,— оно как бы разрастается, восстает все выше и выше, осеняет собой могучий, зеленый, грохочущий июньскими грозами, рождающий, трудящийся мир. Что-то величавое, как лик народа, выступает передо мной...

Вспомним же его живого, громадного, с непокорными плечами и волосами, человека, как в узле стянувшего все устремления и волю страны, одним лицом своим оставившего живую картину веков. Оно непокорно, измято, мускулисто, — на нем как бы вечная схватка, борьба, неутихающий разговор мучительных и светлых сил. Только лица Достоевского и Толстого могут сравниться с этим, уже навсегда бессмертным лицом, лицом русской жизни. Оно знаменует борьбу и страдания, что остались позади — миллионы судеб людей труда, ту волю творчества, что победила, ту доброту, что победит везде. Могучая вершина, опаленная молниями! Сила и дух самой Земли, прекрасных ее страстей и дерзкого разума. Дерзостное, никогда не примирявшееся, простое, как сама жизнь. Не глаза мудреца смотрят на нас: словно из глубины самой Земли, из каких-то могучих корней, из самых потаенных глубин глядят на нас глаза нового Пана, дремучий веселый свет, что оставлен нам кистью Врубеля...

Он глядит из лика народа — бессмертною радостью новой Коммуны Земли.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Владимир Кривцов. Земная высота (О прозе Николая Зарудина)</i> . . . . .	3
<i>Тридцать ночей на винограднике. Роман в восьми повестях</i> . . . . .	21
<i>В народном лесу. Повесть</i> . . . . .	243
<b>Рассказы и очерки</b>	
Древность . . . . .	385
Закоп яблока . . . . .	402
Путь в страну смысла . . . . .	441
Свежее племя . . . . .	469
Старша Арбат . . . . .	506
Спящая красавица . . . . .	523
Солнечный хор . . . . .	561
Чувство жизни . . . . .	565
На трех поворотах ручья . . . . .	570
Когда цветет виноград . . . . .	576
Дух Земли . . . . .	619

Зарудин Н. Н.  
З-35 Путь в страну смысла /Подгот. текста В. Зарудиной; Предисл. В. Кривцова; Худож. Д. Шмильс.— М.: Худож. лит., 1983.—623 с.

В сборник известного прозаика конца 20-х — начала 30-х годов Николая Зарудина (1899—1937) вошли произведения разных жанров: роман «Тридцать ночей на винограднике», повесть «В народном лесу», рассказы и очерки,

4702010200-226  
3 ————— 51-83  
028(01)-83

ББК 84Р7  
Р 2

*Николай Николаевич  
Зарудин*

**ПУТЬ В СТРАНУ СМЫСЛА**

Редактор М. Чудова  
Художественный редактор Ю. Боярский  
Технический редактор В. Кулагина  
Корректор И. Ломанова

ИБ № 3154

Сдано в набор 20.08.82. Подписано к печати 28.09.83. А 13149.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкновенная».  
Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76+1 вкл.—32,81. Усл. кр.-отт.  
32,81. Уч.-изд. л. 35,22+1 вкл.—35,27. Тираж 50 000. Изд. № III-773.  
Заказ № 763. Цена 3 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, Москва, Ново-Васманная, 19

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109